Аркадий САХНИН

ИЗБРАННОЕ

Аркадий САХНИН

ИЗБРАННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА 1980 ГОД.

Р 2
С 22

Художник лауреат премии Ленинского комсомола
ВАСИЛИЙ ТЕРЕЩЕНКО

С $\frac{70302-040}{074(02)-80}$ 419—80

МАШИНИСТЫ

Глубокой ночью пассажирский экспресс мчался навстречу неизбежной катастрофе.

В будке машиниста никого не осталось. Никем не управляемый паровоз и тринадцать пассажирских вагонов неслись под уклон со скоростью девяносто шесть километров в час, а навстречу по тому же пути тяжело тащился нефтеналивной состав. В середине его было несколько цистерн с крупными надписями: «Пропан». И именно в эти трагические минуты перед самой катастрофой на площадке между шестым и пятым вагонами разыгралась поразительная сцена, которую можно будет понять, если вернуться к событиям и давно и недавно минувших дней.

ВЕРСТОВЫЕ СТОЛБЫ

Из Тамбовской губернии крестьяне шли в Сибирь. Андрей Чеботарев тоже решил идти. Если безлошадная голытьба выбивается там в люди, то он и подавно про нужду забудет.

За свою десятину и дом он получил немалую сумму, и ему хватило не только полностью расквитаться за недоимки, но еще и остались кое-какие деньжата.

В Сибири травы в рост теленка, и столько их, что ни выкосить, ни съесть стадам. Жирные черноземы пустуют, а рыбу в реках и озерах берут корзинами. Дома там пятистенные, лесу — тайга непролазная: иди и руби.

Так говорили люди, а люди зря не скажут. Сколько их в Сибирь ушло, и никто назад не вернулся. Значит, живут сытно.

Андрей выехал со двора, крестясь. На дне телеги с высокими бортами лежали наглухо зашитые три мешка семян, сверху домашняя утварь, между которой разместились трое детей, а впереди — отец Андрея с вожжами в руках. Сам Андрей и его жена шагали рядом.

На Великий сибирский тракт выбрались возле Казани, нигде не сбившись с пути. А дальше дорогу искать не надо, верстовые столбы покажут.

В первый месяц пути шли быстро, верст по тридцать в сутки. Досыта наедаться не приходилось, зато берегли харч и корм — путь только начинался. Но больше всего берегли кобылу. Теперь на телегу сажали ребят по очереди, когда они сильно уставали. Деду тоже пришлось идти пешком.

На исходе второго месяца кончились запасы. Телега полегчала, но лошадь все равно тянула ее с трудом, потому что сильно исхудала, не хватало корму. И попасешь лошадь не везде, приходилось уходить от дороги. В поселках и у других

переселенцев начали менять на еду кое-что из вещей. А переселенцев было немало.

Они шли по Великому сибирскому тракту. Шли курские, калужские, рязанские, тульские... Шли не ропща, считая верстовые столбы. Шли, не ведая, где остановятся, где пристанут, но каждый, кто шел, знал: там, в Сибири, в обетованных Барабинских степях, травы в рост теленка, жирные черноземы пустуют, рыбу берут корзинами, дома пятистенные.

Шли озираясь, чтобы никого не пропустить вперед, не отстать, успеть занять получше кусок этой жирной, как масло, земли.

Андрей понимал: земля у него будет, значит, надо довести кобылу. Пусть хоть тощая, но дойдет. Пусть хоть кости свои донесет до вольной земли. Там станет гладкой. И он вспорол мешок семян.

Часть вещей сняли с телеги. Даже шестилетнему Грише и восьмилетней Кате пришлось нести узелки.

Однажды возле верстового столба Андрей увидел холмик, а на нем крест: не дотянул какой-то горемыка. Имени на кресте не было. Наверно, не потому, что люди не уважали покойника, а просто не нашлось грамотного человека.

Потом кресты стали попадаться чаще, и не по одному, а по нескольку сразу, и чем дальше шли, тем гуще становились кресты.

За могилками некому было присмотреть, да и делали их, видно, на скорую руку, поэтому многие кресты наклонились или подгнили и совсем упали, на иных холмиках крестов не было, но все равно видно было, какая могила здесь уже много лет, какая только перезимовала, а которую вчера засыпали.

Когда семена были съедены — а надолго ли их хватит, если и лошади надо и вся семья только ими и питается,— Андрей снял оглобли и борта от телеги и бросил у дороги. Зачем тащить их в Сибирь, если лесу там вволю... Сундук тоже бросил. Раньше в нем лежали пожитки, а теперь он ни к чему.

Андрей вытащил из сундука гвозди, вывинтил шурупы, снял петли и все это бережно завернул в крепкую тряпку. Это пригодится. Там, в Сибири, он сделает сундук получше.

Телега стала легкой, и незачем было впрягать в нее кобылу. Скотина и так едва держалась на ногах.

Андрей смастерил лямки, впрягся в них вместе с женой, а лошадь привязал сзади.

В начале Великого сибирского тракта Андрей обгонял многих переселенцев. Теперь его обходили люди, особенно каторжники. Хотя и они двигались медленно, но жандармы не давали им зевать по сторонам и задерживаться лишнее на привалах. Жандармы торопились скорей пройти свой этап и сдать каторжников, которых дальше поведут другие, и можно будет, наконец, отдохнуть от этой проклятой дороги и покормить своих лошадей.

На исходе третьего месяца пути Андрей поставил первый

крест: похоронил отца. А еще через неделю в один день померли Гриша и Катя. Им он поставил один крест на двоих. Тут же Андрей бросил телегу: не к чему было тащить пустую повозку.

Когда кобыла издохла, семья вволю поела, отобрав лучшие куски. Немного мяса удалось обменять на зерно, немного взять с собой, а остальное бросили, потому что присолить нечем было и мясо в дороге испортилось бы.

По тракту шло много переселенцев и каторжников. Но могло показаться, что их мало. Ведь Великий сибирский тракт пересекал почти всю страну и тянулся на много тысяч верст. А переселенцы и каторжники не скапливались в одном месте, а тоже шли по всей России, растянувшись на много тысяч верст. Со стороны можно было подумать, что все, кто идет по тракту, сплошь каторжники. Все они были похожи друг на друга — голодные, прокопченные, одичалые, в пропыленных лохмотьях. Правда, у каторжников на ногах были цепи, а у переселенцев кандалов не было, но и они от переутомления передвигали ногами, точно закованные. Ошибиться можно было и потому, что все пели одну и ту же песню, и она тоже слышалась на тысячи верст:

Динь-бом, динь-бом,
Слышен звон кандальный...

Под конец пути уже не все пели. Из-за усталости люди только шептали, облизывая пересохшие губы:

Динь-бом, динь-бом,
Путь сибирский дальний...

Но большая часть людей и шептать перестала. Они шли молча, но не могли избавиться от навязчивых, тягучих слов:

Динь-бом...динь-бом...динь-бом...

Великий сибирский тракт... Андрей Чеботарев не знал, что по этому тракту прошло уже много смелых и честных людей России. Мимо тех же верстовых столбов гнали в ссылку Радищева, вели на каторгу декабристов, ехали вслед за мужьями героические русские женщины... Братья Бестужевы, Муравьев, Лунин, Кюхельбекер... Волконская, Трубецкая... Везли на поселение Чернышевского, Короленко. Этот путь проделали русские ученые Чекановский, Пржевальский, Штернберг... Где-то здесь останавливался Чехов, совершая свое знаменитое путешествие на Сахалин.

Не слышал об этих людях Андрей Чеботарев, не знал, что только за десять лет до постройки железной дороги по Великому тракту в Сибирь прошли два миллиона переселенцев. А сколько

добралось до места, никто не знал, потому что на крестах и могилах не писали, кого под ними схоронили — переселенцев или каторжников. Может быть, и правильно делали, что не писали, ведь все это — люди. Всем хотелось лучшей жизни. Кто с боем хотел ее брать и попадал в Сибирь, а кто сам шел туда. И когда одни кончали свое путешествие или умирали, другие только начинали путь по тракту. Люди шли и шли, будто широкая река текла. А кто сможет остановить реку!..

В конце четвертого месяца пути Андрей добрался до Каинска. Это почти самый центр Барабинских степей. Дальше идти было незачем. Многие каторжники тоже остановились здесь: их заключили в знаменитую каинскую тюрьму.

Переселенцы увидели, что их не обманули. Куда ни глянь, на тысячи верст стояли высокие, в рост теленка, густые травы, блестели на солнце озера, где рыбу, наверно, корзинами можно брать; а то, что домов не видно, оно и лучше — любое место свободно, и начальство разрешало брать любую землю.

Многие переселенцы давно уже пришли сюда, но от радости и по неопытности никак не могли выбрать то, что им было нужно. Близ тракта травы оказались в болотах. Стали обходить, а там новые болота, и не было им ни конца ни края.

Кое-кому удалось все же меж болот напасть на сухие участки земли. Построили пока что землянки и начали обрабатывать поле. Но с первыми дождями болота, будто того и ждали, двинулись на сухие участки, засосали, залили, затопили землю. Те, кто похитрей, стали рыть канавы, чтоб вода стекала. Но они не знали, что в Барабе некуда стекать воде — степь ровная, как стол. И канавы скоро затянуло тиной: только болот прибавилось.

После дождей некоторым все же удалось найти незалитые земли. Начали обживать их, рыть колодцы, но на беду вода оказалась соленая, а без воды какая жизнь!

Три тысячи озер и несчетное количество болот Барабинской степи преградили путь к заветным пашням и лугам. Где они, эти пашни, эти черноземы пустующие? Их ведь тысячи и тысячи десятин. Они здесь, в Барабинской степи. Показал бы кто... Да кто ж покажет! Каждая семья металась, каждая в отдельности. И туда, где одни натыкались на болота и молча уходили, шли другие, третьи, десятые, сотые.

Кто знает, куда идти? Как выбраться из болот? Как обойти соленые озера, в которых рыба не живет?

Не мог выбраться и Андрей Чеботарев.

Люди стали искать поселки. Некоторым удалось попасть на работу в мастерские, на солеваренные и винокуренные заводы. Повезло наконец и Андрею. Его вместе с женой взяли на строительство Великой сибирской магистрали. Им объяснили, что берут их из жалости, и пусть уж работают, не привередничая, не высчитывая время.

Но им сказали неправду. На строительство железной дороги

требовалось много народу, и переселенцев здесь только и подстерегали. Видят, что людям некуда деться и нечего есть, вот и берут за харч.

Строилась Великая сибирская магистраль, и вдоль нее не было крестов, потому что ставить кресты близ полотна не разрешалось. Покойников уносили далеко в сторону. А если некому было этим заниматься, тайком закапывали тут же, где люди умирали, в каменоломнях, но только крестов не ставили.

СТАРЫЙ ОБХОДЧИК

Пока строилась железная дорога, Андрей работал на укладке пути, а потом стал путевым обходчиком. Его сын тоже поступил на железную дорогу.

О собственной земле, о своем хозяйстве Андрей давно перестал думать. Ни к чему это было. О своей давнишней мечте, с которой отправлялся в Сибирь, вспоминал только при встречах с переселенцами. А шло их сюда, как и в прежние годы, немало.

Андрей подолгу смотрел на каждую партию новых переселенцев, на их лица, полные страха и надежд, и грустно покачивал головой. Когда-то и он с таким же страхом и надеждой пришел в эти края.

Что ждет людей? Пройдет месяц-другой, и больше половины переселенцев, вконец разорившихся, раздетых и голодных, тронутся в обратный путь, торопясь, чтобы не застигла сибирская зима. Кое-кто из оставшихся устроится на фабрику, на завод или на чугунку. И только единицы, те, кто довез сюда корову или деньги, осядут на земле.

Переселенцы, только ступив на сибирскую землю, начинали расспросы о жизни в этом богатом краю. Но что мог он рассказать? Разве о том, как его сын вот уже десять лет под тягучую команду артельного таскает рельсы, песок, камни и тяжелые шпалы? Или поведать о своей жизни? Но что о ней скажешь?

Он — путевой обходчик. Он осматривает одну версту двухпутного участка, и других дел у него нет. Он шагает по шпалам и смотрит, не лопнул ли где-нибудь рельс, не ослаб ли болт на стыке, не выскочил ли костыль.

Одна верста — это четыре версты рельсовой нити, и надо ощупать глазами каждый вершок, иначе не увидишь трещину. Одна верста — это три тысячи двести шпал, больше семи тысяч рельсовых подкладок и накладок, тридцать одна тысяча болтов и костылей. Надо осмотреть каждый болт, каждую накладку и подкладку, каждый костыль и шпалу.

Он шагает по шпалам между рельсами и, чтобы увидеть обе нити, смотрит то вправо, то влево. Каждые полсекунды поворачивается голова: вправо-влево, вправо-влево...

По одну сторону железной дороги тянется красивый густой

лес, по другую — луга, о каких он мечтал на Тамбовщине. Но ему неинтересно смотреть на леса и луга...

Заслышав стук колес, он отойдет на правую сторону по ходу поезда, вытащит из кожаного чехольчика флажок и будет держать его впереди себя на вытянутой руке, пока не пройдет последний вагон. Потом повернется лицом к уходящему поезду, отставит руку в сторону и будет так стоять, пока поезд не скроется из глаз. И машинист, который сидит за правым крылом паровоза, и главный кондуктор, и вся поездная бригада будут знать, что путь исправен.

Пропустив поезд, обходчик пойдет дальше. Если попадется лопнувший рельс или случится другая беда, он воткнет в землю красный флажок и побежит, считая шпалы. Отсчитав тысячу шестьсот штук (это будет ровно верста), положит на правый рельс петарду — металлический кружок, похожий на баночку от цинковой мази, пробежит еще тридцать шпал и на левой нити положит вторую петарду и еще последние тридцать шпал, чтобы положить третью на правом рельсе. Не передохнув, бросится назад, к красному флажку, на ходу доставая из-за спины болтающийся на веревочке духовой рожок. Он остановится возле своего красного сигнала и начнет трубить тревогу: длинный, три коротких; длинный, три коротких: «Тууу, ту-ту-ту. Тууу, ту-ту-ту. Тууу, ту-ту-ту...»

Он будет стоять и трубить в рожок, пока, может быть, услышит кто-нибудь из случайных прохожих железнодорожников. А в это время поезд налетит на петарды, и они не принесут никому вреда, это просто хлопушки, но это приказ машинисту немедленно остановиться.

Такие случаи бывают редко. Чаще всего путевой обходчик шагает по шпалам и, если увидит высунувшийся костыль, ударит его по головке узким путевым молотом, который несет в руках; заметит ослабший болт — достанет перекинутый на ремне через спину, точно винтовка, тяжелый ключ и подвернет гайку.

И снова пойдет по шпалам, и снова вправо-влево, вправо-влево...

Андрей не может идти ровным, размеренным шагом. Шпалы лежат то ближе одна к другой, то дальше, и его прыгающие шаги тоже то короткие, то подлиннее, и в такт шагам толкает в спину тяжелый гаечный ключ.

Когда заиграют в глазах зайчики, он остановится и закроет глаза, чтобы они отдохнули и могли снова видеть костыли, болты, гайки...

Он шагает по шпалам, навьюченный сигнальными знаками, петардами, путевым молотом, гаечным ключом, и держит в руках фонарь. Где-то его застанет ночь, и запрыгает в ночи огонек: вправо-влево, вправо-влево...

Он идет днем и ночью, не чувствуя непогоды. Он ни о чем не думает. Не знает, когда начался этот круговой путь по

шпалам, когда кончится. Идет между двумя рельсами, и другого пути у него нет.

Он прошел много тысяч верст, но остался на своей версте, и путь его бесконечен, как у слепой лошади, что идет по кругу и вертит мельничный жернов.

Исхлестанная дождями, прокаленная солнцем кожа на его лице и на шее потрескалась и отвердела. Старый обходчик ни о чем не думает. И не поймешь, отчего, не успев вздремнуть после какого-нибудь тяжелого обхода, он вдруг поднимется с постели и, озираясь, чтобы не увидела жена, пойдет в сарай, достанет спрятанный под дровами узелок, развернет истлевшую от времени тряпку и долго будет смотреть на проржавевшие гвозди, шурупы и петли от старого тамбовского сундука, брошенного когда-то на Великом сибирском тракте. Он перебирает шурупы и петли, и на ладонях остается шелуха ржавчины. Он ни о чем не думает. Механически растирает желтую шелуху, и она превращается в пыль. Это прах умершего металла...

Что мог сказать Андрей переселенцам? Не видать им земли в Сибири, как и на Тамбовщине. Пусть идут на чугунку. Но не в путевые обходчики. Работа легкая, платят за нее мало. Пока молоды, можно и в чернорабочие податься. Там нутро надорвешь, зато заработок будет.

Все это твердо знал Андрей Чеботарев. Но не видел он, стоя с зеленым флажком, что в поезде мимо него уже увозили в глубь Сибири Ленина, что в составах, которым он показывал сигнал «Путь свободен», угоняли на каторгу, в ссылку, на поселение лучших сынов народа... Не знал старый путевой обходчик, что по всей России взошло уже семя, брошенное Лениным. Не растоптать его, не угнать в Сибирь!

И не сбылись слова Андрея Чеботарева. Не пошел его внук Владимир в чернорабочие. В Российском уставе железных дорог был перечеркнут параграф, который гласил: «Железная дорога может быть продана ее владельцем по своему усмотрению или с аукциона».

Не может быть больше продана железная дорога ни «по своему усмотрению», ни «с аукциона». Была в том заслуга и отца Володи, погибшего за Советскую власть.

ЖЕЛЕЗНЫЙ СУНДУЧОК

Володе хотелось быть машинистом. Это желание пришло вдруг, вскоре после окончания начальной школы.

Поздно вечером он возвращался домой из деревни. Было темно, и, может быть, поэтому так ярко блеснули два луча, вырвавшиеся из-за поворота. То ли от темноты, в которой многое кажется таинственным, то ли от того, что он начитался страшных рассказов, но приближавшийся поезд представился ему тяжело дышащим живым существом с огненными глаза-

ми. Огромное чудовище грохотало, шипело, билось о рельсы.

Когда паровоз поравнялся с Володей, он увидел сквозь раскрытую дверь в окно багровое прыгающее зарево, и на этом фоне черные фигурки людей тоже прыгали и казались фантастическими марсианами.

Зарево шло от раскрытой топки, будто из огненной пасти, и веером уходило в небо. Прямо против пасти весь освещенный огнем человек с длинной пикой наизготовку откачнулся назад, увернувшись от нападавшего зверя, и ударил пикой прямо в зев. В тот же миг животное заревело. Видно, в самую глотку вонзилась пика. Пасть захлопнулась, погасло зарево. И уже не лязг вагонов, рванувшихся быстрей вслед за паровозом, а хруст костей по всему хребту до самого хвоста послышался Володе.

Заскрежетало зубами, зашлось в стоне израненное животное. С тяжелой и частой отдышкой, извиваясь, уползало оно в гору, оставляя в воздухе три кровавых луча.

Володя смотрел в темноту, пока слышался стон, пока не скрылись три красных сигнальных огонька на последнем вагоне. И уже издалека, из черной пустоты, словно эхо, еще раз донесся рев животного, и все смолкло.

Кругом было тихо, но разбушевавшаяся фантазия рисовала все новые картины битвы марсиан со страшным чудовищем. И каждый раз марсиане выходили победителями.

...Володе не спалось. Ему казалось, что он мчится куда-то в ночь на этой огромной, послушной его воле машине, мимо поселков, лесов, городов, заводов. Вот он, как вихрь, врывается на огромную, всю в огнях станцию и стопорит своего стального коня у самого перрона. Он идет через залитый светом перрон, и люди с восторгом смотрят на него, на утихшую машину, которая покорно будет стоять в ожидании хозяина...

В те секунды, когда паровоз показался Володе таинственным чудовищем, у него и появилась мечта стать машинистом. Впрочем, это не совсем точно. В тот вечер даже его возбужденная фантазия не смогла бы привести к такой смелой мечте. Просто что-то новое, неясное, волнующее шевельнулось в его душе.

Володя мечтал о паровозе. Но ведь мечта — это нечто созданное воображением, часто несбыточное или очень далекое, выношенное в себе, дорогое, о чем не скажешь всякому. Иначе это не мечта, а просто желание.

У Володи была очень странная мечта. Паровоз все еще представлялся ему фантастическим, сказочным, но вместе с тем он твердо знал, что в сентябре поступит в ФЗУ на отделение помощников машиниста. А пройдет немного времени, и он поднимется на паровоз с правом управления. Это была уже не мечта, а жизнь, нормальное, естественное явление, как переход из одного класса в другой. Многие ребята, окончившие школу раньше его, с которыми он вместе играл в поезда, уже работают на паровозах.

Езда на паровозе в сознании Володи никак не укладывалась в понятие «работа». Работают на ремонте пути, в цехах депо, на станции... А мчаться куда-то в ночь, сквозь пургу, врезаться в ущелья, пересекать реки, проноситься мимо ярко освещенных станций — да какая же это работа? Это счастье!

Скоро ему выдадут форменную тужурку с двумя рядами блестящих металлических пуговиц и синим кантом на петлицах, какую носят только паровозники. Как и все они, он будет брать с собой еду в специальном железном сундучке...

Сундучок паровозника! Он существует столько же, сколько и паровоз. Кто изобрел его, неизвестно. Нет и не было приказа об обязательном ношении сундучка. Он сам вошел в жизнь как совершенно неотъемлемая часть водителей поездов.

По всей необъятной стране, всюду, где есть хоть маленькая железнодорожная ветка, можно увидеть человека с сундучком. И в чем бы он ни был одет, как бы ни выглядел, ошибиться невозможно — этот человек водит поезда.

Паровозников — десятки тысяч. И каждый из них имеет сундучок одинаковой формы, с характерно изогнутой крышкой. Он может быть выкрашен в зеленый или синий цвет, может остаться неокрашенным вовсе, может быть чуть побольше или поменьше, но форма и даже внутреннее устройство одинаковы: отделение для бутылки молока, для кастрюльки или чугунка, для сахара, хлеба, масла... На боковых стенках несколько дырочек, прикрытых козырьками. Это вентиляция.

Сундучок имеют только паровозники. Покажись путеец или связист с железным сундучком — и это произвело бы такое же впечатление, как если бы они надели чужую форму.

Сундучок паровозника... Сколько заботливых женских рук, рук матерей, сестер, жен, и среди дня, и на рассвете, и глубокой ночью укладывают сундучки для людей, которые поведут поезда! Ни угольная пыль паровоза, ни мазут, ни вода не проникнут в сундучок. Ему не страшны толчки паровоза, и будь даже крушение, в нем все останется как было. И где бы ни довелось поесть машинисту — в пути ли, на долгой стоянке или в доме для отдыха бригад,— он найдет в своем сундучке самое любимое блюдо, найдет чай или соль именно в том месте, где им и положено лежать.

Сундучок паровозника — это не только удобная тара. В нем что-то символическое, в нем профессиональная гордость. Приобретение сундучка не просто обновка. Это шаг в жизни, это новый ее этап.

Когда юноша приходит домой с сундучком, еще не бывшим на паровозе, посмотрит мать на сына, вздохнет, погладит по голове: «Ведь вот еще вчера бегал по улицам, а уже с сундучком».

Потом постоит немного и снова вздохнет: «Пусть принесет он тебе счастье, сынок!»

А соседи, увидев такого юношу, одобрительно скажут:

«Этот самостоятельный, вон с каких пор уже с сундучком».

Часто бывает и так. Старый машинист, сидя у себя в садике, поправит очки, достанет из жилетного кармана казенные часы на тяжелой цепочке и, глядя на них, чтобы скрыть от людей набегающую слезу, скажет сыну с напускной суровостью:

«Новый сундучок не заказывай — мать соберет тебе мой. Я уже отъездился. Береги его. Он послужил мне тридцать лет, побывал и за левым крылом и за правым, видел маневровые паровозы, товарные, пассажирские. Старенький он, и люди его знают. Где ни появишься с ним, всякий скажет, чей ты сын. Не забывай про это».

Володе хотелось по праву носить сундучок. Он уже ясно видел себя на мягком сиденье левого крыла. Небрежно положив руку на подлокотник, обрамленный тяжелой бахромой, высунувшись немного из окна, он мчится по стальной магистрали, то поглядывая назад — в порядке ли поезд, то зорко всматриваясь в огоньки сигналов, то бросая взгляд на манометр...

Потом картина меняется: он видит себя в темную ночь с горящим факелом, масленкой и ключом в руках возле паровоза.

И опять ночь. Он лежит на своей постели, и к его окну подходит человек. Человек легонько стучит палкой в окошко и громко говорит: «Помощник машиниста Чеботарев! Вам в поездку на три ноль-ноль».

Володя и сам знает, что в три часа ночи ему в поездку, но так уже заведено на транспорте, что часа за два до отправки в ясный ли день или в ночной буран к паровознику придет рассыльный, чтобы разбудить его, напомнить о поездке, убедиться, дома ли человек, не болен ли, готов ли ехать.

Эти мысли тоже наполняют сердце Володи гордостью. Это специально за ним придет человек в любую погоду, в любое время суток, чтобы он, Владимир Чеботарев, повел поезд с важными грузами или людьми.

Потом его мысли уносятся еще дальше, и он уже смотрит на огромную, во всю стену, доску, разграфленную на сотни прямоугольников. В каждом из них металлическая пластинка, подвешенная на гвоздиках без головок. Володя отыскивает пластинку с четко выведенной масляной краской надписью: «В. А. Чеботарев». Она висит в графе: «На отдыхе». Ему слышится голос дежурного по депо, обращенный к нарядчику:

«А где у нас Чеботарев?»

«Сейчас посмотрим».

Нарядчик пробегает глазами графы: «В поездке», «В командировке», «В отпуске»... На доске много граф, и они точно скажут, где в данную минуту находится любой из сотен паровозников.

Жизнь Володи в эти дни была ясной и радостной. На пути к цели он не видел никаких преград, да их и не было: Барабин-

ское ФЗУ принимало без экзаменов всех, окончивших семилетку. А школу Володя окончил хорошо.

За месяц до начала занятий в училище он вскрыл свою копилку, добавил немного денег из тех, что дал отец, и втайне от всех пошел к жестянщику — к лучшему мастеру паровозных сундучков.

ТРИ КРАСНЫХ ОГОНЬКА

Председатель приемной комиссии просмотрел аккуратно сложенные документы Владимира и сказал:

— Будете приняты. Занятия начнутся первого сентября, но явиться надо дня на два-три раньше. Получить обмундирование.

И хотя ничего другого Володя не ждал, но радость сковала его, и он, так ничего и не ответив, тихо пошел к двери. Он уже готов был переступить порог, когда председатель окликнул его:

— Э-э, молодой человек,— сказал он, глядя поверх очков,— исправьте свое заявление или лучше перепишите его. Не на паровозное отделение, а на слесарное.

Володя удивленно и тревожно посмотрел на председателя:

— Да, но я прошу на паровозное...

— Голубчик,— уже раздраженно ответил человек в очках.— ведь на двери аршинными буквами черным по белому написано — на паровозное отделение приема нет. Возьмите вот, перепишите.— И он протянул Володе лист бумаги.

Володя не смог подойти к столу.

— А кто повесил это объявление? — наконец выдавил он.

— Как — кто? — удивился председатель.— Я, приемная комиссия.

И опять Володя не знал, что делать.

— Берите же,— с нетерпением сказал председатель, потряхивая листом бумаги,— и не задерживайте меня, дорогуша.

— Я сейчас, я сейчас зайду,— забормотал Володя,— я должен сам прочитать объявление.

Он вышел и прочитал объявление. Затем спустился по ступенькам с крыльца и куда-то пошел, потому что ему теперь было все равно куда идти. Он ничего больше не ждал от жизни. Она была безжалостно разрушена и растоптана. Рухнуло все, о чем он мечтал больше трех лет, о чем думал ночами, что представлялось уже не мечтой, а самой близкой действительностью.

Нет, слесарем он не будет. И никем другим, кроме паровозника, не будет. Но ведь это похоже на упрямство первоклассника. «Не будет, не будет». А что делать? Если бы его одного не приняли, он добивался бы, мог дойти даже до начальника железной дороги. А понадобись, и самому наркому мог жаловаться. Но ведь просто приема нет. Никого не приняли, ни одного человека.

Володя шел вдоль путей в сторону депо. И вдруг лицом к лицу столкнулся с человеком, вынырнувшим из-под вагона. В руках у того был сундучок. Володя остановился.

Сундучок! Что он скажет жестянщику? Ему вспомнились слова этого старого мастера: «Молодец, парень, коль уже сундучок заказываешь». Как объяснить старику, что сундучок теперь не нужен? Ведь это не просто — заказал вещь, а потом передумал. Это все равно что заготовил себе командирские петлицы, а в командиры тебя не произвели. Зачем же он так поторопился? Нет, к жестянщику он не пойдет. Пусть лучше его деньги пропадут, пусть его сундучок достанется другому, более счастливому человеку.

Володя повернул в сторону от депо. Он боялся теперь встретиться с людьми, которые несут сундучки. Далеко за выходным семафором сел на бугорок, обнял колени и долго сидел, покачиваясь, ни о чем не думая, смотрел на проносящиеся поезда.

Когда стемнело, так же не думая, спустился с насыпи и уныло побрел домой. Он медленно ступал по шпалам и вдруг, как три года назад, увидел вырвавшиеся из-за поворота два ярких огня. Володя остановился. Неясно, лениво, не задержавшись, проплыла мысль: он стоит на том же пути, по которому идет поезд. Огни приближались быстро, слепили глаза, а он стоял и смотрел на них, не в силах оторвать взгляда или сойти в сторону. Он стоял будто под гипнозом этих притягивающих огней, и ему не было страшно. Снова неясно и лениво напомнила о себе тревожная мысль, но оборвалась от грохота, грома, света, навалившихся сзади. Володя шарахнулся в сторону и только тогда понял, что по второму пути в противоположном направлении промчался паровоз. Теперь мимо него неслись вагоны, грохоча на стыках. И опять подумалось: если бы не встречный паровоз, он так и не смог бы уйти с пути и сейчас лежал бы под этими грохочущими вагонами. Он поспешно отошел подальше от путей, будто угроза еще не миновала, и решительно зашагал в сторону станции. Почему именно туда — он не знал, но ему было ясно, что надо действовать.

На станции, как и всегда, стоял бесконечный и беспорядочный гул. Десятки паровозов гудели на разные лады, надрывались, хрипели, и в эти голоса вплетались тонкие, визгливые или дребезжащие звуки рожков и свистков. Время от времени, заглушая все вокруг, заревет мощный паровоз, и гулко ответит ему далекое эхо.

Для Володи это не был хаос звуков. Каждый паровозный гудок выражал определенную, ясную мысль и имел точный адрес: между машинистами и станционными работниками шел деловой разговор. Чаще всего это был согласный разговор, и обе стороны оставались удовлетворенными. Но порой возникал спор, и тогда сигналы нервничали, надрывались, пока какая-либо сторона не уступит.

Даже в такую тяжелую минуту Володя не мог не остановиться и не послушать, о чем говорят паровозы.

Кто-то неистово требует, чтобы его пропустили на канаву для чистки топки. А вот этот уже вернулся из поездки и спешит на деповские пути на отдых. Его гудки просящие, жалобные, «Я, конечно, понимаю, что всем вам некогда, но и меня поймите, ведь я устал, отдохнуть хочется».

Тонкие голоса маневровых паровозов, мечущихся по всем путям, крикливо сообщают о своем маршруте: то им надо на третий путь, то на тринадцатый. И те, кто стоит возле стрелок, у входа на эти пути, отвечают рожком: пожалуйста, можете не кричать, стрелка вам сделана.

А зазевается стрелочница, «маневрушка» поднимет такой шум, чтобы ее сигналы начальник станции услышал: видите, дескать, как плохо ваши люди работают.

Где-то сбоку, на запасных путях, еще одна трудолюбивая «кукушка», повторяя приказы составителя, заладила только три сигнала: «вперед», «назад», «тише». И, подчиняясь этим сигналам, действительно снует взад-вперед то быстрее, то тише.

В западном парке у товарного Эм не ладится с тормозами. Он все время сигналит: «затормозить», «отпустить».

Откуда-то издалека доносится оповестительный гудок. Это паровоз предупреждает всех: «Я приближаюсь с поездом, для меня открыт семафор, еще раз проверьте, все ли в порядке, не попаду ли я на занятый путь, остановилась ли «маневрушка», да и вообще я уже почти на станции, так что все, кому положено, пусть выходят меня встречать».

А с противоположной стороны несутся гудки группами по три длинных, протяжных, взывающих: машинист требует, чтобы поездная прислуга немедленно затянула ручные тормоза. Он идет с уклона и, видимо, на одного себя не надеется.

И все эти гудки, свистки, сигналы сливаются в общий бесконечный гул, который кажется непосвященному человеку страшным хаосом.

Станция жила обычной, будничной жизнью. Володя постоял немного на путях, будто окунулся в нее, и пошел дальше, в депо. Еще несколько минут назад он не смог бы ответить, зачем идет туда. А вот сейчас прояснилась и мысль. Он хочет посмотреть на слесарей, хочет увидеть, как они работают.

Странные вещи бывают в жизни. Его тянуло в депо, будто он знал, как важно для него в эту минуту, именно в эту минуту оказаться там.

На деповских путях было меньше света, чем на станционных. Часть территории совсем не освещалась. Но и здесь шла своя жизнь. На всех путях стояли паровозы. Издали возле каждой машины виднелся только человек с факелом и исходящий от него огненный круг. Володя знал, что там делается. Вот фигурка с факелом и масленкой. Это помощник машиниста смазывает под-

шипники. Вот в огненном круге человек с молотком. Это машинист принимает паровоз. Вот факел вырвал из темноты фигуру у тендерных колес. Это кочегар осматривает буксы. Паровозная бригада готовится к поездке.

Рядом другой паровоз. Факелы поднимаются наверх, в будку машиниста, и там гаснут. Значит, все приготовления закончены, факелы опущены в бидон с мазутом. Здесь они хорошо пропитаются, и когда снова понадобятся, их просунут в дверцу топки, и они вспыхнут ярким светом.

Володя вошел в депо. Возле одного из паровозов возился слесарь.

— Черт знает что творится, тьфу! — услыхал Володя голос позади себя и обернулся.

Перед ним стоял его сосед по квартире, старый мастер депо.

— А ты зачем сюда так поздно, тоже в машинисты метишь?

Володя опешил. А старику, видно, хотелось излить душу безразлично перед кем, и он зло заговорил:

— Сопли не умеют утереть, а на паровоз лезут — потому так и получается.

— А что получается? — с недоумением спросил Володя.

— Как — что? Видишь, на канаву загнали,— показал он на паровоз.— Насос, понимаете, испортился. А что в нем испортилось? Пуговка от стержня оторвалась, вот и все. А он, нате вам, в депо гонит,— возмущенно развел старик руками.— Все потому, что скороспелок готовят. Раньше, бывало, ты годков пять — десять слесарем поработай, все нутро руками прощупай, посмотри, где что находится, а потом и на паровоз можно. А теперь что? Расскажут мальчишкам те-о-ре-ти-чес-ки, куда гайки крутятся,— и уже машинист! А ты руками пощупай, попробуй, куда они крутятся, покрути-ка их. То-то, брат... Вот и получается: чуть что, он в депо лезет, а случись какая малость в пути, вспомогательный паровоз требует. Тьфу! — сплюнул он еще раз и, не обращая больше внимания на Володю, пошел в свою конторку.

Весь следующий день слова старого мастера не выходили из головы Володи. Разумом он понимал, что надо сначала на паровозного слесаря выучиться, действительно узнать все нутро машины, но велика ли сила воли в пятнадцать лет! Он решил сразу учиться на помощника машиниста в Омском ФЗУ, где был недобор на паровозном отделении.

Несколько дней ходил Володя с мятущейся душой. В день отъезда ему особенно было не по себе. Поезд отправлялся в три часа ночи, впереди целый свободный день. Его тянуло в депо, хотя он твердо решил не ходить туда.

Он пошел в депо. Долго стоял возле паровоза, из которого вынули «нутро». Смотрел, как слесари ловко и уверенно на ощупь откручивают болты с невидимых деталей, спрятавшихся где-то под приборами.

«Действительно, это люди по-настоящему знают паровоз»,—

подумал Володя, и эта мысль была ему неприятна. Ведь вот известно им, что где-то внизу надо нащупать болтик, отвернуть его, отвести в сторону пластинку, наклонить ее, и тогда она снимется...

Он с нетерпением ждал вечера. Он гнал от себя мысли, навеянные старым мастером, о машинистах-скороспелках, но отвязаться от них не мог. В нем шла борьба, в которой разум и неокрепшая воля робко выступали против юношеской фантазии, против романтики мчащегося паровоза, покоренного им. Он старался думать только о том, как будет водить курьерские поезда, он ловил себя на предательски разъедающих его сомнениях.

«А случись какая малость в пути, они вспомогательный паровоз требуют». Эта фраза мастера, как навязчивый мотив, не выходила из головы.

...В половине третьего ночи он пошел на вокзал. На перроне почти никого не было. Дежурный по станции, в красной фуражке, с фонарем в руках, встретил поезд и поспешил к себе в помещение. Важно шагая, проследовал главный кондуктор с кожаной сумкой через плечо. Какая-то старушка, толкаемая собственными сумками и мешочками, никак не могла влезть в вагон. Но вот и она исчезла...

Володя не торопился занять свое место. Вещей у него нет, успеется. Он шагал по пустынному ночному перрону вдоль поезда и думал: «Почему только из трех вагонов вышли проводники? На станции полагается открывать все двери. Наверно, спят...» Мысли как будто улеглись, успокоились.

Раздались два звонка. Значит, до отхода поезда — две минуты. За это время успеет дойти вон до того вагона и вернуться обратно.

Главный с бумажкой в руках торопливо пошел к паровозу. Наверно, это предупреждение машинисту о том, что на таком-то километре надо ехать с ограниченной скоростью... Снова появился дежурный в своей красной фуражке. В дверях всех вагонов показались проводники с белыми огнями фонарей... Оказывается, люди не спали...

Свисток главного застал Володю возле тамбура седьмого вагона, в котором он должен ехать. Теперь осталось время только дойти до середины вагона, до таблички с надписью «Владивосток — Москва», и вернуться назад.

Поезд тронулся, когда Володя подходил к подножке своего вагона. Надо бы ускорить шаг, но он продолжал идти спокойно, и она медленно проплыла мимо. Вот уже подножка следующего вагона. Он посмотрел на поручни, на нижнюю ступеньку. Никаких усилий не надо, чтобы встать на нее. Но и она проплыла... Поезд набирал скорость. Осталась еще одна возможность — вскочить на последнюю подножку. Это вагон номер двенадцать. Но ведь у него билет в седьмой... Володя горько усмехнулся: каким он стал точным!

Он обернулся, провожая глазами поезд. Все уменьшаясь и тускнея, струились три красных луча удалявшегося последнего вагона. Он вспомнил:

«Ночью хвост поезда ограждается тремя фонарями, показывающими назад три красных огня...»

Дежурный открыл свой фонарь, задул свечу и направился в здание. Больше на перроне никого не было.

«Теперь все»,— подумал Володя.

Идти домой не хотелось. Машинально пересек пути и направился по проселочной дороге вдоль опушки леса. Далеко за городом близ монастыря, где размещался теперь детский дом, увидел силуэты трех парней, стоявших к нему спиной. До него донеслась фраза:

— А теперь ты узнаешь красивую жизнь. Пошли.

Встреч с детдомовцами Володя избегал. Не потому, что боялся, а как-то не по душе они ему были. Из нескольких ребят, с которыми он был знаком, нравился только Витя Дубравин. Тихий, хороший парень, не похожий, как Володе казалось, на детдомовских головорезов.

Трое зашагали в сторону города, и среди них Володя узнал Виктора. Он был в компании с мальчишкой по прозвищу Нэпман и еще какого-то грузного парня. «Значит, Витька тоже такой»,— подумал Володя, а те трое глядя на ночь пошли искать «красивую жизнь».

ПРИВИДЕНИЕ

В монастыре появилось привидение. Это не просто кому-то померещилось. Белый саван видели многие. Как он возникал, никто не знал. Приходить с кладбища, расположенного поблизости, привидение не могло: чугунные монастырские ворота на ночь запирались, а высокая каменная ограда была утыкана сверху большими осколками разбитых бутылок.

Почерневшие и изъеденные временами своды и стены в коридорах освещались тусклыми керосиновыми лампами. От недостатка кислорода они мигали и коптили. В кельях ламп не было. Те, кому удавалось раздобыть что-то вроде масла, зажигали у себя тощие фитильки старых лампадок.

После отбоя, когда бывшие беспризорники расходились по своим кельям, именуемым спальнями, заведующий детдомом и воспитатели задвигали изнутри тяжелый засов главного входа, вешали на него замок и начинали обход. Они шли через многочисленные узенькие коридоры с большим фонарем, заглядывали в каждую спальню, осматривали все уголки и, убедившись, что везде должный порядок, поднимались в свои комнаты.

Разместить в келье по два топчана было негде, поэтому ребята спали по двое, «валетом». Спали чутко, настороженно: ожидали привидения в белом саване. И оно являлось, возникая

словно из воздуха, и с глухим стоном устремлялось в первую попавшуюся келью. Вихрем вылетали оттуда ребята, и их крик гулким эхом разносился под сводами. Мгновенно оживал весь детдом.

Несколько парней старшего возраста выбегали первыми, но привидение успевало исчезнуть. Особое стремление поймать Белый саван проявлял Колька Калюжный, по прозвищу Нэпман, и его друг Антон, у которого прозвища не было.

Шестнадцатилетнего Нэпмана уважали и боялись. Большой силой он не отличался, но был бесшабашно смел и удивительно ловок. В любой драке оказывался позади противника и безжалостно пользовался этим преимуществом.

Красивый, с мягкими вьющимися волосами, Нэпман был одержим страстью шикарно одеваться. Носил модные брюки-дудочки, остроносые ботинки «джимми», клетчатый пиджак, из-под бортов которого виднелся кремовый жилет. Он любил, чтобы все видели, как щегольски извлекает он из жилета часы на тонкой длинной цепочке, как небрежно опускает их обратно в карман.

Нэпман с презрением отказывался от серой мешковатой одежды детдомовцев, благо никто не настаивал на том, чтобы он получал ее, потому что одежды не хватало. Когда в монастырском дворе назревали драки, в ладони у Нэпмана неожиданно появлялась плоская черная рукоятка. Она словно выскальзывала из рукава. Несколько секунд он перебирал ее пальцами, потом неуловимым движением нажимал какой-то рычажок, и с металлическим щелчком из нее выскакивало тонкое лезвие кинжальной формы. Безучастный ко всему, он начинал старательно чистить лезвием ногти. И все знали: еще одно слово против него,— и он ударит ножом.

Порой Нэпман исчезал из детдома, но через день-два возвращался, объясняя воспитателям, как случайно встретил родную тетю, которая ехала на съезд женделегаток в Москву и, увидев его, сошла с поезда, чтобы побыть немного со своим племянником. Или оказывалось, что приезжал его родной дядя, который имеет собственную пуговичную фабрику, и тоже хотел повидать своего любимого племянника. В доказательство демонстрировал их подарки — большие свертки с продуктами, модные брюки или другую одежду.

Едва ли не половину своего времени заведующий детдомом тратил на Нэпмана. За каждую провинность строго наказывал, часами взывал к его совести и сознанию, угрожал, что отправит в исправительный лагерь, и действительно собирался это сделать. Нэмпан понимающе кивал головой, соглашался со всеми доводами, обещал исправиться, искренне обижался за то, что воспитатели не верят в мифических родственников и их подарки.

После каждой отлучки вел себя примерно, помогал воспитателям, добросовестно работал в детдомовской столярной мастер-

ской. И только на огороде ничего не хотел делать. Но тут его выручал Антон — деревенский парень, на год младше Нэпмана, неповоротливый и медлительный, обладавший большой, не по годам силой. Грядки были распределены между детдомовцами, и Антон успевал обрабатывать и свой участок и грядку друга. Он охотно подчинялся каждой прихоти Нэпмана, понимал его взгляды, принимал их как приказ, слепо и радостно шел за ним на любое дело. Их боялся весь детдом. Боялись черной рукоятки и тяжелых, как гири, кулаков Антона.

Когда привидение появилось впервые, Нэпман похвастался, что поймает его во что бы то ни стало. И не просто пырнет ножом, а схватит живое, в таком виде, как оно является. И действительно, на крик они с Антоном успевали первыми, но все же опаздывали. Иногда дежурный видел их в коридоре после отбоя и радовался, понимая, что они вышли на охоту за Белым саваном.

В угловой келье жил маленький и юркий Витька Дубравин со своим старшим братом Владимиром. Как и все в детдоме, они боялись Белого савана. И когда среди ночи скрипнула тяжелая дверь, Володя, лежавший с краю, успел прошмыгнуть в коридор, а Витька, сжавшись в комочек, застыл на месте, боясь пошевелиться, и не дыша смотрел на высокое, в полтора человеческих роста, белое чудовище. Оно медленно приближалось, словно плыло, шевеля крыльями, похожими на плавники. Привидение стало склоняться к нарам, и Витька увидел под кисеей совершенно человеческую форму головы. Сами по себе сжались мышцы во всем теле, он рванулся в каком-то неестественном прыжке и вцепился в горло привидения.

В ту же секунду его отшвырнуло к стене, он больно ударился головой и услышал радостный голос:

— Вот он! Наконец-то! Молодец, черт возьми!

Белая кисея была сброшена. На плечах у Антона, закинув ноги за его спину, сидел улыбающийся Нэпман. Он соскочил на пол и серьезно, даже сурово сказал:

— Ты мне очень нужен, парень. Я давно ищу такого маленького и смелого.

Из коридора донесся нарастающий гул голосов.

— Молчи! — властно сказал Нэпман, подфутболив кисею под топчан. Он выскочил в коридор вместе с Антоном, и уже оттуда Витька услышал его голос:

— Опять опоздали, черт побери. Только что здесь было. Вон парень в келье видел. Ни жив ни мертв, слова вымолвить не может.

Витька никому ничего не сказал, даже брату. Не потому, что боялся. Он не понимал, что произошло, не представлял, что будет дальше, но радостное чувство, ощущение чего-то таинственного переполняло его. Он всегда с восхищением смотрел на Нэпмана. Не красивая одежда и не сытая жизнь, какую ухит-

рялся вести Нэпман среди голодных ребят, привлекали Витьку. Он завидовал его бесстрашию, ловкости, власти над всем детдомом. Теперь Витька словно приобщился к миру Нэпмана. У них появилась общая тайна.

На следующий день, как и обычно, после завтрака начались занятия. Витька сидел спокойно, казалось, слушал урок, но из головы не выходило ночное происшествие. И то, что во время завтрака он дважды почти столкнулся с Нэпманом, и тот не обратил на него внимания, не только не расстроило, но вызвало гордость. Это же неправда, будто он не обратил внимания. На какой-то неуловимый миг прищуренные глаза Нэпмана задержались на Витьке и закрепили их союз. И ни одна душа не могла этого заметить или понять. Витька тоже теперь будет делать вид, будто ничего общего с Нэпманом не имеет. Только так и надо сохранять тайну. Пусть знает Нэпман, что парень он не дурак и положиться на него можно.

После окончания уроков был свободный час до обеда. В этот час, разбившись на группы, детдомовцы вместе с воспитателями уходили за монастырские ворота, в лес или к речушке, протекавшей у самой ограды.

Хорошее настроение не покидало Витьку. Он перешел речку вброд и побежал по лесу, то сшибая с дороги сосновые шишки, то высоко подпрыгивая, чтобы достать ветки деревьев. На душе было легко.

...Чувство голода заставило Витьку вернуться к реке. Опоздаешь на обед — стащат твою пайку хлеба, и никакой силой ее не вернуть. А главное в обеде — хлеб. На завтрак и ужин давали по маленькому кусочку, зато к обеду — триста граммов. Кроме хлеба полагается суп, который тем и славился, что был горячий.

На опушке увидел Нэпмана и Антона. Они сидели под вербой и играли в «ножички».

— Садись,— пригласил Нэпман.

Витька почувствовал, что говорят с ним как с равным. Ему было это приятно. Он смотрел и удивлялся, как плохо играл Нэпман. Нож у него падал плашмя, не врезаясь в землю. Антон легко выиграл. Коль так, то и Витьке не стыдно сразиться. Он многих обставлял в детдоме.

— Сыграем? — спросил Нэпман.

Предстояло вонзить нож в землю из семи положений. Когда Витька бил с четвертого, Нэпман еще не мог осилить второго.

— Пропал мой хлеб,— вздохнул Нэпман.

— Почему? — не понял Витька.

— Так мы ж на хлеб играем. В первый раз, что ли?

Витька не мог признаться, что на хлеб — в первый раз. Преимущество было явно на его стороне, но веру в выигрыш он почему-то потерял. И действительно, хотя с большим трудом, но победил Нэпман. Отказаться от следующей партии не хватило духу. Теперь игра шла на ужин. Витька решил выиграть во что

бы то ни стало. Первым, как победитель в предыдущей партии, бил Нэпман. С легкостью жонглера он шесть раз вогнал нож в землю, а седьмой раз — в дерево с большого расстояния.

Витька опешил.

— Я научу тебя владеть ножом,— покровительственно сказал Нэпман, вытирая травою лезвие.

С чувством неизмеримого превосходства над всем окружающим миром Нэпман направился к монастырю. Антон последовал за ним. Витька смотрел им вслед и понимал, как он ничтожен.

Обедали в бывшей молельне, где разместились и столовая с посудными полками, и учебные классы с книжными шкафами. Длинные столы в две доски и скамейки ребята сделали сами. И за всеми столами сидели детдомовцы и ели хлеб с супом. Многие, чтобы не портить вкуса хлеба, съедали его отдельно, а потом принимались за свои миски.

Хлеб всегда выдавали несвежим. С него обильно сыпались крошки. На этот раз, впервые, он словно дышит. Хорошо выпеченный, мягкий, ноздреватый, как живой. Витька взял лежащую перед ним горбушку и не увидел, а почувствовал грозные взгляды Нэпмана и Антона. Он крепче сжал ее в руке, но это машинальное движение. Горбушка больше не принадлежит ему. Он положил ее на стол, а она, точно губка, расправилась, приняла прежнюю форму.

Хлеб! Ароматный, теплый, вкусный. Сколько раз, глотая слюну, думал о нем Витька. Сколько раз видел во сне большие куски, целые краюхи, буханки, штабеля караваев. Круглые, поджаристые, пахучие, с бугристой полопавшейся корочкой сбоку, где оплыло и зарумянилось, запеклось тесто. Он явственно ощущал этот ни с чем не сравнимый запах свежего черного хлеба и никак не мог взять хоть один кусочек в онемевшие, безжизненные руки. Он тяжело стонал во сне, и плакал от обиды, и просыпался, и злился, что прервал такой чудесный сон. Он тянул носом, стараясь уловить этот живой запах, который только что так явственно ощущал, и вдыхал пыль товарного вагона или гнилой воздух мусорной свалки, где случайно заснул.

Но то были сны, видения, а теперь перед ним хлеб, его собственный, его доля, его пайка, положенная ему по праву.

За всеми столами ели. Молча, сосредоточенно, как пожилые крестьяне. Даже самые маленькие не торопились, не хватали, смаковали каждый кусочек, следя, чтобы не уронить крошку. Ели все. И только он один хлебал суп, не отрывая глаз от своей горбушки.

Если схватить ее и быстро-быстро большими кусками запихать в рот, отнять не успеют. Да можно и не спешить. Нэпман отнимать не станет. Даже внимания не обратит. А вечером будут бить. Накинут на голову одеяло и будут бить. Кричать нельзя. Если закричишь, тяжелые и частые удары в рот заставят замолчать. Хочешь сохранить зубы, терпи молча, без криков, без стонов.

Бьют по справедливости, за дело — значит, нечего артачиться. Будешь вести себя честно, и они выдержат все законы «темной». Никто не ударит ногой или в запретные места. Когда упадешь и они увидят, что не притворяешься, оставят в покое.

— Витя, почему не ешь хлеб?

Перед ним стояла воспитательница Елена Евгеньевна.

— Сладкое на закуску,— не растерялся Витька.

Она потрепала его по волосам, улыбнулась, прошла дальше.

Разделавшись с супом, взял горбушку, чтобы сунуть ее за пазуху и после обеда незаметно для других отдать Нэпману. Когда он поднес ее к вороту рубахи, аромат хлеба, должно быть, вскружил ему голову. Со злостью оторвал зубами большой кусок и начал жадно есть.

Пусть бьют. Не в первый раз.

У него не хватило воли взглянуть на Нэпмана, не хватило выдержки не торопиться. За обеими щеками у него был хлеб, и он глотал непережеванные куски, низко нагнувшись над столом.

Весь остаток дня Нэпман ни разу не посмотрел в его сторону, и это было плохо, но все равно свой ужин Витька тоже съел сам. Семь бед — один ответ.

Вечером старшие ребята, несколько воспитателей и директор уехали на станцию за продуктами. Отправился с ними и Витькин брат. А Нэпман и Антон остались. Они заболели. У них поднялась температура. Девять легких щелчков по головке градусника, и температура будет тридцать восемь и шесть. Сильно бить нельзя — может разорваться ртутный столбик. Нэпман не мог доверить такое дело Антону. Он сам поднимал температуру на обоих градусниках.

Витька рано ушел в свою келью. Он знал, что придет Нэпман. Пусть уж лучше скорей это кончится. Ждал со страхом и упрямством. И Нэпман пришел. Заложив руки в карманы, широко расставив ноги, сказал:

— Ну как?

Витька молчал. Напряженно ждал первого удара. Но Нэпман медлил. Он смотрел на свою жертву, наслаждаясь предстоящей сладостной местью. Он словно выбирал место, куда ударить, чтобы было красиво, неожиданно и сильно. Но он не такой простак, чтобы первым ударом лишить сознания. Сначала надо позаботиться, чтобы страх перед ним остался надолго. Легкая пощечина обратной стороной ладони, потом вторая, так, чтобы раздразнить, разозлить — авось огрызнется. Вот тогда и оглушить кулаком. Подождет, пока придет в себя, и снова — по щекам.

Такое ощущение было у Витьки, так он понимал эту молчаливую стойку Нэпмана.

— Бей! — зло сказал он.— Ну, бей же!

Нэпман стоял в той же позе и смотрел, и это было невыносимо. Потом сказал:

— Пока еще рано. Сразу после обхода иди к забитым дверям возле кухонной лестницы.

Резко повернувшись, он вышел.

Значит, не хочет бить в келье. Ну что ж, придется идти. Надо расплачиваться. Винить некого, знал, что делал.

Он разделся, лег и стал ждать обхода. Вскоре появилась Елена Евгеньевна с двумя воспитательницами.

— Ты сегодня один, Витя? — спросила она.

— Да.

— Не боишься?

— Нет.

— Ну, молодец! Спи.

Как только за ними закрылась дверь, быстро оделся. Подождав несколько минут, никем не замеченный, пробрался в назначенное место. Под лестницей у забитой двери было темно. Он видел, что там никого нет. Прислонился к двери. Послышался шорох. Обернувшись, увидел, как отделились от стены два темных силуэта. Он узнал их. Он так и думал: придут оба.

Нэпман отпер ключом дверь, молча подтолкнул к ней Витьку. Все знали, что эта дверь забита. Оттого, что Нэпман так легко открыл ее собственным ключом, а потом запер снаружи и спрятал ключ в задний карман, Витька еще больше напугался.

Но куда они его ведут? Впереди Антон, сзади Нэпман. Значит, не просто бить. Что-то задумали. Зря пошел. В келье хоть отлежался бы. Если броситься в сторону или поднять крик, могут пырнуть ножом.

Молча прошли через кустарник к высокому дереву у самой ограды. На дерево Антон полез первым. И опять без единого слова Нэпман подтолкнул Витьку, и когда тот стал взбираться на суковатый ствол и услышал глухой удар о землю, понял, что Антон уже на той стороне.

Держась за толстую ветку, Витька нащупал на ограде место, свободное от осколков, встал на него и прыгнул вниз. Не успел еще подняться с земли, как рядом оказался Нэпман.

— Раз ты не побоялся съесть мой хлеб,— сказал он,— и, не распуская соплей, пришел сюда,— значит, ты не трус. Ты мне подходишь. Но если тебе придет в голову еще раз меня обмануть, я ее расшибу. Понял?

— Понял,— быстро ответил пораженный Витька, догадываясь, что бить его не будут.

— А теперь ты увидишь красивую жизнь. Пошли.

Витька не узнал в пареньке, прошедшем мимо, Володю Чеботарева. Его тело обмякло, и он почувствовал сильную усталость. Но так продолжалось недолго. Радость все больше охватывала его, и это была уже радость не оттого, что не будут бить, а перед чем-то новым, таинственным. Он верил в Нэпмана, гордо шел рядом с ним.

Спустя час они были в городе, а еще через пятнадцать минут Витька увидел красивую жизнь.

Маленький зал ресторана сверкал. Играла музыка, в зеркалах отражались люстра и хрустальная посуда, с начищенными подносами бегали официанты. Шумели, веселились, смеялись красиво одетые, холеные люди. Низенький человек в черном костюме, с черными усиками танцевал возле скрипача и пианиста, сидевших на возвышении, то и дело нелепо выбрасывая вперед живот, и каждый раз это вызывало громкий хохот и аплодисменты. Большая компания в самом центре зала, помогая музыкантам, нестройно пела:

Зазвенело, как звенело раньше, до войны.
За полтинник купишь шляпу, а за два — штаны...

Это великолепие ошеломило Витьку. Восхищенными глазами он посмотрел на Нэпмана, который со скучающим лицом, как человек, пресытившийся всем этим, искал глазами свободный столик.

— О, Николь, прошу, давно не заглядывали,— подбежал к нему толстяк с большой лысиной. Он дружески взял Нэпмана под руку и повел, указывая место. На его пальцах сверкали перстни.

— Хозяин ресторана,— многозначительно шепнул Антон Витьке.

Они уселись за столик. Нэпман небрежно раскрыл меню. Витька украдкой глянул в большое зеркало. Ему хотелось придать себе такой вид, как у Нэпмана и этих шикарных людей. Но вид не получался. Сверкающие разноцветные бокалы, ножи и вилки с непомерно большими ручками, накрахмаленные салфетки, будто остроконечные шапки, уложенные на тарелках, белоснежная скатерть, к которой боязно прикоснуться,— весь этот блеск подавлял его. Он увидел, какие у него грязные руки и неподходящий костюм, и совсем растерялся.

А потом было хорошо. Как большой знаток, Нэпман заказал еду с непонятными названиями и графин красивого красного вина. Витька не знал, как приступить к еде. Есть вилкой не привык, а ложку ему не дали.

Нэпман налил вино, сказал: «За наше дело», чокнулся с Витькой и Антоном и залпом выпил. Витька тоже выпил залпом, хотя с первого глотка понял, что это подкрашенный самогон. Кусок мяса, занимавший всю тарелку, оказался тонким, как картон, и очень жилистым. Но Витька сразу проглотил его. Нэпман снова предложил выпить, и веселье охватило Витьку, и он понял, как хорошо можно жить на свете.

Потом видел плачущую женщину, на которую кто-то кричал, и видел, как красиво танцует Нэпман, как много у него друзей и как все они ему улыбаются.

Кто-то подсаживался к их столику, о чем-то шептались с

Нэпманом и громко смеялись. Витьке тоже хотелось о чем-нибудь поговорить, но он никак не мог придумать, с чего начать. Потом придумал. Он спросил, зачем Нэпман устраивал привидение.

Тот солидно объяснил, что готовится к очень важному делу, которое даст возможность уйти из детдома и жить, ни в чем не нуждаясь. Но для этого ему, кроме Антона, нужен еще один помощник, который был бы маленьким и, главное, очень смелым. Он и решил взять того, кто не испугается привидения.

И снова гордость охватила Витьку, и он сказал, что ничего в жизни не побоится.

Расплачивался Нэпман, должно быть, щедро. Официант долго благодарил его, раскланивался, приглашал приходить почаще.

Домой попали перед рассветом через ту же «забитую» дверь. Когда Витька проник в свою келью и улегся на топчан, он старался не спать, чтобы лучше насладиться своим счастьем.

Завтрак проспал. Разбудила его Елена Евгеньевна. Она была встревожена, спросила, не заболел ли он, приложила ко лбу ладонь. В детдоме никто никогда не просыпал завтрак. Она думала, что-нибудь случилось.

Витька сказал, что у него сильно болит голова, и это была правда. Елена Евгеньевна ушла, а через несколько минут вернулась с его завтраком. Она велела до обеда не вставать и еще раз попробовала, нет ли у него жара. Ему приятно было ощущать теплую мягкую ладонь Елены Евгеньевны, и ему хотелось, чтобы она скорее ушла и он мог бы свободно начать думать о вчерашнем вечере.

Как только за ней закрылась дверь, он начал вспоминать... Было обидно, что никто из ребят не видел его в этом шикарном ресторане, где находились только взрослые и красиво одетые люди, среди которых он чувствовал себя хорошо и свободно, как и подобает солидному человеку в таком обществе. Витька забыл, как поначалу растерялся, а если и помнил, то думать сейчас об этом ни к чему. Перед ним встала картина, как он подходил к музыкантам и просил сыграть «Позабыт, позаброшен» и как радостно они согласились, только показали на пальцах, сколько надо платить. Потом они все же сыграли, после того как Нэпман угостил их вином. Хорошо бы в следующий раз иметь деньги. Пусть играют то, что захочется ему.

В келью заглянул и вошел Нэпман. Витька обрадовался, рассказал о приходе Елены Евгеньевны, которая ни о чем не догадывается. Ему хотелось поговорить о вчерашнем вечере, и он сказал:

— Здорово было, а?

— Да так, чепуха,— нехотя и безразличным тоном ответил Нэпман.— В субботу будет веселее.

Витька не знал, что бы еще сказать. Он подумал: может быть, Нэпман опять возьмет его с собой.

— Но к субботе надо подготовиться,— заговорил Нэпман

шепотом.— Тебе как раз будет тренировка перед большим делом. Пока это пустяк.— И он рассказал свой план.

Возле комнаты заведующего находится кладовка. Отпирать ее не Витькина забота, она будет открыта. Пока идут уроки, надо подняться туда, забрать шестнадцать пар новых ботинок, которые лежат в мешке, выйти через «забитую» дверь (она тоже будет открыта) и спрятать мешок в крапиве возле высокого дерева. Вот и все. Бояться нечего. И ребята и воспитатели на занятиях. Заведующего нет. Вернуться надо через ту же дверь. Нэпман будет охранять ее внутри монастыря, а Антон — снаружи. Если кто-нибудь случайно пойдет, они сумеют его задержать и отвести в сторону. Дело всего на пять минут.

— Понял? — закончил Нэпман.

— Понял,— машинально ответил Витька.

— Давай быстрее, пока идет урок.— И он исчез за дверью.

Витька все хорошо понял, но ему что-то мешало. Какие-то неясные мысли. Он злился на эти свои непонятные мысли, которые неизвестно отчего привязались к нему. Не трус же он. В конце концов он избавился от них. О чем тут думать, когда так нахвастался своей храбростью. Да и не обязан Нэпман всегда платить за него. А в субботу надо идти в ресторан...

Все было, как сказал Нэпман. Кладовка оказалсь открытой, он легко отыскал мешок с ботинками, быстро спустившись по ступенькам, прошел через «забитую» дверь, которая тоже оказалась незапертой, и юркнул в кустарник. Теперь уж никто не мог его заметить. Он шел согнувшись, хотя в кустах все равно его не было видно.

Вдруг сквозь ветки увидел какую-то фигуру. Шмыгнул в сторону, сунул мешок под куст и едва успел выскочить на дорожку, как показалась женщина. Это была повариха. И что ей только здесь надо? Шляется неизвестно чего. Небось наворовала продуктов, пока все на занятиях, и отнесла куда-то.

Витька стоял с независимым видом, спиной к кусту. Повариха внимательно посмотрела ему в глаза. Наверное, вид у него был более независимый, чем надо. Уже пройдя мимо, обернулась, опять внимательно посмотрела на него и спросила:

— Что ты здесь делаешь? Почему не на уроке?

— А тебе какое дело? — обозлился Витька и быстро пошел к дому. Пусть эта дура видит, что он просто гулял.

Повариха направилась к главному входу, единственному открытому входу в монастырь, и, когда она завернула за угол, Витька юркнул в «забитую» дверь. Откуда-то возник Нэпман и запер ее.

Витька пошел на занятия. Ему хотелось быть среди ребят и не хотелось видеть Нэпмана. Он вспомнил, что в спешке оставил раскрытой дверь в кладовку. В том же коридоре — комната Елены Евгеньевны. Значит, о пропаже узнают сразу. Поднимется шум на весь детдом.

После уроков пошел в столярку. Яростно и зло строгал доски. Здесь его и отыскал Нэпман.

— Куда дел? — грозно спросил он.— В крапиве нету.

— Спрятал.

— Куда?

— В кусты.

Недобрыми глазами посмотрел Нэпман.

— После отбоя принеси к большому дереву у ограды. Понял?

— Понял.

Витька знал, что за обедом объявят о пропаже и начнется кутерьма. Решил идти обедать со спокойным и независимым видом. По дороге дал подзатыльник маленькой девочке, можно сказать, ни за что, растолкал соседей по скамейке, которые оставили ему мало места, придрался еще к кому-то. Потом вошла Елена Евгеньевна и призвала всех к порядку, сказав, что должна что-то сообщить ребятам, а перекричать всех не может.

Витька не заметил, как низко склонился над своей миской. Он искоса поглядывал на воспитательницу и не мог понять, почему она так часто смотрит в его сторону. Ведь он сидит тихо. Шумят совсем за другим столом.

Когда все стихли, она сказала:

— Вот что́ я должна объявить вам, ребята...

Она почему-то умолкла, и Витька замер, перестал жевать, и ложка остановилась у самого рта.

— Так как старших ребят нет,— продолжала она,— на вас лягут дежурства по кухне.

Дальше она объявила, кто должен дежурить. В числе дежурных был назван и Витька. Только теперь он обратил внимание, что все продолжают есть, а он один сидит как неживой. Ему показалось, будто и Елена Евгеньевна это заметила. Он стал есть быстро и опять подумал, что это не дело: все едят нормально, и только он один то сидит как истукан, то хватает.

Во время «мертвого часа» в келью к Витьке пришла Елена Евгеньевна с Верочкой и сказала:

— Мы посидим у тебя, Витя. Хорошо?

Верочке девять лет. На вид ей лет пять. Ее отец — красный командир — погиб на фронте. Она никогда его не видела. Она видела, как махновцы убили ее мать. С тех пор она болеет. Никто не может определить, чем она больна. Верочка живет в одной комнате с поварихой и почти все время лежит в постели. У нее маленькое, бледное личико и очень большие черные глаза. Они будто не ее. Совсем взрослые. В них всегда удивление и упрек. Заведующий детдомом как-то сказал: «Когда смотришь ей в глаза, чувствуешь себя виноватым».

Елена Евгеньевна опустилась на табуретку напротив Витьки, который сидел на топчане, привлекла к себе девочку и сказала:

— Верочка все просится во двор, а доктор не велит. Но там сейчас и неинтересно. Вот и Витя не выходил сегодня.—

Она помолчала немного, потом спросила: — Ты ведь сегодня дома сидел, Витя? Или выходил?

Как-то странно она говорит. Очень настороженно, медленно, глядя ему в глаза. Он не мог выдержать этого взгляда и не знал, что сказать. Она ждала. Он ответил:

— Нет.

— Вот видишь, Верочка, Витя сегодня тоже не выходил.

Витька смотрел исподлобья и злился. Может быть, поэтому Верочка сказала:

— Я пойду домой.

Она ушла. Елена Евгеньевна молчала. Витька тоже молчал. То, о чем он думал, говорить было нельзя. Он думал: «Вот навязалась на мою голову».

— Мне очень жаль Верочку,— заговорила она.— Сегодня доктор разрешил ей выходить во двор. Но уже сыро, а у нее нет ботинок...

Витька перестал дышать.

— Кто-то забрал из кладовки всю обувь. Мы решили каждую пару выдавать на двоих, а Верочке — одной. Ни у кого больше нет такой маленькой ноги. Заведующий специально для нее доставал. Это было очень трудно... Напрасно я ей сказала об этом. Теперь она все время просит ботиночки. Просит хоть показать ей...

Витька искал, к чему бы придраться, чтобы нагрубить ей и чтобы она уходила отсюда ко всем чертям. Как раз в это время начали бить в рельс — значит, окончился «мертвый час».

— Я пойду, Витя,— сказала она.— У тебя уже совсем прошла голова?

— Угу,— буркнул Витька.

После «мертвого часа» надо было идти в столярку. Он не пошел. Он долго сидел на топчане и мысленно ругал Елену Евгеньевну. Потом незаметно пробрался в кустарник, разыскал среди грубых солдатских ботинок маленькую пару, подержал ее в руках, рассматривая со всех сторон, и бросил обратно в мешок, обернулся по сторонам и побежал прямо в столярку. Его отругали за опоздание, но потом похвалили, потому что работал он очень усердно до самого ужина. И здесь, за работой, твердо решил, что делать дальше. За несколько минут до отбоя он выйдет через главный вход, отнесет мешок к высокому дереву у ограды, и пусть Нэпман делает с ним, что хочет. А ботинки Верочки заберет и подкинет под ее дверь. Нэпман ничего не узнает. Подумает, так было...

За несколько минут до отбоя, когда дверь еще не была заперта, но почти все находились уже в кельях, а воспитатели — в канцелярии, Витька пробрался в кустарник и вынул маленькие ботинки. Они лежали сверху. Потом вытащил мешок, но ему мешали Верочкины ботинки. Он опять положил их на место,

взвалил мешок на плечи и, уже не думая больше, смело пошел к главному входу, не таясь, не прячась, не пригибаясь.

Он едва успел проскочить в дверь, как раздался сигнал отбоя. В коридорах никого не было. Еще издали увидел на кладовке замок. Не останавливаясь, прошел мимо и у комнаты Елены Евгеньевны положил свою ношу.

По дороге в келью натолкнулся на группу воспитателей.

— Уже был отбой, Витя,— сказала Елена Евгеньевна.

— Зайдите в свою комнату,— грубо оборвал ее Витька и побежал, не желая давать объяснений.

Не раздеваясь, лег и стал думать, что сказать Нэпману. Не лежалось, не думалось. Он встал. И тут вошла Елена Евгеньевна. Она молча прижала Витькину голову к груди, поцеловала в висок и не оторвала губ, а так и осталась стоять, склонившись к нему, гладя его худые лопатки и перебирая губами волосики на виске. И Витька прижался к ней, боясь, чтобы она не отошла и не увидела его слез.

...Не дождавшись Витьки и не найдя мешка, Нэпман пошел в город. Берегись, Витька, спуску теперь не будет.

Нэпман пил больше обычного, щедро угощал официантов и всех, кто подходил к столику.

Денег не хватило. Ему поверили. Знали, что на следующий день принесет.

Идти в детдом не было смысла. Все равно надо возвращаться в город — доставать деньги. Ночевал в какой-то хибарке на окраине, у скупщика краденого. Рано утром пошел на рынок. Здесь, между возами, ударили чем-то тяжелым по голове, когда полез в чужой, туго набитый карман. Он зашатался, но не упал. Навалилась ватага спекулянтов и кулаков, мелькнули перед глазами двое из тех, кого так щедро вчера угощал. А потом уже ничего не видели глаза, заплывшие кровью.

Били не по законам «темной», не по справедливости. Били кулаками, как оглоблями, били ногами в низ живота и под ребра, чтобы не осталось следов. Били, когда обессиленные руки перестали прикрывать голову, когда рухнуло на землю тело.

Резкий свисток остановил одурманенную погань. По дороге в больницу он скончался.

Его хоронили на монастырском кладбище. Он лежал в гробу в серой детдомовской рубахе. И не потому, что его модный костюм был изорван и окровавлен. Он лежал в простой детдомовской одежде, потому что никакой он не нэпман, а такой же детдомовец, бывший беспризорник, как и те, что шли за гробом. Теперь это видели и понимали все.

ПЕРВЫЙ РЕЙС

Владимир Чеботарев окончил училище, получив звание паровозного слесаря пятого разряда. Начав самостоятельную работу в депо, он не дал себе ни одного дня отдыха от занятий. Несколько месяцев проработал слесарем и решил, наконец, что пора сдавать экзамены на звание помощника машиниста.

Обычно перед экзаменами люди волнуются, в каком бы возрасте они ни были. Волнуются школьники, студенты, аспиранты, доктора. Волновался и Володя. Но не только потому, что боялся провалиться. Он знал: убеленные сединами машинисты-наставники, специалисты по тормозам, правилам, законам не любят слишком юного паровозника. Они прямо говорят: для того чтобы быть помощником машиниста, надо иметь волю, жизненный опыт, большую физическую силу. А где взять их в восемнадцать лет? И если юноша не в совершенстве постиг программу, пусть лучше не ходит на экзамен.

Испытание Володя выдержал. Экзаменаторы давно уже перешли за границы программы: уже задавались вопросы, на которые не всякий машинист ответит, но каждый раз следовал четкий и ясный ответ.

— Вот тебе и пикетный столбик! — сказал, улыбаясь, машинист-наставник.— Ну что ж, пусть ездит!

На этом опрос прекратился.

Владимир знал, что сразу его не пошлют на поездную машину, пока он не получит необходимую практику на маневровом или хозяйственном паровозе. Но вышло по-иному.

Время после экзаменов тянулось мучительно долго. Каждое утро он являлся в помещение дежурного по депо, просовывал голову в окошко конторки и спрашивал:

— Скоро мне на дежурство, товарищ нарядчик?

— Вызовем, вызовем,— отвечал тот, не отрываясь от своих бумаг, едва взглянув на молодого помощника машиниста.

А Володя не уходил. Он смотрел сквозь окошко на огромную, во всю стену, заветную доску. Он искал среди сотен разноцветных пластинок только одну с надписью «Чеботарев В. А.». Она отчетливо представлялась ему. Так же как пластинки всех помощников, она будет окрашена в зеленый цвет, а фамилию выведут печатными буквами белой краской. Но ему не терпелось увидеть ее собственными глазами. Увидеть в графе «На маневрах», «На отдыхе» или лучше «В поездке», да в конце концов в любой графе, но только бы кончилась эта неопределенность. Прошло столько дней, а ничего не изменилось. Не передумали бы там...

Спустя неделю на свой обычный вопрос Володя вдруг услышал:

— А-а, Чеботарев! Собирайся, парень, в четыре часа ночи поедешь. До Чулымской резервом, а обратно поезд возьмете. Держись, брат!

Владимир и обрадовался и испугался. Не простое дело — сразу с поездом. Почему это так решили? Хотя иногда бывает. То ли заболел старый помощник, то ли нарядчик плохо людей распределил, но поезд надо вести, а помощника нет. Значит, посылают первого свободного человека.

Надо бы спросить, кто машинист, номер паровоза, но Владимир стоял и смотрел на нарядчика, пока кто-то не оттеснил его от окошка. Он поспешил к выходу.

— Смотри отоспись хорошенько, Чеботарев! — вдогонку крикнул нарядчик.

— Да, да, обязательно,— отозвался он, ускоряя шаги.

Володя все рассчитал точно. Чтобы уехать в четыре, надо явиться к двум и не торопясь приготовить паровоз. Поэтому спать придется лечь в шесть вечера.

Придя домой, безразличным голосом сказал матери:

— Надо бы сундучок уложить, ночью ехать.

Вместе с нею старательно укладывал продукты, хотя сами по себе они его интересовали мало. Когда все было собрано и сундучок отставлен к стенке, Володя приготовил рабочий костюм. Собственно, костюм был давно приготовлен, он просто снял с гвоздя штаны и тужурку, потрогал их руками, осмотрел и повесил на место.

Потом мать ушла, а он несколько раз открывал сундучок, проверяя, не забыл ли чего. Но все было на месте.

Спать лег, как и хотел, ровно в шесть. Но заснуть не мог, видно, потому, что в доме еще никто не ложился. Правда, раньше ему случалось укладываться первым, и он тут же засыпал, но сегодня, наверно, сильно шумели. Когда легли все, ему опять не спалось, но это и понятно: разве уснет человек, когда перебили сон...

А потом у него нашлось занятие: он стал ждать рассыльного. Он прислушивался к лаю собаки во дворе, к шагам на деревянном тротуаре, проходившем под окнами, к звукам на улице.

Он хорошо знал, что рассыльный придет, но на всякий случай решил на него не полагаться, а следить за временем, чтобы не проспать. Теперь то и дело поднимался, шел на кухню, где висели ходики. Но и с ними что-то случилось. Последний раз смотрел на циферблат с полчаса назад, а вот стрелка передвинулась только на семь минут.

Он снова лег, твердо решив не подниматься до прихода рассыльного и немного поспать. Но теперь ему не спалось, видно оттого, что уже скоро вставать.

Шорох под окном послышался совершенно ясно. Володя затаил дыхание. И вот — осторожный стук палочкой по стеклу... Он продолжал лежать не дыша, не шевелясь. Стук повторился. Чуть-чуть громче.

— Кто там? — раздался голос матери.

— Помощнику Чеботареву Владимиру в поездку на четыре ноль-ноль,— послышалось с улицы.

— Володя... хорошо, хорошо, сейчас,— невпопад отвечала она, не зная, то ли будить Володю, то ли самой говорить с рассыльным. Быстро поднялась с постели, зажгла свет на кухне

— Вставай, Володя! — позвала громко.

— А? Что? — будто спросонья отвечал он.— А сколько сейчас времени?

— Половина второго, ехать в четыре, поднимайся.

— Вот еще, рано как вызвали, вполне мог еще полчасика поспать,— недовольно бормочет он, но так, чтобы мать слышала.

— Сколько спать можно! — удивляется она.— Ведь в шесть часов лег.

Володя ничего не говорит больше. Он деланно зевает, но одевается быстро. Два ряда металлических пуговиц блестят на тужурке.

Наступает торжественный момент. Небрежно поднимает сундучок, смотрит, хорошо ли закрыта крышка на щеколду, и солидно говорит:

— Ну, я пошел, вернусь, наверно, завтра к вечеру...

Он идет с сундучком по деревянному тротуару, и гулко стучат ослабшие на гвоздях доски. То ли от ночной прохлады, то ли от возбуждения вздрагивает. Отчетливо слышны паровозные гудки.

Близ станции и на путях много движущихся фонариков. По тому, как они покачиваются, Володя угадывает, кто идет, определяет походку. Вот мелькает, подпрыгивает огонек. Он движется то медленнее, то быстрее, взмахи его очень короткие. Это определенно девушка: списчица вагонов, может быть, стрелочница...

Вот большие, широкой дугой взмахи. Это идет молодой сцепщик, или дежурный по станции, или составитель. Настроение у него явно веселое, вишь, как размахался. Шаги уверенные, крупные.

А этот фонарик то и дело переходит из одной руки в другую. Взмахи неровные, зигзагами. Человек нервничает. Вот его огонек поднялся вверх, отошел в сторону, снова опустился. Человек мысленно с кем-то спорит, жестикулирует, доказывает свою правоту.

Дальше виден фонарик, будто на тихих волнах. Он качается размеренно, спокойно. Сомнений не может быть: идет главный кондуктор. У этого всегда все хорошо уложено, он ничего не забудет дома, точно рассчитает время. Торопиться ему некуда, он никогда не опаздывает.

По огоньку можно определить, куда направляется человек.

На работу идут быстрее, домой медленнее, усталой походкой. Чистые, досуха протертые стекла в фонарике — значит, идет на службу. Закопченные, грязные — на отдых.

Вот понеслись огоньки к только что прибывшему составу. Вслед за ними еще несколько фонариков. Они уже мелькают вдоль всего поезда. Это осмотрщики вагонов и автоматчики.

Так издавна называются слесари по ремонту автоматических тормозов. Все они торопятся. Поезд стоит на станции недолго, и надо успеть проверить ходовые части и тормоза всех вагонов.

И только паровозники, даже в самую темную ночь, ходят без фонарей. Но их легко узнать по сундучкам.

Чем ближе Володя подходил к станции, тем больше встречалось людей. Ночью железнодорожный поселок живет почти такой же жизнью, как и днем. В служебных помещениях беспрерывно трещат телефоны, передаются сводки, назначаются свидания, спорят извечно враждующие представители различных служб.

Круглые сутки работают столовая, душ, красный уголок. И глубокой ночью и на рассвете стонут столы от могучих ударов костяшками домино: одни ждут своего поезда, чтобы вести его, другие, чтобы осмотреть вагоны, и у всех находится свободное время для игры в домино.

Неумолкающий гул голосов в помещении нарядчика паровозных бригад. Время от времени из-за перегородки крикнет дежурный по депо или нарядчик, чтобы не мешали работать, и на несколько минут шум утихнет...

Никто не обратил внимания на Владимира, протискивавшегося к окошку. Нарядчик сообщил ему фамилию машиниста и номер паровоза. Потом Володя увидел, как нарядчик достал из ящичка пластинку и повесил на доску в графу «В поездке». На пластинке четкими буквами было написано: «Чеботарев В. А.»

Он отыскал свой паровоз возле депо, поднялся в будку и осмотрелся.

Тускло горели две коптилки: у манометра и водомерного стекла. Под ногами трещал разбросанный по всему полу уголь. Пахло едким дымом и мазутом. Машина словно дремала.

Сколько раз во время учения и практики он бывал на паровозе! Что нового мог здесь увидеть? И все же новые, неизведанные и волнующие чувства охватили его. На этом паровозе поедет он!

Сегодня откроется счет километрам. Когда этот счет достигнет пятидесяти тысяч, он получит право сдавать экзамен на машиниста.

Поставил сундучок под сиденье, под свое сиденье за левым крылом, и снова осмотрелся.

— Эй, кто там? — послышался голос снизу.

Владимир выглянул в окно. В свое окно за левым крылом.

— Помощник машиниста,— как можно солиднее ответил он.

— Ну, принимай! — И человек с лопатой полез в будку.

Владимир знает: это деповский кочегар. Пока нет бригад, он чистит топки паровозов, следит за огнем, за уровнем воды.

Теперь надо принять у него топку, и он больше сюда не придет до следующего рейса.

Владимир потянул за рукоятку, и тяжелые чугунные дверцы топки легко разошлись на две стороны. Внимательно оглядел все внутри. Трубы не подтекают, связи и болты в порядке. Медленно тлеют огоньки по всей колосниковой решетке. Ни одного синего язычка, ни одного обугленного «блина» — значит, шлака нет, топка вычищена хорошо.

— Ну, я пошел,— сказал кочегар, видя, что претензий к нему нет.

Владимир подбросил в топку и захлопнул дверцы. Еще с минуту стоял, оглядывая все вокруг, потом решительно снял тужурку, повесил на крючок позади своего сиденья и приступил к делу.

Захватив ключи, масленку и факел, спустился вниз. Предстояло смазать около ста точек. Он работал быстро и внимательно, но дело шло медленно.

Владимир нервничал. Ему хотелось все закончить до прихода машиниста, а стрелки на светящемся циферблате больших деповских часов бежали как сумасшедшие. Весь он перемазался и очень торопился.

Вскоре явился кочегар, здоровенный парень из близлежащей деревни. Поздоровался с Владимиром и полез наверх. Работы у него немного. Топит паровоз помощник, а не кочегар. К паровозу он отношения не имеет, его дело — тендер. Набрать в тендер воду и уголь, когда машинист подъедет к колонке и эстакаде, следить за тендерными буксами, заполнять углем большой железный лоток по мере того, как помощник выбирает оттуда уголь и забрасывает в топку, да еще выполнять мелкие поручения машиниста и помощника.

Владимира немного покоробило, что кочегар не остановился возле него, не спросил, что делать. Он велел кочегару хорошенько убрать в будке, хорошенько осмотреть тендерное хозяйство, хорошенько проверить уровень смазки в буксах. Кочегар выслушал Володю и добродушно, немного удивленно сказал:

— Ну, а как же? Я думал, тебе чего другого надо, а это я сам знаю.

Владимиру стало неловко. И чего, действительно, лезть со своими указаниями, если человек работает давно и многое знает, пожалуй, лучше помощника?

Машинист пришел, когда у Владимира было почти все готово. Взяв молоток, пошел вокруг паровоза, тщательно постукивая по бандажам колес, по клиньям, валикам.

Потом все поднялись наверх, и машинист, дав сигнал, тронулся на контрольный пост, откуда почти без задержки выехал на главный станционный путь.

Здесь, не дожидаясь указания механика, Владимир прицепил к заднему левому фонарю красный флажок — знак того, что паро-

воз пойдет резервом, и удовлетворенно отметил про себя, что машинист одобрительно следил за ним. Потом Владимир попросил маршрутный лист, чтобы отметить у дежурного по станции. И снова увидел, что машинист доволен его действиями.

Вскоре и сам дежурный вышел на перрон и вынес жезл — разрешение ехать. Паровоз тронулся и начал быстро набирать скорость.

Было совсем светло. Владимир сидел за левым крылом паровоза, и хотя сиденье оказалось не мягким, а подлокотник не был обрамлен тяжелой бахромой, но счастье разливалось по сердцу. Время от времени он подбрасывал в топку уголь, подкачивал воду, по мере надобности открывал и закрывал цилиндровые краны. И все, что он делал, приносило ему радость.

Состояние у него было возбужденное, радостное и вместе с тем тревожное: давление пара никак не поднималось выше десяти, когда норма двенадцать. Чтобы увеличить тягу, он открыл сифон, но машинист велел закрыть!

— Куда тебе пар! — недовольно сказал он.— Ведь резервом едем, только уголь зря жечь.

Владимир и сам понимал, едут они налегке и десяти атмосфер вполне достаточно. Но все же ему хотелось видеть стрелку манометра на красной черточке — указателе предельного давления.

До Чулымской ехали долго. Паровоз держали почти на всех станциях, пропуская поезда. Добрались туда к середине дня.

Сдав машину деповскому кочегару, все вместе пошли отдыхать. Владимир старался идти степенно, солидно и не глазеть на людей, не выставлять напоказ свой сундучок, будто впервые взял его в руки. Но как-то так получалось, что его взгляд не пропускал ни одного прохожего, пока не дошли до дома для отдыха поездных бригад. Здесь отдыхают в ожидании поездов паровозные и кондукторские бригады. Здесь тихие, затемненные спальни, красный уголок, горячий душ, камера хранения. Едва ли не центральное место занимают кухня и прилегающая к ней столовая с длинным столом, обитым цинком. Здесь все приспособлено для того, чтобы люди могли приготовить то, что им хочется. В их распоряжении большой набор посуды, горячая вода.

В столовой и на кухне можно узнать все новости с любой из десятков станций участка. Здесь обстоятельно, авторитетно обсуждаются крупнейшие международные события и внутренняя жизнь страны.

Владимир вместе с машинистом и кочегаром помылись в душе и пошли на кухню варить суп.

Наступила минута, о которой тоже когда-то мечтал Владимир. Есть старая традиция паровозников: в доме для отдыха варить суп. И какая бы ни была поездка, тяжелая или легкая, какие бы ни сложились отношения между машинистом, помощни-

ком и кочегаром, но на отдыхе открываются сундучки и на столе появляются сало, крупа, картошка, лук — все, что требуется для супа паровозника. В приготовлении этого блюда паровозники достигли предела совершенства и не сменяют его ни на какие блюда.

Обычно готовит помощник машиниста или кочегар. А машинист нет-нет да и откроет кастрюлю, попробует, даст указание получше поджарить сало или помельче нарезать лук, а то и сам, набрав соль в ложку, высыплет в кастрюлю и старательно размешает. Потом кастрюлю торжественно ставят на стол, подложив деревянный кружок, и первую миску наливают машинисту.

Каким бы разным ни было материальное положение членов бригады, суп готовят и едят вместе. Второе блюдо дело каждого. У любого паровозника в сундучке припрятано его любимое, приготовленное специально для него.

Владимир признался, что варить суп не умеет. Ему поручили чистить картошку и лук, а готовить взялся сам машинист. Он охотно открывал Владимиру тайны кулинарии, комментируя каждое свое действие.

Пообедав, легли спать, и на этот раз Владимир заснул, едва лег. Он не повернулся на другой бок, пока не разбудили в поездку.

Паровоз готовил уверенно, внимательно следил за топкой и к выезду под поезд нагнал двенадцать атмосфер пару. Воды было три четверти водомерного стекла, тоже — норма. К поезду подъехали в полной готовности.

И этот первый рейс Володя провел отлично. Была в нем удивительная природная хватка. Он быстро улавливал все новое, впитывая в себя опыт старших, и в месяц постигал то, что другим давалось за полгода. Еще будучи на практике, легко освоил и искусство топить паровоз, что помогло ему в скором времени пересесть на пассажирскую машину.

Мечта Володи — стать машинистом — на глазах превращалась в реальность. Прошло менее двух лет, когда по комсомольской путевке его послали на курсы машинистов.

И ВСЕ ИЗ-ЗА ЗВОНКА

Из детдома Виктора Дубравина направили в железнодорожный техникум. Учиться ему не хотелось. Решил уйти с первого курса. До каникул дотянуть, уехать, а обратно не возвращаться. Но тогда его удержали. Хитростью удержали. А вот сейчас, когда он уже на втором курсе, когда начали, наконец, изучать паровоз — эту удивительную машину,— его выгоняют.

На первом курсе, за неделю до зимних каникул, он выписал положенный ему, как железнодорожнику, бесплатный билет в Москву. Там не пропадешь.

Проездные документы не выдали. Сказали, что вызывает

начальник техникума Николай Кузьмич Масленников. Значит, успел как-то пронюхать. Он всегда все знает.

Будь это не Николай Кузьмич, можно бы и наплевать. Без билета ехать не в первый раз. Но начальник мужик стоящий, и Виктор его уважал. Должно быть, потому, что у него два боевых ордена: за Перекоп и еще за какой-то особый героизм. А возможно, и по другой причине: он не похож на начальника. Здоровается за руку, на переменах забегает в курилку, и если случается, нет у него папирос, не стесняясь, просит у ребят. За ним не пропадало.

Особенно хорошо он относился к бывшим беспризорникам, которых кое-кто сторонился. Их было шесть человек, и все они очень остро переживали любое напоминание о своем прошлом. С Николаем Кузьмичом получалось как-то по-иному. Он охотно рассказывал им о гражданской войне и сам с удовольствием слушал об их собственных «подвигах». Они его не стеснялись.

Виктор решил явиться на вызов и не мудрить, а как только спросит, честно признаться, что учиться не будет. Но оказалось, он вызвал всех шестерых. «Я,— говорит,— вам сюрприз приготовил. Вот путевки на экскурсию в Ленинград, с полным питанием на месте, а вот деньги на дорогу. Стипендию приберегите, после каникул пригодится».

Все обрадовались. Отказаться Виктору было неловко. Да и почему бы не съездить в Ленинград?

Только в поезде спохватились, что за путевки директор велел расписаться, а за деньги — нет. И стипендию и всякие ссуды выдавал только кассир. И всегда надо было расписываться и проставлять сумму прописью. А тут выдал сам, без всякой ведомости. Как-то нехорошо получилось.

Бросать техникум сразу после возвращения из Ленинграда было и вовсе неудобно. Решил потянуть месячишко. Когда снова собрался уходить, как назло, Николай Кузьмич позвал всех шестерых к себе на день рождения. «По возможности,— говорит,— принесите подарки. Подготовить успеете, впереди еще целая неделя». Он объяснил, что подарки принимает только контрольными работами с оценкой «хорошо» или «отлично». «Если не получится,— предупредил он,— тоже не страшно, можно и так прийти. Но не вздумайте покупать что-нибудь. Выгоню».

Все знали: не выгонит и даже не упрекнет. Только покраснеет. Странный человек. Если ему нанесут обиду или оскорбят, он краснеет от стыда. Даже непонятно, как он ордена за героизм получил.

Портить ему настроение в такой день не хотелось. И без подарка являться было стыдно. Виктор злился на Николая Кузьмича и мысленно ругал его.

На вечере, куда пришли преподаватели и много другого народа, ребятам было не по себе. Кто-то сказал, что зря позвали сюда беспризорников. Они не слышали этого. Они это чувствовали.

Если человек говорит даже очень вежливо, улыбается, но думает о них как о беспризорниках, они это чувствуют и уже сами не могут спокойно разговаривать.

Всем было неловко — и ребятам и другим гостям. Только Николай Кузьмич ничего не замечал. Он произнес тост за Виктора и его товарищей, за их отцов, которые отдали жизнь за революцию, за всех здесь присутствующих. Он поднял вверх шесть контрольных работ, на которых стояли оценки «отлично» и «хорошо», и сказал, что гордится своими питомцами и верит в них, потому что они, хлебнув немало горя, не пошли по легкому пути в жизни, а стараются быть достойными своих отцов. И он каждому из них в отдельности пожал руку. Преподавателям тоже захотелось пожать им руки, и неловкость, которая была вначале, как-то прошла.

После такого вечера сразу бросать техникум было совершенно невозможно. И еще был подходящий случай уйти наконец, и опять получилось так, что помешал Николай Кузьмич. А вот теперь, когда самое трудное позади, когда он уже на втором курсе, его исключают.

Откровенно говоря, единственное, чего ему жалко, это паровоза. Те, кто не понимает, думают, будто ничего особенного в этой машине нет. Они не представляют, какая в ней таится сила. Она вырабатывает в час около двадцати тысяч килограммов пару. Если этот пар сразу выпустить, его хватит, чтобы окутать всю Дворцовую площадь в Ленинграде вместе со всеми дворцами. Это целое небо. Но его загнали в один котел. Пар распирает котел с силой пять тысяч тонн. Он так давит на воду, что она не может кипеть. Она закипает только при двухстах градусах.

Виктор забросил остальные предметы. Снова появились «хвосты», от которых он едва избавился. Зато на уроках по курсу паровоза он просто бог. У него не хватает терпения плестись вместе с классом, и он ушел далеко вперед. Целые ночи просиживал над книгами о паровозе.

Так было и перед тем злополучным днем. Он засиделся за «Историей локомотива» и лег спать только на рассвете. Утром его едва растолкали. Первые два урока была математика. Он совершенно не подготовился. Не имел понятия о том, что задано. Сидел на уроке и ждал звонка.

Сорок пять минут идет урок. Это две тысячи семьсот секунд. И каждую секунду могут вызвать к доске.

Какая ни с чем не сравнимая мука — ждать звонка. Ждать, хотя урок только начался и еще не взялся за журнал математик, чтобы выбрать первую жертву. Никогда не бывает в классе такой настороженной тишины, как в эти нестерпимо томительные секунды.

Преподаватель медленно достает из кармана футляр, аккуратно извлекает очки, щурясь, смотрит на них против света и, подышав на стекла, начинает тщательно протирать их. Наконец

надевает очки, с отвратительной медлительностью прилаживая за ушами дужки. Обводя долгим взглядом переставший дышать класс, торжественно раскрывает журнал.

Он тянет, будто нарочно, будто издевается, наслаждаясь своей властью. Он словно хочет продлить ее и мстит за все огорчения, что порой причиняют ему здесь. Все замерло, и слышно только, как шелестят журнальные страницы.

Виктор следит за глазами математика. Они медленно скользят по алфавитному списку. Уже первые буквы пройдены. Вот взгляд задержался. Дубравин опускает голову... Секунда, вторая, третья... Тишина. С надеждой поднимает глаза. Миновало. Уже где-то на «С».

Наконец фамилия названа. Будто вырвался общий вздох облегчения. Будто фотограф сказал «Готово». Расслабли напряженные мышцы, все задвигались, заерзали. Скрипнул стол, упала книга, кто-то кашлянул, кто-то шмыгнул носом. Послышался шепот.

Наступает передышка минут на десять — пятнадцать. Хотя нет. Вызванный к доске уже через несколько минут допускает ошибку.

— В чем ошибка, скажет нам...— Преподаватель обводит глазами класс.

Виктор ниже склоняется над тетрадью.

— ...Скажет нам Дубравин.

Виктор медленно поднимается. Смотрит на доску, вглядывается, шевелит губами: «...логарифм... икс... та-ак...»

Ну откуда ему знать, где ошибка? И кому нужны эти логарифмы, и кто только их выдумал! На паровозе логарифмов нет...

— Садитесь.

До конца урока остается тридцать семь минут. Успеет еще десять раз спросить с места и вызвать к доске... Нельзя так часто смотреть на часы. От этого время тянется медленнее. Надо о чем-нибудь думать.

Какое странное это явление — звонок. Кажется, ничто в мире не может доставить такой радости, так быстро преобразить подавленного и притихшего человека, как звонок. Хочется выкрикнуть какое-нибудь нелепое слово, щелкнуть по стриженому затылку товарища или закричать «ура». И уже нет сил усидеть на месте даже лишнюю минуту, дослушать до конца фразу преподавателя.

Какое странное это явление — звонок. Гремит, как барабанный бой врага, как сигнал бедствия. И целые толпы будто под гипнозом покидают веселые коридоры и добровольно идут на расправу. Звонок с урока — коротенький и тихий. О конце перемены он возвещает так, что могут лопнуть барабанные перепонки. Подойти бы да грохнуть по этому молоточку, по чашечке, чтобы разлетелись вдребезги... Снова долгие сорок пять минут. Две тысячи семьсот секунд...

Надо думать о чем-нибудь интересном. И он вспоминает. Ночь. Огромная станция забита поездами. Где-то среди эшелонов затерялся нефтяной состав. Сюда его гнали на большой скорости, а вот здесь будет дожидаться очереди часа полтора.

На паровозе все замерло. Задвинув окна, дремлют на своих мягких сиденьях машинист и помощник. Безжизненная, спит машина. Только лениво и беззвучно перебегают огоньки в потемневшей топке, да время от времени, точно испугавшись во сне, всхлипнет насос. И снова все тихо. Сзади, на угольном лотке, сидит кочегар Виктор Дубравин. Он практикант. Это первая его практика. Но на паровоз лишних людей не пускают. Он член паровозной бригады, без которого нельзя обойтись. Он нужен здесь. Вместе с машинистом и помощником он водит поезда с грузами пятилетки.

Теперь оба они спят. Он принимает на себя полную меру ответственности за паровоз и всю полноту власти над ним. Это ничего, что никто его не уполномочивал и спрос с него самый маленький. Не в каждую поездку выпадает случай похозяйничать на паровозе.

В будке десятки маховиков, рукояток, рычагов, приборов. Ими управляют машинист и помощник. Кочегару ничего не достается. Он только и делает, что без конца швыряет уголь из тендера в лоток. Даже в топку он не имеет права подбросить. Топить паровоз — дело тонкое и входит в обязанность помощника. Но управлять приборами он может. Откровенно говоря, теоретически он знает больше этого помощника. Он знает о таких вещах, которые редкому машинисту известны.

Виктор сидит на лотке и сторожит стрелку манометра. Она уже возле красной черточки. Еще немного, и тонко запоет струйка пара на котле, сожмутся могучие стальные пружины предохранительного клапана, и, как огнемет, ударит в небо раскаленный пар, которому уже некуда деться в котле. Не будь этого клапана, котел разнесло бы на мелкие куски.

Но Виктор не допустит, чтобы пар без пользы уходил из котла. Стрелка манометра вот-вот закроет красную черточку. Пора.

Он подходит к приборам. Вид у него солидный, какой и положено иметь опытному паровознику. Повертывает одну рукоятку, приподнимает другую. Раздается щелчок, и с резким скребущим звуком вода устремляется в котел. Холодная вода в бурлящий котел. Она собьет пар, снизит давление.

При первом же звуке инжектора схватывается помощник, резко повертывает голову машинист. Инстинктивно они бросают взгляд на водомерное стекло и манометр. Словно сговорившись, без единого слова оба устраиваются поудобней и тут же засыпают.

Виктор воспринимает это как похвалу. Он все делает правильно, на него можно положиться, можно спокойно спать.

Паровозники могут спать в любом положении, под любой грохот. Они не проснутся, если на соседнем пути будут бить молотком по буферным тарелкам. Но стоит мальчишке, бегущему мимо, из озорства шлепнуть ладошкой по тендеру, и машинист насторожится.

...Но почему смеется весь класс? На всякий случай он тоже смеется, и это вызывает бурный хохот.

— Я уже в третий раз обращаюсь к вам, Дубравин,— спокойно говорит преподаватель.— Прошу к доске.

Подавив тяжелый вздох, Виктор поднимается. Ну что они от него хотят? Он идет, думая о звонке. Сколько осталось? Посмотреть на часы не успел, а теперь неудобно. Заметит. Единственное спасение в звонке. Если осталось немного, есть смысл тянуть. Можно долго и тщательно вытирать доску, аккуратно, не торопясь, писать условие примера или задачи, перепутать что-нибудь и, когда преподаватель поправит, «по ошибке» стереть все. Потом начинать сначала. Когда условие будет написано, можно повторить его. Хорошо бы, конечно, выйти в коридор намочить тряпку...

Он вытирает доску левой рукой, чтобы видеть часы. Остается тридцать минут. Эх, звонок-звоночек, не дождаться тебя...

Написав, наконец, условие примера, Виктор бодро говорит:

— Мы имеем логарифм дроби. Логарифм дроби равен логарифму числителя минус логарифм знаменателя.

— Правильно,— одобрительно кивает головой преподаватель.

— Приступаем к логарифмированию,— так же бодро продолжает Виктор.

Оказывается, логарифмировать нельзя. Оказывается, в числителе многочлен. Надо сначала преобразовать его. Как это сделать, он не имеет даже отдаленного представления... И для чего это надо делать, тоже непонятно. Его вполне устраивает и многочлен. И какой там многочлен, когда всего $x^2—y^2$. Ему говорят, что это просто формула. Он и сам видит, что это формула. И что же?..

— Вы совсем ничего не знаете, садитесь.

Обиженный, понуро идет на место. Раскатисто звенит звонок.

На втором уроке Виктор спокоен. Теперь преподаватель уже не спросит с места, не вызовет к доске. Можно продолжать «Историю локомотива». Вчера прервал на самом интересном месте.

Урок в разгаре. На коленях — книга. Виктор незаметно, беззвучно листает страницы, ищет, где остановился. Вот смешная выдержка из «Горного журнала». Он уже читал ее, но снова пробегает.

Первая авария на транспорте. Паровоз наскочил на телегу с маслом и яйцами. Против паровоза поднята страшная кампания. Стефенсон изобретает гудок, чтобы предупреждать о движении поезда. Противники паровоза совсем обнаглели...

Идет урок. Кто-то отвечает, кто-то рвется к доске, кто-то трепетно ждет своей участи. Виктор далек от всего этого. Он не замечает, как поглядывает на него преподаватель, не слышит, как наступает тишина. Настороженная тишина перед вызовом очередной жертвы.

«Железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, отравленный паровозом воздух будет убивать пролетающих над ним птиц, сохранение фазанов и лисиц станет невозможным, дома близ дороги погорят, лошади никому не будут нужны, овес и сено перестанут покупать...»

И в полной тишине настороженного класса Виктор громко хохочет.

— Выйдите за дверь!

Да, это ему. Он даже пригнулся. Преподаватель гневно повторяет свое требование.

Тихо и пустынно в коридоре. Как не сообразил захватить книжку?! Теперь за ней не вернешься... Ужасно неприятно одному в пустом коридоре. В классах идет жизнь. За этими дверьми смех. А вот здесь слышен только голос преподавателя. Должно быть, объясняет новое.

Побродив по коридору, Виктор спустился вниз. Над стенными часами, под самым потолком,— звонок. Подвел сегодня, чертов звонок. Висит себе, как святой. А сколько людей сейчас думают о нем, ждут его. До конца урока одиннадцать минут. Человек десять во всех классах успеют получить «неуды». В среднем по одному «неуду» в минуту. Сколько нежданного счастья может принести этот бездушный звонок. И как это просто. Повернул выключатель — и готово: ни одного «неуда».

Какой-то толчок, вспышка безрассудной удали, и звон раскатисто понесся по этажам.

...Кто-то растерянно смотрел на часы, кто-то пытался удержать на месте людей. Но велика и непререкаема, как государственный закон, сила звонка. Ринулись в коридоры веселые потоки. Не удержать их.

Виктор и шагу не успел сделать, как подлетела к выключателю сторожиха.

— Ах ты, беспризорник проклятый, погибели на тебя нету! — кричала она, потрясая кулаками.

Прокатилась по телу и хлынула к горлу горячая волна, захлестнув дыхание. Виктор размахнулся, но какая-то не его, чужая, сила будто схватила за руку.

— У-у, старая...— слово вырвалось отвратительное, страшное, и уже не вернуть его.

Женщина зажмурилась, зажала ладонями уши...

Теперь его исключают. Все об этом знали. Ждали педсовета, который только формальность. Они думают, что он пойдет просить. Никуда он не пойдет, никого умолять не собирается. Жаль, конечно. Не хватило выдержки. Но все равно ни одного слова

нотаций выслушивать не будет. Ваше дело исключить, а поучать хватит. По самое горло сыт поучениями. И никаких извинений у нее просить не будет. Пусть не лезет.

К начальнику его вызвали вечером. Ни за что не пошел бы, не будь это Николай Кузьмич. Хороший он человек, только очень навязчивый. Виктор все время у него в долгу. То путевка в Ленинград или день рождения, то премия за производственную практику и лучшее место в общежитии, и еще черт знает сколько всяких поощрений. Постоянно чувствуешь себя обязанным ему.

Виктор хорошо знал, что ждет его в кабинете начальника. Николай Кузьмич не повысит голоса, не скажет грубого или обидного слова. У него будет даже виноватый вид; ничего больше сделать не может. Посоветует, как дальше жить, на прощание подаст руку. Чего доброго, еще покраснеет. И все это будет нестерпимо, и не будет возможности его не слушать.

Уж лучше бы вызвал завуч. Тот берет криком. Начинает разговаривать спокойно, а через минуту орет как сумасшедший. С ним легче. Послать его про себя ко всем чертям и хлопнуть дверью. Кричи на здоровье.

А вот как быть сейчас? И почему так не безразлична ему эта последняя встреча?

Виктор шел озлобленный, все больше накаляясь и настраивая себя против Николая Кузьмича, не в силах придумать, как отвечать на его спокойный тон. Несправедливый в своем озлоблении, он понимал это, злился еще больше и переступил порог кабинета начальника, готовый к любому безрассудному поступку.

Как и ожидал Виктор, тон у Николая Кузьмича был спокойный.

— Вещи собрал?

— Собрал.

— Когда едешь?

— Да хоть завтра... Общежитие могу освободить сегодня.

Николай Кузьмич откинулся на спинку кресла и каким-то колючим, незнакомым Виктору голосом сказал:

— Завидую тебе. Легко по жизни пройдешь... В душу мне наплевал и с эдакой легкостью попрыгунчика: «Да хоть завтра!» А отмывать кто будет?! — неожиданно закричал он и стукнул кулаком по столу.— Мне куда от людей глаза прятать? Или на всю жизнь, как короста, твои плевки прирастут ко мне!

Он вскочил и быстро заходил по кабинету.

— Нет, брат, шалишь! Ты походи, помучайся да каждый день в глаза ей посмотри... Не исключу я тебя. Понял? — Он схватил со стола лист бумаги, напечатанный на машинке, и, тряся им перед носом Виктора, злорадно заговорил: — Это приказ о твоем исключении. На подпись принесли. Видел? — И он в клочья разорвал бумагу.— А теперь убирайся! Иди к сторожихе, собери всех преподавателей и студентов, плюнь им в лицо: «Что, исключили? На-ка, выкуси! У меня здесь своя рука — сам Николай

Кузьмич. Что хочу, то и делаю! Я вам еще не такое устрою. Вы у меня все запляшете! Сторонись, Дубравин идет!»

Тяжело дыша, он опустился в кресло. Обессиленный, бесстрастно и тихо сказал:

— Не могу я тебя исключить, Виктор. Понял? Ни одного из вас шестерых не могу. Не прощу себе потом. Иди. Поступай, как велит тебе совесть.

Виктор быстро и молча вышел из кабинета, потому что опять этот проклятый комок подступил к горлу. Да и все равно не мог бы он теперь ничего сказать, не мог бы выразить охвативших его чувств. Ни разу не мелькнула мысль о том, что его не исключили. Что-то очень большое заслонило эту маленькую радость. Могучие руки, как в детдоме, поддерживали его и не давали упасть.

Не в силах разобраться в собственных мыслях и чувствах, он машинально двигался по коридору. Закончилось какое-то собрание, и шумная толпа ринулась в раздевалку. Виктор шел, и люди смотрели на его странный, растерянный вид, на устремленный куда-то взор и расступались, и каждый, кто взглянул на него, уже не мог оторвать глаз и не мог понять, что с ним происходит.

Он вошел в раздевалку и остановился перед сторожихой. Она тоже встала, зажав в руках чьи-то пальто и шапку. Они глядели друг на друга.

Самый большой задира, упрямый и сильный, с болезненным самолюбием, ни перед кем не склонявший головы, он стоял расслабленный и беспомощный, и покорные глаза и подрагивающие губы — все существо его молило: «Прости меня, мать!»

Выпали из рук пальто и шапка, женщина рванулась к нему, встряхнула, взявши за плечи, зашептала:

— Ну что ты, дурачок, да я уже к начальнику ходила, это я во всем виновата, не бойся, он обещал...

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ СВЕТ

После окончания техникума Виктор Дубравин легко сдал испытания на должность помощника машиниста. Он знал: пройдет не больше года, и так же легко получит он право управления паровозом.

Перед первой поездкой Виктор нервничал. Его производственная практика, начиная с первого курса, проходила в депо или на маневровых паровозах. А теперь предстояло вести товарный поезд.

Состав был длинный и тяжелый. В голове стояли вагоны с оборудованием для Беловского цинкового завода и гигантскими деталями прокатного стана для Кузнецкого металлургического комбината, а в хвосте — фермы к новому мосту через Ангару. На первом вагоне висело красное полотнище с надписью: «Ни на минуту не задержим грузов второй пятилетки».

Машинист тоже заметно нервничал. На Омскую дорогу он перевелся недавно с одной из южных дорог, где паровозы отапливались нефтью. Как топить углем, знал только понаслышке, а на молодого помощника не надеялся. Он часто заглядывал в топку, предупреждал Виктора:

— Смотри же, парок держи, состав тяжелый!

Волновался и Виктор. Ему все казалось, будто в топке мало угля, и он, пока не тронулись, то и дело подбрасывал, хотя знал, что наваливать много тоже нельзя.

От него не укрылись сомнения машиниста, и от этого еще больше волновался.

Но вот, наконец, главный дал отправление, и машинист умело тронул состав с места. Поезд пошел, тяжело набирая скорость. Виктор не спускал глаз со стрелки манометра. Она крупно вздрагивала, но возвращалась на красную черту предельного давления. Потом увидел, как она задрожала мелко-мелко и уже не вернулась на место, а сместилась немного влево: давление упало на четверть атмосферы.

Он быстро поднялся, взял лопату, раскрыл топку.

Пока паровоз стоит, тяги почти нет. Но в пути чем больше нагрузка, тем сильнее тяга. Каждый выхлоп отработанного пара выхватывает воздух из топки.

Виктор взглянул на огонь. Трудно было понять, что там творилось. Пламя бушевало, билось из стороны в сторону, и в каждые четверть оборота колеса, с каждым выхлопом бросалось в трубы, будто частыми рывками его заглатывала пасть огромного животного.

Поезд шел на подъем медленно, тяжело, и так же тяжело вздыхала топка: чч-ах! ччч-ах! ччч-ах!

Виктор хорошо знал: разбрасывать уголь надо равномерно по всей колосниковой решетке. Слой должен быть ровным. Но он очень боялся прогаров — оголенных мест. Если останется хоть одно место, не покрытое углем, пусть даже маленькое, величиной в ладонь, пару не хватит. Струя холодного воздуха, как из брандспойта, будет бить по трубам, охлаждая их, охлаждая всю топку. Но и толстый слой ненамного лучше. Пока он схватится, пока раскалится, пар сядет.

А где в этой бушующей топке можно увидеть прогары или завалы? И первые несколько лопат Виктор бросил наугад, в самую середину, где сгорание идет интенсивней. После каждого броска он на секунду перевертывал лопату, и поток воздуха, стремящийся в топку, разбиваясь о лопату, расходился широким веером, срезая пламя. В эту секунду становилось виднее, что делается в топке, и он присматривался, куда бросать уголь.

Ему никак не удавалось топить враструску. Ему всюду мерещились прогары, и он швырял туда уголь, ложившийся кучками, как мокрая глина.

Обдаваемый жаром, обливаясь потом, швырял одну лопату за другой, пока не услышал окрик машиниста:

— Вприхлопку давай, вприхлопку!

Виктор в изнеможении стукнул дверцами. Да, так долго нельзя держать их открытыми. Взглянул на манометр. Где стрелка? Он слишком долго бросал уголь, охлаждая топку, значит, давление должно еще больше упасть.

После яркого пламени рябило в глазах и ничего не было видно. Он извлек из-под своего сиденья чайник, жадно прильнул к носику, глотая холодную воду и боязливо поглядывая на манометр. Глаза привыкли к темноте, и он увидел стрелку. Мучительно заныло сердце: одиннадцать атмосфер вместо двенадцати!

В ту же секунду раздался характерный щелчок: машинист закачал воду на свой инжектор. Сейчас она идет в котел. Холодная вода — в кипящий котел. Значит, пар еще больше сядет.

Взглянул на водомерное стекло. Да, механик прав, надо качать воду, иначе потом не наверстать упущенного.

Виктор плюхнулся на свое сиденье, высунулся в окно, все еще тяжело дыша открытым ртом. Ветер охлаждал разгоряченную грудь. Но сидеть нельзя. Поезд идет на подъем, значит, надо подбрасывать уголь каждые полторы-две минуты. Да, надо топить вприхлопку, хотя это трудно.

Теперь самый страшный враг — холодный воздух. Откроешь топку, и он врывается туда, охлаждая потолок, стены, трубы. Надо не пускать воздух в топку. Вполне достаточно той порции, что идет через поддувало.

— Давай! — бросил он кочегару и взялся за лопату.

Лопата с силой вонзается в угольный лоток, она уже полная, и он размахивается ею в закрытые дверцы. Еще доля секунды — и она ударится о чугунные плиты. Но именно в эту долю секунды кочегар рванет рукоятку и дверцы раздвинутся.

Он стоит посередине будки, широко расставив ноги. Слева топка, справа угольный лоток. Левая нога — на паровозной площадке, правая — на тендерной. Между ними изогнутая металлическая плита, как между пассажирскими вагонами. И так же «играет» эта плита.

Положение Виктора шаткое, неустойчивое, и уголь летит не туда, куда надо. В одно и то же место он с яростью бросает несколько лопат.

Бросок лопаты — удар захлопываемой дверцы. Бросок — удар! Бросок — удар! Бросок — удар! Еще лопату, еще вон в то место, и вот здесь, кажется, прогар. Еще последнюю... Но сил уже нет.

И снова холодная вода из чайника полощет горло, порывы ветра охлаждают грудь. Снова боязливые взгляды на стрелку, на водомерное стекло. Уже десять атмосфер — и только четверть стекла воды. Она приближается к указателю «Наинизший уровень». Но фактически ее еще меньше. Поезд идет на подъем,

и она собралась над потолком топки. Как только машина начнет спускаться с уклона, вода убежит в переднюю часть котла, потолок оголится, расплавятся пробки.

— Воду! — кричит машинист, и Виктор приподнимает рукоятку инжектора: снова холодная вода сгонит пар.

Каждые полторы-две минуты подбрасывает в топку и качает воду. Он больше не вытирает пот. Только облизывает пересохшие губы, механически глотая смоченную соленым потом угольную пыль, а глаза прикованы к манометру и водомерному стеклу. Пара все меньше и меньше. Кричит, проклинает помощника машинист.

Ччч-ах! ччч-ах! ччч-ах! — ухают выхлопы. Это уже не отдышка. Это предсмертные стоны.

Любой машинист взялся бы за лопату, помог бы молодому помощнику. Но этот и рад бы, но сам знал только нефтяное отопление. Он лишь без толку то и дело заглядывал в топку, разводил руками, беспомощно метался по будке.

Виктор без конца швыряет в топку уголь и каждый раз, обессиленный, бросается на свое сиденье к окну, жадно глотая воздух. Теперь почти все повороты пути, все кривые загнуты в его сторону. Машинисту не видны сигналы, и Виктор обязан особенно зорко следить за ними. Но его ослепленные глаза ничего не видят. Он вглядывается вперед. Он ищет семафор. Уже четыре станции проехали без остановки. Скоро опять станция. Надо искать сигнал.

И он увидел огонек входного семафора. Предательский зеленый огонек. Значит, разрешается въехать на станцию. Всматривается дальше, за границу станции. Там должен показаться огонь выходного сигнала.

Как жаждал увидеть он красный свет, перед которым надо остановиться. Спасительный красный свет! Можно будет спокойно заправить топку, накачать три четверти стекла воды. Можно будет, наконец, перевести дух...

Должен же быть когда-нибудь красный свет! Куда их так безостановочно гонят? Ведь существует старшинство поездов. Курьерские и пассажирские пропускают в первую очередь.

Виктор находит, какое место по старшинству занимает их поезд. Восьмое. Неужели же ни один из старших поездов их не догнал? Тогда бы они встали на запасный путь и с полчасика подождали, пока тот пройдет.

Виктору невдомек, что график движения поездов и составляется в зависимости от старшинства поездов, и если расписание не нарушено, то и курьерский не догонит ни одного грузового.

Он мысленно ищет новых возможностей остановки.

Могли бы подержать, например, у входного семафора. Ведь часто бывает так, что некуда принимать. Могли бы, наконец, остановить, чтобы выдать предупреждение: на таком-то кило-

метре ехать со скоростью не выше пятнадцати километров. Впрочем, предупреждение могут дать и с ходу, не останавливая поезда, как передают жезл. Ну, пусть хоть букса бы загорелась в вагоне. Тогда придется постоять, пока она остынет, потом тихонько доехать до станции и отцепить больной вагон. Да мало ли поводов для того, чтобы хоть немного постоять. А их все гонят и гонят...

Он всматривается вперед, он ищет красный свет выходного сигнала. И видит: ярко лучась, горит зеленый огонь. Значит, опять на проход, опять без остановки. Покачиваясь, идет к лотку, лопата врезается в уголь. Бросок — удар, бросок — удар... И снова ослепленными глазами ищет красный свет...

ЧТО ТЫ НАТВОРИЛ?..

Почти с пустым водомерным стеклом, при давлении в девять атмосфер дотянулись до станции, где предстояло брать воду. Здесь стоянка двадцать минут. Уже перекрыт регулятор, и машинист притормаживает у водоразборной колонки. Кочегар, спрыгнув вниз, подводит ее хобот к тендеру и громко кричит:

— Ха-ро-о-ош!

Резко шипит воздух, выходя из тормозных приборов.

Виктор чуть-чуть открывает сифон, чтобы дым не шел в будку, и раздвигает дверцы топки. Но что тут творится? Будто прошел ураган. В одних местах навалены горы угля, в других прогары до самой колосниковой решетки. То там, то здесь вспыхивают синие язычки от шлака. Откуда же взяться пару?

Он достает из тендера резак — толстенный железный стержень длиною в два его роста с загнутым плоским концом. Это паровозная кочерга. Пробивает слой угля до колосниковой решетки. Теперь резак скользит по ней вперед, ломая спекшиеся глыбы шлака. Он делает три такие дорожки, открывая доступ воздуху из поддувала. Огонь сразу ожил, и Виктор заулыбался.

Эх, Витя, Витя, что ты натворил?

Мокрая рубаха плотно облегает тело. От жаркого пламени пот с одежды испаряется, и пары уносит в топку. Но новые струи увлажняют ее, а огонь сушит. Мокрой остается только спина. Спереди рубаха коробится, на ней остаются белые неровные полосы соли. Витя сдувает пот с верхней губы, облизывается, часто моргает и стряхивает струи с лица.

Он отбрасывает на тендер резак и достает скребок — инструмент, похожий на тяпку, с такой же, как у резака, длинной железной рукояткой. Скребок качает его из стороны в сторону, но, к счастью, никто этого не видит: машинист внизу осматривает машину, а кочегар стоит на тендере, наблюдая, чтобы вода не пошла через край.

Виктор разравнивает уголь и до отказа открывает сифон: пусть сильнее будет тяга. Теперь в топке гудит, идет парообра-

зование, но пар не расходуется. Виктор хватает ключи, масленку, факел и быстро спускается вниз. Надо успеть добавить мазута хотя бы в поршневые и центровые подшипники, посмотреть, не греются ли они. Остальное проверит на следующей остановке.

Несколько раз вскакивает наверх, чтобы подбросить в топку и подкачать воду. Черными от угля и мазута руками вытирает пот с лица. На душе немного легче. Пар поднимается, прибавилось воды. Просто радостно стало, когда на слова подошедшего главного: «Поехали, механик!» — тот ответил: «Сейчас, дорогой, чуть-чуть парку поднагоним». Значит, он не поедет, пока не будет двенадцати атмосфер и достаточного количества воды в котле.

Но вскоре прибежал сам дежурный и закричал:

— Механик, вы уже опоздали против графика на сорок минут. Диспетчер сказал, если сейчас же не поедете, отставит вас до утра, пока не пройдет основной поток.

— А я готов,— отвечает машинист и медленно поднимается в будку. Дает протяжный сигнал отправления, но трогаться с места не торопится. Он выгадывает время. Пусть побольше будет пару. Подумав немного, дает два коротких свистка. Это сигнал поездной прислуге — оттормозить. Сигнал ему фактически не нужен. Все для того, чтобы выгадать еще несколько минут.

Виктор радуется. Ему кажется, что теперь все будет хорошо. Но как только выехали, давление начало падать катастрофически. Он взглянул в топку — и обомлел. Вся поверхность угля покрылась синими язычками. Они прыгали, подмаргивали ему, переливались разными цветами, плыли. Кончики их становились зеленоватыми, потом появлялся голубой оттенок. Они очень красивы, эти страшные огоньки зашлакованной топки. Не знал он, что эти язычки породил сам в ту минуту, когда взялся за резак. Шлак, который он перемешал с углем, расплавился и, как стекло, залил колосниковую решетку. Теперь никакого пара не будет, пока не почистят топку.

Он бросил несколько лопат угля и вскоре открыл дверцы.

Топливо пересыхало, обугливалось и, лишенное кислорода, не сгоревшее, улетало в трубы.

Он снова проходит резаком по всей колосниковой решетке. Появляется красно-белое пламя, но это ненадолго. Шлак, поднятый наверх, опять расплавится, зальет колосники. Виктор понимает: это все! Дальше ехать нельзя.

С опустошенной душой и подавленной волей смотрит на манометр. Стрелка мелко дрожит и ползет, ползет вниз. Он злится на эту проклятую стрелку. Он не знает, что делать. Ему уже все равно. Никаких сил больше нет. Пусть бы сказал кто-нибудь, что делать, и он не сдался бы. Он может бороться, пока не умрет. Но как бороться?

Виктор не отрывает глаз от манометра. Слышит крик маши-

ниста, но не понимает слов. И не старается их понять. Все кончено.

...Стрелка, стрелочка, дорогая, ну что же ты? За что ты меня, а? Молчишь, стрелочка? Дрожишь и, как вор, крадешься, ползешь вниз. Ну, ползи! Ползи, подлая! Можешь врезаться мне в самое сердце. Можешь повернуться там. Больнее не будет. Эх, стрелка, стрелочка...

А вода? Ее тоже все меньше и меньше. Тоже подлая!.. Вот она, стихия, покоренная им!

Но что же он стоит? Ведь проехали только половину пути. Машинист орет, угрожая сбросить с паровоза. Конечно, так и надо сделать. Его столкнут и вслед бросят сундучок. Поезд умчится, а он будет лежать. Он поднимется и уйдет куда-нибудь далеко-далеко. А сундучок не бросит. Сундучок еще пригодится.

Чччч-ах! чччч-ах! ччччч-ах! — бухают выхлопы, готовые вырвать и унести в трубу всю топку вместе с колосниковой решеткой. Четверть оборота колеса — выхлоп. Колеса вращаются медленно, они едва движутся, и нет сил стерпеть муку, с какой выдавливается каждый выхлоп. Он так же мучительно и гулко отдается в сердце, тоже готовом вырваться.

И вдруг с бешеной скоростью завертелись колеса. Завертелись на одном месте, не в силах тащить состав, будто точилом шлифуя рельсы, спиливая бандажи. И выхлопы неслись каждые четверть оборота сумасшедше вертящихся колес, сливаясь, будто пулеметная дробь: ча-ча-ча-ча-ча-ча...

Из топки вырвало и вынесло в трубу обугленную массу. Густые клубы поднялись к небу и черным градом застучали по обшивке, завихрились в будку едкой пылью.

Машинист перекрыл пар, и буксование прекратилось. Но и так небольшая скорость еще уменьшилась. Левой рукой машинист медленно открывает регулятор, снова пуская пар в цилиндры, а правую держит на рукоятке песочницы. Снова тяжело бухают выхлопы, и снова неудержимая гонка колес, пулеметная дробь и черный град.

— Песок, песок лопатами! — в отчаянии кричит машинист. То ли трубки песочницы засорились, то ли он уже вообще ни во что не верит.

Помощник и кочегар, схватив лопаты, бросаются вниз. Они бегут слева и справа от паровоза и впереди него и швыряют на рельсы песок с путей. До перевала осталось не больше тридцати метров. Дальше уклон. Это спасение. Но надо еще вытянуть эти тридцать метров. А если нет? Если встанет? Горе тогда. Машинист затормозит состав и даст долгих три гудка для кондукторов. Да они и без сигнала поймут, что случилось, затянут ручные тормоза, подложат под колеса башмаки и пойдут ограждать поезд. За километр от хвостового вагона поставят красный сигнал, положат петарды.

Как взмыленные, будут биться у топки все трое паровозников, пока не вычистят ее, не нагонят пару.

А дежурный по станции, откуда они недавно выехали, и диспетчер станут без конца звонить на соседнюю станцию и спрашивать:

«Прибыл, наконец, к тебе этот проклятый состав?»

«Нет, не слышно».

«Провалился бы он сквозь землю, хоть путь освободил бы!»

А поезда будут идти и идти, скапливаться на станции, пока не забьют все пути, кроме главного.

Но, нагнав и полное давление пара, машинист не сможет тронуться с места на подъеме. Состав расцепят посередине, и главный кондуктор отправит половину поезда. Потом вместе с паровозом вернется за второй половиной.

А поезда все будут накапливаться, стоять. Но пассажирские держать нельзя, их отправят по неправильному, по левому пути. По этому единственному свободному пути успеют проходить попеременно в обе стороны только пассажирские. А грузовые начнут скапливаться и с противоположной стороны. И все, от стрелочника до начальника отделения, будут проклинать машиниста. И ветер будет развевать полотнище с надписью: «Ни на минуту не задержим грузов пятилетки».

Вся эта картина промелькнула в голове Виктора, и его охватил ужас. Он с яростью швырял песок на рельсы, поглядывая вперед. Вот уже осталось метров пятнадцать, двенадцать, десять...

Буксование, наконец, прекратилось, поезд пошел ровнее. С трясущимися руками Виктор поднялся на паровоз. Но впереди снова два зеленых сигнала: входной и выходной. Значит, опять пускают на проход.

Виктор смотрит на машиниста. Что же он собирается делать? Ведь пару только восемь атмосфер. Проезжая мимо дежурного по станции, который встречал с белым огнем в знак того, что можно ехать дальше, машинист дал три коротких сигнала: остановка.

— В чем дело, механик? — крикнул дежурный.

— Топку будем чистить,— мрачно ответил машинист.

И вот поезд стоит. Кочегар подтягивает с тендера резак, скребок и огромную лопату.

Чистка топки — тонкое дело и входит в обязанности помощника. Виктор открывает дверцы и берется за резак, хотя силы покидают его.

— Давай я,— говорит кочегар тихо,— я умею.

Виктор в нерешительности. Но из этого состояния его выводит механик.

— Машину смотри! — кричит он злобно.— Без тебя почистим!

Помощник еще минуту продолжает стоять, а кочегар уже сует резак в топку.

Захватив ключи и масленку, Виктор зажигает факел и спускается вниз. Значит, его отстранили: один из жалости, другой из недоверия. Горькая обида подступает к горлу. Но на кого обижаться?

Кочегар сгребает жар к передней стене, к самым трубам, и очищает от шлака середину. Работает очень быстро.

Топка сильно охлаждается, а в котле пар и бурлящая вода. Могут потечь трубы или связи. Он торопится, на нем намокла одежда, пот струится с лица, но ему не до этого. На очищенные от шлака места подгребает жар.

Шлаком уже забито все поддувало. Его тоже надо чистить. Это обязанность кочегара. Обычно помощник чистит топку, а потом кочегар скребком выгребает из поддувала. Но сейчас машинист, сбросив вниз скребок, кричит:

— Эй, выгребай поддувало, да поживей!

Окрик звучит оскорбительно, но делать нечего. Виктор молча берет скребок и сует в поддувало. Мимо него, видимо, возвращаясь с гулянья, шумно идут трое ребят. Ну и пусть гуляют. Ему надо выгребать горячий вонючий шлак, от которого даже на воздухе угорают. Он может совсем отбросить скребок и грести голыми руками...

Спустя полчаса на колосниковой решетке ярко горел ровный слой угля, раздуваемый сифоном. Закончив свои дела, Виктор поднялся, взял лопату, чтобы подбросить.

— Не тронь! — заревел машинист.— Уходи с левого крыла, топить будет кочегар.

— Да нет, теперь хорошо, он справится,— смущенно забормотал кочегар.

— Видели, как он справлялся, с меня хватит! — зло ответил механик, и кочегар умолк.

В депо приехали в одиннадцать часов утра.

Сейчас Виктор больше всего боялся, как бы знакомые не увидели за левым крылом кочегара. Ему было стыдно.

Стояла хорошая солнечная погода, и его это раздражало. Ему хотелось бы идти домой ночью или в дождь, чтобы никому не попадаться на глаза. Будь он хоть без сундучка и без этих блестящих пуговиц, еще ничего, а сейчас чувствовал себя как в чужой одежде, будто чужую славу присвоил. А тут еще кочегару оказалось по пути с ним, и тот шагал рядом. Оба молчали. Как назло, один за другим попадались знакомые.

«Привет, Витя!» «Здорово, механик!», «Поздравляю, Витя!» — только и слышалось со всех сторон.

Молодой слесарь, с которым Витя вместе учился, узнал его, когда уже прошел мимо, и на ходу спросил:

— Как съездил, Витька?

Не успел Виктор и рта раскрыть, а на помощь ему пришел кочегар.

— Здорово съездили, хорошо! С него причитается.— И кивнул на Виктора.

Но это уже было совсем невмоготу.

— Плохо съездил, завалился! — крикнул он вдогонку слесарю.

А тот по-своему понял эти слова, обернулся и, погрозив пальцем, сказал:

— Это ты брось, не отвертишься, все равно стребуем.

Виктор шел, глядя далеко вперед, чтобы заранее увидеть врага. А врагом теперь казался каждый знакомый.

Вскоре он заметил идущую навстречу уборщицу общежития. Он знал ее как надоедливую и болтливую женщину. Уж она наверняка остановит, начнет расспрашивать. Но, на счастье, кочегар стал прощаться. Ему надо было перейти на противоположный тротуар и свернуть в сторону. Воспользовавшись этим, Виктор сказал:

— Пожалуй, и я пойду по той стороне, там идти удобнее — тротуар лучше.— И он направился вслед за своим спутником.

Но когда судьба издевается над человеком, жалости в ней нет. Она бьет, пока человек не упадет, потом бьет лежачего, бьет обессиленного, и чем меньше он сопротивляется, тем сильнее ее удары.

Не успел Виктор ступить на тротуар, как из-за угла показалась Маша. Эта девушка работала на материальном складе, куда он заглядывал не только по делу. Когда лишь мечтал о паровозе, именно ее хотелось ему встретить после первой же поездки. Но сейчас!.. Уж пусть бы лучше он не переходил на эту сторону, пусть бы хоть час терзала его болтливая уборщица, но только бы не встретить Машу.

Остановиться у него не хватило сил. Растерянно поздоровавшись, он неестественно быстро прошмыгнул мимо.

К вечеру у Виктора начался жар. Врач выписал лекарство, велел потеплее укрыться на ночь и дал бюллетень на три дня.

То-то посмеются над ним в нарядной. Машинист, конечно, рассказал, как он съездил, а то, что сказано в нарядной, распространяется быстрее звука. И уж ни один машинист не согласится его взять.

Наутро ему стало лучше, но вставать не хотелось. Он лежал лицом к стене и думал. Думал только об одном: как быть дальше? С паровоза он не уйдет. Но и позориться так больше невозможно и подводить машиниста нельзя. Впрочем, ведь его и не возьмет никто. Интересно, как ездят другие?

Он обернулся и, убедившись, что в комнате никого нет, быстро оделся и вышел. Температура еще не совсем спала, его немного мутило, кружилась голова.

Виктор шел в сторону депо, ни от кого не прячась, поглощенный своими мыслями. И когда увидел шедшего навстречу старого машиниста-наставника, которому сдавал экзамены, спо-

койно отметил про себя: этот уже все, конечно, знает, а ведь он не любит молодых помощников. Наверно, торжествует сейчас.

И как ни странно, его не испугал предстоящий разговор, хотя он понимал, что разговор будет неприятный. Уже первые слова наставника подтвердили опасения Виктора.

— Ну что, герой,— иронически сказал наставник, когда они поравнялись,— завалился? Расскажи-ка!

Виктор молчал. Ничего больше не говорил и старик.

Виктору приходилось не раз бывать на собраниях, он знал, как достается бракоделам, и ему хотелось, чтобы наставник уж поскорей выругал его и отпустил. Молчание становилось невмоготу, и он спросил:

— Рассказать, что произошло?

— Что произошло, я тебе расскажу! — неожиданно резко ответил наставник.— Ничего не произошло. Понял? Ничего!

Теперь уж действительно Виктор ничего не мог понять. А тот продолжал:

— В каждом деле всегда разобраться надо. Понял?

— Понял,— с готовностью ответил Виктор.

— Так вот, падать духом тебе рано. Почему? А вот почему. Уголь вам дали один тощий, шлакующийся, а надо бы немного жирного подкинуть. Это раз. Теперь. Машинист не очень в топке углем разбирается. Это два. Так? Да к тому же паровоз ваш последний рейс перед капитальным делал. Там только накипи на трубах с палец толщиной. Это три. Значит, зови хоть самого Стефенсона или обоих Черепановых, пару не будет.

Виктор ушам своим не верил. И хотя старался спрятать радость, но лицо расплывалось в улыбке. Наставник не смотрел на него и продолжал:

— Только и радоваться тебе нет причин. Главное все-таки в том, что топить ты не умеешь. Это четыре. Но с первого раза и никто не умеет. Понял? Научишься. Машину ты знаешь хорошо, а это главное.

...Виктора назначили на маленький паровоз ОВ, работавший на ветке. Она соединяла несколько леспромхозов со станцией Чулымская.

Работая на маленьком паровозе, Дубравин прежде всего учился топить. Узнал характер и повадки всех марок и видов топлива: жирного, тощего, длиннопламенного, шлакующегося, коксующегося... Узнал, что одни угли надо хорошо смачивать, другие надо лишь опрыскивать, а третьи вообще не переносят воду. Он видел, к какому топливу нельзя прикасаться резаком, а какое, наоборот, не будет гореть, если его не взрыхлять.

Теперь открывал шуровку уверенно, как настоящий хозяин паровоза. Он видел все, что делается на каждом сантиметре колосниковой решетки. Понял, что значит наиболее выгодный режим огня. Уголь у него ложился тончайшим слоем по всей поверхности и раскалялся в несколько мгновений.

Он виртуозно овладел узкой и длинной лопатой на короткой рукоятке, лопатой паровозника. Казалось, каждый крошечный уголек летел именно в то место, которое предназначал для него Виктор.

Вскоре Виктор Дубравин выехал с ветки на главную линию Великой транссибирской магистрали и пересел на мощный товарный паровоз.

Теперь каждая поездка приносила радость. Радость больших скоростей. Он возненавидел красный сигнал семафора, сигнал остановки.

Виктор все чаще поглядывал на правое крыло, все внимательнее присматривался к действиям механика. Машинист многому научил своего помощника и время от времени уступал ему место за правым крылом. Пока Виктор вел поезд, механик стоял рядом, чтобы мгновенно предупредить малейшее неверное действие.

Виктор познал устройство и ремонт паровоза. Но для того, чтобы стать машинистом, этого было мало. Предстояло изучить более тысячи различных правил, положений, законов, норм, размеров, сигналов. Все это тоже одолел Дубравин.

Теперь он смог бы управлять паровозом. Но только паровозом, без поезда. А машинист, естественно, должен водить составы. Это тоже целая наука. Не освоив ее, человек не сможет стронуть поезд с места, не подтянет его к колонке, обязательно разорвет на первом же перегоне.

Ведь вагоны не стоят вплотную друг к другу, как книги на полке. Состав сжимается и разжимается наподобие гармошки или звеньев цепи. Вагоны могут толкать друг друга. Да кому не знакома эта картина на станциях, когда вдруг загромыхает, залязгает состав, и вагоны, каждый в отдельности, тычутся взад и вперед, и не поймешь, в какую сторону пойдет поезд? Даже сидя в пассажирском вагоне, можно ощущать эти толчки в противоположные стороны.

Так вот, вести состав, в котором каждый вагон действует «самостоятельно», нелегко. Уметь хорошо стронуть с места тяжеловесный состав — тоже искусство, особенно зимой. И все-таки пришло время, когда Виктор решил сдавать экзамен на машиниста. Испытание тяжелое. Те, кто выдает права управления паровозом, скидок не делают.

Четыре дня его экзаменовала деповская комиссия. Когда ему сообщили, что на все семьдесят три вопроса он ответил хорошо, это означало, что окончился первый подготовительный этап испытаний и ему предоставляется право на пробную поездку.

Дубравин вместе с машинистом-наставником пришел на первый подготовленный к отправке поезд, на чужой паровоз и встал на правое крыло. Наставник молча наблюдал за каждым движением будущего механика: как тот осматривает паровоз, что говорит помощнику, как готовится к отправлению. Так же

молча следил за движением рук Дубравина, когда тот трогал с места поезд, преодолевал подъем, спускался с уклона, тормозил. Он следил за глазами машиниста, чтобы определить, когда тот начинает искать световой сигнал, правильно ли пользуется приборами, не нервничает ли.

Наставник, на которого ложилась ответственность за любое происшествие в этом рейсе, ни разу не вмешался в действия Дубравина, не сделал ему ни одного замечания. Пробная поездка прошла отлично. Это означало, что он получил право предстать перед экзаменационной комиссией Барабинского района. И здесь он отвечал на множество вопросов, и испытания прошли хорошо.

Так закончились все подготовительные этапы, и Виктор получил командировку в Омск, в управление дороги, где и предстоял настоящий экзамен.

ПИДЖАК, ПРАВЫЙ НАРУЖНЫЙ...

В управление прибыл днем, когда испытания уже шли полным ходом. Человек, отметивший ему командировку, велел явиться на следующее утро. От нечего делать Виктор решил побродить по городу, а заодно заглянуть в технический кабинет, посмотреть, как сдают люди из других депо.

Экзамены на железных дорогах распространены как нигде. Ежегодно каждый рабочий, служащий, инженер, начиная от сторожа до министра, сдают Правила технической эксплуатации и должностные инструкции. Кроме того, непрерывно идут испытания на более высокую квалификацию. Кочегары сдают на помощников, помощники на машинистов, машинисты четвертого класса постепенно добиваются третьего, второго, первого. Вокзальные уборщицы экзаменуются на стрелочниц, стрелочницы на операторов, операторы на дежурных по станции — и так в любой службе.

Казалось бы, люди могли привыкнуть к экзаменам, относиться к ним спокойно. Но ведь любой, сдающий испытания, сколько бы лет ему ни было, всегда становится школьником. Поэтому никого и не удивляет, что порой убеленный сединами старик, боязливо озираясь по сторонам, сует кому-то шпаргалку, или солидный начальник со звездами на петлицах украдкой листает под столом учебник.

В коридоре перед техническим кабинетом, куда пришел Виктор, было людно и шумно, как в вузе во время сессии. Кто-то заглядывал в щелку чуть-чуть приоткрытой двери, кто-то нервно и быстро листал записи в последний раз перед тем, как идти отвечать, кого-то уже вызвали, и он, подбежав к урне, часто-часто засосал папиросу, не в силах оторваться от нее. Счастливчики, уже сдавшие экзамены, делились своими впечатлениями.

Особенно шумно было возле какого-то парня, который сильно

жестикулировал. Его голос слышался по всему коридору. Еще издали Виктор узнал в нем Владимира Чеботарева.

— А что вы смеетесь? — продолжал тот.— Я вам верно говорю: идешь на экзамен — надевай жилет! Я потом разъясню, зачем он, а сейчас не перебивай. Так вот, я и говорю, самое главное — расположить к себе комиссию. Это совсем плевое дело, если психологию людей понимать. Ведь они, бедняги, сидят целыми днями, и все время перед ними измученные, перепуганные, страдающие люди. И сами они должны быть грустными, озабоченными и серьезными. А им давно все опостылело вот аж до каких пор,— резанул он ладонью по шее.— Им бы поболтать, развлечься хоть немного, а нельзя. Другой вспомнит что-нибудь смешное и даже улыбнуться не имеет права. Значит, понимать это надо, сочувствовать людям, разрядку им дать. Я как зашел, как глянул на их тоскливые лица, мне аж жалко стало: сидят, бедные, друг перед другом, да и перед нами марку держат. Ну, глянул я и говорю: «Уж, видно, жарко мне будет, разрешите для начала холодной водички напиться, а то потом руки дрожать будут». Так, верите, минут пять все смеялись. Они в таком безвыходном положении, что им любую глупость скажи, все равно засмеются. И не от того, что ты скажешь. Кто на законном основании про свои дела будет смеяться, кто просто засиделся и с полным правом на стуле повертится, разомнется. Им ведь и минутная передышка дорога. А мне все равно, главное — уже людей к себе расположил, на свою сторону поставил, и у них пропал интерес меня сыпать.

— Ну, а если ты все-таки ничего не знаешь? — спросил кто-то.

— А ты не забегай вперед, все поясню,— отрезал рассказчик.— Ну вот,— продолжал он,— дадут тебе, например, «Устройство крана машиниста системы Казанцева» и скажут, чтобы посидел, подумал, подготовился. А что ж готовиться, когда на охоту идти? У хорошего хозяина должно быть заранее все приготовлено. Значит, садишься и смотришь на руку под столом.— И он показал исписанную химическим карандашом ладонь левой руки.— Тут оглавление, видите, тринадцать глав, по числу моих карманов. В них — шпаргалки по всему паровозу. Значит, и ищи то, что надо. Кран машиниста надо, вот ищи тормоза. Против них,— он провел пальцем вдоль ладони,— стоит «ЖЛН», значит — «жилетный, левый нижний». Ну, лезу в указанный жилетный карман...

Все грохнули от смеха.

— А ну, перестаньте смеяться! — притворно рассердился он, но тут же продолжал: — Спросят тебя, скажем, паровую машину, ты опять в оглавление. Против паровой машины, видите, стоит «ППН», значит — «пиджак, правый наружный», ну и так далее. К следующему экзамену я себе френч сошью, чтоб больше карманов было, и на штанах второй задний карман прорежу.

Все слушали, улыбаясь, а он, поощряемый общим вниманием, с еще большим жаром выкладывал свои секреты.

— Самое главное,— говорил он,— чтоб комиссия не поняла, когда ты в тупик зашел. Иной обрадуется легкому вопросу, важности на себя напустит, как индюк, и отвечает, будто профессор, а на второй вопрос — тыр-пыр, тыр-пыр, и вся спесь пропала. И веры в него больше нет. Рядом со мной сдавал один, так сначала он не говорил, а изрекал, солидно, так, знаете, басом: «карр-карр-карр», потом слышу, уже чирикает — «чирик-чирик-чирик», а дальше только — «тютя-тютя-тютя», едва бормочет.

Самое страшное дать себя забить! Задали тебе вопрос, на который не знаешь ответа, делай вид, будто самого вопроса не понял, переспрашивай хоть десять раз, они и начнут перебивать друг друга, стараясь попроще объяснить вопрос, а ты пытай их без жалости, пытай до тех пор, пока не проговорятся. Обязательно кто-нибудь проговорится. А уловил ответ, улыбнись так удивленно — ах, вот, мол, о чем вы толкуете, так это же совсем просто. И отвечай так, чтоб рельсы гудели.

Но не всегда надо так! — быстро проговорил он, будто спохватившись.— Вот задают тебе вопрос: «Какое давление воздуха должно быть в магистрали, чтобы тормоза считались подготовленными к действию?» Ну, другой хотя и не знает, но для важности выпалит, как пулемет: «Для того чтобы тормоза считались подготовленными к действию, давление воздуха в магистрали должно быть...» и осекся, будто на скаку перед тобой яма выросла. И никто не подскажет. А надо заставить комиссию подсказать, надо ее измором взять.

— Да как же ты ее изморишь? — рассмеялся сосед Виктора.

— А очень просто. Отвечай так: «Для того чтобы тормоза...» — и замолчи, вроде слово забыл. Тебе по закону сейчас же кто-нибудь из комиссии подскажет: «...считались...», а ты подхватывай: «...считались подготовленными к действию, давление в...» — и снова замолчи. И опять тебе подскажут: «...магистрали...», значит, твоя очередь продолжать: «...в магистрали должно быть...» Ну, уж тут обязательно, у кого нервы послабей, ляпнут: «пять...», а ты только добавишь: «...атмосфер». Если будешь так тянуть, они все время норовят подсказать тебе, как здоровый человек заике.

— Ну, а если никто не подскажет? — не выдержал Виктор.

— Витька, ты?! — удивился Чеботарев.— Ну, слушай, ума набирайся. Если никто не подскажет, все равно выход есть! Тут уж на крайние меры иди: попробуй сообразить сам. Трудно это, конечно, но не скажешь же ты «двадцать атмосфер». Допустим, скажешь «четыре». По лицам видишь, что не попал, и сразу перестраивайся. «Хотя точно не помню, говори,— ведь человеческая память не совершенна». Тут все и рассмеются. А ты лицо такое невинное делай, мол, и с вами может слу-

читься, на другие-то вопросы я хорошо отвечаю. Значит, снова разрядку дал и в честные люди вышел: забыл человек, так прямо и говорит, не мудрствуя. Или вот еще...

Но в это время раскрылась дверь техкабинета, и секретарь комиссии вызвал очередного экзаменующегося. На вызов никто не откликнулся. Секретарь повторил фамилию и, не получив ответа, назвал следующего кандидата. И опять то же самое. Все молчали.

И вдруг Виктор почувствовал, как холодная волна прокатилась от груди к ногам и снова поднялась вверх. И прежде чем выкристаллизовалась неясно промелькнувшая мысль, он выпалил:

— Разрешите мне?

— Откуда? — сухо спросил секретарь.

— Из Барабинска. Виктор Дубравин.

В большой комнате, увешанной плакатами, схемами, чертежами, загроможденной различными паровозными деталями, оказалось много людей. Четверо экзаменующихся склонились над своими листками и что-то нервно писали, готовясь к ответам, один стоял у доски. Семь человек восседали за столом экзаменационной комиссии. Лица у них были напряженные, сосредоточенные, хмурые, точно такие, какими их только что описывал в коридоре Владимир. «Эх, рассмешить бы их чем-нибудь, расположить к себе, как советовал тот»,— подумал Виктор, но только мысленно махнул рукой и решительно направился к столу председателя.

Сорок минут отвечал Дубравин и вышел с каким-то странным чувством не то облегчения, не то пустоты.

— Ну как? — набросились на него стоявшие у двери.

— Наверно, сдал,— неуверенно сказал Виктор,— вопросы попались легкие, вроде на все ответил.

РАЗЪЕЗД БАНТИК

Права управления паровозом Виктор Дубравин и Владимир Чеботарев получили в один и тот же день. И на работу их послали в одно и то же депо. Но дружбы между ними не было. Тихий и скромный Виктор недолюбливал Владимира за хвастовство, за то, что где только мог показывал свое превосходство над другими. Владимир чувствовал холодок в отношениях к нему бывшего беспризорника, но это его не трогало. Он ни с кем не дружил и, казалось, ни в чьей дружбе не нуждался. Паровоз он любил, содержал его в отличном состоянии, легко перекрывал нормы, и его фамилия то и дело появлялась в приказах, где отмечали лучших, и он откровенно любовался своим портретом на Доске почета.

Виктор близко сошелся с Андреем Незыба — начальником крошечного разъезда со странным названием Бантик. К этому названию Андрей имел прямое отношение.

Еще будучи выпускником института инженеров транспорта, он проходил практику на комсомольской стройке. От главной магистрали комсомольцы вели ветку через лес, где были обнаружены залежи какого-то важного стратегического сырья. Один из трех разъездов на этой ветке и было поручено строить Андрею. Работа легкая и простая: по готовым чертежам собрать из готовых щитов маленькое служебное здание, похожее на барак.

— Приезжать сюда мне некогда,— сказал ему начальник участка Бабаев,— надеюсь, ты и сам справишься с таким делом, тем более что ребят тебе выделил хороших, работать умеют.

Проект здания Андрею не понравился. Он давно мечтал о самостоятельной работе, ему хотелось создать что-нибудь оригинальное, красивое, даже выдающееся, а тут просто барак. Вечером засел за чертежи. Сначала переделал крышу, потом окна, увлекся и от старого проекта ничего не оставил. Утром показал своей бригаде эскиз рубленого домика, выполненный в красках, и все ахнули.

— Да ведь это же из сказок Андерсена,— восхитился Хоттабыч. Так прозвали здесь единственного старого человека, очень доброго, трудолюбивого и веселого. Он побывал на других комсомольских стройках, и его энергии и жизнерадостности могли позавидовать многие молодые рабочие.

Домик не походил на служебное железнодорожное здание. Никто об этом не думал. Он был красивый. Может быть, поэтому так придирчиво отбирали лес, подгоняли бревна одно к одному, рамы и двери зачищали пемзой, тщательно выкладывали ступеньки. Трудились, забывая покурить, и к сроку соорудили чудо-домик. Позади него и с боков не срубили ни одного дерева, впереди не разбили скверика и симметричных клумбочек. Пусть все останется, как сотворила природа, в диком лесу.

Выкрашенный масляной краской цвета свежего меда, под красной черепичной крышей, выглядывавший из лесу домик и в самом деле походил на сказочный теремок. Люди смотрели на творение своих рук, искренне удивляясь, как это они сработали такую игрушку. И как раз в это время приехал Бабаев.

Несколько мгновений Бабаев стоял пораженный, глядя на домик, а вся бригада, переполненная радостью, смотрела на Бабаева. Потом он обернулся, ища Андрея. Тот стоял, скромно опустив глаза, и медленно отделял узенькие ленточки от широкой стружки. Не в силах больше скрыть счастливой улыбки, поднял, наконец, голову.

— Вон отсюда! — заревел Бабаев.— Это... это...— начал он заикаться, не находя нужного слова,— это сумасбродство, это хулиганство, это черт знает что!..

Девять молодых парней и Хоттабыч растерянно смотрели на Бабаева и на Андрея. Им было стыдно за начальника участка, который так кричит, и обидно за Андрея. Он молча и зло рвал

на кусочки стружку поперек волокон. Бабаев продолжал кричать, и все поняли: сюда едет начальник строительства Тимохин. И действительно, вскоре у разъезда остановилась его дрезина.

Как и Бабаев, он несколько секунд смотрел на странное сооружение молча.

— Это что же за бантик такой? — обратился он, наконец, к Бабаеву.

Вид у того был несчастный. Он молчал. Вперед выступил Андрей.

— Это не бантик, товарищ начальник. Это разъезд «Седьмой километр».

Тимохин рассмеялся:

— Откровенно говоря, чудесный домик.

Кто-то предложил объявить Незыбе благодарность.

— Если каждый практикант будет строить то, что ему вздумается...— Он умолк, не закончив фразы.

На следующий день Бабаеву был объявлен выговор, Андрея отстранили от работы. А домик так и остался. Не ломать же, коль он построен.

Название «Бантик» привилось к разъезду. Иначе его никто и не называл. Когда дорога была сдана, он стал так именоваться во всех официальных документах.

После окончания института Андрея послали на одну из крупных станций. Работа поглощала все его время. Так продолжалось, пока он не поступил в заочную аспирантуру. Совмещать службу с учебой стало трудно. Руководители дороги предложили ему перейти на одну из станций с меньшим объемом работы. Андрей попросился на разъезд Бантик, где оказалось вакантное место.

Движение к тому времени увеличилось: ветку протянули дальше рудников, и она соединила две магистрали. Пассажирские поезда там не останавливались. Да и грузовые чаще всего проносились мимо.

Андрей сошел на станции Матово в пяти километрах от разъезда и пошел пешком. С обеих сторон близко к полотну, как стена, подступал лес. Неожиданно из лесу показались несколько девушек. Они несли нивелир с треногой и рейку. Андрей, которому не терпелось скорее увидеть свой домик, быстро догнал их и безразличным тоном спросил:

— Далеко еще до будки?

— До какой будки? — удивились девушки.— Здесь нет будок.

— Ну, до разъезда, что ли.— В его тоне слышалось явное пренебрежение.

— Хорошенькая будка,— рассмеялась та, что несла рейку.

Перебивая друг друга, девушки стали рассказывать, какой это сказочный домик.

Ему было приятно слушать. Чтобы определить, как вести себя

дальше, осторожно спросил, почему разъезду дали такое несолидное название.

— Этого мы не знаем,— последовал ответ.

Андрей хотел было рассказать историю Бантика, но заговорила Валя. Так звали девушку с рейкой.

— Почему дали это название, неизвестно, а кто строил, знаем.

— Кто же? — вырвалось у Андрея.

— Очень хороший человек строил,— убежденно ответила она.

Андрей смутился.

— Построил и уехал,— продолжала она,— и никогда, наверное, не увидит своего разъезда.

— Ну и фантазерка вы! Почему же не увидит? — улыбнулся Андрей. Ему и в самом деле стало смешно.— Вы очень медленно,— неожиданно сказал он и, поблагодарив девушек, размашисто зашагал по шпалам.

Андрей увидел, что все осталось по-прежнему. И краска такая же, и никаких фигурок с веслами или теннисными ракетками. Он ненавидел эти неестественные серебряные фигуры — обязательную принадлежность почти всех станций.

Он стоял, глядя на дом, и радовался. Солнце заходило, но было похоже, что наступает утро. Возможно, от тишины и свежести леса, а может быть, от щебетания птиц, какое обычно можно услышать только ранним утром.

Тишину нарушил сигнал приближавшегося поезда. Сняв со стены большое проволочное кольцо на рукоятке, дежурный по разъезду заправил в нее жезл — разрешение машинисту следовать дальше — и вышел на платформу. Свесившись на подножке, помощник машиниста ловко подхватил на руку протянутое кольцо. Дежурный подобрал сброшенный жезл предыдущей станции и направился к себе.

Широко улыбаясь, бежал к нему Андрей.

— Принимать разъезд приехал? — улыбнулся тот, пожимая ему руку. Они вошли в здание и долго беседовали. С радостью узнал Андрей, что здесь в качестве стрелочника работает Хоттабыч. У него и поселился Андрей.

Андрей любил скрипку и хорошо играл. Почти каждый вечер уходил в лес, на свою любимую полянку, и играл.

Иногда приглашал Валю. Она была студенткой техникума, находившегося в Матово, и на разъезде проходила геодезическую практику. Ему было приятно, что Валя любит и понимает музыку.

Все шло хорошо, пока не появился какой-то странный сигнал. Он раздавался через сутки в самые различные часы. Обычно перед разъездом машинисты давали только сигнал бдительности: один короткий гудок и один длинный. Так они предупреждали, что идет поезд, чтобы дежурный вовремя встретил и вручил жезл. Другие сигналы на разъезде и не требовались, хотя существует их множество.

Паровозный язык выразителен. Сочетание коротких и длинных

гудков дает возможность машинисту передать поездной бригаде и станционным работникам все необходимое. Каждый сигнал люди знали, точно буквы алфавита. И как не может человек по своей прихоти придумать новую букву, так не придет в голову машинисту изобретать новый сигнал. А это был, бесспорно, новый сигнал: короткий, длинный, два коротких. В служебной инструкции таких нет.

Кроме официально установленного значения, в сигналах есть нечто выработанное самими машинистами в течение десятилетий. И многие сигналы даются не так, как они записаны в инструкции. Даже школьнику из железнодорожного поселка известно, например, что сигнал остановки — это три коротких гудка. Но если он услышит просто три коротких, поймет, что на паровоз забрался новичок. Опытный машинист даст этот сигнал так: «Тут-ту-тууу!» Все три гудка будут разной тональности и продолжительности. Правда, иной раз можно услышать три совершенно одинаковых коротких и нетерпеливых, даже нервных «Ту-ту-ту!», но это будет не просто остановка. Это значит, что машинисту уже в который раз дают сигнал куда-то ехать, а он топку чистит, или еще что-то мешает ему тронуться с места. И каждый железнодорожник поймет машиниста: «Слышу, слышу, не приставайте, никуда не поеду. Подойдите сами и все увидите».

А послушайте, как машинист дает тот же сигнал остановки у закрытого семафора перед станцией. Какие там короткие! Целую минуту гремит. И станционные работники поймут его: «Эх вы, зашились, даже на станцию впустить не можете! Из-за вас и пережог топлива и простой паровоза... Вот и выполняй с вами план!..»

Постоит машинист минут десять, снова даст сигнал остановки. Но значение его будет уже другое: «Ну, сколько держать будете? Или хотите, чтобы я начальнику отделения пожаловался?» На станции опять поймут его, бросят в сердцах: «Ори сколько хочешь», а все-таки начнут торопиться, чтобы поскорее избавиться от этого крикуна.

Новый сигнал ни на что не был похож. Сначала не придали ему значения, но, когда он стал регулярно повторяться, забеспокоились: дорога шла мимо разработок руды и имела специальное назначение.

Вскоре было установлено, что дает сигналы комсомолец Владимир Чеботарев.

Каждый машинист, как и положено, на разъезде снижал скорость. А Владимир будто нарочно несся так, что казалось, вот-вот кувырком полетят вагоны. Стоять с жезловым кольцом близко от несущегося поезда страшновато, а порой и небезопасно.

При очередном рейсе Андрей воткнул под жезл записку, предупредив, что, если в следующий раз скорость не будет снижена, он остановит поезд. Под жезлом, который Владимир сбросил на обратном пути, Андрей нашел ответ: «Если вы не справляетесь с работой, уступите ее другому».

Была у Андрея и более веская причина с неприязнью относиться к Владимиру. Ему часто приходилось бывать на станции Матово. Как-то в ожидании попутной дрезины домой Андрей вместе с Виктором сидели в станционном буфете. Туда же вошла группа паровозников, среди которых был Володя. Продолжая какой-то спор, компания шумно расселась. Разговаривали громко, не обращая внимания на других посетителей. Неожиданно в дверях появилась Валя. Она была в легком ярком платье, стройная, загорелая. Опустив глаза, подошла к буфету. Паровозники умолкли вдруг, проводив ее взглядом. Валя взяла мороженое и села близ буфетной стойки.

— Вот это да-а! — протянул кто-то из паровозников.— К такой не подступишься.

— Подумаешь, невидаль,— с пренебрежением сказал Владимир.— Захочу — в два счета познакомлюсь.

— Пари!

— Пари! — протянул руку Чеботарев.

— Надо подойти к ней, чтобы прекратить эту сцену,— поднялся Андрей.— Впрочем, пусть нахал останется в дураках.— И он снова опустился на стул.

Пари состоялось. Условия жесткие: Володя должен сесть за Валин столик и угостить ее фруктовой водой. Если она охотно примет угощение и будет активно вести разговор, а на прощание подаст руку — значит, знакомство состоялось. Окончательное заключение выносил арбитр, один из компании, в объективность которого все верили.

Ничего зазорного в том, что девушка выпьет стакан воды, предложенный соседом по столику, Андрей не видел. Но он знал: Валя этого не сделает.

Владимир подошел к ней и что-то сказал. Она ответила небрежным кивком головы, не скрывая недовольства его приходом. Сев напротив, он снова заговорил. Она продолжала есть мороженое, точно слова его относились не к ней. Потом стала есть быстрее, и Андрей сказал:

— Сейчас уйдет. Как только поднимется, я пойду навстречу.

— Не стоит обращать на себя внимание,— посоветовал Виктор.

— Верно,— согласился Андрей.— Да и интересно посмотреть, с каким видом он вернется за свой столик. Там уже хихикают.

Не успел Андрей закончить фразы, как ложечка в руках Вали замерла на полпути. Она взглянула на Владимира и улыбнулась. Сначала едва заметно, потом широко и, наконец, рассмеялась, откинувшись на спинку стула.

Андрею нравилась улыбка Вали и ее смех. Но Виктор видел, что ему стало больно смотреть. А Володя уже демонстративно требовал у официанта воду. Он налил ей и себе, и она, отпив несколько глотков, сама стала что-то рассказывать. Улыбка не сходила с ее лица, и глаза были обращены к Володе.

— Неинтересно смотреть, что делается за чужим столиком,— сказал Андрей, резко поднявшись.

На следующий день, взяв скрипку, он ушел на свою полянку один, хотя должен был зайти за Валей. И вообще он старался не встречаться с ней.

Спустя недели две по дороге домой Андрей остановился у переезда, пропуская пассажирский состав. Когда промчался последний вагон, Андрей увидел по другую сторону Валю. Она смотрела вслед поезду, провожая его грустным взглядом. Пройти мимо было неловко. Андрей поздоровался. Она ответила рассеянно и, не поворачивая головы, сказала:

— Не могу спокойно смотреть на поезда. Мне кажется, поезд — это всегда судьба. Промчался он, и не догнать его. И будто из жизни что-то ушло. Почему-то жаль себя становится. Окончу техникум, уеду далеко-далеко...

Андрею надо было что-нибудь сказать. Он сказал:

— Это со стороны так кажется. А в поезде все обыденно.

— Все равно судьба,— возразила Валя.— Вот едет человек в Москву, торопится, дни считает, а за окном от него убегают поселки, города, люди... И летит, быть может, от своего счастья все дальше и дальше и никогда не узнает, где проскочил мимо.

Помолчав немного, Валя сказала:

— Почему вы не берете меня больше с собой, когда уходите играть? И почему мы стоим? Проводите меня немного.

Они пошли. Андрей сослался на занятость, на то, что и сам теперь редко ходит в лес.

Почти у своего дома, без всякой связи с предыдущим, Валя сказала:

— Недавно я очень смешно познакомилась с одним машинистом...

— Знаю,— перебил Адрей. Он сказал, что видел их вместе в буфете, умолчав о пари. Но она заговорила об этом сама. Оказывается, Владимир рассказал ей правду.

— Почему же вы поддержали его в этом...— он замялся, подбирая слова помягче,— в этом не очень красивом пари?

— Потому что душа у него красивая. Открытая, простая, понимаете? Иной бы на его месте на всякие уловки пошел, а он сразу же во всем признался. «Сгоряча,— говорит,— сболтнул, а когда предложили пари, не хватило духу отказаться... Протягивая руку, я понимал, что глупо все это, что вернусь к столу посрамленный, но назад уже хода не было. Если вы скажете: «Уходи», уйду немедленно». Вид у него был растерянный, наивный, он не мог в глаза смотреть. Мне стало...

Она неожиданно оборвала фразу и забормотала:

— Извините, я забыла... Мне срочно надо вернуться...

Не попрощавшись, быстро пошла назад, в сторону разъезда, и, едва скрывшись за деревьями, побежала. Андрей видел, как она

побежала. В его ушах еще звучал только что раздавшийся сигнал: короткий, длинный, два коротких...

Андрей лег спать поздно. Эта история не выходила из головы. До случая в буфете он относился к Вале довольно равнодушно. Так, по крайней мере, казалось ему. После странного знакомства девушки с Владимиром Андрей стал чаще думать о ней. А теперь этот сигнал потряс его. Значит, при первой же встрече договорились... Но, может быть, это случайное совпадение? Возможно, у нее действительно было срочное дело?

Весь следующий день Андрею было не по себе. А еще через день рассеялись все сомнения. Во время его дежурства где-то далеко раздался этот новый сигнал. С тяжелым чувством он вышел на платформу. Поезда еще не было. Андрей смотрел вдаль, на блестящие рельсы... Старые сосны ограждали их с обеих сторон, точно гигантские стены. Возле семафора, стоявшего на насыпи, лес отступал в сторону. И именно здесь, на высоком взгорке, появилась вдруг девичья фигурка. Почти одновременно показался поезд. Высунувшись из окна паровозной будки, подавшись вперед всем корпусом, сияющий Владимир кричал ей что-то, энергично жестикулируя, а она приветствовала его, медленно и плавно покачивая рукой.

Адрей видел только фигуру Вали, только ее силуэт, но знал: она улыбается.

С этого дня его не оставляло мучительное, щемящее чувство ожидания. Он ждал гудков. Помимо своей воли он будет знать теперь о каждом свидании Вали и Володи. Он обречен быть незримым участником этих свиданий.

Движение напряженное, густое. Каждые полчаса раздается сигнал бдительности: короткий, длинный. Он ждал еще двух коротких. Сидя за чертежами, при звуке гудка прекращал работу. Ложась спать, прислушивался.

И Валя ждала сигналов, хотя не уславливалась о них, как думал Андрей. Все получилось само собой. Дня через два после знакомства с Володей, переходя пути возле семафора, она услышала серию гудков...

Отец Вали был машинистом. Она выросла в железнодорожном поселке на станции Матово и хорошо знала паровозный язык. Как и все дети поселка, по звуку определяла, какой паровоз дает сигнал. По гудку могла угадать даже настроение машиниста. Длинный сигнал иногда звучит гордо, победным кличем, а порой похож на жалобу, на плач. Короткий гудок можно дать бесстрастно, как ставят точку в конце фразы. А можно властно, будто восклицательный знак. Паровозный гудок может многое сказать...

В незнакомом сигнале, который она услышала возле семафора, было что-то зовущее, призывное. Валя невольно обернулась. Она увидела в паровозном окне Володю, который радостно махал ей рукой. Спустя несколько часов сигнал повторился. Поняла: он возвращается в свое депо. Это специально для нее дает сигналы.

С тех пор Валя часто слышала эти гудки. Теперь они раздавались далеко от разъезда: он заранее предупреждал о себе. Если в такие минуты она находилась поблизости, обязательно шла к семафору. Валя видела, как радует это Володю. И самой ей было интересно. Их коротенькие и такие оригинальные свидания казались очень романтичными. Постепенно привыкла к ним. Если долго не было сигнала, начинала беспокоиться.

Шли дни. Два человека жили на разъезде в ожидании сигнала, тщательно скрывая это друг от друга. Встречались теперь редко.

В очередное дежурство Андрея день был пасмурный. Около шести часов диспетчер передал по селектору:

— К вам идет шестьсот первый. Поставьте на запасный путь. Сначала пропустим пассажирский и два порожняка.

— Пóнято! — ответил Андрей, и, позвонив стрелочнику, передал распоряжение диспетчера.

А через несколько минут раздался сигнал: короткий, длинный, два коротких.

Андрей пошел встречать поезд. С какой радостью отказался бы он от этой неизбежной служебной обязанности. Он старался не смотреть в сторону входного семафора. Он знал: она там. У него хватило воли на несколько секунд. Бросил взгляд на стрелку: переведена ли на запасный путь — и медленно, с затаенной надеждой повернул голову к семафору... Как ей не стыдно! Будто на посту. Стоит ждет.

Поезд приближался. Андрей развернул красный флажок: никуда теперь не уедет Чеботарев часа полтора, пока не пройдут пассажирский и два порожняка.

Доложив диспетчеру о прибытии шестьсот первого, Андрей посмотрел в окно. Он увидел Чеботарева, бегущего к семафору. Навстречу ему шла Валя...

Андрей встречал и провожал поезда. Механически повертывал рукоятку жезлового аппарата, механически извлекал и передавал машинистам жезлы. Точно автомат, принимал распоряжения диспетчера и докладывал о движении поездов. Он все делал правильно и бездумно.

Неожиданно и очень громко раздались в селекторе слова диспетчера:

— Можете отправлять шестьсот первый.

Казалось, только теперь он начал волноваться. Состояние, как перед катастрофой. Он взглянул на циферблат. Час сорок минут они были вдвоем... Зачем он подсчитывает их время?

Разбудив главного кондуктора, дремавшего на табуретке в соседней комнате, Андрей вручил ему жезл. Как и положено, вышел проводить поезд. Главный, кутаясь в большой брезентовый плащ, торопился к паровозу.

Вскоре раздался долгий, тревожный сигнал отправления. Андрей знал: Чеботарева на паровозе нет. Это помощник зовет своего машиниста. Прошло еще минут пять, и сигнал повторился.

Протяжный, тоскливый. Эхо долго пробивалось сквозь лес и где-то растаяло. И снова все тихо.

Андрей сразу увидел Владимира, потому что смотрел на то место, откуда он и должен был появиться. Перескочив кювет, тот побежал по шпалам к паровозу. Поезд тронулся резко, с сильным грохотом и быстро набрал скорость. Андрей смотрел вслед, ожидая прощальных гудков Вале. Когда длинная красная змейка вагонов скрылась в лесу, донесся далекий сигнал: короткий, длинный... Сигнал бдительности. Должно быть, по путям шел случайный прохожий.

Тихо и безлюдно на разъезде. Медленно и бесшумно падают желтые листья. Шагает по дощатой платформе Андрей. Он смотрит на тропку, уходящую в лес. Здесь должна показаться Валя. У края перрона останавливается, стоит минуту и шагает назад. Он не хочет оборачиваться, пока не достигнет конца платформы. Должно быть забыв об этом, делает несколько шагов и поворачивает голову... Напрасно так долго остается в лесу. Сыро, одета совсем легко...

Он увидел ее на опушке. Она шла, опустив голову. Наверное, поссорились.

Через час Андрей сменился. Он пришел домой, сел за рабочий стол и начал ждать. Перед ним лежали схемы, чертежи, расчеты. Но у него теперь было неотложное дело: ждать сигнала. Что будет потом, он не знал. Ему важно было дождаться сигнала, когда Чеботарев поедет обратно.

Он просидел за столом сколько мог и пошел на разъезд.

— Чеботарев не проезжал назад? — спросил он своего сменщика.

— Проехал, паразит. Несся так, что чуть стрелки не разворотил.

Четыре дня Андрей не видел Валю. Он работал, прислушиваясь к гудкам. Сигнала не было.

Узнав, что у нее грипп, он встревожился и в тот же день навестил ее. Она обрадовалась. Оказывается, грипп прошел, но осложнение на ухо. Оно забинтовано. Под глазами черные круги.

— Ничего не слышу,— улыбнулась она.— Понимаете, даже паровозных гудков не слышу.

Она слышала гудки. Она замирала при каждом их звуке. Ждала. Боялась пропустить сигнал.

Андрей пришел на следующий день. Повязки на ухе не было.

— Вам лучше? — обрадовался он.

— Да-а, то есть нет, но я не могу больше ничего не слышать.

Ей казалось, будто порою слух пропадает совсем. Иногда она слышит гудки, а бывает, что целыми часами их нет. Не может быть, чтобы поезда так долго не ходили. Она просила посидеть подольше и проверить, все ли гудки она слышит. Казалось, ей безразлично, что он подумает.

Андрей сидел долго. Никогда еще не было так велико желание услышать этот ненавистный сигнал. Гудков было много, но не тех, которых они, втайне друг от друга, ждали.

Андрей ушел, когда стемнело. Моросил мелкий дождик. Домой не хотелось. Он не знал, куда идти. Возле закрытого семафора пыхтел паровоз.

— Почему не пускают? — крикнул из будки знакомый машинист.

— Не пускают? — растерянно переспросил Андрей и вдруг рассмеялся.— Сейчас пустят.

Он ловко взобрался на паровоз.

— Сейчас пустят,— повторил он. И хотя тон и вид Андрея показались машинисту странными, он ничего не сказал, когда тот взялся за рукоятку сигнала.

Над разъездом, над поселком, над лесом прокатились могучие гудки: короткий, длинный, два коротких.

КУКЛА

По пятницам в красном уголке депо созывалось оперативное совещание, на котором разбирались все происшествия за неделю.

Первые два ряда занимали машинисты-инструкторы и механики высшего класса — водители тяжеловесных и курьерских поездов. Это умудренные жизнью и трудом люди, солидные, медлительные, с подчеркнутым видом собственного достоинства. Скажите им, что есть профессия интереснее машиниста, и они смолчат. Только взглянут на вас с сожалением и сочувствием, как смотрит взрослый на неразумное дитя.

Машинист — профессия гордая. В сутолоке перрона не всякий обратит внимание на человека в паровозном окне. Но всмотритесь: властный взгляд, уверенность, воля, даже величие в этой фигуре.

Не только по петлицам можно узнать машиниста в группе железнодорожников. В его облике как бы отражаются чувства особой ответственности за судьбы тысяч людей, доверяющих ему жизнь, гордость за это доверие, вера в собственные силы.

Первым на оперативном совещании докладывал молодой машинист, недавно получивший права управления. В пути у него заклинило диск золотника. Пока он безрезультатно пытался сдвинуть диск, пока вызывали вспомогательный паровоз, пока вытаскивали по частям состав, было задержано шесть поездов.

Машинисты задали несколько вопросов, и картина стала ясной. Дело не в плохом ремонте, как докладывал молодой механик, а в том, что по его халатности или неопытности воду из котла бросило в цилиндры. И зачем только он говорил неправду! Разве проведешь этих зубров, сидящих впереди!

Совещание единодушно решило: перевести машиниста в помощники сроком на два месяца и организовать среди паровозных

бригад беседу на тему «Как предотвратить бросание воды в цилиндры».

Следующим разбирался случай, вызвавший большое оживление. Одаренный машинист Гарченко, поставивший уже не один рекорд, в день Первого мая приладил на своем паровозе красный флаг с надписью: «Вперед, товарищ Гарченко, за миллион тоннокилометров!»

Так он проехал по всему участку, вызывая недоумение и улыбки людей.

— Ну, за что вы меня ругаете? — наивно спросил Гарченко, когда ему предоставили слово для объяснения.— И в домах, и на улицах — везде праздник. Ну пусть хоть раз и на паровозе будет международный смотр сил. Вот если бы министр путей сообщения приказал флаги вывешивать, вы бы что сказали? «Забота о живом человеке»,— сказали бы. А если Гарченко,— значит, легкомыслие. Да будь моя воля, я бы в такой день на всех дрезинах флаги поразвесил.

В задних рядах рассмеялись.

— Или вот лозунг,— повысил он голос, чтобы его слышали все.— На станциях и депо висят призывы бороться за миллион тоннокилометров. Это же для одного человека написано. Для начальника дороги, потому что это цифра плана всей дороги, за которую он отвечает. А как мне за нее бороться, объясните, пожалуйста? Приятная и радостная цифра, а уму непостижимо.

Теперь рассмеялись все.

Многие из присутствующих ничего страшного в этом происшествии не видели, но знали: первые два ряда не спустят. Поднимется кто-нибудь из маститых и скажет: «Как может машинист — гордость транспорта, костяк рабочего класса железных дорог — позволять себе такое мальчишество и позорить всех паровозников!»

Первым взял слово старший машинист Виктор Дубравин.

— Нам хочется видеть все здание, куда мы кладем и свой кирпичик,— сказал он.— Мне непонятно, почему общая цифра плана неинтересна для Гарченко.

Дубравин сурово осудил его поступок, но неожиданно предложил взыскания не накладывать, потому что во многом Гарченко прав.

— Возьмите дом, что строится за кондукторским резервом,— продолжал он.— На нем лозунг, призывающий строителей дать к сроку шесть тысяч квадратных метров жилой площади. Как же они, бедняги, должны бороться за шесть тысяч, когда во всем доме не больше пятисот метров? Ведь это наверняка план всего района. Для кого же лозунг? Вот так и у нас. А ты дай цифру для всей дороги и на одного машиниста. Тогда это будет не просто красивая картинка, а обращение партии лично к каждому. И каждый будет знать, где недобрал и где поднажать.

Люди были склонны принять предложение Дубравина и не

тратить больше времени на обсуждение этого вопроса, когда попросил слова Владимир Чеботарев.

Это вызвало движение в зале. Кто-то покачал головой, кто-то переменил позу, кто-то шепнул соседу: «Так я и знал». Все понимали: если Дубравин сказал «белое», значит, Чеботарев будет доказывать «черное».

Отношения между ними резко ухудшились. Когда на железных дорогах страны появились первые тяжеловесники, начальник депо решил, что и у него в депо должен быть рекордсмен. Выбор пал на Чеботарева. Машинист он, бесспорно, хороший и ездил лихо. Но условия ему были созданы особые. Его рекорды готовили десятки людей.

Последние экземпляры дефицитных деталей никому не отпускались — может быть, понадобятся Чеботареву. Когда он выезжал «под уголь» или за песком, его не задерживали лишней минуты. Да и уголек хорошему механику надо дать пожирнее.

Ремонт его машины делали лучшие бригады слесарей, они приносили отборные запасные части, хромировали и никелировали детали. Ремонт шел под особым наблюдением не только мастеров, но и начальника депо. Заглядывал в будку ремонтируемого паровоза секретарь парткома.

Когда выезжал Чеботарев, к селектору приходили все руководители, вплоть до начальника отделения. И по всей линии шли депеши: приготовиться, поезд ведет Чеботарев, пропускать без очереди.

Деповские инженеры написали за него брошюру и подготовили технический доклад о его опыте.

И казалось, так это и должно быть, потому что хороший работник должен иметь хороший инструмент, с его пути должны быть устранены все помехи, его опыт следует обобщать и всячески помогать ему в работе.

Но постепенно у людей укоренилось чувство особой ответственности за машину и за рейсы Чеботарева. Едет Владимир, и гудят провода, несется в эфире: поезд ведет Чеботарев.

Раньше времени выходят из своих будок стрелочники, торопятся дежурные на станциях и блок-постах, готовят обратный маршрут диспетчеры.

Едет Чеботарев, и по всей линии, от края и до края, горят зеленые огни.

Едет Чеботарев, и уже не хромом или никелем покрыт номер его локомотива, как было прежде, а литые в бронзе слова «Машинист В. Чеботарев» под тяжелым бронзовым гербом Советского Союза горят на паровозе как монумент, как памятник при жизни.

Бронзу отливали по специальному заказу Министерства путей сообщения. Да и весь локомотив капитально ремонтировали на заводе специально для него. Конечно, это такой же типовой локомотив, как и все другие, но только чуть-чуть лучше пригнаны и отшлифованы детали, только больше лаку добавили в краски,

только немного тщательней принимали машину контролеры ОТК, только сам Чеботарев ездил за ней на завод.

А коллектив — организм чувствительный. Пропало у людей желание сделать для него все возможное и невозможное, охладели к нему люди. Но даже при новых условиях Владимир первенства не отдал и еще больше утвердился в своей мысли о превосходстве над другими. Так, может быть, и впрямь было в нем что-то исключительное?

Все объяснялось просто. Линия на протяжении почти трехсот километров на запад и на восток привыкла к тому, что поезда Чеботарева должны проходить в особых условиях, пусть даже в ущерб другим.

Рейс в один конец и обратно занимает не больше восьми часов. Это очень удобно. Каждая из трех бригад, закрепленных за локомотивом, находится в поездке нормальный рабочий день, а пробег локомотива превышает норму.

Но бывает и так. Прибыл поезд в оборотное депо, паровоз отцепляют, но назад везти нечего. Бригаде дают два-три, а то и пять часов отдыха. Но кому интересно отдыхать в оборотном депо! Да и простой локомотива получается большим, не вырабатывается норма. Поэтому все стремятся ехать «с оборота», то есть прибыть в оборотное депо, взять другой поезд и ехать домой.

Так вот, приехал Чеботарев на конечный пункт, машину отцепили и послали «с оборота». Когда он уже собрался трогаться в путь, к нему подошел машинист Евтубин и сказал:

— Совесть у тебя есть? Ты же знаешь, что я приехал раньше тебя, а второй наш локомотив торчит здесь уже полдня. Твоя очередь третья, а ты что же делаешь?

— А я здесь при чем! — возмутился Владимир.— Сам, что ли, я отцеплялся? Послали, я и поехал.

Формально Чеботарев прав. Он действительно не просил, чтобы его отправили без очереди. Он лишь полностью использовал современную технику. На его локомотиве, как и на многих других, стоит рация. Он может разговаривать с управлением дороги, с министерством, с кем угодно. И как только выехал из своего депо, тут же соединился с диспетчером. Он ни о чем не просил, только весело поздоровался, только сказал, что ведет поезд — он, Владимир Чеботарев. И этого было достаточно: диспетчер давно привык отправлять его раньше всех, вот и отправил.

Все это, конечно, знал Владимир. Знал, что противозаконно поступил диспетчер, что обидел его товарищей. Но это его не трогало. Он спокойно дал сигнал и уехал, и еще долго возмущался в пути, что к нему посмели предъявить претензию. Да и в самом деле никакая официальная комиссия не установила бы здесь его вины.

Только два машиниста, оставшиеся в оборотном депо, смотрели укоризненно на удалявшийся поезд, а когда он скрылся, Евтубин сказал:

— Хорошо, что у нас один Чеботарев, а то совсем езды не было бы.

Владимир, казалось, не обращал внимания на недовольство товарищей. Неприязнь к нему объяснял завистью. И тут произошел случай, к которому он не имел отношения, но тем не менее окончательно подорвавший его авторитет.

...У окошка нарядчика паровозных бригад всегда шумно. Одни вернулись из поездки и оформляют маршрутный лист, другие ожидают подхода своей машины, третьи пришли узнать, когда предстоит ехать в очередной рейс, а то и просто послушать деповские новости.

И действительно, все новости, приказы, происшествия прежде всего узнают здесь. Тут завязываются споры о тонкостях локомотивного дела, и маститые механики поучают молодых, а молодые изощряются друг перед другом в каверзных вопросах из теории и практики вождения поездов. Здесь идут горячие схватки острословов, и несдобровать тому, кто попадет к ним в немилость.

Такая обстановка и была в нарядной, когда вошел туда Дубравин. Обсуждалась последняя новость: начальник дороги приказал передать соседнему депо три паровоза. Два из них были приняты, а третий, сопровождаемый Николаем Ершовым, вернули обратно.

— Загнал свою машину на канаву Николай,— рассказывал Чеботарев,— а сам — в сторону, вроде ему и неинтересно, как принимать будут. Обошел мастер слева, ничего не сказал. «Ну,— думает Николай,— самое главное пронесло». Справа вроде все в порядке, избавится он, наконец, от своей гробины. А тут подзывает его мастер и так заинтересованно спрашивает:

— Знаешь, где у нас поворотный круг?

— Знаю,— отвечает Николай, а сам чувствует — не иначе, подвох.

— Это хорошо. Давай скорей на круг и дуй без оглядки домой. Мы тебе «зеленую улицу» схлопочем, может, и не успеет по дороге машина развалиться. А дураков в других депо поищите.

Стоявшие рядом паровозники рассмеялись.

— У Николая и так кошки на душе скребут,— продолжал Владимир,— а тут подходит какой-то слесаренок в кепочке козырьком назад и говорит: «Што вы, хлопци, на цьому паровози воду грили чи шлак возили?» — Владимир громко расхохотался.

— Что же ты зубы скалишь? — не выдержал Дубравин.

— А тебе что! — огрызнулся Володя.— Николая жалко? Так возьми себе его машину. А? Или только болтать можешь, слезу пускать.

— Тьфу! — сплюнул Дубравин и вышел из нарядной.

Он шел и злился: забыл спросить нарядчика, когда ему ехать, хотя только за тем и приходил, злился на Владимира, на себя, что не смог как следует ответить этому зазнайке.

Возврат машины остро переживали все паровозники. И не потому, что начальник дороги объявил выговор начальнику депо и Николаю Ершову за попытку сплавить негодный паровоз. Этот факт получил большую огласку и лег на депо позорным пятном. Ведь паровоз хотели всучить своим же товарищам.

А с паровозом действительно творилось что-то неладное. Пережоги топлива, частые ремонты и вынужденные из-за этого простои резко снижали показатели работы и заработки трех бригад, прикрепленных к этому локомотиву.

Вернувшийся локомотив снова поставили на ремонт. Устранили все неполадки, но в первом же рейсе машина словно взбесилась. Ни пару, ни воды не держала, грелись подшипники, и Ершов едва дотянул до своего депо. Не заходя домой, пошел к начальству. Пусть делают с ним, что хотят, но ездить больше на этой гробине не будет.

...Виктор Дубравин решил не возвращаться к нарядчику, а зайти в контору и оттуда позвонить. Он все еще не мог успокоиться после стычки с Чеботаревым. Да и машина тоже... Что она, заколдована, что ли?

И пока он шел и злился, случайно мелькнувшая мысль вытеснила все остальные. Раздражало только, что этот зазнайка подумает, будто свое решение принял по его подсказке. Но решение теперь было твердое, и Дубравин направился к начальнику депо. Попросил принять у него паровоз, один из лучших на всем отделении, и дать ему машину Николая Ершова. И оставить всех членов бригад этого локомотива, будь они даже нарушителями трудовой дисциплины.

Просьба Дубравина смутила руководителей депо. Он достоин самого большого доверия, но тем более нельзя его подводить. Он просто не рассчитал своих сил.

На следующий день ему предложили взять один из худших паровозов, но не машину Ершова, чуть ли не аварийную, которую раньше срока решили отправить в заводской ремонт. Дубравин стоял на своем. Просьбу удовлетворили.

Многие машинисты не скрывали своего удивления. Кто-то сказал:

— Это безумие — отдать такой золотой паровоз и взять рыдван.

Дубравин не очень прислушивался к таким словам. Через его руки прошла не одна машина, и, какой бы строптивой ни казалась, он находил способ обуздать ее.

После первой поездки Дубравин не пошел домой. Почти всю ночь провел возле локомотива, проверяя, измеряя, выслушивая узлы и детали. Нашел, наконец, почему бьет реверс и, кажется, причину грохота в дышлах. Этот грохот, разносившийся далеко вокруг, просто угнетал его. Ему стыдно было ехать на паровозе. Подъезжая к станциям в своей первой поездке, он прятался

в будке, откуда наблюдал, как озираются на паровоз железнодорожники...

Домой вернулся в пять утра. Ни о чем не спросила его жена Маша. Она все видела, все понимала. Он заговорил сам:

— Теперь хоть стук в дышлах прекратился. Нашел, в чем там дело. А то совестно было людям в глаза смотреть.

Дубравину не терпелось скорее увидеть результаты своих первых побед над паровозом. Со двора видны огромный косогор и высокая железнодорожная насыпь. Здесь скоро должен проехать напарник. Виктор вышел, поднялся на крышу погреба, чтобы было виднее. Остановилась на крыльце Маша. Вскоре послышался шум поезда. В обычном грохоте паровоза выделялись резкие и частые удары, точно по дышлу били кувалдой. Те самые, которых, как казалось ему, уже не должно быть. Как набат, неслись они над косогором, над пролеском, над всем рабочим поселком.

— Спустился Виктор,— рассказывала на следующий день соседке Маша,— как глянула я на него — сердце зашлось — такое лицо было у него...

Молча вошли в дом. Только в десять утра заснул. Через час вызвали в депо: какое-то срочное совещание. Не идти нельзя. Он член партийного бюро. После заседания, наскоро перекусив, побежал встречать свой паровоз. Он забросал вопросами напарника о том, как вела себя машина. И снова копался в ней, пока не пришло время отправляться в рейс.

После нескольких поездок, записав, что должны сделать слесари, Дубравин поставил машину в депо.

— Здесь мы ее уже видели,— усмехнулся кто-то из слесарей.— Ты ведь ездить взялся, а не в депо стоять.

Ничего не мог ответить Дубравин. Слесарь был прав.

С первыми деньгами, заработанными на новой машине, пошел в сберкассу. Снял с книжки сорок рублей и добавил к получке.

— Вот видишь, Маша,— сказал он, придя домой,— заработок почти не уменьшился.

Ей хотелось сказать, что дело не только в заработке, но зачем же огорчать Виктора? Пусть хоть этим будет доволен.

Шли дни и ночи. Они смешались у Дубравина, и он потерял им счет. Весь смысл его жизни и жизни его семьи был теперь в машине. Ему жаль было смотреть, как страдает Маша. Но скрыть от нее ничего не удавалось. Если он приходил домой, напустив на себя веселость, она говорила:

— Не надо, Витя, я ведь вижу. Что же ты от меня таишься?

Просыпаясь ночью, он лежал не шелохнувшись, боясь разбудить ее. Но стоило ему открыть глаза, как раздавался ее голос:

— Спи, Виктор, еще рано.

Все депо наблюдало за борьбой Дубравина. Приходили старые машинисты-пенсионеры, чтобы помочь ему. Забегал на паровоз секретарь партийного бюро. Предлагали свою помощь комсомольцы. Кое-кто выжидал: «Ну-ну, посмотрим».

Чеботарев в присутствии группы машинистов сказал: «Говорят, на старую машину запросился, а?»

За помощь и сочувствие благодарил Виктор, насмешки сносил молча.

Прошло два месяца. Шестьдесят тяжких дней. Шестьдесят бессонных ночей.

В очередную получку Дубравин впервые за эти месяцы не взял денег со сберкнижки.

Вечером он присутствовал на городском партийном активе.

В конце своего доклада секретарь горкома сказал:

— Успех нашего движения вперед не в том, чтобы ставить рекорды, создавая для этого особые условия отдельным людям. Успех зависит от таких людей, как Виктор Дубравин, взявший на свои плечи тяжелую и, по мнению других, невыполнимую задачу.— И он рассказал историю с паровозом Дубравина, занявшего первое место в депо.

— Городской комитет Коммунистической партии Советского Союза,— закончил он, обведя взглядом зал,— поручил мне поздравить вас, Виктор Иванович, с большой победой.

Раздались дружные аплодисменты. Люди смотрели по сторонам, ища Дубравина. Он сидел в предпоследнем ряду. Когда была названа его фамилия, он испугался. Он не знал, что делать.

— Встань! — толкнул его локтем сосед.

Он встал и начал неловко кланяться. Теперь весь зал смотрел на него и аплодировал ему. Это было мучительно радостно. Он подумал: «Маше бы послушать в награду за все ее муки».

— Товарищи! — сказал секретарь горкома, наклонившись к самому микрофону.— Я думаю, не страшно, если мы немного нарушим обычный порядок собрания. Есть предложение дополнительно избрать в президиум товарища Дубравина.

И снова грянули аплодисменты. Секретарь еще что-то говорил, слов не было слышно, но по его жесту Дубравин понял: приглашают в президиум.

— Иди же,— снова подтолкнул его кто-то.

Он выбрался из своего ряда и удивился, какая длинная ковровая дорожка ведет к сцене. Он шел один по этой широкой и мягкой дорожке через весь зал, и гремели аплодисменты, и люди поворачивали головы, провожая его, и он не мог решить, быстро ему надо идти или медленно.

Конечно, торопиться нельзя, будто только и ждал, как бы быстрее попасть в президиум. Но двигаться медленно еще хуже. Подумаешь, важность какая — плывет и задерживает все собрание. И в унисон своим мыслям он то замедлял, то ускорял шаг. И пока он шел через весь улыбающийся ему зал, так и не решил, куда ему надо смотреть. Идти, наклонив голову, как хотелось бы, неудобно. Люди приветствуют его, а он, гордыня, даже не взглянет на них. А смотреть всем в глаза — вот я какой герой, любуйтесь! — и вовсе нельзя.

Он злился на свои глупые мысли, но другие в голову не приходили.

Когда поднялся, наконец, по лесенке на сцену и хотел примоститься где-нибудь сзади, кто-то подтолкнул его к столу, в первый ряд президиума, где для него освободили место.

И тут в голову пришла уж совсем нелепая мысль. Он подумал, что его уже дважды подталкивал сосед, чтобы он встал и шел на это почетное место, и что давно-давно его тоже подталкивали, но не в президиум, а к «запертой» монастырской двери и к высокому дереву у каменной ограды, утыканной осколками бутылок, и какой он молодец, что все же вернул ботинки...

Во время перерыва его поздравляли знакомые и не то в шутку, не то всерьез говорили: пусть и не думает так отделаться, а сразу же после актива ведет в ресторан.

И тут к радостному возбуждению, в каком находился Виктор, примешалось вдруг что-то досадное. Будто чего-то еще не хватало, что-то было недосказано. Это мешало ему в полной мере насладиться счастьем.

Неожиданно Виктор решил купить Маше подарок, и от этой мысли стало легче на душе. Хорошо бы цветы. Он никогда не дарил ей цветы. И не рвал для нее цветов. А когда доводилось им вместе бывать в поле, она собирала их сама. И вообще он ничего ей не дарил. День рождения или Восьмое марта не в счет. Подарки в такие дни — обязанность каждого. Да и то они всякий раз вместе советовались, что именно он должен ей подарить. И она же давала деньги на подарок, потому что получку он приносил ей, а брать в сберкассе было ни к чему. Часто получалось так, что коль скоро он идет в магазин, пусть заодно возьмет мыло — уже кончается, и, самое главное, пару катушек ниток, потому что белые давно вышли, а она все забывает купить, и просто стыд и срам — пуговицу пришить нечем.

Виктор приносил свой подарок в общем свертке с хозяйственными вещами, и это был уже не подарок, а неизвестно что.

...О цветах сейчас и думать нечего, их не достанешь. Да и вообще магазины уже закрыты. Он отошел в сторонку, чтобы меньше попадалось знакомых, и оказался возле большого книжного прилавка. На стене надпись: «Книга — лучший подарок». Ему не хотелось покупать книгу.

Он вспомнил, что тут же, в фойе, есть еще один прилавок, где торгуют местными кустарными изделиями. Здесь ничего хорошего не оказалось. Безвкусно сделанные шкатулки, уродливые статуэтки, гуси, похожие на кенгуру, и другие некрасивые безделушки. Его внимание привлекла лишь очень смешная куколка из пластмассы. Это был негритенок. Вернее, маленькая негритянская девочка. Она придерживала края широкой юбочки, похожей на пачку балерины, и казалось, вот-вот присядет в реверансе. Круглая мордочка и большие глаза с голубоватыми белками, и губы были надуты. Еще секунда — и она расплачется. На ее

трогательную фигурку и лицо нельзя было смотреть без улыбки.

Он купил куколку. Продавщица завернула ее, и он положил сверточек в боковой карман, перевернув его, чтобы куколка лежала не вниз головой, как ее подала девушка, а в нормальном положении.

Когда Виктор вернулся домой, Маша сказала:

— Сейчас разогрею ужин,— и отложила в сторону свое шитье.

И снова, как там, в зале горкома, Дубравину стало обидно за Машу. Он усадил ее на диван и стал рассказывать о совещании. Она слушала молча. На лице ее была радость. Когда Виктор окончил, она попросила, чтобы он еще раз и со всеми подробностями и не торопясь пересказал, как он шел на сцену, и как весь зал аплодировал ему, и кто из знакомых там был.

— Ну что ты, Машенька,— взмолился он, вставая.— Вот поставь куда-нибудь.— И он достал из кармана свою покупку.

— Что это? — поднялась и она.

— Да так, безделушка,— небрежно ответил Виктор Иванович.

— Ничего не понимаю. В куклы у нас некому играть, да и где ты ее взял, не на активе же?

— На активе,— сказал он, словно оправдываясь.— Для тебя купил... Ничего подходящего не было, понимаешь?

— Для меня?.. Ты там подумал обо мне, да? — Лицо у нее стало серьезным, озабоченным.

— Ну да, вот видишь... совсем безделушка... пятьдесят копеек стоит... просто так...— Он говорил и видел, что Маша сейчас заплачет, и не знал, что еще сказать.

И она действительно расплакалась и, не выпуская из рук куколки, обняла его, а он не стал успокаивать ее или задавать вопросы, а только гладил ее волосы.

Потом она поставила куколку на комод и сказала:

— Будем ужинать.

Она вышла в соседнюю комнату и вернулась с чистой скатертью и в другом платье и начала накрывать на стол не в кухне, как обычно, а в большой комнате. То и дело поглядывала на комод, а когда выходила, на куколку смотрел Виктор. Он неожиданно заметил, что у куколки вовсе не обиженный, а просто удивленный вид и совсем не хочется ей плакать, а складки у губ, потому что она сейчас улыбнется. И как только ему могло померещиться, будто она обижена...

На следующий день Владимир Чеботарев узнал все, что говорил секретарь горкома. С тех пор он и стал придираться к Дубравину. Делал это очень умно и не грубо. Он был находчив и остроумен и умел безобидными на первый взгляд шуточками высмеять человека. Виктору трудно было сладить с ним, и он начал просто избегать Чеботарева. Но тот не сдавался. Стоило Дубравину выступить на собрании, как он находил повод, чтобы свести это выступление на нет. Когда обсуждался поступок машиниста Гарченко, вывесившего на своем паровозе лозунг, и Вик-

тор предложил не наказывать его, все знали, что Чеботарев потребует сурового наказания. Так оно и оказалось в действительности.

Владимир говорил красиво и остроумно, решительно осуждая анархию, которая до добра не доведет. Он выразил удивление, как мог столь авторитетный и всегда точный в своих действиях старший машинист Дубравин поддержать такую партизанщину, и предложил объявить Гарченко выговор.

Выступление не понравилось. Сам Чеботарев недавно был понижен в должности за лихачество, едва не приведшее к аварии. Не понравилось и потому, что машинисты его не любили. И все дружно проголосовали за предложение Дубравина.

ЗАПИСКА

Вскоре после памятного сигнала, который Андрей Незыба непродуманно дал, чтобы успокоить Валю, он снова навестил ее. Девушку нельзя было узнать. Еще за день до того черные круги под глазами делали ее лицо изможденным, страдальческим. Теперь они лишь ярче оттеняли ее сияющие глаза, точно мазки грима, положенные опытной рукой мастера.

Валя говорила без умолку, легко перескакивая с одной темы на другую, часто смеясь собственным словам. Андрей никак не мог поспеть за ее мыслями и не мог понять, почему ей смешно. Он устал. Ему было невыносимо смотреть на ее счастье, и не было сил подняться и уйти. С той самой минуты, когда он дал этот сигнал, в нем не прекращалась внутренняя борьба. Сначала ему было хорошо, как человеку, совершившему благородный поступок. В таком состоянии он пребывал до утра. Проснулся с тревогой в душе. Кто дал ему право вмешиваться в чужую жизнь? Хотел сделать приятное больному человеку? А если это принесет новые страдания? Да и чем все это кончится?

— Вы скоро пойдете на дежурство?

Это она спрашивала его. Андрей вскочил.

— Да, да, извините,— заторопился Андрей.— Действительно, расселся здесь...

— Нет, что вы,— смутилась Валя.— Вы не так меня поняли. Я просто спрашиваю. Вы ведь сегодня с шести?

Она не «просто спрашивала». Андрей видел это. Она стояла красная от смущения. Краска покрыла не все лицо, а выступила пятнами. Валя не могла на что-то решиться. Андрей попрощался и не уходил. Ждал, что она скажет.

— У меня к вам просьба,— выдавила она из себя наконец.— Когда будет проезжать Чеботарев, прошу вас, положите это под жезл.— И она протянула сложенную вчетверо записку.

— Хорошо, пожалуйста, с удовольствием,— забормотал Андрей, беря записку и тоже глядя на пол. Еще раз сказав «до свидания», неестественно быстро и неловко вышел из комнаты.

Дома посмотрел на записку. Вверху надпись: «Владимиру Чеботареву». Чуть ниже в скобках: «Лично». Буковки кругленькие, каждая похожа на колобок.

Записка, несомненно, вызвана сигналом, который он так необдуманно дал, чтобы успокоить Валю. Но ведь Чеботарев и не подозревает об этом сигнале. Как же чудовищно можно подвести ее! Что он подумает о Вале, прочитав записку?

В голову приходит постыдная мысль, от которой он краснеет. Но другого выхода нет. Если прочитать это чужое письмо, станет ясно, что делать. Поступить иначе он не имеет права.

Андрей боязливо опускает занавеску, зачем-то бросает взгляд на дверь и садится к столу, на котором лежит записка. Он протягивает руку, но она сжимается в кулак. Когда же окончится эта мука? Надо решительно. Ведь это единственный выход. Он читает:

«Володя, если бы Вы знали, как я благодарна Вам за этот сигнал. Я рада, что Вы больше не сердитесь на меня.

Сейчас я больна (грипп) и еще целую неделю, наверное, не смогу прийти к семафору. Но прошу Вас, посылайте мне эти сигналы. Они нужны мне. Я буду их ждать.

До скорой встречи, Валя».

Он снова посмотрел на письмо и увидел только одну строчку:

«посылайте мне эти сигналы. Они нужны мне. Я буду их ждать».

Теперь она ждет. Начиная с шести, будет ждать каждую минуту. Она будет ждать весь вечер, и ночь, и следующий день, и так ежедневно.

Андрей пошел на дежурство.

Как только принял смену, позвонили из Матово:

— Могу ли отправить поезд номер пятьдесят три?

— Ожидаю поезд номер пятьдесят три,— ответил Андрей, облегченно вздохнув: номер двузначный — значит, поезд пассажирский. Чеботарев водит грузовые.

Следующий был тоже пассажирский, в обратном направлении со станции Зеленый дол. И снова он обменялся с соседом стандартными фразами из инструкции. Только так могут разговаривать между собой дежурные. Это всегда раздражало его. Теперь радовало: не надо думать.

— Могу ли отправить поезд номер шестьсот сорок три? — запросило Матово.

— Ожидаю поезд номер шестьсот сорок три,— привычно ответил Андрей. Но мысли уже забегали. Номер трехзначный.

Из селектора раздался голос диспетчера:

— К вам идет тяжеловес на большой скорости. Пускайте на проход, маршрут готовьте заранее.

— Кто ведет? — выдохнул Андрей.

— Чеботарев.

Несколько минут Андрей сидел неподвижно. Потом поднялся. Позвонил в Зеленый дол. Получив разрешение отправлять тяжеловес дальше, вынул из аппарата жезл. На нем выбито: «Бантик — Зел. дол». Через пятнадцать минут эту надпись будет читать Чеботарев: машинист обязан убедиться, что ему вручен жезл того перегона, по которому едет. Если под жезлом лежит бумажка, машинист недоволен. Значит, опять предупреждение: на таком-то километре идет ремонт, ехать с ограниченной скоростью. Вначале Чеботарев подумает, что это предупреждение. Прочтет немедленно. Решит, что Валя ослышалась, и не устоит против ее зовущих и чистых слов. Вполне успеет дать сигнал. А если не захочет?

Андрей снял со стены проволочный круг, открыл зажим. Сюда надо вставить жезл. Но сначала — записку. Свернуть ее трубочкой, вставить в гнездо и прижать жезлом.

Раскатисто прозвучал сигнал бдительности. Думать больше нельзя. Чеботарев ездит как сумасшедший, через две-три минуты будет здесь...

Прошло несколько дней. Валя почти поправилась. Она еще раз убедилась, насколько правы врачи: если настроение хорошее, болезнь проходит быстро. Володя часто посылает ей сигналы. Завтра она обязательно сама пойдет к насыпи. Надо только не прозевать. Хорошо бы узнать график его дежурств. Андрей может это сделать. Что-то перестал заходить. С тех пор как передал записку.

Размышления Вали прервал Хоттабыч. Его прислал техник за дневником геодезических съемок. Когда старик уходил, Валя попросила передать Андрею, что, если сможет, пусть забежит на несколько минут.

— Вряд ли,— хмуро сказал Хоттабыч,— замаялся опять со своими думами.

Валя посмотрела с недоумением.

— Как Бантик свой строил, вот такой же сумной ходил. Должно, опять затевает чего-то.

— Какой Бантик? — почему-то испугалась Валя.

— Да наш. Разве не знаешь?

Хоттабыч охотно рассказал историю Бантика. Валя задумалась. Проплыла перед глазами первая встреча с Андреем. Вспомнились ее собственные слова: «Очень хороший человек строил». Вот почему он тогда покраснел. Ей захотелось вдруг взглянуть на разъезд. И, неизвестно отчего, стало грустно. А старик уже рассказывал другую историю, должно быть, очень смешную, потому что самому ему было смешно. Валя не слушала.

— ...хе-хе-хе,— смеялся Хоттабыч.— Так и мается каждый день. Уйдет на станцию пешком, а обратно на паровозе едет. Как увидит входной семафор, так и просится у машиниста погудеть. Точно малое дитя... Гуди на здоровье, жалко, что ли. Да гудеть-то не умеет, хе-хе-хе. Все сигнал бдительности норовит

дать — короткий, длинный,— а остановиться не может, и получается еще два коротких. Такого и сигнала не бывает.

Старик снова рассмеялся, но, взглянув на Валю, осекся. Она смотрела на него своими большими глазами, прижимая пальцами полуоткрытый рот, точно удерживая готовый вырваться крик.

— Побегу,— заторопился он.

Валя не ответила.

«Что это с ней?» — подумал Хоттабыч, осторожно выходя из комнаты. Но тут мысли его отвлеклись: на ступеньках он едва не столкнулся с Андреем.

Андрей решил уехать. Он попросил отпуск на месяц за свой счет. К его возвращению Вали уже здесь не будет, и кончится эта пытка. Теперь шел к ней, чтобы во всем признаться. Чем больше хотел помочь Вале, тем безнадежнее запутывался. Один неверный шаг — он проклял ту минуту, когда дал первый сигнал,— повлек за собой новые, непоправимые ошибки... А теперь уже ничего сделать нельзя. Ничего больше придумать он не может.

На стук Андрея послышался испуганный голос Вали:

— Да,— точно вздрогнула.

Валя не удивилась его приходу. Словно он и раньше был в комнате и только на минутку выходил. Казалось, она не может оторваться от своих мыслей и не замечает его. Так продолжалось несколько минут. Потом Валя как-то жалостливо, просяще посмотрела на него. Он решительно не мог придумать, с чего начать.

Совершенно спокойно, может быть, лишь немного устало глядя ему в глаза, сказала:

— Ничего не надо, Андрей,— и повторила: — Ничего. Я благодарна вам.

Он опустился на стул, подумав: «Зачем я сажусь?»

— Уезжаю завтра.— Помимо его воли слова звучали в тон ей, медленно, спокойно.

Она сказала:

— Это хорошо.

— Я зашел попрощаться. До свидания.

— До свидания, Андрей.

На следующий день за ним прислали дрезину. Проводить его до Матово пришел Хоттабыч. Дрезина тронулась, рывками набирая скорость. Андрей обернулся. Хоттабыч махал шапкой. Далеко позади показалась фигурка. Дрезина мчалась, и фигурка становилась все меньше. Временами ее заслонял Хоттабыч, который все еще махал шапкой. Потом оба они исчезли. И разъезд уже не был виден.

Навстречу по соседнему пути, только что пущенному в эксплуатацию, пролетел поезд. В паровозном окне мелькнуло задорное лицо Чеботарева. Сейчас они увидят друг друга.

Через минуту раздался сигнал: короткий, длинный, два коротких.

— Все и все,— грустно сказал Андрей.

Он не верил, что Валя сейчас помирится с Владимиром. Ведь тот совсем забыл о ней. А вот увидел и так, из озорства, снова посигналил.

После всего, что узнала Валя, ее неудержимо повлекло к разъезду. Она шла туда, думая об этом домике, и мысли ее были заняты. Может быть, поэтому не расслышала сигнала. Она услышала только паровозный гудок, только звук.

Вскоре, закончив практику, Валя уехала домой, в Матово. Владимир знал, что Вали уже нет на разъезде, но каждый раз, проезжая мимо, давал этот сигнал. Гудки звучали печально и жалобно, как стоны.

МАШИНИСТ ПЕРВОГО КЛАССА

У Виктора Дубравина было много планов, но их поломала война. Отныне все его стремления свелись к одному: перевозить много и быстро.

В поездах, которые он гнал на запад, были танки, орудия, бомбы, снаряды. Марка мирных заводов непривычно выделялась на минометах и автоматах. На восток перевозил эвакуирующиеся заводы и раненых. Он хорошо видел и понимал, что делается в стране.

Во время войны он работал, как все советские люди: не зная отдыха, недосыпая и недоедая. И на душе у него было, как у всех: тяжело и тревожно. Но особенно тяжелый день выдался в феврале сорок второго года.

Деревянный тротуар скрипел от мороза. К вечеру мороз забирал с новой силой. Подул легкий ветерок, он обжигал лицо. Виктор пришел домой, когда стемнело. Решил хорошо отоспаться, потому что в предыдущую поездку его вызвали раньше времени и он не успел отдохнуть. Часов в двенадцать ночи проснулся от ветра, который бился в окно. Прислушался и понял, что, кроме ветра, в стекло стучится человек. Он знал, что это рассыльный, хотя так скоро не должны были вызывать в поездку.

Виктор поднялся, зажег свет, впустил рассыльного.

— Ехать, Виктор Иванович! — сказал тот, вздыхая.— Совсем зашились, все паровозы позастревали, а твой вернулся. Хотя отдых тебе не вышел, но велели вызывать.

— Во сколько?

— Нарядчик сказал — как можно скорей, помощника и кочегара я уже направил,— говорил он, растирая руки над еще теплой печью.

— Что, холодно? — спросил Виктор.

— Мороз не так уж большой, сорок один, да ветер проклятущий полосует.

Поднялась Маша, молча стала собирать сундучок.

Виктор быстро оделся, взял легонький сундучок, как всегда, поцеловал жену, сказал: «Запирай двери»,— и вышел.

Ветер завывал, обжигал лицо, качал в разные стороны. Возле паровоза суетились помощник и кочегар.

— Что успели сделать? — спросил он, поздоровавшись.

— Да мы только пришли, Виктор Иванович!

— Давайте быстрее, ребята. В буксы добавляйте подогретой смазки, на параллели и кулисный камень тоже подогретой. Проверьте, хватит ли песку, не смерзся ли он. По такой погоде без песку ни шагу.

Прибежал дежурный по депо, еще на ходу крича:

— Давай скорей, Виктор Иванович, давай, дорогой, там уже скандал на всю дорогу!

Это был тяжелый месяц для сибирских машинистов. Нескончаемым потоком шли на запад танки, орудия, воинское снаряжение, а навстречу — оборудование эвакуирующихся заводов с рабочими, эшелоны с ранеными, нефть, металл. Почти все поезда в обоих направлениях были литерными, то есть подлежащими пропуску без очереди, на правах курьерских или пассажирских.

...Дубравин дал сигнал и выехал на контрольный пост.

С высоты паровозного окна огромного и мощного ФД он видел забитую поездами станцию, и ему казалось, что такого скопления здесь еще не бывало... «Зашили станцию так, что и к поезду не проберешься»,— бормотал он, выезжая с контрольного поста. Возле стрелки его остановили, и он пришел в ярость. Как же не зашить станцию, если и поезда сформированы, и паровоз готов, а их держат! Но он ничего не мог поделать. Без разрешения нельзя даже трех метров отъехать... Спят они, что ли? Дать бы сейчас сигнал тревоги, сразу зашевелятся.

— Почему держите? — крикнул он стрелочнице, показавшейся из будки.— Под поезд хоть пустите, тормоза опробую.

— Пока нельзя,— ответила стрелочница.— Двойной тягой отправят, ваш паровоз головной. Вот сейчас подойдет второй, пропущу его, а потом вас.

Дубравин не выдержал и пошел на станцию. Почему это при такой нехватке паровозов двойной тягой?

Ветер гнал снежную пыль вдоль вагонов, как по трубам, глухо ударял в пустые цистерны и, взвихряясь, тонко завывал в проводах.

В помещении дежурного по станции было много народу и стоял сильный шум. Без конца звонили телефоны; из наушников, лежавших на столе, то и дело доносился голос диспетчера.

Виктор Иванович поздоровался, но ему почти никто не ответил. Каждый был занят своим делом. Тут же находились военный комендант станции, различные представители, «толкачи» и заместитель начальника Омской дороги Василий Тихонович Кравченко.

Оказывается, надо было срочно отправлять три поезда особого назначения — два нечетных на запад и один на восток. А депо могло выдать только два паровоза. Решили поэтому нечетные два поезда сцепить и отправить их двойной тягой, а как быть с третьим составом, придумать не могли. Об этом и шел разговор.

Через несколько минут после прихода Дубравина с контрольного поста сообщили, что вышел второй паровоз.

— Давай скорей, Виктор Иванович,— обратился к нему дежурный,— ты пойдешь ведущим. Не застрять бы только вам где-нибудь на подъеме, махину такую даем, что и конца не видно. Не знаю, как и с места ее стронете.

Дубравин стоял, прикрыв глаза, и его высокая фигура едва заметно и неравномерно покачивалась, будто он дремал. Трудно было понять, то ли разомлел человек с мороза в этом жарко натопленном помещении, то ли сковала вдруг усталость от беспрерывной работы и недосыпания, или просто закружилась голова.

— Заснул, Дубравин? — окликнул его дежурный, и все обернулись к машинисту.

Тот поднял веки и, вытирая ветошью чистые руки, сказал:

— Прошу разрешить мне одному взять эти два состава. Тогда второй паровоз у вас освободится под...

— Перестаньте фантазировать! — перебил его дежурный.— Немедленно отправляйтесь!

— Подтолкнет сзади паровоз и трону с места, а дальше поеду сам! — настаивал Дубравин.

— А если пару не хватит, встанете, кто подталкивать будет?— раздраженно возразил дежурный.— Кто за вас отвечать будет?

— Пар — это моя забота, я и отвечать буду! — повысил тон Виктор.

По лицу дежурного и по его нетерпеливым жестам было видно, что он скажет сейчас что-то резкое, но в разговор вмешался Кравченко.

— Вы поступаете, как подлинный патриот,— обратился он к Дубравину,— но разрешить такую поездку нельзя. Во-первых, вы уже слышали, что это не обычные составы, а тяжеловесные. Во-вторых, его длина достигает километра, значит в случае необходимости вы даже на станции не сможете встать, чтобы не задержать движения остальных поездов, потому что он не уместится ни на одной станции. А в-третьих, при таком морозе и ветре дай бог вам хоть двумя паровозами стронуть с места и вытянуть эту махину. Вот обстоятельства, которые надо учитывать,— закончил Кравченко и, помолчав немного, добавил: — Понимаете, если вы не вытянете на перегоне, значит на два-три часа выйдет из строя все направление. Вот почему мы не можем рисковать.

В комнате стало тихо. Все смотрели на Дубравина.

— Ну, так вот, значит...— неопределенно протянул дежурный, давая понять, что разговор закончен.

А Виктор заговорил очень медленно, растягивая слова и как бы устало:

— Я это понимаю. Я все понимаю. Меня надо только подтолкнуть с места вторым паровозом и дать «зеленую улицу» до конца рейса... Я не подведу... Я ручаюсь...

Дубравин говорил тихо, казалось, даже неуверенно. В его словах не было ни пафоса, ни энергии, и почему они так подействовали на окружающих, сказать трудно. Но всем стало ясно, что надо разрешить ему вести этот немыслимый километровый поезд, несмотря на мороз и ветер, несмотря ни на что. И хотя тон и вся его фигура казались вялыми, люди, слушавшие его, один за другим поднялись.

— Родина скажет вам спасибо, Дубравин,— крепко пожал ему руку Кравченко.

Виктор Иванович вышел в соседнее помещение отметить у оператора маршрут, и в комнате заговорили все сразу. Потом Дубравин услышал, как из шума вырвался чей-то окрик: «Тише!» — и все смолкли. Донесся голос Кравченко: «Я разрешил», и опять тихо. Ясно, что он говорил по телефону или по селектору. Через несколько секунд снова послышался голос за дверью: «Нет, отменять я не буду. Я беру на себя всю полноту ответственности за этот рейс. Может быть, действительно я превысил свои права как уполномоченный, но я выполнил свои обязанности как коммунист. И верю ему — коммунисту. Повторяю: всю ответственность беру на себя».

ДРОЖЬ

Дубравин быстро шагал вдоль состава, который ему предстояло вести, поглядывая на рельсы, запорошенные снегом, на сцепления между вагонами. Он торопился. Время работало против него. С каждой минутой все сильнее застывает смазка в вагонных буксах и сковывает оси. Волокна подбивки примерзают к шейкам осей, держат их, точно клешнями, не дают вращаться. Снег на рельсах, мягкий и рыхлый, предательски хватает скаты будто тысячами магнитов, спрессовывается под колесами, и не передавить его. Смерзаются стяжки между вагонами, и весь состав превращается в одну сплошную массу, которую никакими силами не стронуть с места.

Он поднялся в будку, объяснил помощнику и кочегару, какой предстоит рейс. Пятнадцать атмосфер выдерживает котел паровоза ФД, и все пятнадцать надо держать до конца рейса. Дубравин заглядывает в топку. Ровный слой раскаленного угля покрывает всю колосниковую решетку. Полукруглый свод перед трубами, во всю ширину топки, выложенный из огнеупорного

кирпича, тоже раскален и кажется розово-прозрачным. Словно марево, струится вокруг него огненный воздух.

Снизу раздается знакомое, привычное: «Поехали, механик!» Пронзительный свисток главного — сигнал отправления.

Дубравин нажимает рукоятку свистка, и рев могучего ФД, заглушая вьюгу и станционный шум, разносится далеко вокруг и замирает где-то у угольной эстакады. Потом дает два коротких свистка: это приказ заднему паровозу начинать подталкивание. И откуда-то сзади, совсем издалека, доносится такой же сигнал: «Приказ услышан и понят, толкание начинаю».

Виктор медленно открывает регулятор. Издавая резкий скрип, один за другим трогаются с места смерзшиеся вагоны. Он открывает еще немного регулятор, прибавляя пару. Паровоз вздрагивает, гудит, у него не хватает сил тянуть все увеличивающуюся тяжесть. Еще секунда — и завертятся на месте колеса, заухает топка. Этого допустить нельзя. Словно от далекого залпа тяжелой артиллерии, доносится глухое эхо: буксует задний паровоз. Дубравин дает короткий свисток и через несколько секунд слышит ответный сигнал толкача. Теперь тот будет стоять, пока снова не получит приказ: «Начать толкание». Виктор тоже перекрывает пар, машина облегченно вздыхает и, заскрипев на снегу, останавливается.

Ясно, что так стронуть с места смерзшийся состав не удается. Надо «раскачать» поезд, раздавить снег на рельсах. Машинист быстро переводит рычаг реверса в заднее положение и снова открывает регулятор. Паровоз движется назад, сжимая вагоны, а они скрипят, сопротивляются, и вот уже он уперся в них, точно в стену. Надо немедленно перекрыть пар, иначе колеса начнут вращаться на месте.

Два раза раскачивал вагоны взад и вперед, пока снова не попросил машиниста толкача помочь ему. На этот раз дружными усилиями обоих паровозов удалось стронуть весь состав. Проехав метров сто, он дал сигнал толкачу, что тот ему больше не нужен и может возвращаться.

Теперь все зависело только от него самого. Больше никто не поможет. И не знает машинист, какая беда ждет его. Он открывает еще немного регулятор и подтягивает к центру реверс. Поезд медленно набирает скорость...

Где-то далеко-далеко сзади плывет в морозном мареве белый огонек последнего вагона. В сторону станции он показывает красный свет. И тот фонарик, что с левой стороны хвостового вагона, и тот, что внизу его, тоже показывают оставшимся на перроне красный огонь. Виктор Иванович знает: сейчас там стоят дежурный, все представители, уполномоченные, Кравченко. С надеждой и тревогой смотрят на эти красные огоньки. Они будут так стоять и смотреть, пока не скроется поезд и останутся только три красные точки в тумане. Виктор Иванович нажимает на рукоятку сигнала. Ревет ФД во всю свою мощь:

длинный, короткий. Это сигнал бдительности. Пусть знают, что не дремлет механик. Пусть спокойно идут работать...

Он оборачивается в будку, освещенную двумя электрическими лампочками. Стрелка манометра подрагивает на красной предельной черточке — пятнадцать атмосфер. Воды — три четверти стекла. Смотрит, улыбаясь, на помощника, и тот, понимая его мысли, весело говорит:

— Сюда не смотри, Виктор Иванович, ниже красной не пущу!

Дубравин знает, что так это и будет. Не зря помощник прошел его школу и уже поглядывает на правое крыло.

Ветер стих, и ясное небо все усыпано звездами. Провода телеграфных линий провисли от тяжести намерзшего на них снега.

Дубравин смотрит в окно. Правая рука на подлокотнике, левая на рукоятке песочницы. Вслушивается в работу машины. Он видит ее всю, от переднего бегунка до тендерной стяжки, будто под рентгеном. Дрожит, стучит, грохочет гигантская машина ФД — «Феликс Дзержинский».

Еще немного открывает механик регулятор и снова подтягивает реверс. Пока поезд идет по площадке, по ровной линии, он выслушивает машину. Но не всю сразу, а как врач больного: сначала сердце, потом легкие, каждый орган отдельно. Он как бы выключает все звуки, кроме тех, что определяют работу выслушиваемой детали.

Машина в полном порядке. Скоро начнется уклон, а потом подъем. Теперь надо выгодно использовать всю тяжесть поезда. Надо дать такую скорость, чтобы легко выскочить на гору. А потеряешь скорость до пятнадцати километров, ничем ее не наверстать, поезд неизбежно станет, не вытянет паровоз.

И пять тысяч шестьсот тонн воинских грузов, растянувшись на километр, несутся вниз. Но путь слаб, и надо тормозить. Как обидно, что нельзя дать хотя бы сто километров в час: быстрее и легче выскочил бы на подъем. Когда, наконец, уложат такие пути, чтобы можно было ездить по-человечески!

Дубравин хорошо знает профиль пути. Знает все подъемы, уклоны, мосты, кривые. Без этого ехать нельзя. Ни один машинист не сможет вести поезд, если не знает профиля. Механика, пришедшего с другой дороги, не пустят на паровоз, пока он не изучит новый для него профиль. И даже после этого на первую поездку ему дадут проводника. Дубравин может ехать, не выглядывая в окно. По ходу машины с закрытыми глазами он определит, где находится.

Сейчас перед ним трудная задача. Поезд идет с уклона, а потом, почти сразу, — подъем. «Яму» состав должен проскочить или в сжатом состоянии, или в растянутом. Пока хоть один вагон в «яме», нельзя ни прибавлять пару, ни уменьшать. Иначе неизбежен разрыв поезда. Обычно Виктор дает нужный разгон

и легко преодолевает подъем. Ну, а как быть с этим длинным составом?

В середине спуска он затормаживает поезд почти до полной остановки. Это тоже требует большого умения. Неопытный машинист может так затормозить, что вагоны начнут карабкаться друг на друга, полетят в стороны.

Уже на уклоне открыл регулятор, растянул состав и благополучно миновал обрывное место. Теперь надо преодолеть подъем.

Скорость упала до тридцати километров. Он решает сохранить ее до конца подъема. Но вот на кривой вздрогнула машина, посторонний звук вмешался в гул колес. Еще доля секунды — и паровоз забуксует. Значит, почти неизбежна остановка или большая потеря скорости, которая тоже приведет к остановке.

Он улавливает эту долю секунды, в которую надо дать песок на рельсы. Машина пошла спокойнее, но стрелка скоростемера чуть-чуть сдвинулась влево. Пора дать подкрепление из резервов. Он отпускает реверс на один зуб. Только на один: подъем еще велик, резервы потребуются.

Теперь все чаще вздрагивает паровоз. Левая рука — на рукоятке песочницы, чтобы не прозевать тот момент, когда ее надо открыть. Он высовывается в окно, чтобы слышать машину, чтобы уловить момент перед тем, как она вздрогнет. Пускать песок под колеса, когда они начнут буксовать, бесполезно, вернее вредно. Он будет действовать, как наждак, стачивая бандажи и рельсы.

Все тяжелее выхлопы. Виктор отпускает реверс еще на один зуб. Осталось только два. А потом?

И вот уже скорость двадцать пять километров и реверс отпущен до отказа. Все! Машине отдано все, что можно. Вывози, родимая! Ничего больше не может сделать механик.

Но уже головная часть на ровном месте, уже с каждой секундой паровозу легче; еще сто — двести метров — и вынырнет сзади, будто из ямы, белый огонек хвостового вагона. На площадке можно снова набрать скорость, накопить резервы.

Скоро покажется белый огонек. Машинист оборачивается назад и явственно чувствует, что сердце остановилось: в трех местах поезда струятся кроваво-красные круги. Это кондуктора, вращая фонарями, дают сигнал остановки. Это приказ, который надо выполнить немедленно. И в ту же минуту он слышит крик помощника:

— Букса горит! Останавливают!

Надо остановиться. Надо остановить весь этот воинский груз, закрытый чехлами, почти на гребне подъема. Это даже не танки и не пушки. Это что-то новое, секретное. Этого с нетерпением ждут на фронте. Надо остановиться. Через сколько же часов растащат по кускам этот бесконечный состав? «...Я понимаю, меня надо только подтолкнуть...» Вытаскивать придется

одному, вспомогательного не дадут: нет паровозов. А на станциях в это время будут скапливаться другие воинские эшелоны, и поезда с эвакуирующимися заводами, и составы раненых... «Я понимаю... Я не подведу... Я ручаюсь...» Нет, это не кровь, это красные от бессонницы глаза заместителя начальника дороги Кравченко. Они смотрят на него: «Родина скажет вам спасибо, Дубравин».

Надо остановиться... Но нет сил протянуть руку к регулятору. Остановиться на подъеме с таким составом — значит, никакими силами его потом не взять. Надо вытянуть поезд на площадку.

— Горит! Огнем горит! Останавливайте! — слышит он снова.

— Нет! — властно кричит Дубравин, не то отвечая помощнику, не то своим мыслям.— Смотри хвостовой сигнал, оба смотрите!

Сам он наполовину высовывается из окна, и глаза врезаются в темноту. Где же этот белый огонек? Или глаза, исполосованные морозом, ослепленные кровавыми сигналами остановки, перестали видеть? И будто в ответ ему закричали помощник и кочегар:

— Есть! Показался!

— Хвост виден!

Виктор с силой рвет на себя регулятор и резко тормозит. С шумом вырывается воздух из тормозных цилиндров. Поезд останавливается. Дубравин опускается на сиденье, откидывается на спинку. Помощник и кочегар застыли в каких-то неестественных позах.

Так проходит минута. Замолкло все, только нет-нет и всхлипнет автоматически действующий насос. Давление в магистрали должно пополниться до пяти атмосфер. Тогда насос выключится, тормоз готов к действию. Но кому нужен сейчас тормоз?

Дубравин поднимается. Лицо его серьезно и спокойно.

— Ну что ж,— вздыхает он,— смотрите машину, раз есть возможность.

Помощник и кочегар срываются с места.

Машинист снова выглядывает в окно. Вдоль поезда движутся два огонька: белый и красный. Белый — это главный кондуктор. Он скажет, что буксу сейчас перезаправят и можно будет ехать. Но как тронуться с места, он не скажет. Красный — поездной вагонный мастер. Он идет заправлять буксу.

— Почему так долго не останавливались? — еще издали кричит главный.

— Не мог,— отвечает Дубравин,— надо было вытащить на площадку хвост.

— Вот проклятые, чтоб им околеть! — в сердцах ругает главный тех, кто недосмотрел за буксой, и миролюбиво добавляет: — Пойду вызывать вспомогательный, вина не наша.

— Вызывать не надо, нет паровозов.

— По частям потащишь?

— Нет, все сразу.

Главный молчит: он не верит в эту затею. Но машинисту не хочется разговаривать, он просит лишь, чтобы поскорее покончили с буксой, пока поезд не замерз.

Спустя полчаса все было готово, и главный разрешил ехать.

Три раза Дубравин раскачивал вагоны взад и вперед, пока не решил, что пора попытаться стронуть с места весь состав. Он думает, что это возможно при одном условии: если ему удастся, действуя одновременно регулятором, реверсом и песочницей, в каждое мгновение трогать с места только один вагон. Нагрузка на паровоз будет возрастать постепенно, как и сила тяги машины, и, когда очередь дойдет до последних вагонов, паровоз уже продвинется метров на двадцать вперед, появится маленькая сила инерции, которая будет помогать ему.

Но как уловить эту ничтожную величину, на которую надо открывать окна цилиндров, чтобы скорость при трогании с места была одинаковой, пока не пойдет весь состав? Откроешь мало — у машины не хватит сил тянуть. Откроешь чуть-чуть больше — паровоз рванет, но состав всеми своими тысячами тонн будет упираться в рельсы, и машина забуксует. Если же превысишь это «чуть-чуть» на микроскопическую величину, поезд разорвется, как бумажный шпагат в сильных руках.

Где же эта граница, эта невидимая величина, единственно необходимая сейчас машинисту? Для каждого веса поезда она разная.

...Левая рука на регуляторе, правая на реверсе. Медленно сжимаются мышцы левой руки. Со скрипом от мороза, с глухим стоном трогаются с места смерзшиеся первые вагоны. За ними, все увеличивая скрип и стон, тянутся следующие. Тяжко и гулко грохнул выхлоп ччч-ах! И вот уже напрягается, вздрагивает паровоз. Медленно, едва-едва поворачиваются колеса. Сейчас будет второй выхлоп. Но мелкая, словно судорожная дрожь пробегает по всему корпусу паровоза. Он угрожающе рычит, и нет у него больше сил. Надо дать новую струю пара, как задыхающемуся больному воздух из кислородной подушки. Но сколько же его надо дать, чтобы не завертелись на месте колеса, не грохнула, как от взрыва, топка?

Дрожит рукоятка регулятора, и эта дрожь передается на руки механика, на плечо, на грудь, на сердце. По этой дрожи он словно определяет пульс механизма. Кончики нервов механика будто простерлись по всему огромному корпусу машины, будто перешла к нему ее сила, и не в котле, а в груди его бьются все пятнадцать атмосфер. И он ощущает каждую деталь механизма, как удары собственного сердца. Он улавливает неуловимую долю мгновения, в которую надо вдохнуть новые силы паровозу, и ту величину силы, единственно необходимую для этого мгновения. Он чувствует миг, в который надо дернуть и поставить на место рукоятку песочницы, чтобы она выплюнула на рельсы

именно ту порцию песка, который только на эту секунду должен увеличить сцепление колес.

И вот уже опасная секунда миновала, но поезд становится тяжелее, машина уже не дрожит, а содрогается всем своим могучим телом. И снова кончики нервов улавливают доли мгновения, и снова укрощает машину человек.

Сколько времени продолжалась эта борьба, Виктор не мог бы сказать. Но вдруг его лицо, где каждая мышца будто сведена судорогой, становится мягче. Вес поезда перестал увеличиваться, значит, движется весь состав, значит, он взял его с места, значит, кончился кошмар остановки. Он оборачивается на помощника и кочегара, видит их окаменелые лица и широко раскрытые глаза, и его лицо расплывается в улыбке. И только большая сила воли помогает сдержать восторженный крик, готовый вырваться из груди.

Помощник бросается к окну, смотрит назад и весело кричит:

— Плывет! Плывет хвостовой огонек!

Теперь Виктор Иванович смело прибавляет пару и подтягивает реверс. Надо ехать на самом экономичном режиме, надо готовить резервы.

Дубравин садится, сталкивает на затылок шапку, вытирает платком весь в испарине лоб.

Одна минута потребовалась на то, чтобы стронуть с места поезд, но за эту минуту сорок раз содрогался паровоз и сорок раз машиниста бросало в пот.

До конечной станции доехали хорошо. Паровоз пришлось протянуть чуть не к выходному семафору. Потом состав расцепили посередине, он проехал немного вперед и осадил на другой путь первую половину поезда. Теперь они стояли рядом, две половинки. Дальше каждую из них поведет мощный паровоз.

Заправившись водой, Дубравин поехал в депо и сдал машину деповскому кочегару. Потом все трое забрали свои сундучки и отправились в дом для отдыха паровозных бригад.

Отдых! Принять горячий душ, поесть — и в теплую постель. Ведь он не спит уже которые сутки!

По дороге им встретился дежурный по депо. Оказывается, он ищет их.

— Диспетчер говорит: может быть, поедете обратно? — обращается он к механику.— Стоит литерный особого назначения, а ехать некому.

Дубравин смотрит на помощника и кочегара. Те молчат, но по их лицам он видит: «Мы готовы, Виктор Иванович, как вы, так и мы».

— А какой вес поезда? — спрашивает он.

— Тяжелый,— вздыхает дежурный,— три тысячи тонн.

— Ну, такой мы увезем, только пусть получше топку вычистят. Пока будут чистить, можно поесть.

Теперь они идут уже не в дом для отдыха паровозных бригад,

а в деповский буфет, находящийся рядом. По маршрутному листу каждый получает триста граммов черного хлеба, сто пятьдесят граммов колбасы и десяток кругленьких, без оберток, конфеток. На маршрутном листе ставят штамп в рамочке: «Получено».

— Вот как здесь здорово снабжают,— говорит кочегар.— А в другое депо приедешь — один хлеб, да и тот сырой.

— Ну и люди! — улыбается Виктор.— Всегда чем-нибудь недовольны. Ведь это тебе сверх нормы дают, да еще по карточкам получишь. Чего же тебе еще?

Кочегар смущенно молчит.

Они садятся за стол и открывают сундучки. Там тоже кое-что имеется: молоко, вареная картошка, а у помощника даже кусочек сала.

Дубравин берет две конфетки к чаю, а остальные тщательно завертывает и прячет в сундучок. Колбасу разрезает на две равные части и половину тоже прячет.

Через сорок минут паровоз уже был под поездом.

Светало. Мороз упал до тридцати градусов. Телеграфные провода все так же прогибались под тяжестью снега. Утренний туман еще не рассеялся, и тускло-тускло мерцали огоньки стрелок и семафоров.

Снизу послышалось: «Пое-хали, механик!» Рев ФД прокатился по дремлющей станции. Дубравин опять трижды «раскачивал» вагоны, пока не тронулся с места весь «литерный особого назначения».

На этот раз тянулись долго. Поезд держали почти на каждой станции. В Барабинск приехали, когда начало темнеть.

Дубравин устал. Громко, на всю улицу говорил репродуктор. Передавали сводку Информбюро. Сводка была хорошая.

Он идет по деревянному настилу, держа в левой руке сундучок, а правой мнет ветошь, которую забыл бросить. Спохватывается, что идет медленно и его качает. Надо ускорить шаг, надо обязательно отоспаться. Ведь снова могут вызвать раньше времени.

Ему хотелось идти быстро. Он шел медленно, тяжело. Перед домом приободрился. В кухне Маша приняла у него сундучок и тяжелый ватный бушлат с блестящими пуговицами, для которого было отведено особое место, чтобы не пачкал стену у вешалки.

Он присел на минутку в кухне на сундук. Теплота разливалась по всему телу, глаза слипались. Хотел снять валенки, но не было сил.

— Раздевайся, Витя, сейчас дам горячей воды,— сказала Маша, выходя в сени.

Хотел разуться, но голова повисла, и он просто уперся руками в валенок, чтобы не свалиться. Он так и остался сидеть, пока не скрипнула дверь. Вошла Маша и поставила на плиту кастрюлю. Виктор стаскивал второй валенок, когда она сказала:

— Пока умоешься, как раз суп разогреется.

А он уже клонился на сундук, уже совсем слипались глаза.

— Только пять минут, Машенька,— просит он,— заметь по часам, я сейчас же встану...

— Да умойся хоть, Витя, покушай, ну что же ты?..

Но голова беспомощно стукнулась о доски, и Маше кажется, что это он со сна бормочет:

— Там, в сундучке, конфетки дочке... А ты колбаски поешь... хорошая колбаска... ты не ругайся, много дали, у меня осталось.

Тяжело вздохнув, она идет за подушкой, покрывает ее чистой тряпочкой и подкладывает под голову мужа. Потом подставляет табуретку под свисшие с сундука ноги. Она вытирает платком угольную пыль, оставшуюся в уголках его глаз, вытирает лицо. С минуту смотрит на мужа, снова тяжело вздыхает и выносит обратно в сени кастрюлю.

Теперь она будет прислушиваться к каждому шороху под окном... Только бы не стукнула по стеклу палочка, только бы не пришел рассыльный!

ПРОЩАЙ, МОЙ ТОВАРИЩ...

Дубравин был машинистом Транссибирской магистрали. Но теперь эта магистраль превратилась в дорогу жизни всей страны, подобно тому как ледяной путь через Ладогу стал жизненным нервом для осажденного Ленинграда.

Виктор был машинистом первого класса на первой линии борьбы.

Когда кончилась война, Дубравин получил орден Ленина. В первые послевоенные выборы в органы власти стал депутатом Верховного Совета республики.

Трудно верилось в показатели, которых достиг Дубравин. И начальник Омской железной дороги издает приказ: командировать его во все депо. Пусть машинисты сами посмотрят на паровоз Дубравина, посмотрят, как трогается он с места, какие водит составы.

Спустя два месяца, возвращаясь домой, Виктор Иванович обратил внимание на какие-то странные квадратные ямы, выкопанные на равном расстоянии друг от друга вдоль всего пути.

Они виднелись и с левой стороны путей и уходили до самого горизонта, будто две толстые пунктирные линии по краям сплошных нитей рельсов. Дальше ямы были уже не пустые. В них оказались железобетонные тумбы, из которых торчало по четыре толстых штыря. И ему стало вдруг все ясно. Это фундаменты под мачты для электролинии. Через несколько километров показались и самые мачты.

Теперь никаких сомнений не было. Значит, после стольких разговоров действительно начинают электрифицировать участок.

Любая новая стройка в родном краю всегда радовала его. Он любил наблюдать ее от самого начала до конца. Вот он едет

на паровозе и замечает, что на пустыре роют фундамент. А в следующих поездах смотрит, как быстро растут стены. Проходит два-три года, и кажется, что новое предприятие стоит здесь десятки лет, и странно, если бы его не было.

Особенно радовало строительство на железной дороге. Даже маленький кирпичный завод, даже новая баня.

И вот опять новая стройка, да не бани, а электрической железной дороги. Но эта стройка не вызвала радости. Даже как будто испортилось настроение.

Поезд шел быстро, и мачты мелькали, как частокол, ограждавший путь. В пейзаж, знакомый до каждого кустика и бугорка, врезалось что-то непривычное, чуждое. Будто отгородили машиниста от степей и лесов.

Чем ближе подъезжал к дому, тем хуже становилось настроение. От прежней приподнятости и радости не осталось и следа.

Ну зачем Дубравину пересаживаться на электровоз?

Паровоз принес ему уважение товарищей, почет, славу, полный материальный достаток. Он может проехать много километров без набора воды. Но электровоз работает вообще без воды, и это умение, выработанное годами и упорным трудом, уже никому не будет нужно. Он может дать огромную экономию угля. Но электровозу не нужен уголь. И звание мастера отопления паровоза тоже теперь ни к чему. И его искусство добиваться высокой степени перегрева пара, все его знания и опыт, все, за что он получил ордена, медали, все это никому больше не нужно.

Но главное не в этом. Что ему делать дальше? Он ведь никакого понятия не имеет не только об электровозе, но даже об электротехнике, без которой нельзя и приступать к изучению новой машины. Те немногие познания в области электричества, которые получил в техникуме, давно выветрились. Значит, начинать сначала, с голого места? И все это после того, как он достиг вершин мастерства!

Дома, кое-как перекусив, ушел в свою комнату, сказав, что будет работать. И действительно, он решил ответить на последние письма избирателей. Открыл пишущую машинку, заложил два листа — один с личным бланком депутата, второй чистый — и начал думать, как ответить на лежащее перед ним письмо. Но не мог сосредоточиться, потому что мешал Валерик. Мальчик сидел в соседней комнате за пианино и разучивал новую для него песню, напевая в такт ударам клавишей:

Я-а зна-а-ю-у, друзь-я-а, что не жить мне без мо-ря,
Как мо-ре мертво-о без ме-ня-а!

На слове «море» он фальшивил, начинал сначала и снова не мог найти нужную ноту.

Виктор Иванович прислушивался к звукам за дверью, с раз-

дражением ожидая фальшивой ноты. Потом не выдержал и вышел к сыну.

— Неужели ты не слышишь? Мо-оре, мо-оре, а ты бьешь море-ее,— говорил он, ударяя одним пальцем по клавишам.

Он вернулся к себе, расправил под машинкой зеленое сукно письменного стола, напечатал: «Уважаемый товарищ!» — но тут раздался телефонный звонок — из горкома партии сообщали, что через день заседание бюро и его просят присутствовать.

Положив трубку, отодвинул и закрыл машинку.

Как же пересаживаться на электровоз, если это совсем другая машина? Почему он должен менять профессию? Да и сумеет ли освоить электровоз, к которому у него нет никакого интереса. Годы ведь ушли! На паровозе все ясно: в топке горит огонь, вода в котле кипит, и образуется пар, который толкает поршень в цилиндре то взад, то вперед. С помощью простых сочленений поршень соединен с колесом, и оно вращается. Этот процесс ясен любому, даже ребенку. Все это можно увидеть собственными глазами. А почему движется электровоз? Где-то, в сотнях километров от локомотива, вырабатывается никем и никогда не видимый ток, невидимо и бесшумно идет по тонким проводам, тая в себе огромную силу, которая заставляет вращаться двигатели. Здесь надо все только представлять в своем воображении, ничего нельзя увидеть. Фантастика какая-то! Ищи этот невидимый ток, если он вдруг пропадет или пойдет не туда, куда надо. Ему хочется сейчас же найти, по каким законам и куда движется ток.

Виктор Иванович резко поднимается, приоткрывает дверь, громко зовет:

— Вера!

Из кухни вбегает старшая дочь:

— Что, папа?

— Принеси мне скоренько твой учебник по физике,— говорит он, не глядя на нее.

...Он листает учебник. Законы Ома, Фарадея, Кулона, Джоуля... Ага, вот что-то о направлении тока. Это закон Ленца:

«Индукционный ток всегда имеет такое направление, при котором его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, которое является причиной возникновения этого тока».

Что это значит?

Он снова листает учебник, выхватывая наугад фразы.

«Для синусоидального переменного тока эффективное значение его меньше амплитудного в $\sqrt{2}$ раза...»

Сам черт ногу сломит.

Из-за двери доносится все тот же мотив: «Я-а зна-аю-у, друзь-я-а...»

Но это же немыслимо! Сколько можно разучивать одну музыкальную фразу? Теперь начался там какой-то спор.

Раньше ни шум, ни музыка, ни разговор за дверью не могли

бы отвлечь его от работы. Напротив, ему приятно было ощущать жизнь семьи совсем рядом, этот шум был просто необходим, как певцу аккомпанемент, как машинисту грохот паровоза. Ведь этот грохот не только не мешает, а успокаивает, показывает, исправно ли работают механизмы. Сделайте паровоз бесшумным — и механик не сможет на нем ехать, он не будет слышать пульса жизни машины. Вот так же Виктору Ивановичу надо было ощущать жизнь семьи за дверью своего кабинета.

Но сейчас все его раздражало. Он стал прислушиваться к спору. Оказывается, пришла младшая дочь Тамара и потребовала, чтобы Валерка освободил ей место.

Виктор Иванович представляет себе ее лицо: задорный носик, быстрые глазенки. Она решительно махнула рукой: «Марш отсюда!» — и метнулись в сторону косички.

Как странно получается! Валерик старше ее, он мальчишка, но всегда и во всем уступает ей. То ли он такой тихоня, то ли девочка очень боевая.

...Конечно, на электровозе чище и легче работать. Там все готовое. Не нужны ни пар, ни вода, ни уголь — сел и поехал. Машинисты приходят туда, как служащие в контору, при галстучках и с бутербродами, завернутыми в газетку. В зимние холода незачем открывать окна. Стекла обдуваются воздухом и не замерзают. Щетка очищает их, как в автомобиле. Но мало ли есть удобных и красивых машин! Надо же знать их, уметь на них ездить.

Виктор Иванович с раздражением смотрит на дверь. Он слышит голос жены. Аккорд обрывается...

— Нет, все равно невозможно здесь сидеть.

Он поднимается, бессвязно объясняет Маше, что у него срочное дело, и уходит. Машинально направляется в депо, напевая застрявшее в голове: «Я знаю, друзья, что не жить мне без моря...»

На двери дежурного по депо большой плакат. Сверху призыв: «Работать зимой так же, как летом!» Ниже надпись крупным шрифтом: «Как водить поезда в зимних условиях». А еще ниже — буквами чуть ли не в ладонь величиной: «Опыт работы машиниста В. И. Дубравина».

Он смотрит на свой портрет, обрамленный текстом его доклада. Плакат напечатали в Москве. Сюда его приклеили давно. Виктор Иванович так привык к нему, что не только перестал обращать на него внимание, но просто больше не замечал. А сейчас этот лист бумаги резанул глаза. Он попятился назад, быстро пошел в другую сторону.

Сняли бы хоть скорее, а то людям на смех. Теперь уже, наверно, печатают другие плакаты, в которых описывается лучший опыт электровозников.

И, как назло, глаза уставились в красное полотнище над воротами депо:

«Паровозники! Будем работать, как лучший машинист В. И. Дубравин».

Это тоже теперь уберут...

— Привет, Виктор Иванович! — слышит он чей-то голос и ежится, будто его застали за нечестным делом.

— Привет! — поспешно отвечает он, оборачиваясь.

Перед ним радостный, улыбающийся нарядчик.

— Дождались, Виктор Иванович! — говорит он, потирая руки и не замечая смущения Дубравина.— В белых перчаточках теперь поезда будем водить, Виктор Иванович! Идите скорее в брехаловку, там все собрались...

— Да... конечно...— силится улыбнуться Дубравин, с облегчением замечая, что нарядчик проходит мимо, не собираясь останавливаться.

Нет, в нарядную он не пойдет! Надо сначала самому разобраться во всем, что происходит.

Он идет в сторону вокзала.

На перроне людно. Только что пришел экспресс. Рядом стоит скорый Ленинград — Хабаровск, прибывший немного раньше. Ярко горят станционные огни.

Сколько человеческих судеб! Сколько надежд, радости, горя везут люди в поездах!

Поток устремился в ресторан. А вот этот, в очках, смело пересекающий поток, ищет газетный киоск. Он купит все центральные газеты, если они остались, купит городскую, областную, районную, многотиражку и, если бы продавалась стенная газета, купил бы и ее. Когда поезд тронется, он, усевшись поудобней и предвкушая удовольствие, будет читать о том, как живут далекие для него люди Барабинских степей. С таким же интересом будет смотреть газеты, добытые на других станциях, о жизни в Кулундинских степях, о прокатчиках Новосибирска, студентах Томска. Он берет от своего путешествия все, что может.

А вот выскочили трое в расстегнутых пижамах, с беспокойными, блуждающими глазами. Расталкивая людей, глядя поверх толпы, они тоже ищут киоск. Это преферансисты. Они проводят в поезде бессонные ночи, успели истрепать свои карты и ищут, где бы купить новую колоду.

Но самое интересное — наблюдать гуляющих. Молодой человек шагает размеренно, чинно, о чем-то сосредоточенно думая. Наверно, только что окончил институт и едет к месту работы. Он понимает, что инженер, прибывший из столицы с путевкой за подписью министра, должен иметь солидный вид...

Вот медленно прохаживаются пожилые люди: муж и жена. Они стараются не удаляться от своего вагона, идут молча. Возможно, ездили в отпуск или в Ленинград к сыну, а теперь возвращаются домой, полные впечатлений. Им не до разговоров. А вот эта парочка явно познакомилась только в вагоне. Они ходят от края и до края поезда. Оба очень молодые и очень

стеснительные, держатся на почтительном расстоянии друг от друга. Интересно, о чем они говорят! Чем окончится их знакомство? Может быть, через несколько станций кто-то из них сойдет и больше никогда они не увидятся. А может быть... Кто знает, что может быть, как сложится их судьба!

Как сложится судьба! Нет, судьбу надо складывать, а не ждать, пока она сама сложится... Надо прежде всего решить: идет ли он на эту чистенькую, но чужую машину.

Работы по электрификации шли полным ходом. Две группы монтажников от Чулымской и Барабинска тянули линию навстречу друг другу. В поездах, которые водил Дубравин, все чаще попадались платформы с мачтами и проводом для новой линии. С каждой поездкой все длиннее становился путь, огражденный частоколом мачт, накрытый паутиной проводов. Эти провода мешали ему, будто загородили от него небо, будто весь путь загнали в туннель.

При очередной командировке в Москву, на какой-то станции, как только к поезду прицепили электровоз, Виктор Иванович, спросив разрешения, поднялся в кабину. Он вошел и подумал: «Да, это, конечно, не будка, как на паровозе, а кабина, иначе ее не назовешь». Устланный линолеумом пол, стенки, как в вагонах метро, электропечь с регулируемым нагревом. Чисто, тепло, уютно. Перед механиком — щиток с кнопками и две рукоятки на контроллере. Это приборы управления — словно в трамвае. Правда, кое-что перешло сюда с паровоза: знакомый, родной кран машиниста для торможения, песочница, скоростемер... Паровозники называют его «доносчиком». Он показывает и одновременно записывает на ленту не только скорость движения, но и каждый шаг машиниста. По ленте видно, когда, как и где, в скольких метрах от светофора, или стрелки, или разъезда начал тормозить механик, какую степень торможения дал, как ехал и на подъем и спускался с уклона, буксовала ли у него машина и сколько времени, где его действия были правильны, а где ошибочны. И если случится что-либо с поездом — только правду надо говорить, потому что «доносчик» все знает, все видел, все записал.

И автостоп здесь точно такой, как на паровозе. Если впереди покажется красный свет, где-то над головой возникнет удивительно противный звук, что-то среднее между скрипом ножа по тарелке и свистком футбольного судьи. Так будет продолжаться девять — двенадцать секунд. Если машинист никаких мер не примет, автостоп сам даст экстренное торможение и остановит поезд. Этот нескромный прибор вмешивается в действия механика не только при красном свете. Он начинает свою «музыку» перед станциями, разъездами, всюду, где надо сократить скорость или призвать машиниста к бдительности.

Видно, не без задней мысли конструкторы дали ему такой

противный голос: чем бы ни был занят машинист, он бросит все, только бы унять автостоп, только бы заставить его замолчать.

Дубравин обратил внимание на то, как чисто одет машинист, как легко и спокойно ведет состав. Странным казалось, что впереди кабины ничего нет. Даже у шофера перед глазами часть машины, а тут рельсы бегут прямо под ноги. Зато как хорошо видно все, что делается впереди, и справа, и слева.

Виктор Иванович задал несколько вопросов механику, и о чем бы ни зашла речь, получалось, что здесь во много раз лучше и легче, чем на паровозе.

По возвращении домой Дубравин увидел, что депо продолжает жить тревожной, настороженной жизнью. Ни один машинист не имел достаточного образования, чтобы начать изучение электровоза. Повсюду собирались паровозники, спорили, судили-рядили, как быть дальше. Бывший напарник Дубравина, прекрасный механик, так подвел итог одного из споров: «На мой век паровозов хватит. Пусть другие учатся». Эта фраза поползла по депо, звучала как призыв. Но многие механики сами побывали на электровозах, многие передавали то, что слышали от людей, и, когда началась запись на Омские краткосрочные курсы, десятки машинистов подали заявления.

Дубравин заявления не подал. А в депо только и говорили о новом виде тяги.

...По всей необъятной стране день и ночь идут угольные эшелоны. По всей стране разбросаны тысячи железнодорожных угольных эстакад. Круглые сутки бесконечной конвейерной лентой поднимаются на эстакады груженные углем вагонетки, соединенные тяжелой цепью, чтобы заполнить бездонные бункеры.

А внизу уже дожидаются, уже стоят в очереди, гудят ненасытные паровозы: давай уголь! И тысячи черных, как этот уголь, людей не успевают открывать бункерные крышки: каждая пятая угольная шахта в стране отдает всю свою добычу железнодорожному транспорту.

Пятьсот вагонов угля в час заглатывают пасти паровозных топок. И только двадцать из них расходуются с пользой.

Четыре процента! Таков в среднем КПД — коэффициент полезного действия — паровоза. А у электровоза — до семидесяти процентов.

...Есть ли у него право не идти на электровоз? Он кадровый рабочий, дважды «Почетный железнодорожник», депутат, коммунист. Что же, бежать от новой техники в другое депо? Но ведь электровоз догонит. Да и бегал ли он когда-нибудь от трудностей? Чего же бояться? Лишнего труда, пока будет осваиваться машина? Так ему ли бояться труда! Сами названия медалей «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд» и орден Трудового Красного Знамени свидетельствуют, что он получил их за труд, за преодоление трудностей.

Да и действительно, не так страшен черт, как его малюют.

Решение созревало постепенно, оно укреплялось, цементировалось, пока не вылилось в страстное желание покорить эту новую машину, взять новую высоту.

Он начал учиться на деповских курсах без отрыва от основной работы.

У него сильная воля. Он не видел ни долгих зимних ночей, ни чудесных летних дней: сидел за книгами. С каждым днем распутывались бесконечные лабиринты электрических схем, он уже отчетливо представлял пути тока, так же отчетливо, как путь пара или воздуха в паровозе. Совсем не страшными оказались Ом, Фарадей, Кулон, Джоуль, Ленц...

Он сидел за книгами и работал на паровозе, как положено работать машинисту первого класса, признанному страной.

И только однажды дрогнуло и сжалось сердце: предстояло совершить последний рейс на паровозе. В последний раз он шел с сундучком. На электровозе железный сундучок не нужен. Там нет воды, угля, пара, грязи. Там не нужна железная оболочка для сохранения пищи. В последний раз он осматривал и готовил к рейсу паровоз. «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга...»

Трудно было Дубравину прощаться с паровозом. Казалось, он свыкся с мыслью об электровозе, заинтересовался им, уже не терпелось ему совершить свой первый рейс. Он убедился, как велики преимущества электровоза, насколько легче на нем работать, какие огромные перспективы для развития транспорта открывает электротяга. И все же... Ведь он любил паровоз! Есть в этой машине какая-то особая сила, что притягивает к себе.

Да, паровоз — это уголь, мазут, копоть. Он морально отжил свой век и должен уйти со сцены. Но Виктор Иванович прощался с машиной, на которой проработал больше двадцати лет, как с живым существом, как с ветераном труда, идущим на отдых.

Дубравину был дорог отживший свой век паровоз, как дороги сегодня боевому генералу гимнастерка и шлем времен гражданской войны.

ПЕРЕД КАТАСТРОФОЙ

Владимир Чеботарев совершил аварию и был переведен на должность помощника машиниста. Такая мера наказания широко практикуется на транспорте. Владимир понимал, что поступили с ним правильно, но тяжело переживал свой позор. Перед вечером зашел к нарядчику и тот сказал, что заболел помощник Дубравина и Владимиру придется ехать вместо больного. Настроение совсем испортилось. Решил зайти в столовую, потом часика два поспать и — в рейс.

В деповской столовой людно и шумно. Толпятся рабочие у буфетной стойки, у кухонного окошка. За столиком в углу сидят четверо. У ног каждого из них — железный сундучок. Это машинисты высшего класса, водители экспрессов и тяжеловесных поездов. Их легко определить и по осанке, и по чувству собственного достоинства, написанному на лицах, и по тому, с каким уважением здороваются с ними рабочие. Чуть поодаль, за отдельным столиком, низко склонившись над тарелкой,— слесарь Тюкин. Он в грязной спецовке, зашел перекусить. Увидел Чеботарева, радостно вскочил:

— Володька! — и увлек его за свой столик.— Вот молодец, что зашел.— Обернувшись по сторонам, хитро подмигнул: — Я как знал.— И он быстро и ловко, не вынимая бутылки из бокового кармана, налил в стакан, подставил второй. По всему видно, что уже прикладывался к этой бутылке.

— Ты что! — возмутился Чеботарев.— Мне ж в поездку,— и он отодвинул от себя стакан.

— Так и я ж на работе,— пожал плечами Тюкин, словно это был самый веский довод за то, чтобы выпить.

Четверо маститых, наблюдавших эту сцену, переглянулись. Молча поднялся самый старший из них машинист Карбышев, подошел к Тюкину. Молча встал возле него. У Тюкина забегали глаза.

— Вылей! — властно сказал Карбышев.

— А я не за ваши, за свои... а вы разве не пьете?

— Пьем! — отрубил Карбышев и выплеснул в пустую тарелку стакан.— Пьем! — И он медленно пошел на свое место.

Тюкин не осмелился ничего сказать. А Карбышев обернулся к Чеботареву:

— А ты тоже! Машинист, называется.

— Был машинист, да теперь помощник,— развязно ответил Владимир.

— С таким дружком и в кочегары недолго.

— У дружка руки золотые.

— Руки-то золотые, потому и сходит все с рук.

Чеботарев не ответил. Поднялся, пошел. Вслед засеменил Тюкин.

— Сколько раз тебе говорил,— зло сказал Владимир, когда они вышли.— Выпить тебе негде, что ли? Вечно в столовую прешься.

— Да ну их к черту,— отмахнулся Тюкин.— Ты с кем едешь?

— С Дубравиным,— нахмурился Владимир.

— Мировая машина. Сейчас только клапан на инжектор поставлю, и будут заправлять.

Так и не поев, Чеботарев отправился домой, а изрядно выпивший Тюкин в депо. На канавах стояло несколько холодных паровозов. В окне одного из них ярко горела переносная лампа. Ниже номерного знака табличка: «Старший машинист В. И. Дуб-

равин». На эту машину и поднялся Тюкин. Видно, что он уже здесь работал. Взял с сиденья медный клапан размером с поллитровую банку и попытался ввернуть в тело котла. Резьба не наживлялась.

— Э, черт возьми! — ругается он.

— Давай быстрей, Тюкин! — раздается крик снизу.— Машина под первый номер идет.

— Сейчас, сейчас...

Он наживил, наконец, резьбу, завертывает ключом. Клапан идет туго, сил не хватает.

— Вот проклятый! — бормочет Тюкин.

Решительно хватает кусок дымогарной трубы, валявшейся на полу, насаживает ее на рукоятку ключа. Рычаг получился длинный. Тюкин налег на него всем телом. Скрипя и подрагивая, клапан пошел. Медный клапан шел не по резьбе. Острая стальная резьба котла резала тонкие медные нити, прокладывая себе новый ненадежный путь.

Клапан стоит точно пробка в бочке. Одна его сторона — под напором воды и пара в котле, вторая — выходит наружу в будку машиниста.

...Холодный паровоз вытащили из депо и развели пары. А ненадежно поставленный клапан так и остался, точно мина замедленного действия. Где-то она сработает...

На душе у Чеботарева было тяжело, потому и шагал тяжело, смотрел вниз. Нет, он никуда не смотрел. Он думал, и думы его были горькие.

По звукам, доносящимся со станции, по зареву и отблескам угадывалась кипучая жизнь железнодорожного узла. Надрывались сигналы локомотивов, точно хотели перекричать друг друга, и в их голоса вплетались тонкие, визгливые или дребезжащие звуки рожков и свистков. Время от времени, заглушая все вокруг, заревет мощный паровоз, и гулко ответит ему далекое эхо.

Выскочил из переулка Сенька, паренек лет десяти с пионерским галстуком и рюкзаком за спиной.

— Драсте, дядя Володя. Вы в поездку?

— Угу.

— А мы в лагеря едем,— радостно сообщает тот,— всей школой едем.

— Угу,— снова мычит Владимир.

Отчетливо донеслась серия гудков — три раза по три: ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту!

— Опять зашились, шестая машина подряд под уголь запросилась,— говорит Чеботарев как бы самому себе.

— А откуда вы знаете?

— Ну, слышишь, девятый путь высвистывает.

— Верно, дядя Володя! — восторгается он.

У школы гурьба ребят.

— Пока, дядя Володя! — припрыгивая, побежал к ним Сенька.

А Чеботарев снова углубился в свои невеселые думы. Он идет уже по виадуку, бесконечно длинному и ажурному, взметнувшемуся над железнодорожным узлом. Зеленые, красные, желтые лучи выходных сигналов, стелющийся над рельсами синий свет карликовых светофоров, молочные огни стрелок и над всем этим гигантские прожекторные мачты, будто наклонив огненные головы, уставились на крыши вагонов и на рельсы. Широкая сеть тяжелых проводов, распластавшись над всеми путями, к границе станции сужается и, слившись в две нити, убегает куда-то, тая в воздухе.

На фоне станции в застекленной башне перед электрическим табло с бегающими огоньками виден человек. Он нажимает кнопки, что-то говорит в селектор. И в такт движения его пальцев меняют цвета огни светофоров, загораются на них цифры, щелкают на путях автоматические стрелки, качнувшись на стрелках, расходятся в разные стороны локомотивы, которые, казалось, вот-вот столкнутся. Все подчинено единой воле.

Вырвались из темноты глазницы электровоза, осветив стрелочную будку и стоящего за ней молодого железнодорожника с сундучком в руках. Он вглядывается куда-то, посматривает на часы, переминается с ноги на ногу. Из мощных репродукторов на столбах над всеми путями несется голос:

— Бригаде Титова, приготовиться! В шестой парк осаживаю нефтеналивной!

Осветилась и расплылась в полумраке фигурка девушки в форменной тужурке. Юноша с сундучком заметил ее, пошел, будто и не стоял за будкой, не дожидался. И вот они уже идут вместе.

* * *

Паровоз стоит у поворотного круга. За правым крылом машинист Виктор Дубравин, за левым — помощник машиниста Владимир Чеботарев. Подрагивает стрелка манометра. Всхлипывает насос. Бьется огненная полоска между топочными дверцами.

— Под экспресс давай на контрольный пост! — доносится снизу крик.

Виктор поднимается, медленно передвигает рычаг реверса. Взялся за рукоятку регулятора. Он понимает: сейчас еще можно отказаться. Дадут другого помощника.

— Что ты копаешься! — слышен нетерпеливый крик снизу.— Экспресс на подходе.

Это последний рейс Дубравина на паровозе. Он не хочет ссориться. Он открывает регулятор. Глухо ударили золотники, зашипели паром цилиндровые краны. Паровоз тронулся. Почти безлюдный перрон под большим гофрированным навесом. Длинный пассажирский состав. В окнах свет. Звонкие удары молотка

по колесам. Отцепился от состава и ушел электровоз. Подъехал и стукнулся буферами паровоз Виктора.

— Механик! Проверим тормоза! — кричит кто-то снизу.

Виктор дает два тихих коротких гудка и повертывает тормозную рукоятку, стоящую возле злополучного клапана.

На путях шеренга красных огней светофоров. Главный кондуктор посматривает то на часы, которые держит в руке, то на светофор. Смотрит из окна и Виктор.

Погас красный луч, и ударил зеленый.

— Поехали, механик! — кричит главный и дает свисток. Владимир открывает регулятор.

— Чч-ах! — ухнула топка. Плавно трогается состав.

В будке машиниста яркий свет четырех электрических лампочек. Справа — Дубравин, слева — Чеботарев. Оба смотрят в окна. Разбегаются рельсы, разноцветные огоньки.

Идет красавец экспресс. В станционных бликах сверкают вагоны, покрытые красной эмалью, и белые лакированные буквы: «ЭКСПРЕСС». Черным блеском отливает котел паровоза, перепоясанный медными, горящими обручами.

Сидят в будке два человека. Один справа, другой слева. Вращается на тендере огромный винт по форме точно такой, как в мясорубке. Он подает в топку уголь.

Манометры. Рычаги. Тяги. Вентили... Рукоятка инжектора. Клапан.

Миновали станцию. За окнами темнота. Два человека молчат. Несутся рельсы. Тревожно грохочут дышла, колеса. Мелькают блокпосты, телеграфные столбы. Далеко впереди зеленый огонь светофора.

— Зеленый! — кричит Владимир.

— Зеленый! — отвечает Виктор.

И снова молчат.

На большом циферблате дрожит стрелка: 90 километров в час.

— Уголь смочить бы надо,— говорит Дубравин.

— Уголь — моя забота,— отвечает Владимир.

— Ну, вот что! — недоволен Виктор.— Давай сразу договоримся: за правым крылом — я. И не дам тебе командовать.

— А за топку отвечаю я. Не хватит пару, тогда и будешь командовать.

— Тогда поздно будет... Скоро разъезд Бантик,— примирительно говорит Виктор.

— Да-а, Бантик,— задумчиво отвечает Владимир. Он смотрит в окно. Темно. Едва угадываются контуры деревьев. Видны лишь кудрявые верхушки, в темноте похожие на клубы дыма. Постепенно в его воображении они светлеют, и вот уже это не дым, а пар. И вспомнилось Чеботареву прошлое.

...Пар клубится, вырываясь из паровозного гудка: короткий,

длинный, два коротких. Под лучами солнца ожил лес. Владимир несется на паровозе и дает эти сигналы.

На семафоре — красное очко, и поезд останавливается. Соскочив с паровоза, мчится к дежурному, стоящему на платформе.

— Долго простоим?

— Минут тридцать. Пропустим литерный и два порожняка.

Он радостно бежит дальше, туда, к семафору на насыпи, где появилась фигурка Вали. Взявшись за руки, они идут к лесу. И вот уже сидят под сосной, на крошечной полянке, окруженной высоким, густым кустарником. Володя пытается отнять у Вали травинку, точно такую, какими усеяно все вокруг. Но ему, должно быть, необходим именно этот, Валин стебелек. Она вырвала свою руку, отвела далеко назад.

Его пальцы, скользя по ее руке, тянутся за стебельком, они уже у самой ее кисти, но вдруг застыли. Разжалась Валина ладонь, упал в траву никому больше не нужный стебелек...

...Сидит Чеботарев за левым крылом, думает. Виктор высовывается в окно, смотрит вперед, дает длинный гудок.

Владимир слышит этот долгий гудок. Но в его ушах — другой сигнал. Перед его воображением все та же крохотная поляночка. Спиной к нему сидит на пеньке Валя, низко опустив голову. Он растерянно переминается с ноги на ногу, не зная, что сказать.

Гремит гудок.

— Это меня зовут, Валечка,— робко говорит Владимир.

Молча, не поворачиваясь, сидит Валя. Вздрогнули плечи.

— Ну, что ты, Валечка? Ты ведь сама...

Будто током ударило, вскочила Валя. Застыла, как окаменевшая, подняв голову, всем корпусом подавшись вперед лицом к нему. Великолепно и страшно это гордое, поднятое вверх лицо.

— Что сама?! — выдохнула она наконец.

— Ну... сюда пришла...

Как удар хлыста раздалась пощечина.

— Вот, дура! — вырвалось у него. В сердцах он говорит еще что-то, но все заглушили гудки, зовущие его. И, не оборачиваясь, он побежал к станции.

— Пар садится.

Эти слова Дубравина отрывают его от воспоминаний.

— Пар — моя забота, мы уже договорились с тобой.

— Ну, твоя, так твоя. Я просто, чтобы ты не прозевал.

— Я прозеваю, ты не упустишь.

— Ты это про что?

Чеботарев медленно открывает левый инжектор, тщательно вытирает ветошью руки:

— Про пар.

И снова оба смотрят в темноту.

— Зеленый!

— Зеленый!

Бьется огненная полоска между топочными дверцами, сверкает медью и краской тормозной кран. Рычаги. Вентили. Рукоятка. Маховик. Клапан.

Грохочут дышла и колеса, «играют» затянутые в чехлы переходы между вагонами. Открылась дверь вагона № 7, проводник, уцепившись одной рукой за поручень, выглянул в темноту, швырнул с лопатки мусор.

В коридоре вагона пусто и тихо. Не угомонились только преферансисты. Табачный дым окутывал четырех игроков и двух болельщиков, но никто не обращал на это внимания. Один из игравших, похожий на плакатного лесоруба, без конца повторял: «Жми, дави, деревня близко». Что это означало, трудно было понять. То ли он поторапливал партнеров, то ли призывал бить карту, но каждый раз громко и добродушно смеялся своей остроте. Играл он плохо, часто рисковал и проигрывал, но, казалось, приходил в еще лучшее настроение. «Вот это влип,— восторгался он от собственной неудачи.— Ну, жми, дави, деревня близко».

Рядом с ним чернявый юноша, суетясь и нервничая, поучал остальных, щеголяя преферансной терминологией, по-петушиному напускаясь на каждого, кто, по его мнению, допускал ошибку.

Как только на чемодане, заменявшем стол, появлялся туз, третий партнер, капитан танковых войск, неизменно отмечал: «Туз и в Африке — туз». Он же монотонно подсчитывал: «Три козыря вышло», «Пять козырей вышло»... И только четвертый игрок, сухонький старичок, действовал молча и сосредоточенно, но партнеры то и дело покрикивали на него:

— Кто же с туза под играющего ходит.

Или:

— Нет хода, не вистуй!

Старичок застенчиво оправдывался или молча сносил упреки.

Болельщики, получившие последнее предупреждение чернявого юноши («Еще слово, и я выставлю вас из купе»), точно немые, издавая нечленораздельные звуки, тыкали пальцами в карты игроков, не в силах сдержаться, чтобы не дать совета.

Два купе занимали спортсмены-легкоатлеты. Они ехали не то на соревнования, не то на совещание в Москву. Из-за дверей купе слышался смех и громкий говор, но, когда они появлялись в коридоре, пассажиры в полной мере чувствовали, как велико их превосходство над всеми. Чувство собственного достоинства не покидало их. Они словно были одни в вагоне: никого не замечали, ни с кем не разговаривали, и вид у них был серьезный, деловой. На больших стоянках соскакивали на противоположную от перрона сторону и бегали взад-вперед от паровоза до

хвостового вагона, и лица у них становились еще более ответственными.

По соседству со спортсменами ехала молодая женщина с четырехлетней Олечкой и два небритых студента-заочника. Должно быть, им предстоял экзамен: обложившись на своих верхних полках учебниками, они озабоченно листали их, делали выписки, время от времени консультируясь друг с другом.

Полной хозяйкой вагона чувствовала себя Олечка. Ее огромные голубые банты мелькали то возле проводников, то в противоположном конце вагона. Она принимала деятельное участие в уборке, держась за рукав пылесоса, забегала во все купе, серьезно объясняя, с кем и куда едет, задавала бесчисленные вопросы, восторгалась беленькими домиками, проносившимися мимо окон... Всюду ее принимали радостно и ласково, спортсмены — снисходительно, и только преферансистам было не до нее. Олечку обильно угощали. Вызывая улыбки она запихивала в свои крошечные кармашки конфеты, солидно комментируя: «Это на после». А потом Олечка рассмешила всех, поплатившись за это свободой. Пожилая женщина, которая была недовольна своим местом, постельным бельем, сквозняками, плохим обслуживанием — одним словом, всем,— позвала проводника, заявив, что у нее капризничает радио.

— А вы нашлепайте его,— посоветовала Олечка.— Когда я капризничаю, мама дает мне шлепков. Больно-больно!

Покрасневшая от смущения молодая мамаша молча потащила девочку в купе...

Пассажиры разошлись по своим местам. Только один человек стоит в коридоре у окна и смотрит в темноту.

Это Андрей Незыба. Он работает в Москве и едет из командировки. Скоро столь дорогие для него места, и спать он не может: экспресс приближается к разъезду Бантик.

Владимир Чеботарев поглядывает на манометр, то прибавляя, то уменьшая подачу угля в топку легким поворотом маленького вентиля. Время от времени поднимает ручку своего инжектора, и слышно, как вода пробивает себе путь в котел.

За правым крылом — Дубравин. Он держит одну руку на тормозном кране, вторую — на карнизе раскрытого окна и смотрит в темноту. Правый инжектор, тот, что ставил слесарь Тюкин, пока бездействует. Это могучий аппарат. За две с половиной минуты он нагнетает в котел тысячу литров воды.

Мелькают деревья, домики, зеленые огоньки. Скорость девяносто шесть километров в час. Едут молча. Разговаривать нет времени, да и не услышать ничего за грохотом паровоза.

Одна за другой проносятся станции. Поезд скорый, остановок мало.

До станции Матово оставалось пятнадцать километров. Начинался уклон. Машинист рванул на себя рукоятку регулятора, перекрыв выход пара в цилиндры. А бешеное парообразование

продолжалось. Гудел котел от напряжения. Надо немедленно дать выход пару или качать воду. И помощник открыл мощный правый инжектор.

Ненадежно поставленный клапан вышибло с силой снаряда. Он пролетел мимо уха машиниста, ударил в железную стену и рикошетом пронесся в тендер.

Кипящая вода, перегретая до двухсот градусов, увлекаемая паром, как огнемет, била в железную стену. Острой пылью брызнуло стекло четырех электрических лампочек. Свет погас. Густой, непроницаемый пар метался по будке. Как в смерче, носились и с грохотом сталкивались бидоны, масленки. Цепляясь за приборы и вентиляцию, пар свистел и выл.

Дубравин не мог сообразить, куда ему деться. Спинка его сиденья упиралась в стену, о которую билась струя, и, разбрызгиваясь, окатывала его кипятком. Впереди — нагромождение приборов и тоже стена. Слева, совсем рядом, как шлагбаум,— струя. Справа окно. Машинист оказался зажатым на площадке в полквадратных метра, отрезанный от тормозного крана, хотя до него рукой подать.

В момент удара Дубравину обожгло лицо, грудь и руки.

О грозящей катастрофе в поезде не знали.

— Может быть, завтра доиграем? — робко спрашивает партнеров старичок преферансист,— поздно уже.

— Э-э, нет,— возражает капитан,— завтра жена и одного круга не даст мне сделать.

— До завтра еще дожить надо,— замечает болельщик.

— Жми, дави, деревня близко.

В коридоре появилась девушка в форме связистки.

— Кто забыл дать телеграмму? — говорит она.

— Вот хорошо,— выглянула из купе Олечкина мама.— Возьмите, пожалуйста.

Связистка подсчитывает слова:

«Приезжаем завтра экспрессом. Вагон 7. Лида».

В соседнем вагоне возле входа в умывальник четверо ребят в трусиках, во главе с Сенькой, который встретил Чеботарева по пути в школу.

— Мишка не побоялся бы, а тебе слабо,— шепчет один из мальчишек.

— Мне слабо?! — тоже шепотом возмущается Сенька, бросая взгляд на стоп-кран.

— А вот и слабо!

— Мне слабо?! — делает он шаг в сторону крана...

В служебном отделении этого же вагона сидя дремлет проводник. Дверь ходит взад-вперед, и щелка то больше, то меньше. Старик «клюет». Голова падает на грудь и снова поднимается.

— И не пузырься, все равно слабо! — подстрекают Сеньку.

— Ах, так,— уже едва не кричит он, хватая стоящую рядом лесенку (кран высоко, не дотянуться). Встав на две ступеньки,

решительно взялся за рукоятку. Видно, что сейчас рванет.— Ну! — торжествующе говорит он.— Скажи еще раз «слабо».

Поезд дернулся, со стуком распахнулась дверь проводника. Он схватился, выглянул в коридор.

— Вы что делаете! — бросился к ребятам.

В диспетчерской из репродуктора раздался голос:

— Экспресс номер один проследовал раньше времени на четыре минуты. На стрелках прошел с превышением скорости.

— Что они, с ума сошли! — возмущается девушка-диспетчер, нажимая на кнопку селектора.— Шумилов! — кричит она.— Машинист Шумилов.

— Я — Шумилов! — отвечает машинист с тяжело идущего паровоза.

— Давай веселей, дорогой, чтоб не задержать встречный экспресс, он ведь с ходу идет.

— Успею,— отвечает машинист, взглянув на часы.

Это тянется на подъеме длинный состав цистерн, на которых написано: «Огнеопасно», «Пропан». С противоположной стороны к этому же разъезду несется экспресс.

У Дубравина не хватило выдержки дышать паром, и он инстинктивно прижался к окну, высунув из него голову. Он понимал, что такое положение надо потерпеть несколько секунд.

Чеботарев, находящийся по другую сторону струи и далеко от нее, успеет остановить поезд.

Перед помощником — дверь на боковую площадку, идущую вдоль котла. На переднем брусе паровоза, между фонарями,— концевой кран. Точно такой, как в вагонах. Только в вагонах надпись: «Для экстренной остановки поезда ручку крана повернуть к себе», а на паровозе нет надписи. И повернуть надо не к себе, а от себя. Но даже ученики младших классов железнодорожной школы знают: этим краном можно остановить поезд.

От будки до крана — двадцать шагов. Когда скорость почти сто километров, по узкой, не огражденной площадке быстро не пробежишь. Не держась, по ней и шагу не сделаешь: паровоз сбросит. Дубравин сознавал это и терпел. Он знал, что Владимир пробирается, держась за различные тяги, как за перила, а это замедляет движение. К счастью, это не помощник, а опытный машинист Чеботарев, который сообразит дернуть по пути рукоятку крана Эверластинга. Правда, уйдет лишняя секунда, но зато откроется широкий выход пару и воде наружу. Струя в будке сразу ослабнет.

Дубравин, окутанный паром, в жгущей одежде, сильнее прижимался к окну. Поезд мчался с уклона, увеличивая скорость, кран Эверластинга оставался закрытым. Дубравин понял, что Чеботарев убит. Убит паром в будке или сорвался с площадки.

Набрав побольше воздуху, втянув голову в плечи, Дубравин

окунулся в пар и начал левой рукой на ощупь пробираться к тормозному крану снизу. Струя коснулась мышц ниже локтя, и кожу сорвало, будто наждачным точилом. Чтобы дотянуться до крана, надо еще немного поднять руку. Тогда она окажется поперек струи. Боль можно бы вынести, но, прежде чем он повернет кран, пар съест руку.

Он рванулся к окну, потому что будка сильно нагрелась и дышать было нечем. Надо бы высунуться из окна побольше и ждать, пока выдохнется этот проклятый котел. Но Дубравин не рискнул так поступить. Дело в том, что приближалась станция Матово. Дальше был однопутный участок и очень крутой уклон. Встречные грузовые поезда не всегда укладывались в график, и пассажирскому приходилось ожидать их в Матово по нескольку минут. Не исключено, что и на этот раз где-то тянется встречный.

Дубравин решил сам добираться до концевого крана, куда не дошел Чеботарев. Это всего пятнадцать метров. Ухватившись за подоконник, он подался всем корпусом в окно и одну за другой перекинул ноги. Снаружи под окном укреплена откидывающаяся вверх ажурная рамка для улавливания жезла. Она похожа на металлическую окантовку полочки. От нее идут два стержня взад и вперед. Удерживаясь на руках. Виктор повернулся лицом внутрь будки и коленями встал на рамку. Он нервничал и сгоряча уперся не в самую рамку, а в стержень, который тут же согнулся. Колени скользнули вниз. Инстинктивно противясь этому движению, Дубравин дернулся вверх, и складная рамка захлопнулась. Постепенно локти разогнулись. Он остался висеть, держась за широкий мягкий подоконник.

В таком положении и увидел Дубравина путевой обходчик. Он увидел бешено мчащийся поезд, густые клубы пара, валившие из окна, и человека, висящего на подоконнике. Потрясенный, бросился вслед за поездом и, когда скрылся последний вагон, продолжал бежать, не отдавая отчета в своих действиях. А может быть, думал старый путевой обходчик, что вот-вот сорвется это тело и упадет человек не на ноги, а на бок, потому что ноги сильно относило ветром назад.

До станции Матово оставалось километров пять. Андрей Незыба очень давно там не был. В самом начале войны из железнодорожников их узла сформировали специальный отряд и послали на фронт. В отряд попала и Валя. Пока они ехали к месту назначения, она часто думала о том, как странно складывалась ее судьба. Андрея назначили старшим отряда, он был энергичен, настойчив, решителен. Это никак не укладывалось в ее представлении об Андрее. Она знала его, как человека чистого, благородного. Не могли, конечно, укрыться от нее и его чувства. Внутренне она тянулась к нему, но разум протестовал. Юноша должен быть решительным, смелым, порывистым. Андрей казался слиш-

ком инертным, безжизненным. Другое дело — Чеботарев. Разве Андрей решился бы так с ней познакомиться! И уже совсем добили ее гудки Андрея. Как легко он уступал свою любовь. И не только уступал, но все делал для того, чтобы помочь Владимиру. Разве это герой.

Перелом произошел на фронте после первого же боя, которого она не видела, но о его подвиге, мужестве, смелости говорил весь отряд. А во втором бою их отряд был разгромлен. Ей удалось пробраться в какую-то деревушку, стоящую в стороне от основных дорог войны. Это не помешало ей действовать активно. Две недели задерживала она поезда, создав огромную пробку и дезорганизовав движение немецких эшелонов по главному ходу, пока ее диверсии, удивительно простые и остроумные, не были разоблачены.

Перед самым гребнем крутого подъема, где поезда едва-едва тащились, Валя натирала рельсы салом. И будто в стену упирались самые мощные паровозы, бешено вращались на месте колеса, лишенные силы сцепления. Поезда останавливались, их вытаскивали по частям, на долгие часы задерживали движение. Прозрачный и тонкий слой сала, вполне достаточный для того, чтобы остановить любой поезд, был абсолютно незаметен, и никому в голову не могло прийти ощупывать рельсы, пока кто-то на них не поскользнулся.

Чтобы не выдать себя, партизаны, действовавшие в этом районе, до поры до времени не могли совершать диверсий, но с целью разведки тщательно следили за движением поездов. Партизаны и заметили девушку.

Когда немецкие патрули устроили засаду, чтобы поймать диверсанта, партизаны предупредили ее далеко от опасного места и увели в отряд. Здесь она и встретилась с Андреем.

На исходе третьего месяца пребывания в отряде Валя и Андрей решили больше не расставаться.

Валя раздобыла где-то скрипку и каждую свободную минуту заставляла его играть. Это были радостные минуты. Это было их маленькое, дорогое счастье...

Партизаны с особым нетерпением ждали возвращения Андрея, посланного на разведку. Предстояла крупная операция, первый бой, где должны были участвовать все силы отряда. Андрея послали на разведку минных полей, ограждавших железнодорожное полотно.

Утром командир приказал его группе сделать три широких прохода в разведанных полях.

— Наша операция проводится во взаимодействии с регулярной армией,— предупредил командир.— Если враг откроет предполагаемое место удара, и мы, и армия понесем большой урон.

...В белых маскировочных халатах группа тронулась в путь. Они должны были выполнить задание за три часа. К назначенно-

му сроку партизаны стали возвращаться. Задерживался только Андрей. Уже начало темнеть, а его все не было.

Вернулся он ночью с пораненной рукой.

Андрей был опытным минером. Он научился обезвреживать любые мины, даже «неизвлекаемые». Неизвлекаемых для него не существовало. Бывает, от уже обезвреженной мины тянется тоненькая незаметная проволочка. Такая проволочка всегда загадка. Может быть, она идет к другому взрывателю, значит, ее надо перекусить. А возможно, держит пружинку взрывателя. Перекусишь, тоже взрыв. Бывает, мину нельзя поднимать или трогать с места — у нее донный взрыватель. Надо определить, как он поставлен. Он может быть нажимным или натяжным. И в первом случае можно поднять мину, хорошо все рассмотреть и обезвредить ее. А во втором — ее не только поднимать, даже сдвинуть с места нельзя.

Все вражьи хитрости хорошо изучил Андрей. А вот на этот раз оплошал. Казалось, он готов был кричать. Не от боли — от обиды. Казалось, даже новичок не попался бы на такую простенькую ловушку. Андрей долго возился с противотанковой миной, у которой обнаружил несколько взрывателей, несколько хорошо замаскированных проволочек. А внешне казалось — самая простая мина. Потянул стерженек, воткнул в отверстие чеку, вот и все. Это уже не мина, а коробка с толом. Она не опасна.

Минное поле, в основном, состоит из таких простых мин. Но все же кое-где стоят «сюрпризы», на один из которых и наткнулся Андрей. Не только извлекать, но и ставить их не просто. Нужен большой опыт и время. И ставят их для того, чтобы противник не мог легко и быстро делать проходы в минном поле. Чтобы с каждой миной долго возился в поисках «сюрпризов».

Все внимание Андрея и было сосредоточено на этой сложнейшей мине. А такой, можно сказать, пустяк как хлопушка, он не заметил. Это картонная коробочка, предназначенная для задержки пехоты. Наступишь на коробочку — и она ударом воздуха повредит ногу, поуродует пальцы или пятку. Вот этой коробочки, лежавшей под снегом близ противотанковой мины, он не заметил... Оперся на нее ладонью.

— Теперь я больше не минер и не скрипач,— сказал Андрей, когда они остались вдвоем с Валей.

— Ты человек,— ответила Валя.— Очень дорогой для меня человек.

Она не могла больше ничего придумать для его утешения. Она только напрягала силы, чтобы при нем не плакать. По ее настоянию в тот же день появился приказ командира, в котором говорилось, что Андрея и Валю «полагать вступившими в законный брак» и что выписка из приказа «подлежит замене в загсе на официальную регистрацию при первой возможности». Неделю Валя не отходила от Андрея. В эти дни он понял, как дорог ей.

Отряд готовился к боевой операции. Готовилась и Валя. Уходя, она поклялась отомстить за Андрея.

Партизанам удалось разбить гарнизоны трех станций. Но одна группа бойцов, увлекшись успехом, ушла слишком далеко и напоролась на главные силы противника. В этой группе, где были самые отчаянные головы, находилась и Валя. Никто из них не вернулся.

Этот удар Андрей едва перенес. Он приписывал себе вину за гибель Вали. Казалось, он потерял интерес не только к жизни, но и к борьбе. Это происходило в период непрерывных налетов вражеских карательных войск на отряд. Его пришлось разделить на несколько групп. Командование одной из них и поручили Андрею, у которого еще не зажила рука. Вот тогда он немного пришел в себя.

Еще год Незыба находился в отряде, пока его не отозвали в тыл как специалиста-железнодорожника. При первой же возможности Андрей поехал к Валиным родителям. Встретил он и Чеботарева. Но они могли рассказать ему только то, что он знал и сам.

Спустя пять лет после окончания войны Андрей женился на Валиной подруге. Жили они дружно, хотя любви у него к ней не было. С годами, казалось, он совсем забыл о Вале. А вот теперь, в нескольких километрах от Матово, нахлынули воспоминания о первой любви.

Он решил хотя бы с тамбура хвостового вагона, откуда хорошо все видно, посмотреть на станцию.

...Поезд несся с уклона, увеличивая скорость. В будке машиниста никого не осталось. Паровозом никто не управлял. Только упрямо вращался стокерный винт. По форме точно такой, как в мясорубке, только раз в двадцать больше. Он подавал в топку все новые и новые порции угля, и шесть тоненьких сильных струек пара исправно разбрызгивали топливо равномерно по всей колосниковой решетке. Парообразование шло бурно.

Дубравин понял, что на подлокотнике долго не провисеть. На левой руке не было рукава. Он куда-то делся. Было похоже, что на нее натянута длинная порванная резиновая перчатка, потому что кусочки кожи болтались на ветру. Но боли совсем не чувствовал. Одежда мгновенно остыла и уже не дымилась.

Он висел, держась за мягкий подлокотник, стараясь сообразить, как поступить дальше. Под ним песчаная насыпь. Насмерть не разобьешься... Но ему пришла в голову мысль, что он не имеет права разжать руки. В поезде ехало восемьсот человек.

Рядом с паровозом в багажном вагоне люди не спали.

Они подтаскивали к дверям вещи, которые надо было сдать на первой остановке. В соседнем — тоже не спали. Это почтовый вагон. И тут готовились к остановке, где предстояло обменяться почтой. Дальше вагон, в котором первое купе занимал главный

кондуктор. Здесь несколько случайных пассажиров-железнодорожников на один-два перегона. Они режутся в домино. Рядом в запертом купе бодрствует вооруженный человек. У него перед глазами запечатанный сургучом мешок. Это почта государственного значения.

В тамбуре одного из вагонов парень и девушка. Он целует ее, она, отстраняясь, говорит:

— Не надо, Юра. Ну, прошу тебя, кто-нибудь зайдет.

— Да спят уже все! — и он снова тянется к ней.

— Ну, завтра, Юра, понимаешь? — Что-то вспомнив, роется в сумочке и, широко улыбаясь, показывает ключ.— Завтра, Юрочка! — и она сама обнимает его.

— Здесь нельзя находиться, граждане! — строго говорит появившаяся проводница. Оба поспешно идут в вагон.

— Доигрался,— чуть не плача шепчет девушка.

...Купе спортсменов.

— С такой самоуверенностью проваливаются, а не берут мировые рекорды,— недовольно говорит тренер атлету.— Конечно, ты сильнее американца, но завтра они выпускают Горбу, это не шутка.

— Но я же все время тренируюсь,— оправдывается атлет...— А вот едем впритык. Это ни к черту не годится. Еще и поезд опоздает.

— Типун тебе на язык. Опоздает, значит американцам засчитают победу без борьбы.

...Вагон-ресторан. Почти со всех столов сняты скатерти. Заперт буфет. За угловым столиком, развалившись, сидит пассажир. Вокруг него почти весь штат ресторана.

— Ну, совесть же поимейте,— уговаривает его официантка.— Ведь нам осталось три часа отдыхать.

— Ра-аботать надо, а не отдыхать,— заплетающимся голосом говорит пассажир.

На переходной площадке вагон-ресторана — двое. Кухонный рабочий кричит им сквозь застекленную дверь:

— Закрыто, закрыто, утречком приходите, свежее пиво будет...

Олечкина мама говорит соседке по купе, девушке в очках:

— Вы правы, но не хватает у меня духу укладывать ее. Видите,— показывает на фотографию: на плоской, без матраца, койке лежит на спине Олечка. Ноги в гипсе. В подбородок упирается какая-то конструкция, не дающая ей наклонить голову.— Все говорили, что ходить никогда уже не будет. Чудо спасло. И, представляете, сделал это совсем молодой врач.— Она улыбается и добавляет: — Завтра на вокзале отец впервые увидит ее на собственных ногах.

Андрей шел к хвостовому вагону. Перед тамбуром вагон-ресторана до него донесся недовольный голос проводника:

— Немедленно закройте дверь! Вот еще новости!

— Понимаете, мне очень надо посмотреть, прошу вас... Только станцию Матово.

Андрей замер в проходе между вагонами, уцепившись за перильца.

— Валя!

Она вскинула голову, вскрикнула, бросилась к нему и вдруг остановилась, точно перед пропастью. Взволнованно сказала:

— Какая странная встреча.

И вот они стоят в коридоре затихшего вагона.

Валя плачет. «Плен... годы скитаний по чужим странам». Больше ничего она не говорит. Андрей не расспрашивает. Вместе с документами военного времени у него хранится выписка из приказа командира партизанского отряда, «подлежащая замене в загсе при первой возможности». Так она и не представилась, эта возможность.

Должно быть, Валя думала о том же. Она сказала:

— Все годы перед глазами стоял наш разъезд. Я любила его, как человека. Как свою юность.

— Хочешь посмотреть на Матово из тамбура?

— Пойдем, Андрей.

Поезд шел, все увеличивая скорость.

...Мелко и медленно перебирая руками, Дубравин передвигался вперед, ища ногами хоть какую-нибудь опору, потому что руки уже отрывались. И он нащупал ее. Это было ребро зольника. Сразу стало легко.

Уже не раздумывая больше, Виктор открыл рамку жезлоуловителя и, держась за нее, подвинулся до самого края зольника. Правее и ниже находился короткий отросток пожарной трубы. Он поставил на отросток одну ногу, а на нее вторую, потому что места для обеих ног не хватило. Уцепившись за какую-то тягу, опустился еще ниже на лафет бегунковых колес. Теперь над ним была узкая длинная площадка, такая, как с левой стороны котла, по которой можно дойти до концевого крана. Он поздно понял свою ошибку. С пожарного отростка надо было сразу карабкаться на площадку, а не спускаться вниз. Назад теперь не пробраться.

Он держался за край площадки, упираясь ногами в лафет, сильно изогнув спину. На стыках рельсов лафет подбрасывало, и эта ненадежная опора прыгала под ногами. Мокрые волосы высохли и уже не липли к глазам. Совсем рядом с грохотом бились многотонные дышла, бешено вертелись огромные колеса. Один оборот — шесть метров. Двести пятьдесят оборотов делали колеса в минуту. Они сливались в сплошные диски, перекрещенные бьющимися дышлами. Дальше идти некуда. Он смотрел на вертящиеся колеса и дышла и не мог оторвать от них взгляда. Они притягивали. Он не хотел, ему невыносимо было смотреть в этот страшный водоворот металла, но смотрел, и тело, уже не подчиняясь разуму, клонилось туда. Масляные брызги ударили

в лицо. Это сбросило с него оцепенение. Ноги оторвались от лафета, в каком-то неестественном прыжке дернулось, подпрыгнуло и замерло тело. Теперь согнутая в колене нога лежала на площадке, словно вцепившись в нее, а руки обняли эту заветную полосу железа с обеих сторон: сверху и снизу. Голова, вторая нога и весь корпус повисли в воздухе. Колеса оказались совсем близко, и волосы едва не касались их.

Теперь весь смысл его жизни заключался в том, чтобы втянуть на паровозную площадку свое тело. И когда он сделал это и лицо приятно охлаждалось, мысли его отвлеклись, но он все же подумал, что забыл сделать что-то важное, без чего ему нельзя жить. Он никак не мог уловить, что же еще надо сделать. Надо решить какой-то главный вопрос. Вот вертится все время в голове, но никак за него не ухватишься. Значит, Чеботарев так и не подтянул подшипник, хотя говорил ему об этом дважды. Как же, сам машинист, не терпит указаний. А теперь, когда переместились на площадку колеса, слышно, как стучит. Может выплавиться.

И опять он подумал, что отвлекся, хотя очень важно сохранить подшипник. Но это можно сделать потом. Сейчас надо заняться неотложным делом. Надо срочно купить дочери программу для поступающих в техникум. Обещал девочке — значит, надо сделать. Уже второй раз забывает. Но это же не главное. Главное было в том, чтобы тронуть с места смерзшийся состав после остановки. Так он и поступил...

Дубравин рассмеялся каким-то путающимся мыслям. И от этого смеха вдруг все вспомнил. Рывком поднялся и тут же опустился на колени. Ему было страшно. Он боялся упасть с площадки. Быстро полез, хватаясь за горячие трубы, рычаги, тяги.

Левая рука почернела. К оголенным мышцам легко приставали угольная пыль и кусочки промасленной ветоши. Лишь в тех местах, где только сейчас сползла кожа, задеваемая выступами на площадке, оставались красные со слизью пятна. Но и они быстро чернели. Лицо было тоже черное.

Пока Дубравин карабкался к концевому крану, поднялись, всполошились люди. Девушка-диспетчер, совершенно растерянная, кричала в телефонную трубку начальнику какой-то станции:

— Как-нибудь, умоляю вас, ну, как-нибудь остановите! Они проскочили красный...

В эту минуту из репродуктора раздался голос:

— Диспетчер!

Она бросилась к селектору:

— Я — диспетчер! Я — диспетчер!

— Я — Узкое.— Голос тягучий, противный, будто человек зевает.— Уже вся станция завалена шлаком. Ну, когда же вы...

— Какой шлак? — трет она лоб.— Какой шлак, я не понимаю!

— От паровозов, говорю. Когда мусорную платформу пришлете?

— С ума сошли!

...Помещение дежурного по станции Узкое. Тускло горит свет. В углу на табуретке дремлет кондуктор в большом плаще. За столом дежурный.

— Во-от бюрократы! — тянет он.— Молоко на губах не обсохло, а уже начальство. Уже и разговаривать не хочет. Ну и ну!

...Прихожая частной квартиры. У телефона немолодая женщина в ночной рубахе. Говорит зло:

— Как где? Откуда я знаю? На линии, на линии, там, где всегда...

Хлопнув трубкой, идет в комнату. Укладывается в постель рядом с мужем.

— Звонили или показалось? — спрашивает он сонным голосом.

— Ни стыда, ни совести! — злится она.— Ночь-полночь звонят начальнику отделения по всякой чепухе.

Он вскакивает:

— В такое время по чепухе не звонят.

Быстро идет к телефону, поднимает трубку:

— Дежурного по отделению!

...Несколько железнодорожников в служебном кабинете.

— Машинист Шумилов! — нажимает кнопку селектора один из них.

— Я — Шумилов.

— Я — дежурный по отделению. Немедленно останавливайте и осаживайте поезд назад, на вас идет экспресс. Оставьте поездную прислугу и кочегара, пусть кладут на пути петарды. Давайте сигналы общей тревоги беспрерывно.

— Маково! Маково! — снова нажимает он кнопку.

— Я — Маково.

— Вагонами вперед к вам осаживает взрывоопасный. Принимайте его на второй путь. Идущий вслед экспресс пускайте по главному. Примите все меры, чтобы остановить его.

...Владимир Чеботарев лежит возле своего сиденья. Бьется на ветру дверь на боковую площадку. Там, впереди — стоп-кран. Ему легко туда пробраться. И он пополз. Пополз быстрее, но нет, не на площадку, к выходу. Это всего три шага. Уцепившись за поручни, спускается на самую нижнюю ступеньку. Присел, оторвался одной ногой и рукой, сейчас прыгнет.

Бешено несется на него каменистое полотно, пикетные столбы. В беспорядке разбросаны шпалы, подвезенные для ремонта. Нет, прыгать страшно. Разогнул колено, встал на подножку обеими ногами, держится за поручни.

В багажном вагоне подтаскивают к двери домашние вещи.

— Еще вот это сюда,— показывает старичок девушке на дет-

скую коляску с биркой.— Красивая штука! Агу-сеньки,— наклоняется он над коляской, будто там ребенок.

...Соседний вагон спит. Из купе высунулась заспанная встревоженная физиономия:

— Сортировку не проехали?

— Я ведь вам сказала, разбужу. Спите спокойно,— отвечает проводница, подметающая коридор.

...Начальник отделения в белье у телефона.

— Задержите все четные поезда. Те, что на перегонах, гоните быстрее на станции и разъезды. Освобождайте весь главный ход.

Нажимает пальцем телефонный рычаг и тут же спускает его.

— Дежурного по управлению дороги!.. Разъедините!.. Разъедините, я вам приказываю!.. Работайте только со мной!

...Кабинет дежурного по управлению дорогой. Телефоны. Селектор. Зеленое сукно. Человек с большими звездами в петлицах говорит в трубку:

— Санитарный давайте вслед экспрессу. Поднимите весь отдыхающий медперсонал и посылайте туда же на автомотрисе. Восстановительный поезд гоните через Каплино...

...Экспресс. Служебное отделение вагона. Несколько железнодорожников, среди которых связистка.

— Хорошо идет, сукин сын,— замечает один из них, выглянув в окно.

— На то и экспресс,— говорит второй.

— А невыгодно им на пассажирских,— рассуждает сосед.— На грузовых сейчас такое творится... Взял сотню, другую тонн лишних или скорость побольше держи, вот и перевыполнение плана. А у нас что? За превышение скорости — взыскание. Лишних вагонов тоже не нацепляешь,— смеется он.— И как им план перевыполнять?

Весь экспресс спит. Окна закрыты, занавески задернуты. Олечка дремлет. Мать, лежа с ней, похлопывает ее по спине, тихо напевает:

За окном свет и тень,
Окна полосаты...
Спи и знай:
Лучший день —
Это только завтра.
Будем завтра играть
В наших космонавтов!
А сейчас надо спать:
Завтра — это завтра [1].

Олечка открывает глаза, говорит:

— Завтра папа встретит нас, я спрячусь, а ты скажи, что я умерла.

[1] Слова Владимира Торопыгина.

— Фу, глупая,— возмущается мать.

На носочках расходятся преферансисты.

— С червей надо было ходить,— горячо шепчет юноша,— он ведь без двух сидел...

— А я ему по трефям, по трефям, хе-хе-хе,— хихикает старичок.

Двое шепотом набрасываются на него:

— Уж вы бы молчали!

— Всю игру портили.

Старичок умолкает, но не обижается. Он и сам чувствует себя виноватым.

...Пути на перегоне. Темные силуэты людей. Они бегут, укладывая на рельсы петарды.

Рельсы резко уходят вправо. Далеко-далеко впереди видны огни нефтеналивного. Оттуда беспрерывно гудки тревоги: длинный — три коротких, длинный — три коротких...

Несется экспресс. Люди на путях отпрянули в стороны. Со страшным грохотом рвутся под колесами петарды. Несутся гудки.

...Майор милиции в служебном кабинете. Говорит по телефону:

— Нет, оставьте только постовых!.. Да... Наш вагон прицепят к автомотрисе с медперсоналом... Зачем? Никакого оружия...

...Служебный кабинет. Черный кожаный диван. Стеклянный шкаф. За столом человек в белом халате. Говорит в телефонную трубку:

— Первая и четвертая больницы предупреждены...

Рабочий кабинет в квартире. У телефона женщина лет сорока пяти. Из-за неплотно прикрытых дверей доносится веселый шум. За длинным столом поднимают бокалы.

— Нет, это не обком, это частная квартира,— спокойно говорит женщина.— Да, квартира секретаря обкома Жорова, но его нет... Не знаю, товарищ, давно должен был прийти.— Кладет трубку, садится. По щекам текут слезы.

Дожевывая пищу, из соседней комнаты со смехом вбегает человек лет пятидесяти:

— Это Петр звонил?

— Нет,— грустно качает она головой.

— Вы что, Вера Васильевна? — увидел он слезы.

— Не могу я больше, Леонид Андреевич. У нас свадьбы не было, шахта тогда в прорыве находилась. Мне так хотелось хоть серебряную справить. Хотелось в белом платье побыть. Собрали гостей, а бюро горкома в два часа ночи закончилось... Пришел домой, когда я уже посуду перемыла... Ну, пусть... Но сегодня, на свадьбу единственной дочери... Мне стыдно смотреть в глаза Васе и его родителям. Они ведь не верят. Думают — гордыня, секретарь обкома...

Открывается дверь из прихожей, на пороге — Жоров.

— Ну, ты и подлец, Петя! — набрасывается на него Леонид Андреевич.

Вошедший сразу понял обстановку, быстро подошел к жене, у которой снова показались слезы.

— Не надо, Верочка,— говорит он, целуя ее.— Не надо родная. Поверь, не мог... Еще ведь не очень поздно. Зато целые сутки никуда из дому не уйду и телефон выключу.

Женщина успокаивается.

— Переодевайся быстрее.— Она берет под руку Леонида Андреевича и возвращается к гостям.

Звонит телефон. Жоров неприязненно смотрит на аппарат. Потом на дверь, за которой скрылась жена.

Телефон звонит.

Посмотрел на часы, поднял трубку:

— Слушаю... Да...

...Застекленная вышка на большом аэродроме. За столами несколько офицеров в летной форме. Телефонный звонок.

— Дежурный по части майор Саблин слушает!

— Говорит секретарь обкома Жоров...

— Слушаю! — отвечает майор, плотнее прижимая трубку к уху.— Ясно... Поднимаю санитарные машины... Понял. Вертолет для вас посылаю на городскую площадку... Будет через семь минут...

Машинист Шумилов видит огни экспресса, несущегося на него, резко толкает регулятор. Но это уже от бессилия: регулятор давно открыт полностью, рукоятка не поддается.

Над полотном летят три вертолета с красными крестами. В кабине переднего — врач и медсестра в белых халатах. Они смотрят из окон вниз. Отчетливо видны два поезда, взрывоопасный, идущий вагонами вперед и догоняющий его экспресс. Быстро сокращается между ними расстояние. На паровозе экспресса по площадке ползет человек. С противоположной стороны, уцепившись за поручни, стоит на ступеньках второй человек.

...Несется вспомогательный поезд из четырех специальных вагонов. На открытой платформе небольшой кран, тяги, мотки проволоки, запасные части паровоза.

...Мчится санитарный поезд. Вагоны пустые. В операционном вагоне люди в белых халатах готовят инструмент.

...Здание больницы. Одна за другой выходят машины «скорой помощи».

Кружат вертолеты. Смотрят вниз люди. Очень быстро сокращается расстояние между поездами. Хвостовые вагоны взрывоопасного уже влетели на станцию. У входной стрелки два человека. На платформе люди с красными фонарями описывают огненные круги — сигнал безоговорочной остановки.

...Смотрят из вертолета.

Резко, едва не перевернувшись, цистерны свернули на боковой путь. Они несутся, извиваясь у стрелки.

Экспресс догоняет. Остались метры...

Рушится, оглушает сигнал тревоги.

Машинист взрывоопасного бросил рукоятку сигнала, уперся ногами, уцепился за раму.

Наклонившись, стрелочник держит рычаг стрелки. Между паровозами один метр. В это мгновение стрелочник рванул рычаг. Он успел перевести стрелку.

С вертолета видно: экспресс несется рядом с нефтеналивным.

...С боковой площадки паровоза на переднюю спускаются четыре почти отвесные узенькие ступеньки. Паровоз бросало из стороны в сторону, и они вырывались из слабых и липких рук Дубравина. Он свалился на переднюю площадку и подполз к самому краю. Лежа на груди, свесив руки, нащупал концевой кран.

Двести семьдесят шесть тормозных колодок впились в колеса паровоза и вагонов. Шипя и искрясь, поезд встал на выходных стрелках станции Матово.

Ночь кончалась.

Гулкие шаги на левой площадке отвлекли Дубравина от путающихся мыслей. Шаги затихли совсем рядом. Поднять голову было трудно, но он услышал знакомый голос:

— Ты здесь, Виктор?

Он не поверил. Он оторвал голову от железной плиты, тяжело уперся черными руками в холодный металл и посмотрел вверх.

Перед ним стоял Владимир Чеботарев.

Дубравин сказал:

— Да, я здесь.

Через несколько минут в спящих вагонах раздался тревожный голос радиста:

— Товарищи пассажиры! Товарищи пассажиры! Если среди вас есть врач, просим его срочно прибыть к паровозу. Повторяю...

Голос был взволнованный, напряженный. Восемьсот человек проснулись, заговорили, полезли к окнам. Повеяло военным временем. Никто не знал, что делать.

Точно ветром подняло спортсменов. Они побежали к паровозу первыми.

— Может быть, йод нужен,— неуверенно спросила пожилая женщина, та, что была всем недовольна.— У меня есть йод...— И словно убедившись в правильности своей мысли, выкрикнула: — Что же вы стоите, мужчины. Скорее отнесите йод!

Будто выполняя приказ, капитан танковых войск унесся с пузырьком йода. И вдруг люди стали рыться в корзиночках, сумках, чемоданах. Не сговариваясь, несли бинт, вату, какие-то пилюли, порошки. Мать Олечки вынесла термос с горячей водой. Появился и термос с холодной водой. Пассажир, напоминающий

плакатного лесоруба, не раздумывая, вывалил на полку содержимое чемодана, на котором играли в преферанс, и удивительно проворно уложил туда все собранное. Он побежал к выходу вместе с чернявым юношей.

Шумно хлынул к паровозу народ. Совершенно растерянные, торопились Андрей и Валя. Невесть откуда уже все знали, что в эту трудную минуту струсил и спрятался в безопасном месте помощник машиниста, который легко мог остановить поезд.

Чем ближе подходили, тем тише становился говор. В безмолвии остановились. С паровозной площадки раздался тихий голос:

— Товарищи! Тяжело ранен машинист. Он обожжен паром...

Человек огляделся вокруг и продолжал:

— Такое большое скопление людей на путях опасно. Оно может задержать движение встречных поездов и эвакуацию машиниста. Не исключены несчастные случаи. Ваш долг сейчас, товарищи,— вернуться в вагоны.

Молча попятилась, отступила, пошла назад толпа. Ни один человек не ослушался. Возле паровоза осталась только сгорбленная фигура помощника.

— Смотри! — вскрикнула Валя, показывая на него.

Андрей обернулся. Чеботарев не видел их. Он стоял, понурив голову, вытирая ветошью руки.

На запасном пути остановился санитарный поезд. На маленькой вокзальной площади сел вертолет.

Из-за паровоза показались носилки с Дубравиным.

Позади них — старичок, тот, что играл в преферанс. Но теперь его не узнать. Сильное, волевое лицо, энергичные глаза. Какая-то сила во всей его фигуре.

Здание больницы. У крыльца — толпа. Она увеличивается.

Кабинет в больнице. За столом сидит старик преферансист в белом халате. Вокруг него, с величайшим благоговением на лицах, стоят врачи. Женщина приготовилась писать. Старик говорит:

— Так... Пишите...

Открылась дверь.

— Павел Алексеевич,— сказал вошедший врач,— тут люди пришли, предлагают свою кожу и кровь, чтобы спасти Дубравина. Что им сказать?

— Скажите,,, Я сам скажу... Пишите,— снова обращается он к женщине: — Лондон... Так?.. Президиуму международного конгресса хирургов... Написали? Независящим обстоятельствам присутствовать конгрессе не могу. Написали? Не могу,— повторил он убежденно.— Точка. Свой доклад высылаю нарочным. Все. Моя подпись...

Скопление людей у больницы.

На крыльце появился Павел Алексеевич. Медленно и как-то растроганно говорит:

— Я — старый фронтовой хирург и ученый...— он умолк, не то подбирая слова, чтобы высказать свою мысль, не то не зная, что сказать дальше.— По всем законам медицины...— он медленно развел руки и беспомощно опустил их.— Но по всем законам физики и механики,— продолжал он,— по всем законам человеческой логики он не мог остановить поезд. Но он остановил...

Вот так же мы будем бороться за его жизнь.

1960—1969 годы

ЭХО ВОЙНЫ

Гурам Урушадзе окончательно рассорился с Валей. Во всем виновата она. Одна она. Себя он ни в чем упрекнуть не мог. И чем больше в его глазах вырастала вина Вали, тем острее он чувствовал необходимость обвинить ее еще в чем-нибудь, словно кто-то более убедительно возражал ему.

Они давно решили свою судьбу. Их дружба так окрепла, что решение пришло само по себе. Он даже предложения ей не делал. Все было ясно. Они подолгу мечтали о том, как сразу же после его демобилизации поедут к нему на родину, в Ланчхути, строили планы будущей жизни.

В Ланчхути их ждет отец. Он выделил две лучшие комнаты с кухней и запретил Нази и Давиду заходить туда: это для Гурама и его будущей жены. Добрый старый отец! Ему не понравились кровати в мебельном магазине Ланчхути, и он специально тащился за ними в Батуми.

И вот окончились три года службы. Послезавтра наступит день, о котором они столько мечтали. И кто мог подумать, что именно теперь она заупрямится. Появился тон, какого раньше не было: «Пока не поженимся, никуда не поеду». Но почему это делать сейчас, в горячке отъезда? Ему надо получать в штабе все необходимые документы, она будет брать расчет, бегать в контору, в домоуправление за всякими справками, и среди этой беготни — загс и еще одна бумажка, будто багажная квитанция. К чему эта спешка?

Гурам шел от Валиного дома в казарму, и в мыслях всплывала их совсем неожиданная ссора. Особенно возмутилась Валя после того, как он сказал, что должен сначала познакомить ее. с отцом, а потом расписываться.

— Так что же это, смотрины? — вскипела она.— Ведь мы комсомольцы, как тебе не стыдно?

— А ты не бросайся этим словом,— разгорячился и он.— Это когда-то находились такие умники: комсомолец — значит, долой все старое, даже хорошее. Комсомолец — значит, не носи галстука, комсомолка — не надевай кольцо, комсомольцы — значит, не надо советоваться с родителями. А почему?

Потом он старался спокойно все объяснить. Ну почему в самом деле надо лишать старого отца радости сказать свое родительское слово, лишить его возможности преподнести традиционный предсвадебный подарок?

— А если я ему не понравлюсь? — горячилась Валя.

— Ты опять требуешь комплиментов. Ты ему обязательно понравишься. А во-вторых, не думай, что отец — отсталый человек. Он, правда, стар, но ведь уже сорок лет Советской власти...

— При чем здесь власть,— все более раздражаясь, перебила она.

— Очень при чем. Некоторые, наслушавшись разных сказок, видят в Грузии только древность, чуть ли не дикость...

— А женитьба по воле отца,— это как называется?

— Не по воле отца, пойми же ты! Если я приведу в дом жену, он ни за что не скажет «нет».

— Значит, пустая формальность?

— Нет, не формальность, и не пустая,— разозлился Гурам.— Отец — это отец. Он вырастил и воспитал меня. Почему я должен обидеть старого и дорогого для меня человека? Если рассуждать по-твоему, значит, все формальность. А загс разве не формальность? Разве крепче будет жизнь от того, что конторщица поставит рядом наши фамилии?

— Но ведь так все делают.

— Это же не довод. Если человек нехорошо поступит с женой, перед загсовской бумажкой он не покраснеет, а перед отцом стыдно будет. Но пусть, в конце концов, формальность, такая же, как и загс. И я за то, чтобы обе эти формальности выполнить.

— Да, но ты ставишь ультиматум — сначала отец, потом загс.

— Не ультиматум это. Просто твое непонятное упрямство. И вообще, я хочу тебе сказать, я еще до армии заметил, есть у нас люди, которые действуют по принципу: найти хоть какую-нибудь возможность не выполнить просьбу человека, не сделать ему приятное. Попросишь у продавца монетку разменять для автомата — у него целая гора мелочи. «Нет, говорит, нету». И вот на такой чепухе мы озлобляем друг друга.

— О чем ты говоришь, я не понимаю.

— О том, что, если можно не огорчать отца, сделать ему приятное, значит, надо сделать. Меня удивляет, почему ты не предлагаешь к твоей маме в деревню съездить, это же совсем рядом. Представляешь, как она будет рада, если до замужества ты ее совета спросишь! Нет, не в том самостоятельность, чтобы как снег на голову: знакомься, мама, это мой муж. Что-то очень обидное для родителей в этом.

— Ты совсем о другом говоришь, Гурам,— начала Валя примирительно.— Пойми же, что мне стыдно. Еду в совсем незнакомое место, в чужой город. Ну в качестве кого я еду? Жена? Нет. Невеста? Тоже нет. Невесты не ездят сразу с кастрюльками и подушками. Просто знакомая... Не поеду,— решительно и даже зло закончила она.

— Ну и не надо! — не выдержал Гурам.

— Ах, вон как! Тогда уходи отсюда! — совсем уже вне себя выкрикнула она.

Хлопнув дверью, Гурам ушел, не сказав больше ни слова.

Грустные мысли одолевали Гурама Урушадзе. Он шел в казарму и злился. Резкий автомобильный гудок заставил его отскочить в сторону. Одна за другой пронеслись зеленые машины

военного коменданта Курска Бугаева и полковника Диасамидзе. И уже совсем на немыслимой скорости пролетела машина председателя Курского горсовета.

«Это неспроста»,— подумал Гурам, отвлекаясь от своих грустных мыслей. Он остановился возле группы людей, горячо о чем-то споривших. Оказывается, у железнодорожного переезда близ гипсового завода кто-то заложил мину и снаряд. Одни утверждали, что это все чепуха и ложная паника, другие — будто это вражеская вылазка перед праздником — до сороковой годовщины Октября оставалось всего три недели.

Вездесущие и всезнающие мальчишки авторитетно заявляли, что найден не один снаряд, а десять, и даже не десять, а пятьдесят три.

Гурам послушал болтовню ребят и побрел дальше.

До казармы было далеко. Он вполне мог сесть на трамвай или автобус, но шел пешком. Незаметно для себя начал шагать размашисто и упрямо, со злостью сбивая с дороги случайные камешки.

Мимо неслась колонна милиционеров на мотоциклах. В том же направлении быстрым шагом проследовал усиленный наряд военных патрулей.

«Все же что-то случилось»,— подумал Урушадзе, но тут же снова вернулся к своим мыслям.

В казарму Гурам пришел перед самым ужином, когда собирается вся рота. А ему никого не хотелось видеть. В последние дни, где бы он ни появлялся, говорили только о нем. О нем и о Вале. Над ним подтрунивали, а он только посмеивался. В шутках товарищей он не видел насмешки. Наоборот, эти шутки под внешней грубоватой формой не могли скрыть, а лишь подчеркивали теплые солдатские чувства к нему и к Вале. В них выражалась и полная поддержка его решения уехать вместе с ней.

Эту маленькую, хрупкую девушку, почти девочку, с наивными голубыми глазами, знали и уважали все друзья Гурама. На первых порах она стеснялась их и, здороваясь, казалось, с испугом протягивала свою тоненькую руку, которая едва могла обнять широкую солдатскую ладонь. Постепенно она привыкла к этим веселым здоровякам и, несмотря на свою стеснительность, великолепно чувствовала себя среди них. В шутку она даже отдавала им команды.

— Рядовой Маргишвили! — строго говорила она.— Срочно подайте мне сумку. А вы, младший сержант, доложите, все ли готовы к маршу в кино.

— Слушаюсь! Так точно! — следовали четкие ответы, и ребята вытягивались по стойке «смирно».

Солдатам приятно было слушать ее, выполнять маленькие бесхитростные капризы. И только в одном не признавали они ее власти: они не разрешали Гураму «эксплуатировать» ее труд.

Впервые протест против «эксплуатации» Вали поднялся,

когда однажды целой гурьбой они зашли за ней по дороге в кино. Вале не понравилось, как подшит у Гурама подворотничок. Взяв иголку с ниткой, она скомандовала: «Ну-ка, расстегивай ворот!» С довольной улыбкой Гурам выполнил приказ. Но поднялся вдруг со своего места младший сержант Иван Махалов.

Русый паренек из-под Воронежа, с ямочками на щеках, спортсмен-разрядник Махалов был любимцем товарищей и начальников. Он командовал отделением, и все уважали его за мягкий нрав, за большую физическую силу и ловкость, за глубокие знания военного дела, а главное — за то, что он не зазнавался. Он как бы стеснялся своих прав и преимуществ перед товарищами.

Он никогда не кричал на людей. Его приказания звучали четко, по-военному. Но тут же появлялись ямочки, он улыбался, точно извиняясь за свой такой тон.

Может быть, потому и удивила всех его шутка в тот вечер у Вали. Встав между нею и Гурамом, он совершенно серьезным и строгим тоном заявил:

— Властью командира отделения запрещаю вам, рядовой Урушадзе, эксплуатировать детский труд.

— Она же портниха,— пытался оправдаться Гурам,— это ее профессия.

— Понимаешь, Гурам,— сказал с сильным и приятным грузинским акцентом Дмитрий Маргишвили,— твоя шея по диаметру как раз заводская труба возле фундамента. Пришить тебе подворотничок — дневная норма передовика производства.

Первой прыснула от смеха Валя. В тот вечер ей так и не дали поухаживать за Гурамом.

Спустя несколько дней солдаты заметили у него подозрительно белоснежный носовой платок.

— Еще раз увижу,— сказал Махалов,— отберу. Не заставляй Валю работать. Думаешь, мы не знаем, кто тебе вчера гимнастерку нагладил!

Перед демобилизацией Гурама все отделение хлопотало вокруг него и Вали. Каждый считал своим долгом дать нужный совет. Втайне от «молодых» собирали деньги для проводов и на подарок Вале. Чего бы ей хотелось, выспрашивали у Гурама, и делали это неловко, так что Гурам сразу понял, в чем дело. И затея друзей была ему приятна.

Что же сказать им сейчас?

Первым обратился к нему Камил Хакимов.

— Валя уже взяла расчет? — спросил он.

— Не твое дело! — грубо обрезал Гурам.

И все, кто был рядом, насторожились. Добродушный весельчак Хакимов растерялся.

Такой ответ глубоко оскорбил людей. Валя была их общей маленькой радостью. Никто не завидовал Гураму, товарищи признавали его «права» и всеми силами старались помочь им

обоим, если требовалась помощь. Маленькие заботы о Вале доставляли им удовольствие. Им приятно было, когда Вале хорошо. Случалось даже, что они ухитрялись брать на себя работу Гурама, чтобы он мог пойти к ней. А вечером, когда он возвращался, с улыбками спрашивали: «Ну, как? Удивилась Валя, что ты пришел? Обрадовалась? А ты сказал, что в это время я за тебя казарму мыл?»

И Гурам всегда охотно рассказывал товарищам, как встретила его Валя, что нового у нее на работе, передавал от нее приветы.

Грубый ответ Гурама удивил и Дмитрия Маргишвили. Но, как и всегда в напряженную минуту, он попытался шуткой разрядить атмосферу. Зная привязанность Вали к Гураму, Дмитрий насмешливо заметил:

— Валя не хочет с ним ехать.

— Кто тебе сказал? — поразился Гурам.

— Сама сказала. Она дожидаться будет меня.

— Не смеешь так про Валю говорить даже в шутку! — закричал Гурам.— Понял?

* * *

Для командира роты капитана Леонида Горелика сороковой Октябрь был особым праздником. Он наконец получил приказ о зачислении на специальные курсы, о которых давно мечтал. Но главное, в семье ждали второго ребенка, и Леонид радовался, что в родильный дом Поля поедет уже из новой квартиры, которую ему предоставляют к годовщине в только что отстроенном корпусе. И хотя праздник предстояло встретить не вместе с женой и друзьями, настроение было хорошим.

Полина просила оттянуть отъезд на трое суток, чтобы хоть в этом году отметить день рождения мужа. Вот уже третий год, как из-за командировок и заданий они не могут провести этот день вместе.

Он попрощался с товарищами, съездил на вокзал за билетом и вернулся домой в полной готовности.

Офицерские сборы коротки. А вот Полина долго укладывала чемодан, объясняя, где что лежит, просила чаще отдавать в стирку белье, не занашивать его.

— Ухаживать там за тобой некому будет,— говорила она,— поэтому не разбрасывай все по комнате, как дома, клади вещи на место, чемодан не перерывай, и все необходимое будет у тебя всегда под рукой.

— Да, да, конечно,— пряча улыбку, говорил Леонид,— не беспокойся.

Каждый раз, когда он уезжал в командировку, а они были очень частыми, он слышал подобные наставления жены, охотно соглашался с ними, но стоило ему хоть раз полезть в чемодан, как там воцарялся хаос. Зато перед возвращением домой он тщательно упаковывал свои пожитки, стараясь вспомнить, как

они были уложены Полиной, и она видела, что он точно соблюдает ее наставления.

Поезд в Москву уходил в час сорок ночи, и у Леонида оставалось еще много свободного времени. Пока Полина готовила его к отъезду, он возился с пятилетним сыном Борькой, довольно сложно объясняя ему предстоящее появление брата или сестры. Борька никак не мог взять в толк, почему до сих пор не известно, будет это брат или сестра. Он слушал не очень ясные объяснения отца, сопел, хмурился и, так ничего и не поняв, солидно заключил:

— Никого не надо.

Это искренне огорчило Леонида. Отношения у него с сыном складывались очень хорошо. По всем вопросам они находили общий язык и пользовались друг у друга авторитетом.

Известно, что с ребенком надо говорить не сюсюкая, на равных началах, ни в коем случае не уязвляя его самолюбия. Эту истину Леонид воспринимал не как воспитательную меру, а как самое жизнь. Он всерьез обсуждал с Борькой различные проблемы, часто соглашался с ним, порой возражал горячо или спокойно, но всегда объективно подходил к делу.

Покончив со сложной темой, досадуя на себя за неумение толком объяснить предстоящее появление нового члена семьи, Леонид попросил сына показать сегодняшние рисунки. Для своих пяти лет Борька рисовал вполне прилично. Занятие это он любил, и каждый день появлялось значительное количество новых полотен. На этот раз Борька показал сюжетную группу из трех танков, на которых стояли три солдата. Кроме автоматов, они были вооружены мечами и щитами.

Леонид внимательно посмотрел на рисунок сначала вблизи, потом отставив руку, как бы оценивая общую композицию, и серьезно заметил:

— Понимаешь, Борис, почти все хорошо. Но ведь это советские солдаты, а щитов и мечей Советская Армия на вооружении не имеет.

— Так они же богатыри! — удивился Борька.— Ты сам говорил.

Довод был веским, но не успел Леонид подумать над ответом, как в дверь постучали.

Вошел помощник дежурного по штабу части младший сержант Иван Махалов и доложил:

— Полковник Днасамидзе приказал вам явиться к нему завтра утром в семь ноль-ноль.

Полина с тревогой взглянула на мужа.

— Хорошо, Махалов, можете идти,— сказал капитан, стараясь скрыть от жены свое удивление.

— Что же это, Леня? — спросила она, пожимая плечами, когда Махалов ушел.— Ты позвони полковнику, скажи, что поезд скоро уходит. Он, наверное, забыл о твоем отъезде.

— Неудобно, Поля, он уже спит, ему вставать рано.

— Так что же будет?

— Завтра уеду, какая разница! С вами еще денек проведу,— улыбнулся он и, помолчав немного, добавил: — Придется сходить на вокзал сдать билет.

Накинув шинель, он быстро вышел.

Горелик хорошо знал, что полковник ложится поздно и, конечно, сейчас еще не спит. Но он хорошо знал и самого полковника. Без крайней нужды тот ни за что не задержал бы командировку. А может быть, совсем отменили приказ о его учебе? Нет, тогда бы он не вызывал так рано. Значит, что-то случилось. Забыть об отъезде полковник не мог. Сегодня они тепло попрощались, Диасамидзе пожелал ему отличной учебы, велел не беспокоиться о Полине, обещал, что ей будет оказана всяческая помощь. Тут же дал указание поместить Борьку в детский сад, как только Полина об этом попросит. Что же могло случится?

Незаметно капитан дошел до железнодорожного переезда и наткнулся на оцепление.

— Проход закрыт, товарищ капитан,— сообщил сержант милиции и объяснил, как пройти к вокзалу.

— Так это же наш капитан! — с укором сказал старшина Тюрин, вынырнувший откуда-то из темноты.

— Вижу, что капитан, но проход все же закрыт,— резонно заметил милиционер.

Этот ответ еще более удивил Тюрина. Он был старшиной в роте Горелика, и его люди сейчас тоже стояли в оцеплении. Ему казалось противоестественным, что милиционер задерживает командира, человека, чьи подчиненные стоят здесь, на посту, тем более такого человека, как капитан Горелик.

Михаил Тюрин, старшина сверхсрочной службы, находился в армии пятнадцатый год. Это один из тех людей, на которых держалась рота. Кроме богатого опыта и знаний, он обладал еще врожденной жилкой хозяйственника.

Каким-то чутьем угадывал, когда и где ему надо появиться, чтобы навести порядок. Он никогда ничего не забывал сделать или отдать нужное распоряжение, в затруднительных случаях первым находил правильное решение. Эти решения, казалось, были у него заготовлены на все случаи жизни: помогал огромный армейский опыт.

Он умел приказывать так, чтобы не обидеть человека, не умалить его достоинства.

Своего командира капитана Горелика он уважал за те же качества, которыми обладал сам. Тюрин и не подозревал, что за четыре года их совместной службы эти качества он заимствовал именно у капитана.

И вот сейчас старшина был глубоко уязвлен: его командира не пропускают к подчиненным. Вскоре недоразумение выяснилось, и капитан прошел за оцепление.

Тут же Тюрин рассказал, что случилось. А произошло следующее.

Курск, как и другие советские города, вел большое строительство. Возникла необходимость проложить новую высоковольтную линию. Она должна была пройти через густо населенный район и, естественно, ее решили вести под землей. Для этой линии и рыл траншею экскаваторщик Николай Семенович Шергунов.

Восемнадцать лет было пулеметчику Николаю Шергунову, когда его тяжело ранило на Одере.

После окончания войны Николай стал строителем. Он рыл котлованы под фундаменты заводских корпусов и жилых домов...

...Взметнулся очередной ковш земли и застыл в воздухе. Стена траншеи немного осыпалась, и странным показался Шергунову пласт грунта в образовавшейся нише. Но времени терять не хотелось. Да и какая ему разница, что там за грунт. Следующим «заходом» он подденет эту черную массу, и тогда все станет видно. Шергунов снова взялся за рычаги, чтобы отвести в сторону и опрокинуть ковш. Но взгляд опять уперся в черное пятно.

А может быть, это остатки древней посуды? Ведь нашли же недавно какие-то черепки, представляющие большую историческую ценность.

Шергунов выключил мотор и спустился в траншею. В стене лежали снаряды, как чертежные принадлежности в готовальне.

Вот тебе и черепки!

Снаряды были небольшого калибра, одинаковой формы. Шергунов решил, что во время войны здесь стояло орудие и боеприпасы к нему так и остались в окопе, который постепенно засыпало.

Бывший сержант Советской Армии, он хорошо знал, что такое снаряд, пролежавший в земле годы. Аккуратно расчистив пальцем песок, он бережно вынул снаряд, за которым обнаружилась страшная пирамида из боеприпасов.

Поминутно оборачиваясь, чтобы никто не подошел к опасному месту, Шергунов побежал в контору гипсового завода. Через две-три минуты у траншеи уже был директор завода С. Выменец, а спустя еще несколько минут и военный комендант города Г. Бугаев, который сразу же поставил оцепление.

На место происшествия прибыли исполняющий обязанности начальника Курского гарнизона Герой Советского Союза полковник Диасамидзе, полковник милиции Кирьянов, военный инженер, руководители Кировского района и города.

После первого предварительного осмотра стало ясно, что яма представляет большую опасность. Быстро определить, что в ней скрыто, не представлялось возможным.

Полковник Диасамидзе приказал расширить запретную зону. В нее вошли теперь три улицы.

Слух о снарядах разнесся по всему Кировскому району города.

Даже люди, не склонные верить слухам, поняли, что на этот раз за ними действительно что-то кроется.

На предприятиях, в магазинах, трамваях только и говорили, что о снарядах. Эта тема вытеснила все остальные и испортила предпраздничное настроение, посеяла тревогу.

Руководители города видели, что надо успокоить население, но не знали, как это сделать: нависшая опасность превосходила даже худшие предположения.

В кабинете директора гипсового завода собрались партийные и советские работники, директора нескольких предприятий, прилегающих к заводу, представители железнодорожного узла. На их тревожные вопросы полковник Диасамидзе отвечал: пока его люди не разведают, что и как спрятано под землей, ничего сказать нельзя. А в наступающей темноте разрешить разведку он не может.

Дав указание о первейших мерах предосторожности, он попросил всех, кроме военного коменданта и двух военных специалистов, оставить кабинет. Они обсудили создавшееся положение, наметили план завтрашних действий. Полковник отправился в штаб, чтобы связаться с командующим Воронежским военным округом.

* * *

Капитану Горелику стало ясно, почему задержан отъезд на учебу. Люди его стрелковой роты, пройдя специальную подготовку, последние три года извлекают оставшиеся от гитлеровцев боеприпасы в Орловской, Курской и Белгородской областях. Отличные пулеметчики Голубенко, Махалов, Урушадзе, снайпер Маргишвили, не говоря уже о старшине Тюрине, да и многие другие солдаты стали мастерами саперного дела. Им приходилось обезвреживать неразорвавшиеся бомбы, убирать с колхозных полей противотанковые и противопехотные мины, вывозить снаряды. Более шестидесяти тысяч взрывоопасных предметов обезвредила рота.

Значит, не исключена возможность, что обезвредить подземный склад поручат его роте.

— Доложите старшему лейтенанту Поротикову и лейтенанту Иващенко, что я просил их утром никуда не отлучаться,— сказал капитан Тюрину, собираясь уходить.— Голубенко и Махалова освободите от очередного наряда. Они тоже могут понадобиться.

— А Урушадзе? — спросил Тюрин.— У него ведь особое чутье на взрывчатку.

Капитан задумался.

— Нет, Тюрин, не надо. Что же мы будем подвергать его риску за день до увольнения. Человек уже свое отслужил. Он когда едет?

— Послезавтра, товарищ капитан.

— Ну и пусть едет... А девушку берет с собой?

— Говорил, что забирает.

Дома на тревожный вопрос жены Леонид улыбнулся и, махнув рукой, сказал:

— Ничего особенного, одно задание надо выполнить, придется задержаться дня на три-четыре.

Полина давно привыкла и к ночным вызовам мужа, и к срочным заданиям, к неожиданным отъездам или приездам. Ничего особенного не увидела она и в этой задержке. Наоборот, даже обрадовалась.

— Вот здорово, значит, справим, наконец, твой день рождения,— сказала Полина.

— Что ты, Поля? — растерялся он.— Ты в таком состоянии, разве можно? Мне ведь по магазинам некогда бегать...

— Можно подумать, что всю работу в доме выполняешь ты,— насмешливо заметила она.

— Да... но одно дело только наша семья, а...

— Обойдусь без тебя, Леня,— добродушно сказала Полина,— мне это только на пользу.

Тогда он решил совершить «подкоп» с другой стороны.

— Понимаешь, Поля,— начал он снова,— мне в эти дни придется своротить гору дел. Приду поздно, усталый, а утром опять рано вставать...

— Не морочь голову, Леня... Чай пить будешь?

Единственное, что ему удалось «выторговать», это обещание не собирать много гостей.

* * *

Валя сидела съежившись у окна, кусая губы, совсем беспомощная, и изо всех сил сдерживала слезы. И в своем горе она отыскала маленькую радость: она нашла в себе силы не плакать.

Она ни о чем не думала. Когда они познакомились, ей едва исполнилось шестнадцать лет. И знакомство такое странное. Сильный и смелый Гурам расшвырял в городском саду хулиганов, которые привязались к ней и Тамаре. Он проводил их домой и сказал обидные слова: «Таким маленьким нельзя поздно гулять».

«Он как сказочный богатырь»,— мечтательно заметила Тамара.

Всплывали в памяти его рассказы о Грузии, о море, которого она никогда не видела, о Ланчхути, где с его слов знала чуть ли не каждый дом.

— Не взял? — участливо спросила хозяйка, появившись на пороге.— Известное дело — солдат. С него взятки гладки. Наобещает, своего добьется, и — ищи ветра в поле.

— Что вы говорите, тетя Надя, ведь у нас ничего не было,— в ужасе зашептала Валя.

— Охо-хо! — вздохнула хозяйка и вышла.

Не поверила. Так вот, значит, как оборачивается. Теперь все так подумают. Никто не поверит. Люди знали, что два года вместе были. И на работе все знали. Так и пойдет слава: брошенная

солдатом. Да не все ли теперь равно? Бог с ними, пусть думают что хотят. И чего они к солдатам придираются. Пойдет девушка с этими попугаями, что по проспекту болтаются, никто дурного слова не скажет. А форма глаза колет. Да эти «красавчики» все, вместе взятые, подметки солдатской не стоят.

Она поднялась, поправила волосы, умылась.

Жизнь Вали складывалась не легко и не просто. Окончив четыре класса, она уехала из родной деревни Плоты в Курск к старшей сестре, чтобы продолжать учебу. Сестра тоже училась, и их отец, председатель колхоза Василий Верютин, посылал дочерям деньги на жизнь. В пятьдесят втором году он умер. Вскоре, выйдя замуж, уехала сестра. Валя продолжала учиться, бережно тратя деньги, что присылала мать. Девушка не могла теперь позволить себе жить в отдельной комнате и поселилась вместе с одинокой женщиной, тетей Надей.

После восьмого класса Валя уехала в деревню на каникулы. Здесь она и решила, что не имеет больше права находиться на иждивении матери. Но учебу бросать не хотелось. Пришлось поступить на работу и в школу рабочей молодежи. Так она попала в швейную мастерскую.

Жизнь Вали очень скрасила дружба с Гурамом. За год до окончания его службы им все уже было ясно, у обоих было безоблачное будущее. Чем ближе подходил срок демобилизации, тем больше говорил Гурам о том, как хорошо им будет жить. И вот до отъезда остались считанные дни. В один из вечеров, когда он ушел, у Вали как-то нехорошо стало на душе. Она не могла понять, отчего испортилось настроение. После очередной встречи горький осадок ощутился еще сильнее, и она надолго задумалась. Почему он ни словом не обмолвился о том, что надо идти в загс?

Уже давно Гурам говорит только о хозяйстве. Какой великолепный у них виноградник, какие фрукты в саду (каждая груша — восемьсот граммов. Кусать нельзя — сок все зальет, резать нельзя — сок как из крана течет), какие крупные орехи лезут в окно. Она узнала, в каком красивом месте пасется корова, сколько у них поросят, уток, кур, как давят виноград на вино, как закапывают в землю полные кувшины.

Валя не была избалована ни виноградом, ни большими сочными грушами — на это не хватало денег. И, конечно, радостно, когда такое изобилие фруктов и в доме полный достаток.

Ну хорошо, она насытится виноградом и грушами. А дальше что? Что она делать будет? Он ни словом не обмолвился о ее работе. «Будешь полной хозяйкой в саду и в доме»,— радостно сообщал он. А где она на комсомольский учет встанет? В большом доме отца Гурама?

Гурам говорит теперь только о хозяйстве.

А ей хотелось еще раз услышать, как он ее любит, хоть бы слово промолвил о ее глазах. Раньше он так искренне об этом

говорил. Может быть, объясниться? Прямо спросить? Что же, он ее больше не любит и везет домой только хозяйку, потому что мать умерла? Нет, просить о том, чтобы он говорил о ее глазах, нельзя.

Вале вспомнилось, сколько радости принесли ей четыре ромашки, которые однажды Гурам сорвал для нее в поле, где он был на учениях. Тогда ей казалось, что обрадовали ее цветы. И вскоре она попросила его снова сделать ей такой же подарок. На следующий день Гурам притащил великолепный букет, на который затратил, наверное, все свои деньги. Чтобы не стыдно было, он тщательно замаскировал покупку в газеты. Валя обрадовалась. И все-таки это было не то чувство, что она испытала, увидев четыре измятые в солдатском кармане ромашки. То был порыв сердца. Он думал о ней даже на учениях, а букет — просто выполнил просьбу. Просьбу любую можно выполнить.

Если упрекнуть Гурама, что он не говорит больше об их любви, о ее глазах, он обязательно скажет много хороших слов. Но силы в них не будет. Надо, чтобы говорить об этом хотелось самому.

Оставаться в комнате Валя больше не могла. Она вышла на улицу и, чтобы никого не встретить, направилась не к центру, а в сторону гипсового завода по хорошо знакомой дороге, ведущей в швейную мастерскую.

В восемнадцать лет трудно решать сложные жизненные вопросы. Посоветоваться бы с кем-нибудь, да кто же в таком деле даст совет. Раньше, о чем бы ни шла речь, у нее был умный и надежный советчик — Гурам. А теперь? Валя почувствовала одиночество. Слезы снова подступили к горлу.

Хорошо плакать, если тебя успокаивает сильная мужская рука. Слезы еще текут, еще всхлипываешь, а обида уже прошла, и на душе уже спокойно и радостно. И все недоразумения выяснены, они, оказывается, совсем пустячные, и еще сильнее чувствуешь, как тебя любят...

И все-таки она права. После того как он хлопнул дверью и так легко отказался от нее, она не должна о нем думать. Надо найти в себе силы перенести этот разрыв. Потом будет легче. Вся жизнь впереди.

Внимание Вали отвлекло большое скопление людей у переезда. Подойдя ближе, она увидела милицию и солдат с красными флажками, оцепивших железнодорожный переезд и гипсовый завод. Пожилой лейтенант милиции уговаривал людей разойтись, взывал к их сознанию.

— А мне домой надо! — горячился паренек в ремесленной форме.

— Я же вам объясняю, товарищ,— спокойно отвечал лейтенант,— дорога перекрыта по техническим причинам.

Люди собирались группами, оживленно говорили. К одной из них подошла Валя. И здесь она узнала, что найдены снаряды

и мины, которые должны были «взорваться в сороковую годовщину Октября». Это известие поразило ее и отвлекло от собственного горя. «Какие молодцы, что обнаружили заговор,— подумала она,— наверное, солдаты раскопали».

Валя прошла ближе к оцеплению. Здесь тоже горячо обсуждалась новость, но передавали ее совсем иначе. Снаряды действительно нашли, но никакая это не диверсия. А откуда они взялись, сейчас как раз выясняют. И опасности они особой не представляют. Район же оцеплен для того, чтобы население не мешало военным.

Валя увидела старшину Тюрина, которого хорошо знала, и рядом с ним незнакомого капитана. Но она догадалась, что это командир роты. Именно таким и представлялся он по рассказам ребят.

Она машинально стала всматриваться за линию оцепления. «Может быть, и Гурам здесь»,— мелькнула мысль. Но вокруг были только чужие лица. «Да что же это я?» — вдруг спохватилась она и быстро пошла обратно.

Домой вернулась почти совсем успокоенной. Если он мог так просто уйти, значит, не стоит он того, чтобы о нем жалеть. Сейчас главное — хорошо осознать эту мысль. Тогда легче будет все перенести. Плохого она ему не желает, потому что и сама от него плохого не видела. Значит, просто не судьба. Надо смириться.

Она уже совсем успокоилась, приготовила постель, но спать не хотелось. Вырвала из тетради лист бумаги и начала писать:

«Дорогая мама! Новостей у меня нет никаких, все по-старому. Настроение хорошее...» Слеза капнула на бумагу, и слово «хорошее» расплылось...

* * *

Работа началась на рассвете.

За спиной у Ивана Махалова — ранец, от которого тянутся два провода: один к наушникам, другой к длинному стержню, заканчивающемуся кругом. Обеими руками Иван держит стержень и водит им перед собой. Описывая большую дугу, точно коса, срезающая траву, только очень медленно, плывет круг над самой землей. Тихо и монотонно жужжит в ушах. Но вот звук становится отчетливей и неприятней, будто большая муха носится под потолком пустой комнаты. Иван настораживается. Чувства его обострены. Еще медленней плывет круг. И вот уже муха у самой барабанной перепонки. Хочется тряхнуть головой, отогнать ее.

Стоп! Именно это место под кругом таит опасность. Здесь скрыт металл. Что там спрятано, миноискатель не скажет. Может быть, под землей снаряд или мина, а возможно, просто кусок железа. Это станет ясно, когда вскроют верхний слой грунта.

Иван стоит секунду не шевелясь, вслушиваясь, радуясь добытому звуку, оценивая его, точно настройщик музыкального

инструмента. Потом кивком головы подает знак Дмитрию Маргишвили, идущему сзади, и тот осторожно втыкает в землю маленький флажок: красный треугольный флажок, с каким дети выходят на праздник.

Минеры идут дальше. Идут очень медленно. Торопиться нельзя. Надо выслушать каждый сантиметр земли. Надо уловить звук металла, лежащего под землей. Надо искать звук металла, как опытный врач ищет посторонние шумы в сердце и в легких человека. Надо точно определить, где язва, очертить границы пораженной зоны.

Когда врач ищет поврежденное место, скрытое в живом организме, он ощупывает тело человека и ждет, пока тот скажет «больно». Земля, начиненная минами, чувствительнее живого организма. Но она — немая. Она ничего не подскажет минеру. Солдат не имеет права ступить на пораженную зону. Под тонким слоем грунта может оказаться противопехотная мина. Она рассчитана на вес ребенка.

В нескольких метрах от первой пары минеров, параллельно им, идут старшина Тюрин и сержант Голубенко. За ними тоже остается красный след флажков. Флажки трепещут на ветру.

Медленно ступают люди, не замечая, как быстро летит время. И вот уже две пары минеров движутся навстречу друг другу. Уже сомкнулись флажки, образовав красивый, почти правильной формы эллипс. Он — как ограда клумбы. Его площадь шестьдесят квадратных метров. И под всей его поверхностью, под землей, металл. Что он собой представляет?

По находке экскаваторщика Шергунова можно сделать предварительный вывод: это снаряды. Возможно, они уложены только в один ряд и на них нет взрывателей, значит, и никакой опасности нет. А может быть, это глубокий колодец, заполненный боеприпасами, хитро заминированными, неизвлекаемыми, к которым нельзя прикасаться. Судя по найденным снарядам, так это и должно быть.

Если боец найдет заряженную винтовку, он без труда разрядит ее. Для каждого вида оружия есть только один способ зарядки. Для каждого, но не для мины. Мина — это всегда тайна. Как обезвредить мину, знает лишь тот, кто ее ставил. Те, кто снимает мину, должны раньше разгадать, как она уложена. Может быть, ее нельзя приподнимать с места, а на ней делай что хочешь, хоть пляши. А возможно, наоборот, она взорвется от малейшего давления сверху, но без всякого риска ее легко поднять и унести. Бывает, что мину нельзя передвигать в какую-нибудь сторону, но в какую именно — неизвестно. Бывает, что с миной вообще ничего нельзя делать, ни передвигать, ни поднимать, ни давить на нее — она не извлекаема.

К ней может быть протянута замаскированная проволочка. Чтобы обезвредить мину, надо перерезать проволочку. Но случается, что именно от этого все и взлетает на воздух. Никто не

знает, сколько существует способов минирования. Сколько минеров, столько и способов. Впрочем, куда больше. Каждый минер может придумать десятки способов закладки любой мины. Все зависит от его квалификации и фантазии.

Кстати, что такое мина, сколько типов и видов ее существует, тоже никто не знает, хотя в учебнике они перечислены. Сапер без особого труда превратит в мину любой снаряд. Да и не только снаряд. Все, что может взрываться, в руках опытного минера быстро превращается в мину.

Опытный минер страшен. Он может замаскировать мину так, что обнаружить ее почти невозможно. Включишь зажигание автомашины — взрыв. Откроешь дверь в заброшенном сараюшке — взрыв. Поднимешь с земли самопишущую ручку — останешься без пальцев. Переходя ручей, ступишь на единственную опору посередине потока — погибнешь. Но опытный минер на это ставки не делает. Он считает, что против него будет действовать такой же мастер, как и он сам. Он знает, что его мину обнаружат и будут снимать. Надо сделать так, чтобы тот, кто снимает, погиб. Уже закладывая мину, он начинает поединок с невидимым врагом.

Как шахматист должен предвидеть действия противника на много ходов вперед, в зависимости от собственного хода, так и минер, закладывая мину, должен знать, что будет делать с ней противник, предугадать ход его мыслей. В этом анализе и рождается ловушка. Ловушка, которая должна обмануть бдительность минера.

Когда вступают в поединок два летчика, перед каждым ясная картина. Мгновенно оценивается оружие врага, его опытность, видна его машина, его маневр. В поединке минеров ничего не ясно. Обнаружив очень просто заложенную мину, опытный минер никогда не станет сразу снимать ее. Эта простота может быть маскировкой, скрывающей способ минирования. И если даже неопытный человек закладывал мину и следы неопытности видны, тот, кто снимает мину, не верит им. Они тоже могут быть лишь маскировкой.

Чтобы обезвредить мину, надо провести исследовательскую работу. Но это работа не в тиши научного кабинета или лаборатории, где главное достигается экспериментом. Попробовал один способ — не получилось, можно делать другой эксперимент, третий, десятый. Здесь эксперименты недопустимы, они смертельны.

...После того как определили границы опасной зоны, было принято решение вскрывать грунт. Три группы, руководимые капитаном Гореликом и командирами взводов Поротиковым и Иващенко, приступили к делу.

Счистив лопатками только самый верхний слой земли, взялись за саперные ножи. Миллиметр за миллиметром офицеры и солдаты, лежа на земле, срезали грунт с эллипса, пока не обнажили

содержимое склада. Пересыпанные землей, точно тюленьи спины из воды, торчали десятки снарядов с ввернутыми взрывателями, готовые к действию.

Офицеры молча смотрели на открывшуюся картину.

— Ясно,— нарушил кто-то молчание.

— Ничего не ясно,— как бы самому себе сказал полковник Диасамидзе и, обращаясь к Горелику, добавил: — Надо определить глубину склада. Пока не узнаем точно, что он собой представляет, ни к одному снаряду не прикасаться.

Возле склада остались только командир роты и его подчиненные. Отступив на метр от эллипса, прорыли вокруг него траншею, а оттуда в четырех местах сделали ходы к складу. На глубине двух метров так же, как и сверху, лежали снаряды. Еще на метр углубили траншею, снова с боков подобрались к колодцу и обнаружили наконец его дно.

К месту работ пригласили Диасамидзе.

— Как вы оцениваете положение? — спросил он Горелика.

— Высота три метра, площадь основания — шестьдесят. Расчет на гигантский взрыв.

— А что внутри между снарядами? Сколько их? Как они сюда попали, для чего заложены?

Капитан молчал.

— Как попали, положим ясно,— заметил подполковник Бугаев,— немцы заложили. А почему вся эта махина не сработала, вот вопрос.

Прежде чем продолжать разведку, предстояло ответить на многие вопросы. Минер не имеет права действовать, пока точно не будет знать, с чем имеет дело. Надо было раскрыть тайну ямы.

В данном случае оказалось недостаточным изучать только ее содержимое. Многое могла подсказать обстановка, при которой действовали немецкие минеры. А было это пятнадцать лет назад.

Годы работали в пользу врага. Если мина — всегда тайна, то сотни их, пролежавшие столько лет под землей, это клубок тайн.

Начинать приходилось издалека. Полковникам Диасамидзе, Кирьянову, подполковнику Бугаеву хотелось узнать обстановку тысяча девятьсот сорок третьего года, когда немцы были изгнаны из Курска.

Поединок начался.

...Пока старшие командиры решали, как быть дальше, солдатам предоставили отдых. По дороге в казарму они встретили Валю, шедшую на работу.

Встреча с Валей всегда была приятна им. А сейчас вдруг стало неловко, будто провинились в чем-то. Да и сама она смутилась. Поздоровавшись, Махалов отвел ее в сторону:

— Что у вас случилось, Валя? Поссорились?

— А Гурам что говорит? — спросила она вместо ответа.

— Ничего не говорит, рычит на всех как сумасшедший, вот и все.

— Он здесь?

— Нет, ему завтра ехать, капитан велел от всех работ освободить.

Иван увидел, как при этих словах изменилось лицо Вали, но он был совсем не приспособлен успокаивать девушку. Ему стало очень жаль ее, а что сказать, он не знал.

— Ты не стесняйся,— наконец нашелся он,— если обидел, скажи, мы ему...

— Нет, нет,— испугалась Валя.— Ничего не надо говорить Гураму, пусть сам... И то, что меня встретили, не говорите... До свидания, Ваня.— И она вдруг быстро пошла.

— Ну что? — спросили Ивана товарищи, дожидавшиеся в сторонке.

— Видно, обидел ее Гурам... Да разве она скажет! Все снесет, а не пожалуется.

— И что могло случиться? — пожал плечами Маргишвили.— Такая дружба народов была, а теперь — скандал.

Шутке Дмитрия никто не улыбнулся.

— В другое время — не страшно, через недельку помирились бы,— заметил Голубенко,— но сегодня же последний день...

Прошли немного молча.

— А что с ямой делать будем? — опять заговорил Голубенко.

— А что с ней сделаешь, к ней не подступишься,— сказал Махалов.

— Так оставим,— насмешливо констатировал Дмитрий.

— Зачем так,— ответил Иван,— взорвем.

— И фашист хотел взорвать, значит, поможем ему.

— А черт его знает, чего он хотел,— выругался Иван.

* * *

Что думал враг? Чего он хотел?

Ответ на эти вопросы искал военный комендант города подполковник Георгий Митрофанович Бугаев.

На протяжении многих лет, изо дня в день, жизнь ставила перед ним подобные загадки. Почти всю свою сознательную жизнь он сражался с врагом, хотя и не довелось ему участвовать в войне с гитлеровской Германией. Это были и открытые бои, но чаще всего поединки с невидимым противником, столкновения с вражеской хитростью, выдержкой, коварством, разумом.

В тридцатых годах, в период беспрерывных провокаций самураев на наших дальневосточных границах, совсем еще молодой лейтенант Георгий Бугаев командовал особым отрядом. У него не было постоянного места дислокации. Его хорошо вооруженные люди жили в горах. Его позывные знали те, кому положено было их знать. Туда, где были схватки, словно гром в ясный день, налетал отряд Бугаева.

Георгий Бугаев обладал характерной для простого русского человека удивительной сметкой, каким-то особым внутренним чутьем. Его прозорливость, настойчивость и упорство поражали даже старых, видавших виды пограничников. Такого человека режь на куски, а он не отступит от своего.

Что затевал враг? Как часто ломал голову над этим вопросом Бугаев. Однажды из своего укрытия на берегу скованного льдом Амура он наблюдал бой самураев с китайским партизанским отрядом по ту сторону реки.

«Неопытный командир у японцев»,— подумал лейтенант. Обычно, если сталкиваются их крупные силы с немногочисленным противником, самураи прежде всего стремятся отрезать ему пути к отходу. А здесь они окружили подковой отряд, оставив выход к реке. Но в следующую минуту Бугаев понял, что ошибся. Японцы явно не собирались уничтожать отряд или захватить его в плен. Людей гнали на лед, на советскую сторону.

Что затеял враг? Чего он хочет? Пустить версию, будто китайские партизаны связаны с русскими пограничниками? А партизаны ли они? Японцы бьют в них минами, которые разрываются как-то странно и не поражают людей.

...Почему мелькнула новая мысль, Бугаев и сам не знает, но когда восемьдесят три измученных человека достигли советского берега, по совету Бугаева их встретили врачи и предложили разбить лагерь в совершенно изолированном месте. Вскоре был поставлен диагноз: и люди, и лошади заражены инфекционными болезнями. Подозрения молодого лейтенанта оправдались: в самурайских минах были бациллы.

Как-то вместе с отделением бойцов он гнал плот с продуктами. Погода изменилась вдруг, точно тайфун пронесся по реке, и снова все стихло. Но за это короткое время случилось многое. Плот отбросило на середину реки, в самое страшное место — в водоворот на крутом изгибе русла. С неудержимой силой плот понесло на вражескую сторону и разбило на скалистом островке у самого берега.

— Оружие! — скомандовал лейтенант и подозвал сержанта Бочарова. Это был спортсмен-разрядник, лучший пловец части.— Доплыви, Бочаров, на заставу,— тихо произнес он.— Не погибни, прошу тебя.

Бочаров нырнул в пучину.

— Не смотреть! — негромко сказал лейтенант бойцам, провожавшим глазами товарища. И, поясняя свою мысль, добавил:— Мы будем смотреть, а японцы вслед за нами.

И действительно, на берегу мелькнула и скрылась фигура самурая, а спустя некоторое время как из-под земли вырос и уставился на них офицер.

Его было хорошо видно. Он стоял подтянутый и стройный, точно ожидая рапорта. Бугаев никогда не видел этого человека, но по многим признакам узнал его: лейтенант Кисю. Опытный,

хитрый и умный потомственный самурай. Своей выдумкой и неисчерпаемой изобретательностью в нарушении наших границ он доставлял Бугаеву немало хлопот. И втайне советский лейтенант мечтал встретить его и взять живьем. И вот встреча состоялась.

Кисю молча смотрел на островок, словно оценивая добычу, и девять советских воинов с оружием в руках, на чужой территории, смотрели на японца.

И вдруг его суровое лицо смягчилось, он улыбнулся, и такая искренняя радость и приветливость отразилась на этом лице, будто он встретил самых дорогих и близких людей. Он стоял и улыбался, не произнося ни слова, и его улыбка действовала сильнее, чем щелканье затвора.

Ветра как не бывало. Тихие волны плескались у скалистого островка.

— Если я не ошибаюсь,— заговорил наконец Кисю,— ко мне в гости пожаловал товарищ Бугаев.

И лицо его еще более расплылось в улыбке.

— Прошу извинить, что я называю вас «товарищ»,— продолжал он,— дома вас, наверное, так называют, и мне хочется сделать вам приятное. Мне хочется, чтобы вы чувствовали себя как дома. И, кроме того, у нас одинаковая работа. Мы должны задерживать нарушителей границы. Не правда ли? Значит, мы — товарищи.— И он рассмеялся громко и весело.

Смех оборвался сразу. Лицо его стало серьезным, но он очень просто и даже приветливо продолжал:

— Сейчас подойдет моя лодка. Вам будет удобнее, если она раньше отвезет ваше оружие, а потом налегке вернется за вами. Пока же прошу сложить оружие в одно место на землю.

Кисю говорил на чистом русском языке, не коверкая слов, с мягким акцентом. Во всем его тоне была приятная доброжелательность, и его слова об оружии выглядели так, будто хороший хозяин объясняет гостю, куда повесить зонтик.

Длинная речь японца была выгодна Бугаеву. Главное сейчас— оттянуть время. Оно часто имеет решающее значение. Но сегодня — это жизнь. Бугаев хорошо знал о событиях прошлой ночи. На нашем берегу в эту темную ночь пограничники задержали большую группу японских разведчиков. И хотя цель их прихода была ясна, те настойчиво доказывали, будто потерпели аварию на реке. Разведать им ничего не удалось и, чтобы не осложнять обстановку, решили отпустить их, как только последует запрос японцев. Нота пришла, но ответ на нее еще не был дан. Если Бочаров доплыл, то интернированных отпустят только в обмен на группу Бугаева. Это стало для него совершенно ясно.

Вот почему так важно было затянуть надолго переговоры.

Советский лейтенант решил принять предложенный Кисю вежливый, полуофициальный тон, завязать длинную беседу, но оружия не сдавать, на берег не высаживаться.

Он ответил Кисю, что действительно он — Бугаев, что рад теплому приему и надеется на помощь японского офицера, который, несомненно, видел, как группа советских людей потерпела аварию. Что касается оружия, то ему кажется странным требование Кисю.

Бугаев говорил долго, каждую свою мысль тщательно обосновывал, мотивировал, приводил примеры, объяснял, как его группа оказалась здесь.

Японец слушал молча, и Бугаеву стало ясно, что его тактика разгадана. Это тут же подтвердил Кисю. Властно и категорически он потребовал немедленно сдать оружие, не ответив ни на один довод советского офицера.

Бугаев попросил продолжать разговор в том же достойном тоне, ибо он, Бугаев, хорошо знает выдержку самурая Кисю, а солдаты могут подумать, будто японский офицер теряет эту выдержку.

Задев честолюбивую струнку японца, лейтенант выгадал много времени, ибо тот снова начал демонстрировать свое равнодушие и спокойствие. И все же он решительно заявил, что прикажет стрелять, если оружие немедленно не будет сдано. В доказательство его слов из невидимых ранее выступов в скалах показались стволы карабинов.

— Я вынужден буду защищаться,— заявил Бугаев и подробно объяснил, почему не может поступить иначе, какие осложнения вызовет ненужное кровопролитие.

И все же настал момент, когда тянуть больше было нельзя. Кисю уже окончательно выходил из себя, самураи приготовились открыть огонь.

Бугаев не мог посмотреть на часы, не вызвав подозрения. Ему казалось, прошло уже часа два, как они торчат на этом островке. Если Бочаров доплыл, значит, должен быть уже какой-то результат.

И лейтенант предпринял новый маневр, опасный и рискованный, но единственный для новой оттяжки времени.

— Я не могу больше кричать и вести переговоры при всех,— заявил он.— Прошу прислать за мной лодку.

Дав указание солдатам в случае необходимости сражаться до последней возможности, назначив старшего и взяв с собой одного человека, Бугаев сел в лодку.

И снова начались длительные переговоры, и снова настал момент, когда говорить больше уже не было возможности.

— Хорошо,— согласился советский лейтенант,— ваши условия я должен передать своим солдатам и посоветоваться с ними.

— Офицер с солдатами не советуется! — отчеканил Кисю.

— У нас — советуется,— спокойно возразил Бугаев.

Сидя здесь, в палатке на опушке леса, он мучительно думал, что же еще сказать чертову самураю. И в это время японцу принесли пакет.

Ничего не отразилось на лице Кисю, когда он прочитал содержимое конверта.

— Извините, пожалуйста, я отвлекся немножечко,— доверительно сказал он, кивнув на пакет,— письмо из дому, хотелось прочитать сразу.

«Никакое это не письмо из дому,— подумал Бугаев.— Стал бы он вступать в объяснения, когда уже едва сдерживается. Еще бы! Столько времени прошло с тех пор, как добыча сама пришла в руки, а дело не сдвинулось ни на шаг. Нет, это не письмо из дому. Просто доплыл Бочаров и меры приняты».

А Кисю вдруг заговорил мягко и вкрадчиво:

— Знаете, господин Бугаев, не должен офицер иметь жену. Вот прислала письмо, и я уже размягчился. Я подумал, господин Бугаев,— оба мы офицеры и у нас нелегкая служба. Я отпущу вас, но вы должны дать мне слово, что, если я случайно окажусь на вашей территории, вы проявите ко мне такое же благородство.

— Я могу дать вам слово,— ответил Бугаев,— что если вы окажетесь у нас действительно в результате несчастного случая, то будете отпущены.

Спустя пятнадцать лет начальник крупного лагеря военнопленных японцев принимал очередную партию самураев разгромленной Квантунской армии.

— Господин майор Бугаев,— обратился к нему один из пленных,— надеюсь, вы не забыли данное мне слово.

— А-а, майор Кисю, здравствуйте.

Тот вежливо поклонился.

— Положение ведь совсем другое, господин майор,— сказал Бугаев.— Я терпел стихийное бедствие, а вас взяли в плен в открытом бою. Да и, кроме того, отпустили меня вы по приказу в обмен на ваших разведчиков.

Через месяц изобретательный майор Кисю тщательно подготовил крупный мятеж. Бесхитростный Бугаев вовремя разоблачил его. Мятеж не состоялся.

— Это очень опасный человек,— сказал Бугаеву генерал,— возьмите его под личное наблюдение.

Начальник лагеря не часто беседовал с Кисю, но показывал ему советскую жизнь, Показывал предприятия, местные Советы, школы, клубы.

Через четыре года, на процессе японских военных преступников, одним из свидетелей был майор Кисю. Он привел факты многих провокаций самураев, раскрыл подлинное лицо видных военных преступников.

Так окончился поединок двух лейтенантов.

Военный комендант города Курска подполковник Бугаев не думал, что в этом мирном городе, далеко удаленном от границ, в мирное время может встать вопрос: «Что задумал враг?» Но этот вопрос поставила жизнь.

Чего же хотел враг?

Вот что удалось выяснить военному коменданту.

В декабре сорок второго года фашистский листок «Курские известия», выходивший в оккупированном городе, напечатал статью «Напрасная тревога», в которой оповестил, что «большевизм окончательно разбит и никогда Советская власть в Курск не вернется».

Крикливый и самоуверенный тон статьи выдавал подлинную тревогу гитлеровцев перед мощным наступлением Советской Армии. После потери Воронежа и Касторной гитлеровское командование намеревалось закрепиться в Курске. Сюда были стянуты крупные силы, подвезено огромное количество боеприпасов. Готовился плацдарм для длительного сопротивления. Советские войска разгромили четвертую танковую, восемьдесят вторую пехотную и добили остатки еще четырех дивизий, пришедших из-под Воронежа. Участь Курска была решена.

Перед гитлеровцами встал вопрос: что делать со складами боеприпасов, где находилось более миллиона снарядов и пятнадцать тысяч авиационных бомб? И фашисты придумали сложную систему минирования, которая должна была привести к взрыву миллиона снарядов в момент прихода в город советских войск.

К работе приступили немецкие специалисты — пиротехники, электрики, минеры. Все было сделано для того, чтобы осуществить намеченный план.

Восьмого февраля тысяча девятьсот сорок третьего года Советская Армия освободила Курск. Но взрыва не последовало. Что же произошло?

* * *

После окончания Ленинградского военно-инженерного училища комсомолец Анатолий Чернов был направлен в Сибирь, в одну из формирующихся частей, а спустя полгода — на Воронежский фронт. Здесь в тысяча девятьсот сорок втором году, и на девятнадцатом году своей жизни, он получил первое боевое крещение и первое ранение. Но уже на подступах к Касторной взвод саперов под командованием лейтенанта Чернова делал проходы во вражеских минных полях. До самого Курска Чернов шел или полз впереди наших войск, убирая с их пути противотанковые и противопехотные мины, «сюрпризы», фугасы, разминировал дома, переправы, мосты.

Восьмого февраля сорок третьего года Анатолий Чернов в числе первых советских воинов появился на окраине Курска. Весь день он снимал мины, оставленные врагом. А поздно вечером его вызвал командир саперного батальона капитан Дегтярев.

— По данным разведки,— указал капитан на карту,— вот здесь, в районе Дальних парков, остался в полном порядке крупнейший склад боеприпасов. На охрану его я послал старшего сержанта Зайцева и двух солдат. Отправляйтесь туда завтра пораньше и посмотрите, что к чему.

На рассвете лейтенант Чернов вместе с саперами Картабаевым и Синицыным тронулись в путь. Шли на лыжах напрямик через пустырь. Из глубокого снега выглядывали стволы разбитых орудий и пулеметов, повсюду валялась изуродованная техника. Перепутанные, разорванные провода линий связи то прятались в снегу, то огромными спиралями вылезали наружу. Вдали виднелись остатки сгоревших домов, зияли черные воронки.

Искать склад не пришлось. Большая территория, прилегающая к трамвайному парку, опоясанная высоким двойным забором из колючей проволоки, была видна.

У ограды Чернова и его спутников встретил старший сержант Зайцев. Он доложил лейтенанту, что склад занимает несколько квадратных километров и весь заполнен боеприпасами. Они находятся в трех кирпичных и более чем в двадцати деревянных хранилищах, уложены прямо на земле.

Саперы направились в глубь склада, по дороге заглядывая в каждое хранилище. Всюду мины, снаряды, тол, бомбы. Между хранилищами высились штабеля боеприпасов, наполовину занесенных снегом. Стало ясно, что бежали отсюда поспешно, не успев навредить.

Штабеля были уложены аккуратно, по всем правилам хранения взрывчатых веществ. На каждом таблички с четко выведенными надписями: «Противотанковые мины. 1000 шт.», «Внимание! Снаряды с ввернутыми взрывателями. 203 калибр. 500 шт.», «Осторожно! Капсюли-детонаторы», «Внимание! Русские снаряды», Черная, красная, желтая, сиреневая окраска снарядов и бомб указывала их назначение: бронебойные бетонобойные, осколочные... На ящиках со взрывчаткой, похожей на фруктовый кисель в порошке, той же стандартной формы надпись: «Донорит», а ниже — вес каждого ящика и общее их количество. На одной из табличек после цифры «1500» написано мелом: «Выдано 500. Остаток — 1000».

Лейтенант Чернов знал немецкий язык. Эти таблички, как бухгалтерская книга, как опытный кладовщик, раскрывали перед саперами все богатство трофеев. Подсчитать их было не трудно: более семисот тонн взрывчатки, двенадцать тысяч снарядов, пятнадцать тысяч противотанковых мин, около трех тысяч авиационных бомб, два мощных понтонных парка и другое имущество. Кроме того, на подъездных путях стояло восемнадцать вагонов с боеприпасами.

В конторке, задернутая занавеской, висела схема склада с указанием, где и что находится. Выделялась надпись, сделанная крупным красным шрифтом. Она предупреждала о том, что полоса земли между внешним и внутренним колючим забором заминирована. Видимо, там были уложены мелкие противопехотные мины типа «лягушка». Осколков у мины не бывает. Убить человека она не может. Наступишь на нее, она оторвет пальцы на ноге или пятку, даст сигнал, что на склад кто-то пробирается.

В какой же панике бежали отсюда, если все оставили в образцовом порядке! Саперам предстояло лишь «принять» и оприходовать содержимое склада.

На всякий случай решили на выборку проверить, точны ли надписи и цифры. Чернов и Картабаев приступили к работе у одного из штабелей, а Зайцев и Синицын отправились в глубь склада.

Лейтенант и солдат пересчитали большой штабель ящиков с толом и убедились, что цифры на табличке указаны правильно. Чернов записал в свою книжечку общее количество боеприпасов по видам и назначению. Делать здесь больше было нечего.

Но что-то мешало Чернову уйти, и он злился на самого себя, не понимая, что же его удерживает в этом аккуратном складе, когда в батальоне работы по горло. И как только в голове мелькнула эта мысль, он понял: именно эта аккуратность, этот образцовый порядок, предостерегающие надписи и раздражали его. Будто фашисты заботились, как бы здесь по неосторожности не подорвался советский минер. Неужели не могли сорвать хотя бы схему склада с указанием на то, что ограда заминирована! Так выглядит склад, подготовленный к инспекторскому смотру, а не оставленный противнику.

— Ну-ка, давай посчитаем, сколько шашек в ящике! — решительно махнул рукой Чернов, обращаясь к Картабаеву.

Лейтенант подошел к одному из ящиков, у которого крышка была прижата не плотно, и чуть-чуть приподнял ее. Приподнял настолько, чтобы увидеть, не тянется ли за ней проволочка, веревочка или цепочка — эти извечные враги минеров.

— Осторожно, гвозди! — испуганно предупредил Картабаев, видя, что лейтенант чуть ли не всовывает голову под крышку. Солдату показалась излишней сверхосторожность лейтенанта в этом складе, где о любой опасности предупреждали надписи. Да и в самом деле, ничего опасного на внутренней стороне крышки лейтенант не обнаружил. Он увидел лишь толовые шашки, сверху занесенные снегом. Но и это, конечно, естественно, потому что крышка была закрыта не плотно, и снег намело в щели. Можно было смело открывать ее. Но Чернов медлил. Он повернул голову и, казалось, уже не осматривает, а выслушивает ящик. Потом совсем открыл крышку и приложил ухо к шашкам. Тик-так, тик-так, тик-так...— услышал он теперь совершенно отчетливо.

— Вот тебе и табличка! — сказал Чернов, разгибаясь.

— МЗД! — поразился Картабаев, тоже выслушав ящик.

— Да, мина замедленного действия. Предупреди Зайцева, бегом! — скомандовал лейтенант, снова наклоняясь над толом. Он начал аккуратно расчищать пальцами снег. Показался винт толщиною в карандаш, с большой плоской головкой. От него тянулась тоненькая цепочка. Вот она где, проклятая!

Прежде всего надо убрать снег, установить, куда она идет.

Погода стояла теплая, снег подтаял, превратился в плотную, тяжелую массу. Отделять его от цепочки трудно. И хотя было тепло, сразу же замерзли кончики пальцев, закололо под ногтями. Цепочка оказалась короткой, и второй ее конец свободно болтался. Значит, опасность представляет не она...

Вернулся Картабаев, и лейтенант послал его осмотреть соседнее хранилище.

Время от времени дуя на пальцы, отогревая их под мышками, Чернов очищал снег, пока не оголил весь корпус часового взрывателя. Он был похож на графинчик с узким горлом. Такой механизм лейтенант видел впервые. Надпись «J Feder 504» ничего ему не говорила. На корпусе — маленькое стеклянное окошко. Сквозь него видно красивое зубчатое колесико — маятник. Тик-так, тик-так, тик-так...— выстукивает оно.

Колесико отсчитывает время, оставшееся до взрыва.

Как остановить часы, лейтенант не знал, значит, и браться за это дело не следовало. Он решил унести ящик на пустырь, подальше от этого огромного склада, а там уж подумать, что с ним делать. Собственно, и думать нечего. Положить в воронку и взорвать из укрытия. Подходящую воронку он видел на пустыре. Взрыв будет небольшой и вреда не принесет.

Чтобы не терять времени до возвращения Картабаева, Чернов решил пока проверить, не связана ли мина замедленного действия с другими ящиками. Руками и ножом расчистив вокруг снег, он попытался немного приподнять опасный груз. Ящик не шелохнулся. Лейтенант сделал еще одну попытку сдвинуть ящик с места, потом напряг все силы, но результат был тот же.

После тщательного осмотра штабеля у лейтенанта совсем опустились руки. Верхние ящики оказались соединенными между собой намертво и представляли единое целое, как ячейки в сотах. Видимо, сначала сбили гвоздями их боковые стенки, а потом заполнили шашками.

Можно повытаскивать шашки из соседних ящиков, раздобыть пилу, перерезать дощечки и высвободить ящик с миной замедленного действия. Но все это сложно и займет много времени. Да и какая гарантия, что верхний ряд так же намертво не соединен с нижним? Конечно, соединен!

Нет, не удастся лейтенанту унести мину. Враг оказался хитрее. Он предвидел такое легкое решение и лишил возможности советского минера выполнить это решение.

Оставался последний выход: вернуться к уже отвергнутому плану — остановить часы.

Враг знал, что будет единственный выход — обезвредить мину на месте. Он подготовил и здесь «сюрприз». Так думал Чернов. И он вступил в борьбу с невидимым врагом.

Как молоточек будильника застучит по звонку в ту минуту, на которую поставлена стрелка, так и здесь острие бойка поразит капсюль точно в назначенное врагом время. Но стрелка

будильника показывает, когда будет звонок, а когда сработает часовой взрыватель, знает только тот, кто его ставил. По делениям на дисках и штифтику можно определить, через сколько времени после установки механизма должен быть взрыв. Но как узнать, когда сделана установка? Когда завели часы? Это тоже известно только врагу. А колесико — тик-так, тик-так, тик-так... Может быть, оно отсчитывает последнюю минуту огромного склада и всего города, и остались только секунды, чтобы остановить механизм. А возможно, взрыв должен произойти через несколько дней, и есть возможность спокойно во всем разобраться, посоветоваться, доложить командиру. Рассчитывать на этот наиболее удобный случай сапер не имеет права. Он обязан немедленно обезвредить склад. Он не покинет этот арсенал, внутри которого заложена мина замедленного действия. Он должен остановить часовой механизм...

Началась работа минера. Работа нервов.

По надписям, делениям, цифрам, указателям Чернов определил, что перед ним часовой взрыватель, рассчитанный на двадцать одни сутки. Поставлен он на пять суток, четыре часа и десять минут. Но когда поставлен? Когда истекут эти дни, часы, минуты? С момента изгнания немцев прошел один день. Если часы завели перед самым бегством, значит, впереди много времени. А если механизм работает уже шестые сутки?

Красный треугольник подвижного кольца, опоясывающего корпус, стоит против красной риски: часы поставлены на «взрыв». Об этом говорит и надпись «Geht», что означает — механизм «идет». Надо повернуть кольцо так, чтобы красное острие совместилось с белой риской, где написано «Steht» — «стоит». Но надо ли? Может быть, именно на этот поворот кольца и рассчитывал враг? Повернешь кольцо, и оно сработает, как выключатель, соединятся скрытые контакты, и грохнет взрыв, каких еще не знала война. Ведь только на этом складе сосредоточены тысячи тонн боеприпасов.

Можно отвернуть нижнюю крышку и посмотреть, что внутри. Но можно ли?

Стоять и раздумывать, безусловно, нельзя. Ведь часы идут. Каждые полсекунды об этом напоминает тиканье маятника.

Какое огромное искушение покрутить, повертеть эти кольца, винты, штифтики! Ведь должен остановиться маятник!

Должен. Но экспериментировать нельзя. И трогать ничего нельзя, пока не будет разгадана тайна мины. Повернуть что-либо можно только в том случае, если есть гарантия, что за этим не последует взрыв. А где взять такую гарантию, когда мина неизвестна?

Снимать неизвестную мину — всегда трудно. Но если в ней часовой механизм... человека со слабыми нервами она может свести с ума. Это монотонное, едва уловимое тиканье, ритмичное,

назойливое, неотвратимое, заставляет прислушиваться к нему, не дает сосредоточиться, подавляет волю.

Экспериментировать нельзя! Надо собраться с мыслями, надо спокойно, не прикасаясь к мине, не торопясь, разгадывать ее тайну.

«Ско-рей, ско-рей, ско-рей»,— тикает проклятое колесико. Взгляд устремляется к нему. Его хорошо видно сквозь стеклянное окошко, это новенькое, отшлифованное, сверкающее медью зубчатое колесико: тик-так, тик-так...

Над ним тоненькая, словно из волоса, спиральная пружинка. Она свивается и развивается. Кажется, что она дышит. С каждым вдохом и выдохом колесико метнется то вправо, то влево. Каждый его поворот отсчитывает полсекунды. Тик-так — одна секунда. Вдох-выдох — еще одна. Какой-то вдох или выдох будет последним.

Часы идут. Очень точные, тщательно выверенные, сработанные на алмазных камнях лучшими немецкими мастерами. Тот, кто приказал поставить их сюда, будет по секундомеру ожидать взрыва. Они не подведут его. Они не отстанут и не уйдут вперед. Они выполнят его волю. Он будет точно знать, в какую минуту посылать разведывательный самолет, чтобы определить размеры бедствия. Он будет точно знать минуту, на которую назначить атаку.

Его волю должна сломить воля минера.

Смотреть на маятник нельзя, как нельзя верхолазу смотреть вниз: работать не сможешь. Но оторвать взгляд от маятника трудно. Это единственная видимая деталь работающего механизма. Именно она отсчитывает секунды, оставшиеся до взрыва. Она притягивает, околдовывает. Она подчиняет мысли и движения своему ритму. К этому ритму подходят любые слова. И отстукивают в голове самые страшные из них:

«Не снять, не снять...»

На каком же ударе должен быть взрыв?

«Сей-час, сей-час, сей-час...»

Грохнуть бы кулаком по этой нежной пластмассовой оболочке, раздробить к чертям стеклышко, колесики, штифтики...

Такие мысли — первый шаг к поражению. Значит, нервы уже не выдерживают. Бесполезны эти грозные слова, не серьезны. Они взвинчивают, расслабляют волю. Прочь их из головы! Если человек торопится, он должен все делать быстрее. Быстрее идти или бежать, дать большие обороты станку, сильнее нажимать педаль акселератора. Когда тикает мина замедленного действия, остановить часы надо немедленно. Минер должен действовать очень быстро. И поэтому у него должно хватить силы воли работать не торопясь. Надо суметь вырваться из ритма часов, не включиться в скачки маятника.

Лейтенант Чернов понял, что остановить часы без риска не сможет. Но легко рисковать, если речь идет только о собствен-

ной жизни. А кто же даст право рисковать жизнью дивизий, только что освободивших Курск, жизнью самого города, полуразрушенного, но уже свободного, уже советского!

Позвать кого-нибудь? Но ведь часы идут! Эти точные, калиброванные часы с красивым маятником. Они совершенно отчетливо выговаривают: «Уй-дешь — взор-вусь, уй-дешь — взор-вусь...» И лейтенант Чернов принимает окончательное решение: не останавливать часы, а отделить от тола часовой механизм и унести его.

Но как же трудно, как мучительно трудно и страшно выполнять это решение. И все-таки оно уже принято, твердое, непоколебимое, вселяющее уверенность. Оно уже заглушает тиканье маятника, уже нет назойливого вопроса: «Что делать?» Действовать! Взгляд уже прикован к узкой части корпуса, где ударный механизм соединяется с часовым. В нее ввинчен капсюледержатель, куда в свою очередь запрессован капсюль-воспламенитель. Снизу, в приливе — капсюль-денатор. И все это загнано в гнездо запальной шашки.

Воспламенитель, детонатор, запал. Их надо разъединить. Капсюли нежные, как одуванчик. Они не терпят внешнего воздействия, как и оголенная рана. Но они плотно загнаны один в другой, ввинчены в запальную шашку. Надо разъединить воспламенитель, детонатор, запал.

Теперь минеру ясно, что делать. Теперь все зависит от его искусства.

Беззаботно тикают часы. Окоченевшие пальцы ощупывают холодный металл и пластмассу. Жарко. Спина вспотела, намокла рубаха. Чернов отодвигает на затылок шапку, сбрасывает шинель. Ветерок обдувает влажные волосы, холодит спину. В мирное время человек бы простудился. На войне простуды не бывает. Да разве может сейчас прийти в голову нелепая мысль о простуде?

Лейтенант склонился над механизмом... Кончики пальцев очень чувствительны. В них тоненькие разветвления нервных веточек. Острия веточек подходят почти к самой коже. Надо все делать только кончиками пальцев. Надо чаще отогревать и растирать их, чтобы они не потеряли чувствительности...

Ветер высушил влажные волосы. Минер растирал о них пальцы, плотнее надвигал шапку. И снова лоб покрывался испариной, снова на затылок отодвигалась ушанка...

Беспомощным, ничтожным и жалким показался Чернову писк зубчатого колесика, когда часовой механизм был извлечен из ящика. Отойдя метров на двадцать от штабеля, лейтенант положил на снег взрыватель. Пусть теперь тикает!

Зайцев, Картабаев и Синицын обнаружили несколько мин замедленного действия точно такого же типа, как первая. Значит, снимать их теперь легко. Разгадал одну, смело берись за другие.

Так мог решить кто угодно, только не сапер.

Сапер знает, что одну и ту же мину можно заложить десятками способов. Прием, с помощью которого обезврежена одна мина, может привести к взрыву на другой. Надо все начинать сначала. И снова: нервы и кончики пальцев.

Когда стемнело и работать уже было нельзя, саперы подсчитали трофеи. Двадцать три часовых взрывателя лежали на снегу. Их извлекли из толовых ящиков, из донорита, из хвостового оперения авиационных бомб.

Солдат Синицын разгадал, как остановить часы. Старший сержант Зайцев обнаружил под снегом детонирующий шнур, соединявший между собой все хранилища. Как от поворота выключателя зажглись бы все лампочки, подведенные к одной сети, так и удар бойка в капсюль на одной установке повлек бы мгновенный взрыв на всех остальных.

Взяв образцы часовых механизмов, лейтенант Чернов отправился в штаб армии. Он доложил обстановку. В ту же ночь на склад был послан батальон саперов. Они извлекли более сорока взрывателей. Хранилища и штабеля были полностью обезврежены.

* * *

Военный комендант Курска подполковник Бугаев отыскал след лейтенанта Чернова. Анатолий Александрович Чернов служил на одной из северных военноморских баз, на базе подводных лодок. Он подробно рассказал о том, что делалось в Курске в период изгнания оттуда фашистов.

Получив еще ряд дополнительных данных, полковник Днасамидзе и его помощники полностью восстановили обстановку февраля сорок третьего года.

Советская Армия наступала, и гитлеровцам стало ясно, что вывезти из Курска накопленные ими миллион снарядов и пятнадцать тысяч авиационных бомб не удастся. И они решили взорвать свои склады, когда в город войдут советские войска.

Одновременный взрыв такого гигантского количества боеприпасов мог причинить неизмеримый урон. Погибли бы город, все войска и техника, расположенные на десятках квадратных километров. А силы здесь были собраны не малые.

Такого большого взрыва за время войны не было, и враги рассчитывали на дезорганизацию в войсках фронта. Для противника это был наиболее выгодный план, который он тщательно продумал и хорошо подготовил.

Снаряды находились в эшелонах на станции и на нескольких крупных складах. В каждом из них оказались десятки мин замедленного действия. Минирование осуществлялось с таким расчетом, чтобы при любых условиях была гарантия, что взрыв произойдет. Если раскроют и обезвредят одну установку, сработает другая. Ее в свою очередь страховала третья, четвертая... десятая. Если оказались бы обнаруженными все установки на

одном складе, в «запасе» оставались другие хранилища и эшелоны на железной дороге.

Для еще большей уверенности в том, что от взрыва одного склада по детонации взорвутся остальные, поставили промежуточный детонатор. Это и была та яма, которую впоследствии обнаружил экскаваторщик Шергунов. Ее заложили на пустыре, как бы в центре складов. Она находилась в пятистах метрах от эшелонов с боеприпасами и в полутора километрах от хранилищ, разминированных Черновым. Взрыв на любом складе по детонации вызвал бы взрыв снарядов в яме, который в свою очередь передался бы на остальные базы.

Такую сложную систему минирования и тщательную ее маскировку нельзя было осуществить перед самым отступлением. Судя по часовым взрывателям, к работе приступили за неделю до предполагавшегося отхода. Часы пришлось установить не на короткий срок, а на несколько суток. Все часовые механизмы должны были сработать одновременно, в первую ночь после прихода советских войск.

Обнаружить и обезвредить в такой срок всю эту сложную систему не представлялось возможным, и враг хорошо это понимал. Время было ограничено его волей, ходом часов.

Почему же не сработал точно рассчитанный механизм?

Прежде всего потому, что по приказу командования Воронежского фронта наши войска вышибли гитлеровцев из Курска на несколько дней раньше, чем те собирались покинуть город. Это коренным образом изменило положение. Свои расчеты враг строил на том, что все пойдет по его планам. Но наше командование поломало эти планы, навязало ему свою волю. Советские саперы получили большой резерв времени. В запасе у них оказалось не несколько часов, а от трех до четырех дней.

Специальные команды подсчитали трофеи и вывезли куда положено миллион снарядов и пятнадцать тысяч авиационных бомб. Но то, что сделали немецкие специалисты в глубокой яме, осталось тайной.

С тех пор прошло пятнадцать лет. В районе, где намечался взрыв, выросли новые предприятия, десятки корпусов рабочего поселка, сотни домиков индивидуальных застройщиков.

А глубоко под землей так и остались скрытые от глаз людей боеприпасы, тая в себе много неожиданностей и огромную разрушительную силу. Остались механизмы, сделанные фашистскими пиротехниками, электриками, минерами.

Искать мину в сорок третьем году на пустыре, где находилась яма, не представлялось возможным. Он был, как градом, усеян осколками и остатками разбитой техники, значит, миноискатель не выделил бы из этой массы снаряды или мины. Но главное, в тот момент, если даже и предположить, что на пустыре имелись спрятанные боеприпасы, после ликвидации главных складов они опасности не представляли.

Эта яма осталась как одна из бесчисленных ран войны, которую невозможно вылечить в один день, как нельзя было в такой срок восстановить все разрушенное войной.

Курск залечил свои раны войны. Осталась последняя. Последнее испытание.

* * *

Группа офицеров снова собралась у ямы. Люди молча смотрели на холодные, немые глыбы металла. Сотни снарядов и мин словно выгрузили из самосвала. Но так могло показаться только в первую минуту или несведущим людям.

Бронебойные, фугасные, осколочные, кумулятивные, бетонобойные снаряды и разнокалиберные мины были уложены опытной рукой, чтобы никто больше не мог к ним прикоснуться.

Существует инструкция, как хранить снаряды в безопасности. В ней много пунктов. И, словно глядя в инструкцию, их укладывали здесь, делая прямо противоположное тому, что написано в каждом параграфе. 203-миллиметрового калибра глыбы лежали и стояли в самых опасных положениях. Их взрыватели обложены минами. Рядом кумулятивные снаряды, и снова тяжелые болванки. Все это не ровным штабелем, а как пирамида, выложенная из спичек: возьмешь одну — посыплются все. Но это не спички, которые можно аккуратно брать двумя пальцами. Фугас двести третьего калибра весит 122 килограмма. Его длина — без малого метр. Как подступиться к такой глыбе? Если встать плотно друг к другу, троим хватит места, чтобы уцепиться за снаряд. На каждого человека придется больше двух с половиной пудов.

Но можно ли поднимать снаряд? Какая гарантия, что снизу к нему не припаяна проволочка? А то, что пирамида заминирована, сомнений ни у кого не вызывало. Что, например, делать с кумулятивным снарядом, или, как его еще называют, бронепрожигающим? Он не дает осколков. Он прожигает броню сильной струей газа. Его тоненькая оболочка почти разложилась.

Глубокий след оставили на снарядах пятнадцать лет их подземной жизни. Металл изъеден, точно поражен страшной оспой, предохранительные колпачки проржавели и развалились. Проникшая внутрь влага вызвала химическую реакцию. Желтые, белые, зеленые следы окисления расползлись по ржавой стали. Как и на чем держится вся эта смертельная масса, трудно понять.

И все же она держится. А если пошевелить ее? Какая гарантия, что на обнаженных взрывателях не появилась белая сыпь?

Белая сыпь. Это страшно. Ее порождает гремучая ртуть, которой начинены взрыватели. При долгом и неправильном хранении она выделяет едва заметные кристаллики. Точно щепотка пудры, выбивается она наружу и прилипает к маленькой медной гильзе. Если провести по ней человеческим волосом, произойдет взрыв.

Белая сыпь. Можно ли уберечь ее от песчинки в этой массе

земли, камней, гравия, металла? Можно ли прикрыть ее от дождевой капли, от случайно залетевшей мухи?

Время свершило свое дело — снаряды стали неприкасаемы. Оно не задело только взрывчатки. В ней та же страшная разрушительная сила, что и пятнадцать лет назад.

С неумолимой очевидностью и железной логикой само по себе пришло решение: взорвать склад на месте. С тяжелым чувством подписали акт полковник Диасамидзе, подполковник Склифус и еще девять человек.

И снова собрались партийные и советские работники, директора предприятий, представители железной дороги. Молча выслушали они результаты разведки.

— Тщательная проверка установила ряд признаков чрезвычайной опасности для транспортировки,— говорил военный инженер.— Согласно действующим наставлениям, наличие любого из этих признаков, хотя бы одного, категорически запрещает передвигать боеприпасы. Мы обязаны взорвать их на месте. Зона поражения при взрыве,— закончил он,— достигнет почти тридцати квадратных километров.

Общий вздох, как стон, вырвался из груди людей. Ошеломленные, они еще молчали, когда им было предложено подготовить план эвакуации оборудования и готовой продукции на предприятиях, расположенных в первой, наиболее опасной зоне.

Наступила глубокая тишина.

— Мне готовиться нечего,— тяжело поднялся наконец с места директор гипсового завода Выменец.— Завод будет снесен почти полностью, вместе со строящимся цехом сборного железобетона. А готовой продукции у нас нет. Колхозы трех областей забирают сборные хозяйственные здания, которые мы делаем, как только они выходят из цехов. Вот... судите сами...— И, беспомощно разведя руками, он сел.

— Собственно говоря, и мне нечего готовиться,— сказал главный инженер отделения дороги Костылев.— Судя по сообщению, которое мы услышали, в результате взрыва будет разрушен большой участок магистральной линии Москва — Ростов, вся южная горловина станции и повреждено более сорока станционных путей вместе с устройствами связи, сигнализации и автоблокировки...

Он умолк, как бы собираясь с мыслями, но тут заговорил председатель райсовета Нагорный:

— Выходит, в зону поражения попадают все корпуса нового рабочего городка и примерно семьсот маленьких домов с общим населением около десяти тысяч человек... Что же вы, шутите, что ли! — неожиданно зло выкрикнул он, неизвестно к кому обращаясь, и резко отодвинул стул.

Один за другим поднимались руководители различных заводов и фабрик, учреждений, баз, складов, начальники строительств. И с той же неумолимой очевидностью, как было ясно,

что снаряды надо взрывать на месте, люди поняли — на месте их взрывать нельзя.

Решили через полчаса собраться у здания обкома партии и облисполкома и идти к руководителям области.

Расходились молча, хмуро, не глядя друг на друга, каждый занятый своими мыслями. Не спросив разрешения, быстро покинул кабинет и капитан Горелик. Ушли все. Только один полковник Диасамидзе остался сидеть, грузно навалившись на стол. Его одолевало собственное бессилие. Ни совесть, ни закон не давали ему права приказать своим подчиненным разбирать эту груду снарядов.

Четкий, как команда, голос раздался за спиной:

— Разрешите обратиться, товарищ полковник?

Он медленно и тяжело обернулся. Перед ним стояли капитан Горелик, старший лейтенант Поротиков и лейтенант Иващенко.

Всех троих поразило лицо и вся фигура их боевого командира. Как не похож он вдруг стал на самого себя. Никогда они не видели у него таких усталых и грустных глаз. Почему-то отчетливей стали видны седые пряди меж иссиня-черных волос.

Он сидит осунувшийся, постаревший. Офицеры увидели перед собой человека, охваченного горем, которое он не пытался скрыть.

И акт, где он поставил свою подпись, и выступление директоров предприятий он воспринимал как укор, как обвинение лично его в бессилии. Да и в самом деле, сейчас он бессилен. Кто знает, будь он минером, может, и ринулся бы в это рискованное дело сам, в нарушение всех инструкций. Благо есть такой пункт в уставе, дающий право в известных условиях действовать сообразно обстановке. Но ведь он — общевойсковой командир.

В комнате было тихо, и в этой тишине особенно резким показался телефонный звонок.

Полковник знал, что сюда, в кабинет директора завода, никто ему не позвонит, и трубки не поднял. А телефон продолжал настойчиво кого-то звать, и Диасамидзе вынужден был ответить.

— Это ты, Миша? —раздался женский голос.— Ну как тебе не стыдно, все телефоны обзвонила, чего ты еще забрался на гипсовый завод, у вас же есть хозяйственники!

Полковник улыбнулся.

— Нет, Асенька, тут мне самому надо, а что случилось?

— Как — что? Обедать давно пора.

— Да, да, верно. Страшно есть хочется.

Совсем не хотелось полковнику есть. Но он знал, что хороший аппетит радует жену: это признак хорошего настроения.

Поговорив с женой, полковник снова посмотрел на офицеров.

— Слушаю вас,— устало сказал он.

— Просим разрешить нам вывезти снаряды и взорвать их в безопасном месте,— доложил капитан.

Когда все его существо, все мысли сосредоточились и, каза-

лось, уперлись только в два слова «Что делать?», когда только он обязан был найти решение этого проклятого вопроса, оно пришло само по себе.

В какое-то мгновение его переполнила радость и чувство гордости за своих людей. Он не мог скрыть улыбки. Это была чистая, отцовская наивная радость.

Еще несколько минут назад полковник не имел права послать своих подчиненных на это задание. А сейчас имеет.

От него требуется только одно: разрешение. Разрешить — и он избавится от этого назойливого вопроса «Что делать?» Они стоят и ждут. Он должен позволить идти в эту яму, откуда можно и не вернуться. Должен разрешить этим троим, молодым и сильным, и их солдатам, еще более молодым, рисковать жизнью в мирное время.

А если не разрешить, никто не погибнет. Так он и должен сделать. Ведь вот в руках акт, его подписало много людей, другого выхода нет.

А заводы, дома, имущество мирного населения?

Нет, не легче стало полковнику от предложения офицеров.

Он молча сидел и злился на свою нерешительность.

В его собственной жизни не раз бывали трудные минуты, но как будто он всегда знал, что делать. Он быстро принимал решения, и, хотя они тоже были связаны с риском, сразу легче становилось их выполнять.

Впервые смелый, как ему тогда казалось, шаг он сделал в шестнадцать лет, в момент поступления в военное училище.

Оно находилось далеко за городом, и всех поступающих разместили в казармах. После экзаменов он не нашел себя в списке принятых.

— Почему? — спросил он.— Ведь экзамен сдан хорошо.

— Не хватило двух сантиметров в росте.

Но разве он виноват?

Когда непринятым предложили забрать документы и строиться для отправки в город, Миша Диасамидзе спрятался. Потом построили колонну молодых курсантов и направили в баню. Последним решительно шагал Миша. Из бани он вышел первым и первым получил обмундирование. Кому-то не хватило комплекта. Старшина сделал строгое замечание кладовщику за просчет, и все уладилось.

На первом же занятии во время переклички преподаватель не назвал фамилии Диасамидзе. Миша встал и заявил об этом. Не в меру ретивый старшина дал авторитетную справку, что Диасамидзе состоит в этой группе, и в журнале появилась его фамилия. Механически она перешла и в другие списки.

И все же почти через месяц Мишу разоблачили. Никто не мог понять, как он попал в число курсантов. После бурного заседания и взаимных упреков в потере бдительности начальник училища спросил:

— А все же как он показал себя?

— Знания отличные, дисциплина образцовая,— ответил начальник курса.

— По бегу и прыжкам в высоту занял первое место,— добавил физрук.

И люди смягчились, заулыбались.

— Будем считать, что два сантиметра в росте возмещаются его настойчивостью,— заключил начальник училища.

Так началась его военная жизнь, к которой он стремился буквально с детских лет.

Впервые военные способности молодого командира проявились во время боев у озера Хасан. И здесь было ясно, что делать: занять высоту 588,3 и держать ее до прихода подкрепления. Такой приказ получил командир учебного батальона комсомолец Михаил Диасамидзе.

Японцы не успели укрепиться и не ожидали удара: в этом районе, кроме учебного батальона, войск не было. Высоту взяли. А вот удержать ее обычными средствами при малых силах, когда самураи стянули сюда много войск, не представилось возможным.

С полночи и до рассвета японцы обрабатывали высоту артиллерийским и минометным огнем. Они вспахали каждый метр ее вершины. Ничто живое уцелеть там не могло.

Рано утром самураи пошли в атаку, хорошо зная, что серьезного сопротивления не встретят. Но у самой вершины на их цепи обрушился шквальный огонь.

Откуда же он взялся? Как уцелели солдаты Диасамидзе?

Очень просто. Он понял, что на высоте потеряет свой батальон под артиллерийским и минометным огнем. Блестяще организовав разведку, он увел бойцов вниз, и японцы били по пустому месту. А к моменту атаки советские воины, невредимые и отдохнувшие, уже сидели в окопах.

В двадцать семь лет коммунист Михаил Степанович Диасамидзе стал командиром полка. А еще через год он повел свой полк под Сталинград.

На серой бумаге фронтовой листовки тяжелого сорок второго года можно прочитать простые слова, полные величия и силы:

«Подвиг, совершенный полком Диасамидзе, выходит из рамок обычных представлений о человеческой выносливости, выдержке и воинском мастерстве.

В течение пяти суток, через каждые четыре часа враг штурмовал позиции полка... Немцы сбросили восемь тысяч бомб...»

Полк выстоял.

Крупнейшие поэты страны воспевали мужество и благородство героев, воспитанных Советской Родиной.

Николай Семенович Тихонов в газете «Известия» писал:

«Окидывая мысленным взором происходящее, мы слышим голоса славы, сливающиеся в дружный хор победы. Пространст-

ва, имевшие самые разные судьбы в прошлом, объединены сейчас одной судьбой. Народы, разобщенные вековыми несправедливостями, соединились под одним знаменем в общей борьбе.

...Голоса эпоса звучат как серебряная труба. Как с черными каджами, сражается с немецкими полчищами Герой Советского Союза, сын грузинского народа Диасамидзе. Искусны были герои грузинского древнего эпоса, но не уступит им Диасамидзе. Не к нему ли относятся слова безымянного певца седой древности, живописавшего подвиги Амирана, который, увидев бесчисленных врагов, встал, сошел, чтобы доказать им:

...Слава в ножнах не тупа,
Как шагнет он вражьей ратью,
всюду мертвая тропа.

Мертвой дорогой сделал Диасамидзе дорогу немецких батальонов, сожженными танками обставил ее, как факелами».

В знаменитой Сталинградской битве подполковнику Диасамидзе было очень трудно. Но его не мучил вопрос «Что делать?». Когда немецкие танки стали окружать его командный пункт, он приказал штабу перейти на запасный, а сам с двумя офицерами остался на месте, потому что обстановка требовала обязательного его присутствия именно здесь. Когда осколком снаряда ударило в бедро, он продолжал стрелять из своего противотанкового ружья, и ему было ясно, что иначе нельзя. Когда пулеметная очередь из танка пробила колено, тоже стало ясно: стрелять он больше не может. Но он успел подбить две вражеские машины, и столько же вывели из строя его помощники. А полк знал, что его командир находится на своем месте, и получал все необходимые приказания. И, когда его увезли в госпиталь, он знал, что делать: быстрее поправиться и снова в полк.

Всю войну Диасамидзе было очень трудно, но он не помнит случая, чтобы был в нерешительности или, тем более, совсем не знал бы, что делать.

А вот сейчас, в мирном городе, в мирное время, этот вопрос встал перед ним страшной неразрешимой проблемой.

Посылать людей на смертельный риск. Но разве раньше он не делал этого? Посылал. Но вместе с ними шел сам. А главное, тогда была война. Смертельный риск стал нормой поведения сотен тысяч людей.

Солдаты его полка совершили под Сталинградом беспримерный подвиг. Но, оказывается, вот сейчас, чтобы разобрать, увезти и уничтожить эту смертельную пирамиду, нужен такой же подвиг, который перекрыл бы человеческие представления о выдержке и воинском мастерстве.

Сумеют ли это сделать люди, стоящие перед ним?

Подтянутые, аккуратные, серьезные, в тщательно разглаженных кителях, с начищенными пуговицами и сапогами. Если бы он отбирал людей для парада...

Что толкает их идти на смертельный риск? Молодость, задор, лихость? Понимают ли, что им грозит? Как поведут себя, когда снимут начищенные и разглаженные кителя? Откуда уверенность? Будет ли она, когда останутся один на один со смертью?

У Горелика и Поротикова — семьи. Не о детях ли подумают, приступая к снарядам?

Если бы хоть раз побывал с ними в бою. Но разве только там можно узнать человека? Разве не знает он каждую черточку их характера?

Капитан Леонид Горелик... Восемнадцатилетним комсомольцем пришел он добровольно в армию в памятный сорок первый год с третьего курса железнодорожного техникума. Вся его жизнь — в армии. Вся его жизнь связана с взрывчатыми веществами, хотя был он командиром и стрелкового, и пулеметного, и снайперского взводов. Около шестидесяти тысяч мин, снарядов и бомб, наших и немецких, обезвредил он вместе со своими подчиненными. В самых трудных случаях он удалял всех и работал один. Личного счета он не ведет, но его товарищи говорят, что этот счет достигает десяти тысяч. Десять тысяч раз он был под угрозой смерти... Умные, проницательные глаза, высокий лоб... Это зрелый, бывалый командир, член партийного бюро части. Это мастер. На его выдержку можно положиться.

Старший лейтенант Георгий Поротиков... У него было пять братьев и пятнадцать сестер. Георгий родился двадцатым.

Шесть лет было ему, когда в первый раз он вступил в единоборство со смертью. В течение нескольких дней ему четырежды ставили свечки, чтобы «душа отошла». Но выдержал, и, будто назло всем смертям, Георгий вырос широкоплечим, высоким, атлетического телосложения.

Ему тридцать лет. Почти двенадцать из них он провел в армии. И почти двенадцать лет назад он впервые столкнулся с минами, снарядами, взрывателями. Был солдатом, сержантом, старшиной. Шесть лет носит офицерские погоны. Хитрости вражеских минеров познал не только по литературе. Собственными руками извлекал мины, снаряды, бомбы. Поротиков однажды обнаружил поле, усеянное «крыльчатками». Это крошечная бомба с пропеллером, похожим на крылышки. Ее сбрасывают с самолета. В момент падения она не взрывается, а взводится. Она очень красиво раскрашена. Увидев такую, трудно удержаться, чтобы не поднять ее. Но любое прикосновение к ней вызывает взрыв.

Поротиков собрал в кучу тысячу пятьсот «крыльчаток» и подорвал их. Как это удалось, едва ли можно понять. Есть в нем трудно постижимое чутье минера и ювелирная точность в пальцах.

Лейтенант Виктор Иващенко... Ему двадцать три года. На вид можно дать меньше. Наверно, для солидности он завел себе маленькие усики. Но это не помогает, потому что они светлые. Светлые волосы, большие-большие голубые глаза. Он подтянут, строен, аккуратен. Во всей его фигуре есть какая-то едва улови-

мая лихость. А вообще Иващенко словно родился офицером. Да это почти так и есть. Его отец, воспитанник Военно-воздушной академии имени Жуковского, погиб в сорок третьем году. Маленького Виктора определили в суворовское училище. В его аттестате двадцать оценок — двадцать пятерок. С такими успехами он закончил нормальное военное училище.

По соседству с Поротиковым всегда действовала группа Иващенко. Он отлично овладел техникой подрывника. Он может направить взрыв так, как задумает: в землю, в сторону, вверх. Он не теряется. У него мгновенная реакция. Однажды он поджег огнепроводный шнур, уложив шашку на груду снарядов. Спрятавшись в укрытие, ждал взрыва. Но взрыва не последовало. Просидев положенное время, пошел посмотреть, что случилось. Оказалось, часть шнура сгорела, а сантиметра четыре осталось. Видимо, в этом месте шнур был поломан и пороховая смесь раскрошилась. Но когда он приблизился к снарядам, остаток шнура воспламенился.

Четыре сантиметра шнура горят четыре секунды. Потом взрыв. Убежать уже невозможно. И Виктор бросился к снарядам, схватил шашку и швырнул ее далеко в сторону. А швырнуть далеко и сильно он может. Вот уже несколько лет Иващенко прочно удерживает первое место по штанге. И вообще человек он решительный. Однажды, сняв на колхозном поле более ста противотанковых мин, Иващенко заявил, что на данном участке их больше нет. Но тракторист начал сомневаться в словах юноши и к пахоте не приступал. А время было горячее, и председатель колхоза метался от тракториста к бойцам, не зная, что делать. Тогда Иващенко разозлился, посадил на трактор двух своих бойцов, и они вспахали все поле — восемьдесят семь гектаров.

Так поступает Иващенко при выполнении заданий. Но был случай, когда прорвалась в нем ненужная лихость после служебных дел. И суровое наказание было...

Полковник задержал свой взгляд на молодом лейтенанте. Ему вдруг стало жалко, что так строго наказали человека, но тут же вспомнился разговор, который ему передали. Когда Иващенко объявили приказ, он спокойно заметил: «Ну что ж, наказали за дело, а убиваться не буду. Пусть падают духом те, у кого нет веры в свои силы. Такие за первым взысканием получат еще десять. А я быстро выправлюсь». И это не осталось словами...

Умные и смелые люди. Мастера высшего класса.

— А вы хорошо понимаете, на что идете? — после долгой паузы спросил полковник.

— Так точно, товарищ полковник! — отрапортовал Иващенко.— Мы обо всем подробно говорили. Если потребуется, мы готовы жертвовать жизнью.

Полковник грустно посмотрел на него:

— Этого очень мало, лейтенант.

Что же еще можно требовать от человека, если он готов отдать свою жизнь?

* * *

Валя решила попросить внеочередной выходной день, а отработать в воскресенье. Не потому, что сегодня уезжает Гурам, а просто накопилось много домашних дел. Если бы она хотела из-за него, то незачем и выходной брать. Поезд отходит в шесть, а она кончает в пять. В крайнем случае, можно было отпроситься на час раньше.

Получив разрешение, Валя вернулась домой, помыла полы, кое-что постирала, прибрала в комнате. Чем заняться дальше, она не знала. Странно, казалось, так много дел, а вот забыла. Память какая-то стала...

Ну что ж, сегодня в столовую она не пойдет, а сварит себе обед на два дня. Если заглянет подруга, хватит и ее накормить. Пожалуй, на первое придется сварить суп с фасолью. Гурам прав, это очень вкусно.

В магазин она шла медленно, оглядываясь, но как только завернула за угол, начала торопиться. На счастье, в это время покупателей мало, и она не задержалась. По дороге домой вспомнила, что давно уже у нее лежит подворотничок Гурама. Машинально ускорила шаг. Ей теперь безразлично, будет ли у Гурама еще один чистый подворотничок, и, конечно, он не придет за этой тряпочкой, но постирать ее все-таки надо. Если явится, пусть не считает ее мелочной.

Подворотничок оказался чистым и лежал в ящике комода. Но раз уж она его достала, решила немного освежить и подкрахмалить.

Потом готовила обед, и тут выяснилось, что забыла купить лавровый лист, который очень нужен. Ей было страшно досадно. То и дело поглядывая в окно, она не могла решить: идти за ним или нет? Будь дома хозяйка, можно было бы сбегать. Нет, обойдется без лаврового листа. В магазине, конечно, сейчас много людей, а она взяла выходной не для того, чтобы торчать там.

Когда сварился обед, было уже четыре часа. Обычно Валя обедала в два. Но сейчас есть еще не хотелось. Села отдохнуть у окошка. То ли она сильно устала, то ли просто задумалась, но когда взглянула на ходики, был уже шестой час. Ей пришла мысль пойти прогуляться. В самом деле, почему она должна сидеть дома в выходной день.

Надев свое любимое платье, вышла, не зная, куда направиться. В центре можно встретить знакомых, начнут расспрашивать, почему в рабочий день гуляет, а объяснять не хотелось. Машинально пошла в сторону железнодорожного полотна, взобралась на высокую насыпь, и здесь ее внимание привлек вокзал и перрон, заполненный людьми.

Она смотрела на толпу, но неожиданно подошел поезд и все загородил. На каждом вагоне табличка «Москва — Батуми». За два часа до Батуми станция Ланчхути. От станции до дома десять минут ходу. Если много вещей, можно взять такси...

Какой длинный состав — четырнадцать вагонов! Первый багажный, потом почтовый. Ресторан почти в центре, а по бокам спальные вагоны прямого сообщения. Зачем, интересно, такие большие буквы, через весь вагон. Солдаты в таких вагонах не ездят...

Сквозь окна она видела, как в купе и в проходах суетятся пассажиры, и все это были незнакомые, чужие люди. На запыленной стенке вагона надпись: «Мягкий — 32 места»... А в жестком — шестьдесят. Значит, во всем поезде — шестьсот тридцать два... Сколько пассажиров! И каждого, наверно, кто-нибудь провожал, и всем уезжать очень грустно.

Нет, не всем грустно. Есть такие, которых ждут. Эти с радостью едут... Гурама тоже ждут — отец и виноградники...

Интересно, в каком он вагоне?.. Когда приедет домой, вторую кровать, приготовленную для нее, выставят...

До отхода поезда оставалось минут пять. Глаза забегали по вагонам. В тамбурах стало тесно, и теперь ничего не увидишь. И почему они все толпятся в проходах?

Мелькнула и скрылась за чьими-то спинами фигура солдата...

Со стоном тронулся поезд. Валя пошла, не отрывая глаз от вагонов, всматриваясь в каждое окно. А они уходили быстро, потом побежали, и вот уже в мелькающих стеклах все слилось. Отчетливо видна фигурка кондуктора с флажком на последней площадке.

Валя остановилась у маленькой березки, обхватив рукой ствол.

Поезд набирал скорость, извивался на стрелках. Потом вытянулся в прямую линию, несколько минут удалялся, и вдруг паровоз нырнул куда-то вправо, исчез и втянул за собой весь состав.

Стройная, худенькая, с выбившейся прядью волос, стояла Валя, держась за березку, и смотрела на длинные нити опустевших рельсов. Что она здесь делает и почему стоит? Из-за того же поворота, куда нырнул поезд, показался паровоз, а за ним красные вагоны. Товарный состав быстро приближался.

Ни о чем не думая, она сорвала с березки веточку, за которой потянулась полоска коры от молодого, неокрепшего ствола, и пошла обратно. На краю насыпи обернулась. Товарный поезд подходил к станции.

На стволе березки остался белый след, как оголенная рана. Заживет она или погибнет березка? Но Валя не смотрела на березку и не видела раны. Она спустилась с насыпи.

На улице было оживленно. Взад-вперед шли люди, проносились автомобили, автобусы, трамваи.

Валя смотрела по сторонам и видела незнакомый, чужой

город. Ей вдруг стало жаль маму. После смерти отца она осталась одинокой.

Откуда-то доносилась музыка, кто-то расхохотался у нее за спиной, громко кричала мороженщица, выхваляя свой товар... Она живет в этом большом и шумном городе, ей здесь весело, а мама совсем одна. Если в самые ближайшие дни к ней не переедет брат, как он собирался, Валя сама отправится к маме. Нельзя допускать, чтобы человек был одинок. Можно все перенести, кроме одиночества.

Незаметно Валя подошла к дому. Вот тут, на крылечке, они всегда прощались. Часто, сидя здесь, она ждала его. Старые, покосившиеся ступеньки, жиденькие перильца. Он все хотел поправить, да так и не выбрался. Ваня Махалов оказался прав. «Ты,— говорил он,— от Гурама не дождешься, поломать — он мастер». Гурам горячился, но тоже отшучивался, а вот так и не сделал...

Идти домой Вале не хотелось. Сидеть сейчас одной в комнате невыносимо. Хорошо бы Ваня с ребятами зашел. Но разве теперь они придут! Без Гурама никто из них никогда не приходил. А как их повидать, не идти же ей в казарму. Она бы, конечно, пошла, но стыдно.

Медленно и тяжело поднялась по ступенькам. Хозяйка еще не вернулась, в комнате было темно. Не зажигая света, Валя села на кровать. На аккуратную, беленькую, девичью кровать. Как же теперь жить?

* * *

Есть среди минеров мастера, обладающие не только знаниями, но и каким-то особым чутьем. В их числе и начальник штаба инженерных войск округа полковник Сныков. На его груди несколько рядов орденских ленточек и два ромба военных академий.

Все тайны мины, плоды самой изощренной фантазии вражеских «королей» минного дела, он познал не только в академиях, но главным образом в жизни. Он уже не молод, в движениях его пальцев, возможно, нет былой микронной точности, но обмануть его на минном поле невозможно.

Полковник Сныков срочно вылетел в Курск. По пути с аэродрома Диасамидзе подробно рассказал о создавшемся положении. Ему не терпелось узнать мнение Сныкова. А минер торопиться не может.

— Есть восточная пословица,— улыбнулся Сныков в ответ на вопрос Диасамидзе, с которым давно был знаком.— «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».— И уже серьезно добавил: — Я должен посмотреть сам.

У ямы собрались три полковника: Диасамидзе, Сныков и начальник политотдела Тарабрин. Наступил решающий момент и решающий смотр. Первым заговорил Сныков.

— Яму готовили очень опытные и умные люди,— сказал он.— Разбирать пирамиду, бесспорно заминированную, даже не-

медленно после закладки ее очень рискованно. Но прошло пятнадцать лет, и каждый год, каждый день и час работали против нас. Против нас были дожди, грунтовые воды, физические свойства металлов и многое другое...

— Так какой же вывод? — не вытерпел Диасамидзе.

— Вывод ваша комиссия сделала правильный,— твердо сказал Сныков.— По всем законам, по логике событий надо тщательно подготовить и осуществить взрыв на месте...

— Но меня поражает другое,— помолчав, продолжал Сныков.— Поражает, как проведены разведка и вскрытие грунта. Я думаю, что даже академическая разработка опытных военных инженеров не предложила бы лучшего решения. Мне кажется, что схема работ может служить образцом для офицерской учебы. И что еще более важно — точность и чистота, с какой выполнена схема и произведено вскрытие. Это очень большой и важный этап. И он уже пройден. Вывод о людях, я думаю, ясен,— закончил он.

Наступило долгое молчание. Каждый углубился в свои мысли.

Диасамидзе был горд оценкой, которую получили офицеры. В нем нарастала уверенность в их силе, в том, что они выполнят и следующий, наиболее важный этап.

О многом задумался полковник Тарабрин. Если бы еще день назад его спросили, кто лучшие люди части, наиболее дисциплинированные и знающие, на которых можно положиться, он, не задумываясь, назвал бы капитана Горелика, старшего лейтенанта Поротикова, лейтенанта Короткова, старшину Тюрина и еще многих воинов. Если бы предстояли какие-то всесоюзные испытания, он со спокойной душой послал бы этих же людей. Почему же он сейчас так задумался?

Всему личному составу рота Горелика ставилась в пример. На занятиях, конференциях и собраниях звучали призывы партийных работников равняться на эту роту.

И вот пришло испытание. Может ли он сейчас с такой же спокойной душой и совестью повторить свои слова о том, что они выполнят любое задание? И полковник вдруг чувствует, что не может.

Так что же, это была только шумиха или пустая агитация?

Полковник начинает придирчиво перебирать в памяти биографии и дела людей. При тайном голосовании в члены партийного бюро Горелик получил самое большое число голосов. А почему за него все голосовали? Потому, что он любит людей, дорожит ими, учит их; потому, что он скромен, исполнителен; потому, что в наиболее опасную минуту он удалил подчиненных и один разминировал бомбу; потому, что так он поступает всегда.

А вот вспомнился большой портрет младшего сержанта Ивана Махалова и очерк о нем в городской молодежной газете. Это его, начальника политотдела, спросила редакция, кто является лучшим воином части. И, перебирая в памяти два года службы

Махалова, он видел лишь примеры героизма на минных полях, мастерского владения техникой, горячего патриотизма.

А почему рисковал своей жизнью незаметный на первый взгляд Камил Хакимов? В тот памятный день в одном из районов Белгородской области заложили в канаву несколько десятков снарядов, извлеченных с колхозных полей, и подожгли огнепроводный шнур. И вдруг из лесу, где, казалось, и легковой машине не протиснуться, выскочил грузовик и направился к канаве. Хакимов бросился к снарядам и вырвал горящий шнур за несколько секунд до взрыва. Чем придирчивее полковник разбирал биографии людей, тем тверже становилась вера в них. Нет, не пустые слова говорил он раньше.

Так почему же он сейчас в нерешительности? Это ведь те же самые люди. Что же он боится проверки, когда до нее дошла очередь?

С той или иной оценкой можно пройти любую проверку. Но здесь цена проверки — жизнь людей. Есть же предел и человеческим возможностям. Выполнима ли вообще поставленная задача? Люди, которым он глубоко верит, берутся за нее.

— Что будем решать? — нарушил молчание Диасамидзе.

— Не лучше ли принять решение после разговора с ними,— предложил Тарабрин.

— Прежде чем составить окончательное мнение, мне надо задать им несколько вопросов,— добавил Сныков.

Разговор состоялся в том же кабинете директора гипсового завода, где теперь установили круглосуточное дежурство старшего по оцеплению.

— Понимаете, лейтенант Иващенко, этого очень мало,— повторил свои слова Диасамидзе, когда офицеры вошли.

Полковник снова заговорил, но тон его теперь был какой-то не официальный, а товарищеский, даже дружеский.

— Если вы готовы во имя Родины жертвовать собой, это хорошо. Но готовы ли вы жертвовать другими? Может быть, десятками людей. Ведь если придется делать взрыв на месте, не погибнет ни один человек. Можно вывезти оборудование предприятий, и ущерб будет не очень большой... Если же вы начнете работать и произойдет взрыв... Сами понимаете, что это значит.

— Так мы же не на смерть идем, товарищ полковник,— сказал капитан.— Ну к чему мне сейчас умирать? — улыбнулся он.— Мы с женой ждем ребенка, к празднику получаем квартиру, еду на курсы, о которых давно мечтал. Вот и Поротиков получает комнату в новом доме... Нет,— заключил он решительно,— мы выполним задание.

— Вот это-то меня и интересует,— вмешался Сныков.— На чем основана ваша уверенность? Как вы собираетесь действовать, понимаете ли, что пирамида внутри минирована?

— Разрешите докладывать? — спросил капитан.

— Прошу вас.

— Мы понимаем, что яма может быть минирована,— начал он,— но люди у нас опытные. Работать будем спокойно, не под обстрелом же, как на войне. Значит, сможем во всем спокойно разобраться. Просчета здесь не допустим. Главная опасность, по-нашему,— разрушения, причиненные снарядам. Но сейчас они не взрываются. Значит, и не взорвутся, если не растревожить их.

— Очень важная мысль! — не выдержал Сныков.— Это самое главное, капитан. Если, извлекая снаряды, вам удастся сохранить их в том же положении покоя, в каком они находятся, задача будет выполнена.

— Ну, а если в глубине полуразрушенного взрывателя обнаружится сыпь гремучей ртути? — спросил Сныков, помолчав.

— Мы думали об этом, товарищ полковник,— ответил капитан.— Решили так: снаружи на взрыватель наложим пластинку из глянцевого картона и забинтуем так, чтобы она не могла двигаться. Тогда внутрь не попадет ни одна пылинка. Такой снаряд придется отвозить, держа на руках...

— А вообще как думаете перевозить?

— В прицепе с песком. Мы отказались от первой мысли буксировать прицеп танком. Правда, в танке, на случай взрыва в пути, не пострадают люди. Но более вероятен взрыв от сильного сотрясения. Думаем, что бронетранспортер на резиновом ходу надежнее.

Полтора часа продолжалась беседа. Были обсуждены мельчайшие детали, предусмотрены десятки возможных неожиданностей.

Пока это была лишь беседа, еще никто не сказал, что офицерам позволят взяться за это дело, но такая мысль уже не казалась абсурдной, как в первый момент.

Через час в кабинете председателя облисполкома было принято решение: снаряды вывозить.

С этого момента все резко изменилось. Состояние раздумий, сомнений, нерешительности окончилось. Все пришло в движение. Как в бою, напряженно работал специально созданный штаб. Оказалось, надо решить уйму проблем, ответить на десятки вопросов, предусмотреть все возможные случайности, чтобы в ходе работ не было никаких задержек.

Руководство всей организационной работой взял на себя полковник Диасамидзе. Техническое руководство операцией легло на полковника Сныкова и его помощника подполковника Склифуса. Были разработаны конструкции многих приспособлений, инструмента, выбрана дорога для транспортировки снарядов и место их подрыва, вычерчены схемы различных промежуточных операций, определены средства и методы связи.

Готовились железнодорожники, работники предприятий и учреждений, находившихся в опасной зоне.

Политическую работу возглавили партийные и советские ор-

ганизации города: ее предстояло вести главным образом среди населения.

В середине дня капитан приказал собрать роту в Ленинской комнате. Он стоял на плацу и смотрел, как потянулись туда солдаты.

— Что скажут они сейчас? Как поведут себя?

На глаза вдруг попался рядовой Урушадзе. Капитан подозвал солдата.

— Вы разве не успели уехать? — спросил он и, не дожидаясь ответа, мягко добавил: — Вы уже отслужили, Урушадзе, можете заканчивать свои дела и ехать.

Слова командира переполнили чашу терпения Гурама Урушадзе.

— За что, товарищ капитан? — выпалил он, побагровев.

«За что?» — этот вопрос мучил Гурама весь день. Еще вчера он перестал понимать, что происходит. Началось с Вали. Чем больше он думал о ссоре с ней, тем более нелепым казался ему их разрыв. Что с ней случилось? Ее упрямство просто непонятно. А он вскипел и, как мальчишка, ушел. Что же это, шутки? Надо пойти к ней и серьезно поговорить.

Пойти к ней? Нет, этого он не сделает ни за что. Почему должен идти он? Ссору затеяла она. Отказалась ехать она. Что же он должен, бежать за ней? Нет, первого шага он не сделает. Если она поняла, что натворила глупостей, пусть найдет и способ исправить их. А если не поняла, значит, нет в ней души и жалеть о ней нечего.

Первую половину вчерашнего дня Гурам только об этом и думал. Но последующие события вытеснили мысли о Вале.

Группу солдат вызвали на разведку опасного и сложного объекта. Его не позвали. Это впервые за годы службы. Он всегда считался опытным разведчиком минных полей, и первым неизменно посылали его. Если направлялось два или три солдата, Гурама назначали старшим. Он ни разу не подвел командира.

Что же случилось теперь? Почему от него отказались? Почему вдруг перед самым отъездом он стал никому не нужен?

Солдатский день заполнен до отказа. Кто из солдат не мечтал в трудную минуту получить хоть один свободный часок! А если целый день? И отоспался бы вволю, и на речку б сходил, и в кино... Но это только мечты, которые никогда не сбываются. В зной и в чудесные летние вечера он в сапогах, часто с полным снаряжением, делает свое солдатское дело — несет службу.

И вот у Гурама совершенно свободный день. Но он не знает, куда себя девать. О нем все забыли. Он никому не нужен. Оговорили его, что ли? Он вдруг начинает понимать, что и отношение товарищей к нему резко изменилось. Все смотрят косо, почти не разговаривают...

Ну хорошо, этой девчонке любая блажь в голову может прийти, а что же с командиром, а? Он три года служил. Его

называли лучшим пулеметчиком и отличным минером. А теперь ему выразили недоверие.

Гурам хотел обратиться к лейтенанту или старшине, но их целый день нет. На несколько минут появился командир взвода. «Некогда, некогда, Урушадзе»,— бросил он на ходу и убежал.

Что же, так и уезжать домой? Поставить в штабе печать, тихонько собрать пожитки и так уйти из казармы, с этого плаца, где пережито столько горестных и радостных минут?..

На вечерней поверке, когда назвали его фамилию, он ответил особенно четко. Потом дежурный по штабу послал его со срочным пакетом к генералу на квартиру. Там долго сидел, пока генерал рылся в своих бумагах и что-то писал. В казарму попал после отбоя, ребята уже спали.

Даже это маленькое задание немного подняло настроение. С важными документами к генералу первого попавшегося не посылают. Ночью его снова одолевали мысли о Вале. А утром все, наскоро позавтракав, разошлись.

Есть ли более горькое чувство, чем сознание, что ты не нужен! Это чувство накалялось в нем, и к моменту сбора роты его горячая южная кровь билась в висках. О снарядах он был уже наслышан и понимал, что сбор роты в такое необычное время связан с особым заданием.

Таково было состояние Гурама, когда его остановил командир.

— За что, товарищ капитан? — повторил Гурам.— За что не доверяете?

— Отставить, Урушадзе,— спокойно и даже ласково сказал капитан.— Вы один из лучших солдат, но вы отслужили свой срок, а люди пойдут на задание, связанное с большим риском.

— Пока я не сдам в военкомат проходное свидетельство, до тех пор я — солдат,— твердо сказал Гурам.— Так вы меня учили.

Капитан улыбнулся. Конечно, в тоне Урушадзе было что-то такое, чего не должно быть в разговоре с командиром, какой-то вызов. Но было в словах солдата столько горькой обиды, такое неподдельное горе, что офицер не мог сделать ему замечания.

— Хорошо, рядовой Урушадзе, идите в строй.

Словно мать приласкала обиженное дитя. Пулеметчик, силач, солдат Гурам Урушадзе проглотил тугой комок, улыбнулся и, козырнув: «Слушаюсь, товарищ капитан», совсем счастливый пошел к зданию. Через несколько шагов он обернулся, взглянул украдкой на капитана и побежал, точно боясь опоздать.

Такое привычное, незаметное и простое слово «рядовой» будто согрело душу. Да, он рядовой, он в рядах, вместе со всеми, со всей великой армией. Он идет в строй.

Капитан подробно объяснил солдатам создавшуюся обстановку. Он не сгущал красок, но и не скрывал опасности.

— Нам надо шесть человек,— закончил он.— Пойдут только те, кто добровольно изъявит желание.

Первым поднялся младший сержант Иван Махалов. Лицо у

него было, как всегда, добродушное, на щеках ямочки, только немного удивленное. «Раз надо, сделаем, о чем разговор»,— казалось, выражал его взгляд.

Вторым встал Дмитрий Маргишвили, а дальше уже ничего нельзя было разобрать, потому что поднялась вся рота.

В помещении стало тихо. То, что произошло, не было неожиданностью для командира роты. И все же он с волнением ждал этой минуты. Она настала. Лучшего результата не могло быть, а сердце продолжало колотиться, и он ничего не мог произнести.

Со стороны каждый бы решил, что он думает — кого отобрать. Но этот вопрос у него был уже давно решен. Он лишь ждал, чтобы мысленно намеченные люди пошли добровольно. И они поднялись первыми. Капитан обвел взглядом присутствующих.

— На выполнение специального задания,— сказал он, отчеканивая каждое слово,— назначаются следующие товарищи: старшина Тюрин Михаил Павлович, сержант Голубенко Василий Иванович, младший сержант Махалов Иван Аркадьевич, рядовой Хакимов Камил, рядовой Маргишвили Дмитрий Иванович, рядовой Урушадзе Гурам Сарапионович. Названным товарищам остаться, остальным разойтись!

Через несколько минут прибыла еще одна группа воинов-добровольцев, выделенных в распоряжение капитана из других рот. Это были: специалист по взрывам электрическим способом лейтенант Селиванов Анатолий Антонович, лучший водитель бронетранспортера рядовой Солодовников Николай Макарович и радисты-отличники: рядовой Чекрыгин Александр Николаевич, рядовой Бочаров Иван Васильевич.

Капитан начал инструктаж. Последний инструктаж перед завтрашним днем.

...Уже темнело, когда он возвращался домой. До чего же глупо все получилось. Дома его ждут гости. Наверно, все собрались. Они принесли подарки ко дню его рождения. Они будут поздравлять его. Они хотят веселиться.

Ну что ж, придется веселиться. Иначе он поступить не мог. Рассказать все Полине в ее состоянии бесчеловечно.

В комнату он вошел веселый, улыбающийся. Встретили его шумными приветствиями. Никто не догадался остановить патефон, и все старались перекричать ансамбль песни и пляски имени Александрова, исполнявший «Красноармейскую походную».

* * *

Старшина Тюрин поднял группу в пять тридцать. Вся казарма спала. Только этим и отличался сегодняшний подъем от остальных. Так же, как всегда, тщательно заправляли койки. Так же быстро умывались и ели ту же нехитрую солдатскую пищу. И все же что-то особенное было в начавшемся дне. Построились во дворе, на краю огромного учебного плаца.

Хмуро, туманно, зябко. Маленькая группа советских воинов.

Люди шести национальностей из шести советских республик, спаянные солдатской дружбой и дисциплиной, единые в стремлении выполнить свой долг перед Родиной.

Все ли они вернутся на этот плац?

Командир роты сказал последние напутственные слова. Он не отличался красноречием, и все, что было сказано, Иван Махалов слышал не один раз. Но сегодня эти знакомые слова звучали иначе, в них открывался новый, особый смысл.

Если разобраться, то Иван был не очень доволен службой. Уже с первых ее дней секретарь партийного бюро Баскалов рассказывал солдатам о древнем русском городе Курске. Может быть, здесь, где стоит их казарма, шли битвы против татар, монголов и половцев, где-то здесь шла кровавая резня князей, с этим городом связана история русского государства.

Неисчислимое количество битв происходило на курской земле. Но больше всего от бесед Баскалова осталось в памяти «Орловско-Курское направление». Дважды знала Советская Родина это направление. 15 октября 1919 года Ленин и партия указали на его первостепенное значение и послали сюда лучших своих людей. Ворошилов... Орджоникидзе... легендарная конница Буденного... Здесь наголову был разбит Деникин, рвавшийся к Москве. Вот это были схватки! Но и их превзошли сражения на Орловско-Курском направлении во время Великой Отечественной войны. Здесь рождались герои, здесь гибли герои, покрывая себя бессмертной славой. А кто в девятнадцать лет не мечтал стать героем!

И грустно было Ивану Махалову, что ему досталась только учеба, строевая подготовка, караульная служба, а если нет провинившихся, то и очередные наряды на кухне. Сиди и чисти картошку. И как нарочно, одна за другой шли беседы о боях, проведенных частью, куда он пришел служить.

Иван Махалов словно видел весь ее боевой путь. Он живо представлял себе картину, как, окруженные со всех сторон гитлеровцами, насмерть сражались его однополчане; как в самый трудный момент комиссар Ермаков, оставаясь во главе бойцов, передал старшине Суровову знамя и приказал вынести святыню части из огненного кольца.

Здесь, на плацу, где стоял теперь Иван Махалов, он принимал присягу под этим боевым, простреленным знаменем.

Да, было время... Сражения, штурмы, пороховой дым... А ему и вспомнить нечего будет. И все-таки он думал: «Ну что ж, и я бы смог...»

Капитан подал команду «Вольно!», но приказал не расходиться.

Всем, кто был сегодня на плацу, приходилось участвовать в парадах, смотрах, от них всегда требовали подтянутости, чистоты, аккуратности, и они старались выполнять эти требования. Да, попробуй не выполни: увидит старшина, командир взвода,

командир роты или старшие командиры, уж кто-нибудь да обязательно заметит несвежий подворотничок или другой непорядок. Будет стыдно.

В эту минуту на плацу едва ли кто сделал бы им замечание. Но все машинально подтягивались, поправляли друг на друге одежду, ремни. Во всей обстановке плаца, такой знакомой и привычной, было сегодня что-то новое, неизведанное.

Приглушенно, точно перед выходом в бой, гудел мотор бронетранспортера. Он стоял неподалеку, но сквозь туманную дымку виднелся лишь его угловатый силуэт. На фоне тяжелого серого неба одиноко поднимались два высоких столба с толстой перекладиной и недвижно спускались вниз кольца на длинных веревках. Немного дальше — черные громады затянутых в брезент танков.

Никто не ощущал страха. Было торжественно, радостно и немного жутко.

— К машине!

Быстро и бесшумно заняли места в бронетранспортере. Рядом с водителем Солодовниковым сел командир роты.

Тишина.

— Все на местах? — оборачивается капитан.

— Так точно! — отвечает старшина Тюрин.

— Поехали!

Будто прожекторы, ударили фары. Сильнее загудел мотор, машина тронулась, медленно обогнула здание и осветила одинокую фигурку с автоматом у шлагбаума.

Часовой прикрылся рукой от света, и Солодовников тут же погасил фары.

Туман рассеялся. Начиналось хорошее осеннее утро. Бронетранспортер выехал на улицу Дзержинского. Она пересекает две крутые горы, на которых стоит город. Первые трамваи уже спускались с этой немыслимой крутизны, миновав седловину, карабкались вверх к центральной площади города — площади Ленина. Как удерживаются они на рельсах, почему не летят, не кувыркаются, трудно понять.

Тормозя двигателем, Солодовников спустился вниз, а потом долго выбирался на гору. Преодолев подъем, быстро миновали короткую прямую улицу Ленина, и перед солдатами открылся как на ладони Кировский район. Со всех улиц и переулков шли люди и, точно горные ручейки, стекались на широкую центральную магистраль, к которой приближался бронетранспортер.

Десять тысяч человек покидали район.

Из дома в дом, из квартиры в квартиру шли агитаторы, терпеливо объясняя необходимость оставить свои жилища, поторапливали, помогали престарелым. Жители и раньше знали о том, что им придется временно эвакуироваться. Трижды в день по радио передавали наименования улиц, переулков, площадей, попавших в опасную зону. И все-таки только теперь в полной мере ощутилась эвакуация.

С горестным чувством уходило население.

Вот красивый особняк. В большой комнате на столе посуда, остатки завтрака. Девушка перед зеркалом, торопясь, пудрится, красит губы.

— Верочка,— говорит пожилая женщина,— выпей хоть стакан чаю, что сегодня за наказание...

— Некогда, мам, трамваи не ходят, я на работу опоздаю.

Схватив чемоданчик, убегает.

Женщина идет в соседнюю комнату. Возле письменного стола с выдвинутыми ящиками высокий, энергичный человек в пенсне. Это, может быть, врач, инженер, преподаватель... Он укладывает в чемодан бумаги.

— Боже мой, второй чемодан! — всплескивает она руками.— Ты же сам сказал: «Все будет цело, ни одной тряпочки не брать».

— Да, да, да — ни-че-го. Ничего, кроме рукописи.

— А черновики зачем? — кивнула она на нижний ящик.— Ты их уже десять раз переписал.

— Надо! — в сердцах говорит он.— Это плоды всей моей жизни. Пойми ты наконец.

Раздается звонок, женщина выходит.

Он бросает в чемодан бумаги из ящиков, со стола, и вдруг взгляд его останавливается на фотографии жены. Воровато оборачиваясь, кладет карточку в чемодан, быстро накрывает пачкой бумаг.

Входит жена.

— Это агитаторы, просят поторопиться...

В соседней квартире идет спор. Молоденький агитатор, паренек с комсомольским значком, убеждает пожилую женщину, которая не собирается уходить.

— Вы говорите вещей не брать? — спрашивает она.

— Конечно нет, все будет в полном порядке,— с готовностью отвечает юноша, не подозревая подвоха в вопросе.

— Так зачем уходить?

Паренек не сразу находит ответ, а она уже снова наступает:

— Нет, уж раз взялись вывезти снаряды, значит, вывезут.

Не добившись результата, паренек уходит. Через несколько минут появляется бригадир агитаторов, такая же пожилая женщина, как и хозяйка.

— Вы тоже агитатор? — удивляется та. Ей становится неловко.— Ну уж пошел, нажаловался... Видите, вот собралась, сейчас ухожу...

А паренек уже на пороге следующего дома. Дверь в комнату приоткрыта. Пожилой человек, взобравшись на стул, снимает портрет молоденького офицера в форме летчика первых лет войны с орденом Красного Знамени.

— В простыню обернем, и будет хорошо,— отвечает он на вопрос жены.

Она грустно всматривается в портрет, так похожий на мужа.

Паренек кашлянул, постучал.

— Вам не нужна помощь?

— Нет, нет, сейчас уходим...

На углу, в крохотной мастерской, копошится старый часовщик. Он бережно собирает колесики, пружинки, инструмент, упаковывает в бумагу, укладывает пакетики в маленький чемодан.

Рядом суетится совсем седая старушка.

— Так все разбросать по всей мастерской надо уметь,— говорит она незлобиво.

— Очень просто, я думал, что мне уже не придется больше эвакуироваться.

Он вздыхает, смотрит куда-то в одну точку, как бы сквозь стену.

— Так о чем же ты думаешь? Надо ведь собираться.

Военный комендант города подполковник Бугаев, проверив трассу предстоящей транспортировки снарядов, объезжает улицы. Его знают все агитаторы. Он направляется туда, где совсем трудно. Заупрямится вдруг человек, и никакие доводы на него не действуют. В каждом массовом мероприятии обязательно находятся такие люди.

Бугаев останавливается возле только что отстроенного домика. Веранда еще не закончена. Во дворе строительный мусор.

— Не уйду, не уйду,— кричит седая женщина,— помру здесь, а дом не брошу...

Агитатор пытается успокоить ее, что-то сказать, но она не дает и слова вымолвить:

— В сорок втором уходила, дотла все сжег изверг... Каждую копейку берегли, недоедали, строили...

— Успокойтесь, мамаша,— вмешивается Бугаев,— что тут происходит?

Подполковник не говорит ей того, что она уже знает. Он находит другие доводы:

— Почти десять тысяч человек уже ушли. Возле снарядов будут стоять солдаты и ждать, пока не уйдете вы. Такой приказ. И все люди будут ждать. Пока хоть один человек останется в опасной зоне, работы не начнутся. Понимаете?

Он долго и терпеливо объясняет разницу между эвакуацией сорок второго года и этой. Женщина плачет, но начинает собираться.

Чем ближе подъезжали солдаты к Кировскому району, тем больше попадалось встречного транспорта и пешеходов. Только один бронетранспортер двигался в направлении к станции. Километра за два до предстоящего места работы машина уже с трудом пробиралась сквозь густую толпу.

Свертки, сумочки, корзинки, чемоданчики, а у некоторых даже узлы.

Вот жена железнодорожного слесаря Александра Петровна

Павлюченко догоняет жену пенсионера Полярного, нагруженную узлом.

— Ты что же навьючилась, на новую квартиру переезжаешь? — насмешливо спрашивает Александра Петровна.

— А как же без теплого уходить! — оправдывается та.— Ты ведь небось все в подвалы снесла, а у меня подвалов нет.

— И не подумала даже! Раз сказали — вывезут снаряды, значит, вывезут.

Большинство людей шло спокойно, без паники, глубоко веря, что все окончится благополучно.

— Я уж за все дни в кино отхожу,— говорит домохозяйка Александра Парменовна Белевцева.— А то с этими домашними делами никогда не вырвешься. Как начну с крайнего, так все по очереди и обойду,— смеется она.

— А я по магазинам,— отвечает ей идущая рядом соседка.— Давно собираюсь, да все не получалось.

Одни шли к родственникам, другие к знакомым, третьи на работу. У каждого нашлись дела в городе или место, где можно будет спокойно отдохнуть до вечера.

Вместе со всеми шла и Валя. И мастерская, и дом оказались в опасной зоне. Она шла медленно, машинально разглядывая необычное шествие.

Вот девушку с чертежной доской, рейсшиной и рулоном чертежей обгоняет группа оживленно беседующих мальчишек. В руках у одного большой альбом с надписью на обложке: «Почтовые марки СССР». Второй аккуратно несет на плече модель парусного корабля, третий с рыболовными снастями. В стороне от них одиноко и угрюмо шагает мальчик, держа на весу аквариум. Лицо у ребенка грустное, задумчивое. Тяжело ступает железнодорожник. За спиной у него два охотничьих ружья, в руках узел с радиоприемником. Отчаянно визжит, вырывается из рук женщины завернутый в мешок поросенок. Близорукий юноша в очках читает на ходу книгу. Он то и дело натыкается на людей, толкают и его, и он каждый раз извиняется, но продолжает читать.

Валю обгоняют какие-то степенные люди.

— Вот уж не повезло, и не придумаешь ничего,— сокрушается человек в кепке.— За двенадцать лет собралась навестить нас, стариков, и на́ тебе, в такой день едет.

— А вы бы ей телеграфировали, пусть задержится на пару дней.

— Так с поезда ведь сообщила... И где она искать нас будет?

— Встретить надо, объяснить, так, мол, и так...

— Где там! Не пускают и близко к вокзалу...

Очень смешно выглядит совсем молодой парень. Левой рукой он неловко прижимает к себе ребенка, правой — тяжелый аккордеон.

— Не плачь, сынок, не плачь,— говорит он,— мы к маме

на работу пойдем, она нас покормит. Вот только спрячем аккордеон у дяди Васи, а маме скажем, что все сделали, как она велела. И не тащились мы с этим аккордеоном, понял?

Но вот показывается бронированная машина. Возле фар, на кабине, на бортах трепещут красные флажки. Люди останавливаются, с интересом и уважением смотрят на солдат, машут руками, что-то кричат. Иван думает, надо бы и в ответ помахать руками, смотрит на своих товарищей, но лица у них серьезные, строгие. Иван начинает обращать внимание, что и сам он сидит, словно по команде «смирно». Нет, это он не специально так напыжился. Такое у него состояние, будто только сейчас почувствовал всю страшную ответственность, какая на него ложится.

Не отчетливая мысль, а какое-то подсознательное чувство заставило его быть перед лицом народа в эту минуту подтянутым, уверенным, строгим.

Иван Махалов смотрел на людской поток, но ни одного человека в отдельности не видел. Перед ним был народ, который послал его, солдата Советской Родины, совершить подвиг. Он давал присягу верно служить народу. Но это слово — народ — такое огромное, всеобъемлющее, святое, можно было понять только разумом. Впервые в жизни он чуть ли не физически ощутил величие этого слова.

Во имя безопасности тысяч людей, проплывающих перед глазами, он идет теперь на смертельный риск. И он шел с полным сознанием опасности, гордый и спокойный, сын русского народа, на глазах у своего народа.

Громко сигналя, обгоняя прохожих, идут навстречу броневику легковые санитарные машины. Это выпускники медицинского института вывозят больных гриппом. Медленно движется бронетранспортер. Его догоняют несколько грузовиков с милицией и солдатами. Это оцепление. Пятьсот шестьдесят человек с красными флажками оградят опасную зону во время работы. Откуда-то появляются пожарные и санитарные фургоны. Они идут на заранее отведенные для них посты.

Валя уже не смотрела на окружающих. Опустив голову, она шла печальная, одинокая в этой огромной толпе, не зная, куда ей деться: никого знакомых за пределами района не было. Ее внимание отвлекли шум мотора и усилившееся оживление в толпе. Взгляд безразлично скользнул по фарам, по кабине, по угловатой броне кузова и замер, оцепенев.

— Гурам,— прошептала она только одними губами.

А людской поток, точно наткнувшись на волнолом, обтекал машину, потом сомкнулся за ней, захватив Валю, как в водовороте.

— Гурам! — закричала она и, расталкивая людей, бросилась вслед.

Бронетранспортер уплывал, все большее расстояние отделяло

его от Вали, а она бежала, натыкаясь на людей, пока не вырос перед ней лейтенант, командир поста оцепления:

— Нельзя!

Это была граница запретной зоны. Тут и осталась она стоять, не спуская глаз с бронетранспортера, пока он не скрылся за поворотом.

До сих пор личное горе Вали заслоняло, как бы затуманивало происходящие вокруг события. Сейчас надвигающаяся опасность встала перед ней во всей страшной наготе: Гурам поехал туда, где лежат эти смертельные снаряды, откуда уходит все население.

Какой мелкой, какой ничтожной показалась вдруг ссора с ним.

У Гурама Урушадзе было такое же состояние, такой же глубокий внутренний подъем, как и у Ивана Махалова. Он не заметил Валю. За шумом мотора он не услышал ее. В этот день он и не думал о ней. Лишь в какие-то секунды проплывет вдруг ее лицо и так же быстро исчезнет. Но вот машина завернула за угол, и что-то больно и радостно отдалось в сердце. Он упрямо не хотел взглянуть на домик, который должен вот сейчас показаться, хотя знал, что никого там не может быть. Он посмотрел на этот одинокий домик, на палисадник и крылечко. Крылечко с ветхими перильцами и скрипучим порожком. Так и не довелось поправить.

И он понял, какая это чепуха их ссора, что не может он без Вали уехать, как и она не сможет без него... А если не доведется сказать ей об этом?

В такой ранний час непривычно людно в кабинете председателя райсовета Ивана Тимофеевича Нагорного.

— Из дома шестнадцать по Железнодорожной ушли все!

— Дом три на Куйбышевской готов!

— Улица Герцена закончена полностью!

Это ответственные за дома, кварталы, улицы докладывают: население покинуло свои жилища. И вот уже весь район оцепления опустел. Только одна машина подполковника Бугаева и начальника милиции объезжает затихшие улицы.

В конторе путейцев расположился штаб. Сюда пришли руководители района, председатель горсовета, директора остановившихся предприятий. И так непривычно выглядит здесь радист с походной рацией.

— «Резец», «Резец-один», «Резец-три»! — раздается в эфире.— Я «Резец-два». У аппарата полковник Сныков. Готовы ли приступить к работе? Прием.

— Докладывает лейтенант Иващенко. Люди на местах, делаем ямы для снарядов.

— Говорит заместитель начальника станции Химичев. Паровозы и вагоны из южного парка угнаны. Поездов на подходе нет.

— Докладывает капитан Горелик! Все на местах. Транспортер

в укрытии, прицеп подготовлен к погрузке. Разрешите приступить к работе! Прием.

— Приступайте! В случае обнаружения установки на минирование докладывайте немедленно.

Взвились в воздух три красные ракеты. Тревожно завыла сирена. Это сигнал для населения. Теперь никто уже не приблизится к запретной зоне.

По закону с взрывоопасными предметами может работать только один человек. Но сейчас это немыслимо: дело затянулось бы на много дней. Над ямой склонились два офицера и три солдата. Работа началась. Тончайшая ювелирная работа над огромной массой земли, над глыбами стали, чугуна, меди, над тоннами взрывчатки и сотнями оголенных взрывателей.

Глядя на приготовленный инструмент, можно было подумать, что здесь собирается самая младшая группа детского сада. Крошечные совочки, тяпочки, крючки, лопатки составляли главные орудия труда воинов.

Сейчас самый страшный враг — земля. Снят только один верхний слой. Она под снарядами, она спрессована и зажата между ними, она налипла на взрыватели, и неизвестно, что в ней спрятано. Надо очистить землю, не касаясь металла, надо нащупать, что внутри.

У каждого своя граница, четко обозначенная, полость, которую предстоит вскрыть. Едва ли всякий хирург, производя сложную операцию, работает столь трепетно, с таким напряжением воли, нервов, всех своих сил, как пришлось действовать сейчас воинам. Работали молча, сосредоточенно. И вот уже снята, очищена, сдута каждая крошка земли со всего эллипса площадью в шестьдесят квадратных метров. Стало видно, какой снаряд брать первым. Солдаты уже подошли к нему.

— Отставить,— предостерегающе поднял руку капитан.— Каждому ясно, что из всей пирамиды сейчас можно брать только этот снаряд,— сказал он.— На это мог и рассчитывать враг. Действовать только по команде. Ни одного самовольного движения.

Капитан сообщил, какие последуют приказания и как их выполнять.

У 203-миллиметрового фугаса лицом к нему становятся Иван Махалов, Дмитрий Маргишвили, Камил Хакимов.

— Приготовиться!.. Взяться!.. Приподнять! — звучат команды.

Такой тяжелый груз хорошо бы приподнять рывком. Но это категорически запрещено. Его надо не оторвать, а отделить от земли, как отделяют тампон от раны. И приподнять только на один сантиметр. Таков приказ.

Лежа на земле, капитан и старший лейтенант Поротиков с противоположных сторон смотрят, не тянется ли к снаряду проволока. Они очищают землю снизу.

— Поднять! — раздается новая команда.

Тяжело разгибаются спины.

Обычно, если человек несет большой груз, он идет «рывками». Каждый шаг — рывок. Но здесь рывков не должно быть. И три солдата, три спортсмена-разрядника, тесно прижавшись друг к другу, движутся как один механизм. Нельзя качнуться, нельзя оступиться, нельзя перехватить руку. Плывет снаряд весом более семи с половиной пудов. Его шероховатое с острыми выступами, изъеденное ржавчиной тело впивается в ладони. Это хорошо: он может содрать кожу, но не выскользнет.

К огромному с открытым бортом прицепу, на одну треть заполненному песком, ведет помост — земляная насыпь. Медленно над ней плывет снаряд.

И вот уже все трое ступили на прицеп. Ноги вязнут в песке. Впереди для ноши приготовлена выемка — «постель». Снаряд опускают туда бережно, нежно, будто кладут в постель ребенка.

Теперь надо идти за вторым. Но на поверхности нет ни одного снаряда, который бы можно брать, не задев соседних. Если приподнять с одной стороны тяжелый снаряд, из-под него можно вытащить более легкий. Тогда освободятся еще два.

Снова тщательный осмотр. Тонкими стальными пластинками офицеры ощупывают зазоры между снарядами. Никакого подвоха или ловушки нет. По команде Махалов берется за верхнюю часть корпуса, не касаясь взрывателя, и приподнимает болванку. В руках не меньше трех пудов, хотя второй ее конец имеет опору. В таком положении остается, пока не извлекают длинный снаряд. Он сильно проржавел, полуразрушен. Его надо брать особенно осторожно. Зато он длиннее первого, и четверым хватает места взяться за корпус. Несут бережно. Два офицера по краям, солдаты посредине.

Ивану можно опустить свою ношу. Хорошо бы бросить проклятую глыбу. Он медленно нагибается и застывает, низко склонившись над землей. Он видит: снаряд ляжет глубже, чем был, и левая рука окажется между двумя стальными телами. Надо бы чуть-чуть отвернуть снаряд в сторону. Но тогда пошевелится еще один.

Махалов оборачивается. Люди только поднимаются на прицеп. Держать нет больше сил, очень неудобная поза. Иван медленно опускает свой груз, обдирая кожу на руке. Это не страшно. Тыльной стороной работать не придется.

Он высвобождает руку, прячет ее за спину. Все уже вернулись к яме. Рука становится липкой.

За большим кирпичным домом стоит санитарная машина. Хорошо бы сбегать туда. Но врач запретит продолжать работу. Сказать командиру роты нельзя. Он сделает то же самое. Стоять и раздумывать совсем нельзя. Сейчас будет очередная команда, все увидят и его отстранят, еще и с замечанием...

— Разрешите отлучиться, товарищ капитан,— смущенно улыбается Махалов.

— Самое подходящее время для отлучки,— глубокомысленно замечает Маргишвили.

Капитан слышит реплику и строго говорит:

— Отставить, Маргишвили.— И, кивнув в сторону Махалова, добавляет: — Идите.

Иван бежит за переезд. Там водопроводная колонка, оттуда никто его не увидит. Он обмывает руку, засыпает пораненное место землей: уж лучше потом он повозится с рукой, чем сейчас его отстранят.

...Шестнадцать снарядов откопали, перенесли и уложили, не сделав ни минутного перерыва. Носили все пятеро. После такой тяжелой работы руки немного дрожат. Грузчику, например, всегда трудно обращаться с маленькими хрупкими вещами.

А вот теперь надо снова очищать землю. Надо, чтобы руки не дрожали. И уже не за рукоятки, а за лезвия саперных ножей берутся люди. Берутся так, чтобы жало выступало между пальцами, как безопасная бритва из станочка. И вдруг высоко над головой вспыхивает огромная красная лампа. В ту же секунду сильный и резкий звонок, как на железнодорожном переезде, оглашает все вокруг. Это сигнал о том, что идет пассажирский поезд. И в подтверждение голос в эфире:

— «Резец»! «Резец»! Я «Резец-три». В поле зрения поезд Москва — Тбилиси. Прекратите работу.

— А-а, черт его несет! — в сердцах бросает капитан.

— Это за мной подали,— тихо говорит Маргишвили, обращаясь к Махалову.— Мне в Тбилиси пора.

Шутку слышат все, и все улыбаются.

Молодой инженер коммунист Георгий Химичев и видавшие виды два старших стрелочника Никита Николаевич Красников и Федор Ананьевич Холодов, находясь в трехстах метрах от склада снарядов, заменили в этот день большой штат станционных работников. Они готовили маршруты на опустевших путях, они зорко следили за движением поездов, их команду слушали паровозники, движенцы, связисты. По их приказам останавливали работу солдаты.

...Спустя несколько минут лампа погасла, умолк звонок. Химичев сообщил по рации, что можно продолжать работу.

Иван Махалов счищает землю. Вот он сбрил тоненький слой и протянул нож, чтобы снова пройтись по этому же месту, и вдруг резко отдернул руку. На сердце будто растаяла мятная конфета — сердце обдало щемящим холодком. Это был не страх. Страшно, наверно, бывает под пулями. Было жутко. Под слоем земли, которую он собирался снять, будто вздулась тоненькая, как кровеносный сосуд, жилка. Она шла от взрывателя снаряда и исчезала где-то между другими болванками. Сердце обдало

холодком, в то мгновение, когда он понял, что это не жилка, а проволочка, такого же цвета, как земля.

— Что случилось? — спросил Поротиков, обратив внимание на застывшего солдата.

Махалов ничего не ответил. Он молча показал рукой на жилку.

— Все в укрытие! — скомандовал старший лейтенант.

Солдаты молча поднялись и пошли.

Поротиков внимательно осмотрел изъеденную временем проволоку. Местами сохранилась изоляция, сгнившая, мягкая, как глина. Местами видны тоненькие, оголенные нити.

Старший лейтенант берет узкий обоюдоострый нож, вернее, что-то среднее между ножом и шилом. Начинается в самом полном смысле слова граверная работа.

Оказалось, что проволочка укреплена к колечку чеки, вставленной во взрыватель. Чека диаметром не больше двух миллиметров сделана, видимо, из особого сплава. Железная давно бы превратилась в труху. Но и эта проржавела так, что и не поймешь, на чем держится. Кажется, предусмотрели все, а вот лупу не взяли. Как бы хорошо сейчас посмотреть на минное устройство через увеличительное стекло. Но разве можно было додуматься, что, разбирая десятки кубометров снарядов и земли, они будут нуждаться в лупе?

Будь это новая установка, чеку легко придержать рукой, чтобы не выскочила, и перерезать проволоку. Но сейчас к чеке прикасаться нельзя. Кажется, что она может переломиться от ветра. Тогда ничем не удерживаемая больше пружина разожмется, острый стержень ударит в капсюль. Взорвется весь склад.

Запыхавшись, прибежал капитан.

— Да-а,— протянул он, посмотрев на чеку.— А ведь в снарядах такого калибра чеки не бывает. Специально сделали.

Решили искать, куда ведет второй конец шнура. Теперь за шило-нож взялся капитан. Он освободил от земли сантиметров сорок проволоки, когда показался второй конец. Видимо, шнур был закреплен за другой снаряд и просто перегнил в этом месте. Расчет врага стал ясен. За какой из двух снарядов ни возьмись, чека выскочит.

Одну за другой переламывает капитан тонкие нити проволоки у взрывателя.

— Ну что ж, все? — говорит капитан.

— Похоже, что так,— отвечает старший лейтенант.

— А если он боковой взрыватель поставил и отвел штук десять проводков в стороны?

— Нет, не может быть. За пятнадцать лет грунт сильно осел, проволочки натянулись бы и выдернули чеку.

— Верно,— соглашается капитан.— Но попробуем проследить за мыслью врага. Прежде всего решим: опытный это был минер или нет?

— По всему видно — мастер.

— Согласен. Рассуждать он мог так. Если придут просто наши солдаты, они поднимут снаряд, чека выскочит. Больше ему ничего не надо. Но, конечно, он рассчитывал на то, что за дело возьмутся саперы. Они обнаружат чеку, перережут проволочку, проверят, не тянутся ли проводки в стороны. Верно?

— Безусловно, так.

— Значит, все это он предвидел. Значит, придумал еще что-нибудь. Мог он от донного взрывателя вниз проволочку пустить?

— Думаю, нет.

— Почему?

— Потому, что мастер. Понимал, что уж если мы в такой пирамиде обнаружили верхнюю чеку, то обязательно будем искать и с боков и снизу.

— На всякий случай все же проверим. Если ничего нет, значит, наверняка где-то спрятана более хитрая штука.

А солдаты тем временем сидели в укрытии и мирно беседовали.

— Смотри-ка, забыл капитан доложить, что установку нашли,— говорит Хакимов.— А ведь полковник ему приказал...

— Ничего не забыл,— перебивает Махалов,— он боится.

— Чего боится?

— Что запретят разминировать.

— Да-а,— вступает в разговор Маргишвили,— ох и подбросило бы нас!

— А что, неплохо,— улыбается Махалов,— мы бы в спутников превратились.

Солдаты дружно смеются.

— А завтра в газетах,— важно говорит Хакимов,— напечатают: «Помкомвзвода младший сержант Иван Махалов совершает свой пятый виток вокруг земного шара...»

— И догоняет ракетоноситель,— подхватывает Маргишвили.

— А что ты думаешь! — степенно замечает Махалов.— И догнал бы. Сел бы поудобней, и пусть носит. На то он и носитель.

...В кузов уложили снаряды. Выехал из укрытия на своем бронетранспортере Солодовников. Теперь все зависит от него. Крюки должны быть соединены без толчка. Подняли тягу прицепа, воткнули в землю палку. Надо подъехать так, чтобы крюк коснулся палки. Солодовников сдает машину назад, его движение с обеих сторон корректируют офицеры. И вот крюк накинут и поставлен на предохранитель. Остается натянуть тягу.

— На один сантиметр вперед,— командует капитан.

Все. Можно ехать. Командир роты садится рядом с водителем. Старший лейтенант Поротиков по рации получает разрешение на выезд. Вздымается вверх красная ракета. Первый рейс начался.

— Трогайтесь так,— говорит капитан водителю Николаю Солодовникову,— будто прицеп до краев наполнен молоком. Хоть капля разольется — взрыв. Забудьте про тормоза. Тормознете —

сработают снаряды. Да и чеке немного надо, чтобы обломаться.

Солдаты убрали из-под колес прицепа колодки, застыли там, где стояли. Николай Солодовников включил первую скорость. Неуловимо движутся в противоположные стороны ступни его ног на педалях. Одновременно шевельнулись десять тяжелых баллонов. Машина тронулась вместе с прицепом, будто это один агрегат. В нескольких метрах — железнодорожный переезд. Длинное чудовище переползает помост. Теперь видно, как осели рессоры прицепа.

Сразу за переездом первое препятствие. На узкой дороге надо круто повернуть вправо. Надо повернуть за один раз, чтобы не сдавать назад. Машина выбирается на левую сторону, медленно, тяжело разворачивается. Впереди хороший отрезок пути. Но он невелик.

Дорога шла через пять улиц и переулков, а потом выходила в поле. Это была дорога, какие еще можно встретить на иных окраинах городов или в сельском районе. Изрытая, в ухабах, с глубоко продавленной колеей, с объездами и рытвинами.

Специально для рейсов бронетранспортера ее спешно исправляли, заравнивали, утрамбовывали. Но разве в короткий срок исправить такую! За день до начала работ капитан и Солодовников совершили пробный рейс, тщательно исследовали ее, точно определили будущий маршрут. И когда кто-то из товарищей спросил водителя: «Как дорога?» — он ответил: «Не совсем бильярдный стол, но проехать можно».

Медленно идет бронированная машина. Тихо и пусто вокруг. Не слышно обычного грохота гипсового завода, затихла шпагатная фабрика, не дымят трубы завода передвижных агрегатов, умолкли паровозы и рожки стрелочников.

Миновав железнодорожный переезд и поворот, машина выехала на опустевшую улицу. Запертые калитки, закрытые ставни окон, ни одного дымка над домом. Ни собаки, ни кошки. Даже птицы не летают, словно почуяв опасность. Мертвый город.

Николаю Солодовникову не раз приходилось проезжать по этим улицам. Непривычно и пусто вокруг огромного здания школы. Висит замок на тяжелом засове гастронома. Спущены жалюзи на павильоне с вывеской «Ремонт обуви». Чуть дальше — детская консультация. Из двора этого дома обычно выносят узенькие бутылочки с делениями. Это молоко для грудных детей. Сейчас все закрыто, заперто.

Медленно, точно огромный жук, ползет, переваливаясь, тупорылая машина со смертельным грузом. Тяжелые бронированные боковые щитки закрыты. Но если повернется снаряд с крошечной проржавевшей чекой, от этой машины ничего не останется.

Внимательно смотрят на дорогу водитель и капитан. Впереди выбоина. Чтобы не попасть в нее, надо ехать по самой бровке кювета. Ни одного сантиметра в сторону. Для хорошего шофера

протиснуться здесь не так уж трудно. Но ведь позади прицеп. Он может сползти. Капитан открывает дверцу и низко склоняется на подножке. Теперь ему видны баллоны прицепа. Они проходят точно по колее машины. Дальше дорога сильно скошена. Теперь капитан уже стоит на подножке, вытянувшись на носках. Он смотрит на снаряды. Кузов наклоняется на одну сторону, и кажется, вот-вот они покатятся.

— Тише! — командует капитан.— Еще тише! Вот так.

И снова опасное место позади, но надо преодолеть еще немало препятствий. Надо ехать так, чтобы прицеп не перекосило, чтобы его колеса не наткнулись на бугор или камень, не попали в яму. И Солодовников вдруг замечает, что обеими руками крепко вцепился в руль, все тело напряжено. Так ездят новички. «Что же это?» — недоволен собой водитель. Он расслабляет мышцы.

Впереди вспученный участок булыжной дороги, которую строили, наверно, задолго до рождения водителя. И, сам не замечая того, он снова сильнее сжимает руль.

На вершине песчаного карьера стоят четверо: лейтенант Иващенко, старшина Тюрин, сержант Голубенко и рядовой Урушадзе. Они молча смотрят на пустынную дорогу. Они смотрят в одну точку, где исчезает за поворотом ленточка асфальта. Здесь должен показаться бронетранспортер.

К приему снарядов подготовлено все. Вырыты две ямы. Могилы для снарядов. Далеко в стороне, в специальной нише, упрятаны капсюли-детонаторы. Отдельно хранятся шашки. От ямы тянутся длинные провода к электрической машинке, установленной в укрытии. Лейтенант Селиванов еще раз осматривает свое «хозяйство». Рядом радист. Уже дважды запрашивал его штаб, не показался ли бронетранспортер. Но на дороге по-прежнему пустынно.

Все одинаково ощущают, как медленно тянется время: и в штабе, и люди на вершине карьера, и двадцать солдат, окруживших карьер. Это внутреннее оцепление, которым командует лейтенант Коротков. Наружное оцепление, вытянувшись на несколько километров в виде подковы, ограждает подземный склад и путь следования опасного груза.

Никакого движения вокруг. Пустынно на прилегающих к карьеру колхозных полях. Одиноко торчат вверх оглобли то ли забытой, то ли брошенной телеги. Тихо и пустынно на животноводческой ферме. Она далеко от карьера. Осколки не должны бы туда залететь, но бывает шальной, которому путь не закажешь. Словно подчиняясь общему безмолвию и покою, молчат, не шевелятся люди на гребне карьера. И вдруг лейтенант Иващенко срывается с места, бежит к рации.

— «Резец-два», «Резец-два»,— докладывает лейтенант Иващенко.— На повороте шоссейной дороги в двух километрах от меня показался бронетранспортер с прицепом.

— Вас понял,— отвечает полковник Сныков.— Докладывайте о ходе работ. При любых, даже мельчайших сомнениях или трудностях сообщайте немедленно. Без разрешения взрыва не производить.

И вот уже снова Иващенко смотрит на дорогу. Ползет одинокая приземистая уродливая машина по обезлюдевшей дороге и тащит свой смертельный груз. Она доставит его сюда. Напряженно смотрят солдаты и офицер, как медленно сворачивает машина с асфальта на проселочную дорогу, ведущую в карьер.

— В укрытие! — командует лейтенант, и люди быстро выполняют приказ.

Медленно заходит в карьер бронетранспортер. Глубоко в сухой песок зарываются колеса, но движутся с постоянной, одинаковой скоростью. Натужно ревет мотор. Впереди то идет, то бежит, пятясь спиной, Иващенко, указывая дорогу. Капитан стоит на подножке.

Карьер сильно разработан, весь в песчаных холмах. Подъехать близко к ямам рискованно. Надо максимально приблизиться к ним.

— Стоп! — кричит Иващенко, размахивая рукой.— Все!

Капитан спрыгивает с подножки. Мотор замер. Тихо-тихо. Только поднимается вверх, рассеивается облако отработанного газа.

Офицеры смотрят друг на друга, улыбаются.

— Ну как? — спрашивает командир роты.

— Все в порядке, товарищ капитан.

— Давайте отцеплять.

Водитель Солодовников помогает разъединить крюки и выводит свою машину из карьера. Далеко в стороне для нее приготовлено укрытие.

Начинается разгрузка. Как и там, у подземного склада, работают пятеро. Как и там, сильные солдатские руки бережно, нежно берутся за ржавые болванки. Сейчас они особенно опасны: в дороге растряслись, кто знает, что делается внутри взрывателей.

Чтобы быстрее освободить прицеп для следующего рейса, снаряды кладут пока тут же, в один длинный ряд.

Капитана срочно вызывают к рации.

— Докладывает старший лейтенант Поротиков,— слышит он голос в наушниках.— Обнаружена вторая установка на минирование. По всем признакам — электрический способ.

— До моего возвращения к снарядам не подходить.

Разговор по рации слышат и заместитель начальника станции Химичев, и все, находящиеся в штабе.

Едва успел капитан Горелик отдать этот приказ, как сам получил распоряжение не прикасаться к снарядам: на место выехал полковник Сныков.

И капитан, уже сидя в машине, торопит Солодовникова: гони вовсю.

Иващенко, Тюрин, Голубенко и Урушадзе берутся за снаряды. Нести далеко. Тяжело вязнут в песке ноги. Но снаряд плывет без толчков, без малейшего сотрясения, как лодка на тихом, спокойном озере. Один за другим плывут снаряды и ложатся в яму по точно определенному порядку. Это последний их путь. Вот уже уложены все тяжелые болванки. Остался маленький кумулятивный снаряд. К нему наклонился Иващенко и инстинктивно качнулся в сторону. Снаряд издал треск. Будто согнули ржавую полосу железа или коснулись друг друга оголенные провода под током.

Треск снаряда страшен. Бывает, торчат из земли три короткие проволочки, расходящиеся лепестками. В траве их не увидишь. Но заденешь, раздастся треск. И остаться невредимым уже немыслимо. Три-четыре секунды будет слышен треск, потом выскочит цилиндр из земли и на высоте метра метнет в стороны более трехсот стальных шариков. Услышав треск, надо отскочить на несколько метров и грохнуться на землю. Тогда есть надежда остаться только раненым. А начнешь бежать, стальные комочки догонят.

Но ведь здесь нет трех лепестков. Схватив горсть мокрого песка, Иващенко положил его на оголенное место снаряда, потом сверху насыпал лопату сырого песка. Он решил, что снаряд успел нагреться даже на осеннем солнце и началась реакция. Чтобы прекратить ее, надо охладить снаряд.

Все прячутся в укрытие. Выждав необходимое время, лейтенант выходит. Особенно бережно поднимает он опасный снаряд и несет в яму. Потом укладывает шашки так, чтобы взрыв ушел в землю. И вот наконец все готово.

Из укрытия появляется лейтенант Селиванов. Он соединяет короткий шнур от шашки с проводами электрической машинки. Последний внимательный взгляд на всю местность вокруг. Оба лейтенанта удаляются в укрытие.

Иващенко вызывает по рации штаб. Полковников Диасамидзе и Сныкова там уже нет, уехали. Подполковник Склифус дает разрешение произвести взрыв.

Взвивается вверх красная ракета. Лейтенант Селиванов подходит к электрической машинке. Она похожа на полевой телефон. Так же сбоку торчит маленькая ручка. Несколько быстрых оборотов, и загорается красный глазок. Это сигнал, что в машинке возник ток высокого напряжения. Остается нажать кнопку, и он ударит в гремучую ртуть...

Молча сидят и напряженно вслушиваются люди у трех походных радиостанций: в штабе, на железной дороге, близ подземного склада. Все ждут взрыва. Но взрыва нет. Томительно тянутся секунды. Тихо. Проходит мучительная минута. Еще минута. Подполковник Склифус не хочет дергать людей у карьера и не спрашивает, почему задержка, хотя несколько человек уже нетерпеливо просят узнать, в чем дело. Наконец не выдерживает и он.

— «Резец-три», «Резец-три», у аппарата подполковник Склифус. Пригласите лейтенанта Иващенко...

В ту минуту, когда погасла красная ракета, выпущенная Иващенко перед самым взрывом, в двух километрах от карьера из лесу выскочил грузовик. На большой скорости он понесся по шоссе. Навстречу бросился солдат из оцепления, размахивая красным флажком. Водитель резко сбавил ход. Видно было, что он остановится возле солдата. Но есть такие ухари-лихачи, которым все нипочем. Он знал, что дорога, по которой едет, ведет в город, остальное его не интересует. Если даже затеяли здесь учения, все равно ничего не случится.

Сделав вид, будто останавливается и только случайно немного проскочил, он дал полный газ. Тотчас же раздалась автоматная очередь: солдат стрелял вверх. И это понимал лихач. Кто же будет стрелять в людей! У бойца оставался последний выход — бить по баллонам. Он уже готов был нажать спусковой крючок, когда на вершине карьера увидел бегущего человека. От сердца отлегло. Если там человек, значит, несмотря на красную ракету, взрыва пока не будет.

Кто же находился на гребне карьера?

...Когда лейтенант Селиванов потянул палец к кнопке, его остановил Иващенко. То ли выстрел ему почудился, то ли опять подсказало это неразгаданное шестое чувство минера, но Иващенко сказал:

— Подожди, Толя, надо еще разок взглянуть.

Как только он выбежал на горку, в глаза бросилась машина и бегущий за ней солдат с автоматом. Одну за другой Иващенко выпустил несколько красных ракет. Водитель испугался. Он резко затормозил, развернулся и помчался назад...

И вот уже снова все на местах. Еще не перестали возмущаться люди у раций, узнавшие, в чем дело, когда лейтенант Селиванов нажал кнопку.

Содрогнулась земля. Первая партия снарядов уничтожена.

...Капитан подъехал к гипсовому заводу. Полковники Диасамидзе и Сныков уже стояли, склонившись над ямой. Поединок продолжался.

Что думал враг? Куда тянутся провода? Где источник тока?

И снова тонкий и точный расчет врага был раскрыт.

Когда стало ясно, что делать дальше, полковник Сныков отвел в сторону Диасамидзе.

— Михаил Степанович, очень прошу, езжайте. Вы ведь не имели права даже появляться здесь.

Диасамидзе начал было возражать, но полковник крепко сжал его локоть.

— Не надо,— взмолился Сныков,— подчиненные услышат.

Недовольно бормоча, Диасамидзе ушел, а Сныков вернулся

к яме.

— Вам все понятно, капитан? — спросил он.

— Так точно, товарищ полковник.

— Приступайте к работе.

— Слушаюсь,— ответил Горелик, но не тронулся с места. Сныков удивленно посмотрел на него.

— Приступайте же, капитан.

— Не имею права, товарищ полковник,— сказал Горелик.— По всем действующим наставлениям, по специально разработанной вами инструкции здесь может находиться только тот, кто непосредственно выполняет работу.

— Черт знает что! — выругался полковник и направился к каменному зданию, за которым стояла его машина.

И снова началась «хирургическая» работа над минной установкой, куда более сложной, чем первая. И снова сильные, умные, золотые солдатские руки извлекали смертельные провода. И снова грузили стальные глыбы, и снова ползла бронированная машина по опустевшим немым улицам. Дрожала земля от взрывов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый... пока не взвился в воздух, точно салют победы, зеленый сноп ракет.

Все!

С огромной скоростью пронеслась на радиоузел машина Нагорного.

— Диктор, где диктор? — закричал он, вбегая в помещение. Диктора на месте не оказалось.

Нагорный сам бросается к микрофону.

— Граждане! Исполнительный комитет депутатов трудящихся Кировского района извещает, что все работы по вывозке снарядов закончены. С этой минуты в районе возобновляется нормальная жизнь.

Радость переполнила его. Ему хотелось сказать еще что-нибудь, но все уже было сказано, и он растерянно и молча стоял у микрофона. И вдруг, вспомнив, как это делают дикторы, он медленно произнес:

— Повторя-яю!..

И опять умолк, то ли забыв только что сказанное, то ли слова эти показались ему сухими, казенными. И неожиданно для себя он почти выкрикнул:

— Товарищи, дорогие товарищи, опасность миновала, спокойно идите домой...

В ту минуту, когда произносились эти слова, уже хлынул народ к обессиленным счастливым солдатам. И понял Иван Махалов, как во время войны встречало население своих освободителей.

Солдат качали, летели вверх кепки, косынки. Крики «ура» смешались с возгласами восторга и благодарности. Вконец смущенных солдат обнимали и целовали, а они тоже благодарили, искренне не понимая, за что такие почести.

Вместе с толпой, увлекаемая ею, ринулась к солдатам и Валя. Но волна отнесла ее в сторону, и уже трудно было пробиться вперед. Она видела Гурама и старалась не потерять его из виду. Хоть бы он взглянул. Он сразу пробил бы к ней дорогу. А Гурам, счастливый и возбужденный, не замечал ее, и он показался вдруг Вале в недосягаемом ореоле славы. Валя попятилась. Будь ему тяжело, она сама сумела бы растолкать народ и пробиться. А как быть теперь? Что он подумает?

Еще утром, точно потеряв рассудок, она бежала за машиной, готовая на все. А сейчас стояла в стороне, беспомощная, нерешительная.

И вдруг глаза их встретились. Это было одно мгновение. Кто-то обнял его, кто-то подхватил его на руки, и Вале показалось, что он не пытается даже приблизиться к ней. Она снова попятилась и начала тихонько выбираться из толпы.

Гурам поискал глазами Валю и не увидел ее. И с прежней силой нахлынула обида. Даже совсем посторонние, чужие люди пришли поздравить. А она была тут и не подошла.

...Через шесть часов на плацу, на вечерней поверке, старшина Тюрин сообщил, чем рота будет заниматься на следующий день, перечислил назначенных в караул и посты, на которых они будут стоять.

— Младший сержант Махалов, рядовые Маргишвили и Хакимов,— закончил он,— в наряд на кухню. Старший по наряду Махалов...

В тот же день уехал Гурам. Когда поезд тронулся, он смотрел не на перрон, а в сторону города. Но ничего не было видно, мешала высокая насыпь, тихая и пустынная. Только молоденькая березка, тоненькая, как палочка, покачивалась, словно махая ему на прощание.

* * *

«...Мне восемьдесят пять лет. Я пережила несколько войн, работала в госпиталях. Много знала героев, но ваш поступок особенно велик и человечен.

Слава вам, наши ребятки! Слава нашей Родине, воспитавшей таких людей!..

У меня есть коллекция фотографий замечательных людей моей эпохи, и я присоединяю туда ваши портреты.

Будьте счастливы, дети и внуки мои...»

«Что это за передача?» — подумала Валя, слушая голос диктора. Она пришла сегодня домой позже обычного и, как всегда, сразу же включила репродуктор. Но начала передачи не слышала, увлеклась работой. Надо наконец закончить блузку, с которой уже давно возится.

Валя сидела в неудобной позе, но так и не изменила ее. Она слушала, и ей не верилось, что это говорят из Москвы, что это говорят о людях, которых она так хорошо знает, и они знают ее. И, странное дело, когда назвали имя Гурама Урушадзе, сердце

не забилось сильнее. И не потому, что он ей стал менее дорог. Нет, о нем она продолжала думать так же, как и раньше. Но она испытывала такие же чувства, как и все советские люди, узнавшие о героическом подвиге. Никак не могло вместиться в ее сознание, что подвиг совершили эти ребята, такие простые и неприметные. Ведь и ей только из газет пришлось узнать, какая страшная опасность висела над городом, какой героизм совершили солдаты. Ей хотелось знать все подробности, хотелось слушать, сколько бы об этом ни говорили. И она слушала...

«Большое письмо прислал товарищ Кирюхин из Калуги,— продолжал диктор.— «Признаться, нервы у меня крепкие,— пишет он,— в прошлом я сапер — офицер. Но я пережил многое, пока дочитал статью до конца. Мне очень знакомо чувство, которое ощущает человек при разминировании. Но описанный случай, пожалуй, наиболее сложный, опасный и страшный, страшный своими последствиями в случае малейшей ошибки.

Кто эти люди, в мирные дни сознательно решившие пойти на огромный риск? Что заставило их решиться на такое? Деньги? Слава? Почет? Нет, нет и нет. Словами этого я не могу передать, но вот душой чувствую: сознание долга советского человека, высокое звание солдата Советской Армии, сознание того, что рискуешь жизнью ради спокойной жизни десятков тысяч, и еще что-то, исходящее из самой глубины души, волнующее, не похожее ни на какие другие чувства,— вот что заставило людей пойти на подвиг... Если бы я мог, то расцеловал бы их всех. Расцеловал бы их матерей и отцов, воспитавших таких героев, расцеловал бы командиров, вложивших в их руки такое мастерство».

Одно из писем заканчивалось так: «Родина, милая Родина, какая ты счастливая, что имеешь таких сыновей!»

Благодарная Родина ответила своим сыновьям. Указом Президиума Верховного Совета СССР они были награждены орденами и медалями.

«...По-разному выражают свои чувства люди. Но одно объединяет то скупые, то взволнованные строки, адресованные героям,— светлая гордость за людей, рожденных Россией, страстная вера в их большое сердце. Это не простые письма. Это вся страна сошлась на большой форум. Это незримые нити, идущие от мартенов «Запорожстали» в палатку целинника, от цехов ленинградских промышленных гигантов в колхозные станицы Кубани. Это нити, связывающие сердца»,— так писала «Комсомольская правда» о потоке писем, идущих в редакцию.

Да, по-разному выражали советские люди свои горячие чувства к героям. Им слали подарки, их звали в гости, делегации молодежи различных городов приезжали в Курск. И почти каждая встреча приносила что-то неожиданное.

По просьбе московского радио и телевидения командование части разрешило участникам разминирования выехать на два дня в Москву, чтобы выступить перед слушателями и телезри-

телями. В первый же вечер в Центральном Доме Советской Армии состоялась встреча с солдатами и офицерами Московского гарнизона. Здесь секретарь Центрального Комитета комсомола вручил героям Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ и удостоверения о занесении в Книгу почета.

Вечер затянулся. И водитель Николай Солодовников стал заметно нервничать. Еще по дороге в Москву по его инициативе решили осмотреть главный конвейер Московского автомобильного завода имени Лихачева.

И вот уже давно прошло назначенное для экскурсии время, а курян все не отпускали. Им задавали десятки вопросов, их расспрашивали о подробностях операции, жизни роты.

На завод попали совсем поздно. Вторая смена закончила работу, конвейер остановился. Но слух о том, что приедут герои из Курска, распространился по цеху, и почти никто не уходил.

Встретили воинов радостными восклицаниями, горячими приветствиями. А они, никак не предполагавшие, что их могут специально ждать, были растроганы и смущены. Но вскоре общее оживление передалось и им. Рабочие показывали свое производство, объясняли, как действует конвейер, и чувствовали себя неловко оттого, что конвейер стоит. И вдруг какой-то паренек, успевший помыться и переодеться, вскочил на верстак.

— Товарищи,— раздался его звонкий голос,— я предлагаю бесплатно поработать полчасика в честь гостей, пусть посмотрят.

— Правильно! — закричали в толпе.

— Пустить конвейер!

— По местам!..

Далеко за полночь, растроганные, взволнованные, окруженные толпой, покидали куряне завод и уносили в сердцах любовь рабочего класса.

А на следующий день их ждал новый сюрприз...

Как обычно работала вторая смена в трикотажном ателье на Колхозной площади Москвы. Но вот начался перерыв, и кто-то включил телевизор. На экране появилась группа воинов из Курска. Работницы ахнули.

— Как же теперь, девочки!

Никто не ответил. Все смотрели на экран, восторженные и удрученные.

«...Я сам из Грузии,— говорил с экрана Дмитрий Маргишвили,— но мне одинаково дороги и Грузия, и древний русский город Курск, и каждый клочок советской земли. Когда мы уничтожали склад снарядов, никто из нас не думал, что приедут корреспонденты, что нас пригласят в Москву. Мы выполняли свой долг перед Родиной, как выполнил бы его каждый советский человек...»

Вот во весь экран чудесное добродушное лицо Ивана Махалова. Он смущенно молчит.

«Когда мы ехали сюда,— начинает он наконец нерешительно,— я очень готовился. А вот сейчас сбился, прошу извинить...»

И вдруг лицо его становится серьезным, волевым, голос уверенным и сильным:

«Я только одно скажу. Если надо, сделаем! Все сделаем, что партия скажет...»

Начальнику цеха Антонине Ивановне Пантелеевой очень трудно было оторваться от телевизора, но она не могла больше сидеть и бросилась в другую комнату звонить на телецентр.

Почему же так странно вели себя работницы?

Когда девушки впервые узнали о подвиге, им очень захотелось сказать воинам какие-то теплые, душевные слова. Сначала решили писать коллективное письмо, но вдруг Юля Макотинская сказала:

— Девчонки, давайте им сорочки сошьем. Самые красивые, как на всемирную выставку.

В цехе поднялось что-то невообразимое. В несколько минут собрали деньги. Это оказалось самым легким. Дальше все шло в непрерывных спорах. Прежде всего — из чего кроить? Одни предлагали голубой трикотаж, другие — серый, третьи — в полоску. Кто-то требовал только одинаковых для всех.

Сто семьдесят девушек и пожилых женщин работают в ателье, и каждой хотелось собственноручно шить для героев. Сшить самой хоть рукав, хоть манжет, хоть петлю выметать.

Глядя на фотографии в газетах, определяли размеры воротничков, ширину плеч. И вот наконец сорочки готовы. Их принимали контролеры, как особый государственный заказ. Их придирчиво осматривали модельерши, и главный инженер Концевич, и начальник цеха Шухина, и директор ателье Иванова.

Все это опытные мастера. Через их руки проходит вся готовая продукция — более тридцати тысяч штук трикотажных изделий. Ни к одному шву или петельке придраться нельзя было. И когда окончился осмотр, кто-то тяжело вздохнул:

— И какие же мы дурехи, девочки! Ну кто разрешит солдатам носить такие сорочки!

И снова бурлили цехи. А через час возле каждой сорочки появилась и шелковая майка: носить ее может любой солдат.

Выделили делегацию в Курск из трех самых достойных. Но как уехать, ведь надо работать? И трое написали заявление с просьбой предоставить им отпуск на два дня за свой счет «по семейным обстоятельствам».

Директор ателье Анастасия Петровна Иванова вернула девушкам заявления.

— Выпишу командировку,— с улыбкой сказала она.

— А если ревизия будет?

— Ревизоры — советские люди, поймут.

На следующий день только и говорили о курских событиях, завидовали тем, кто поехал к героям, кто пожмет им руки. В такой момент работницы и увидели своих героев на экране московского телевизора. Им радостно было смотреть на этих

людей и до слез обидно, что где-то в Курске сидят их делегатки с шелковыми майками и сорочками.

Девушки помчались на телецентр, разыскали курян, рассказали все, что произошло. Трудно было отказать работницам и не посетить их ателье...

Из Воронежа, Москвы, Тбилиси приезжали в Курск представители молодежи, чтобы лично поздравить верных сынов Родины.

За день до приезда грузинской делегации Валя получила билет на встречу воинов с делегатами братской республики. Все знали о том, что в числе их будет и Гурам Урушадзе.

На вокзал она идти не решилась, но на вечер пришла одной из первых. Она могла занять почти любое место и все же села далеко от сцены, в одном из задних рядов. С волнением смотрела она, как появились на сцене Иван Махалов, Дмитрий Маргишвили, Михаил Тюрин, как заполнили места в президиуме делегаты Грузии. Гурама среди них не было. Что же могло произойти? Ведь о его приезде объявили официально.

Валя слушала выступления солдат, представителей молодежи Курска, слушала горячие страстные слова грузин. И все-таки она тревожно думала о Гураме.

Одной из первых покинула зал, когда вечер закончился. Чем дальше уходила от клуба, тем реже становились прохожие. На своей улице она оказалась совсем одна. Валя ускорила шаг. Показались очертания ее дома. На ступеньках неясный силуэт. На крылечке, на старом родном крылечке, сидел человек. С вокзала он добежал сюда за десять минут. И вот уже много часов сидит и ждет...

1962 год

МОРЯКИ

ПОД ВОДОЙ

Наверно, только о любви написано так много, как о море: романы, повести, сказки, поэмы, песни. Море воспевают народы и эпохи. И эти несовместимые понятия — любовь и море — удивительным образом где-то сходятся, сливаются воедино и одинаково волнуют и будоражат душу.

Воспето море буйное, жестокое, беспощадное, воспето ласковое и нежное, неповторимо сказочной красоты. Оно может, как и любовь, довести человека до отчаяния, погубить, но так же дает ему силы, радости, одухотворяет. И какие бы испытания ни несло море людям, они будут тянуться к нему и думать о нем, потому что захватывает оно, как любовь.

Я видел этих людей, которым не жить без моря и без которых нет моря. Видел на боевых и мирных кораблях, на подводных лодках и на морском дне. Об этих людях и пойдет рассказ.

...На базе стояли подводные лодки. Они готовились к выходу на учения.

Когда учения окончились, все вернулись на свою базу, а одна лодка осталась на дне моря, зарывшись винтами и кормой в илистый грунт, оторванная от всего мира.

...На базу подводных лодок я приехал поздно вечером. Здесь было еще спокойно, еще никто ничего не знал. Мне предстояло идти на одной из лодок, чтобы написать о том, как морские охотники выслеживают и топят лодки. Казалось, для этого достаточно побывать на морских охотниках. Но я ходил с ними и, откровенно говоря, мало что понял.

Как только вышли в море, командир показал на карте район, где скрывалась лодка. Район охватывал много квадратных километров. Глубина была большая. Найти там подводную лодку — все равно что иголку в сене.

Наш корабль вел знаменитый командир. Он сказал:

— Иголку в сене легко найти, надо иметь сильные магниты.

— От нашего командира еще ни одна лодка не ушла,— заметил вахтенный сигнальщик.

Корабль то и дело менял курс. Потом выяснилось, что лодка обнаружена, и он велел забросать ее глубинными бомбами. Это были не настоящие бомбы, а специальные гранаты, имитирующие взрыв глубинных бомб. Но все равно от их разрывов на лодке было жутко. Мне сказали, что иногда от этих взрывов и сотрясений гаснет свет.

Лодка заметалась. Точно привязанный к ней, заметался корабль, забрасывая ее гранатами. Улизнуть лодке не удалось. Она не выдержала и всплыла.

...Вот и все, что я мог сообщить о поединке. Этого было мало... Чтобы написать подробнее, я и отправился на базу подводных лодок. Оказалось, никакая это не база, а просто большое здание. Вахтенный матрос прочитал мой пропуск, долго изучал паспорт, внимательно сличал фотографию с моим лицом. Сложив наконец документы, вернул их мне и сказал:

— Поднимитесь по этому трапу и по левому борту верхней палубы ищите каюту номер двадцать шесть.

Я вспомнил случай, который произошел за несколько дней до этого на одной из улиц Севастополя. Отвечая на мой вопрос, какая-то старушка указала на городскую лестницу, куда большую, чем знаменитая одесская, и добавила:

— А вот поднимитесь по этому трапу, как раз и попадете к памятнику Ленину.

У моряков любая лестница — трап, любой пол, даже в подвале,— палуба, комната — каюта.

Я шел по коридорам и читал надписи: «Каюта № 9», «Каюта № 10», «Камбуз», «Кают-компания»... Командира подводной лодки я не застал. Зато в каюте старпома Игоря Александровича Григоровича все напоминало штаб части, готовящейся к операции. Он ухитрялся одновременно разговаривать по телефону, печатать на машинке и отвечать на вопросы штурмана. Здесь же заместитель командира по политчасти Леонид Васильевич Абрамов говорил какому-то матросу, чтобы тот сам придумал для себя наказание, которое бы подействовало, потому что уже не знает, что с ним делать дальше. Матрос поначалу тоже не знал, а потом неуверенно спросил:

— А может, попробовать один раз не наказывать? Вполне возможно, подействует.

— Можно бы, конечно,— согласился Абрамов,— да по уставу не положено. По уставу всякий проступок должен иметь последствия.

— Так вы же нас учили гибко применять устав, сообразуясь с обстановкой... Вот внушение мне сделали...

В конце концов Абрамов согласился. Когда матрос ушел, замполит рассказал, что это великолепный подводник, который совершенно не переносит, если новички, которых он учит, ошибутся или выполнят задание не с такой быстротой, на какую способен он сам. И вместо того чтобы терпеливо учить людей, начинает на них кричать.

В каюту заходили все новые офицеры. У каждого было дело. Потом пришел командир лодки Ленислав Филиппович Сучков. Он совершенно не был похож на командира подводной лодки.

Может быть, так казалось потому, что еще раньше мне довелось близко познакомиться с другим командиром подводной лодки — Юрием Михайловичем Лисичкиным. Это высокий атлет, штангист, с удивительно волевым лицом. Для скульптора, работающего над портретом морского офицера, Лисичкин просто клад.

Я подумал об этом, когда далеко в море всплыл его подводный корабль. На мостик он поднялся первым, а за ним четверо офицеров и сигнальщик. Они выходили из люка и словно каменели в тот момент, когда поднимали головы. Поэтому позы у них были неестественны: кто-то застыл, не разогнув еще спину, кто-то замер, не успев найти надежной опоры для второй ноги, держась за поручни. Все смотрели в одно место. На горизонте стоял гигантский линкор, раскаленный докрасна. Он не горел, а был именно раскален. Отчетливо виднелись башни, тяжелые строенные стволы главного калибра, широкие трубы. Из одной трубы поднимался дым. Казалось, густые клубы висят над трубой, точно гигантский рыхлый гриб. Края кормы не было. Похоже, что ее отсекло чем-то.

Потрясенные люди стояли на мостике, не в силах скрыть волнения. Никто и не пытался этого сделать. Только Лисичкин стоял спокойно, в полный рост, чуть-чуть расставив ноги, заложив руки за спину.

Впереди лодки волн не было. Они веером расходились сзади от ее винтов. На море стояла тишина. Нигде ни одного корабля. Лодка шла к линкору.

По лицу Лисичкина ничего нельзя было определить. Ни удивления, ни растерянности. И это тоже была не поза, а его естественное состояние. Он первым понял, что произошло. Трудно представить себе явление природы более фантастическое. Багровый шар заходящего солнца на одну треть опустился в море. Верхнюю часть срезали облака. Они падали на середину огненного диска угловатыми клочками, образуя поразительно точный рисунок корабля.

Юрий Михайлович Лисичкин запомнился мне таким, каким он стоял в тот раз на мостике.

...Сучкова трудно было выделить из массы людей. Во-первых, он, как и все его офицеры, был очень молод. Во-вторых, казался стеснительным. Он начал задавать вопросы старпому будто из любопытства, будто пришел на экскурсию и ему все интересно. Голос у него был тихий, и он расспрашивал, как подготовлен выход в море, словно боясь, что его вопросы могут надоесть людям и они не станут отвечать. Потом посмотрел на часы, сказал, что до выхода есть еще время поспать и пусть люди идут в свои кубрики, а через час чтобы явились на лодку.

К причалу я пошел вместе со старпомом. Была ночь. Рядом с нашей лодкой стояла та, на которой потом случилось несчастье. Оттуда доносились голоса, люди готовились к выходу. Мы отошли от стенки первыми. Из бухты были видны далекие огни города. А вблизи один мрак. На волнах качались тусклые огоньки буев. Рейд, закрытый бонами, походил на тихое озеро. У берегов громоздились черные силуэты кораблей. Можно было подумать, что это скалы. Но кое-где горели лампочки, и становилось видно, где корабли и где скалы. Лодка шла бесшумно, осторожно обходя

какие-то запретные участки. Может быть, от этого обстановка и казалась напряженной, будто вот-вот должно что-то случиться. На мостике находились командир, старпом, штурман и сигнальщик. Штурвальный поминутно повторял команды старпома.

Откуда-то издалека, из темноты, часто-часто замигал огонек. Нас спрашивали, кто идет, и требовали позывные и номер корабля. Сигнальщик доложил об этом командиру и начал отвечать.

— Отставить! — прогремел голос Сучкова.— Передать только позывные! Ротозеев пусть в другом месте ищут.

Помолчав немного, он добавил:

— По позывным они могут, если захотят, определить и бортовой номер. Зачем же нам его оглашать!

С контрольного поста ответили, что выход разрешен, и маленький буксир развел боны. Путь в море открыт.

Лодка шла тихо, будто ей мешали волны. Какие-то странные волны — очень широкие и пологие. Казалось, что вода расступается, уходит из-под лодки и можно провалиться на дно. Потом нас поднимало, должно быть, только для того, чтобы дать разгон, потому что тут же мы неслись вниз. Временами над водой оставался только мостик.

А мне почему-то почудились чайки. Сначала они летели справа, потом одна рванулась на левую сторону, и вся стая бросилась за ней, думая, наверное, что та увидела добычу.

Белокрылую чайку воспели поэты. Поэтам поверили, и она стала символом светлого, невинного. Поэты не правы. Зря воспели чайку. В действительности она злая и мрачная птица. Как коршун, пикирует на рыбу, разоряет гнезда промысловых птиц, питается падалью.

Моряк не любит чаек. Они летят за кораблем, кивают и громко кричат: «Знаем, знаем, знаем...» И кажется, в самом деле они летят вот так уже тысячи лет, и все видели, и знают тайны моря, и знают, что случится впереди. И всем своим хищным видом показывают, что ничего хорошего не случится, иначе бы они не летели за кораблем. Летят и жадно высматривают добычу, готовые из-за нее заклевать друг друга.

По преданию, чайки — это души погибших моряков. Поэтому их нельзя убивать. Преданию давно никто не верит, но и все равно в них не стреляют.

Тихая черноморская ночь. Удаляется берег. Давно скрылись огни города. Штурману не на что уже было нацеливать пеленгатор гирокомпаса, и он скрылся в люке. Командир стоял с правой стороны в своем кожаном реглане, обдаваемый крупными брызгами, и молча смотрел вперед. И все, кто был наверху, молчали и смотрели вперед. Только один сигнальщик все время озирался по сторонам.

Неожиданно море пересек огненный пунктир, точно замедленные трассирующие пули. Это неслись куда-то торпедные катера, то скрываясь в волнах, то выскакивая на гребни. Медленно проплыли вверху цветные огоньки самолетов. А потом ничего не стало видно. Море было чем-то закрыто. Можно было подумать, будто над водой рассеяна цементная пыль. И в этой кромешной тьме одновременно, в одну и ту же секунду, раздались два голоса. Голос командира:

— Почему не докладываете?

И голос сигнальщика:

— Справа по траверзу в десяти кабельтовых четыре корабля.

Я не сразу увидел их. Они шли без огней.

— На боевое задание,— кивнул им вслед старпом в ответ на мой вопрос. И, видно, не надеясь, что я понял его, добавил официальным тоном: — Несут охрану государственных морских рубежей.

Едва они скрылись, как море от края и до края полоснул прожектор. Он описал дугу, осветив огромную территорию. В поле зрения не оказалось ни одного судна. Я никак не мог понять, куда они девались,— не подводные же это лодки.

— А зачем ему освещать наши корабли? — засмеялся командир.— Луч обошел их.

Советские воды Черного моря жили своей жизнью. Где-то на картах расчерчен каждый квадратный метр водной глади, каждый кубический метр до самого дна. Бороздят водную гладь сторожевые катера и охотники, движутся где-то подводные лодки, прислушиваются к шуму в воде умные, чуткие приборы и аппараты. Не пробиться, не протиснуться здесь чужому кораблю. Против своей воли он даст десятки сигналов, которые точно укажут, где он находится, куда и на какой скорости идет и что собой представляет.

Командир лодки, не меняя позы, не поворачиваясь, сказал:

— Приготовиться к погружению.

Он сказал это таким тоном, каким несколько минут назад спрашивал, сколько на румбе. Но все мгновенно пришло в движение, будто случился пожар. Буквально рухнули в люк все, кто стоял на мостике, кроме самого командира. Раздались звонки, сигналы, шум. Задраивались люки между отсеками, опускался перископ, закрывались вентиляционные клапаны, заслонки и заглушки. Проверялись носовые и кормовые торпедные аппараты. Неизвестно откуда неслись резкие, отрывистые голоса, усиленные микрофоном:

— Седьмой отсек готов!

— Второй отсек готов!

— Пятый отсек готов!..

Едва командир спустился вниз, как ему доложили:

— Лодка к погружению готова!

— Начать погружение! — раздалась команда.

Лодка вобрала в себя положенное количество воды и пошла на глубину. Заработали маховики рулей. Часть команды ушла на отдых.

Собственно, никто никуда не уходил. Боевые торпеды были заложены в аппараты, а запасные лежали тут же, в отсеке. Матросы опустили привязанные к стенам узенькие брезентовые койки, которые повисли над торпедами, и улеглись спать. Со стороны казалось, что они лежат прямо на торпедах. Но здесь, можно сказать, еще просторно. В других отсеках теснее.

На лодке негде повернуться. В ней не видно ни стен, ни потолков, ни корпуса. Там, где им положено быть,— маховики, рукоятки, аппараты, люки, краны. В самом центре из люка поднимается перископ, а рядом опять приборы, аппараты. И в этом нагромождении механизмов, между которыми надо протискиваться, приподнимаясь на носки, у крохотного наклонного столика сидит боком к узенькому проходу штурман. Чуть дальше и ниже — гидроакустик, тоже боком к проходу. Когда передвигаешься по лодке, их увидишь не сразу, потому что они словно вписаны в приборы и не выходят за габариты окружающих механизмов. Они—как на детской загадочной картинке. Будто одно целое с лодкой. И вся команда тоже одно целое с лодкой, и все это вместе один организм. Здесь синхронно связаны действия каждого человека и каждого механизма. У них общее дыхание и общий воздух. Если у лодки под водой нет воздуха, она не всплывет и погибнет, как и человек, которому нечем дышать.

Человек здесь виден, точно на войне. Одного похода достаточно, чтобы проявились все его качества. Чувства товарищества и взаимопомощи развиты и обострены настолько, что теряются понятия «я» и «он». Их работа как у группы акробатов под куполом: неточное движение одного — полетят вниз все. Поэтому здесь не может быть отстающего или не выполняющего своих обязанностей. Это мгновенно отразится на всех. Это может застопорить всю жизнь лодки или сорвать боевое задание. Плохая работа в таких условиях воспринялась бы как что-то близкое к предательству. Поэтому она здесь немыслима.

Человек, у которого нет сильной воли и большой физической силы, недостаточно выносливый, с неразвитым чувством товарищества или обретает эти качества, или его списывают с подводного флота. Здесь только отборные люди. Поэтому подводники гордые. Самая обширная и исчерпывающая характеристика таких людей укладывается в одну фразу: «Моряк с подводной лодки».

...Морские охотники искали лодку. Сейчас почти все зависело от ее гидроакустика Леонида Исакова. Он должен обнаружить охотников раньше, чем они лодку. Он вслушивался в звуки моря и смотрел на маленький экран. На экране билась живая огненная звездочка, в каждую сотую долю секунды меняя свои формы и очертания. В не уловимые для глаза мгновения из ее тела выскакивали и исчезали то крохотные кинжальные острия, будто в

коротком замыкании соединились провода, то тупые уголки или волнообразные выступы. Аппарат издавал звуки, похожие на шум неисправного приемника. Ничего не разберет здесь непосвященный человек. Но в этих звуках и искорках для Исакова целый мир. Он ощущает и видит море. Каждый оттенок звука, каждая искорка понятны ему, как телеграфисту азбука Морзе.

Минут пятнадцать Исаков смотрел и слушал спокойно. Потом подался немного вперед, надел наушники, прищурился и застыл. Убедившись, что не ошибся, доложил:

— Слышу шум винтов.

В центральном отсеке насторожились.

— Крейсер и два эсминца идут со скоростью двадцать пять узлов,— рапортовал Исаков.

Тут же был определен курс кораблей.

— Это, должно быть, не за нами,— сказал старпом.

Я внимательно следил за звездочкой и шумами. Все было как и прежде. Так же билась звездочка, такие же звуки издавал аппарат. И в этом клубке звуков, в искорках «короткого замыкания» Исаков находил и выделял крейсеры и эсминцы, вычислял скорость оборотов их винтов. Он досадовал, что я ничего не могу уловить.

— Слышите? — поднимал он вверх палец.— Вот глухой звук, будто перекатывается что-то. Это крейсер. А рядом два позвонче, почаще. Это эсминцы... Ну как же? Их легко отличить, как ход легковой машины от пятитонки... Слышите? Скорость прибавили. Вот и на экране все видно... Каждый корабль имеет характерный звук, какую-то отличительную черту... А иначе как стрелять торпедами? — развел он руками, словно удивляясь.— Корабли ограждения всегда прикрывают главную цель. А мы ее приметим и засечем. Тогда уж и пускай торпеду по главной. Если звук торпеды сольется со звуком корабля «противника», значит, в точку угодили...

Его радостно было слушать. Верилось каждому слову. Тельняшка обтягивала его могучие бицепсы, крупное добродушное лицо словно излучало чистоту и искренность. Даже малодушный пойдет с ним на любое задание не страшась, потому что его воля и сила передаются окружающим.

Он разговаривал, уступив место своему ученику, и вдруг быстро взялся за наушники.

Какое-то удивительное чутье! Не прошло и трех минут, как появились новые шумы, на этот раз более опасные. На очень большом расстоянии от лодки, но прямо на нее шли три морских охотника. Одна за другой последовали несколько команд. Единый организм людей и корабля пришел в движение. Бешено завертелись маховики рулей, заработали приборы и аппараты. Это заняло секунды.

— Если вы их слышите, значит, и они вас?

— Нет, еще не значит,— сказал старпом.— Во-первых, надо

иметь такого гидроакустика, как Исаков, который услышал их в ту долю мгновения, когда возник их первый туманный звук. Во-вторых, надо иметь такого командира, как Ленислав Филиппович, который в эту долю мгновения успел принять решение. В-третьих, надо иметь такой экипаж, который в следующие мгновения выполнил волю командира. Если всем этим обладает «противник», то все равно в первой стычке победили мы, так как у него не было возможности проверить, не ошибся ли он в своих предположениях: наши шумы пронеслись на его приборах как пуля и исчезли, ибо мы успели осуществить сложный маневр. Куда мы делись, им пока не известно, но они понимают, что добыча где-то близко.

Так начался поединок. Поединок между подводной лодкой и охотниками за ней. Охотники были опытные, хладнокровные, с современными приборами. Они знали, что имеют дело с сильным «противником» и совершенной техникой. Несколько раз лодку почти настигали, но ей удавалось ускользать. Решили, что известными методами ее не «потопить». Придумали другие методы.

Для того чтобы скрываться от противника, надо знать, где он находится. И вот настал момент, когда люди на лодке потеряли след охотников. Никаких подозрительных шумов не мог обнаружить Исаков. Он слышал, как над нами и недалеко от нас проходили корабли. Но то были другие корабли, не те, что преследовали. «Противник» был на верном пути и удалиться далеко не мог. Не такой он простак. Сучков это понимал. Не исключено, что охотники заглушили двигатели, притаились где-то и ждут, пока лодка сама себя выдаст. Не издавая ни одного звука, они вслушиваются в подводную жизнь. Каждую минуту можно наскочить на них, постыднейшим образом попасть впросак. Оставаться дальше в таком положении было нельзя. Штурман предложил на несколько секунд всплыть так, чтобы из воды вынырнул только глазок перископа, окинуть горизонты и заодно взять пеленги, то есть определить, где находится лодка. Это был риск, потому что преследователи могли оказаться где-нибудь поблизости.

Подводники все взвесили. Решили идти на риск. Придумали план действий на случай неудачи. Оставался тот же риск, но не безрассудный, а основанный на точном расчете,— риск, вызванный необходимостью. Раздалась команда:

— Приготовиться к всплытию!

Мгновенный аврал и четкий доклад:

— Лодка готова к всплытию.

Замер у рулей боцман Николай Зубарев, застыли неподвижные фигуры у подъемника перископа, у аппаратов. Ждали приказа.

Командир медлил. Он мог еще отменить решение о всплытии. Может быть, последний раз взвешивал все. Он один в ответе за судьбу лодки и людей.

Напряжение росло. Все было как перед боем. Точно во вражеских водах. И вот приказ отдан.

Еще вытеснял воду из балластных цистерн сжатый воздух, еще не поднялся, а только двигался вверх перископ, а командир уже вцепился в него обеими руками, прильнул к окулярам. Одним рывком, не отрывая глаз от перископа, описал им дугу градусов на двести и замер. Все, кто были в центральном отсеке, недвижно уставились на командира, готовые к самым решительным и мгновенным действиям.

Он сказал:

— Вижу. Очень далеко. Точки, а не корабли. Но это они. Расходятся в разные стороны... Что-то задумали.

Командир лодки и командир отряда охотников знали друг друга. Они жили на одной улице, встречались в штабе флота, бывало, вместе встречали праздники. Но сейчас это были непримиримые «противники». Каждому достался нелегкий орешек. Они это тоже знали. И каждый ожидал от «противника» такого, чего в практике еще не было.

Впоследствии мне довелось видеть обоих командиров совсем в другой обстановке. У колоннады исторической Графской пристани, где русский народ некогда встречал великого флотоводца Нахимова, где рвались победные салюты героев Сапун-горы и Малахова кургана, где в дни праздников гремит могучее матросское «ура!» и, как в старину, состязаются в перетягивании каната богатыри в тельняшках, появился командующий Черноморским флотом.

Красная ковровая дорожка спускалась по широкой лестнице к причалу и обрывалась у белого сверкающего катера. Замер неправдоподобно точной геометрической формы строй почетного караула. Начинался военный парад Советского Черноморского флота.

Приняв рапорт, адмирал поднялся на катер. Во флагах расцвечивания стояли на рейде лучшие корабли флота. Командующий и член Военного совета обходили корабли. Раскатывалось «ура!».

Вслед за катером командующего шла гостевая яхта. Когда катер, забурлив винтами, застопорил ход у строя подводных лодок, я увидел Сучкова. Он стоял на мостике своей лодки в парадной форме, а на палубе выстроился его экипаж. На их лицах была гордость.

Горело на солнце золото офицерских кортиков, точно полоса шлагбаума, перерезали строй руки в белых перчатках, державшие автоматы: один в один стояли подводники. Это не скульптурная группа, не изваяние. Это живая кованая воля и сила. Это — сознание великой миссии защиты Родины.

Катер рванулся дальше и остановился близ морских охотников. На мостике корабля стоял недавний «противник» Сучкова во главе монолитного строя. Матросы спокойные, сильные.

После парада по-иному представился эпизод, происшедший накануне на разделочной базе.

«Разделочная база» — предприятие. Но это не завод рыболовной флотилии. Не разделывают здесь и мясные туши. Это место, где режут корабли. Огромные изношенные корабли, не пригодные для жизни.

...Рано утром начальник одного из цехов базы, офицер запаса, увидел на горизонте дымок. Едва обозначились контуры судна, как на быстроходном катере он пошел навстречу. С мостика корабля увидели катер и увидели человека, застывшего у флагштока. Ветер развевал его седые волосы, катер качало, но он стоял неподвижно, заложив руки назад, и не отрываясь смотрел на корабль. Он видел, как бросили якорь и спустили парадный трап.

Медленно поднялся он на палубу. Раздалась команда «смирно!», и командир корабля отдал военный рапорт этому гражданскому человеку, а сотни матросов застыли там, где стояли, и смотрели на него, и он виделся им таким, каким знали его по портретам в дорогих рамках, что висят в кают-компании и в кубриках. Он виделся им весь в орденах и в форме капитана первого ранга, каким был в военные годы, когда командовал этим кораблем.

Медленно и молча обошел он палубу, сопровождаемый офицерами, и поднялся на мостик. Он прошелся взад и вперед, сверху осмотрел корабль и тихо сказал:

— Пошли.

Командир корабля не отдал приказ. Он выпрямился, опустив руки по швам, и молча склонил голову.

— Спасибо! — сказал человек в штатском.

И тут же, усиленный микрофоном, по всему кораблю разнесся его голос:

— По местам стоять, с якоря сниматься!

Сколько раз, идя в бой, он отдавал эту команду с этого мостика. Теперь корабль шел в свой последний путь. И, как в опаленные войной годы, его вел боевой командир. Он пришвартовался к стенке базы с лихостью лейтенанта и мастерством ветерана. Последний причал. Все.

Каждое утро он поднимался на мостик. На корабле разбирали машины, резали стальной корпус. Корабль резали с двух сторон: с носа и с кормы (никто не упрекнул в нарушении технологии). И пришел день, когда остался только мостик, как нефтяная вышка, устремленная ввысь. На ней стоял командир. Как истый моряк, он покидал свой корабль последним.

Немножко грустно было слушать эту историю. Но когда я увидел морской парад и новое поколение военных моряков с их новой техникой в действии, моряков, которые хранят не только портреты, но и боевые традиции морской гвардии, по-иному посмотрел на разделочную базу. Жизнь неумолимо идет вперед, решительно отбрасывая старое и отжившее.

...Наша лодка вернулась «домой». И другие лодки вернулись. Все, кроме одной.

Вот что с ней произошло.

Выполнив задание, она всплыла и направилась на свою базу. Матросы и офицеры были довольны. Во-первых, они «потопили» все, что им приказано было «потопить», а во-вторых, возвращаться на свою базу всегда приятно. Неожиданно командир получил по радио еще один приказ и велел приготовиться к погружению. Приготовились очень быстро. Тут и готовиться нечего, каждый хорошо знал, что в таких случаях надо делать. Задраили люки, через которые могла проникнуть вода, закрыли шахту подачи воздуха. Специальный сигнал показал, что газовая захлопка закрылась. В действительности она закрылась неплотно. Никто этого не знал. По приказу командира открыли доступ воде в боковые цистерны, чтобы лодка погрузилась. Она действительно стала погружаться, но через шахту подачи воздуха сквозь неплотно закрытую захлопку вода ринулась к дизелям, затопила один отсек. Командир тут же приказал всплывать. Это значило, что надо продуться, то есть пустить в цистерны сжатый воздух, который вытеснит оттуда воду. Но полностью выдуть ее не удалось, так как лодка с затопленным отсеком погружалась под большим углом. Чтобы выровнять ее, затопили еще один отсек, но это не помогло. Так и врезалась она в грунт винтами и кормой.

Было сделано несколько попыток выровнять лодку и всплыть, но безуспешно. Были исчерпаны все возможности, и осталась надежда только на помощь со стороны. Выпустили буй. Он очень похож на детский волчок. Похож по форме и по яркой раскраске в несколько цветов. А диаметр его как у хорошей бочки. Буй привязан к лодке. От него тянется кабель, по концам которого телефоны: один в лодке, другой внутри буя.

Теперь осталось ждать, пока кто-нибудь заметит плавающий на волнах буй, откроет герметическую крышку и поднимет телефонную трубку. Тогда в лодке раздастся звонок. Вот все, что осталось делать экипажу: ждать. Ждать, пока кто-то придет на помощь. И этот «кто-то» должен поторапливаться, потому что воздуха осталось немного и он уже не такой чистый, как надо, а с большим количеством углекислого газа.

Буй качался на волнах, но его не видели: никого поблизости не было.

У подводников нет свободного времени. На лодке всегда много дел. А тут никто не мог придумать, чем заняться. Оставалось только ждать.

Ждать всегда неприятно. Но одно дело, скажем, долго ждать поезда, зная, что он обязательно придет, а другое — может быть, кто-нибудь спасет.

Командир лодки думал о том, как поддержать боевой дух матросов. Матросы знали, о чем он думает, и старались как-то помочь ему в этом. Люди стали рассказывать всякие веселые истории и, хотя эти истории были всем известны, так как уже не первый год они вместе служили и самое интересное каждый

успел давно рассказать, все-таки смеялись, поглядывая на командира: видит ли он, как им весело.

Командир понимал, что все это делается специально для него, и был благодарен им, и тем более ему хотелось что-нибудь сделать для матросов. И он сказал коку так, чтобы все слышали:

— Ну-ка, доставай из аварийного запаса что есть повкусней.

— Эх и попадет нам от интенданта базы за то, что вскрыли аварийный запас,— улыбаясь, заметил замполит.

Матросы тоже улыбались и потирали руки, показывая, что им понятен смысл этой фразы: коль скоро «попадет», значит, они будут спасены и вернутся на свою базу.

Так вели себя люди. А что у них было на душе, сообразить нетрудно. Каждый знал: подняться с затонувшей лодки довольно просто. Ствол, в котором находится торпеда,— это длинная труба большого диаметра, с обеих сторон закрытая крышками. Если вынуть торпеду, в трубку могут влезть несколько человек в водолазном снаряжении. После этого закрывают внутреннюю крышку и открывают трубопроводы, по которым вода ринется в трубу. Внутреннее давление сравняется с забортным, люди откроют верхнюю крышку, выберутся оттуда и всплывут на поверхность. Еще легче выйти из люка, если дифферент небольшой.

Все довольно просто. Но спастись удается редко. Дело в том, что под водой газы, которыми дышит человек, ведут себя не так, как на земле. Даже спасительный кислород на определенной глубине убивает человека. А главное — давление. Если на большой глубине выстрелить из револьвера, пуля не вылетит. Пороховые газы не сумеют преодолеть давление воды.

На глубине ста пятидесяти метров человека сжимает сила в триста тонн. Он не превратится в лепешку и останется невредимым, если в его груди, в сердце, в сосудах, во всем организме будет такое же давление, как и снаружи. Это и понятно. Глубоко под водой банку с консервами раздавит, как под паровым молотом. Но если в ней окажется достаточно большое отверстие, туда мгновенно ворвется вода, и она будет давить на стенки с такой же силой, как и наружная. Банка останется в целости.

Чтобы человек не погиб, надо уравнять давление в его организме с давленим воды на данной глубине. А вот это уже совсем не просто. Да и всплывать в силу ряда обстоятельств надо не сразу, ибо это смертельно, а в течение нескольких часов, делая длительные остановки под водой. Короче говоря, без помощи водолазов спастись почти немыслимо. И это хорошо знали подводники с лодки, беспомощно торчавшей на дне моря.

Командир, исчерпав все возможности всплыть, твердо решил не выпускать людей, а ждать помощи, ждать, пока их найдут и спустят водолазов.

И водолазы появились. Во главе их был старшина водолазной команды лауреат Государственной премии мичман Николай Иванович Баштовой.

Человек это выдающийся. Впервые я услышал о нем на спасательном судне, которым командовал Никифор Иванович Балин. Я попросил Балина рассказать о работе водолазов.

— Ну что говорить о них...— развел он руками.— Ничего нового сказать не могу. По книгам и кинокартинам широко известно, что водолаз живет в удивительном и чудесном мире. Он видит неповторимо красочное подводное царство: причудливые рифы, удивительные растения, фантастических рыб и животных. Легко, как мячики, перепрыгивают со скалы на скалу почти невесомые в воде люди в скафандрах, как воздушные шары поднимаются со дна моря на высокие палубы затонувших кораблей, спускаются в лабиринты кают и кубриков, отыскивают сокровища, раскрывают тайны. Ведь так вы представляете себе работу водолаза? — улыбнулся он.— Понимаете, у нас часто любят показывать все в голубом свете, увлекаются только романтикой. И металлурги и шахтеры иной раз описываются так, что только диву даешься: как легко, оказывается, варить металл и добывать уголь.

Никифор Иванович вдруг резко встал и заходил по каюте.

— Вы видели фильм «Командир корабля»? Посмотрит такой фильм любитель легкой жизни и скажет: «Вот бы куда устроиться — ни забот и ни труда. Море, гитара, работать не надо... Красота... Не жизнь, а сказка».

Вот так и с водолазами. Только одну сторону жизни описывают — романтическую. Представляют их эдакими подводными туристами. Почему-то никто не говорит о том, что работа водолаза ежеминутно связана со смертельным риском и очень тяжела физически. Кроме умения ходить под воду, надо овладеть еще добрым десятком специальностей. И не кое-как, а на высокий разряд. Водолаз должен быть очень опытным такелажником. Он должен уметь вязать под водой сложнейшие узлы из стального троса, иначе не поднять ни затонувшего корабля, ни торпеды. Он должен быть квалифицированным сварщиком, ибо под водой производится сложная сварка. Он должен уметь работать молотком и зубилом, напильником и автоматическим инструментом. Он обязан быть опытным минером, иначе подорвется на первой же мине. Трудно даже перечислить все качества, которыми должен обладать водолаз.

Никифор Иванович ходил по каюте и говорил словно сам с собой.

— Ну как рассказывать о водолазе? — снова развел он руками.— Понимаете, это целый мир, это надо видеть. В глубине моря у него много дел вне зависимости от того, начал он выполнять задание или нет. С палубы корабля за ним тянутся сигнальный конец, то есть толстый канат, и воздушный шланг вместе с телефонным кабелем. Водолаз должен внимательно следить, чтобы они не запутались, чтобы не зажало где-нибудь шланг, иначе прекратится подача воздуха. Надо поминутно нажимать головой клапан, вентилировать скафандр, иначе можно отравиться угле-

кислым газом. Но выпустить много воздуха нельзя, потому что вода раздавит. И лишний воздух нельзя держать — водолаза выбросит наверх, как надутый мяч.

Под водой трудно идти. Труднее, чем против очень сильного ветра, потому что плотность воды в семьсот семьдесят пять раз больше плотности воздуха. И еще потому, что велико давление воды. Чем глубже опускается водолаз, тем сильнее сжимает его вода. В скафандре и в организме водолаза по мере погружения тоже повышается давление. Оно уравновешивается. Но равновесие надо точно соблюдать. Если в скафандре окажется лишний воздух, водолаз обретет положительную плавучесть, и его выбросит наверх. Но до поверхности он не долетит. Где-то не выдержит и лопнет скафандр, распираемый изнутри воздухом, и человек камнем полетит на дно, потому что на нем несколько пудов груза.

Идти грудью вперед почти невозможно. Водолазы ходят боком. Странное противоречие: человек вместе со скафандром в воде очень легок, но внутри скафандра он скован. Точно свинцовый в воздушном шаре. Об этом никто не пишет. И вообще странно: профессия летчиков-испытателей, например, справедливо овеяна славой. Любой школьник скажет, что это люди непревзойденной отваги, выдержки, воли. Каждый метр отвоеванной высоты на новой машине приносит им заслуженное признание и почет. Имена летчиков-испытателей знает народ.

А что вы слышали о водолазе-испытателе? О таком, например, как Николай Баштовой? Он спускается на глубины, где никогда еще не был человек, спускается в скафандре новой конструкции. Он осваивает и новую конструкцию, и недосягаемые ранее глубины. А ведь морские глубины не терпят вторжения человека. Вечный, непроницаемый, как броня, мрак и леденящий душу холод окутывают его; исполинские силы воды, будто готовый схватиться бетон, сжимают тело и словно выжидают малейшей оплошности, чтобы расплющить это чужеродное тело, перевернуть вниз головой или выбросить на поверхность, разорвав легкие. В его легких не воздух. На таких глубинах воздух задушит человека. И Баштовой дышит газовой смесью, которую придумали ученые, и испытывает на себе эти газы.

Летчик-испытатель стремится достичь новой высоты на новой машине. Для водолаза новая глубина и новая конструкция скафандра только часть дела. На дне моря он должен еще и работать. Принимая на себя гигантские перегрузки, рассчитывая любое движение, чтобы не погибнуть, он должен одновременно выполнить задание, во имя которого спустился. Ведь просто наблюдать морское дно можно без особого риска и неудобств из батисферы или других снарядов, специально для этого созданных. Водолаз не может только наблюдать. Он вступает в борьбу с могущественными силами воды, чтобы отвоевать жизни и богатства, которые притянет морское дно.

Во всех странах, связанных с морем, идет непрерывная борьба

за освоение глубин. Каждый отвоеванный у моря метр имеет огромное значение: в интересах науки, для подъема затонувших богатств и прежде всего для спасения людей. Известно немало случаев, когда экипажи подводных лодок, в частности американских, находясь на неосвоенной для работы глубине, гибли. Ведь достигнуть определенной глубины еще не значит освоить ее. Существует неумолимая зависимость: чем больше глубина, тем меньше времени может находиться там человек. Освоить глубину — значит получить возможность там работать. А если у человека для этого две-три минуты, а потом долгие, изматывающие часы подъема,— какая же это работа?

Опытные водолазы спускаются на такие большие глубины, где могут находиться одну-две минуты, ничего не делая, буквально ни одного движения. А покажется иному, будто хватит сил для того, чтобы сделать несколько шагов, поднять что-либо с грунта,— и потеряет человек сознание. В таком положении едва ли его поднимут живым, ибо подъем должен проходить с многочисленными остановками и длиться до десяти часов.

На иной глубине водолаз может работать в течение нескольких минут, но очень медленно. Сделает два-три резких движения — и тот же результат: потеря сознания.

Работа водолаза,— продолжал свой рассказ Никифор Иванович,— это тот редчайший вид работ, где угроза смерти или тяжелого увечья одинаково реальна как в мирное, так и в военное время. Это люди, для которых вся жизнь — война. Особенно для испытателей морских глубин.

Мне хотелось подробнее расспросить Балина о Баштовом, но пришел вахтенный офицер и сообщил, что получен приказ о начале учений. Надо немедленно выйти в море на спасение «затонувшей» подводной лодки. Балину сообщили координаты места, где обнаружен аварийный буй. Через два часа мы его увидели.

Удивительно красив этот буй. Яркие полосы красного, синего, желтого и белого лака переливались на голубых волнах, и с трудом верилось, что это сигнал страшного бедствия. Уж очень невинный и радостно-праздничный у него вид. А возможно, так казалось потому, что это был сигнал не подлинного бедствия, а учебной тревоги, и лодка, выпустившая буй, могла в любую минуту всплыть самостоятельно.

Вот такой же красивый буй выпустила и та лодка, с которой случилось несчастье. Как только стало известно, что она не вернулась на базу, начались поиски. Низко над морем летали самолеты, бороздили воду быстроходные корабли специального назначения. Аварийный буй обнаружили довольно быстро. К нему устремилось спасательное судно, где старшиной водолазной команды был мичман Николай Иванович Баштовой.

Корабль застопорил близ буя. Шлепнулась о воду шлюпка, в которой уже сидели шесть матросов и лейтенант. Рванули весла. Прыгая на крутых волнах, пошли к бую.

Его не сразу ухватишь. Когда шлюпку поднимало на гребень, он проваливался вниз. Но вот уже накинули на него петлю, прижали к шлюпке, лейтенант открыл крышку и поднял телефонную трубку. На всю лодку раздался сигнал.

Может ли быть для людей, замурованных на дне моря, звук сладостней этого обычного телефонного зуммера! Торжествующее «ура» огласило отсеки и заглушило слова командира, ухватившего телефонную трубку. А в следующий момент все замерло.

— Прежде всего — воздух! — сказал командир.— Даже загрязненного углекислотой воздуха, который у нас остался, хватит не больше чем на два часа. Во-вторых, теплая одежда.

Командир сообщил глубину, на которой лежала лодка, и ее положение на грунте. И эти данные были неутешительными.

Радость людей от того, что лодка найдена, поблекла. Опасность для жизни подводников не только не миновала, а со всей неумолимой очевидностью встала перед спасателями. Самым простым, на первый взгляд, казалось спустить водолазов, застропить лодку и мощными буксирами вырвать ее со дна морского на поверхность. Но так только казалось. Людям под водой осталось дышать два часа. Лодка находилась на такой глубине, где водолазы долго работать не могут. И быстро не могут. Любое движение требовало от них огромного напряжения всех сил. Обстановка на дне моря была неизвестна. Могло встретиться много непредвиденных препятствий. Принять этот план — значило рисковать безрассудно.

Оставался единственный выход: дать людям воздух, теплую одежду и все необходимое для жизни, а потом начинать работы по подъему лодки. Но и подобный план не радовал. Не так просто все это сделать за два часа. Предстояло прежде всего поставить спасательное судно точно над лодкой и закрепить его в открытом море неподвижно. Отдать якоря судно не могло из-за опасности протаранить лодку. Приняли решение: на определенном расстоянии от спасателя сбросить на якорях две швартовые бочки, поставить на якоря два эсминца, расположив их так, чтобы бочки и эсминцы образовали четыре угла огромного воображаемого прямоугольника, в центре которого находился бы спасатель. Затем подать к ним со спасателя четыре стальных троса — два с кормы и два с носовой части,— натянуть их, чтобы они намертво закрепили спасатель на одном месте, над лодкой. Только после этого можно было спускать водолазов с воздушными шлангами.

Подготовительную работу моряки выполнили с необычайной быстротой. Еще только обсуждался план работ, но по боевой тревоге к месту аварии неслись эсминцы, специальные катера устанавливали на якорях бочки, другие суда тянули к ним со спасателя стальные тросы. В самом начале работ буй подняли на спасатель и сообщали на лодку, что делается наверху.

Как ни быстро работали моряки, но, когда подготовительные работы были закончены, все поняли, что для водолазов осталось

слишком мало времени. Все труднее дышать становилось подводникам, все сильнее насыщался воздух углекислым газом. Теперь по приказу командира моряки лежали в отсеках не шевелясь, чтобы не растрачивать силы.

Шансов на спасение оставалось мало. Это понимали и спасатели и подводники. Понимал это и старшина водолазной команды мичман Баштовой. Хотя его люди еще не имели возможности приступить к работе, но состояние у него было такое, будто все моряки вокруг — с эсминцев, с бесчисленных катеров и кораблей, собравшихся у места аварии,— выполнили свой долг и только водолазы сидят без дела. И если погибнут подводники, значит, всей своей тяжестью вина ляжет на водолазов.

Он знал: формально никто не станет предъявлять к ним претензий, потому что немыслимо в такой срок подвести воздух на лодку на дне моря, обстановка вокруг которой еще неизвестна. Но от этого легче не было. Он не мог избавиться от ощущения собственной вины. В самом деле, подводники еще живы и останутся они жить или погибнут, зависит от водолазов.

Грустные мысли прервал командир. Он собрал водолазов и сказал:

— Катера уже потянули тросы к эсминцам и бочкам, скоро начинать вам. Теперь все зависит от вас. На вас смотрит флот, страна.

Он долго еще говорил про это, и от его слов еще горше становилось на душе. Каждый водолаз и сам видел, что катера уже потянули тросы, и понимал обстановку, и любые слова казались казенными, ненужными.

Баштовой приступил к действиям. Чтобы лучше разобраться в них, надо подробнее рассказать о нем самом.

КРИК ИЗ ГЛУБИНЫ

В матросском клубе девушки танцевали с водолазами. Парни были сильные и широкоплечие. Но и среди них выделялась фигура Николая Баштового. Новая форменка обтягивала грудь. Точно шлифованные лопасти, выпирали на спине косые мышцы. Он стоял у колонны, заложив назад руки, привыкшие вязать морские узлы из корабельных стальных тросов. Брови большие, черные.

— Что ж не танцуете, моряк? — смеясь спросила Верочка, одна из стайки девушек, проходивших мимо Николая.

— Не умею.

Остаток вечера Николай набирался храбрости. Когда стали расходиться, Вера задержалась у зеркала, и Николай ринулся к ней — будь что будет!

На следующий день они пошли в кино. Потом Вера учила его танцевать. После шестой встречи он сказал:

— Ухаживать я не умею, сама видишь. Давай поженимся.

Верочка рассмеялась, хотя шутка ей не понравилась. Потом поняла, что он говорит серьезно, и испугалась.

— Дурехи девки,— укоризненно сказал Николай.— Когда всякие пижоны их обманывают, они млеют, развесив уши, и верят. А если от всей души морской — подвоха ищут.

— Ну как же можно так скоро! — возмутилась она.— А если характерами не сойдемся?

— Про характер это специально для разводов придумывают. Я, например, с личным составом всего корабля сошелся характером. А тебя целая фабрика любит. Что же нам друг перед другом характер выказывать?

Она поверила. Поверила этим ясным глазам. Спустя несколько дней пошли в загс. Служащий просмотрел их документы, записал фамилии в какие-то книги и сказал:

— Вам дается три дня для последних размышлений. Если ничего у вас не изменится, приходите. Оформим законный брак.

Они не знали о таком порядке.

— Вот что,— обрадовалась Верочка,— давай эти три дня не встречаться. Пусть каждый из нас подумает наедине с собой.

Она понимала, что «испытательный срок» ничего не изменит в решении Николая. Мысли у него ясные и простые, все обдумано и крепко, как крепок он сам. События, неожиданно и резко изменившие ее жизнь, пугали, но она верила в хорошее. Полагалась уже не так на себя, как на него. С ним не будет страшно. Но в душе словно царапало что-то: уж очень все молниеносно, прямо перед людьми совестно. И она обрадовалась этим трем дням. Они как бы государственная проверка, после которой можно со спокойной совестью идти в загс.

Условились встретиться на четвертый день в двенадцать часов. Она говорила:

— Если ты передумаешь, ничего не надо объяснять. Просто не приходи. А если меня к двенадцати не будет дома, тоже не ищи и ни о чем не спрашивай.

Николай слушал улыбаясь.

За пятнадцать минут до назначенного срока три подруги, помогавшие Вере убирать комнату, расцеловали ее и убежали, чтобы не встретиться с Николаем: в этот торжественный момент они должны быть только вдвоем.

Вера была в белом платье. Она посматривала на часы и волновалась. Но ей не хотелось, чтобы он пришел и раньше времени. Пусть ровно в двенадцать. Пусть полностью истечет срок.

На следующий день, смущенная, растерянная, каким-то безразличным тоном сказала подругам:

— Передумал... Это его право... На то и давались три дня.

Она не плакала. Ее успокаивали: человек военный, могли задержать по службе, может быть, завтра придет.

Он не пришел ни завтра, ни на следующий день. Вера решила уехать в Белгород к матери. Пошла в райисполком за какой-то

справкой. Долго ходила по незнакомым коридорам. Забрела не на тот этаж. Остановилась, пораженная, увидев на двери надпись: «Депутат Севастопольского горсовета Николай Иванович Баштовой принимает избирателей по личным вопросам в первую среду каждого месяца от 5 до 9 часов вечера».

Не могла оторвать глаз от таблички.

— Сегодня приема нет,— услышала чей-то голос.

— Кто этот Баштовой? — выдохнула она наконец.

— Как — кто? Депутат... Водолаз, член партийного бюро части.

Держась за стены, Вера спустилась вниз.

«Значит, не передумал, а просто не собирался жениться. Иначе не скрыл бы своих чинов и званий. Как же принимает он «по личным вопросам»? Какое право на это имеет?»

Она рассеянно шла, никуда не глядя, и уже у своего дома, завернув за угол, остановилась пораженная. Навстречу ей, качаясь из стороны в сторону и балансируя руками, шел Баштовой, едва удерживая равновесие. Бескозырка была сбита набок, волосы лезли на мутные остекленевшие глаза.

Увидев Верочку, он рванулся к ней и еще издали заплетающимся языком заговорил:

— В-верочка... пон-нимаешь...

С Баштовым поравнялась машина и резко затормозила. Из нее выскочили морской офицер и два матроса с красными повязками на рукавах: военный патруль.

— Вот он, голубчик,— сказал кто-то из них.

Верочка прижалась к стене. Ей слышно было, как Николай пытался доказать, будто он не пьян, она видела, как моряки взяли его под руки и втащили в машину.

Что же случилось с Баштовым?

Почему не пришел он в назначенный час?

Все свои двадцать три года он прожил честно. Еще совсем мальчишкой стал взрослым, потому что шла война. Мужчин в селе не осталось. Он просился на фронт, его не пускали: молод. Но настало время, когда сказали: приходите с вещами.

Николай попал в запасный полк, в роту противотанковых ружей. Мучительно долго текли месяцы учения. И вот наконец полк погрузился в вагоны.

Эшелон приближался к фронту.

На остановках Николай бродил по перронам незнакомых станций, на продпункты шел не торопясь, как бывалый воин. Раненым, возвращающимся домой, безразличным тоном солидно говорил: «Да вот на фронт едем».

На какой-то станции выдали автоматы. Значит, теперь близко. Поезд шел по чужой земле. Все чувства смешались: собственное достоинство, гордость, что-то огромное, захватывающее и где-то, казалось, за пределами сознания,— тревога. Но она заглушалась свершившимся: едет на войну.

Сколько читалось о старых войнах, о подвигах в этой войне.

Но то была лишь романтика, далекая от его жизни. Теперь в руках автомат и все реже остановки эшелона. В голове какая-то смесь из книг Толстого и Николая Островского, но все это неотчетливо, неясно. Он не вспоминал произведений, но когда-то прочитанное всплывало как собственные туманные мысли. Это были даже не мысли, а ощущение, будто заполнен он чем-то, все его существо стало другим, и весь он другой. Он знал, что совершит подвиг и этот момент близок.

На прифронтовой станции эшелон загнали в тупик и объявили: война окончилась.

Великое всеобщее ликование захлестнуло его, но к этому радостному чувству примешивалось что-то обидное. Будто прав особых на эту радость не было. Не было его доли в победе. Теперь уже не свершить подвига.

Запасный полк отвели на переформирование. Тех, кто отслужил свое, отправляли домой, а новичков — кого куда. Желающим предоставляли возможность идти в военные училища. В полк приехал капитан-лейтенант, который сообщил, что объявлен набор в водолазную школу. Он никого не агитировал, а просто рассказывал ребятам о жизни водолазов. Ничего подобного Николай никогда не слышал.

На дне морей и океанов и поныне лежит несметное количество кораблей. В течение многих веков они гибли от ураганов и штормов, шли ко дну в результате столкновений, их топили в бесчисленных войнах. Только в Северной Атлантике в мирное время ежегодно сталкивается триста шестьдесят судов. Многие из них тонут вместе с ценностями, находящимися в трюмах. В редких случаях эти богатства удается извлечь из морских пучин. Но чем большие глубины осваивает человек, тем реальнее становятся возможности поднимать затонувшие ценности. Вот почему все страны мира — ученые и практики-водолазы — ведут неустанную борьбу, отвоевывая у моря все новые глубины.

В двадцать первом году, столкнувшись в тумане с дру им судном, затонул английский пароход «Иджипт», на борту которого находились золотые слитки стоимостью миллио фунтов стерлингов. Потребовалось почти пятнадцать лет, чтобы поднять золото. И хотя часть его осталась где-то в морских пучинах, это была немалая победа водолазов. Удалось спасти золотые слитки на два миллиона фунтов стерлингов и с затонувшего английского судна «Ниагара». Подобных примеров единицы. Тысячи кораблей с богатствами лежат на дне моря и ждут своей очереди. В первой мировой войне было потоплено 178 немецких подводных лодок. А надводных кораблей? А потери всех стран в бесчисленных войнах, какие знает мир? Все это тоже богатства, и покоятся они на дне морей и океанов. С незапамятных времен скапливаются там золото, драгоценности, сокровища мирового искусства и древней культуры. И поныне бесчисленные экспедиции на всех широтах и долготах ищут затонувшие сокровища.

Капитан-лейтенант рассказал ребятам, что в Британском музее хранится уникальное произведение античной древности — фриз Парфенона, поднятый с морского дна. В самом начале девятнадцатого века под благовидным предлогом «сохранить в целости» его разобрал на части и вывез из порабощенной турками Греции английский дипломат лорд Элгин. Судно, куда погрузили этот ценнейший груз, по пути в Англию затонуло. Два года изо дня в день уходили под воду люди, нанятые Элгином, пока не подняли все скульптуры, которые и продал лорд Британскому музею.

На протяжении веков в морских пучинах обнаруживаются все новые произведения античного искусства, затонувшие до нашей эры. Спустя столетие после истории с фризом Парфенона, украденным Элгином, греческий охотник за губками Стадиатис обнаружил в тунисских водах близ порта Махдия множество произведений древнего искусства, затонувших более двух тысяч лет назад.

— Вот как пишет об этой находке знаток подводного царства Патрик Прингл,— сказал капитан-лейтенант и прочитал: — «Достигнув грунта, Стадиатис, все мысли которого были сосредоточены на поисках губок, испугался при виде этих, казавшихся живыми предметов: огромных белых лошадей, то вздыбленных, то лежавших на спине вверх копытами; обнаженных мужчин и женщин белого или бронзового цвета, в большинстве случаев наполовину зарывшихся в ил... В панике он дал сигнал подъема».

Богатства, таящиеся на дне морей и океанов, столь фантастически велики, что сейчас трудно даже представить, какую огромную пользу принесут они человечеству, когда люди освоят большие глубины и смогут находиться там длительное время. А освоение это идет удивительно быстро. Забегая далеко вперед, скажу, что именно за освоение глубин, на которые еще не спускался человек, Николай Баштовой и удостоился впоследствии звания лауреата Государственной премии.

Совсем недавно казалось немыслимым бурить морское дно и извлекать оттуда нефть. Сейчас этот процесс широко освоен не только у нас, но и в других странах. Люди научились на дне моря плавить металл, воздвигать сложные сооружения, пользоваться там новейшими достижениями техники. Водолазы взрывают под водой стальные входы в кладовые затонувших судов, переборки, палубы, открывая путь к сокровищам. Подводные фото- и киносъемки, подводное телевидение служат не только для удовлетворения эстетических потребностей человека, но и широко используются в аварийно-спасательной службе.

Рассказы морского офицера из водолазной школы открыли перед Николаем Баштовым, имевшим всего четырехклассное образование, и удивительный мир обитателей морей. Оказывается, вопреки множеству описанных в книгах случаев, передаваемых из уст в уста, акула не нападает на человека. Схватка между ними может произойти лишь в том случае, если нападет человек.

Легендой оказалось и все, что Николай знал о страшных осьминогах. Кому из ребят не известно, что осьминог захватывает свою жертву огромными щупальцами, тысячами сосков присасывается к ней и держит, пока не вытянет всю кровь. Вот это как раз и оказалось легендой. Тысячи сосков у осьминога только для того, чтобы удерживаться на отвесных подводных скалах или камнях. И он тоже не нападает на человека, если его не трогать. Бывали случаи, когда осьминог захватывал водолаза, но достаточно было ударить животное между глаз, и беспомощно поникали его щупальца.

Как правило, морские хищники смертельно боятся пузырьков воздуха, выскакивающих из-под шлема водолаза при выдохе. Завидев пузырьки, хищники обращаются в бегство. В худшем случае они могут с опаской наблюдать со стороны, не подплывая к водолазу. Конечно, могут быть, да они и известны, случаи из ряда вон выходящие, когда хищник ведет себя по-другому, но это лишь редчайшие в мире исключения.

Особый интерес у Баштового вызвал рассказ о том, как действуют люди-торпеды. Это не самурайские смертники, обреченные на гибель вместе со своей торпедой, а водолазы. Еще в первую мировую войну итальянцы Паолуччи и Розетти создали торпеду с двумя отделяемыми магнитными минами замедленного действия. На специальный катер они погрузили свой аппарат, пересекли Адриатическое море и ночью высадились на воду близ югославского порта Пула. Усевшись верхом на торпеду, направились в гавань к австрийскому линкору. И аппарат, и диверсанты двигались под водой. На поверхности оставались только головы людей. Диверсанты были одеты в резиновые костюмы с воздушными карманами, и это давало возможность не только без усилий держаться на воде, но и легко управляться с торпедой. Они имели возможность выпустить из карманов воздух или вновь заполнить их, в зависимости от того, надо ли им укрыться под водой или всплыть на поверхность.

На пути к линкору Паолуччи и Розетти встретили массу препятствий. Они перетаскивали свою торпеду через боны и заградительные сети, она тонула, но они извлекали ее со дна и снова двигались к цели. Достигнув линкора, поставили дистанционный взрыватель на полчаса, чтобы за это время уйти в безопасное место, и приложили магнитные мины к днищу судна. Уйти, однако, им не удалось, так как было уже светло и их заметили. Но это не помешало взрыву, который произошел в назначенное время и вывел из строя боевой корабль.

Опыт Паолуччи и Розетти был значительно шире применен во второй мировой войне. Обычно во всех портах ставятся бесчисленные заграждения, которые надежно закрывают вход для вражеского подводного и надводного флота. Закрыть путь небольшой торпеде, сопровождаемой диверсантами, едва ли возможно. Они легко проделывают отверстия в заградительных се-

тях, без каких-либо усилий обходят мины и другие препятствия, губительные для кораблей. Это обстоятельство и позволило им совершать ряд крупных подводных диверсий во второй мировой войне.

Окончательно Баштовой решил идти в водолазное училище, когда услышал историю «Черного принца».

17 декабря 1923 года по инициативе Ф. Э. Дзержинского была создана «Экспедиция подводных работ особого назначения на Черном море», сокращенно — ЭПРОН. Первая поставленная перед ней задача сводилась к тому, чтобы отыскать на дне моря «Черного принца» и, если там действительно есть золото, извлечь его из морских глубин.

Что же это за «Черный принц», о котором ходило немало легенд? Это судно, и отнюдь не мифическое. Во время Крымской войны, как известно, против России выступили Англия, Франция, Турция и Сардиния. На стороне коалиции был еще ряд стран, открыто не участвовавших в войне. Объединенные силы противника устремились к главной военно-морской базе русских — Севастополю. Защитников города было неизмеримо меньше, чем вражеских войск, но севастопольцы удерживали город триста сорок девять дней. Врагу они оставили развалины, да и то находившиеся под обстрелом с северной стороны Севастопольской бухты, куда отошли русские.

В этой войне Россия имела только парусный флот, а противники — моторный. После многомесячной осады русские моряки решили затопить свои корабли, чтобы они не достались врагу. 11 сентября 1854 года корабли были затоплены так, что полностью закрыли для врага вход в Севастопольскую бухту. Вражеский флот вынужден был базироваться в Балаклаве. В начале ноября, не по-крымски в тот год холодном, туда начали подходить многочисленные вражеские суда со снаряжением, боеприпасами и обмундированием. Среди них были американские транспорты и корабли объединенных сил противника.

Спустя две недели о судьбе этих судов сообщала вся мировая печать. «Лионский курьер» писал: «4 ноября на рассвете буря началась проливным дождем при жестоком ветре, который быстро превратился в ураган. К 9 часам после некоторого затишья ветер внезапно перебросило к западу с невообразимой силой и яростью. Вся масса кораблей, загнанная к северу, стремительно понеслась к скалам, где ей угрожало совершенное разрушение.

В Балаклаве восемь больших английских транспортов погибло с людьми и грузом, их разбило об исполинские скалы, окружающие внешний рейд. Ни один из них не мог войти в тесный ход гавани при такой бурной погоде».

Английское адмиралтейство сообщило названия кораблей, нашедших гибель на подходах к Севастополю. Среди них было названо и паровое судно «Принц».

Это оказались только первые ласточки. Со второго по четырнадцатое ноября у Балаклавской бухты затонуло более тридцати вражеских судов. Особенно большой потерей для врага был пароход «Принц», которому еще в те времена в России дали название «Черный принц».

Из многочисленных сообщений печати и официальных данных стало известно, что на борту этого парохода, кроме теплого обмундирования, находилось большое количество золотых денег, предназначенных для выплаты жалованья войскам за длительное время.

Водолазам объединенных сил противника не удалось найти «Черного принца». Почти семьдесят лет спустя, когда задача неизмеримо усложнилась, за это дело взялись и успешно решили его советские водолазы. В том месте, где затонул «Черный принц», глубина доходила до ста двадцати метров. Но судно зацепилось за выступ подводной скалы в шестидесяти метрах от морского дна и застряло там. Водолазы подняли с него ряд деталей, свидетельствовавших, что это действительно «Черный принц». Возможно, золото высыпалось из многочисленных пробоин, полученных судном при катастрофе, и за долгие десятилетия монеты занесло илом и камнями, может быть, покрылись они ракушечником таким толстым слоем, что потеряли всякую форму, но так или иначе время свершило свое дело: найти золото не удалось.

Но работа водолазов принесла неоценимую пользу. С морского дна было поднято много металла и ценных материалов, в которых остро нуждалась страна.

История «Черного принца» на этом не закончилась. Японские официальные органы заявили, что они берутся извлечь золото с «Черного принца» и готовы для этого снарядить собственную экспедицию, оснащенную передовой по тому времени водолазной техникой. Советское правительство приняло предложение, и был заключен контракт, по которому японцы обязались:

1. Оплатить советской стороне все расходы ЭПРОНа, нашедшего судно.

2. Обучить советских водолазов новой технике подводных работ.

3. Передать советской стороне половину золота, которое удастся поднять.

4. Все работы проводить под полным контролем советской стороны.

Японцы выполнили все свои обязательства. Они затратили много времени, сил и средств и золото нашли: семь монет. Спустя много месяцев после начала работ, убедившись в их бесплодности, водолазы прекратили дальнейшие поиски.

Рассказав историю «Черного принца», морской офицер добавил, что первые самостоятельные спуски молодые водолазы совершают на это судно.

Вместе с группой ребят Николай Баштовой сменил солдатскую форму на тельняшку и морской бушлат.

Учился водолазному делу. На дне моря узнал, что такое война. Он увидел затопленные, изуродованные линкоры, крейсеры, подводные лодки, самолеты, катера, транспорты. Увидел тысячи и тысячи неразорвавшихся бомб, торпед, снарядов. Наших и немецких. Морские мины лежали на грунте, плавали на разных глубинах, на поверхности.

В фантастическом хаосе послевоенного морского дна были свои улицы, переулки, площади, тупики. Были баррикады из якорей, цепей, тросов, обломков.

Черноморские порты и курортные пляжи таили опасность. Водолазам предстояло освободить от пут, оставленных войной, советское побережье Черного моря.

На первое серьезное задание Баштовой пошел с сознанием важности предстоящей операции. На грунте лежала немецкая подводная лодка. Надо было осмотреть ее, определить, в каком положении она находится, насколько занесена илом, какие имеет повреждения. Одним словом, доложить с исчерпывающей ясностью и полнотой обстановку на грунте.

На палубе раздалась команда:

— Водолазу Баштовому приготовиться.

Он надел шерстяное трико, свитер и вязаную шапочку, с трудом влез, как в мешок с узкой горловиной, в огромный водолазный костюм из толстой резиновой ткани. Натянул штанины, встал, прижав руки по швам, и четыре матроса с четырех сторон взялись за горловину, толстую, как протектор автомобильной покрышки. Под команду сильными рывками растягивали ее, поднимая вверх, пока не перетащили через плечи. Теперь он оказался по самую шею в просторном костюме и легко просунул руки в рукава. На плечи положили медную манишку, а сверху почти пудовый круглый шлем и прижали его тремя болтами. На груди и на спине закрепили грузы, всунули его ноги в свинцовые галоши, тоже в пуд каждая, затянули ремни, закрутили иллюминатор, привязали нож и фонарь.

— Как слышимость? — раздался в шлем гулкий голос, похожий на эхо.

— Хорошая.

— Проверьте воздух!

— Хорош! — сказал Баштовой, и это слово через автоматически действующий телефон разнеслось по палубе.

— Приготовиться к спуску! — звучит новая команда.

И вот он уже под водой.

Погода стояла ясная, солнечная, глубина сравнительно небольшая, видимость отличная. Вскоре он сообщил наверх:

— Подо мной метрах в шести лодка.

Он внимательно смотрел на нее и вдруг заметил, что на мостик из люка поднялся человек, должно быть командир. Вслед за ним

вылезло человек десять матросов. Открылись крышки торпедных аппаратов, заработали винты, лодка стала медленно подниматься.

Взволнованно, заплетающимся языком он передавал наверх все, что видел. Но на палубе никто не удивился этому невероятному сообщению.

Дело в том, что при повышенном давлении газы, которыми дышит человек, ведут себя предательски. Кислород на глубине более двадцати метров отравляет организм. На большой глубине вдох кислорода может быть смертельным. В лучшем случае человек теряет сознание, а потом долго бьется в судорогах. Кислородное отравление наступает мгновенно, и водолаз не успевает что-либо сделать, не успевает даже сообщить наверх о несчастье. Поэтому величайшая ответственность лежит на человеке, сидящем с наушниками у пульта. Он обязан непрерывно поддерживать связь с водолазом, чтобы уловить момент, когда с тем что-то случится.

Азот под давлением превращается в сильнейшее наркотическое средство. Водолаз, отравленный азотом, поет, что-то бормочет... Перед ним возникают миражи. И он сообщает наверх, будто видит на дне моря дымящиеся домны, эскадры, ведущие бой, и другие небылицы. Водолаз не понимает, в каком состоянии находится. Его охватывает веселье, он становится удивительно легкомысленным и может совершить самый безрассудный поступок. Бывали случаи, что человек в легководолазном снаряжении выплевывал загубник, через который дышал, и через несколько минут умирал.

Услышав странный доклад Баштового, водолазный специалист, наклонившись к самому микрофону, сказал:

— Не беспокойтесь, лодка пройдет мимо.

Он велел поднять Баштового на пять метров и спросил, как тот себя чувствует. Николай ответил, что самочувствие отличное, что видит лежащую на грунте лодку, облепленную ракушками и водорослями, и не понимает, почему прекратили спуск. И этот его ответ был понятен. Как только человека поднимут из сферы, где азот действует отравляюще, он приходит в нормальное состояние. Он не помнит, что с ним происходило.

Так получилось и на этот раз. Трижды спускали Николая к лодке, и трижды возникал перед ним мираж. Спуски пришлось отменить.

Было еще два подобных случая, но с течением времени организм привык к глубинам и галлюцинации прекратились.

Задания, которые он выполнял, становились все сложнее.

На глубине более восьмидесяти метров близ водной спортивной станции и пляжа пионерского лагеря нашли мину. Обыкновенную морскую мину, которая может разорвать стальную броню большого корабля. Баштовому велели приготовить ее к подъему, чтобы потом отбуксировать эту опасную штуку от людного места.

водную станцию и пляж временно закрыли. Кое-кто был недоволен. «Куда смотрят люди,— говорили они,— и как допускают, что до сих пор на пляже мины».

Те, кто так говорил, были неправы. Они просто не знали, что такое морская мина. Обнаружить в воде металл легко. Но металла много. На дне остались железные и стальные части затопленных кораблей не только времен второй мировой войны, но и периода прошлых войн. Осталось много обломков, якорей, цепей. И приборы будут все время показывать присутствие металла. Значит, приборами мину не найдешь. Ее легко уничтожает тральщик. Заденет мину тралом — вот и конец ей.

Так может быть. Но не всегда. Есть мина хитрее и умнее. Ее аппаратная часть недаром напоминает внутренности мощного радиоприемника. Там столько цветных проводков, что в них сам черт ногу сломит. И не зря их понацепляли. Через них идет ток к приборам срочности и кратности. Скажем, установили срок взрыва год — и раньше не взорвется. И трал не поможет. А когда истечет срок, начнет действовать прибор кратности. Пройдет, скажем, тральщик раз пять, все дно переворошит, можно бы считать район свободным от мин, а у мины, оказывается, кратность — одиннадцать. Значит, еще пять кораблей пройдут над ней невредимыми, а одиннадцатый она взорвет.

Как же искать мины? Пройти со щупом каждый квадратный метр морского дна на протяжении тысяч километров? Да и то не всегда найдешь. Морское дно не бетонная дорожка. Там, где сегодня яма, завтра может оказаться бугор, а под ним — мина.

Баштовому приказали приготовить мину к буксировке. Пока она лежала на палубе или в трюме какого-то корабля, ее свинцовые рога были покрыты стальными предохранительными колпаками. В маленькой открытой коробочке на ее теле поршенек с пружинкой прижимал кусочек сахару. Обыкновенного, какой кладут в чай. Когда мину сбросили в воду, сахар растаял. Поршенек уперся в кнопку, привел в действие весь предохранительный механизм — и стальные колпаки прыгнули в разные стороны. Остались чувствительные и податливые свинцовые рога. Ткнутся они во что-нибудь — и сломаются внутри них тончайшие стеклянные колбочки. Все. Взрыв.

Мина послушна. Но только тому, кто ее снаряжает. Захотят — она будет плавать на поверхности. Могут заставить ее встать на любой глубине или лечь на грунт.

Мина Баштового лежала на грунте. Значит, так хотели те, кто бросил ее туда.

И вот теперь с ней надо что-то делать. Подходить со стальным или железным инструментом нельзя. Она может быть магнитной. Не успеешь прикоснуться, как возбудится магнитное поле — и взрыв.

На Баштовом был антимагнитный костюм. Это еще не означало, что можно смело подходить к мине. Она могла быть звуко-

вой. Стукнешь случайно чем-нибудь о камень или заденешь ее свинцовой галошей — наверняка взрыв.

Баштовой приблизился к мине бесшумно, подождал, пока осел ил. И все равно видны были только ее очертания. На глубине ведь темно. Свой мощный фонарь он не взял. Ни к чему. Мина может быть световой. Она не вынесет даже тусклого лучика и взорвется.

Едва прикасаясь к металлу, ощупал всю поверхность и обнаружил крохотный экранчик. Так и есть — световая. Начни поднимать ее, она, не дойдя немного до поверхности, где-то в верхних слоях воды, восприняв свет, бабахнет, и все.

Баштовому спустили с водолазного судна специальный состав, и он замазал экран. Подождал немного и для верности покрыл его вторым слоем. Только тогда потребовал фонарь.

Мина глубоко сидела в грунте, и, что таила скрытая часть, было неизвестно. Стало ясно лишь, что кольцо, которое для того и делается, чтобы за него зацепить трос, находится снизу. Он долго разрывал руками грунт и убедился, что никакие новые неприятности его не ждут. Оставалось застропить мину мягким канатом, завязать этот шар так, чтобы канат не сдвинулся и не коснулся рогов, когда рванут мину вверх. Баштовой и это сделал. Второй конец короткого каната прикрепил к резиновому ненадутому понтону, который лежал пока на грунте в нескольких метрах от мины. Когда все было сделано, Баштового подняли на палубу.

Медленно стали накачивать воздух. Уже, казалось, понтон надут, но мина держала его. Компрессор гнал воздух. Понтон набрал максимальную мощность и вырвал ее с грунта.

Понтон плавал на воде, а под ним висела мина. И снова Баштовому пришлось идти к ней. Он проверил стропку, привязал к понтону трос от буксирного катера. Все. Теперь водолазу здесь уже нечего делать. Мину уволокут на буксире куда-нибудь подальше, и минеры что-то с ней сделают. Может быть, взорвут, а возможно, вытащат на пустынный берег и разберут.

Баштовой научился работать с минами. Он знал: морская мина, как и противопехотная,— всегда тайна. Только в пять тысяч раз больше ее взрывная сила; только ощупывать ее надо во мраке, бесшумно; только ложась возле нее, чтобы ощупать низ, надо не забывать, что тебя может перевернуть вверх ногами; только работать надо скованными, онемевшими руками, в громоздком костюме, увешанном грузами, и не забывать вовремя прибавить или убавить дыхательной смеси, чтобы не задушило и не выбросило наверх.

Баштовой поднимал корабли, бомбы, торпеды. По цвету воды научился определять глубину, на которой находится. Он мог передвигаться в нескольких сантиметрах от грунта, не ступая на него, чтобы не потревожить ил. На дне моря провел несколько тысяч часов, исходил немало километров: Феодосия, Керчь, Поти, Ялта, Сухуми, Батуми, Севастополь... Он узнал все глуби-

ны, рифы, профили грунта. Он знал теперь морское дно как собственный поселок. Он стал непревзойденным мастером морских глубин.

Вот тогда-то Николай и решил жениться на Верочке. За день до назначенной встречи ему предстоял спуск под воду, а следующие два дня были свободными. Он знал, что не опоздает и ровно в двенадцать приедет к ней.

Под водой ему предстояло найти и обследовать затопленный теплоход «Серов». В том месте, где его спустили, корабля не оказалось. Куда идти — неизвестно. Он искал долго. Срок пребывания на грунте кончался. Ему не хотелось возвращаться ни с чем. Сам не зная почему повернулся и пошел в другом направлении. Вскоре показалось, будто с той стороны, куда он двигался, нависла огромная тень. Пошел быстрее, хотя сил оставалось мало.

Водолазы не переносят под водой ни тени, ни звука. Это, как правило, связано с неприятностями. Это значит, что появилось что-то постороннее, и водолаз будет нервничать и настороженно искать, пока не найдет источник звука или тени.

Озираясь, Баштовой двигался навстречу тени. Неожиданно выросла перед ним громада, и он отчетливо увидел надпись: «Серов».

Теперь, казалось, можно подниматься. Но он попросил разрешения влезть на палубу затонувшего судна и закрепить там конец, чтобы для других водолазов это была направляющая прямо на «Серова».

Он прибавил в скафандр воздуху. Ровно столько, чтобы стать невесомым и легко всплыть. Прибавишь чуть-чуть больше — выбросит наверх.

Всплывая на палубу, следил, чтобы ноги на миг не оказались выше уровня головы. Это почти всегда смертельно: воздух устремится в штанины, грузы на спине и груди потянут вниз и его перевернет вверх ногами. Он успеет сообщить о несчастье на корабль, но быстро поднять его не смогут: это наверняка смерть. Чем больше давление, тем больше газов растворяется в тканях и крови. Если быстро поднять человека, газы в виде шариков рванутся из организма, как из открытой бутылки шампанского. Но выхода у них нет. Они закупорят, разорвут кровеносные сосуды.

Он благополучно взобрался на палубу «Серов», очень торопливо, но накрепко привязал стальной тросик к какому-то поручню и потерял сознание.

Очнулся от сильного звука. Это радист, наклонившись к микрофону, кричал: «Баштовой, Баштовой, почему не отвечаете? Что случилось?»

Николай спокойно сказал:

— Ничего не случилось. Готов к подъему.

Во время подъема еще раз на короткое время терял сознание. Это был результат перегрузки от быстрых и резких движений.

На палубе его положили в декомпрессионную камеру на сутки. Она похожа на барокамеру, какой пользуются летчики. Но там сильно разреженный воздух. Там устанавливают давление ниже атмосферного, какое было на большой высоте, и постепенно сводят к нормальному. Здесь, наоборот, сначала воздух сжимают до такого давления, какое испытывал водолаз на самой большой глубине, а потом на протяжении многих часов снижают до атмосферного.

Баштовой решил, что не опоздает к Верочке. Когда истек срок пребывания в камере, врач осмотрел его и велел остаться еще на двенадцать часов. Протесты Николая не помогли.

Как же ему теперь быть?

Баштовой сбежал с судна. Решил повидаться с Верой и тут же вернуться. Но по дороге начался приступ кессонной болезни. Это профессиональная болезнь водолазов, являющаяся результатом больших перегрузок под водой. Она доставляет человеку мучительную боль в костях, а внешне он становится похожим на пьяного. Его качает из стороны в сторону, и говорит он заплетающимся языком. В таком состоянии его и увидела Верочка возле своего дома.

В военной комендатуре, куда доставили Николая, недоразумение быстро выяснилось, и его отвезли в госпиталь. Оттуда и получила от него записку Вера, за два часа до отправления поезда, на котором собиралась уехать из Севастополя.

Они поженились.

Николай вернулся к работе. Принимал участие в подъеме крейсера «Червона Украина», крупных судов «Грузия», «Абхазия» и других. Он мастерски владел электрическим и пневматическим инструментом, техникой сварки и резки металлов под водой, знал все виды подъемных и глубинных работ. Он перешел в высшую категорию, стал водолазом-испытателем.

Когда затонула подводная лодка и жизнь людей оказалась под угрозой, на их спасение прежде всего направили судно, где старшиной водолазной команды был Баштовой. Он же исполнял обязанности секретаря партийной организации. Перед тем как пустить под воду своих людей, он никакого инструктажа им не дал, не сказал напутственного слова. Сказал одну фразу:

— Углекислота на лодке приближается к трем процентам.

А что им говорить еще! Под воду пошли мастера глубин, такие же, как и сам Баштовой. Каждый из них за свою жизнь провел на дне морей и океанов не одну тысячу часов и смерть знал в лицо. Какие же им слова говорить, какие давать инструкции! Они знали: три процента углекислоты в воздухе — это смертельная граница. Значит, люди вот-вот начнут задыхаться.

Водолаз Анатолий Шведов нашел на дне лодку, постучал по корпусу, чтобы экипаж знал: водолазы действуют. Быстро закрепил направляющий тросик, по которому прямо к лодке спу-

стилась группа водолазов с массивными шлангами подачи и отсоса воздуха. Открыли лючки и заглушки, соединили с лодкой шланги, сообщили наверх: готово!

Заработали насосы, надулись шланги. Ринулся в лодку могучий поток свежего воздуха. Со свистом втягивались в другой шланг отравленные газы и вылетали на поверхность.

Это была первая, решающая победа. Это — жизнь. Лодка находилась в таком положении, что стало ясно: для подъема потребуется много времени. Обстановка осложнялась начавшимся ветром.

На лодку передали по телефону команду: извлечь торпеды из аппаратов, закрыть внутренние крышки и открыть наружные.

В специальных, герметически закупоренных пеналах водолазы опустили в торпедные аппараты горячее какао, спирт, необходимые продукты и теплое белье. По их команде из лодки закрыли наружные крышки и открыли внутренние. В лодку хлынула вода, увлекая за собой пеналы.

Теперь можно было спокойно готовиться к подъему лодки. Правда, спокойствие относительное, так как ветер усилился. В двенадцать тридцать ночи страшным порывом оборвало воздушные шланги и телефонный кабель от буя. Связь с лодкой прекратилась. Но это была не катастрофа: экипаж подводного корабля имел теперь все необходимое для длительного пребывания на грунте. В районе спасательных работ появились крейсеры и встали, как волноломы, образовав искусственную бухту. Водолазы снова пошли на грунт, снова подвели шланги, восстановили связь. Они работали безостановочно, сменяя друг друга, пока могучие буксиры не вырвали лодку на поверхность.

Через несколько дней разыгралась трагедия, которую никто не мог предусмотреть.

Утром Николай ушел на свой корабль, сказав Вере и шустрому Сашке, что вернется на следующий день. Не знали они, жена и сын, что не вернется он ни завтра, ни через неделю, ни через месяц.

Баштовому предстоял спуск на очень большую глубину. Находиться в воде надо было не меньше шести часов. Он одевался на палубе, весь мокрый от нестерпимого солнца. Надел две пары толстого шерстяного белья, сверху меховой жилет и длиннющие меховые чулки. Матросы помогли натянуть тяжелый костюм глубоководника.

Он шагнул на специальную раму, сел на отведенное для него место. По другую сторону рамы сел второй водолаз — Сергей Рыков.

На раме укреплен колокол. В нем и произошла катастрофа. По форме колокол похож на вертикально поставленную, удлиненную железную бочку, у которой открывающееся внутрь дно, а наверху высокий купол. Когда раму опустят, вода под купол не

попадет, хотя крышка внизу будет открытой. Останется воздушная подушка, как остается она в перевернутом вверх дном стакане, если отпустить его в воду.

Выполнив задание на дне моря, водолазы сядут на свои места на раме, и начнется подъем. На определенной глубине они поднырнут под колокол, влезут в него, упрутся ногами в железный обруч, на который ляжет крышка, когда ее закроют. С пульта управления, приняв сообщение водолазов о том, что они находятся в колоколе, начнут подавать туда воздух, который вытеснит воду. Тогда водолазы закроют крышку, встанут на нее, открутят друг на друге иллюминаторы, отпустят болты и снимут шлемы. Уже там, на глубине начнется декомпрессия. По мере подъема давление будут снижать. На корабле колокол подгонят и прижмут к декомпрессионной камере. Откроются внутрь крышки колокола и камеры, и водолазы перейдут в нее, не выходя на палубу.

А пока Баштовой и Рыков сидят на раме.

Раздается команда:

— Приготовиться к спуску!

Взвиваются на мачте флаги: «Под водой люди». Искрится вода на солнце. Море тихое, спокойное, ясное. Только вечные чайки кричат и бьются за жалкие крохи, выброшенные за борт коком. Ухватив добычу, глотая на лету, несутся прочь, а кому не досталось, кружатся, парят, будто просят: дайте, дайте, дайте...

Подрагивая, скользит стрелка на пульте. Глубина 10 метров, 20... 30... 50... Вода обжимает тело. Как резиновыми бинтами, схватило у щиколоток, обтянуло икры, колени. Тугим корсетом стянуло живот, ребра. Каждые десять метров давление увеличивается на одну атмосферу. И на столько же повышается давление воздуха в водолазном костюме, в легких, во всем организме.

По мере погружения Баштовой то и дело слышит:

— Самочувствие?

— Отличное.

Дрожит стрелка: 60... 70... 80... Море сжимает тело водолаза. Не отрывая глаз, следят за давлением у пульта.

...90... 100... 120...

— Самочувствие?

— Хорошее.

...130... 140... 150... Давление в груди Баштового шестнадцать атмосфер. Больше, чем в самом мощном паровозном котле. Такое же давление растворенных газов в крови, в тканях, в сердце.

Вода сжимает тело Баштового с силой в 288 тонн. Стоящий на палубе у пульта искусственно создает в организме Баштового такую же силу противодействия.

Уже не дрожит, уже трепещет стрелка.

Ниже... ниже... ниже...

— Видимость?

— Метр.

Ниже... ниже... ниже...

— Стоп! Стою на грунте.

Разрешение получено, можно приступать к работе. Баштовой подходит к Рыкову, водолазы обмениваются рукопожатием, о чем-то говорят.

Я наблюдал, как разговаривают водолазы на дне моря. Удивительно трогательное зрелище. На дне моря ведь все не так. Человек видит окружающее точно под мутным увеличительным стеклом. Предметы кажутся ближе и больше, чем в действительности. Сравнительно крупную рыбу новичок может принять за акулу. А слышит человек не ушами, а костями. Если водолаз работает молотком, звуки ударов будут слышны стоящему рядом, независимо от того, открыты у него уши или он их накрепко заткнет. Если водолаз будет изо всех сил кричать что-либо на ухо своему напарнику, тот все равно ничего не услышит. Но достаточно им коснуться друг друга шлемами, как звук начнет передаваться, точно электрический ток по проводам.

Когда смотришь, как, прижавшись шлемами, стоят на дне моря водолазы, кажется, будто нежно склонились друг к другу и ласкаются какие-то существа с другой планеты, еще не научившиеся целоваться.

Пожелав друг другу удачи, водолазы приступили к делу. Николай пошел, а Сергей остался на месте. Он обеспечивающий. Он будет держать шланг Баштового, окажет помощь, если что-либо случится.

Николай шагнул в ледяной непроницаемый мрак. Вода бетонного цвета на расстоянии вытянутой руки превращается в железную броню. Будто замурованный. Ни рыб, ни водорослей, ни сказочных красот. Ничего. Небытие.

Баштовой идет. Он очень легок, водолаз, в воде. Вместе с пятипудовым грузом на груди и спине, вместе с галошами он весит не больше четырех-пяти килограммов. Едва оттолкнувшись от грунта, он подпрыгнет на один-два метра. Но уже не бинтами, а гипсом схвачено, сдавлено, сковано тело. Каждая мышца отдельно перебинтована. На большой глубине можно идти со скоростью не больше трехсот метров в час. Но целый час двигаться никто не сможет, не хватит сил.

Баштовой благополучно выполнил задание. Время пребывания под водой истекло, силы иссякли. Он получил приказ подниматься.

Он двигался к раме, стараясь не сделать резкого движения. Возле рамы услышал удар и подумал, что у него начались галлюцинации. Сергея Рыкова на раме не было. В ту же минуту раздался приказ сверху:

— Немедленно проверьте, что с Рыковым. Он не отвечает.

Разбросав руки, лежал близ колокола Сергей. Сил у Баштового прибавилось, он рванул вверх товарища и, когда лица их сблизились, увидел, что во рту у Сергея нет загубника, и понял, что это значит. Николай поднял Сергея так, чтобы голова вошла под колокол, заполненный газовой смесью, и влез туда сам. Теперь

Сергею было чем дышать. Но он не вздохнул, не пошевелился.

Баштовой не знал, сколько времени Сергей лежал без загубника, не знал, держит он мертвое тело или человека, но понимал, что его надо держать в таком положении долго, пока не поднимут наверх.

Надо держать его вот так, как сейчас, или немного приподнять, но опускать нельзя ни на сантиметр, потому что вода доходит до груди, а маски нет и, если еще жив человек, он захлебнется.

Предупредив Баштового, сверху начали подъем. Рама двигалась так же медленно, как обычно, и она будет делать такие же бесконечные остановки — только при этих условиях растворенные в организме газы постепенно выйдут через кровь и легкие и не изувечат человека.

Сверху передали совсем ненужные слова ободрения и печальные слова о том, что, пока он на большой глубине, помощи оказать не смогут. Николай знал это сам. На палубе оставались только молодые водолазы, не освоившие еще глубоководного снаряжения, и спускать их сюда — значит просто убивать людей.

Баштовой встал поудобнее, упершись спиной, привалил к себе Сергея так, чтобы его тяжесть приходилась не только на руки, но и на грудь и живот. И когда он выбрал эту удобную позу и прикидывал, как переменит ее, когда замлеют руки, Сергей вздрогнул и изо всех сил ударил Николая свинцовой галошей и головой. Голова стукнулась о колокол, а удар галошей пришелся по кости ниже колена. И хотя этот удар был смягчен одеждой, все равно у Николая затуманилось в голове, он осел и хрипло выдохнул:

— За что?

Это был не то стон, не то глухой крик, но усиленный микрофоном, он разнесся по палубе. Матросы слышали удар о колокол и слышали Баштового, и каждый окаменел на том месте, где стоял. Только телефонист у пульта каким-то не своим голосом кричал:

— Баштовой! Баштовой! Что случилось?

В ответ снова раздался глухой удар, потом частые удары, бормотание, возня.

Хотя в голове у Баштового затуманилось, он все же успел подумать, что нельзя выпускать Сергея, потому что тот может захлебнуться, и даже обязательно захлебнется. А удары сыпались один за другим, и, озлобившись, он приподнялся и сдавил своими железными руками Сергея, и тот перестал вырываться.

— Отвечайте же, Баштовой! Отвечайте! — надрывался телефонист.

— Да замолчи ты! Он в судорогах бьется.

Все поняли, что Рыков отравился кислородом. Понял и Николай. А руки уже ослабли, и Сергей снова стал бить головой и ногами. Изо рта у него шла пена. Николай не мог перехватить рук и взяться поудобнее, потому что вода плескалась у самого

подбородка и боязно было уронить человека. Опираться на правую ногу он не мог и не знал, перебита она или нет. Зато головой ему удалось прижать голову Сергея к колоколу. Но когда он почувствовал удар в живот и левое колено, должно быть, съежился, потому что голова Сергея вырвалась.

— Вот проклятый! — выругался Николай и все же встал на правую ногу, так как левое колено совсем отнялось.

Он уже не мог защищаться, и только старался не упасть и не дать Сергею захлебнуться, и все бормотал:

— Не бей... Не бей по голове... Ну, не бей же...

Это бормотание, усиленное микрофоном и специальным устройством для увеличения разборчивости слов и очищения их от посторонних шумов, было отчетливо слышно наверху.

Рвануть бы лебедку на бешеные обороты, выхватить из глубины людей на эту солнечную палубу, на этот широкий морской простор, располосовать одежду, дать им живительный воздух!.. Но он смертелен.

Несется по палубе гул из морской пучины. Солнце в зените. Плещутся на мачте яркие флаги: не приближаться, под водой люди. Море голубое, нежное...

Матросы не могут смотреть на море. Те, кто послабее, уходят вниз, в кубрики, чтобы ничего не слышать. Они молчат и не смотрят друг на друга. И хотя их много и они все вместе, невыносимое одиночество охватывает каждого, и нет сил оставаться в кубрике. Они бредут наверх, а те, кто был на палубе, спускаются и движутся бесшумно, как немые, как тени. Было мучительно сознавать, что вот на глазах у всех здесь, под кораблем, погибают два человека, а целый экипаж здоровых ребят ничего не может сделать.

Молодые водолазы, не знавшие глубин, подходили к командиру, просили: «Опустите подводу». Он даже не благодарил их за мужество. Это не мужество, а самоубийство.

Посередине юта стояли офицеры.

Командир поднял голову, вопросительно посмотрел на врача.

— Такую нагрузку на глубине человеческий организм выдержать не может,— ответил врач.— Баштовой обязательно потеряет сознание.

Взгляд передвинулся на заместителя по политчасти.

— Могут погибнуть оба,— ответил тот.

Были сказаны четыре короткие фразы: четыре офицера доложили свое мнение. Оно было общим. Никто не произнес страшных слов, но все знали: погибнут оба.

Командир медлил. Будь это не Баштовой, не так мучили бы сомнения. Баштовой находит выходы из самых безнадежных положений. Когда несколько лет назад на большой глубине перевернуло вверх ногами водолаза, гибель казалась неминуемой. Рядом находился Баштовой. Его вес в воде не превышал пяти килограммов. Чтобы поставить водолаза в нормальное положение,

требовалось усилие в триста пятьдесят килограммов. Баштовой придумал поразительное инженерное решение для спасения товарища и выполнил его. В безнадежном, казалось, положении был и другой водолаз, потерявший сознание на большой глубине. И здесь Баштовой, рискуя собой, выручил товарища. Казалось, Баштовой все может. Поэтому так трудно было командиру решать вопрос о Рыкове. Но ведь и Баштового надо когда-то пощадить. Сам он умеет удивительно бережно относиться к людям.

Однажды исключали из партии немолодого офицера, начальника склада. Были приведены, казалось, исчерпывающие доказательства его вины. Против исключения был один человек — Баштовой. Он кому-то писал, куда-то звонил, с кем-то встречался.

Член партийной комиссии мичман Николай Иванович Баштовой докладывал.

Слушали капитаны всех рангов, слушали адмиралы. И всем стало ясно, как изощренно и утонченно обыватели оклеветали офицера.

Как депутат Севастопольского горсовета Баштовой зашел однажды в пещеры, где после войны жили люди.

— Депутат? — неприязненно спросила какая-то старуха.— Вот шею какую нарастил. Небось в депутатской квартире живешь. А мои сыны на фронте погибли, а их детей вы в пещере держите.

— Не виноват я, что не погиб на фронте,— только и ответил Баштовой.

Как объяснить этой убитой горем женщине, что всего три процента жилищ осталось в городе после войны, что сам он живет в крохотной каморке, снимая ее в частном доме.

А спустя некоторое время прямо с заседания исполкома бежал через весь город Баштовой, бежал к пещерам, чтобы скорее сообщить женщине: «Дали!»

...Командиру было трудно принять решение. А репродуктор вдруг замолк. Не слышно стало ударов, но не отвечал и Баштовой. Усилия телефониста ни к чему не приводили. И, словно забыв, что находится на военном корабле и несет службу и рядом стоят командиры, он взмолился:

— Отзовись, Колька! Ну что же ты? Ребята просят.

Баштовой отозвался. Никто не разобрал слов. Что-то прохрипело в микрофоне и умолкло. И тогда к аппарату подошел командир. То ли по четкой, не по обстановке походке, то ли внутренним чутьем матросы все поняли. И без приказа замерли на своих местах по стойке «смирно».

— Мичман Баштовой! — сказал командир.— Немедленно переходите на раму и занимайте свое место!

Баштовой не отвечал. Далеко по правому борту шел белый сверкающий теплоход «Россия», и оттуда неслась записанная на пленку песня Градова. Неслись по морю звонкие, радостные голоса:

Город на вольном просторе,
Город отваги морской,
Город, влюбленный в Черное море, —
Севастополь родной.

...Сергей затих и неподвижно лежал на руках Николая. И это был первый в жизни Баштового случай, когда он уже не надеялся на свои могучие руки. Это не его руки, он их не чувствует, и упадет сейчас Сергей, и захлебнется. И это было все равно что бросить его в пропасть. Вынести такое Николай не мог. И в последний раз точно судорогами свело мышцы, он приподнял Сергея, опустился на корточки, заняв всю нижнюю часть колокола, и посадил товарища себе на плечи.

— Мичман Баштовой! — зазвенел голос командира.

Но ничего уже не слышал мичман. Посадив на себя Сергея, он лишился последних сил и потерял сознание.

Медленно вращался барабан, наматывая стальные тросы. Медленно поднималась рама, неся на себе два неподвижных тела.

Солнце садилось. Ласкалось о борт бирюзовое море. Неслась песня с теплохода «Россия». «Дайте, дайте, дайте»,— кричали чайки и как безумные уносились прочь.

В квартире Баштового готовились к семейному празднику. Верочка убрала обе комнаты, кухню и балкон и удивилась, когда Сашка с таинственным видом заявил, чтобы к тумбочке отца она не подходила. Мама выпытала, что там отец приготовил для нее подарок. Она обрадовалась, но стало досадно, почему сама она не догадалась сделать подарок мужу. Николай заслужил. Полгода после родов она лежала в постели. Он сам кормил и купал Сашку, сам делал Вере уколы. Университет марксизма-ленинизма не бросил. Ему как секретарю комсомольской организации было это не к лицу. Поэтому занимался ночью, в те часы, когда Сашка не плакал, или на корабле в свободное от спусков время. И все это еще можно было понять. Но, вспоминая тот далекий уже вечер, когда они услышали по радио, что Николай удостоен звания лауреата Государственной премии, она и теперь чувствовала неловкость.

Николаю хотелось в тот вечер сделать для нее что-нибудь хорошее, но было поздно, и даже подарок он не мог купить. Когда все легли и она заснула, Николай бесшумно поднялся, вышел на кухню, поставил на газовую плиту бак с водой. Потом собрал в кладовке белье, приготовленное для большой стирки, и начал стирать. Он стирал смешные Сашкины трусишки, и большие пододеяльники, и ее серое платье, и скатерти. Белое он стирал отдельно и то, что надо было подсинить, подсинил, а что положено было крахмалить, крахмалил. Когда все закончил, было уже светло, и он развесил белье во дворе. Ему надо было уходить в море, и он не стал будить ее, а оставил записку и в конце написал, чтобы постаралась проследить за бельем, а то пересохнет и трудно будет гладить.

Она читала записку, и ей хотелось плакать. Когда он вернулся, она ругала его, потому что ей было стыдно: соседи видели, как он, лауреат Государственной премии, вешал белье, и смеялись. Он слушал ее улыбаясь, а потом сказал: «Смеяться люди перестанут. Даже над смешным один раз смеются».

Вера решила во что бы то ни стало сделать сегодня Николаю сюрприз. Ей пришла в голову блестящая идея, она развеселилась и, схватив Сашку, закружилась по комнате.

...Когда у Баштового все поплыло перед глазами, он понял: теряет сознание. У него промелькнуло в голове, что своим огромным скорченным телом он загородил выход и Сергею некуда будет падать. И уже потом, когда очнулся Сергей, когда поднялись они так, что стало возможно спустить к ним молодых водолазов, он пришел в себя.

Час сорок восемь минут Баштовой боролся с Рыковым, удерживая его на руках. Срок подъема для вынесенной Баштовым нагрузки был фантастически велик. Но этот срок сильно сократили, он длился девять с половиной часов. Пока шел подъем, Николай сидел на своем месте, а рядом на раме стояли два молодых водолаза и поддерживали его в те минуты, когда он снова терял сознание и начинал бредить.

На палубе его раздели, положили в декомпрессионную камеру, где установили такое же давление, какое было на самой большой глубине. Сорок восемь часов давление снижали, пока не довели до нормального.

За все это время он выпил два стакана чаю и съел несколько сухарей. В камере возле него находился врач, а у маленького окошка все время толпились матросы, чтобы он их видел. И самых веселых посылали в камеру, чтобы они говорили ему что-нибудь смешное.

Когда открыли люк, он не дал себя нести. Он встал на палубе, широко расставив немного согнутые в коленях ноги, и долго нацеливался, чтобы шагнуть, как это делает ребенок, впервые в жизни поставленный на пол. И он пошел, качаясь, рывками, и плотной подковой двигались матросы, протянув к нему руки, чтобы поддержать, когда будет падать. Так добрался он до своей койки и заснул.

В четыре часа ночи Баштовой проснулся. Ему хотелось есть. Он сел, достал из тумбочки плитку шоколада, развернул и тяжело грохнулся на пол. У него отнялись руки и ноги. Кессонная болезнь началась.

Его подхватили и снова уложили в камеру. Здесь, под давлением, все ожило, но, будто взявшись за ступни, кто-то вывертывал ноги в разные стороны, а руки заламывал назад. Он знал, что это кессонная болезнь, что боль пройдет, поэтому терпел. Она действительно начала стихать и вскоре прошла.

Через сутки открыли люк и Николая увезли в госпиталь. Там вместе с Сергеем Рыковым лечились они долго.

С Баштовым я познакомился в Высшем военно-морском училище. Он теперь учит здесь молодежь.

Много раз я наблюдал, как он спускается под воду или снаряжает на спуск курсантов. Он рассказывает им, что и как надо делать, или экзаменует их. И глаза, и его лицо при этом такие же, как по вечерам, когда разговаривает с Сашкой, проверяя уроки или отвечая на его важные мальчишеские вопросы. Руководитель Баштового контр-адмирал Самарин сказал мне, что Баштовой — гордость Высшего военно-морского училища.

Когда думаешь о Баштовом, легче жить. Ведь таких, как он, много. Просто они скромные и их не сразу замечают.

В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ

Министр морского флота рассказал поразительную историю. Океанский теплоход коммунистического труда «Солнечногорск» подходил в густом тумане к берегам Австралии. На внешнем рейде Сиднея стояли американские, английские, норвежские и другие суда. Сплошной, непроницаемый туман не давал им возможности войти в порт.

Капитан «Солнечногорска» Дмитрий Васильевич Кнаб решил не бросать якорь, а идти к пирсу. Это не был красивый жест или необдуманный, рискованный шаг. Советский теплоход, оснащенный самой современной аппаратурой, с опытнейшими штурманами на борту вполне мог справиться с подобной задачей.

О намерении капитана узнали в порту. К месту, куда должен был подойти теплоход, бросились люди. С причалов, пристаней. складов шли докеры, грузчики, портовые рабочие. Им было интересно посмотреть, как все это произойдет. Собралась большая толпа. Сквозь мутную толщу тумана была видна приближающаяся громада. И когда судно подошло совсем близко и матросы Саша Киш и Володя Скрыпник готовились бросать концы, произошло непостижимое: как по волшебному мановению туман рассеялся. Засветило солнце, будто и в помине никакого тумана не было. И люди увидели белый, сверкающий корабль и полыхающее красное знамя на мачте. Тут же кто-то перевел это длинное слово «Солнечногорск», и все заговорили о том, что советский теплоход привез с собой солнце.

Началось паломничество. Каждый день, с утра и до позднего вечера, вереницы людей двигались к теплоходу. Они осторожно ступали по коврам длинных коридоров грузового судна, заглядывали в жилые помещения, поражаясь тому, что каждый матрос имеет отдельную каюту, поднимались в салоны для отдыха и чем больше осматривали судно, тем больше верили, что этот корабль привез в их страну солнце.

Но, возможно, они только так говорили. Вряд ли многие из ты-

сяч посетивших теплоход могли всерьез принять версию о том, будто солнце привез корабль. Скорее всего им виделась озаренная солнцем страна, откуда пришел этот корабль. Скорее всего так и было, потому что, уходя, люди останавливались у большого портрета Ленина и подолгу смотрели...

Мне предстояло совершить несколько рейсов в далекие страны, и рассказ министра помог решить вопрос, на каком судне идти: на «Солнечногорске».

В Одессу я прибыл в день отхода «Солнечногорска» на Кубу. Каждый раз, когда попадаешь в этот удивительный город, видишь его по-новому. И каждый раз, на каждом шагу — неповторимая атмосфера Одессы. Я сошел с троллейбуса на углу улицы Ленина и Дерибасовской. Продавщица пирожков громко выхваляла свой товар, убеждая прохожих, что даже родная мама и любимая жена не испекут таких вкусных. Подбежала парочка. Юноша взял два пирожка, и, хотя ел он быстро, его спутница поторапливала: «Скорее, опаздываем». Проглотив последний кусок, вытерев бумажкой пальцы, он бросил ее под дерево, и они уже было пошли, когда раздался голос старичка, стоявшего рядом:

— Э-э, извините, молодой человек, вам эта бумажка больше не понадобится? — спросил он чрезвычайно заинтересованно и с надеждой в голосе.

— Н-нет,— ответил тот с недоумением.

— Большое спасибо,— обрадовался старичок.— Значит, я спокойно могу поднять ее и бросить в урну.— При этих словах он шагнул к дереву.

Надо было видеть, с какой поспешностью и каким смущением рванулся парень за злосчастной бумажкой.

А как можно пройти без улыбки мимо надписи, которую я видел в рыбном магазине № 18 на той же Дерибасовской. Это было длинное полотнище, перетянутое от одной стены к другой с крупными буквами:

«Если вам здесь что-либо не понравилось, сообщите об этом нам. Если вас хорошо обслужили и все пришлось по вкусу, расскажите об этом своим друзьям и знакомым».

А вот пример товарищества, братства одесситов.

Хоронили трагически погибшего шофера такси. За гробом шли родные и близкие. На одной из улиц к процессии присоединился товарищ погибшего, тоже шофер такси. Пассажиров у него не было, но он включил счетчик. Потом подъехала вторая машина, третья, десятая... И вот уже бесконечная колонна с шахматными квадратиками заполнила улицу, и, хотя в каждой машине находился только шофер, не было видно ни одного зеленого огонька. Шоферы ехали в такси с включенными счетчиками, за свой счет.

Достигнув того места, где погиб их товарищ, они давали длинный сигнал, и это звучало, как салют, как прощание.

Одесса... И встают в памяти корифеи культуры, науки, мастера революции. Одесса... Это Пушкин, Гоголь, Щепкин, Мицкевич,

Горький, Леся Украинка. Это Менделеев, Пирогов, Сеченов, Мечников, Филатов. Это Дмитрий Ульянов, Землячка, Воровский, Ярославский, Котовский...

Это город станкостроителей и машиностроителей, тяжелого портового оборудования и химии, строительной, пищевой и легкой промышленности. Это порт, где сходятся мировые торговые пути. Он отложил отпечаток на всю жизнь города, и редкая семья не связана с морским флотом или с моряками.

Более половины внешнеторгового морского оборота страны падает на Черноморский флот, главным образом на Одессу. Это больше, чем перевозят остальные тринадцать пароходств, вместе взятых, с такими портами, как Ленинград, Таллин, Владивосток... С высоты Приморского бульвара виден весь Одесский порт. Он где-то далеко-далеко внизу, и кажется, невообразимый хаос охватил огромную территорию, кишащую машинами, тепловозами, тягачами. Будто запустили тысячи механизмов и потеряли над ними власть, и они взбесились и бросаются из стороны в сторону и мечутся, едва не сшибая друг друга, и кричат на разные голоса, и зазывают, и плачут, пока не найдут, наконец, выхода и как безумные не умчатся по улицам или по сверкающим нитям железных дорог. И только бесчисленные краны, как исполинские птицы, набрасываются на добычу и клюют и терзают ее, мотая клювами, и кормят своих белых, с раздутыми животами детенышей. А те заглатывают и заглатывают пищу, и она исчезает в их ненасытном чреве, и они не закрывают свои черные пасти, а только покачиваются на волнах, словно требуя: «Еще, еще, еще...»

Ходить по порту страшно. Немыслимое движение в воздухе, на земле, на воде. Штабеля, горы грузов. Стальные клешни «пауков» сгребают и захватывают чугунные чушки, присасываются могучие магниты к тяжелым металлическим конструкциям, зарываются в уголь многотонные ковши, толстые сети захлестывают десятки мешков, цепляются крюки за перепоясанные ящики. И вот уже дрожат, трепещут натянутые стальные тросы и угрожающе несутся в воздухе тракторы, механизмы, фермы, тюки. А под ними кричат локомотивы, звонят автокары, ревут тягачи, гудят самосвалы. И, в первую минуту ошеломленный, вдруг видишь, что это не хаос звуков и движения, не безумная пляска механизмов, а подчиненная воле человека могучая и победная симфония труда. И ты уже захвачен ею, уже весь в ее власти и, как зачарованный, стоишь не в силах оторваться от этой величественной картины.

На теплоход «Солнечногорск» я пришел вечером. Белый, сверкающий в огнях, вытянутый, как эсминец, всем корпусом устремленный вперед, он, казалось, не мог долго стоять на месте. Потому и схватили его стальными тросами, стреножили канатами. Но еще два часа, и освободится от пут красавец теплоход. Он пойдет через моря, проливы, каналы, вырвется на океанский простор и, совершив трансатлантический переход, ошвартуется у причалов

сказочной Гаваны. И снова пересечет Атлантику, чтобы отдать концы у берегов многострадальной Африки.

Четыре месяца мне жить на этом теплоходе. Каждое судно имеет свой характер, свои особенности. Даже корабли, построенные на одном заводе по одному и тому же проекту, плавающие в одних и тех же водах, живущие по единому морскому уставу, имеют свой, отличный друг от друга уклад жизни, свой особый, не похожий на другие, почерк, свои традиции. И как бы ни были похожи они, нет двух одинаковых судов, как и не бывает двух одинаковых людей.

В долгом и дальнем плавании я хорошо узнаю экипаж судна, каждый его трюм и отсек. Это будет мой дом, мой коллектив, моя семья. А пока все чужое. Кто-то бежит по шлюпочной палубе, кто-то отдает команды, кто-то требует: «Проверьте, наконец, твиндек четвертого!» Молча стоят, облокотившись на леера, парень и девушка. То ли грустно им расставаться, то ли поссорились и не найдут теперь слов, чтобы успокоить друг друга перед долгой разлукой. Почему-то и самому становится грустно, и я тороплюсь к трапу.

Вахтенный помощник показал отведенную мне каюту. Тогда я еще не знал, что это Толя Ерисов, четвертый штурман и комсомольский секретарь. А то, что он хороший парень, было видно сразу. Его лицо показалось знакомым. Но мало ли таких ребят, высоких, сильных, добродушных, которые стесняются и своей силы и своего роста. Только спустя недели две мы установили, что встречались с ним на одном из крейсеров, где он проходил службу еще до окончания Высшего мореходного училища.

Каюта оказалась просторной. Письменный стол, диван, гардероб, красивый умывальник с большим зеркалом, затянутая тяжелыми портьерами кровать. Как я увидел позже, такие же каюты у каждого члена экипажа. Впрочем, не у каждого. Каюта старшего механика Станислава Леонтьева состояла из рабочего кабинета, гостиной, спальни и ванной комнаты. Прямая телефонная связь с машиной и ходовым мостиком, общий судовой телефон и гибкий шланг переговорной трубы над постелью. Если что-либо случится ночью, старшему механику доложат в ту же секунду. В каютах старпома, первого и второго помощников, второго механика по две комнаты со всеми удобствами. А такую, как у меня, с коврами на полу и картинами на стенах имел каждый матрос. Кроме удобных больших кают с кондиционированным воздухом, настольными и надкроватными лампами, в распоряжении экипажа несколько ванных комнат, музыкальный салон, красный уголок, помещение, где демонстрируются кинофильмы.

За время стоянок в шестнадцати иностранных портах я побывал на западногерманских, американских, английских и других судах капиталистических стран и ни на одном не видел таких хороших условий для матросов и машинной команды.

И это очень правильно, что у нас созданы такие условия. Мо-

ряки дальнего плавания проводят на судне не меньше девяти месяцев в году. Оторванные от земли, от дома и родных, ежеминутно готовые к любым неожиданностям, они несут свою нелегкую вахту у накаленных котлов, в грохоте дизелей, на ходовых мостиках, преодолевая непогоду, то и дело вступая в борьбу со стихией. Так пусть же хоть отдых, который может прерваться по всякому капризу природы, проходит в хороших условиях.

Едва ли найдется другая массовая профессия, которая требовала бы от человека такой суммы качеств и данных, какие необходимы моряку. Прежде всего у него должен быть гибкий ум, мгновенная реакция, способность в доли минуты принять решение, единственно правильное для создавшейся обстановки, ибо иное может привести к гибели.

Моряк должен быть физически сильным, обязательно с сильной волей. Многомесячные трансокеанские переходы в машине, на палубе, на мостике не туристская прогулка. Это предельные перегрузки не только во время стихийных бедствий. Перегрузки — это швартовка в забитых судами портах, когда рвутся из рук стальные тросы, это ремонт в океане вышедших вдруг из строя накаленных котлов, это спуск под воду на любых широтах, если случится что-то с рулем, это проводка в узких каналах при встречном движении судов в местах бурных течений и противотечений. Это постоянные ночные вахты и до боли в глазах и суставах напряжение штурманов и капитана, ведущих судно в сплошном тумане темной ночи.

Моряк должен быть общительным, компанейским, открытым, обязательно верным товарищем. Человека насупившегося, мрачного трудно терпеть даже в течение семи часов на службе. А выносить его круглыми сутками, неделями, месяцами на работе, в быту, на вахте немыслимо.

Кроме знания дела, которое непосредственно поручено моряку, он должен владеть многими профессиями. Обязательно такелажник, обязательно слесарь, обязательно маляр, обязательно пожарник и еще десяток «обязательно».

Дальний поход требует безоговорочного воинского порядка и воинской дисциплины. Но экипаж — это гражданский коллектив с профсоюзной и всеми общественными организациями. Здесь вместо армейского приказа чаще можно услышать: «будьте добры», «пожалуйста», «прошу вас». Но сознание моряка должно быть так высоко, чтобы выполнять эти просьбы с быстротой и точностью военного приказа.

Моряки — это люди политически зрелые, с высокой культурой. В иностранных портах они проводят больше времени, чем в советских. Они должны вести себя достойно и просто, должны уметь отличить подлинное искусство от сверкающей мишуры, увидеть за ширмой блестящих витрин жизнь народа, должны распознать провокацию, если их пытаются спровоцировать. Трудовые люди капиталистического мира, лишенные правдивой ин-

формации о Советском Союзе, судят о нем по поведению моряков.

У моряка не бывает ощущения, что рабочий день окончен: море полно неожиданностей. Долгими месяцами он не бывает дома, и нередко после затянувшегося на шесть или восемь месяцев рейса маленькие дети не узнают своих отцов.

Обо всем этом я подумал, когда рассматривал отличную матросскую каюту. Матрос, конечно, достоин ее иметь.

Наскоро разложив в каюте вещи, я поднялся на шлюпочную палубу. Наверху у трапа стоял паренек лет пяти. Вид у него был истого моряка во время качки. Расставив ноги, чуть-чуть ссутулившись и глубоко засунув руки в карманы, он взглянул на меня и сурово спросил:

— Ты кто такой?

Я не знал, что ответить.

— Да вот...— неуверенно начал я,— хочу ехать на этом корабле.

Зачем я так сказал? Прищурив глаза и не меняя позы, он посмотрел на меня снизу вверх и с чувством глубокого пренебрежения заметил:

— На кораблях не ездят, а ходят. Ясно?

Я промолчал. Он еще раз взглянул на меня, уже без пренебрежения, а покровительственно, как смотрят на человека неграмотного, темного, и добавил:

— И потом это не корабль, а судно, теплоход. Корабль — это если он военный. Ясно?

— Ясно,— ответил я виновато.

Букву «р» мой собеседник выговаривал чисто, но раскатисто, точно ему хотелось подчеркнуть, выделить это слово «коррррабль».

Неожиданно, догоняя друг друга, выскочили из-за надстройки две девчонки чуть постарше моего нового знакомого, и он властно крикнул:

— Галка! Почему с вахты ушла?!

Испугавшись, они бросились обратно. Паренек последовал было за ними, но я остановил его:

— Как тебя зовут?

— Сашка.

— А кто твой папа?

— Старрпом,— бросил он уже на ходу.— Пойду вахты прррроверррю...

Ему было явно неинтересно со мной. Он увидел, что имеет дело не с моряком, а, значит, с человеком второго сорта и нечего тут с ним попусту терять время.

В его глазах я полностью себя скомпрометировал. Конечно, я знал, что на коряблях не ездят, а ходят, но подумал, что он не поймет такого выражения.

Как часто, не доверяя детям, думая, что они не поймут нас, стараясь подделаться под их тон, мы попадаем впросак. Эту исти-

ну я тоже хорошо знал и все-таки не решился говорить с ребенком на равных началах. Вот и преподал этот ребенок мне урок. Это был действительно мой первый урок на торговом флоте, потому что второе замечание Сашки я принял к сведению. Хотя, строго говоря, любое судно можно назвать кораблем, но так уж повелось на флоте, что кораблями действительно называют только военные суда.

Мне было жаль, что Сашка ушел, и я отправился смотреть, как грузят теплоход.

На одесских причалах лежат грузы, адресованные десяткам стран. И особое, почетное место среди них занимает Куба. Станки и машины для Кубы. Грузовики и тракторы для Кубы. Нефть и продовольствие для Кубы. Погрузку на Кубу ведут лучшие бригады, суда, идущие на Кубу, швартуются вне очереди, снабжаются вне очереди, грузятся вне очереди.

Вскоре раздалась команда: «Закрыть трюмы!» Кто-то повернул рукоятку на пульте, и поползли на трюмах многотонные железные плиты, надежно прикрывая груз. Загудели моторы, и дрогнули устремленные ввысь стальные стрелы. Они медленно опускались, пока не легли в отведенные для них гнезда.

Судно готовилось к отходу. Длинный ряд кают. И в каждой своя жизнь, своя судьба. С грузовыми документами пробежал озабоченный второй помощник капитана Николай Александрович Бочаров. Кроме штурманской работы и вахты, кроме командного поста на корме во время швартовок и отходов, на нем лежит ответственность за погрузку и выгрузку в наших и иностранных портах. Он должен уметь так расположить груз, чтобы судно не потеряло остойчивости, ибо это чревато опасными последствиями. Надо так установить хрупкую аппаратуру, чтобы на нее не распространялась вибрация от машин и винта. Надо так распределить груз между трюмами, чтобы судно встало в то единственно правильное положение, при котором максимально используются его ходовые качества.

И хорошо, если груз — это, скажем, сто десять тысяч мешков сахару. Погрузить их в трюмы — дело не хитрое. Ну, а когда в один рейс приходится брать станки, стальные конструкции, верблюдов, каучук и руду, тогда плохо. Вот тогда намучаешься с погрузкой.

Любая оплошность второго помощника ведет к серьезным, подчас тяжелым последствиям. Он должен в совершенстве знать характер взаимоотношений с грузополучателем и фрахтователем, правильно решать вопросы со стивидорами, суперкарго и десятком других иностранных агентов. Должен знать множество документов, все эти коносаменты, чартеры, таймшиты, нотисы...

Надо все предусмотреть и многое подготовить в своем порту, потому что в иностранном будет поздно. Там не упустят малейшего повода, чтобы взыскать штраф или дополнительную оплату. Надо знать международное морское право, внешнеторговые опе-

рации, обычаи портов. В зависимости от опыта второй помощник может принести экономию в валюте или убытки. Правда, над ним зоркий глаз капитана, которого не проведешь, но все-таки многое зависит от второго штурмана.

...Судно готовилось к отходу. Носился где-то по палубам второй помощник. Одиноко сидели в его каюте провожающие: жена Алла Николаевна и шестилетний Игорек с длинными льняными волосами. И никак не могла она втолковать сыну, почему не приходит отец. «Галкин папа пришел, значит, должен прийти и наш». Логика железная, и как выходить из положения, неизвестно. И вообще неизвестно, что делать. Теплоход скоро отойдет, а так ни одного вопроса и не решили. Правда, на три дня судно уходило под погрузку в Туапсе, а с работы ее не отпустили, но и четырёх дней, что он стоял в Одессе, могло бы хватить. Но с этой проклятой погрузкой, которая идет круглыми сутками, и все это время, и днем и ночью, он бе́гает по своим трюмам, так толком и не поговорили. Если бы не Игорек, еще можно было бы выбрать часок-другой, но стоило появиться Николаю, как Игорек полностью завладевал им, и слова не вставишь. Не лишать же их обоих удовольствия побыть вместе.

И вот теперь неизвестно, когда же брать отпуск? По плану судно должно вернуться с Кубы через полтора месяца. Но еще ни разу не было по плану. То его по дороге зафрахтуют в Африку, то еще куда-нибудь. Никто заранее не знает, когда же оно будет дома, когда получит отпуск Николай. А на работе уже составляют график отпусков, и тянуть с этим больше нельзя, и что говорить, она не знает. Вот так же не решили многих домашних дел. На душе у Аллы Николаевны грустно, тоскливо, но нельзя, чтобы это увидел Николай. Пусть спокойно уходит в плавание.

...Я иду мимо длинного ряда кают. Разные в них люди, и все-таки много общего в судьбах моряков. У открытой двери мальчик пяти-шести лет. Красивый, как на картинке. Большие черные выразительные глаза, большой лоб, изумительные вьющиеся волосы. Очень искренне, как бы удивленно спрашивает:

— Вы не видели моего папу? Никак не пойму, где мой папа.

— Миша, иди в каюту, сколько раз тебе говорить? — доносится из-за двери женский голос.

По тону матери Миша понимает, что пока это распоряжение можно еще не выполнять. Совершенно неожиданно он заявляет:

— Я знаю сто английских слов. Я учу иностранный язык. Гуд монинг, хау ду ю ду, уот тайм из ыт, май тыче, э тейбл, э бук...

— Миша! — грозно раздается из каюты.

Вот на это уже надо реагировать. Дело может обернуться плохо. И он быстро исчезает за дверью.

Это сын старшего механика Станислава Григорьевича Леонтьева. Стармех на судне занимает особое и весьма солидное положение. Если капитанский мостик — мозг и нервная система теплохода, то машинное отделение — сердце и кровеносные сосуды.

Даст перебои сердце, они немедленно отразятся в мозгу.

Место стармеха в кают-компании напротив капитана постоянно и неприкосновенно. И хотя он подчинен капитану, но на нем вся полнота ответственности за состояние машин и механизмов. И если, скажем, потребуется ему в океане остановить судно, он спросит на то разрешение капитана, но прятаться за капитанскую спину не сможет да и не станет. Машинное отделение современного судна — это завод в миниатюре, со своей электростанцией, сотнями двигателей и механизмов, и управляет этим заводом стармех.

В прежние времена, чтобы выбиться в стармехи, надо было прослужить не один десяток лет. Вот почему исстари повелось, что стармеха называют «дедушкой». Так по традиции называют его и сейчас. Не за глаза и не в узком кругу друзей, а повседневно, даже на партийных или профсоюзных собраниях. К этому все привыкли, как и к слову «дракон», означающему «боцман». И никакому боцману не придет в голову обидеться, потому что это слово давно потеряло на флоте свое истинное значение, когда точно характеризовало боцмана — сатрапа и держиморду. Оно осталось, как традиция, и звучит сейчас, как это ни парадоксально, ласкательно.

Станислав Григорьевич — опытный инженер, бывалый стармех, но совершенно не похож на дедушку. Откровенно говоря, он не похож даже на Станислава Григорьевича. Просто Слава, и уж в крайнем случае — Станислав. На вид ему лет двадцать семь, даже меньше, хотя в действительности уже за тридцать.

Добрый, благожелательный, спокойный и уравновешенный, он внес свой дух во всю жизнь машинной команды. Даже в сложные, критические минуты никто не кричит, не шумит, не горячится. Его большое преимущество в том, что он умеет все делать сам. Не только произвести необходимый расчет, но и, взяв молоток, ключ, напильник или другой инструмент, показать, как надо делать.

С тех пор как Леонтьев стал стармехом, он ни разу не видел, как судно уходит из Одессы, и ни разу не помахал рукой жене и сыну. Он не видит, как приближается теплоход к чужим красивым портам, как швартуется и как отходит. Не видит он Босфора, хотя идет по нему десятки раз, не видит узких каналов. В эти ответственные часы он стоит, обливаясь потом, в машине у реверсов, принимает и выполняет команды с мостика. И даже сейчас, когда судно только готовится к отходу, не может выбрать минутки, чтобы забежать в каюту и посидеть в кругу семьи.

В первые же часы пребывания на судне я познакомился и с отцом Сашки, Борисом Михайловичем Куликовым.

Есть старый, классический анекдот. По палубе идет капитан в сопровождении большой группы командиров. Увидев окурок, испуганно говорит: «Скорее уберите, а то заметит старпом, и вам не сдобровать, и мне достанется». Анекдот довольно точно харак-

теризует положение старпома на судне. Это полный хозяин. Он первый и прямой заместитель капитана. Обязанности его чрезвычайно разнообразны, но одинаково ответственны. Он главный штурман и вместе с тем главный снабженец. При хорошем старпоме команда всегда хорошо питается. В административном отношении ему подчинен весь экипаж, и он отвечает за состояние и внешний вид судна. Он является ответственным представителем в сношениях с властями иностранных портов.

Борис Михайлович опытный старпом. Капитан, находясь на мостике, доверяет ему швартовку и снятие судна с якорей, и за весь рейс я не слышал, чтобы он поправил команды Куликова, ясные, своевременные, разумные. Он хороший штурман, быстро определяющийся по звездам, по едва уловимым ориентирам.

Его умение не свалилось с неба. Он отлично окончил среднюю школу, отлично — Высшее мореходное училище. Был хорошим матросом, прошел все стадии от четвертого штурмана до старшего. И, странное дело, при всем своем опыте и серьезности задач, которые ему приходится решать, он очень напоминает Сашку. Именно не Сашка похож на него, а он на Сашку. И не только внешне. Осталось в нем что-то совсем юношеское, наивное. Влюбленный в море, в романтику морской службы, он по-детски радуется своему счастью жить в море и словно рисуется под моряка. Невысокого роста, он как будто нарочно, как и Сашка, чуть-чуть сутулится, стоит, расставив ноги, глубоко запрятав руки в карманы. Спускаясь или поднимаясь по крутому трапу, никогда не возьмется за поручни. Разговаривая, скептически щурит глаза, и его фигура, и лицо, и эти прищуренные глаза говорят, будто все в жизни он испытал и изведал, и прошел все штормы и тайфуны, и видывал налеты пиратов и нападения морских чудовищ. И все до смерти надоело ему, и ничего нового уже не увидит, и ничто больше не удивит его, не обрадует и не огорчит. И он наперед знает, чем кончится все, что началось, и как повернутся события, и, когда люди спорят об этом, он только молча щурится и едва уловимо скептически покачивает головой. Одним словом, старый морской волк. Но вдруг против воли улыбнется, хотя морскому волку улыбаться не пристало, и невольная мальчишеская улыбка выдаст его с головой, еще недавно задорного и задиристого комсомольца, а ныне члена партии, любознательного, пытливого, ищущего. Выдают его и глаза, живые, веселые, и, забыв, что он морской волк, берет Боря гитару, и звучит на палубе его приятный тенор. И выдает его фотоаппарат, кинокамера и набор красок, которые уж совсем противопоказаны морскому волку, но это не мешает ему делать хорошие снимки во всех портах мира и снимать кинофильмы и рисовать. И кто знает, кем бы он был, не захвати его накрепко море, потому что рисунки, совсем не дилетантские, не любительские, полны глубокого смысла и силы. А то вдруг обидится, услышав, как новичок, еще не видавший своей страны,

исходит в восторге от Сиднейского моста, и хотя мост этот и самому Куликову нравится, ответит с напускной суровостью:

Я плевал
на Сиднейский мост
и строй!
Другая любовь
мне дадена.
Мне каждый булыжник
моей мостовой
Дороже, чем эта
громадина!

Есть у него и заветная тетрадь стихов, которые он прячет от всех. Может быть, только и видел ее третий помощник Борис Мишин, его друг и соратник, человек большого роста, атлетического телосложения, спортсмен-разрядник. Свободное время они проводят вместе. В иностранных портах ходят вдвоем. Рядом с Мишиным совсем маленьким кажется Куликов, и накрепко к ним привилось: «Боря Большой и Боря Маленький». Так и зовут их на судне. И даже жены так называют, хотя характеры у женщин совсем разные. Леночка, жена Бори Маленького, экспансивная, подвижная, откровенно веселая. Даже вот по этому эпизоду, происшедшему прошлой весной, можно судить о ней.

Из дальнего рейса «Солнечногорск» вернулся в Одессу ночью. Судно встало на рейде, сплошь покрытом битым льдом. Море было неспокойно. С досадой ждали жены моряков, пока дадут распоряжение швартоваться. А Леночка, мать двоих детей, худенькая, в легком платьице, на каком-то боте добралась до теплохода и, обдаваемая ледяными брызгами, по штормтрапу вскарабкалась на борт. Мокрая, вся в слезах, предстала перед совершенно оторопевшим Борей.

Жена Бори Большого, Валя, младше Леночки. Но вид у нее степенный, солидный, какой и подобает иметь врачу. Еще совсем недавно она работала на «Солнечногорске», пользовалась огромным уважением всего экипажа, но вот поженились они, и пришлось оставить судно: муж и жена, даже не находясь в служебной зависимости друг от друга, не имеют права работать на одном судне. Может, это и правильно: пусть все моряки будут в одинаковых условиях.

...Длинные коридоры «Солнечногорска». Каюты... каюты...

Я вышел на палубу в момент, когда поднялись на борт таможенные и пограничные власти. Встал у трапа солдат в фуражке с зеленым околышком. Никто больше не войдет на судно, уходящее в заграничное плавание. Сейчас начнется проверка документов.

И тут раздалась команда: «Внимание! Лиц, не идущих в рейс, просим оставить судно! Повторяю...»

Команда звучала из репродукторов на корме, на баке, в столовой, в каютах, во всех уголках океанского теплохода.

К кому были обращены эти слова? К Алле Николаевне, к Леночке и Вале, ко всем женщинам и детям, провожающим своих мужей и отцов в далекий и никому не известно в какой долгий и благополучный ли рейс. И было что-то обидное в этой сухой вокзальной фразе, будто не четвертый штурман и комсомольский секретарь Толя Ерисов обращается к своей собственной жене и к женам товарищей, каждую из которых хорошо знает, а кто-то очень казенный за зарплату предупреждает провожающих, которых он впервые увидел и никогда больше не увидит. Что-то холодное, чужое, официальное, как нотариус, было в этих словах.

Какие они «лица»? Нежные, многотерпеливые, героические жены моряков. Какие они «лица»? Выслушав предупреждение, они направились к трапу, и их мужья уже не могли сойти с ними вниз. Рассеявшись по причалу вдоль всего судна, улыбались, махая платочками, время от времени заслоняя ими лицо, чтобы никто не увидел, как подрагивают губы. А по судну уже пронеслась новая команда: «Всем членам экипажа войти в свои каюты». И, в последний раз махнув рукой, моряки разошлись по каютам, чтобы пограничники могли проверить документы. А провожающие остались стоять, и они еще долго будут смотреть на судно, и, когда оно отойдет, будут смотреть вслед, пока не скроются мачты в морской мгле.

Молча побредут домой, каждая думая о своем, и мысли их будут перебегать от только что ушедшего теплохода к собственной работе и домашним заботам, к детям, которых всю жизнь должны воспитывать сами, хотя имеют хороших мужей. А потом, читая сообщение о разыгравшемся где-то шторме, побегут к диспетчеру, чтобы проверить, что с теплоходом, и пошлют тревожные радиограммы, и, просыпаясь каждое утро, будут думать, как там в океане, и расспрашивать таких же, как сами, не слышно ли, когда вернутся, потому что ходить к диспетчеру уже стыдно, да и отбивается он от них, как черт от ладана, потому что кораблей сотни, моряков тысячи, а он один. И когда придет, наконец, радостная весть «Прибываем такого-то» и выяснится вдруг, что не в Одессу, а в Николаев, они, выпросив на несколько дней отпуск за свой счет, хотя не так уж велик этот счет, бросят все, даже намоченное для стирки белье, заберут из школы детей и помчатся в порт прибытия, потому что судно может погрузиться там и, не заходя домой, снова уйти на месяцы. А надо хоть повидаться, поговорить, может быть, решить, наконец, нерешенные вопросы, надо, чтобы дети не отвыкли от отцов.

И как часто, приехав в Николаев, узнают, что судно переадресовано в Туапсе или Новороссийск, и снова мчатся они на вокзалы, пристани, остановки дальних автобусов, только бы поспеть к приходу судна.

Мучительно долго тянутся дни, пока ждет морячка мужа, и, как безумные, несутся они во время стоянки дома. И вот уже эти слова: «Лица... оставить судно». Я слышал их на «Солнечногор-

ске», на «Физике Вавилове», на других судах. А как хорошо бы вместо этого сказать: «Дорогие товарищи...», и перечислить всех, кто провожает, по имени, и сказать им, чтоб не скучали, не беспокоились, что настало время отхода, и пусть они будут уверены, что весь экипаж заботится о каждом, и никто не останется в беде, и пожелать им самим самого хорошего.

Ну, пусть нельзя всех перечислить, хотя это займет несколько минут, пусть другие слова, но обязательно теплые, человеческие, которые в это время на душе. Почему мы стесняемся этих теплых, ласковых слов? Ведь мы лучше, добрее, чем делаем вид. Мы просто привыкли и не думаем об этом. Ненужная, ничем не оправданная грубость, а то и угроза на каждом шагу встречается в нашем быту. Каждый москвич, например, не раз слышал в метро: «Поезд дальше не пойдет. Освободите вагоны». Ну, зачем это «освободите вагоны»? Это же грубо, оскорбительно. Коль скоро поезд дальше не идет, никто же и не останется в вагонах.

Или вот — на всех станциях, узлах, разъездах, полустанках вы увидите надпись: «Хождение по путям строго воспрещается. За нарушение штраф». Но ведь за всю историю существования советских железных дорог, по официальной справке Министерства путей сообщения, за хождение по путям не взыскана ни одна копейка штрафа. Нет даже квитанций для получения подобного штрафа, нет людей, уполномоченных взыскивать его. Зачем же эта угроза? Давно прошла денежная реформа, но и до сих пор на многих станциях висят эти оскорбительные таблички с астрономическими суммами штрафа. И мне показались естественными при этом слова иностранного журналиста, спросившего: «Какая сумма идет в бюджет государства от штрафов на железных дорогах?»

Обернитесь вокруг, и вы на каждом шагу увидите подобную «официальную» грубость и в отношениях друг к другу, которая идет не от души, а по старой, закоренелой привычке, по глупейшей нашей стеснительности говорить друг другу теплые, ласковые слова. А присмотритесь: чем мягче и человечнее указания начальника, тем с большей душой они выполняются.

Мы порой не отдаем себе отчета в том, как много могут сделать добрые слова. Это неправда, будто «хороших слов он (или она) не понимает». Хорошие слова всякий поймет. Недавно, например, я наблюдал следующую картинку. На «Физике Вавилове» мы привезли в Сингапур цемент. Когда все мешки были выгружены, в трюмах осталась цементная пыль. Почти в сорокаградусную жару в сплошном цементном тумане мокрые от пота малайские женщины собирали эту пыль. Мы не могли им помочь, не могли вмешиваться в распоряжения покупателя, пославшего их. Когда все было закончено, мы отдали концы, и буксир потащил судно, усталые грузчики, и эти женщины, и водители, стоя на причале и не глядя на нас, приводили себя в порядок. И в это время, усиленный мегафоном, по всему причалу раздался голос с капитанского мостика. Советское судно выражало благодарность всем,

кто обслуживал его, кто так или иначе оказал нам свое внимание. И люди со всего причала, и те, кто был на судне и кто не был, повернулись в нашу сторону и долго махали нам руками.

Простые, человеческие слова! А ведь они оставили на причале не одного нового друга нашей Родины!

Ночь. Огненные глазницы прожекторов освещают Одесский порт. Звучат команды. И вот уже последнее: «Поднять трап!.. Отдать все концы!»

Капитан Кнаб ходит по мостику, курит. Курить Дмитрий Васильевич не умеет, потому что человек он некурящий. Неумело сосет сигарету, отгоняя руками дым, который лезет в глаза, неумело выпускает его изо рта, будто дует на горячую воду. Но каждый раз, когда судно швартуется или отходит, он неизменно достает сигарету.

Швартовка, особенно в плохую погоду, требует мастерства. Это ответственный, напряженный момент. Но ведь Дмитрий Васильевич опытный капитан дальнего плавания и эту операцию выполнял сотни и сотни раз. Почему же он нервничает?

Больше сорока лет плавает Кнаб. Его знают едва ли не во всех гаванях мира. В десятках портов Индии, Японии, Африки, Малайи, в Сингапуре, на Сахалине, где мне довелось побывать уже без Кнаба, о нем неизменно заходил разговор, и, вспоминая его, люди просили передавать ему самые горячие приветы.

Во время войны он тоже был на капитанском мостике. Его корабль забрасывали бомбами, поливали пулеметами, топили. Окровавленного, его сбрасывало за борт, но он снова взбирался на капитанский мостик и снова высаживал десанты во вражьи расположения.

Сын пароходного кочегара, он начал свою морскую жизнь с камбузника — подсобного рабочего на камбузе, а к моменту описываемого рейса получил звание «Лучшего капитана Министерства морского флота».

Веселый одессит, остроумный и добрый, он совсем не похож на традиционного сухого капитана. С ним очень легко работать людям. Поэтому они его любят.

Он ходит по мостику и курит. Судно отрывается от стенки. Есть что-то особенное для моряка в швартовке. Это как бы экзамен для того, кто стоит на мостике. В океане, случись ошибка, никто, кроме узкого круга, ее не увидит. Швартовка — на глазах у всех. Тот, кто красиво швартуется и красиво отходит от причала, доставляет моряку эстетическое удовольствие. И моряки ревниво смотрят, как швартуются суда.

...Далеко позади остались огни Одессы. Скрылись родные берега, ушел в сторону Змеиный остров. Впереди Босфор.

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем...

Босфор! Одно из красивейших мест в мире. На этот раз мы подходим к нему ночью.

«Тах-тах-тах, я — уйжр, тах-тах-тах, я — уйжр»,— несется в эфире. Это заместитель секретаря комсомольской организации Слава Стан посылает в Стамбул позывные «Солнечногорска», чтобы предупредить о нашем подходе. На передней мачте взвивается турецкий флаг. Таков закон: кроме своего, национального, суда должны поднять государственный флаг той страны, в чьих водах находятся.

Закончив вахту, Слава спускается в свою каюту. Настроение у него неважное. Нехорошо получилось с Лорой. Он не знает, с чего начать. На письменном столе лежит незаконченный план комсомольской работы, а уже в Дарданеллах будет бюро, на котором план должен утверждаться. Нетронутыми стоят на книжной полке учебники, хотя он дал себе слово уж в этом-то рейсе взяться за подготовку к экзаменам в Высшее мореходное училище. Не движется и с английским, а запаса слов едва хватает, чтобы объясниться с людьми в иностранных портах. На подходах к Средиземному морю начнется октябрьский праздничный концерт, и уже пора идти на репетицию джаза...

Слава трет лоб и думает, за что взяться. Решает: прежде всего послать праздничную телеграмму Лоре. Надо написать какие-то хорошие слова, надо придумать такие слова, чтобы она видела, что у него на душе. Она опять провожала его только до ворот порта. Дальше не пустили. Вход на причал и на судно разрешен только женам. Даже сестру или брата не пустят: порт — это погранзона. Туда пускают по документам. А какие документы у Лоры. Взять бы справку, что такая-то является невестой такого-то моряка. Но кто же выдаст подобную справку! И кто только додумался до таких порядков!

Ну, в самом деле, почему, скажем, перед отходом на Кубу, перед трудным плаванием через моря, проливы, Атлантику, где моряков ждут штормы, где каждый день — это тяжелый, героический труд, почему этим людям не дать хоть со своими любимыми проститься по-человечески? А моряки танкеров находятся еще в худших условиях.

Нехороший осадок остался у Славы от прощания с Лорой. Ему больно за нее. Она стеснялась, а ему хотелось поцеловать ее, и они торопливо зашли в какой-то подъезд. И, как назло, кто-то открыл двери...

Время уже было на исходе. Судно стояло на первом причале, это от ворот порта не меньше километра. Пришлось бежать, чтобы не опаздывать. Ведь грузовое судно не экспресс «Москва — Сочи». Сюда нельзя явиться за несколько минут до отхода.

Больше трех часов стоял в порту теплоход после того, как прибежал на него запыхавшийся Слава. Обидно. Мог провести это время с Лорой. Вот уже год, с тех пор, как судно стало ходить на Кубу, они не могут пожениться. В своем порту, в Одессе, теп-

лоход бывает редко. Возвращаясь из прошлого рейса, думал — теперь уж обязательно распишутся, ведь все у них давно решено. В загсе их приняли хорошо, сделали пометки в каких-то книгах и велели прийти через неделю. Ну что же они, шутят, что ли? Ведь через три дня теплоход уйдет в Новороссийск, а оттуда опять на Кубу.

Им объяснили, что не имеют права регистрировать сразу, таков порядок. Пусть пойдут в райсовет, возможно, для них сделают исключение. В райсовете оказался неприемный день. Это было в субботу, значит, тем более — завтрашний день пропадал. Так и не удалось расписаться. И опять прощались у ворот порта.

Она, конечно, все понимает. Рейсы на Кубу нельзя задерживать. С кубинских рейсов и в отпуск проситься неудобно. Ждет Куба советские корабли. Это ее надежда, ее вера в нас. Каждое советское судно на Кубе — это материальное выражение и чувства преданности миллионов советских людей героическому острову Свободы. Ведь каждому моряку «Солнечногорска» благодарно пожимал руку Рауль Кастро, с которым они подружились уже в первый свой приход на Кубу. Он бывал у них несколько раз, и на судне много его фотографий вместе с экипажем. Там очень горячо сейчас, на Кубе. Так как же можно проситься в такой момент в отпуск.

Конечно, Лора все понимает. Она понимает, что значит моряк дальнего плавания. Он ведь на флоте уже три года, с двадцати лет. Сам-то он давно привык к походной жизни. И не только потому, что прадед его был моряком, и дед был моряком, и отец моряк. Он сам уже десятки раз пересекал моря и океаны, побывал в Австралии, Италии, Индонезии, Японии, Франции, Вьетнаме, в десятках других стран. Только на Кубу ходил восемь раз. Но вот привыкнет ли Лора к такой жизни?

Теплоход входил в Босфор. Любоваться проливом ему было некогда, да и насмотрелся он уже на красоты этих мест. Отправив Лоре радиограмму, пошел на репетицию джаза.

На капитанский мостик я поднялся вместе с Толей Ерисовым, который заступал на штурманскую вахту. Было очень темно. На берегу замелькал световой телеграф: «Кто и откуда идет?»

Это спрашивали нас. Постукивая пальцем по кнопке, Толя начал отвечать. Полетели в ночь огненные точки и тире, складываясь в английские слова:

«Я «Солнечногорск». Союз Советских Социалистических Республик».

Ночью на капитанском мостике полумрак. Освещаются изнутри только циферблаты бесчисленных приборов да экран локатора. Толя стоял на обычной ходовой вахте и не мог, конечно, думать, что кто-то смотрит на него. Но, называя себя, называя Родину, он подтянулся, будто встал по команде «смирно».

Это не жест. Это безотчетное действие. Это внутренний им-

пульс, какое-то движение души. Это гордость за Родину. Гордость за то, что тебе доверено говорить от ее имени.

Босфор и Дарданеллы — это выход из Черного моря на все водные просторы мира. Это и вход в порты СССР, Болгарии, Румынии. Эти ворота находятся в руках турок. Они контролируют здесь движение мирового флота.

Проверяя нас, ударили в судно два прожектора с обоих берегов. Проводили лучами от форштевня к корме, осветили воду вокруг нас, верхушки мачт и погасли. Справа и слева тарахтели рыбацкие баркасы, уходящие в море.

Вдали показались огоньки: два красных, зеленый, белый. Это лоцманский катер, вышедший нам навстречу. Лоцманская служба — лицо порта. Круто развернувшись, катер лихо причалил к нашему борту. Турецкий матрос схватил спущенный конец, и тучный, далеко не молодой турок, прижимаясь всем телом к трапу, начал медленно карабкаться вверх.

Трудно быть лоцманом в такие годы.

Его проводили на мостик. Он смотрел вперед, разговаривал с капитаном на английском языке, время от времени отдавая команды. Его интересовало, что мы везем, какой мощности двигатели и многое другое, не относящееся к лоцманской службе. Дмитрий Васильевич охотно отвечал. Секретов у нас не было.

К нам приближался катер карантинных властей. Прежде чем пустить судно в Босфор, турецкие власти должны проверить, нет ли на борту больных, всем ли сделаны необходимые прививки, в порядке ли медицинские книжки каждого члена экипажа.

Мы уменьшили скорость до самой малой. Матросы спустили белый штормтрап, осветили его сильной, как прожектор, лампой. Старпом Боря Куликов с кожаной папкой медицинских документов буквально скатился по трапу. Будто провели палкой по штакетам палисадника: та-та-та-та... Будто внизу не пучина, а усыпанная песком дорожка. Еще не пристроился к нам катер турецких властей, а старпом висел уже на последней ступеньке.

И то ли позабавиться решил над ним турок за штурвалом, то ли человек оказался не высокой квалификации, но катер никак не мог к нам пристроиться, и старпом висел над водой.

— Доиграется Боря,— сердился Дмитрий Васильевич, наблюдая эту картину.— Сколько раз ему говорил: пока не подойдет катер, не спускайся. Устанут ведь руки, сорвется...

Вскоре катер приблизился к борту, Куликов спрыгнул на суденышко и исчез в его чреве. Спустя несколько минут снова появился и поднялся на палубу. Все в порядке.

Лоцман то и дело оборачивался к старшему рулевому Боре Шустрову.

— Помалу лева,— говорил он на ломаном русском языке.

— Помалу лево! — лихо отвечал Боря.

Капитан будто и не следил за этими командами. Просто стоял и отхлебывал из чашечки маленькими глотками черный кофе.

Перед турком тоже стояла чашка, и он тоже пил маленькими, редкими глотками вперемежку между командами.

— Еще помалу лева,— сказал турок. Но не успел Боря повторить команду, как раздался тихий и властный голос Кнаба:

— Так держать, лево не ходить!

— Есть так держать, лево не ходить! — весело кричит Боря, и в его голосе слышится: «Съел, господин лоцман? Капитан лучше знает».

И действительно, капитан Кнаб знает Босфор не хуже турецкого лоцмана. И вся полнота ответственности, что бы ни случилось, лежит на нем. Лоцман только советчик. И кто бы ни был на судне, обязан выполнять волю капитана. В управлении судном он наделен неограниченными правами и несет всю меру ответственности за свои действия. Но проходить Босфор без лоцмана фактически запрещено. И не без оснований. Недаром Босфор — кладбище многих кораблей. Вот и сейчас мы поравнялись с черными бесформенными силуэтами. Это остатки югославского и греческого танкеров, которые столкнулись здесь и сгорели. Они горели больше трех недель, и с трепетом обходили суда этот пылающий остров.

Пролив похож на извилистую реку, то широкую, то узкую, с изрезанными берегами и бесконечными поворотами. Чтобы пройти Босфор, надо знать все его капризы и странности, причуды правого берега, европейского, и левого, азиатского. Течение на поверхности идет из Черного моря в Мраморное, а на глубине уже десяти метров — из Мраморного в Черное. Судно с большой осадкой испытывает на себе эти противотечения. По центру вода идет в одном направлении, по берегам — в противоположном. В многочисленных бухтах сплошные круговороты: у европейского берега по часовой стрелке, у азиатского — против часовой стрелки. Когда дует сильный ветер, поверхностное течение вдруг меняет свое направление на 180 градусов и устремляется в обратную сторону. Но и это все непостоянно и капризно. Нет, недаром здесь столкнулись Европа и Азия. Каждый материк стремится показать свой характер, и терзают они воды Босфора как хотят, стараясь перехитрить друг друга. Идешь по Босфору — смотри и смотри. А то развернет судно и бросит на берег, как это не раз бывало, а берегов здесь почти нет, они застроены зданиями, и ни одно из них не выдержит удара.

И капитан Кнаб смотрит. Смотрит вперед, слушает лоцмана и поступает, как находит нужным.

Мы идем посередине пролива. Почти повсюду крутые берега освещены. Полуразрушенные форты, батареи, крепости. Все здесь напоминает былые битвы. Богатая растительность, старинные развалины замков и дворцов, белые сверкающие здания и виллы, утопающие в садах,— все перепуталось. А над всем этим господствуют минареты. Они возвышаются над платанами и замками, над виллами и дворцами, узкие, стремительные, точно ракеты, готовые

взвиться в космос. Когда-то служители культа взбирались на башни и оттуда зазывали молельщиков. Теперь на помощь пришла техника. Стоит на верхушке репродуктор и кричит. Проносятся сверкающие современные автомобили мимо огромного здания, окруженного двойной стеной, очень высокой и мощной. Это бывший султанский гарем. Между стенами бегали тигры, надежно охраняя султанских жен.

Из-за поворота неожиданно выплывает скала, на которой остатки древнего жертвенника. Пролив то и дело пересекают большие и громоздкие катера-шаркеты с людьми, машинами, грузами. Это скоростные паромы, главное средство сообщения между берегами. Личные купальни, сверкающие яхты, огненная реклама не вписываются в общий ландшафт седой старины. Вдоль правого берега — асфальтированная дорога. Мчатся «кадиллаки», «бьюики», обгоняя ишака, нагруженного так, что из-под тюков виднеются только тоненькие ноги животного. То на левом берегу, то на правом улицы упираются в пролив. Десятки зданий стоят у самой воды, точно на сваях. Из открытого окна какой-то турок ловит на удочку рыбу. Наверное, ловится, если сидит человек. Здорово устроился.

Миновали остатки старого Генуэзского замка, развалины форта. Показался красивый парк и белое двухэтажное здание с верандой и флагштоком. Это дом нашего посольства. И на чужих берегах повеяло чем-то родным и близким.

Пролив тянется почти тридцать километров — шестнадцать миль. Идем медленно, то и дело меняя курс, повторяя изгибы берегов. Миновали бывший султанский дворец, султанскую виллу и вышли к Стамбулу. Это и есть древняя Византия, бывшая столица, а ныне крупнейший в Турции порт, военно-морская база и промышленный центр, раскинувшийся на берегах бухты Золотой Рог. Сверкают огненные контуры винных бутылок над ресторанами, гудит порт, насупившись, стоят темные силуэты военных кораблей.

— Стоп, машина! — командует капитан.

Мерцают на темной воде огоньки катера, вышедшего за лоцманом. Вахтенный штурман Борис Мишин провожает его до штормтрапа.

— Полный вперед!

И вот уже позади Стамбул. Мы пересекли спокойное, точно озеро в тихую погоду, Мраморное море и у самого входа в Дарданеллы встретились с эсминцем.

Шестьдесят миль шли мы через Дарданеллы. Как и по Босфору, здесь проходят мировые торговые пути черноморских стран, также важен пролив и в стратегическом отношении. Но по внешнему виду эти проливы не сравнимы.

На Босфоре живут и развлекаются те, у кого много денег. Там их виллы, особняки, яхты, увеселительные дома. В маленьких домиках или в комнатах, снятых у владельцев, живут те, кто обслуживает богатых.

В Дарданеллах — голь и беднота. И природа там убогая и нищая. С капитанского мостика хорошо видны берега. Они то удаляются так, что надо брать бинокль, то почти совсем сходятся. Тоскливая, однообразная картина, унылый пейзаж. Голые возвышенности лишь кое-где покрыты маквисом или чахлой сосной. Время от времени проплывают у подножия виноградники и оливковые деревья.

На Босфоре земля очень дорогая, но там застроен каждый ее клочок. Босфор — это несколько населенных пунктов, слившихся друг с другом в один город, и, хотя каждый живет под своим названием, между ними нет и метра свободной площади. В Дарданеллах земля дешевле, а огромные ее массивы пустуют.

Миновали город Дарданеллы, который называют здесь Чанаккале. Невзрачный, серый. Это самый большой населенный пункт в проливе. Остальные селения совсем жалкие. В каждом однадве, а то и три мечети. Множество ветряных мельниц. В большинстве покосившихся, кривых, с суковатыми перекладинами на крыльях. Трудно верится, что это типичный пейзаж сегодняшней Турции. И еще одно типично: межи. Низенькие, выложенные из камня, чуть повыше — из кривых кольев или просто узенькая перепаханная полоска. А то вдруг выплывет огромный орошаемый массив без межей. Это земли тех, кто живет на Босфоре.

Как и там, в Дарданеллах встретишь седую старину, а то и далекую-далекую древность. На холмистом плато близ города Кемер я видел развалины источенного долгими веками амфитеатра. Время от времени попадаются и совсем новые военные казармы.

Неожиданно показалась живописная группа платановых деревьев. Кто-то сказал:

— А вот и санаторий имени Алика.

Алик Лопатин — моряк «Солнечногорска». Ему двадцать два года. Тихий, мечтательный, выглядит совсем юным. Плавает давно, побывал во многих странах. Он ведет дневник каждого рейса. Ведет для себя и пишет все подряд. «...Нос корабля поднимало на высоту двухэтажного дома, а потом бросало вниз, и полсудна скрывалось под водой. Когда шторм утих, смотрели кино «Девчата». Вечером дочитал Станюковича».

Как и положено ударнику коммунистического труда, Алик отлично работает. Он электрик. А в свободное время шефствует над ларьком без продавца. Там большой выбор. Спортивные товары, всякие тренировочные костюмы, тапочки, парфюмерия и богатый выбор сувениров, которые моряки дарят своим зарубежным друзьям. Оборот у него не меньший, чем в подобном ларьке на земле. Он сам ездит на базы за товарами, сам ведет учет и отчетность, с той лишь разницей, что денег не получает. Их удерживают у моряков из зарплаты по записям Алика. И зарплаты за работу в ларьке тоже не получает. Это его общест-

венная работа. К слову, есть на судне такой же ларек и табачно-продуктовый, которым ведает на тех же общественных началах Женя Острожнюк. В его холодильниках всегда есть боржоми, а уж только это одно трудно переоценить в условиях тропиков и жарких стран. Запасается он и конфетами, печеньем и другими вкусными вещами.

Самый большой ящик письменного стола Алика занят фотографиями, это тоже своего рода дневник. Вот кусочек жизни капиталистического города. Нет, автор снимка не ходил, подобно некоторым буржуазным корреспондентам в нашей стране, искать мусорные ямы и выдавать их за подлинную жизнь. Снимок сделан в центре города. Стоит у светофора шикарная машина, а совсем рядом — рикша. В его коляске — двое. У него сухие, точно перевитые веревками, жилистые ноги. Слиплись от пота волосы. Он смотрит на светофор, всем корпусом наклонившись вперед, готовый рвануться еще до того, как тронется с места автомобиль, тоже дожидающийся зеленого света.

В одном из рейсов Алик сфотографировал живописную группу платанов на Дарданеллах и, вздохнув, сказал:

— Эх, было бы это у нас, построили бы здесь такой санаторий...

С тех пор это место и называют «Санаторий имени Алика».

Близ «санатория» у подводной скалы Харман нам повстречалась большая рыбацкая шхуна. Потемневшая от времени, с бортами, истертыми канатами, будто их грызло огромное животное, скрипящая и закопченная, она тащилась, задыхаясь и отплевываясь сгустками черного дыма. Люди на палубе, полуголые или в лохмотьях, смотрели на нас уныло и безнадежно. Обгоняя их, мы шли совсем рядом, и я видел их лица. Большие белые птицы, похожие на чаек, но не чайки, летели над ними и что-то кричали и печально кивали головами на длинных шеях. От этого становилось еще тоскливее. И тут из какой-то бухты вырвалась сверкающая лаком и медью яхта. Она перерезала нам путь у самого форштевня, недопустимо близко от него и умчалась вперед. Ее палуба была уставлена легкой и яркой мебелью, как в современном кафе, и затянута тентом с замысловатыми рисунками всех цветов радуги. С яхты неслась музыка, где смешался визг, грохот, скрежет, сквозь который с трудом пробивался такт какого-то танца. Это веселилась «золотая» молодежь.

Дарданеллы вывели нас в Эгейское море. Миллионы лет назад здесь была суша. Но она опустилась, оставив на поверхности тысячи островов. Это Греческий архипелаг. Мы прошли мимо знаменитого острова Тенедос, где некогда базировался русский флот под командованием вице-адмирала Синявина, блокировавший Дарданеллы. Миновали и остров Парос, где также сражались русские моряки. Обогнув Пелопоннес, вышли в Средиземное море.

В этом районе, где скрещиваются десятки мировых торговых путей, можно встретить суда под любыми флагами. И здесь, в нейтральных водах, точно на большой дороге, обосновался Шестой американский военный флот. Здесь не одна база НАТО. Здесь место непрекращающихся военных маневров. С воздуха, на воде и под водой выслеживают добычу хищники, пришедшие сюда с другого полушария. Карта Средиземноморского бассейна испещрена красными надписями: «Плавание всех судов запрещено», «Район стрельб», «Минное поле», «Место сброса снарядов» и многими подобными предупреждениями.

Американцы разметили и приспособили для военных нужд Средиземное море, как свою вотчину, и создали в этих красивейших в мире, то голубых, то синих, водах нервозную напряженную обстановку. Я не раз проходил здесь, и не было случая, чтобы не рыскали вокруг подводные лодки и военные корабли под американским флагом, чтобы не ревели над головой бомбардировщики с теми же опознавательными знаками. Так было и в тот рейс.

Перед вечером мы шли мимо итальянских берегов через Мальтийский пролив, отделяющий Мальту от Сицилии. Впередсмотрящий матрос Николай Лисой первым заметил далекий силуэт. Вскоре уже можно было отложить бинокль. Огромный авианосец со звездно-полосатым флагом на мачте, тяжелый и неколебимый волнами, точно черный остров, шел встречным курсом. Его сопровождали две подводные лодки и два эсминца.

Мы везли на Кубу металлоконструкции. Недалеко от нас шел финский пароход с лесом. Чуть дальше — шведский танкер. В поле зрения были болгарское и польское торговые суда. Море было спокойным и красивым. Обычная картина мирной морской жизни. И в центр ее вползало распластавшееся больше чем на гектар отвратительное американское чудовище. Неожиданно вырвалось из подводной лодки облако, похожее на пар. Военные корабли быстро развернулись и полным ходом пошли назад. А облако стало оседать и расширяться. Оно ползло во все стороны, и тревожно смотрели на него в бинокли с капитанских мостиков торговых кораблей. Замедлили ход финны и шведы.

— Обычная бандитская выходка! — сказал капитан Кнаб.— Так держать! — И он спустился вниз, где начинался праздничный вечер, посвященный годовщине Октября.

В кают-компании и в прилегающем к ней музыкальном салоне все напоминало обстановку готовящегося молодежного бала. Матросы, мотористы, электрики в модных костюмах и белых сорочках с накрахмаленными воротниками, работницы с камбуза в нарядных платьях, музыка, какая-то особая, предпраздничная атмосфера. Первый помощник капитана Николай Иванович Кабанов сделал короткий доклад, зачитали приказ капитана, а потом начался концерт. Это был концерт самодеятельности, какой

можно услышать в хорошем клубе с обширной программой, большой выдумкой и подлинным юмором.

Где-то рядом в ночных водах рыскали подводные лодки и эсминцы, всматривалась в ночь палубная вахта, зорко следили за экранами локаторов на капитанском мостике. Теплоход коммунистического труда шел на Кубу и праздновал великую годовщину своей Родины.

Утром был туман. Потом он рассеялся, и прямо по курсу далеко впереди мы увидели исполинскую скалу. Это Гибралтар. Английская военно-морская база. Издали казалось, что это остров. Всматриваюсь в бинокль и вижу справа тонкую полоску асфальта, соединяющего подножие скалы с испанским берегом. Кажется, пойдет волна и накроет эту полоску. Слева берега Марокко и город Сеута. Здесь проходит граница Европы и Африки. Здесь кончается Средиземное море и начинается Атлантический океан.

Подходим ближе, и странным кажется склон Гибралтара, обращенный к нам. Посередине, от вершины и почти до подножия идет гигантская ровная полоса без выступов и камней, будто наклонили посадочную площадку аэродрома. Да, полное впечатление летного поля, наклоненного градусов на шестьдесят. Этот склон и в самом деле выровнен и покрыт не то бетоном, не то цементом на площади не меньше двадцати гектаров. Эта гладкая полоса, не доходя до моря метров пятьдесят, упирается в бассейн.

В Гибралтаре нет воды. Ее возят из других стран. А наклонную плоскость и бассейн соорудили для сбора дождевой воды. Сооружение оригинальное. Говорят, даже роса, стекающая в бассейн, пополняет здесь водные ресурсы.

В скалах то тут, то там торчат орудийные стволы разных калибров. Стоят орудия и открыто на площадках. Они похожи на танки. Внизу много гротов.

— Это базы подводных лодок,— замечает Алик.

Очень скоро мы убедились, как велико подземное хозяйство Гибралтара.

На самом высоком выступе скалы, на самой его высокой точке — мачта. От нее идет антенна к стоящей далеко внизу гигантской ажурной мачте, похожей на телевизионную. Очень большая антенна. Мощная.

Для пополнения некоторых судовых запасов капитан Кнаб решил зайти в Гибралтар. Получили по радио разрешение местных властей и подняли флаг: «Мне нужен лоцман».

Мы обогнули скалу и увидели идущий к нам на полной скорости катер с надписью «Pîlot», что значит «Лоцман».

— Стоп, машина!

Катер лихо подкатывается к борту, и высокий седой человек поднимается на капитанский мостик.

— Малый вперед!

Мы входим в бухту.

Обменявшись с капитаном несколькими деловыми фразами, лоцман спрашивает:

— Вы будете здесь снабжаться?

— Да кое-что возьму.

— Пожалуйста, я вас очень прошу.— И он достал из бумажника карточку с крупной надписью:

«Компания Давлана. Андери, капитан Франс и сын».

Дальше были перечислены наименования запасных частей к судовым двигателям, наименования приборов, различных деталей и многое другое, вплоть до флагов всего мира.

Лоцман говорит, что будет в высшей степени признателен, если капитан закупит необходимые товары именно у этой фирмы. Как старый английский капитан и специалист, он гарантирует высокое качество товаров и подтверждает солидность фирмы.

Фирма, надо сказать, довольно ловкая. Лоцманов, то есть первых, кто ступает на борт иностранных пароходов, она сделала своими коммивояжерами.

Старый лоцман выполнял эту несвойственную ему роль довольно неуверенно, как бы стесняясь. И было чего стесняться. Никогда раньше английский лоцман, состоящий на государственной службе, особенно на таком крупном перекрестке мировых путей, как Гибралтар, не стал бы заниматься подобной коммерцией. Впрочем, едва ли стоит судить его строго. Словно оправдываясь, он сказал:

— Очень трудно жить только на жалованье.

— Стоп, машина! Отдать правый якорь!

Боцман Вася Журавлев отпускает на брашпиле стопорную рукоятку, и с грохотом рушится в воду могучий якорь. Схваченное цепью спереди, судно разворачивается кормой по течению и замирает. Мы встали на рейде. А у судна уже несколько катеров: полиция, агент, шипшандлер, врач.

Убедились, что среди нас нет чумных или прокаженных, проверили судовую роль, куда занесен каждый член экипажа, покурили советские сигареты, выпили по рюмке русской водки и ушли на берег.

Мы спустили моторный бот и отправились в город. Боря Большой и Боря Маленький, стармех Слава Леонтьев, начальник радиостанции Лев Вестель и я составили первую группу.

Веселый полицейский у проходной проверил пропуска, поставил «галочки» против наших фамилий, которые уже успели занести в какие-то книги, и, громко расхохотавшись, предупредил:

— Смотрите не напивайтесь!

Я не понял, что привело его в такой восторг. Боря Большой объяснил мне:

— С таким же успехом он мог сказать: «Смотрите не опрокиньте в воду Гибралтар». Ни в одном порту мира наши моряки не пьют.

За воротами порта шумно и людно. Я не думал, что в скалах

Гибралтара увижу такой город. Есть тут и старинные здания и крепость с разводными мостами у входа, есть и современные дома — сверхмодерн.

Скалы создали для архитекторов большие трудности, но и открыли широкие возможности для их фантазии. Дома то возвышаются один над другим, будто исполинские ступени, то идут рядом, выдвинувшись из скал только фасадом. Кажется, раздвинулась гора и выполз дом, чтобы на ночь снова спрятаться в ее чреве. То и дело у зданий искусственные бассейны, красивые водоемы. Яркие и легкие строения на пляжах и в личных купальнях. Шикарные гостиницы с лоджиями похожи на наши первоклассные санатории в Крыму или на Кавказе.

Во всем этом городе, созданном в скалах, отличные, хорошо асфальтированные дороги. Много такси, еще больше извозчиков, старинных английских кебов, тяжелых, неповоротливых, покрытых брезентовыми навесами, с медными фонарями и торчащими на козлах длинными кнутами, которые вполне сошли бы для удилища. Но торчат они в вертикальном положении, поэтому напоминают автомобильные антенны.

Ближе к порту, у склона, обращенного к океану, много четырехэтажных домов, очень простых, явно дешевых, сборных, но они красивые, потому что со вкусом раскрашены. Повсюду балконы, балкончики, какие-то решетки из палочек, и все это в ярких красках, удачно подобранных, радующих глаз. Общую картину портит лишь изобилие белья, вывешенного на балконах и между ними. Такими домами, совершенно стандартными, застроена правая сторона улицы, ведущей к аэродрому. А по левой стороне — бараки, серые, низенькие, с фанерками вместо выбитых стекол, с облезлой и заплатанной рубероидом крышей. И каждый жилец здесь виден по тому, что у него под окном. Есть и запыленный цветничок или огородик, но чаще всего — кучи хлама, домашнего скарба. Можно бы сжечь этот хлам, да, видно, руки не поднимаются, авось пригодится.

Бараки ограждены жиденькими некрашеными заборчиками, и отстоят они от окон на три-четыре метра. На веревках, протянутых от заборов к баракам, сушится белье. А рядом — автомобили. Собственно говоря, эти машины даже неловко называть автомобилями, настолько они старые, помятые и облезлые. Но именно поэтому они вписываются в барачный пейзаж и не выглядят здесь чужеродным телом. Ездить на этих машинах, должно быть, рискованно, но по всему видно, что владельцы привыкли к ним и пользуются довольно широко. Совсем не хвастливо, естественно прозвучали слова очень сухонькой старушки, которая, стоя на своем ветхом, покосившемся и почерневшем от времени крыльце, кричала соседке:

— Поедем на моей машине, ты свою не заводи.

У крыльца действительно стояла машина, маленькая, как инвалидная коляска, и такая помятая, будто она долго катилась

кувырком с высокой горы, а потом года два стояла под всеми дождями и ветрами.

А у соседнего барака, такого же, как и все остальные, мы увидели совсем новую малолитражку. Должно быть, повезло человеку и сделал он какой-то бизнес. Он был тут же, у своей машины. Весь его вид соответствовал виду бараков — потертые, непонятного цвета штаны, такая же рубаха и некогда шикарный суконный жилет. Он натирал белой чистой тряпкой и без того сверкающий кузов и все время поглядывал на прохожих, стараясь сделать индифферентный вид: ничего особенного в этой машине нет, я всю жизнь на таких езжу.

Но счастье распирало его, оно пробивалось сквозь маску безразличия, и Лева Вестель не выдержал:

— Вери гуд! — И мы заулыбались, подтверждая, что действительно «вери гуд».

И владелец машины расплылся в улыбке. Казалось, не было для него большей радости, чем услышать эти слова. И тут же, спохватившись, он принял солидную позу и внушительно сказал:

— О йес!

Улица, по которой мы шли, упиралась в аэродром. Он не огражден, на нем нет никаких строений. Это та самая полоса асфальта, которую мы видели с моря. Она и соединяет Гибралтар с Испанией. Чтобы попасть в Испанию, надо пересечь эту взлетную площадку. По ней и идет пешеходная и автомобильная дорога. Собственно, никакой дороги нет. Есть место, где разрешено проходить через аэродром. Два полицейских регулируют движение. Встречного потока нет. Транспорт и людей пропускают то в одну сторону, то в другую. А движение большое. Автомобили, извозчики, пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты. Это испанцы, живущие у себя на родине и работающие в Гибралтаре, это домашние хозяйки, спешащие на английский рынок из Испании, это туристы из других стран.

Мы тоже пошли через аэродром к испанской границе. По ту сторону его — две будки в нескольких метрах друг от друга. У одной — английские пограничники, у другой — испанские. На пропуска они едва взглядывают. Иные даже документы не берут в руки, а только отвечают на приветствие проходящих людей.

Близ будок начинается испанский населенный пункт. Как там живут, я не знаю, ничего не было видно. Я бы постоял на этой границе подольше, присмотрелся бы к тому, что делается вокруг, но было неудобно. Пришлось уходить.

Снова пересекли аэродром и направились к центральной улице. Она не шире тротуара любого нашего проспекта. Но на ней, как и на всякой порядочной улице, тоже два тротуара. Местами по ним могут ходить двое рядом, но чаще всего не разойдутся и двое встречных.

Это торговая улица, и все до единого здания на ней магазины. Большое движение транспорта. Я с завистью смотрел, как пешеходы, водители, извозчики любезно уступали друг другу дорогу. Собственно говоря, только при таких условиях здесь и возможно движение транспорта.

Гибралтар — один из центров мирового туризма. Эта торговая улица — для туристов. Местное население сюда не ходит. А туристы здесь со всех концов мира. Идешь, обгоняя группы гуляющих людей, и будто вращаешь рукоятку коротковолнового приемника: английский, французский, шведский, японский, арабский и многие другие языки услышишь на протяжении одного квартала.

В музей мы пошли вдвоем с Вестелем. Остальные наши спутники сказали, что там нечего делать. Они оказались правы. Десятка три экспонатов старинного оружия, портреты королей, королев и их наместников в Гибралтаре, чучела нескольких птиц и животных, образцы монет разных времен, довольно убогие дары морского дна и еще что-то в этом роде — вот и весь музей, занимающий мрачное каменное здание в центре города.

Когда мы возращались домой, с аэродрома поднялся бомбардировщик. Мы переглянулись: ни один самолет за время нашего пребывания в городе не опускался. На аэродроме машин не было. Откуда же самолет?

Не успели мы пожать плечами, как взвился второй, потом третий, и пошли один за другим с равными короткими интервалами. Я насчитал двадцать штук, а потом надоело.

Наш бот уже подошел к судну, а в воздухе все еще ревели бомбардировщики, поднявшиеся из подземных ангаров.

Пока в океане тихо, можно спокойно работать в каюте, зная, что ни одно событие не пройдет мимо. Хотя репродуктор у меня выключен и тихая музыка доносится откуда-то издалека, но отключить принудительную трансляцию невозможно, если даже захочешь. Время от времени раздается шипение, и настораживаешься.

— Внимание,— раздается голос вахтенного штурмана,— сегодня ночью судовые часы будут переведены на час назад.

Такие сообщения мы слышим в океане каждый день. К приходу в Гавану разница с московским временем достигнет восьми часов.

Есть сообщения, к которым привыкли. В каждую субботу оповещают экипаж:

— Сегодня в шестнадцать часов (или в семнадцать) будет выдаваться постельное белье.

Есть такие, что за рейс услышишь только один раз:

— Внимание! Пересекаем тропик Рака!

А сообщение это кое-что значит. Во-первых, с этого момента начинается подача в каюты холодного воздуха, а жара стоит такая, что ждут его, как манну небесную. Во-вторых, начнут вы-

давать тропическое вино. Разведенное с водой, оно отлично утоляет жажду. В-третьих, пройден уже большой путь.

Бывают сообщения менее приятные и совсем неожиданные:

— Объявляется учебная тревога! Пожар в районе четвертого трюма.

И несутся десятки людей в разные стороны, каждый в точно определенное для него место. Бегут люди, на ходу надевая спасательные пояса, хватая шланги, аварийные движки, и опять-таки каждый точно знает, что ему делать. И едва успевают потушить «пожар», как несется по судну новое сообщение:

— Человек за бортом.

Шлепаются о воду мотоботы, гребут матросы на шлюпках, запускает свой детский смешной змей Вестель. Тончайший медный тросик, на котором поднимается змей, служит антенной аварийной радиостанции.

Четыре дня мы шли по спокойным водам Атлантики. А потом началась мертвая зыбь. Двое суток выматывало душу. Впереди горизонт был близким и ясным, позади — далеким и расплывчатым, но, куда ни глянь, ни одного белого гребня.

Мертвая зыбь! Значит, где-то вздыбился, взбесился и бьется в шторме океан. Мертвая зыбь — это окраина шторма. Мы обходили штормовую зону, но мертвой зыби не миновать. Иначе на тысячу миль надо отклоняться от курса.

Мертвая зыбь — это на первый взгляд тихие и безобидные волны. Они пологие, без острых гребней, на пятьдесят, а то и сто метров отстоят друг от друга. Поэтому кажутся невысокими. В действительности достигают десяти метров. Водяные возвышенности, низменности движутся на судно всей своей миллионнотонной массой, и физически ощутимой становится исполинская сила океана. Взобравшись на вершину, судно устремляется вниз, и кажется — неминуемо врежется в водяную гряду. Но она подбрасывает наш теплоход весом около двадцати тысяч тонн, как пустую коробку. На вершине нос теплохода словно повисает на мгновение в воздухе, и судно всей своей массой рушится вниз, задирая корму. На то же мгновение освобожденный от нагрузки винт начинает вращаться с большой скоростью, и, не контролируй его умный автомат, снижающий эту скорость, винт вращался бы, как буксующее колесо автомобиля.

Пока теплоход несется вниз, он словно натыкается на валуны и ухабы с обеих сторон и валится то на правый борт, то на левый, и мечется из стороны в сторону стрелка кренометра. А мертвая зыбь крутит и вертит наше судно, будто играя им, швыряет с боку на бок и вверх и вниз, и не знаешь, в какую секунду и куда тебя бросит.

Любителям острых ощущений такой аттракцион в течение нескольких минут может доставить удовольствие. Через час человека начинает мутить. Через сутки — это уже пытка. Ведь неправда, будто «морским волкам» качка нипочем. Конечно, быва-

лые моряки переносят ее легче новичков, но влияет она на всякий организм.

К исходу вторых суток штормовая зона расширилась и стало совсем худо. А жизнь на судне продолжалась в соответствии с новой обстановкой. Повар Александр Ефремович Иванченко, привязав к плите надраенные кастрюли и жаровни, готовил обед. Трудно было понять, как человек удерживает равновесие. Он резал капусту, свеклу, клал в борщ все, что положено, и сокрушался:

— Если шторм усилится, останемся без первого: сготовить я, конечно, сготовлю, а вот съесть не удастся, не удержится борщ в тарелках.

Цирковой эквилибрист выполняет свой номер, стоя на твердой почве, да и то в течение нескольких минут. Иванченко занимался эквилибристикой, балансируя на рвущемся из-под ног полу у раскаленной плиты, подбрасываемый то вверх, то в стороны в течение всего дня. Как это удавалось ему, я не мог постичь, хотя смотрел на его работу. Уж достанется мне от моряков за это слово — «пол»! Ведь у них всякий пол называется палубой, даже дно трюма.

Утром шторм затих. Мы нашли на палубе залетевшую сюда стайку летучих рыб. Должно быть, «приземлились» они ночью, а подняться так и не смогли: неподходящей оказалась взлетная площадка. Несколько штук отнесли на камбуз, а две самые большие моторист Стас Овадовский препарировал формалином, чтобы в сохранности довезти сыну. Возобновились прерванные соревнования по настольному теннису. Боря Большой, с разгромным счетом победив своего начальника Борю Маленького, обеспечил себе первое место. Мы еще обсуждали это событие, когда из всех репродукторов раздался голос вахтенного штурмана Николая Бочарова:

— Внимание! Встречным курсом прямо по носу — самолет!

Широко распластавшись, очень низко над водой летел бомбардировщик. С нарастающим ревом неслась на судно огромная машина с сигарообразными наростами под крыльями, оставляя на воде большую тень. Мне показалось, что я уже видел этот самолет. И действительно, точно такие машины поднимались с аэродрома в Гибралтаре. Но этот был не с Гибралтара: от пролива мы ушли уже больше чем на четыре тысячи километров. Этот пришел с другой военной базы.

Пролетев на бреющем полете вдоль судна над самыми мачтами, полоснув своей тенью по палубам, самолет развернулся и, заглушая ревом шум винтов, снова ринулся на теплоход. Все увидели его номер: К-13152. Это был американский «нептун». Облетая нас то по правому борту, то по левому, перерезал нам путь перед самым носом, залетал с кормы, бесновался вокруг судна или, провоцируя экипаж, взмывал и пикировал, будто готовился сбросить бомбы. Летчик водил по кораблю каким-то

аппаратом, и трудно было понять, полыхнет оттуда пламя или просто он фотографирует чужое судно в нейтральных водах.

В прозрачной штурманской рубке бомбардировщика детина в рыжем надутом скафандре крутил ручку, направляя на нас трубу. И руки, и ноги, и туловище были похожи на колбасы, перетянутые веревками. Человек этот казался ненастоящим, он скорее походил на робота. Такие же фигуры сидели в кабине и у самого хвоста и тоже чем-то нацеливались на судно. Откуда бы ни заходил бомбардировщик, мы видели эти отвратительные рыжие колбасы, этих роботов, наводящих на нас свои трубы. И каждый раз, когда он надвигался на судно, мы видели направленные на нас и готовые сорваться со своих гнезд восемь тонких ракет под крыльями.

Он пролетел над нами двадцать один раз. Это было в Атлантическом океане на 26°31′северной широты и 59°47′западной долготы, то есть за 1500 километров от Кубы.

Экипаж «Солнечногорска», совершавший свой тринадцатый рейс на остров Свободы, не один раз испытал на себе облеты американских бомбардировщиков. Но никогда еще они не забирались так далеко в океан и никогда так долго не бесновались над судном.

Через сорок минут после того, как скрылся самолет, на горизонте опять появилась черная точка. Она увеличивалась с необычайной быстротой, и вскоре без бинокля можно было увидеть американскую летающую лодку № 5490. И все началось сначала. Противное, с огромным уродливым брюхом воющее чудовище снова бесновалось над судном.

Весь день до самой темноты американские самолеты не оставляли нас в покое. На мостике находились капитан Кнаб, его помощник по политической части Кабанов и вахтенные. Экипаж коммунистического труда шел своим курсом. Шел на Кубу.

В пять часов утра я смотрел, как старпом Борис Куликов определял местонахождение корабля по звездам. Мы приближались к Багамским островам. Небо закрыли тучи, было совсем темно, но старпом отыскал все же бледные контуры Сириуса и, показав направление, передал мне прибор. В это мгновение что-то ударило в глаза, ослепило, оглушило. С ревом и грохотом над нами пронесся самолет. У самых мачт он включил мощные прожекторы, и они ударили по затемненному судну, где не спала только вахта. Яркие лучи вонзились в иллюминаторы. Вскочили с постелей моряки, не понимая, что произошло.

Это был очередной американский «нептун». Развернувшись, он погасил прожекторы. Теперь были видны его бортовые огни. Он снова приближался к судну.

Капитан Кнаб приказал вахтенному матросу Шустрову:

— Если еще раз ослепит, отвечай!

Шустров бросился на верхний мостик, сорвал брезент с огром-

ного прожектора. Снова яркий свет полоснул по глазам, и в ту же секунду Шустров нажал кнопку. Схлестнулись два огненных луча, затрепетала в воздухе серебряная машина, рванулась вверх и в сторону, погасив свои прожекторы. Отчетливо был виден номер А-141416.

Медленно расходились по каютам люди, высыпавшие на палубы.

— Сволочь! — сказал кто-то.— Не дал поспать.

Когда рассвело, этот бомбардировщик снова появился над нами. И он проделал все провокационные номера, хорошо знакомые экипажу по предыдущим облетам.

Миновав старый Багамский пролив, мы вошли в территориальные воды Кубы. Взвился на мачте флаг героического острова Свободы. С нетерпением ожидала команда встречи с кубинскими друзьями, которых обрела в предыдущих рейсах. Началась генеральная уборка судна. Моряки крахмалили сорочки, утюжили брюки.

Поздно вечером я зашел в радиорубку, чтобы передать в редакцию сообщение об облетах американской авиации «Солнечногорска». На вахте был начальник радиостанции Лев Вестель.

Радистом он стал в школьные годы. Нельзя сказать, что в школе он просто увлекался радио. Это была любовь, которой он отдавал жизнь.

Парень не знал ни ребячьих игр, ни спортивных соревнований, ни школьных вечеров. Всякую свободную минуту проводил в сарае, где укрывался от посторонних глаз и чувствовал себя в родной стихии. На стенах и под крышей тянулись провода, в ящичках лежали радиодетали, вернее медяшки, железки, поломанные выключатели и розетки, кусочки фибры. Он паял, пилил, перестраивал свой приемник, полностью сделанный собственными руками, без конца переделывал схему. Приемник был бесформенным, некрасивым. Он принимал весь мир.

Школьные занятия, какие-то домашние дела, уроки — все казалось десятистепенным, несущественным, потусторонним. День проходил в предвкушении ночи. Когда все укладывались спать, он спешил в свой сарай, устраивался поудобнее, надевал наушники, трепетно включал приемник. В такие минуты он забывал все на свете. Перед ним открывался мир, необъятный, таинственный, захватывающий. И не было ничего в жизни, кроме этого мира, зовущего, бесконечно далекого, который можно ощутить, сделать близким.

Долгими, невыносимо долгими часами вращал он рукоятку на сотые доли градуса, будто кончиками нервов на пальцах воспринимал звук и искал, как пушинку во Вселенной, искал таких же одержимых, как сам, коротковолновиков. Он терял счет времени, и уже не было аппарата и радиста, они сливались в единый организм, и казалось, не маленьким аппаратом ловит он волны, несущиеся в мировом эфире, а сам он где-то в этих

немыслимых волнах парит над земным шаром, возбужденный до экстаза.

Это был экстаз охотника, опытного, азартного, который еще не видит добычи, еще не напал на след, но всем своим существом уже осязает ее. И он устремляется куда-то в чащу, влекомый неудержимой силой интуиции, безотчетно веря ей, углубляется все дальше, пока не наткнется на чуть примятые стебельки, которые ничего не скажут непосвященному, но заставят сладостно сжаться сердце охотника. Теперь-то он не упустит след.

Вестель охотился в эфире, находил едва уловимые звуки, шел по следу, и они становились все отчетливее, яснее, пока не превращались в слова чужих и далеких языков. Он находил их в Австралии, Новой Зеландии, на островах с неведомыми названиями, в далеких тропических странах. Он очищал эти голоса от посторонних шумов, делал их громкими и чистыми и включался в чужую речь, чтобы установить связь и дать свои позывные.

И не было предела счастью, когда заполнял очередную карточку с позывными нового неведомого друга и, точно знамя победы, вонзал в географическую карту крошечный флажок. Потом при свете маленькой лампочки долго смотрел на замысловатое название чужого и далекого города, чтобы назавтра, едва дождавшись открытия библиотеки, найти его в энциклопедии и узнать все, что о нем известно.

Одну за другой завоевывал он части света, самые глубинные их районы. Усеяна была флажками карта, и казалось, нет на ней больше свободного места. Но снова и снова, как в безумной охоте, носился он по волнам Вселенной.

Редко перед кем из ребят не вставал вопрос: какую дорогу выбрать в жизни? Вестель об этом не думал. В руках у него уже была профессия, которую он не поменял бы ни на какую другую. В пятнадцать лет стал радистом высокой квалификации на торговом флоте, хотя пошел туда только для прохождения практики, как студент техникума. Какая там практика! Известны позывные, известны часы выхода на связь, в специальной радиорубке — отличная заводская аппаратура. Не работа, а счастье.

Здесь впервые проверил свои силы по формальным показателям: сто двадцать пять букв в минуту русского алфавита или сто — иностранного. Такую норму может дать только высококвалифицированный радист.

Теперь он изучал мир не по радиоволнам. Он увидел многие страны, десятки иностранных портов, куда заходило его судно.

В восемнадцать лет Вестель стал начальником радиостанции ледокола «Добрыня Никитич».

Бухта Провидения, залив Трех крестов, мыс Шмидта, весь Северный морской путь, весь Восточный сектор Арктики успел он исколесить, когда произошло событие, изменившее жизнь на-

родов. К тому времени он был начальником радиостанции товаро-пассажирского парохода «Сахалин», отправившегося в полугодовой рейс из Владивостока. Предстояло во многих местах сменить зимовщиков, оставить на зимовках продукты, оборудование, одежду.

На очередной радиовахте Вестель услышал: началась война. Ничего в этом рейсе не изменила война. Была она где-то далеко и как-то не воспринималась реально. Казалось, будто не успеют еще вернуться во Владивосток, как разобьют врага, и конечно же, не придет она в эти далекие дали. Но война затянулась. И хотя не в виде открытых боев, но весьма ощутимо пришла и на Дальний Восток.

Многие суда, в том числе и «Сахалин», взяли курс к берегам Соединенных Штатов. Там предстояло брать оборудование, продовольствие, материалы. Путь лежал через пролив Лаперуза или Цусимский пролив. Эти воды хотя и являлись международными, их незаконно контролировала самурайская Япония. Японский военно-морской флот постоянно находился в этих проливах и регистрировал каждое судно, идущее в США.

Милитаристская Япония готовилась вступить в войну против Советского Союза. Она ждала лишь нашего поражения под Сталинградом, чтобы обрушить на нас всю свою военную мощь. Но пока мы не были в состоянии войны с ней, она ставила нам препятствия коварные, прибегала к методам жестоким и пиратским.

В очередной рейс «Сахалин» отправился через Цусимский пролив, который был на виду у японского военного флота. Поэтому суда, идущие через Цусиму, не вызывали особых подозрений у японцев. И именно поэтому капитан решил избрать такой маршрут.

«Сахалин» прошел между двумя самурайскими крейсерами, откуда неотрывно наблюдали за ним в бинокли. Потом встретили еще несколько военных катеров, но ни один из них не останавливал советский пароход и никто никаких вопросов не задал.

Конечно, экипаж был доволен, но все знали, что неприятности впереди. По пути в США, как правило, наши корабли не подвергались нападениям. Главное — обратный путь. Главное — доставить из США груз. Это знали и японцы.

К тому времени они одержали на Тихом океане ряд побед над флотами Соединенных Штатов и Англии. Самураи захватили Филиппины, Сингапур, Пенанг, многие острова и военные базы своих противников. Самураи наносили внезапные и весьма чувствительные удары, такие, как в Пирл-Харборе или Сингапуре, и это придавало им смелости и наглости. Готовясь к нападению на Советский Союз, одерживая победы над флотом союзников, они едва сдерживались при виде наших судов, беспрепятственно следующих в США. Советские моряки, проходя мимо самурай-

ских кораблей, в полной мере ощущали это предельное напряжение.

В ту пору наши корабли ходили в Сиэтл, Портланд, Сан-Франциско, в Олимпию и Такому, в другие порты США.

«Сахалин» благополучно прошел большой путь и благополучно ошвартовался у одного из причалов Сан-Франциско. Первое, что бросилось в глаза Вестелю и всему экипажу,— это множество японцев, сновавших в порту. Они рассматривали советское судно, фотографировали его, а когда началась погрузка, бесцеремонно достали свои блокноты. Точно судовые тальманы, стояли они на пирсе и считали каждый тюк, каждый подъем крана.

Капитан «Сахалина» выразил протест портовым властям, но это ни к чему не привело. Капитан порта, веселый толстяк, ответил, что эти японцы — граждане США, а то, чем они занимаются и что записывают в свои блокноты,— дело их личное. И поскольку Америка — страна свободная, никто не может запретить им делать то, что им хочется. Понять такую «свободу» советские люди не могли, потому что каждому было ясно: японцы занимаются шпионажем и, конечно же, передадут на свои военные корабли все данное о грузах, принятых на борт «Сахалина».

Капитан судна связался с другими советскими моряками, находившимися в портах США, и выяснилось, что японцы свободно ходят по всем причалам и пирсам, наблюдают за каждым советским судном и знают, чем грузятся пароходы, вплоть до того, какими материалами и как загружен каждый трюм.

Знать, не очень заботились американские торговцы, чтобы их грузы дошли по назначению.

В американских портах мы получали и суда, переданные Советскому Союзу по ленд-лизу. Специальных команд за ними не посылали. С каждого советского судна, приходившего в США, выделялось по пять — семь человек, из которых и формировались экипажи на новые суда. Вместе с группой моряков «Сахалина», назначенной на одно из таких судов, пошел и Вестель. Пошел, чтобы помочь товарищам проверить аппаратуру и вернуться на свое судно.

Когда они увидели «новое» судно, у них буквально опустились руки. Запущенное, грязное, ржавое, оно простояло, видимо, не один год без действия. Оно казалось совершенно непригодным к эксплуатации. Чтобы хоть немного привести его в порядок, дать возможность дотащить эту рухлядь до своего порта, пришлось вызвать сюда полный состав экипажей двух советских кораблей, стоявших в порту. Целыми сутками работали люди, пока удалось привести механизмы в действие.

Погрузка на «Сахалине» закончилась, и он тронулся в обратный рейс. Настроение у людей было тяжелое. Понимали: нелегко будет пробиться к Владивостоку.

Часть экипажа осталась на «новом» судне. Остался там и второй радист. В нормальных условиях плавания Вестель справил-

ся бы с работой и один. Ведь вахту надо нести не круглосуточно, а в строго определенное и не такое уж большое время, в зависимости от зоны, где находится судно. Фактически она велась только в так называемые часы выхода на связь, то есть в то строго фиксированное время, когда судно передает в свой порт ежесуточные данные о пройденном пути, своем местонахождении и другие подобного рода сведения.

Ограничиться такой вахтой на «Сахалине» было нельзя. Фактически ее предстояло вести круглые сутки. И вот почему.

Самураи делали все, чтобы задержать груз, идущий из США в СССР. Формальный повод для придирок был всегда один: поскольку США находятся в состоянии войны с Японией, она не может допустить какой бы то ни было транспортировки американского оружия. А по имеющимся якобы у нее данным, именно это советское судно и везет оружие.

Под этим предлогом самураи останавливали советские суда и, опечатав радиостанцию, уводили их в свои порты. Случалось так, что радист не успеет сообщить советским властям о происшедшем — и судно исчезает бесследно. Сутками его вызывали Владивосток и другие радиостанции, но ответа не получали. И хотя люди догадывались, куда оно девалось, предъявить претензию японцам было трудно. Если же радисту удавалось своевременно сообщить о том, что пароход задержали японцы, при каких обстоятельствах это произошло и свои координаты, положение значительно облегчалось. В Японию по дипломатическим каналам немедленно посылали ноту протеста, и, как бы ни вертелись самураи, им приходилось, извинившись за недоразумение, отпускать советское судно.

Это обстоятельство и заставляло радистов нести круглосуточную вахту. Это было необходимо еще и потому, что в дни, полные тревог, в любую минуту могло прийти распоряжение изменить маршрут или сообщение о грозящей впереди опасности, или, наконец, указание, как вести себя в предстоящей сложной обстановке.

«Сахалин» держал курс на Владивосток. Благополучно миновали пролив Унимак и американскую военно-морскую базу Акутан близ Дейч-Харбора. В первую половину пути Вестель еще позволял себе и нормально отдыхать, и питаться, как все, в кают-компании. А потом наступило трудное время.

Надо находиться на вахте день и ночь. Но как может человек дежурить круглые сутки, несколько суток подряд, пока не прибудут в свой порт.

Человек все может. Вестель сидел на своем рабочем месте, не снимая наушников, не раздеваясь. Нельзя сказать, будто он совсем не спал, но это был странный сон, сквозь который радист слушал эфир. Стоило появиться малейшим помехам, как он улавливал их, схватывался, немедленно устранял. В бесчисленном количестве точек-тире, непрерывным потоком барабанивших в

наушниках, он сквозь сон различал те, что касались его. В забытьи находился час-полтора, потом делал разминку и снова был бодрым часов пять-шесть. Его часто вызывал Владивосток — и в заранее назначенное время, и в неурочное, и он тут же отвечал. Пищу теперь ему приносили в радиорубку.

Так дошли до пролива Лаперуза, где встретили японский эскадренный миноносец. «Сахалин» был еще далеко от военного судна, когда оттуда начали сигналить прожектором. Вестель знал, что сигнал принимают на ходовом мостике, но огни были видны и ему, и он тоже всматривался в них. Пока это было только мигание, только знак «Сахалину» о том, что его вызывают, требующий ответных огней как подтверждение, что «Сахалин» слушает.

— Не отвечать! — скомандовал капитан, и этот приказ донесся до Вестеля сквозь открытый иллюминатор, выходивший на левое крыло мостика. Прибежал вахтенный матрос и передал распоряжение капитана немедленно связаться с Владивостоком и передавать туда все, что будет происходить дальше. Но Вестель и без того уже начал вызывать свой порт.

На эсминце взвились флаги: «Застопорить ход». Прожектор продолжал мигать, и теперь вспышки были то мгновенными, то чуть замедленными, и это уже не просто вспышки, а огненные слова, повторявшие приказ: «Застопорить ход».

«Сахалин» продолжал идти своим курсом, не снижая скорости. Капитан и штурманы, выбрав места, откуда их не могли видеть японцы, смотрели в бинокли на эсминец. Самураи тоже смотрели в бинокли, но открыто, облокотившись о планшир.

Флаги поползли вниз, и тут же взвился новый сигнал: «В случае неповиновения открываю огонь». Этот же сигнал просветофорили прожектором.

Вестель звал Владивосток, но ответа не получал. Без конца повторял позывные, и будто в глухую стену.

Самураи навели на «Сахалин» орудия. Грянул выстрел. Не долетев до судна, снаряд разорвался метрах в ста от него.

— Что передали во Владивосток? — это спрашивает вахтенный штурман по поручению капитана.

Есть ли чувство более страшное, чем ощущение собственной беспомощности, когда знаешь, как предотвратить гибель или катастрофу и не можешь этого сделать! Вестель звал Владивосток, Находку, Сахалин. Взывал ко всем советским и иностранным судам, к береговым станциям, прося ответа. Никто не отвечал. Он переходил на другие волны, вмешивался в чужие разговоры, но его не слышали.

Раздался второй выстрел. Теперь — перелет, но тоже метрах в ста от судна. Значит, не случайны эти недолеты-перелеты. Они точно рассчитаны: два предупредительных удара, третий — в цель. И этот третий будет нанесен через несколько секунд.

Вестель не слышал приказа капитана. Он услышал и почув-

ствовал, как судно перестало вибрировать, как умолк мерный гул двигателей. Оборвалась бурлящая дорожка за кормой: перестал вращаться винт. Резко упала и продолжала снижаться скорость.

Самураи все видели. Шлепнулась о воду их шлюпка, в которой находилось человек двадцать вооруженных матросов и несколько офицеров. По приказу с эсминца на «Сахалине» спустили трап.

Не отрывая руки от телеграфного ключа, выстукивая позывные советских портов, Вестель наблюдал эту картину, глядя в иллюминатор. Он страдал, чувствуя на себе вину. Раньше других понял, в каком страшном положении они оказались: если не связаться со своими — значит, судно может исчезнуть бесследно. Его уведут в глубь Японии, разгрузят, перекрасят и пустят в эксплуатацию на внутренних линиях. А экипаж... Кто знает, что сделают с экипажем!

Надежды связаться с Владивостоком уже не осталось. Через несколько минут самураи захватят радиорубку.

Фактически никакой вины Вестеля не было. Он проявил и настойчивость, и изобретательность, пытаясь вызвать ответ какой угодно живой души. И ему ответили. Ответил шведский корабль, обещавший передать советским властям принятое с «Сахалина» сообщение. Разговор со шведами состоялся в тот момент, когда самураи поднимались на советское судно. Один за другим они перемахивали через борт и прыгали на палубу.

Связь, установленная со шведами, не радовала Вестеля. Странный какой-то разговор. Подозрительный. Какая гарантия в том, что они передадут его сообщение? И кто может поручиться, что они действительно шведы, а не японцы, решившие обмануть бдительность советского радиста? Скорее всего дело обстоит именно так. Станут ли шведы, занимающие нейтралитет в войне, вмешиваться в какие-то дела судов воюющих стран? Едва ли. А если это японцы, совсем плохо. Значит, им известно, что «Сахалин» не смог связаться с берегом и никто не знает о случившемся. Через одну-две минуты они ворвутся в радиорубку и опечатают ее.

В эти последние минуты перед их вторжением он чувствовал всю меру тяжести, какая легла на его плечи, и всю неотвратимость катастрофы. Ни капитан, ни штурманы, ни один человек из членов экипажа товаро-пассажирского судна не могли противостоять вооруженной самурайщине в открытом море. Только он один мог позвать на помощь Родину. Но она не слышит его голос. Как объяснить это потом людям?

Ему не хватает всего двадцати минут. Через двадцать минут по расписанию он должен выйти на связь. Должен настроить свой приемник на определенную волну — и его вызовет Владивосток. Но уже слышен топот множества ног. Это самураи поднимаются на мостик. Они думают сейчас о нем. Вернее,

не о нем, а о том, что прежде всего надо опечатать его радиорубку. А спустя двадцать минут оператор Владивостока начнет нервничать. Он не получит ответа от «Сахалина». Сначала будет сердиться, возмущаясь, почему судовой радист опаздывает с выходом на связь. Потом поймет: что-то случилось.

Продолжая вызывать судно, доложит начальнику связи, а тот — начальнику пароходства. Начнутся поиски. Запросят другие советские суда, не известно ли им что-либо о «Сахалине». Еще раз проверят погоду, какое было волнение на море, силу ветра. Еще раз убедятся, что никаких штормов не было и не стихийное бедствие постигло судно.

В порту, в пароходстве, в обкоме партии, отложив другие важные дела, будут обсуждать случившееся. И останется только один выход: обратиться к японцам. Их генеральный консул выразит искреннее сожаление по поводу случившегося, выразит надежду и уверенность, что все кончится благополучно, и пообещает немедленно принять все возможные меры, чтобы найти советское судно. И уже на следующий день сообщит, что японские власти дали указание всем торговым, промысловым и военным судам империи, находившимся на трассе или близ трассы движения «Сахалина», проверить, нет ли каких-либо данных о советском пароходе. И сообщит, что, к величайшему сожалению, гражданский и военный флоты империи, тщательно обследовав воды и берега в районах, где они находились, не обнаружили следов советского парохода или других данных, которые бы позволили судить или сделать предположение о его местонахождении. На лице его будет неподдельная скорбь, а слова соболезнования прозвучат искренне и трогательно.

В своей жизни радиста, начиная с мальчишеских лет, Вестелю много раз приходилось вызывать различные станции, которые не отвечали. Надо иметь немалую силу воли, чтобы долгими часами посылать в эфир позывные и, не получая ответа, не терять терпения и надежды, а еще с большим упорством искать связи. Надо посылать позывные, когда уже немеют пальцы и опускаются руки, когда туманится голова и хочется грохнуть об пол всю эту аппаратуру. Надо не терять самообладания и добиться ответа через любые вспомогательные пути, когда кажется, что полностью исчерпал возможности и совесть перед товарищами чиста.

Сколько раз случалось, когда его настойчивость и воля приводили к победе. Но теперь надеяться не на что. Товарищи поверят, что он испробовал все мыслимые и немыслимые способы связаться с берегом и не его вина в поражении.

Так будут считать и говорить все. Но сам он простить себе этого не сможет. И забыть не сможет. Сотни раз потом проверит самым придирчивым образом, так ли поступал, как надо, действительно ли исчерпал все возможности, в сотый раз убедится: действовал правильно. А на душе останется тяжелый камень.

Самураи поднимались на мостик, когда, осененный новой идеей, Вестель вскочил. Задраил иллюминатор металлической крышкой, захлопнул и запер тяжелую стальную дверь, которую закрывают во время больших штормов или в других случаях, когда надо преградить доступ воды в радиорубку.

В дверь громко застучали. Вестель не отвечал. Он снова припал к телеграфному ключу. Пусть стучат. Ему надо продержаться двадцать минут, а потом пусть делают с ним, что хотят. Впрочем, не так уж все. Если Владивосток будет знать о случившемся, побоятся. Всего двадцать минут. Даже меньше — восемнадцать. Взломать стальную дверь не так просто. Пока им удастся это сделать, пройдет не меньше получаса. Этого вполне достаточно.

В дверь грохотали так, что дрожала аппаратура. Он слышал крики, возмущенные голоса. Он сидел и посылал позывные: Владивосток... Находка... Сахалин... Может быть, ответят раньше назначенного времени.

Раздался телефонный звонок. Он решил не поднимать трубки, потом передумал: возможно, звонят свои из укромного местечка, куда самураи еще не проникли.

— Слушаю.

Грохот в дверь прекратился.

— Приказываю немедленно открыть двери!

Это говорил капитан. Приказу капитана надо подчиняться. Приказу капитана он привык подчиняться безоговорочно. Но капитана ли это приказ? Может быть, это только его голос, а воля не его?

Нет, и голос не его, чужой, хотя говорит он. Говорит под дулом пистолета.

— Я отдыхаю,— сказал Вестель,— прошу позвонить попозже.— И он защелкнул на рычаге трубку.

Откуда пришел в голову такой нелепый ответ? Мог бы придумать что-нибудь правдоподобнее. Да, собственно, какое это имеет значение! Важно тянуть время и звать берег. И он звал:

— Я — уэрдебе, я — уэрдебе, вызываю шаэрэм, вызываю шаэрэм, отвечайте, шаэрэм. Ну, что же вы молчите, шаэрэм?

Он словно забыл, что находится на вахте и должен пользоваться словами, не выходящими за пределы официальной служебной инструкции.

Снова раздался телефонный звонок. Резкий, длинный.

Он не поднял трубки. Даже успокоился. Это было странное спокойствие. На душе стало пусто и горько. Теперь он действительно сделал все возможное, и осталось только ждать. Автоматически продолжал вызывать советские порты, но не было того нетерпения, с каким он ждал ответа еще несколько минут назад.

Снова грохотали в дверь, но это уже другие удары. Размеренные и звонкие. Ему отчетливо представилось, что происходит

за дверью: один держит массивное зубило на длинной деревянной рукоятке, второй бьет кувалдой. Они сбивают заклепки с дверных петель. Им потребуется минут восемь-десять. До выхода на связь по расписанию — четырнадцать минут. Вполне успеют.

Он выстукивал позывные Находки, когда его прервали. Владивосток запрашивал, почему раньше времени просит связь.

Он успел передать свои координаты и все, что происходит на судне, до мельчайших подробностей. Все, начиная с момента получения первого сигнала самураев. Закончив с этим делом, выключил аппаратуру и открыл дверь. Вестель был в состоянии прострации. На него кричали, ему угрожали, а он стоял и глупо улыбался. Не специально, не для того чтобы показать свое пренебрежение к самураям, а помимо воли. Они видели это. Они понимали, что советским властям передана исчерпывающая информация о положении на судне. И все-таки самураи повели «Сахалин» в свой порт. Они держали пароход три дня, требуя признания капитана в том, будто на дне трюмов — оружие. Протесты советского консула заставили их отпустить судно.

Это первое соприкосновение Вестеля с войной. Потом было хуже. Суда, на которых он плавал, подвергались и торпедным атакам, и бомбежкам, и ударам подводных лодок. Он был тяжело ранен, но выжил. Лет десять преподавал в техникуме. Все это далеко позади. Теперь Вестель — начальник радиостанции крупнейшего пассажирского лайнера «Иван Франко». А познакомился я с ним на «Солнечногорске» в том рейсе на Кубу, о котором шла речь выше. Я попросил его передать в Москву мою корреспонденцию об облетах американских бомбардировщиков на «Солнечногорск».

В радиорубке столько всяких аппаратов, а на них такое бесчисленное количество ручек, кнопок, стрелок, делений, что диву даешься, как это люди разбираются, что к чему. Не представляю себе человека в радиорубке медлительного, тучного или даже просто полного. Возможно, мне так кажется потому, что эталон радиста для меня Вестель. Сразу же вспоминается знаменитый Кренкель. И не только по созвучию фамилий. Вестель — ас-коротковолновик. Едва ли не с каждым уголком планеты, где есть коротковолновики, он сумел установить связь.

Как всегда, в радиорубке громко и жалобно пищала морзянка, и неслись точки-тире, обгоняя друг друга, будто боясь, что их остановят. А им действительно мешали какие-то посторонние звуки, грубо разрывали их ниточку, но они снова пробивались, тоненькие, жалобные, беспомощные, как цыплята: пи-пии, пи-пи-пи-пии... Одновременно гудел какой-то аппарат, рядом постукивало, а то вдруг разозлится что-то страшное, злое и зарычит, заскрежещет так, что невольно бросаешь взгляд в иллюминатор на неспокойный океан. Но Вестель покрутит какие-то ручки, и снова только: пи, пи-пи, пи-пии...

Он принимал на пишущую машинку радиограммы, и они

вылетали, как с конвейера: в каретку была так заложена пачка бланков, что когда кончался один, начинался второй. Время от времени, не снимая наушников и не прекращая печатать, прислушивался к морзянке другого приемника — не касается ли передача его? Тут же подстраивал какую-то аппаратуру и разговаривал со мной. Он успел, не отрываясь от своих дел, предложить мне место, немыслимой скороговоркой выпалить: «черезпятьминутосвобожусь», достать из стола и передать мне радиограмму о приближающемся шторме.

И голова и все его тело двигались, но без напряжения, а весело, даже лихо. Я знал, откуда такая легкость. Она имеет те же корни, что и легкость в движениях корифеев балета или мастеров спорта, за которой стоят годы упорнейших тренировок, постоянного совершенствования.

ЭТО ОШИБКА, МАРИЯ...

Вскоре после моего прихода в радиорубку произошла история, о которой мне хотелось сразу же рассказать. Но все осложнялось тем, что ни начала ее, ни конца я не знал. Мне стала известна только одна деталь. Поразительная деталь в истории отношений двух, должно быть, любящих людей.

Забегая вперед скажу, что полгода я настойчиво искал их. Хотелось узнать хоть какие-нибудь подробности. Но все оказалось тщетным. Оставался один выход: писать рассказ. Придумать начало и конец или хотя бы только начало. Мог бы получиться интересный рассказ. Так я и решил поступить. Но чем больше вдумывался в существо единственно известной мне детали, тем более вся эта история казалась чем-то неприкосновенным, хрупким, что ли. Казалось, любой домысел мог разрушить что-то очень красивое, созданное жизнью. Поэтому я решил рассказать только то, что знаю. Пусть читатели сами нарисуют себе картину, какой она им представится.

Все в мире подсчитано. Сколько километров до Луны, сколько рыбы в море, сколько кораблей в сутки сталкиваются. Например, только в Северной Атлантике ежегодно происходит более трехсот столкновений. Конечно же, подсчитали и сколько судов одновременно находятся в плавании. Я не знаю этой цифры. Но достоверно, что все они одновременно ведут радиопереговоры: между собою и с береговыми станциями. В это же время говорят по радио сотни стран, разделенных морями и океанами. И величайший хаос звуковых волн царит над водными просторами.

Как пробиться через эпицентр этого хаоса с Атлантического океана в далекую Москву?

Очень просто. Никакого хаоса нет.

Весь мировой эфир поделен. Поделены волны, зоны, пояса, время. Поделены буквы латинского алфавита, их комбинации дали возможность присвоить отдельные позывные миллионам радио-

станций, каждому суденышку. И все позывные раций, связанных с морем, позывные каждого судна занесены в книгу, набранную мельчайшим шрифтом, и любой радист без труда может найти их.

Но как все же пробиться со своим разговором?

Представьте себе густой дождь. И представьте невозможное: струйки его идут не сверху вниз, а горизонтально. Так вот, очень схематично, сугубо условно, каждая струйка — это радиоканал. И на концах ее разговаривают радисты. И радистов таких может уместиться миллионы и миллионы. Но все больше в мире появляется радиостанций и все гуще струйки. То и дело одна надвигается на другую, и мастерство, чтобы ни к одной не прикоснуться. Но подключиться можно к любой.

Слушать, о чем говорит мир, интересно. Вот знакомый мне теплоход «Лениногорск» просит разрешения войти в канадский порт Монреаль. Тронулся караван судов через Суэцкий канал. Среди них три парохода из Одессы. Закончил разгрузку чугуна в Японии «Ленинский комсомол» и просится домой, но ему дают распоряжение следовать в Джакарту...

Чисто служебных, «морских» разговоров не так уж много. Моря и океаны полны пассажирскими судами. И редкий пассажир откажет себе в удовольствии послать весточку родным или друзьям из Атлантики, Тихого, Индийского океанов или из далеких тропических стран. Ни на минуту не отрываются от коммерческой жизни «деловые люди» капиталистического мира. Акции, биржи, сделки, проценты, валюта, цены — все в эфире. Идут радиограммы, длинные, короткие, остроумные, нежные, грубые, унизительные, властные. Летят в эфире слова. Днем и ночью, медленно и с бешеной скоростью записываемые с одной пленки на другую. Заполнен, забит эфир звуками.

Но наступает минута, нет секунда, одна и та же секунда для мирового водного пространства, когда все обрывается. На полуслове умолкают судовые и береговые радиостанции всего мира. Прекращаются передачи «срочных», «сверхсрочных», «молний», «особо важных». Прерываются сводки о надвигающихся штормах и вспыхнувшей эпидемии, распоряжения пароходных компаний и диспетчеров об изменении маршрутов кораблей, и, случись даже государственный переворот, сообщение об этом прервут на полуслове. Наступают минуты молчания. Они наступают с пятнадцатой до восемнадцатой и с сорок пятой до сорок восьмой минуты каждого часа. Сорок восемь раз в сутки с перерывами в полчаса длится трехминутное молчание.

На циферблатах часов в радиорубках два ярко-красных сектора от центра к окружности пересекают эти минуты: остановить передачу! И все судовые и береговые радисты мира ловят одну струйку, настраиваются на одну волну: 500 килогерц. И вслушиваются. Никто не имеет права проронить звук. Никто, кроме судна, терпящего бедствие. В эфир можно выйти только с единственным словом: «SOS».

Для того и замолкает весь морской мир, чтобы услышать этот одинокий сигнал бедствия, если он раздастся. Поистине братский закон моряков всех стран. И суровой ответственности подвергнется судно, которое нарушит его. Десятки, а то и сотни раций засекут, запишут, запеленгуют нарушителя, осмелившегося заговорить или не прервать передачу, когда приходят минуты молчания.

В тот вечер, о котором идет рассказ, Вестель закончил передавать мою корреспонденцию в двадцать три сорок. Через пять минут начались минуты молчания. Все звуки замерли одновременно. Недаром крупнейшие мировые державы регулярно передают для судов очень точное время. Недаром на судах под двойными стеклянными колпаками хранятся специальные морские часы: шум в аппаратах прекратился, будто повернули выключатель.

Три минуты мы вслушивались в эфир. Ни звука. В двадцать три сорок восемь рубка заполнилась шумом так же вдруг, словно открыли где-то кран: минуты молчания кончились. По международным законам радиовахта на судне нашего класса в поясе, где мы находились, заканчивалась в двадцать четыре часа. После минут молчания Вестелю фактически уже делать было нечего. Он слушал на всякий случай морзянку и объяснял мне устройство автоаларма.

Умный прибор. Когда радист кончает вахту, он обязан переключить на автоаларм антенну и привести прибор в действие. Если раздастся где-то сигнал тревоги — двенадцать тире, автоаларм сработает, и загрохочут звонки громкого боя в каютах капитана, начальника рации, в штурманской и радиорубке. Они будут звенеть до тех пор, пока не прибежит к аппарату радист и не узнает, где и с кем беда. Такого же типа прибор имеется в штурманской. Если бедствие будет терпеть наше судно, а радист по каким-либо причинам не сможет занять своего рабочего места, вахтенному штурману потребуется меньше минуты, чтобы разбить стекло и привести прибор в действие. Немедленно полетят в эфир двенадцать тревожных тире, а за ними «SOS», наши позывные и координаты.

Мы разговаривали с Вестелем, и он время от времени повертывал ручку настройки, успевал точки, тире превращать в английские слова и переводить их на русский. Чего только люди не посылают в эфир!

«...Этот брак с нищенкой компрометирует нас, если ты не откажешься, лишаю тебя наследства...», «...до сих пор не собраны членские взносы общества пожарников тчк проведите разъяснительную работу среди экипажа за стопроцентный охват результатах сообщите...», «...бродяги, которых вы насовали вместо матросов, разбежались порту Джорджтаун, капитан все время пьян, набираю новую команду...», «Кики не выносит качки, ветеринара на судне нет, вынуждены сойти Сеуте консультации,

дальнейшее сообщим...», «Имею сведения: цветные матросы свободно ходят палубам. Возвращении домой я вас выгоню. Немедленно оградите корму, как было при мне...»

Кстати, в Сингапуре, когда я находился на турбоходе «Физик Вавилов», мы стояли рядом с амстердамским судном. Самый край кормы был огражден металлической сеткой, за которой сидели малайцы. По одежде можно было понять, что это матросы и моряки машинной команды.

Вестель навел порядок на своем столе, и мы уже собирались разойтись по каютам, когда он, взглянув на часы, сказал:

— Скоро минуты молчания. Послушаем?

И вот все смолкло. Откуда-то из донных глубин судна доносился к нам на седьмой «этаж» мерный гул могучих двигателей. Бились о борт покатые массивы мертвой зыби Атлантики. Молчал эфир.

Так прошло минуты полторы. Может, потому, что мы уже не думали что-нибудь услышать, барабанным боем показался писк ворвавшейся морзянки. Нет, это не были двенадцать тире, предвещавших сигнал «SOS». Отчетливые, никем не заглушаемые, неслись точки-тире, складываясь в английские слова, которые быстро записывал Вестель. Почерк у него немыслимый. Какие-то крючки, а не буквы. Если добавить к этому, что знания английского языка у меня школьные, станет ясно, почему я не мог разобрать ни одного слова. А он, вслушиваясь, перестал вдруг писать, хотя отчетливо бились в эфире точки-тире. Предупреждающе поднял палец, чтобы я не заговорил.

Передача оборвалась, и радиорубка заполнилась обычным шумом: минуты молчания кончились. Вестель, наконец, перевел мне посланные в мир слова:

«Это ошибка, Мария, ты слышишь меня, Мария, это ошибка, я люблю тебя».

Какое-то время мы молчали, если не считать слова «да-а», которое оба поочередно произнесли несколько раз. Потом стали рассуждать.

Прежде всего установили, что говорил радист. Во-первых, потому, что фраза была передана трижды (вот почему Вестель не все время вел запись), как передают радисты все позывные и вызовы. Во-вторых, потому, что радист никого не допустил бы к аппарату вообще, а в минуты молчания тем более. Несомненно, на судне или на береговой радиостанции находилась и неизвестная нам Мария. Иначе бессмысленны были бы призывы к ней в минуты молчания: ни своих позывных, ни адресата он не передал. Значит, рассчитывал на то, что Мария обязательно в этот момент у аппарата. Решили мы, что любовь радиста очень большая, настоящая. Он ведь знал, такой проступок, как нарушение минут молчания в своих личных интересах, повлечет суровое наказание, дисквалификацию, а может быть, и суд. Только во имя настоящей любви человек мог пойти на это.

Стало ясно и то, что произошла ошибка столь серьезная, которая могла заставить Марию немедленно совершить что-то непоправимое, может быть, самое страшное. Иначе радист мог бы все объяснить ей при встрече или нашел бы другой способ объясниться, а не идти на такое грубейшее нарушение международного закона.

Нам не удалось установить, какой стране принадлежала рация, передавшая эту фразу. Имя «Мария» широко распространено во многих странах. А то, что передана она была на английском языке, еще ни о чем не говорило. Ведь это международный язык моряков. Все радиопереговоры они и ведут на английском.

Мы еще долго строили всякие предположения. И я решил обязательно узнать эту историю. Тогда мне все представлялось просто. Есть специальный орган, которому обязательно сообщат о нарушителе. Хотя очень редко, но бывают случаи, что на каком-нибудь судне то ли увлекутся передачей, то ли люди, не имея навыка, забудут о минутах молчания и не вовремя прервут радиограмму. Это не только обижает всех радистов, но оскорбляет их. В этом видят они какое-то ущемление своей профессиональной гордости и немедленно сообщают о «браконьере».

С тех пор прошло почти полгода. И ни один человек из сотен или тысяч, кто слышал эту фразу, не сообщил о радисте-нарушителе. Возможно, не успели запеленговать. А может быть... Может быть, не считали это нарушением и приняли как сигнал бедствия. Ведь гибла любовь.

К Гаване мы подходили ночью. Ее еще не было видно и не было еще белесого зарева — предвестника всякого большого порта. Далеко-далеко впереди между звездами вспыхнула красная огненная полоса. На капитанском мостике все схватились за бинокли. Стало видно, что это не полоса, а слова: «Патриа о муэрте!» Буквы были большие и неспокойные. Они как бы трепетали. Не самые буквы, а что-то внутри их. Бились кроваво-красные искорки в звездном небе, образуя эту фразу: «Родина или смерть!»

Я много раз читал в газетах и слышал эти слова, и они перестали восприниматься в полную их великую силу. Здесь я их ощутил впервые. Здесь они звучали как набат. Должно быть, потому, что вокруг них были звезды, а под ними океан, казалось, что они висят над всем миром: «Родина или смерть!»

Мы молча смотрели на трепетные буквы, и они вдруг погасли. В ту же секунду совсем рядом, на той же межзвездной высоте вспыхнуло: «Венсеремос!»

Теперь буквы не трепетали, не бились, а стояли неколебимо, будто высеченные из камня. Не думалось, что кто-то соорудил такое. Надписи воспринимались как созданное природой, как окружающие их звезды. Казалось, судно идет к какой-то сказочной, неприступной крепости.

Прошло полчаса, и вот уже перед глазами вся ночная Гавана. Светятся контуры небоскребов и купол Капитолия, бегут по гранитной набережной автомобили. Красные, зеленые, оранжевые огни реклам то вспыхивают, то гаснут, будто дышит исполинское тело города. И над всем городом те волнующие слова, что мы увидели в океане далеко от небоскребов, на которых они горят. В огнях «Гавана-либре» — «Свободная Гавана», одна из лучших гостиниц мира, где предусмотрено все, что может понадобиться человеку. Светятся огромные окна «Гавана-либре», бывшей «Гавана-Хилтон», как предупреждение мистеру Хилтону, что в его фирменные бланки лучших гостиниц мира «от берега до берега» надо внести поправки, ибо этого берега ему уже не видать.

Круто разворачиваясь, входим в закрытую бухту. Город остается справа, а слева — старинная крепость, преграждающая путь к причалам. Под нами, где-то на большой глубине, ниже океанского дна, пересекает залив широкая автострада, с бензоколонками и пунктами обслуживания автомашин, идущая на восток от Гаваны. Все это мы еще увидим. А пока перед глазами порт. Он хорошо освещен, но машинально чего-то ищешь, чего-то не хватает. Оказывается, ни на одном из бесчисленных причалов нет кранов. Как-то непривычно. Значит, и в самом деле кубинская рабочая сила обходилась дешевле, чем механизация.

Мы бросили якорь, на рейде, когда было уже светло. У всех причалов стояли суда, тесно было и на рейде. Греческие, английские, болгарские, немецкие пароходы разгружали лес, машины, оборудование. У элеватора зернососы вытягивали зерно из трюмов норвежского «Трояна». Три танкера под флагами трех стран сливали нефть в специальной гавани. Флаги десятков государств трепетали на мачтах. Но больше всего было наших, красных флагов. Это суда из Одессы, Таллина, Ленинграда, Владивостока...

Зря американцы объявили Кубе экономическую блокаду. Вон, оказывается, сколько судов и товаров нашлось, кроме американских.

Впрочем, встал под разгрузку и американский пароход «Африкан пайлот», прибывший с Флориды.

Он стоял у причала Терминаль Маритима, обращая на себя внимание тем, что на нем не было национального флага. Американскому капитану Альфреду Боэруму его хозяева запретили поднимать флаг США, и вместо него на мачте повисло полотнище с эмблемой добровольного общества «Красный Крест».

Вообще-то говоря, это незаконно. По морским правилам ни одно судно не имеет права скрывать, кому оно принадлежит. И не всякое судно станет прятать свою национальную принадлежность. Наши, например, гордятся, советским флагом. Как-то танкеру «Славгород» предложили в Венесуэле опустить совет-

ский стяг, так как у них там беспорядки, а этот красный цвет, видите ли, оказывает нежелательное воздействие на портовых рабочих.

Капитан «Славгорода» с негодованием отверг недостойное предложение. Танкер ушел с внешнего рейда, не разгрузившись, но флага не опустил. И едва ли от этого выиграли те, кому ненавистны наши серп и молот. Докеры все равно узнали всю эту историю, и она вызвала у них глубокое возмущение.

А вот американцы сами спрятали свой звездно-полосатый государственный флаг и заменили его эмблемой добровольного общества. История мореплавания знает не один случай, когда судно скрывало свою принадлежность, но все эти случаи относились к пиратским судам. В общем, как бы там ни было, пароход «Африкан пайлот» был американским, и привез он на Кубу американские товары. Это были медикаменты, сырье для изготовления медицинских препаратов, продукты детского питания и медицинское оборудование стоимостью в десять миллионов долларов. Одновременно в аэропорт Сан-Антонио прибыли американские самолеты с аналогичными грузами.

Как отметил в одной из своих речей Фидель Кастро, это был первый случай в истории, когда империалистов заставили платить за агрессию. Это была расплата за разгромленных и пленных наемников, которых высадили на Плайя-Хироне, чтобы задушить революцию. Только за двух главарей заплатили миллион долларов — по пятьсот тысяч за каждого. За остальных по сто, пятьдесят и двадцать пять тысяч.

К приходу в Гавану экипаж «Солнечногорска» готовился особенно тщательно, так как ждал многих посетителей. Еще до этого четырежды побывал на судне Рауль Кастро. Он приходил именно в гости, как ходят к добрым друзьям, вместе с женой и своими близкими. Почти у каждого члена экипажа были свои знакомые, были и общие друзья всей команды, которые сами приходили на судно и охотно, настойчиво приглашали ребят к себе.

Эта дружба проявлялась не только в совместных экскурсиях или за чашкой кофе. Никого не удивило и казалось естественным, что директор народного имения «Луис Энрике де ла Пас» Артур Агулера прислал письмо с просьбой помочь с ремонтом машины, в которой плохо еще разбираются его люди. И столь же естественным было, что стармех Станислав Леонтьев и токарь Юра Ерастов сделали все необходимое. Начальник радиостанции Лев Вестель помог в монтаже и настройке аппаратуры агентства Пренса Латина. Не раз экипаж помогал крестьянам рубить сахарный тростник, моряки участвовали в воскресниках, в молодежных походах, в спортивных соревнованиях. И довольно успешно. Под горячие аплодисменты стадиона президент республики Освальдо Дортикос вручил футбольной команде «Солнечногорска» хрустальный кубок за победу в розыгрыше первенства любительских команд Гаваны.

Короче говоря, мы ждали гостей и сами готовились побывать у них.

«Солнечногорск» должен был зайти в три кубинских порта, находящихся в разных концах острова, и в каждом из них вести разгрузку и погрузку, а затем подготовиться к рейсу в Африку. Таким образом, предстояло довольно длительное пребывание на Кубе, и появилась возможность одному из членов экипажа и мне совершить путешествие по стране на машине.

Капитан Кнаб решил, что я поеду вместе с Вестелем. К нам присоединились весельчак и удивительно остроумный сотрудник интерклуба Орландо и переводчик из нашего посольства Юра, московский студент, приехавший в Гавану на практику.

У нас обширная программа. Мы побываем в Матансасе, в Санта-Клара, Сантьяго-де-Куба, Сьенфуэгосе, Мансанильо и других городах, посмотрим Плайя-Хирон, Плайя-Ларга. Но первая остановка в Барадеро. Это один из лучших пляжей мира. Это место, где прожигали жизнь американские миллионеры и миллиардеры. Это небольшой полуостров с купальнями из голубого, розового, синего мрамора и сказочно-белым песком, с виллами и замками. И все осталось нетронутым. И голубой мрамор, и виллы, и замки. Но все передано профсоюзам.

Наш «кадиллак» шел со скоростью 140—160 километров. Слева — горы и пальмы, справа — океан. Пальмы не такие, к каким мы привыкли в наших парках в Крыму или на Кавказе. Здесь пальмовый лес, и, как положено в лесу, деревья были большие, маленькие, разных пород и видов. Королевские пальмы со стволами, похожими на железобетонные столбы, кокосовые пальмы, веерные, тонкие и высокие, приземистые, тенистые. Были здесь пальмы грустные, наивные, энергичные — вообще удивительные.

Вдоль всех дорог — реклама. Мы проехали по шоссейным дорогам Кубы около четырех тысяч километров, и не было такого километра, где бы не встретили рекламных щитов, плакатов, призывов.

И первое, что бросается в глаза,— это слово «революция». Оно приобрело здесь особое значение. «Это построила революция»,— показывают кубинцы на новые предприятия, жилые городки, дороги, школы. «Его послала туда революция»,— говорят они о человеке, назначенном на большой государственный пост. «Революция им поможет»,— сказал Орландо о людях, потерпевших стихийное бедствие. «Революция не разрешит», «Революция одобрит», «Революция потребует ответа...». Революция — что-то одушевленное, живое, безгранично родное и всесильное.

И на всех дорогах Кубы господствует это слово. Вот красочный плакат: «Вноси деньги в сберегательную кассу. Этим ты поможешь революции». Чуть дальше: «Революции нужны здоровые, сильные люди! Занимайся физкультурой». И рядом: «Работай честно, хорошо, и революция тебя всегда поддержит».

К слову говоря, и эти призывы и простая реклама на Кубе

очень конкретны, убедительны. Хорошо бы в этом отношении поучиться нам у кубинцев. На Кубе всякое обращение к людям до предела мотивировано. На гаванской обувной фабрике я видел полотнище: «Не стой сложа руки, тысячи детей не имеют ботинок». На кофейной фабрике: «Если ты сегодня не выполнил план, завтра кто-нибудь из нас останется без утренней чашки кофе».

Почти весь путь от Гаваны до Барадеро идет по берегу океана. По этой дороге ездили американские буржуи. Один за другим мелькают на берегу ресторанчики, бары, таверны с экзотическими названиями: «Голубая улыбка», «Ласки моря», «Горячие собаки», Это идиоматическое выражение, означающее у американцев «сосиски», на испанском, как объяснил нам Юра, звучит буквально: «горячие собаки».

Наш спутник Орландо старается говорить только по-русски, но язык он знает очень плохо. Юра помогает ему, и если вдруг подскажет слово, которое уже знает Орландо, тот обижается, как ребенок. Ему очень понравилось слово «кошмар», и он старается как можно чаще употреблять его.

— В Санта-Мария было три пляжа, кошмарр,— говорит он,— места хватало всем американцам. Теперь построили еще три, стало шесть, но в воскресенье туда не пробиться. Очень хорошо! Кошмарр!

Барадеро — один из лучших пляжей в мире, занимающий полуостров на берегу Атлантического океана. Белый песок, ракушки самых фантастических форм и раскрасок, бирюзовые воды, сказочные деревья в цветах. Это было любимым местом развлечений могущественной монополистической династии США — Дюпонов. На скале у самого океана они воздвигли замок.

Дюпоны — люди большого бизнеса. Но они не брезгают ничем. Построили на полуострове, до которого два-три часа езды от Гаваны, более трехсот вилл, ярких, фешенебельных. Триста вилл, и нет двух, хоть сколько-нибудь похожих одна на другую. Дюпоны сдавали виллы в аренду. Три тысячи долларов в месяц за каждую. Это так, попутно, между химической продукцией, авиационными моторами, ракетами, атомными бомбами, от которых идут главные миллиарды.

На десятки километров тянулись американские пляжи на кубинской земле. Они начинались у Санта-Мария, в семнадцати километрах от Гаваны, и вдоль них шли фешенебельные рестораны, гостиницы, казино, утопающие в тропической зелени, личные владения Батисты и летние резиденции американских миллионеров и миллиардеров, построенные в сверхсовременном стиле, соединяющем в себе комфорт с первозданной природой острова.

Все было крепко и незыблемо. Захватить в самолет автомобиль последней марки, слетать менее чем в полчаса на Кубу, провести несколько дней на пляжах, в игорных домах Барадеро — что может быть проще и приятнее!

Сверкали огни ночных пляжей, игорных и публичных домов.

До утра — джазы, оркестры, фейерверки. До утра горели фонари, подсвечивая деревья и кусты. До утра бесновались шоу, рестораны, маскарады. Все было крепко и устойчиво! Билась на пляжах огненная реклама: «Нет в мире более сильных страстей, чем на Кубе! Нигде в мире не умеют так организовать страсть, как в Барадеро! Если вы уже всем пресытились и вкусили все сладости жизни и вам уже все надоело, идите в лучший уголок Барадеро «Страсть креолки», и вы познаете еще не изведанные наслаждения».

Пляжи тянулись до самого замка Дюпонов под названием «Ксанаду», сооруженного на скале, удаленного от шумных мест, единственного здания, где вместо легкости, современной архитектуры тяжелые монументальные глыбы, и весь он словно символ устойчивости, могущества владельцев, их власти на Кубе, вечной, как черное дерево, которым он облицован.

Мы стоим и смотрим на замок Дюпонов, отданный кубинским профсоюзам революцией. Тяжелые цепи свисают с каменных столбов ограды со стороны океана. Рядом с нами — группа экскурсантов с гаванской сигарной фабрики, среди которых старый рабочий Рамон Росье. Он говорит:

— Я всю жизнь прожил на Кубе, но не видел ее. Я приехал сюда, как и вы, точно иностранный турист. Барадеро было ограждено от нас сильнее, чем колючим забором, сильнее, чем крепость.

— Не пускали сюда?

— Пускали, неожиданно рассмеялся Рамон. - Иди куда хочешь. Никто не задержит. Нас только смущали маленькие надписи на дверях ресторанов: «Стоимость входа — пять долларов». Понимаете? А сегодня,— и он снова рассмеялся радостно и наивно, как ребенок,— сегодня я позавтракал за полтора песо.

С веранды, устроенной на крыше замка, мы осматривали местность вокруг. Отсюда далеко видны и океан, и горы, и виллы. Но замок стоит особняком на необозримой огражденной территории. Огражден и огромный массив непроходимого, как джунгли, леса. Это личный заповедник Дюпонов. Ограждены примыкающие к нему бесчисленные парки, где кактусы высотой с двухэтажный дом, где растут фантастического размера королевские пальмы и причудливые деревья, у которых ствол будто немыслимое сплетение осьминогов, красивых в своем уродстве и образующих крону, под которой легко могут укрыться полсотни автомобилей.

Далеко в лесу видна поляна, где пасется скот. Большие белые птицы облепили деревья. Такие же птицы — на спинах коров. В лесу много возвышенностей, где трава подстрижена, как у нас в парках, где растут деревья с сиреневыми, голубыми, молочно-белыми листьями, чередующиеся с зарослями тропических деревьев, и кажется, неудержимая фантазия гения создала эту красоту.

И всем этим владел один человек: Ирэне Дюпон, глава династии, контролирующей капитал в шестнадцать миллиардов долларов.

Он проводил в Ксанаду большую часть года. Он чувствовал себя в полной безопасности: скала, на которой воздвигнут замок, может выдержать любые штормы и ураганы. Он наблюдал за собственностью Дюпонов на Кубе. Они владели здесь не только виллами. Заводы, табачные фабрики, сахарные плантации, гостиницы, ночные клубы, десятки крупных предприятий, построенных кубинцами на кубинской земле, принадлежали Дюпонам.

Вместе с пятьюстами концернами и предприятиями, захваченными американцами на Кубе, революция национализировала и награбленное Дюпонами.

Вот почему они снова рвутся на Кубу. Президент компании Дюпонов муж дочери Ирэне — Коуфорд Гринуолт не может смириться с потерями. Дюпоны не знали потерь. Они привыкли умножать капиталы.

Сто лет назад Пьер Самюэль Дюпон де Нимур обосновал пороховую компанию. Сто лет Дюпоны были монополистами по производству пороха. Когда появилось химическое оружие, они захватили монополию и в этой области. Вторая мировая война принесла им еще не виданные ранее барыши. С появлением атомного оружия Дюпоны бросают свои капиталы в новое «перспективное» дело и захватывают ключевые позиции в производстве оружия массового истребления людей.

Вся жизнь, весь фантастический бизнес Дюпонов — это война. На войну начала работать в прошлом веке фирма «Дюпон де Нимур энд компани», на войну работает и теперь.

Дюпоны рвутся на Кубу. Они широко распространяют версию о своей безобидности и мирных устремлениях. Основное занятие Ирэне Дюпона якобы филантропия. Руководитель «Дженерал Моторс» Генри Фрэнсис Дюпон выдает себя за садовода-любителя. Уильям Дюпон, один из воротил компании, увлекается будто бы только верховой ездой.

Невинные увлечения влекут, мол, их на Кубу. И на эти «увлечения» они не жалеют средств... На доллары американских магнатов было нанято около двух тысяч диверсантов, высадившихся на Плайя-Хирон. Те же банки внесли выкуп за пленных наемников.

Дюпонам очень хочется снова в замок Ксанаду. Но мало ли чего им еще хочется! Хозяева теперь — профсоюзы.

Здесь профсоюзные школы и детские здравницы, санатории, дома отдыха. Здесь готовились юноши и девушки, которые уходили в горы Сьерра-Маэстры и другие районы страны, чтобы ликвидировать неграмотность сельского населения.

Горят, переливаются огни на пляжах Варадеро. Тысячи и тысячи кубинцев приезжают сюда из Гаваны и других городов, чтобы провести выходной день. Это их пляжи, их отели, их виллы, и никогда не вернется сюда Ирэне Дюпон.

Порты мирового значения при большом их различии и своеобразии имеют много общего. И прежде всего в характере грузов. В любом из них встретишь машины, оборудование, продовольствие и многое другое. Но есть порты, резко отличающиеся от всех остальных. В Касабланке, например, мы видели привычные грузы, но над всем господствовали апельсины. Большие, яркие, вкусные. Железобетонные навесы, бесконечные, как ангары, были заполнены апельсинами. Вереницы тягачей с прицепами размеров в двухосную платформу, на которой вмещалось по тысяче ящиков с апельсинами, двигались по всем пирсам. Аромат апельсинов царил над портом. Цвет апельсинов забивал все остальные цвета.

В Сингапуре главный груз — каучук. И по всей многокилометровой причальной линии днем и ночью сбрасывают с грузовиков стокилограммовые тюки каучука, и они прыгают как мячи, и портовые рабочие ловко цепляются за них крюками и в конце концов направляют в расстеленные сети, чтобы поднять потом на палубы судов.

А Куба — это сахар. Кубинские причалы Атлантики и Карибского моря заполнены мешками с сахаром. Главный груз в Мансанильо — тоже сахар. Поэтому непривычной показалась здесь погрузка рыбы. А отправляют ее ежедневно из рыбацкого поселка, находящегося поблизости.

Рыбный промысел на Кубе не получил большого распространения, но здесь, в Мансанильо, он развит издавна. И поселку рыбаков много-много лет. По пути туда нам и рассказали о нем и о трагедии старого рыбака Антонио Сааведры Муньеса.

Сааведра знал, что такое море, и знал толк в рыбе, потому что отец его был рыбак, и дед рыбак, и прадед тоже. Еще совсем мальчишкой Антонио научился распознавать, когда будет шторм, и уже разбирался во всех течениях и ветрах. Он знал, какую наживку любит меч-рыба и какая нужна макрели, умел ловить летающих рыб, лангуст и ставить парус. И еще в те годы он мечтал о собственной лодке. Возможно, он сам выдумал себе такую мечту, а может быть, воспринял у отца, потому что эта мечта передавалась из поколения в поколение и разговоров о собственной лодке было немало. Он не расставался со своей мечтой и после женитьбы, а когда пошли дети и первые трое оказались сыновьями, твердо решил, что лодка у него будет. Но пока он, как и все рыбаки поселка, брал ее у Энрике Фарадады.

Фарадада во всем шел рыбакам навстречу. Он охотно давал им свои моторные лодки, а если надо, то и снасти, и вообще полностью снабжал их. Денег за аренду не брал. Это просто бесчеловечно, объяснял он людям: вернется рыбак с моря, ничего не поймав, а деньги, выходит, все равно плати. Поэтому он брал с улова. Одну треть улова.

Некоторые роптали, говорили, не бывает, чтобы так уж совсем с пустыми руками возвращались, и уж пусть бы лучше брал определенную сумму. Ведь каждому выпадало счастье хоть раз

в месяц прийти с богатым уловом. Но Фарадада на это не соглашался. Чтобы обеспечить рыбаков снастями, он держал специальные мастерские. Тут и стальные тросики делали, и гарпуны, и крючки ковали для тех, кто ходил на большую рыбу. Снабжал он и сетями, и за все это тоже брал с улова, и только за потерю или порчу имущества получал деньгами. На все заранее была определена цена. Каждый знал, сколько придется платить за потерянный гарпун, за побитый руль или поврежденный борт. Фарадада никогда не требовал, чтобы платили немедленно. Нет у человека денег — заплатит потом, когда будет возможность. Пусть только распишется, чтобы не забыть, сколько должен.

Если рыбак возвращался с небольшим уловом, который необходим на пропитание семьи, Фарадада не требовал даже своей трети, а плюсовал к долгу. И проценты в этом случае тоже насчитывал не деньгами, а рыбой. Из-за этой его доброты люди никак не могли вылезти из долгов, потому что терпеть убытки хозяин не мог и проценты набегали большие.

Поскольку у рыбаков не было собственных рефрижераторов, а в тропиках рыба больше двух часов не выдержит и испортится, он соглашался откупать у них и остальные две трети улова. Цены устанавливал такие, которые ему казались справедливыми. И если кто был недоволен, он не настаивал, а говорил: пусть продают сами, по какой хотят цене. Правда, лодки, чтобы отвезти рыбу в другой город, он не давал, пусть скажут спасибо за то, что дает их для промысла, а по суше без холодильника рыбу не повезешь.

Антонио Сааведра, как и другие рыбаки, был в большом долгу у Фарадады, хотя снасти у него были собственные и в аренду он брал только лодку. Он мечтал поймать рыбу килограммов на двести или хотя бы на сто и сразу поправить свои дела. Он долгими часами просиживал в море, опустив крючки с тяжелой лесой на разные глубины, но счастье шло мимо. Сааведра хорошо понимал, что за большой рыбой надо уходить далеко в море, а для этого нужна совсем другая лодка и другой мотор. И он удовлетворялся тем, что ловил сетями мелкую рыбу.

Обычно в море он брал с собой старших сыновей — Фернандо и Хуана. Родольфо был еще мал, а Хильда, Вирхен и Эвора совсем крошки. Мануэла едва управлялась с ними.

Случай, о котором идет речь, произошел в сентябре, когда особенно хорошо ловится рыба. Антонио проснулся не в четыре утра, как обычно, а раньше. Его разбудил говор в соседнем доме. Хотя дома рыбаков были сделаны не из пальмовых листьев, а из сигарных ящиков, стояли они тесно друг к другу, и достаточно было подняться одной семье, как просыпались соседи. И так шло дальше по всему поселку.

Антонио чувствовал, что еще рано, но и нежиться в постели, когда другие собираются в море, уже не мог. Он разбудил Фер-

нандо и Хуана, а Мануэла приготовила им по чашке кофе и дала на дорогу хлеба да еще соли, чтобы было с чем есть тунца, если он попадется.

Надо было уже идти, но Фернандо все клевал носом, и лицо его было красновато. Мануэла думала, что это от сна, но, случайно прикоснувшись к нему, поняла, какой сильный жар у парня. Пришлось оставить его дома.

Спускаясь к морю, упал и сильно поранил ногу старший сын, Хуан. Было, конечно, темно, но не первый же раз он ходит по этой тропке и знает каждый бугорок на ней. Мог бы быть повнимательнее. Просто спал на ходу, хотя и не признается. У людей дети как дети, а тут просто беда. Парню уже двенадцать лет и не может, не покалечившись, пройти к морю. Пришлось вернуть его домой.

Движок на этот раз завелся хорошо, но не успел рыбак отойти и мили, как мотор неожиданно фыркнул и заглох. Антонио долго возился с ним и никак не мог наладить, и все больше проклинал Фарададу, который каждый раз приваривает какие-то заплаты, вместо того чтобы давно заменить эту рухлядь...

Мотор завелся, когда стало совсем светло. Словно желая искупить вину, он заработал вдруг удивительно чисто. Море было спокойным, и Антонио держал большую скорость. Он заметил рассеянные по морю лодки других рыбаков, которые успели закинуть снасти. Надо бы и ему остановиться или сильно снизить скорость, но движок работал отлично, и жаль было его останавливать. Уже позади остались рыбаки, уже скрылись из глаз, а он, словно в азарте, шел дальше. Но это был не азарт. Последние месяцы ему ужасно не везло. Он привозил жалкие крохи и все дальше залезал в долги. Ему хотелось попытать счастья. Он видел, что шторма не будет, а движок так хорошо работает, и день очень хороший, и чутье подсказывало ему, что будет удача. И все получилось, как он предчувствовал. Правда, такого гиганта, о каком мечтал, поймать не удалось, но к заходу солнца почти половина лодки была заполнена крупной рыбой — по пять, десять и даже двадцать килограммов.

По пути к берегу дважды останавливался движок, но ничто не могло теперь расстроить Антонио, потому что он понимал, какое везет богатство, и счастье туманило ему голову.

Он не хотел сейчас думать о том, как распорядится своими деньгами, чтобы вволю поговорить об этом с Мануэлой и прежде всего послушать, что думает она. Но отвязаться от своих мыслей не мог. Они лезли в голову, и он уже видел всех своих шестерых детей в новых платьицах и новых штанах и Мануэлу в новых туфлях, потому что ей совсем нечего надеть на ноги.

К пирсу он причалил довольно поздно, все лодки успели стать на прикол, и никого из рыбаков не было. При свете фонаря он увидел не только приемщика, но и самого Фарададу, и Антонио тяжело вздохнул при мысли, что каждую третью

рыбу придется отдать ему, и еще не известно, как он заплатит за остальные.

— Вот сколько ты привез! — обрадованно встретил его Фарадада.— Хотя лодку задержал больше положенного и придется немного добавить за аренду, но зато и тебе будет причитаться, наверное, целых десять песо.

Антонио рассмеялся.

— Это тебе еще не видно, Фарадада,— сказал он,— ты спустись, посмотри.

Фарадада и в самом деле подошел к лодке, которую Антонио уже успел подтянуть на волне к берегу.

— Да, я не ошибся,— сказал Фарадада,— ты сегодня заработал десять песо.

Антонио понял, что тот не шутит.

— Как же десять? — тихо спросил он.

— А вот как! — подбежал приемщик и начал быстро отбрасывать к носу наиболее крупную рыбу.— Вот эту за аренду, эти малышки,— он швырнул еще две рыбины килограммов по пять,— за задержку, а остаток не стоит и десяти.

— Ну нет! — вырвалось у Антонио.— За десять я не отдам, если она даже сгниет. Я продам ее кому угодно за сто пятьдесят песо.

Фарадада расхохотался, и еще громче рассмеялся приемщик, чтобы хозяин видел и слышал его смех. А Антонио совсем вышел из себя.

— Я забираю свою рыбу! Сейчас принесу мешки и заберу все, что останется после твоего грабежа.

— Забираешь! — заревел Фарадада.— Ты заберешь ее после того, как вернешь весь долг.— И он быстро пошел вверх по тропке. За ним последовал приемщик.

Антонио беспомощно посмотрел по сторонам. С высоких мостков наблюдал за ним сторож. По пирсу расхаживал полицейский.

Лицо у Антонио задергалось не то от судороги, не то от усилий, чтобы не заплакать. И вдруг он закричал:

— Эй, бери свою рыбу, вот она! — И он швырнул в воду две рыбины.— Бери скорее, а то уплывает,— швырнул он еще две.

Антонио в ярости бросал за борт рыбу, выбивая ее ногами, выплескивал руками и истерически кричал:

— Вот тебе аренда, вот тебе долг, вот тебе проценты!

Фарадада и все, кто был поблизости, пораженные, смотрели на него, потом приемщик бросился вниз, но у самой лодки Антонио залепил ему в лицо рыбой, захохотал каким-то диким смехом и свалился с лодки. Рыбы в ней почти не осталось.

...Мы подъезжали к Мансанильо. Эту историю рассказал нам в машине председатель рыболовецкого кооператива имени Андреса Лусара Нуньес Мартинес, участник боев в горах Сьерра-Маэстра.

— Что же стало с Антонио?

— У него было нервное потрясение. Больше месяца болел, и его семье помогали все рыбаки. Выздоровление совпало с победой революции. Об остальном он расскажет сам,— улыбнулся Нуньес,— мы прежде всего заедем к нему.

За каким-то поворотом, как Черное море из Байдарских ворот, вырос перед нами поселок. Неправдоподобно красивый. Более пятисот домиков, ярко раскрашенных, великолепно спланированных, в цветах, пальмах, раскинулись на берегу моря. Это и был поселок рыбаков кооператива имени Андреса Лусара. Мы проехали по широким асфальтированным улицам, мимо домиков, сделанных из сборного тонкого железобетона, раскрашенных с большим вкусом, осмотрели легкое и изящное здание клуба рыбаков, миновали универмаг и остановились возле жилища Антонио Сааверды. Хозяин вышел навстречу. Это был старый рыбак, высокий и крепкий, с лицом, которое знало и ветры и море.

В его квартире четыре комнаты, кухня, душ, все удобства. Жена Антонио Мануэла бросилась к плите готовить кофе.

— Что же мне рассказывать о своей жизни? — пожал плечами старик в ответ на наш вопрос.— Как я жил раньше, вы, говорите, знаете, а как сейчас, сами видите. Наш поселок был рядом, его снесли на мусор, ценности он не представлял. Каждая семья рыбака имеет вот такой дом. Это мы заработали сами, нам помогли только строить. У меня хороший моторный бот, и я на нем бригадир. А всего в бригаде восемь человек.

— А в кооперативе у нас восемьсот человек,— перебил его Нуньес.

— Да, восемьсот,— подтвердил старик,— И механик есть на боте, и снасти есть. ...Пойдемте в море, сами увидите. Далеко теперь ходим, бот хороший.

Мануэла угостила нас очень крепким и вкусным кофе, пригласила пообедать, подождать прихода детей. Но мы торопились. По дороге на судоверфь, находившуюся близ этого поселка, Нуньес сказал:

— Понимаете, как будет драться кубинский народ, если посягнут на наш новый строй!

Мы ответили, что понимаем.

В народное имение «Сентраль де Люсиа» нам предстояло лететь на самолете с гаванского аэродрома имени Хосе Марти. По дороге на аэродром — большой транспарант: «Во все, что делал Хосе Марти, он вкладывал душу. Поэтому в каждом деле осталась частичка его души».

Шесть часов утра. Готовятся к взлету в разные концы острова и в другие страны несколько машин. Наша третья очередь, ждать минут сорок. Осматривая здание аэропорта, забрели в зал, где собирались пассажиры, отправляющиеся в Мексику. Большинство из них гусанос, то есть черви. Как известно, это название накрепко привилось к врагам кубинской революции.

Куба никого не задерживала. Хочешь покинуть страну — на все четыре стороны. И ползли гусанос.

Мальчишка лет пятнадцати ходит по залу и громко кричит:

— Покупайте сигары! Это ваша последняя возможность покурить гаванские сигары.

Гусанос не покупают у него сигар. Да по всему видно, что он и не рассчитывает найти здесь покупателей. Просто хочется парню поиздеваться над ними, и у него отличный повод. Он предлагает свой товар весело, лихо, с издевкой. Он доверительно подмигивает им:

— Если у кого нет денег, могу угостить!

Пожилой милисиано укоризненно качает головой:

— Ну зачем это?

А гусанос уже едва сдерживаются. Они ненавидят и этого парня и милисиано, что покровительственно заступился за них, злятся на весь мир, на то, что навсегда покидают Гавану. Сказочную, великолепную, веселую.

Они ходят по залу, стараясь сделать высокомерный вид, будто все, что делается вокруг, им не интересно. Но все это только «будто». Они искоса озираются, и вырвется вдруг тяжелый вздох или метнется ненавидящий взгляд на оживленную группу простых, ну совсем не примечательных ребят, торопящихся на взлетное поле, или расширятся глаза, когда подрулит к зданию советский воздушный лайнер.

И как бы ни маскировали свои лица гусанос, видно: ох как не хочется им покидать Гавану, как бесит их все, что здесь делается, как бессильны они в своей страшной классовой злобе.

Мы приземлились на одном из аэродромов, километрах в тридцати от имения. Наш переводчик на этот раз — Нельсон Мартос, парень лет семнадцати.

— Я — ростовчанин,— говорит он серьезно и неожиданно громко смеется.— Год учился, работая на Ростсельмаше.

Он недавно вернулся из Советского Союза и ждет назначения на работу. Ждет, пока идет за него борьба между организациями. Переводчиков не хватает. Он горд тем, что говорит по-русски. Вообще люди, знающие русский язык, в особом почете. Ими очень дорожат, они очень нужны острову Свободы. Они работают дни и ночи, работают самозабвенно. С простыми смертными, то есть теми, кто не знает русского языка, разговаривают добродушно-покровительственно.

— Помню, бывало,— небрежно замечает Нельсон,— когда я еще не знал русского языка, наговоришься за день с советскими товарищами так, что к вечеру руки болят,— и он сам весело смеется своей шутке.

Председатель народного имения Энрико Родон похож на плакатного ковбоя. На нем сомбреро, под которым, кажется, можно спрятать автомобиль. На боку — огромный кольт. Но в Энрико нет и грана рисовки. Человек с лицом крестьянина,

он и в самом деле всю жизнь работает на земле и знает в ней толк. Он работал в этом же хозяйстве, когда оно принадлежало Армандо Каминьо Миланесу. Родон оказался отличным организатором, человеком неиссякаемой энергии, сумевшим в короткий срок превысить уровень производства, который был при Каминьо.

— А где сейчас этот Каминьо?

— Организовал контрреволюционную банду. Но поймали его, и суд, наверное, уже был.

По возвращении в Гавану, мне дали разрешение посетить тюрьму, где Каминьо отбывал наказание.

У въезда в город Матансас стоит огромное здание. Эта казарма и тюрьма под названием «Гойкурия» была одной из опор батистовского режима. Теперь здание реконструировано и превращено в школьный центр. На шоссейной дороге знак: Zona esckolar — школьная зона. Такими знаками усеяны сегодня все дороги Кубы. И военные казармы, превращенные в школы, тоже не исключение. Только в тех местах, где мне довелось побывать, я насчитал шесть таких чудесных превращений. Это и понятно. После революции множество тюремных зданий оказалось пустыми, и их переделали в школы.

Но вот мы там, где сидят враги революции. Перед нами Армандо Каминьо Миланес. Бывший миллионер, бывший латифундист, бывший владелец домов и магазинов в Гаване. По образованию — юрист. Вся семья на свободе. Жена уехала в США, сын работает на Кубе. Активную контрреволюционную деятельность начал в тот день, когда на двери одного из своих гаванских магазинов увидел бумажку, приклеенную так, что, открывая дверь, обязательно разорвешь ее. Но там было написано:

«Это печать. Владельца данной недвижимости просим зайти в городское управление в течение 72 часов с документами, подтверждающими принадлежность недвижимости. В случае, если печать будет нарушена, виновник ответит по законам революции».

Не только тысячи гектаров земли, которыми он владел в провинции Орьенте, но и его огромные магазины в Гаване были национализированы. И он начал активную борьбу против нового строя.

Он смотрит испытующе, стараясь понять, с кем имеет дело. На вопросы отвечает неторопливо, пространно.

— Дело, видите ли, в том, что мне жалко землю. Нет, не для себя, много ли мне надо! Жалко, что погибнет земля, которая кормит народ.

— Почему же она погибнет?

— Потому что сельскохозяйственные рабочие, которые распоряжаются моей землей, не справятся с таким большим делом. Для этого надо иметь специальное образование.

— Да, но вы призывали к свержению строя и не только призывали.

— Правильно. Но именно для того, чтобы не оскудела земля.

— Именно для этого вы и пытались организовать поджог сахарного тростника?

Молчит.

Сверкает, переливается красками камень на большом перстне.

Совсем по-другому повел себя молодой Карлос Мануэль Распал Суарес. Медленно переступил порог, глядя в пол. Остановился. Исподлобья покосил глазами в стороны и вдруг резко поднял голову, снова осмотрелся, будто не веря, что в помещении нет кубинцев. Его щуплая фигурка как-то дернулась, он быстро подошел к столу, зашептал.

— Вы из ООН, да? Вы пришли помочь нам, да?

— Извините, пока вопросы будем задавать мы.

Сын миллионера, он был на последнем курсе химического факультета, когда пришла революция. Его не выгнали из института. Нормально продолжались занятия. Это учебное заведение при старом режиме содержалось на средства католической верхушки, и руководил им падре Келлэ, наиболее злобный представитель реакции и американский агент. В подведомственное ему учебное заведение принимал только лиц, из которых можно было сделать себе подобных. Отец Карлоса — Хосе Суарес,— как и Каминьо, имел тысячи гектаров земли в провинции Орьенте и крупные продуктовые магазины в Гаване. Келлэ решил, что на сына такого человека можно положиться.

Карлос Суарес ездил на автомобилях только последней моды, купался только на самых модных пляжах, прожигал ночи в модных притонах, в игорных и публичных домах. На учение времени не оставалось, но его беспрепятственно переводили с одного курса на другой. Именно он понадобился падре Келлэ, когда пришло сверхсекретное сообщение из США.

Карлос Суарес оказался подходящей кандидатурой еще и потому, что его специальностью являлось взрывное дело. Теперь целыми днями, а порой и ночами он просиживал в лаборатории. Падре Келлэ хвалил его: «Настоящий человек науки. Его, как и меня, не интересует политика. Пусть в стране что-то происходит, но это не должно мешать учению. Прилежные студенты должны учиться».

И Карлос Суарес учился. Он не только учился, но и прилежно выполнял задания своего настоятеля: готовил различного рода взрывчатки. Главное, чтобы в малом их объеме вмещалась большая взрывная сила. У Карлоса было два помощника. Они лучше его были подготовлены, лучше знали химию, но руководил он.

Однажды в лабораторию зашел Келлэ.

— А вы все со своими колбами дни и ночи? — сочувственно сказал он.— Прошлись бы хоть в кино.

— Сегодня? — вскочил Суарес.

— Да.

Трое пошли в крупнейший кинотеатр Гаваны. На Кубе, как и в некоторых других странах, вход в зрительный зал открыт в течение всего сеанса. Перерывов между сеансами нет. Пришел человек к концу картины, посмотрит конец, а потом начало. И пока идет фильм, все время мелькают в затемненном зале фонарики — это ищут свободные места новые зрители или покидают зал те, кто отсмотрел свое.

С последнего сеанса уходят все одновременно.

Суарес и его два дружка пошли в кино перед вечером. Они хронометрировали фильм. Засекли, что герой дает пощечину героине за пять минут до окончания картины. Ушли в свою лабораторию и снова вернулись в кино перед окончанием последнего сеанса.

Это было в воскресенье, и, несмотря на позднее время, народу собралось много. Один из дружков Суареса, Педро, зашел в зрительный зал, второй стал дефилировать на улице, а Карлос с чемоданчиком остался у входа, близ вторых дверей, где обычно стоит контролер. Сейчас его не было, так как кончался последний сеанс.

Как только на экране раздалась пощечина. Педро быстро покинул зал и прошел мимо Карлоса. Они понимающе обменялись взглядами. Отойдя в сторонку, Суарес раскрыл чемодан и высыпал порошок в толстую колбу с жидкостью. Он будет плавиться восемь минут. Когда растворится полностью, последует взрыв.

Суарес положил колбу в ящик, куда контролер бросает разорванные входные билеты, и быстро вышел на улицу. Трое приятелей не торопясь пересекли людный проспект и скрылись в боковой улочке.

Взрыв был слышен далеко. Он изуродовал стены, пробил в потолке большое отверстие. Но, видно, плохо учился Суарес, подвел своего падре: взрыв произошел не через восемь минут, как рассчитывали убийцы, а спустя двадцать три минуты, то есть когда в кинотеатре не осталось ни одного человека.

Все это было за три дня до высадки американских наемников на Плайя-Хирон. Падре Келлэ получил указание в течение этих дней совершать террористические акты, взрывы, поджоги, чтобы посеять в стране ужас и панику. Это, как думали хозяева Келлэ, облегчит высадку десанта.

Падре ретиво выполнял задание. Действовал его лучший ученик Распал Суарес: взрывал рельсы на железных дорогах, взрывал перекрестки шоссе, бросал бомбы в магазины.

И вот он в тюрьме. Гуманный суд кубинского народа не вынес ему смертного приговора. И слизняку опять захотелось в игорные и публичные дома. Он ерзает на стуле, поминутно озираясь, вертя головой, похожей на дыню, и быстро-быстро шепчет, боясь, что войдут кубинцы и он не успеет чего-то сказать.

Оказывается, он боролся против «незаконного строя», против

своих врагов. Ему бы только побыстрее выбраться отсюда, и он снова будет бороться. Так он говорил.

По-видимому, он дурак.

— Если бы взрыв в кинотеатре произошел точно по вашим расчетам, вы убили бы не своих врагов, а десятки случайных зрителей. Так?

Молчит.

По нашим вопросам начинает соображать, что перед ним не те, кого бы он хотел здесь видеть. Как вести себя дальше, не знает. И вдруг оживляется, униженно просит закурить.

В карманах у меня три пачки сигарет: «Краснопресненские», кубинские «Дорадос» и купленные в Гибралтаре турецкие. Я даю ему последние. Жадно впивается глазами в пачку. Не успев прикурить, спрашивает:

— Вы из Турции?

— Извините, мы еще не исчерпали своих вопросов.

И тут происходит совсем неожиданное. Он начинает хныкать. Хныкать, что-то бормоча, вот-вот расплачется. Переводчик Юра с недоумением смотрит на меня.

— Что он бормочет? — спрашиваю.

Юра улыбается:

— Говорит: «Я больше не буду».

Прошу переспросить, думая, что переводчик ошибся. Переводчик спрашивает. Нет, так и говорит: «Я больше не буду».

Омерзительно.

В Гавану мы вернулись перед вечером. На рейде у бесчисленных причалов стояли торговые суда десятков стран. Трепетали на мачтах советские, английские, польские, норвежские флаги.

Темнело. Загорались огни реклам. Ласково плескался океан у бесконечной набережной. Откуда-то доносились звуки бурной, неудержимой, искрящейся «Пачанги», любимого танца кубинцев.

Большой сюрприз ждал нас в городе Тринидаде. Некогда здесь шли бои между коренными индейскими племенами и испанскими завоевателями. В течение нескольких веков город был известен как центр многочисленных религиозных культов, куда на праздники стекались молельщики со всего острова. Здесь не было промышленности, не развивалось сельское хозяйство.

Мы осматривали исторические места, старинные церкви, остатки крепостных стен. С нами был директор местной библиотеки Трухильо. Он рассказывал историю Тринидада, резко отличающегося от городов Кубы.

Весь остров Свободы бурлит. В Сантьяго, в Санта-Клара, Сьенфуэгосе, в Гуантанамо, в десятке других населенных пунктов, где мне довелось побывать, не говоря уже о Гаване, люди живут бурной жизнью первых лет революции. Только к глубокой ночи затихает движение транспорта, и остаются неоновые огни

кафе и реклам да вооруженные девушки и юноши, патрулирующие улицы.

В Тринидаде даже днем пустынно, будто забыт он всеми.

— Революция еще не успела изменить облик нашего города,— говорит, как бы извиняясь, Трухильо.— Очень много дел у революции, понимаете?

Мы бродили по узеньким улочкам, где булыжная мостовая, местами поросшая травою, идет с наклоном от домов к осевой линии, точно желоб. Смотрели на старинные здания с зарешеченными окнами, высотою в два-три человеческих роста, с балконами, опоясывающими стены и похожими на театральные ярусы. Трухильо объяснял, какому старинному роду или секте принадлежало то или иное здание, рассказывал, что вот этот пустой и запущенный замок построен в 1743 году, а вот эта церковь — в 1514 году.

Трухильо на вид было лет двадцать пять, он ничем не выделялся среди других кубинцев. И если бы не окликнул его приятель, вышедший из магазина, мы, наверное, так и не узнали бы его удивительной истории. Трухильо согласился пообедать с нами, и мы отправились в ранчо, находившееся на высокой горе, откуда виден весь город. Здесь было прохладно, потому что ранчо, построенное в виде огромного амбара с крышей из пальмовых листьев, не имело стен. Просто огромный навес, с перекрытиями из бревен и лаг, окрашенных в цвет меда.

Мы ели лангуст, сладкий картофель и юку, и Трухильо рассказывал свою историю.

Его мать в эпоху тирании, как здесь называют период господства Батисты и ему подобных, была связана с революционным движением. Два года находилась в подполье. Выйдя замуж за Пабло Трухильо, она отказалась принять его фамилию: Трухильо был известен в Латинской Америке как угнетатель народа. Конечно, Пабло ничего общего с ним не имел, он служил на военном корабле, но все-таки принять его фамилию она не могла. Так и осталась она Сайес. Офелия Сайес.

Пабло почти все время находился в море. В те редкие дни, когда приходил корабль, он тоже не сидел дома. Начистив и без того блестящие пуговицы на своем мундире, смазав бриолином волосы и тщательно причесавшись, он долго и со всех сторон осматривал себя в зеркало и отправлялся гулять. Возвращался домой перед выходом корабля в море.

Он искренне не понимал, за что его упрекает жена. Что же, он в конце концов не мужчина? Да неужели такой бравый моряк, как он, после всех штормов и бурь не имеет права посидеть с друзьями в ночном кабачке? Да понимает ли она, о чем говорит?

Офелия смирилась. Одного только никак не могла принять: Пабло щеголял своей фамилией. Эту ненавистную ей фамилию выгравировал на медной дощечке и прибил к двери. Он не упускал

случая, чтобы, завидев сквозь окно приятеля, не закричать на всю улицу:

— Эй, чико [1], что же ты проходишь мимо дома Трухильо!

К месту и не к месту он называл себя, и ей это становилось невмоготу. За этой фамилией Офелии представлялся не Пабло. Какой он Трухильо? Перед ней возникал облик ненавистного народу сатрапа.

С тех пор как Офелия стала ждать ребенка, мысли ее отвлеклись. Она думала только о сыне. Ей хотелось, чтобы это был сын. Ей так этого хотелось, что она в конце концов перестала сомневаться: будет сын. Она ощущала его, живого, под своим сердцем и, когда толчки ребенка были сильными, радовалась, потому что девчонка не станет так грубить. Значит, сын.

Офелия ждала сына и забросила все дела, и ее уже не раздражал вертящийся перед зеркалом Пабло, потому что она ждала сына.

Однажды Пабло разбудил ее на рассвете. Он вернулся после двухдневной гулянки, настроение у него было хорошее, и ему хотелось еще с кем-нибудь поговорить. Но друзья разошлись, пришлось будить Офелию. Пока она готовила ему кофе, он рассказывал смешную историю и очень смеялся. Потом, лукаво подмигнув и легонечко ткнув ее пальцем в живот, захихикав, спросил:

— Ну, как поживает мой маленький Трухильо?

У Офелии подкосились ноги. Держась за стены, побрела в постель. С этого дня ей стало трудно. Она ведь действительно носит в себе Трухильо. Она родит Трухильо. В свое время она отказалась от фамилии мужа, сейчас может уйти от него совсем, остаться одной или снова выйти замуж и взять себе другую фамилию. Она все это может. Но изменить фамилию ребенка нельзя. Он не может выбрать себе другого отца. Он обречен быть Трухильо. Это было невыносимо.

По ночам Офелия не спала. Плакала. Плакала от бессилия. Толчки под сердцем становились сильнее, но они не радовали. Не рано ли показывает характер этот маленький Трухильо?

Она понимала, что рассуждает глупо: ребенок ни в чем не виноват. И все-таки прежней любви к нему уже не было. Это зависело теперь от нее.

Офелия была мужественная и сильная. У нее хватило воли перестать плакать. Где-то бродила мысль — избавиться от ребенка. Но было поздно.

Она решила обязательно что-нибудь придумать. Она придумала. Придумала в одну из ночей, когда лежала с открытыми глазами и прислушивалась к жизни сына. Какие-то туманные мысли проплывали в голове, и за одну из них, еще неясную, едва уловимую, она уцепилась, и боялась пошелохнуться, чтобы не стряхнуть эту мысль и старалась сосредоточиться, чтобы она не растаяла.

[1] Чико — мальчик, парень; широко распространено как обращение *(исп.)*.

Изменить фамилию невозможно. Это уже совершенно ясно. Но имя она имеет право дать любое. Надо дать сыну такое яркое имя, чтобы рядом с ним фамилия казалась жалкой и ничтожной, чтобы рядом с именем фамилия просто не воспринималась, чтобы на нее никто не мог обратить внимания. Надо придумать такое поразительное имя, такое огненное и сверкающее, чтобы оно затмило и испепелило эту подлую фамилию.

И когда она так решила, у нее стало легко на душе. Ей нравилось имя Дельгадо и Санчес, красиво звучало Кристобал в честь Колумба, но все это не то. Она задержалась на Спартаке и Муции Сцевола, но и они не подходили.

Замкнувшись в себе в течение последних месяцев, она теперь ощутила острую необходимость общения с людьми.

Вместе с тремя товарищами Офелия сидела в доме шорника, лучшего мастера седел, и слушала его горячие слова. Человек энергичный и смелый, он в ответ на репрессии требовал немедленно организовать стачку шорников и башмачников, к которой, он уверен, присоединятся рабочие сахарных заводов. Он говорил убежденно и страстно, ссылался на опыт России. И Офелия вдруг вскрикнула и схватилась за сердце. Люди бросились к ней, расспрашивая, что случилось, но она ничего не могла ответить. И только жена шорника догадалась, что это предродовые схватки. Офелия подтвердила это, но не дала себя провожать, а сама тихонько побрела домой.

Она сказала людям неправду. Это были не схватки. Просто шорник произнес слово, которое пронзило ее, как молнией, потому что это было то слова, которое она так долго искала. Это было то имя, то единственное в мире имя, которое она даст сыну, потому что оно искрилось, и сверкало, и, как солнце, озаряло мир: Ленин!

Так она назовет своего сына.

Она шла домой, и счастье туманило ей глаза, и она ни с кем не хотела делить свое счастье и, торжествуя, несла его в себе.

Роды прошли хорошо, и родился сын, и она наперед знала, что все так и будет, потому что не может быть иначе, если должен родиться человек, который будет носить имя Ленин.

Когда Офелия настолько окрепла, что могла встать с постели, она, как и положено, пошла к судье зарегистрировать ребенка. Возможно, судья был таким темным и диким, что не слышал имени Ленина или мысли его где-то витали, потому что он был очень рассеян, но так или иначе он не задал Офелии никаких вопросов и выдал ей документ о том, что у нее родился мальчик, которому дано имя Ленин.

Спустя полгода надо было крестить сына. У Офелии было нехорошее предчувствие, но нельзя же откладывать такого дела. Она пошла в самую лучшую церковь, в Сантисима Тринидад, и повела с собой родных и близких, и крестного отца, и крестную мать. Она смотрела на высокого молодого священника, который

готовился к процедуре, и молила бога, чтобы это уже скорее закончилось. Ну, сколько надо времени, чтобы он окунул палец в сосуд с ароматным маслом, и поставил этим масляным пальцем крестики на лбу и на темени ее сына, и поднес бы к его рту эту крошечную серебряную ложечку с солью, и окропил его водою, и надел на него крестик на цветной ленточке? На это надо не больше трех-четырех минут, и все это сейчас кончится, и она понесет сына домой.

Она так рассуждала, стараясь заглушить другие мысли, но все равно они лезли в голову со всех сторон, и она никак не могла отбиться от этих страшных мыслей. Потом Офелия увидела, что он закончил приготовления, увидела, как зашевелились его губы, и услышала его слова:

— Как нарекли ребенка?

Она подумала, что кто-нибудь ответит. Но все родственники молчали. Молчали крестный отец и крестная мать.

— Ленин.

Офелии казалось, будто громко произнесла это слово. Так громко, что у нее пересохло в горле. Но, возможно, ей показалось. Вполне возможно, она только прошептала это слово, ибо священник уставился на нее, точно ожидая ответа, точно он не слышал. Он смотрел на нее, ничего больше не говоря и не приступая к процедуре, и она не знала, что ей теперь делать. Он стоял и смотрел, а она никак не могла придумать, что бы ему такое сказать. Ничего не придумывалось. Не было сил смотреть в эти немигающие, направленные на нее глаза, и она опустила голову.

Тогда он шагнул к ней, сделал еще шаг и еще один. Ей видны были его большие, ступающие ботинки из-под широкой сутаны. Офелия услышала его твердый голос и его медленно произносимые, каждое в отдельности, слова:

— Что ты сказала?

Офелия подняла голову. Она увидела священника, высокого и грозного, и по обе стороны от него святых в позолоченных рамах с усталыми глазами.

Человек в черной сутане возвышался над ней и стоял не шевелясь, как статуя, и властным взглядом требовал ответа. Святые тоже смотрели на нее и тоже ждали, что она скажет. И хотя они были в позолоченных рамах, она увидела, в какие рубища они одеты, как измучены, какая тоска и обреченность в их взорах. И она вдруг вспомнила этих затравленных людей, вспомнила, что встречала их каждый день в зарослях сахарного тростника, на кофейных плантациях, на сигарной фабрике. Она видела их каждый день в своей родной деревне, в Тринидаде, в Мансанильо. Она видела их, оборванных, загнанных, злых, у бесчисленных причалов Кубы, близ белых, сверкающих пароходов. И она поняла, что этот человек в черной сутане заковал их в свои позолоченные рамы, чтобы они не могли проронить ни одного слова. И они молчат, и смотрят на нее, и ждут этого слова от нее.

— Ленин!

Нет, теперь это был не шепот. Слово вырвалось, поднялось до самого купола, понеслось под церковными сводами, перекатываясь между колоннами. Еще не умолкло гулкое эхо, когда Офелия услышала другой голос:

— Вон! Вон из храма!

Люди бросились к выходу, и уже в дверях Офелию догнали громыхающие слова:

— К варварам! В Россию вези крестить своего выродка!

Через три дня ребенок заболел. Мать Офелии говорила: она знала, так будет, не может жить некрещеный. Навалились на Офелию родственники. Она снова пошла в церковь, в самую маленькую и бедную, и когда ее спросили, как нарекли мальчика, ответила: «Кристобал».

А в документах, в государственных документах государственного судьи так и осталось: Ленин.

Может быть, не понимала Офелия, на что шла, может быть, не знала, что ждет ее впереди, какие испытания и кары падут на ее голову. Может быть. Но, возможно, далеко-далеко смотрела эта простая женщина с порабощенных Антильских островов и отчетливо представляла себе всю силу оружия, оказавшегося в ее руках.

Пабло произвели в офицеры, и у него уже совсем не оставалось времени для дома. Мать воспитывала сына сама. Когда он начал говорить, Офелия научила его четко и правильно произносить свое имя.

Мальчик рос здоровым и сильным. Офелия не спускала с него глаз. Стоило ребенку уйти со двора, как она выбегала вслед и через всю улицу кричала:

— Ле-нин!

Порою, забыв, что ребенок сидит дома, она бегала чуть ли не по всему городку и звала его, как раз в то время, когда люди шли с работы. А те смотрели на нее, и улыбались, и объясняли друг другу, что так зовут ее сына. И если кто-либо спрашивал, что это за странное имя, наперебой объясняли, кто такой Ленин. Но находились люди, которые не могли с первого раза понять, кто же такой Ленин, и снова спрашивали, и каждый рассказывал все, что знал о Ленине. И каждому было интересно остановить мальчишку, которого зовут Ленин, и спросить, как его зовут. А стоило остановиться одному, как подходили другие, и снова начинались разговоры о Ленине и о России.

Ему не было еще шести лет, когда он спросил мать, почему он не такой, как все. Почему каждый взрослый обязательно погладит его по голове, одного из целой кучи ребят, почему угощают его конфетами, почему велят мальчишкам не обижать его, почему вообще ни один человек не пройдет мимо, чтобы не сказать ему ласкового слова?

В тот раз Офелия долго и серьезно говорила с сыном. Говори-

ла о Ленине. И он понял, почему должен быть самым справедливым и самым правдивым.

Когда мальчику исполнилось семь лет, мать повела его в школу. Но директор уже все знал о нем и сказал, что с таким именем принять не может.

По дороге домой Офелия плакала и не прятала своих слез, и каждому, кто ее спрашивал, рассказывала о своей беде.

В тот же день возле школы собралась толпа. Люди требовали директора и кричали, что нет такого закона, чтобы не принимать в школу ребенка, если директору не нравится его имя.

Кончилось все это плохо. Полиция разогнала толпу. А на следующий день Офелия вместе с сыном исчезла. Никто не знал, куда они девались. Весь город жил этим событием, и все говорили о Ленине и требовали, чтобы полиция выпустила его.

В действительности ни Офелия, ни ее сын не были арестованы. Просто к ней заходил полицейский инспектор и сказал, возможно, с мальчиком произойдет какой-нибудь несчастный случай и, может быть, поэтому ей лучше, не поднимая шума, оставить город.

— Какой же несчастный случай может произойти с моим сыном? — разволновалась Офелия.

— Да всякое может случиться,— пожал плечами инспектор.— Под машину может попасть, свалиться со скалы или случайная пуля заденет. Разве не бывает такого?

Офелия хорошо знала батистовскую полицию. Это не пустые угрозы. Речь шла о ее сыне, который был не просто ее сыном, а символом мечты и лучшей жизни.

Она поблагодарила инспектора за то, что он так заботливо отнесся к ее сыну. Она охотно последует доброму совету.

В ту же ночь Офелия уехала в другой город к родственникам. Полиция хотела, чтобы она не поднимала шума. Ну что ж! О своем отъезде она не сказала ни одному человеку. Пусть теперь сама полиция ответит людям, куда девался Ленин.

На новом месте уже через неделю прошел слух о Ленине. Каждому хотелось посмотреть на человека, который носит такое имя. И люди собирались во дворе, где поселилась Офелия, но она говорила, что зря они приходят, потому, что ее сын совершенно не похож на настоящего Ленина и ничего общего с ним не имеет. Для большей убедительности показывала маленький портрет В. И. Ленина, и этот портрет переходил из рук в руки. Чтобы уж окончательно развеять сомнения относительно ее сына, она рассказывала, каким великим человеком был Ленин и как много он сделал для народа.

Люди слушали и завидовали этому народу, у которого был Ленин, и мечтали о Ленине для себя. А потом передавали своим знакомым, что вон в том дворе живет интересный парень и стоит сходить на него посмотреть.

В один из вечеров, когда происходила подобная беседа, какой-то старик, который всегда был чем-нибудь недоволен, усомнился

в ее словах. Не может быть, чтобы один человек, если он не бог, отдал всю землю крестьянам.

Офелия объяснила — он не один это сделал, он только научил людей, что надо делать. И опять старик был недоволен, так как давно известно, что надо делать. Надо отнять землю у латифундистов и отнять сахарные заводы, но это возможно, если за такое дело возьмутся все сразу, а не один человек.

Офелия не стала больше спорить со стариком, тем более что во дворе появились какие-то подозрительные люди и все быстро разошлись.

За домом началась слежка. Приходил полицейский и проверял, действительно ли ее сына зовут Ленин и есть ли об этом документы.

Разговоры во дворе пришлось прекратить. Теперь она довольствовалась тем, что рассказывала о Ленине рубщикам сахарного тростника прямо в поле и вообще где придется. Но и это продолжалось недолго. Кольцо слежки за ней сжималось, и когда она убедилась, что полиция ее уже не отпустит, скрылась. Так к концу августа 1957 года она оказалась в Сьенфуэгосе.

Первого сентября возле ее дома остановились пять юношей и начали звать Ленина. Он поднялся, но Офелия задержала его. На улице скандировали:

— Ле-нин! Ле-нин! Ле-нин!

Молча сидели в комнате мать и сын. Вокруг дома стал собираться народ. Налетела полиция. Ребята объяснили, что Ленин — это имя их товарища и они зовут его играть в бейсбол.

Полицейские не поверили. Они ворвались в дом, потребовали документы. Они не поверили документам и потащили парня в участок. Один конвоир шел впереди него, второй сзади. До участка оставалось немного, когда раздались одновременно два выстрела. Передний полицейский упал, задний, схватившись за плечо, побежал.

Ленин исчез бесследно. На ноги была поставлена вся полиция. Четыре дня шли повальные обыски, арестовывали каждого подозрительного, но найти Ленина не могли. Его прятали совсем незнакомые, чужие люди, по внутренним дворам переводили из дома в дом, охраняли его сон.

Пятого сентября началось восстание моряков, к которому присоединился весь город. К двенадцати часам дня было захвачено полицейское управление, телеграф, радиостанция. Но вскоре появилась батистовская авиация, на улицы ворвались танки и войска. Восстание было подавлено.

Офелия Сайес говорит, что это восстание не связано с ее сыном. Восстание готовилось революционной организацией «Движение 26 июля», названной так в честь исторического нападения Фиделя Кастро на казармы «Монкада». Руководил восстанием Хосе Дианисиас Сан Роман. Конечно, не инцидент с сыном Офелии явился поводом для восстания. Но и для нее и для сына это были незабываемые дни.

Им пришлось снова переехать в другое место. Так они путешествовали из одного населенного пункта в другой, и всюду Офелия объясняла, что ее сын никакого отношения к настоящему Ленину не имеет, и объясняла, каким был Ленин. Так продолжалось до революции. Теперь они спокойно живут в Тринидаде.

Выслушав эту поразительную историю, мы снова пошли в город, так как Трухильо считал, что еще не все показал нам. Мы бродили по Тринидаду, и хотя наш гид извинялся за то, что революция еще не успела изменить облик города, новое мы видели на каждом шагу. Новую табачную фабрику, новый швейный цех, новое строительство. И почти все, кого мы встречали в этом маленьком тихом городке, радостно приветствовали нашего гида или так же, как его друг, вышедший из магазина, кричали:

— Буэнос диас [1], Ленин! Как самочувствие?

— Я буду рад, если вы мне напишете,— сказал он нам на прощание.— Адрес легко запомнить: Куба, Тринидад, городская библиотека. А фамилию можно и не писать,— улыбнулся он.— Меня все по имени знают.

Фиделя Кастро я видел на Кубе несколько раз. Но особенно запомнились две встречи. Одна из них — на приеме в загородной резиденции советского посла. На аллеях и лужайках большого парка оживленно беседовали гости. В одной из групп был чемпион мира Юрий Власов. Это образованный и удивительно обаятельный человек. Очень остроумен, находчив и чуть ли не по-детски застенчив. Он стеснялся и своей силы и популярности, старался оставаться незамеченным.

Но вот появился Фидель Кастро. Хозяева и гости приветствовали его. И хотя это был официальный прием, сразу же установилась такая непринужденная и теплая обстановка, какая возможна только в кругу самых близких друзей.

Фиделю Кастро представили Юрия Власова. Черный, красиво сшитый костюм скрывал могучие бицепсы чемпиона мира. Очки, похожие на пенсне, нежные черты лица дали повод Фиделю Кастро для шутки. Широко улыбаясь и постукивая Власова по груди, деланно-недоверчиво Фидель говорил:

— Вот это чемпион мира? Вот это самый сильный человек в мире?

Юра растерянно и как бы беспомощно посмотрел по сторонам, потом вдруг присел и тут же выпрямился, с непостижимой легкостью, казалось, только одними пальцами высоко над головой поднял Фиделя.

— Верю, верю, только опустите! — взмолился Фидель, и Юра так же бережно поставил его на землю.

Лишь в обстановке абсолютной непринужденности, дружеской и сердечной, и был возможен подобный эпизод.

[1] Буэнос диас — добрый день (*исп.*).

...Предстоял военный парад в честь национального праздника. Со всех улиц и переулков Гаваны люди шли к площади Хосе Марти. Это не были организованные шествия, колонны встречались редко. Шли семьями, компаниями друзей, случайными группами и в одиночку. Город заполнили грузовики с крестьянами из близлежащих деревень. Солнце жгло, поэтому над всеми машинами были сооружены навесы из пальмовых листьев.

Площадь Хосе Марти большая. Больше, чем наша Красная площадь. Ее пересекает широченная магистраль — авенида. Вдоль обеих сторон авениды тянулись цепочки милисиано, которые стояли лицом к магистрали, а позади них — сотни тысяч людей. И всю площадь заполнил народ, пришедший на военный парад.

Два часа шли по магистрали войска и военная техника свободной Кубы. Все, кто был на параде, видели, что у страны есть кому и есть чем защищать завоевания революции.

Потом парад окончился, и магистраль опустела. На трибунах, где мы находились, появился Че Гевара. Он приветствовал гостей. Остановился возле группы советских людей и, протягивая руки, сказал:

— Драстье! — Он улыбался искренне и радостно. Так здороваются близкие.

К микрофону подошла женщина, и над площадью раздался ее голос:

— Товарищи милисиано, пропустите народ ближе к трибуне, будет говорить Фидель.

Будто волны хлынули на только что опустевшую магистраль. Вперед устремилось много тысяч людей. Не было ни рядов, ни колонн. Казалось, мог произойти несчастный случай. Но ничего плохого не случилось. Просто на огромной территории не осталось и метра свободной площади.

На трибуну поднялся Фидель Кастро. Говорить он начал не скоро. Сотни тысяч кричали: «Фидель!» и какие-то слова приветствий. Улучив момент, Фидель, наклонившись к самому микрофону, крикнул:

— Товарищи!

И настала вдруг тишина, точно на огромном пространстве никого, кроме самого оратора, не было. Он обратился к рабочим, крестьянам, интеллигенции.

— Империалисты,— сказал он,— заявляют, будто я сгоняю вас сюда силой...

Дальше уже ничего не мог сказать. Люди свистели, кричали, проклинали. Гудела площадь от гнева. Это была бурлящая ненависть к врагам, и вырвалась она из груди народа, как извержение вулкана.

Интересная деталь: во время карибского кризиса в Гаване и других городах мгновенно возникли большие очереди. Не за хлебом или мылом. За оружием. Как невиданное оскорбление,

воспринимали глубокие старики и юнцы отказ в оружии и добывали его всеми правдами и неправдами.

Фидель Кастро продолжал свою речь. Он говорил так выразительно, от всей души и всей душой, что, казалось, можно обойтись без переводчика.

Когда речь шла о достижениях, в нем была такая чистая радость, такая торжествующая гордость, что это приводило в восторг. Когда он говорил о врагах, в нем с той же силой и физически ощутимой яростью проявлялась ненависть, и она с удесятеренной силой передавалась народу. Когда он говорил об ошибающихся, в его голосе были боль и сожаление.

В свои слова он вкладывает больше, чем их словарное значение. В его устах «империализм» выражал и ненависть, и презрение, и веру в победу народа, и превосходство нового строя. Уже только произнося эти слова, он пригвождал к позорному столбу империалистов. Все это в его интонации, мимике, жестах: неожиданных, искренних.

Сразу после парада я отправился в порт Нуевитас. Длинный пирс, два железнодорожных состава с сахаром, два узких, как пригородный перрон, причала. У одного из них — «Солнечногорск», у другого — «Полтава». Погрузка идет так быстро, будто смотришь ленту ускоренной киносъемки. Лоснятся коричневые влажные спины, мелькают красные, серые, синие шорты и шапочки. Взмывают и падают в трюмы связки по десять мешков. Их разносят по твиндеку и небрежным поворотом плеча сбрасывают со спины, и с удивительной точностью они ложатся в определенное для каждого место. И вот уже в шести трюмах «Солнечногорска» — сто десять тысяч мешков. Это пять тяжеловесных составов.

И снова знакомые команды:

— Опустить стрелы!

Тепло прощаемся с кубинцами.

— Поднять трап!

Все. Широко разворачиваясь, теплоход коммунистического труда уходит в далекий путь.

К океану ведет сильно изрезанный канал длиною в десять миль, изобилующий крутыми поворотами, мелями, узкостями. По обоим берегам густые мангровые заросли. Надо идти малым ходом. Но чем меньше ход, тем менее управляемо судно. Чтобы океанскому теплоходу повернуть на малом ходу, требуется огромная площадь, а не узкий канал. И кубинский лоцман отдает команду: «Полный вперед!»

Теплоход быстро набирает скорость, а впереди крутой изгиб. Кажется, уже никакая сила не погасит инерции, и он врежется в берег, если даже отработать назад. Но в какой-то момент раздается новая команда: «Право на борт», и теплоход разворачивается почти под прямым углом. Это высокое мастерство лоцмана. Надо уметь уловить этот момент, эту единственную секунду,

раньше которой или позже любая команда уже не спасла бы от аварии.

Долго петляет теплоход по каналу, пока не выходит к маяку. Дальше — открытый океан. Подходит катерок за лоцманом. Я передаю письмо для кубинских друзей.

Аста ла виста, Куба! До свидания, Куба!

— Полный вперед! — командует капитан Кнаб.

Какое-то странное состояние. Грустно. Впереди — Багамские острова, Гаити. Со школьных лет, с уроков географии остались неразрывны Куба и Гаити, Антильские и Багамские острова. И вместе с ними остался мотив модной тогда песенки:

Куда же вы ушли, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов!

Мы покидаем Антильские острова. Всплывают в памяти встречи, города, дороги. Все сумбурно, без связи одного с другим... Замок Ирэне Дюпона... «Это ваша последняя возможность закурить гаванскую сигару...» Рыбаки Мансанильо, Антонио Сааведра...

Антильские острова... Далекие, таинственные, манящие...

СОРОК МИНУТ ОГНЯ

На следующий день после выхода из Кубы в Атлантическом океане я встретил знакомый мне танкер «Лиски». Он шел к катастрофе. Никто не мог этого предвидеть, и люди радовались, потому что танкер держал путь к родным берегам. Он был белый и длинный. Почти четверть километра. Издали судно походило на ракету. Мешала только единственная надстройка на корме.

Задолго до этой встречи я был на «Лиски» в нашем порту. Любому посетителю танкера обязательно дают сопровождающего — для предупреждения возможной оплошности. Обстановка здесь как в пороховом погребе. Был солнечный день, и сквозь открытые люки в пустых танках отчетливо были видны пары и газы не то нефти, не то бензина. Сизые, густые, они медленно клубились, таинственно передвигались, точно исполинская амеба нащупывала искорку, хотя бы такую, как тлеющая табачная крошка. Этого вполне достаточно для взрыва и самовоспламенения.

Сеть пожарных рукавов и труб оплетала танкер. Их длина исчислялась многими километрами. В специальных помещениях стояли сотни и сотни черных баллонов, похожих на снаряды гаубиц. Баллоны соединены между собою тончайшими трубками и представляют одну мощную систему. В них — противопожарные средства под давлением 150 атмосфер.

На всех палубах, надстройках, в коридорах лежали изготовленные к бою брандспойты на бесконечных рукавах. Сверкали лаком расчехленные лафетные стволы. В боевую готовность были приведены системы паротушения и пенотушения.

От солнечных лучей может нагреться палуба, и тогда взрыв газов, воспламенение станет неизбежным. Поэтому в солнечную

погоду или в районе тропиков приводят в действие систему орошения, и вся главная палуба омывается водой.

Иной мир в служебных и жилых помещениях надстройки.

Пластик, красное дерево, хром и никель, телевизоры последних моделей в красных уголках и клубе, бассейны для купания и выложенные метлахской плиткой ванные комнаты для матросов, новейшее навигационное оборудование, автоматическое управление — все, что создала передовая конструкторская мысль современного кораблестроения, было на «Лиски».

Пересекая Атлантику, танкер шел в Туапсе. В чужом порту он опустошил свои восемнадцать нефтяных бассейнов, выбросив точно мониторами больше тридцати тысяч тонн нефти за одни сутки.

С океана все члены экипажа дали радиограммы домой: «Прибываем Туапсе четырнадцатого». Такое же сообщение получила жена первого помощника капитана врач Варвара Николаевна Трегубенко. Она, как и жены других моряков танкера, живет в Одессе. Но в Одессу танкер не зайдет. В Туапсе его напоят нефтью до отвала, и он отправится к берегам Японии.

Взяв на три дня отпуск за свой счет, Варвара Николаевна поехала на аэродром. Здесь встретилась с женой старшего механика Токаревой и ее шестилетней дочерью Иришей, женой начальника радиостанции Галиной Невечеря с обоими детьми — Сережей и Леной и другими женщинами и детьми, тоже спешившими к приходу «Лиски». Самолет доставил их в Адлер, там пересели на автобус до Сочи, а оттуда на электричке приехали в Туапсе.

...«Лиски» приближался к родному порту. Теперь уже никто из встречавших не беспокоился о судьбе своих близких. Беспокоятся, когда провожают, когда судно уходит в рейс. Когда томительно тянутся дни, недели, месяцы. Когда узнают, что танкер после разгрузки в чужом порту идет не домой, а в новое далекое плавание и никому не известно, когда вернется.

Город жил своей обычной жизнью, не зная о нависшей над ним опасности. В порту и на судах шла обычная работа. Шла она, незаметная и предательская, в трубопроводе нефтепирса. Изо дня в день, постепенно и неумолимо нарастали пирофорные отложения в трубах. И воздух, чистый, живительный воздух, становился источником смерти: пирофорные отложения в присутствии воздуха самовоспламеняются и неизбежно ведут к взрыву.

Накапливались на внутренних стенках труб смолистые вещества, механические примеси, продукты коррозии. Эта смесь при определенных условиях тоже способна воспламениться.

Шли в трубопроводе простые и страшные химические процессы. Неотвратимо и медленно, точно ожидая «Лиски» и момента, когда женщины и дети поднимутся на борт, когда, увлеченный встречей, потеряет бдительность экипаж.

«Лиски» подходил к пирсу. Отдали правый якорь, вытравив семь с половиной смычек, то есть около двухсот метров якорь-

цепи. С бака и кормы подали по пять концов. Наступили самые мучительные минуты. Судно уже у причала, уже спущен трап, по которому сбежал лоцман — единственный человек, имеющий право в эту минуту покинуть судно. Поднялись на борт пограничные власти, таможенники, представители пароходства. И никто больше: судно пришло из-за границы, должны быть проверены документы прибывших и произведен таможенный досмотр.

Это долгая процедура. Пока судно швартовалось, встречающие искали глазами своих. Радостно кричали дети, махали цветами и платками женщины, подходя к самому борту. А многие стояли в сторонке. Их родные и близкие на вахте, где-то в чреве судна, в машинном отделении или еще где-то там, и никогда не могут они, как вот эти счастливчики, высыпавшие на палубу, поприветствовать встречающих в момент прихода судна.

Когда власти поднялись на борт, моряки с палубы ушли в каюты. Таков порядок. При досмотре из каюты выходить не положено.

А семьи теперь долго будут бродить взад-вперед, ожидая, пока «откроют границу». У каждой женщины — чемоданчик, корзинка или просто сверток. Почти на всех судах питание изобильное и вкусное, но по старой традиции каждая женщина приготовила для мужа самое любимое.

И вот все формальности закончены. Бегут вверх по трапу жены и дети. Но далеко не всех встречают мужья и отцы: слишком много неотложных дел у экипажа в первые минуты после прихода. Да и не только в первые минуты. Сразу же должна начаться погрузка, а ведь к ней надо хорошо подготовиться. И люди осматривали и проверяли танки, закрывали и пломбировали кингстоны, тщательно вели заземление. Нефть на судно гонят с такой скоростью, что от трения в рукавах заряд статического электричества может дать искру. Поэтому заземляли резервуары, цистерны, трубы, воронки, шланги. И отложить эту работу, чтобы побыть с семьей, нельзя.

Группа матросов начала приемку продуктов питания. Моряки машинного отделения готовились к профилактическому ремонту, выписывали запасные части, получали горючее и смазочные материалы. Распределялись скопившиеся на берегу за время рейса газеты и журналы. Последние уточнения вносились в рейсовый отчет, который надо немедленно сдать в пароходство. И хотя этих отчетов никто обычно не читает, если не было чрезвычайных происшествий, но строго следят за тем, чтобы отчеты представлялись точно к сроку. Поднялась на борт, как это бывает почти всегда, какая-то проверочная комиссия.

В первый же день на судно подали четыре могучих рукава, запустили компрессоры, и потоки нефти ринулись в танки. Нефть гнали и остаток дня и всю ночь.

Второй день стоянки был легче. Часть экипажа отправилась в город, многие отдыхали в каютах вместе с семьями. На постах

оставалась лишь вахта да второй помощник капитана Георгий Любич, отвечающий за грузовые операции.

К шести вечера были заполнены почти все бортовые танки и часть центральных — двадцать одна тысяча тонн. Оставалось догрузить одиннадцать, когда случилось несчастье.

По официальным документам все это началось так.

«Я, капитан порта Туапсе Корсак Н. Н., на основании материалов, представленных капитанами судов, опроса всех лиц, причастных к пожару на нефтепирсе, и заключения экспертизы, установил:

14 апреля на внешний рейд порта Туапсе прибыл танкер «Лиски», плавающий под флагом СССР и принадлежащий Черноморскому государственному пароходству, под командованием капитана дальнего плавания Турецкого М. А. В тот же день в 19 часов 35 минут танкер «Лиски» был ошвартован левым бортом к шестому причалу нефтепирса под погрузку 32 000 тонн сырой нефти на Японию.

В 8 часов 15 апреля на внешний рейд порта Туапсе прибыл танкер «Сигни», принадлежащий частной судовладельческой фирме Редери А/Б Салли, под командованием капитана Якоба Доннинга. В тот же день в 10 часов 15 минут танкер «Сигни» был ошвартован левым бортом к причалу № 4 шестого нефтепирса под погрузку 15 000 тонн дизельного топлива на Финляндию.

После постановки судов к причалу корпуса обоих судов были заземлены обычным способом...»

«За несколько секунд до 18.00 местного времени мы были поставлены в известность о начале погрузки. Я, капитан теплохода «Сигни» Якоб Доннинг, и мой старший помощник Эрола Ойва, а также один человек с берега были на палубе, и наши вентили были открыты. Я пошел в каюту для того, чтобы зафиксировать начало погрузки. Ровно в 18 часов я услышал звук, похожий на небольшой взрыв трубы, а затем несколько глухих ударов, похожих на то, как будто что-то тяжелое падало на причал. Я вышел на палубу и увидел огонь на пирсе вблизи открытого места, где еще раньше рабочие открывали несколько секций покрытия пирса, как я думаю, для ремонта.

Нефтепродукты черного цвета, похожие на сырую нефть, вытекали из этого отверстия и горели на пирсе, под пирсом, и пожар стал захватывать обшивку моего судна и другого русского танкера у противоположной стороны пирса. Недавно окрашенный борт загорелся сразу.

Немедленно я пошел на мостик и дал сигнал тревоги. Как только я дал сигнал тревоги, мои офицеры и команда, кроме меня и моего старшего помощника, покинули судно без моего приказа. Несколько моряков покинули судно по швартовым концам носовой части, и некоторые моряки покинули судно при помощи спасательной шлюпки с кормовой части правого борта.

Затем я и мой старпом, а также русский человек с берега пошли на бак и отдали все швартовые концы. Затем мы перешли на корму и сделали то же самое. Однако грузовые шланги все еще держали судно у пирса. Позже, когда шланги загорелись, судно отошло от пирса».

Так описал поведение своего экипажа капитан Якоб Доннинг. Он дал только общую картину, не входя в детали. Капитан порта внес некоторые уточнения. В своем протесте Доннингу он писал:

«Большинство вашей команды, возвратившейся из города, было в нетрезвом состоянии. На судне не было принято каких-либо мер по ликвидации пожара. Вся команда в паническом состоянии покинула борт танкера, что значительно затруднило береговым пожарникам борьбу с огнем. Для ликвидации пожара на нефтепирсе требовалось немедленно отвести танкер от причала. Однако это оказалось невозможным, поскольку не была готова машина судна, не было пара для подъема якоря».

Матрос танкера «Лиски» Алексей Посметный в своем объяснении писал:

«Я заступил на вахту 15 апреля в 16 часов вместе с матросом В. И. Диденко и вторым штурманом Любичем. С причала на судно было подано четыре шланга для приема сырой нефти. В 18 часов с минутами вместе с матросом Диденко я находился у трапа в районе шлангов и увидел облако дыма и пламя из-под носовой части причала. Отдав команду матросу Диденко закрывать глазки, крикнув на берег, побежал в пульт дистанционного управления, где находился вахтенный штурман. Я нажал сигнальный ревун, а штурман дважды объявил тревогу по принудительной трансляции. Когда снова выбежал на палубу,огонь уже подходил к шлангам, загорелась краска на борту, пламя быстро распространялось вдоль корпуса к кормовой надстройке. Парадный трап горел, поэтому женщины и дети — члены семей экипажа бежали к корме, откуда боцман спустил штормтрап...»

Как писал впоследствии капитан порта Н. Корсак: «Пламя, выходившее из-под пирса, между пирсом и бортами танкеров, легким вестовым ветром отклонялось в сторону танкера «Сигни». Так как с возникновением пожара экипаж танкера «Сигни», кроме капитана и его старшего помощника, покинул судно, борьбу с огнем вести было некому, средняя надстройка «Сигни» загорелась, и пламя быстро охватило все надстройки».

Итак, горел нефтепирс, горел танкер «Лиски», горел никем не управляемый танкер «Сигни». Взрыв должен был произойти, как только нагреются пары нефти.

На «Сигни» огонь охватил ящик с ракетами на спардеке. Такие ракеты есть на каждом судне, и их выпускают по одной, когда надо дать сигнал бедствия или по другим причинам привлечь к себе внимание в море. А сейчас они стали рваться пачками. Красные, синие, зеленые фейерверки взметались с окутан-

ного дымом судна и били во все стороны. Они достигали «Лиски», тоже охваченного пламенем.

Над нефтегаванью бурно клубился черный дым. К небу он поднимался медленно, заволакивая город. Все вокруг заглушали сигналы бедствия: длинный гудок, два коротких, длинный, два коротких...

Опасность над городом нарастала, потому что танкеры должны были вскоре взорваться. Это означало, что вся акватория порта покроется слоем горящей нефти толщиной сорок сантиметров. К нефтегавани устремились спасательные суда Туапсе, Новороссийска, Батуми, Поти, Сочи. Пожарные команды города окружали порт.

Впоследствии многочисленные эксперты, крупные специалисты самых различных областей знания скрупулезнейшим образом исследовали все обстоятельства пожара, чтобы установить его причины. Было точно установлено, что на иностранном судне курили в недозволенных местах. Однако не это явилось причиной пожара. Общее и единодушное мнение: форс-мажор. Непреодолимая сила. Чрезвычайные обстоятельства, подобные стихийному бедствию, которые не могли быть ни предусмотрены, ни предотвращены.

И вот, как форс-мажор, загорелись в трубопроводе пирофорные отложения, и труба разорвалась. Она шла под покрытием пирса. Взрывом подняло в воздух несколько плит этого покрытия, и, упав, они высекли искры.

Под пирсом имеются емкости, где скапливается нефть,— патерны. Искра попала туда. Но не всякая искра зажжет нефть, ибо она загорается при температуре 380—530 градусов. Искра зажгла пары нефти в воздухе, а от них загорелись патерны. Трубы взорвались.

Поток перекрыли довольно быстро, но десятки тонн нефти выплеснулись в воду. Черная масса хлынула во все стороны с большой скоростью, и огонь не успевал охватывать ее.

Ширина пирса — шестнадцать метров. Патерны и источник огня оказались посередине. Потребовались мгновения, чтобы пламя пробежало восемь метров до каждого судна. Борта танкеров были охвачены пламенем одновременно. И одновременно на обоих судах раздался сигнал пожарной тревоги.

На всех флотах существует «Расписание по тревоге». Это точное распределение обязанностей и мест — кто куда должен бежать, где находиться, что делать при любых несчастьях, могущих свалиться на судно. Ни в одном «Расписании» мира не сказано, что по сигналу пожарной тревоги надо прыгать за борт или другим способом покидать судно. Вообще покинуть судно можно только по приказу капитана.

Видимо, моряки с танкера «Сигни» плохо знали «Расписание тревог». Как только раздался сигнал, бросились за борт боцман Лённблад Свен-Олиф, второй помощник капитана Хусель Стиг Р.,

старший матрос Полтилла Вильо и еще добрый десяток моряков. Прежде чем они достигли воды, ее покрыла лавина нефти. Огонь был пока далеко, но тело, омытое нефтью, не может дышать. Надо смыть нефть, иначе человек погибнет.

Берег был совсем рядом. Туда и ринулись, обгоняя друг друга, люди с черными от нефти лицами и слипшимися волосами. Их тут же отправили в больницу; «смыть» нефть надо сухой горчицей, определенным, известным врачам способом.

Остальные члены экипажа «Сигни» поняли, что прыгать в нефть рискованно, тем более что ее настигал огонь. Наиболее оперативные, уцепившись за швартовые концы на баке и корме, быстро перебирая руками, устремились к пирсу. Некоторые из них сорвались в воду, но серьезных повреждений не получили. Остальная часть команды тоже благополучно спаслась, успев спустить с кормы шлюпку. Эти и вовсе не пострадали.

Не могли остановить бегства капитан Якоб Доннинг и его старпом Эрола Ойва. Но сами они, как истые моряки, оставались на борту до последнего момента, конечно, понимая, что в любую минуту танкер может взорваться.

Когды вспыхнул пожар, на шлюпочной палубе танкера «Лиски» играли Таня Николайчук, Ира Токарева, Люда Кернасюк и Лена Птушкина. Всем им вместе — девятнадцать лет. Неподалеку от них решали сложные проблемы пока только на кубиках Лена Невечеря и Олег Байдун. Этим по два года. И только самый старший, девятилетний Сережа Невечеря, стоял один на правом крыле капитанского мостика и, заложив руки в карманы, грозно вглядывался в морскую даль. О чем он думал, кем представлял себя, догадаться трудно.

Остальные дети и почти все женщины находились в каютах. Варвара Николаевна Трегубенко спустилась вниз, в единственное помещение, где разрешено пользоваться горячим утюгом.

В момент возникновения пожара капитан «Лиски» Михаил Андреевич Турецкий и его первый помощник Илья Вуколович Трегубенко вошли в каюту второго механика Юры Борискина. Кроме хозяина, там был стармех Николай Иванович Токарев. Старшие командиры пришли к Борискину, чтобы поздравить его с днем рождения. Должно быть, прихода этого он не ожидал, и был обрадован, и вместе с тем смущен: не догадался приготовить стол для подобающего случая и теперь суетился, стараясь поскорее что-либо сделать. Как раз в это время и раздался сигнал тревоги. Капитан и его помощник бросились на мостик, а стармех и второй механик — в машинное отделение.

Члены экипажа бежали по палубам в разные стороны. Непосвященному человеку могло показаться, что они спасаются бегством. Но капитан видел, что каждый бежал на свое место по «Расписанию». И только женщины и дети не знали, куда деваться. Они бросились к трапу, но тут же отпрянули: трап был охвачен огнем.

Первая команда капитана и относилась к ним. Из всех репродукторов принудительной трансляции по всему судну раздался его приказ: немедленно на корму, без паники спускаться по штормтрапу, боцману и двум матросам обеспечить эвакуацию.

Второй приказ капитана — начать пенную атаку — был отдан для того, чтобы подтвердить правильность действий экипажа, ибо атака эта уже началась. Били лафетные стволы, брандспойты, пеногонные аппараты.

Женщины и дети устремились к корме. Четырехлетняя Люда звала отца, не понимая, почему он бежит куда-то, хотя видит ее. Матрос Витя Кернасюк обернулся, беспомощно посмотрел на дочь, хотел что-то крикнуть в ответ, но бегущий рядом подтолкнул его, и он, так и не найдя слов для дочери, побежал дальше и скрылся за надстройкой.

Семьи экипажа сбились в кучу на корме. Дети не плакали. Они были серьезными. Никто не суетился и не рвался вперед. Возможно, потому, что несчастье было большим, или на всех повлияло поведение моряков. Они просто работали, пряча свой страх перед взрывом. Без шума, деловито, быстро. То и дело раздавались команды с мостика. Ясные и уверенные.

Видимо, трудно бежать с судна или вдаваться в панику, когда вокруг родные и близкие в пламени ведут борьбу с огнем. Ни одна из женщин не крикнула мужу, чтобы берег себя или не лез бы в это пекло. Почему не плакали дети — трудно сказать. Не плакали, и все. Скорее всего обстановка, страшная и деловая, оказывала на них воздействие.

Никто не устанавливал очереди у штормтрапа. Но очередь была. Вне зависимости от того, кто пришел раньше, каждая занимала положенное ей место, будто об этом была договоренность. Сначала снимали маленьких детей и их матерей, потом детей постарше и, наконец, самых старших. Женщины без детей становились в сторонку, чтобы сойти в последнюю очередь. На пирс детей спускали по одному. Матрос, стоявший на штормтрапе, одной рукой прижимал к себе ребенка, которого ему подавал боцман, и спускался вниз, перехватывая балясины трапа второй рукой. На пирсе тоже стоял матрос, который принимал ребенка. А дальше, под прикрытием водяных вееров, которые устроили пожарные, матери и дети бежали на берег.

Варвара Николаевна, услышав пожарные сигналы, схватила белье и побежала в каюту. Поступила она так от растерянности, потому что белье незачем было сюда нести, да и делать в каюте нечего. Накинув на плечи пальто, тоже побежала к корме. И теперь, стоя здесь и наблюдая эвакуацию, видя, как быстро распространяется пламя, думала, как бы помочь, но понимала, что ее помощь морякам не нужна. Она решила, что вполне сможет принимать внизу детей вместо матроса и он высвободится для тушения пожара. Она не знала, как спуститься вниз, чтобы не лезть по штормтрапу впереди детей.

Обернувшись по сторонам, увидела толстый канат, укрепленный на палубе за кнехт и переброшенный через борт. Второй его конец свисал между пирсом и бортом судна.

Варвара Николаевна — бывшая спортсменка. У нее сильные руки, на которые можно положиться. Повесив на какой-то крюк сумку, перелезла через планшир и, ухватившись за канат, стала спускаться. Пальто мешало ей. Спустившись на несколько метров, посмотрела вниз, чтобы нащупать ногами пирс. Глядя на пирс и крепче сжимая канат, медленно перебирая руками, уже готова была встать. Но она сорвалась и полетела вниз. Не потому, что ослабли руки или устала. Она не заметила, что нижняя часть каната была покрыта толстым слоем сгустившейся нефти. Тут и акробат не удержится.

Варвара Николаевна могла разбить голову о пирс или о корпус судна, если бы зацепилась за что-нибудь. Но упала она удачно, как раз в узкий промежуток между пирсом и бортом. Вода здесь была покрыта нефтью, по которой приближалось пламя. Варвара Николаевна скрылась под водой.

Пожар разгорался. Водяные и пенные струи с пирса и танкера гудели и бились о палубу и надстройку, взвивались арками. Водяной пылью заполнился воздух, образуя множество красиво пересекающихся радуг.

...Когда начался пожар, стадион, находившийся поблизости, был полон. Шла отчаянная борьба между командой порта и ростовской «Стрелой». Обстановку здесь можно не описывать: болельщики футбола везде одинаковы. Но мне рассказывали, что туапсинцы по экспансивности достигают уровня бразильцев. Видимо, это неправда, потому что бразилец не уйдет со стадиона, если даже загорится его собственный дом. Здесь же весь стадион ринулся на нефтепирс, как только поднялся в небо черный дым.

Со всех улиц и площадей толпами бежали люди, загораживая пути пожарным машинам. Многие прорвались на пирс и полезли в гущу огня. Вереницы добровольцев бесконечным потоком шли с ящиками пенного порошка в головную часть пирса.

Пожарные, добровольцы, военные моряки тушили пожар. На пирсе было много людей, и несколько человек заметили, как упала в воду Варвара Николаевна. Она скрылась под водой, но тут же всплыла. Волосы, лицо, руки были покрыты нефтью.

Вытащить ее удалось быстро, потому что на помощь бросились пятеро здоровых ребят. Они же и отвели ее в больницу.

Илья Вуколович Трегубенко, как и положено первому помощнику, почти все время был возле капитана. Выполняя какой-то приказ капитана, он побежал на бак. Увидел на крюке сумку жены, увидел, как вытащили из воды всю черную от нефти Варвару Николаевну. У него не было времени подбежать и узнать, что случилось, не разбилась ли она. Он бежал на бак, то и дело оборачиваясь, чтобы увидеть, пойдет ли она сама или ее понесут. Его раздражало, что по всему судну несутся сигналы

пожарной тревоги. Это сработала автоматическая система пожарных сигналов, и никто не догадается выключить ее, будто и так не ясно, что на судне пожар.

...Вдоль бортов над палубой выступают расширители танков. При погрузке в расширителях скапливаются легковоспламеняющиеся пары нефти, которые выходят в атмосферу через смотровые глазки́. На солнце видно, как струятся эти пары. Они идут не только вверх, но и в стороны.

Пламя, охватившее борт, подбиралось к расширителям. Взрыв должен был произойти еще до того, как эвакуировались женщины и дети. Взрыва тогда не последовало, потому что вахта заметила пожар в то мгновение, когда он возник, а в следующие секунды матросы Алеша Посметный, Володя Диденко и моторист Митрофан Хурда, определив точно главную угрозу, ринулись в самое опасное место, успели закрыть глазки́. Выход паров нефти и доступ огня в танки были отрезаны. Но пары нефти оставались и накапливались в железных расширителях. Достаточно было им немного нагреться, и взрыв оказался бы неизбежным.

Эту вторую возможность взрыва в начале пожара предотвратил вахтенный штурман Георгий Любич. Он так же точно определил, где главная опасность в данную минуту, и приказал открыть пожарные рожки, орошающие палубу, и направить на расширители мощные струи из лафетных стволов. Вода охлаждала расширители и мешала пламени пробиться к ним.

Третью возможность взрыва предотвратил капитан, приказав главный удар всех средств тушения направить не туда, где огонь в данную минуту был наиболее сильным, но не угрожал взрывом, а в места, омываемые изнутри нефтью или ее парами, чтобы не дать им нагреться.

Горел борт, левая сторона надстройки, двенадцать кают, крыло капитанского мостика. Пламя охватывало шлюпочные лебедки, спасательный мотобот, амбулаторию. С треском лопались иллюминаторы, открывая доступ огню во внутренние помещения. В каюте первого помощника загорелась груда пересохшего белья, которое, так и не успев погладить, бросила на стол Варвара Николаевна.

В воде и пене, прорываясь сквозь пламя, орудовали брандспойтами матросы Посметный, Кернасюк, Диденко, мотористы Чермак, Лисица, Хурда. Отбивали огненную атаку Любич и Невечеря. В машинном отделении, не зная, что стало с женами и детьми, что делается наверху, работали старший механик Токарев, мотористы Байдун и Николайчук.

Вентиляторы гнали в машинное отделение не чистый воздух, а черный дым, который окутывал судно. Вентиляцию отключили, но поздно. Дымом наполнилось все машинное отделение. С мостика раздался приказ приготовить машину, и в накаленном воздухе, в дыму люди готовили к запуску главный двигатель. Экипаж машинной команды действовал на ощупь, потому что

сильные электрические лампочки не могли пробить густого черного дыма. Дым проникал в легкие, резал глаза, и люди кашляли до тошноты.

На полную мощность работали электродвигатели насосов, компрессоров. В ход были пущены все средства противопожарной защиты. Механики держали максимальное давление в магистралях, в стволах, брандспойтах, рожках, в системе орошения.

Потом все компрессоры и насосы остановились. Брезентовые рукава обмякли, потому что прекратилась подача воды и пены. Пламя бросилось на палубу и переборки, захватывая новые участки.

Матросы беспомощно озирались и кричали:

— Воду! Воду давай!

— Давай пену!

Они все еще держали шланги и брандспойты, не зная, что делать.

Капитан на мостике и старший механик в машине одновременно схватились за телефонные трубки: один вызывал машину, второй — мостик. Один — чтобы спросить, что случилось, второй — чтобы доложить, что случилось.

— От перегрузки сработала автоматическая защита, сгорели предохранители и двигатели отключились,— сообщил стармех.— Электромеханик струсил, куда-то сбежал.

Капитан бросил на рычаг телефонную трубку.

Включить двигатели — дело одной минуты. Но дело это электромеханика.

Через несколько секунд по всему судну из репродукторов принудительной трансляции раздался голос капитана:

— Палубному электрику Ковганичу немедленно в машинное отделение на место электромеханика.

Капитан повторял свой приказ, но это было уже ни к чему. Ковганич бежал, перепрыгивая через трубы и шланги, удерживаясь руками за перила, скатывался с трапов, пока не ворвался в машинное отделение.

Дым ударил в глаза. Запершило в горле. Что-то крича, задыхаясь, Ковганич на ощупь пробирался к электрощиту.

Вскоре вздрогнули и рукава брандспойтов. Люди ринулись в атаку на огонь.

В эти критические минуты перед капитаном Турецким встала проблема, которую он не знал, как решить. Он не знал, оставаться ему на месте или уходить в открытое море. На всякий случай повторив свой приказ машинной команде приготовиться к отходу, он не решался трогаться с места. Он видел, что пожарные машины заполнили нефтегавань, видел их реальную помощь. Начальник порта И. Шаповалов и начальник городской команды И. Аксенов организовали на тушение пожара уйму людей, в их распоряжении мощная техника, большие запасы пенного порошка. Если отойти от причала — значит лишить себя столь

мощной поддержки. Против отхода был и хорошо известный опыт тушения пожара на танкере «Волга-нефть», непосредственно у причала.

Но капитан Турецкий понимал и другое. Недегазированный танкер «Сигни» может взорваться в любую минуту. Танкер «Лиски», имея на борту более двадцати тысяч тонн сырой нефти, тоже мог взорваться и стать очагом гигантского пожара, что представляло угрозу городу. И времени на решение этого вопроса у капитана не было.

С пульта управления стармех Токарев доложил:

— Машина к пуску готова.

В ту же минуту раздался в машине звонок. Сквозь дымную завесу взглянул Токарев на освещенный изнутри диск телеграфа. Стрелка метнулась и, дрогнув, замерла на секторе: «Полный вперед».

Это приказ капитана. Это значит — он решил уводить горящее судно в море.

Токарев быстро перевел рычаг телеграфа на сектор, указанный стрелкой. Звонок оборвался: приказ принят, понят, повторен.

Перед тем как отдать приказ «Полный вперед», капитан скомандовал людям на баке и корме:

— Рубить все концы!

Отдать концы с пирса не было возможности, потому что вокруг бушевал огонь. Два конца отдали на баке, остальные обрубили. Судно удерживалось четырьмя шлангами, по которым качают нефть. Их оборвали, дав машине полный ход.

Только теперь капитан обратил внимание, что у штурвала нет старшего рулевого Абрамова. Он не явился на свой пост по сигналу тревоги. Он и не тревожился, Валерий Абрамов. Он сидел со своими друзьми в ресторане. Народу было мало, тихо играла музыка, улыбались официантки. Хотя Валерий почти весь день бродил с ребятами по городу и все хотели есть, официантку не торопили. Они отдыхали. Им было хорошо. Когда она появилась с полным подносом, все пришло в движение.

Увольнение у Валерия до девяти часов, и он может спокойно сидеть в ресторане, и ему неинтересно, как некоторым зевакам из зала, выскакивать на улицу и узнавать, что за шум. Но сквозь шум до него донеслось:

— Нефтепирс горит!

Валерий рванулся к окну. Черный дым поднимался со стороны гавани. Валерий бросился к выходу. В такси, стоявшее у входа, садились трое.

— Уступите, прошу вас, мой танкер горит,— взмолился Валерий.

Молча отступили трое. Машина понеслась. Остановились далеко от нефтегавани: сквозь толпы людей не пробиться. Валерий с раздражением шарил по карманам, забыв, куда девал деньги.

— Да ты что! — закричал на него шофер.— Беги! — И он подтолкнул пассажира.

Перед Валерием открылась нефтегавань: объятые пламенем танкеры, горящий пирс, бесчисленное количество пожарных. Спасательные и пожарные суда, мотоботы, и над всем этим десятки водяных арок, образованных брандспойтами и лафетными стволами. Перед ним открылась картина грандиозного пожара.

Горел родной «Лиски».

Валерий пробивался к гавани сквозь толпу. Когда он выскочил на пирс, рухнули остатки сгоревшего трапа. Откуда-то из толпы вынырнул старший штурман Леонард Арсеньевич Позолотин и бросился к штормтрапу. Вслед за ним — механик Борис Михайлович Петров. Они тоже были в увольнении.

Штормтрап лизало пламя, когда ухватился за него Валерий. Судно отходило от причала. Кто-то сверху сбросил новый штормтрап, но Валерий успел уже вскочить на борт. Не останавливаясь, прыгая через шланги, понесся на ходовой мостик.

За штурвалом стоял штурман.

— Разрешите,— виновато обратился к нему Валерий.

В гуще событий оказался старпом Позолотин. Механик Петров помчался в задымленное машинное отделение.

Обрывая, как нити, оставшиеся необрубленными швартовые концы и нефтеналивные шланги, судно отошло от пирса, винтами отгоняя пламя на воде. Из жерл нефтяных шлангов, свесившихся за борт, били огненные струи, точно из реактивного двигателя. Танкер уходил от мощнейших береговых средств тушения пожара. Уходил, чтобы не погубить порт и, если придется, погибнуть одному. С берега смотрели на горящий танкер, на огненные струи оборванных рукавов семьи экипажа.

Едва «Лиски» отошел, как у его левого борта появился морской буксировщик «Дедал». Это был отчаянный шаг маленького экипажа, рисковавшего жизнью, но он сыграл решающую роль для жизни «Лиски». Буксировщик направил водяные струи на борт танкера и, двигаясь за ним, сбивал пламя с этой почти недоступной для самого танкера площади, охваченной огнем. «Дедал» бесстрашно следовал за судном, готовым взорваться, и окатывал водой надстройку, каюты, переборки.

На судно не успели попасть десять членов экипажа, находившихся в увольнении. Раздобыв где-то катер, они готовы были отчалить вдогонку «Лиски», когда их остановил крик судового врача Любови Родионовны Смирновой.

— Меня подождите! — кричала она, подбегая к причалу.

— Куда вам в такое пекло?! — махнул кто-то рукой и, обращаясь к мотористу, скомандовал: — Пошли!

Катер оттолкнули от причала, и все увидели, как эта немолодая женщина в каком-то неестественном и страшном прыжке полетела за борт.

— Как вам не стыдно?! — чуть не плача, упрекала она товарищей, успевших подхватить ее на руки.

Катер подходил к борту «Лиски». Опасность взрыва еще не миновала. С палубы кто-то кричал:

— Назад! Немедленно назад, капитан запретил подниматься.

Это был приказ капитана, который отказался выполнять экипаж. Первым ухватился за штормтрап комсорг Валя Кирсанов, потом штурман Синеокий, Пилипенко, за ними потянулись Смирнова, Шевченко, Перекрест, Ревтов...

С полным составом экипажа «Лиски» уходил на внешний рейд. Задыхаясь в дыму и жаре, держала максимальные обороты машинная команда. Снова включили вентиляторы, и стало легче. Матросы и штурманы добивали гаснущее пламя.

— Спасибо за помощь! — кричал капитан в мегафон, махая рукой буксировщику «Дедалу».— Теперь сами справимся, опасность миновала.

Капитан «Дедала» Сигидов взял курс к пирсу.

Английское судно, стоявшее далеко на рейде, забило огненным тире, вызывая «Лиски». И начальник радиостанции Николай Невечеря принял:

«Восхищен вашей героической борьбой с огнем. Поздравляем с победой над грозной стихией. Капитан «Оверсиз Эксплорер».

Что же происходило на пирсе и на «Сигни», пока шла борьба с огнем на советском танкере?

Во время стихийных бедствий самое страшное — паника, растерянность, неорганизованность. И еще страшно изобилие командиров, советчиков, консультантов, добровольно берущих на себя эти функции вне зависимости от возраста, опыта и квалификации. Известно огромное количество случаев, когда на борьбу с бедствием выходят сотни и сотни людей, которые легко могли бы победить стихию, но терпят поражение из-за неорганизованности, оттого, что нет уверенной направляющей силы, не определены очаги главной опасности и каждый отдает команды, которые лично ему кажутся наиболее целесообразными, хотя видит он только ограниченный участок борьбы, часто не решающий, десятистепенный.

В первые минуты после начала пожара, одновременно с первыми приказами пожарным, был создан штаб по борьбе с огнем, который расположился на горящем пирсе. И все теперь было подчинено его воле, на себя он взял всю полноту власти и всю меру ответственности.

Штаб знал, какими мощными противопожарными средствами оснащен танкер «Лиски», видел, как организованно идет там борьба с огнем. Стало ясно, что главная опасность — «Сигни», брошенный экипажем, недегазованный «Сигни», все танки которого заполнены взрывоопасными газами.

Сосредоточив пеногонные установки в центре пирса, начальник городской пожарной команды И. Аксенов бросил главные

свои силы в атаку на «Сигни», а остальную часть — на пирс. В следующую минуту связался по телефону с Краснодаром и получил подтверждение, что в Туапсе вышли спасательные суда Новороссийска, Батуми, Поти, Сочи.

Были проложены километры рукавной линии по всей длине пирса, параллельными полосами. Под давлением десять атмосфер пожарные заламывали тяжелые рукава и наращивали их, чтобы дотянуться до «Сигни».

На танкере не было ни груза, ни балласта, ни запасов топлива. Значит, и не было у него почти никакой осадки. Над водой возвышался весь его корпус. От пирса до палубы больше десяти метров. И ни одного трапа на палубе — все сгорело.

Пробиться на пирс с пожарной машиной-лестницей не представлялось возможным. И люди со шлангами ринулись на «Сигни» кто как мог. Это была акробатическая работа в огне. Цепляясь за выступы, за какие-то обрывки канатов, пожарные и рабочие порта, помогая друг другу, карабкались вверх по горящему борту. Сбивая пламя вокруг них, расчищая от огня путь, рушились на борт удары брандспойтов.

Метался на горящем судне единственный человек — молодой и смелый капитан «Сигни» Якоб Доннинг. Он сбрасывал людям канаты, помогал взбираться наверх.

Рвались ракеты на спардеке, иллюминируя судно, что-то падало, грохотало, гремело. Кричали люди в мегафоны, отдавая и принимая команды с пирса, с «Лиски», с катеров и буксиров. И над всей гаванью клубился черный дым. С десятков иностранных судов, стоявших на внешнем рейде с разведенными парами, готовых в любую минуту ринуться в открытое море, уставились с биноклями и подзорными трубами десятки моряков. Тысячи жителей города заполнили берега, крыши домов, балконы.

Пламя подбиралось к расширителям. Глазки́ на них были открыты. Может быть, это случайность, но люди обогнали стихию на секунды. Несколько секунд оставалось, чтобы пламя достигло расширителей. Это неизбежно вызвало бы взрыв. Но с трех сторон ударили брандспойты. Вода и пена смяли, оттиснули огненные языки от расширителей и других взрывоопасных мест.

Это был первый и решающий рубеж, была предотвращена первая возможность взрыва. Атака воды и пены распространялась на капитанскую каюту, штурманскую и радиорубку. Люди вышибали иллюминаторы и заливали пламя в помещениях.

Пожарный катер «Стремительный», заняв место «Лиски» у причала, бил через пирс по левому борту «Сигни», по надстройке.

Концы на «Сигни» были обрублены в самом начале пожара, и его удерживали четыре толстых гофрированных рукава, поданных с пирса для погрузки солярки. Постепенно рукава обгорели и разорвались. Под давлением брандспойтов со «Стремительного» и отжимного ветра танкер начал отходить от пирса. Катер немедленно отвел брандспойты, но «Сигни» продолжал двигаться.

Пожарные рукава стали вырываться из рук людей, находившихся на борту, и они лишились возможности управлять водой Отогнанное от расширителей пламя, ничем больше не гасимое, под силой ветра снова поползло к ним.

Понимая вновь создавшуюся угрозу взрыва, «Стремительный» обошел пирс и встал между пирсом и бортом «Сигни», чтобы, следуя за танкером, продолжать борьбу с огнем.

Морской буксировщик «Дедал», гасивший пламя на воде близ правого борта «Сигни», увидев, что танкер отходит, и понимая, какая возникает опасность, бесстрашно подошел вплотную к «Сигни», уперся носом в его борт и начал подталкивать танкер обратно к пирсу. И все увидели, что это огромное судно вот-вот навалится на пожарный катер «Стремительный», прижмет его к железобетонному пирсу и раздавит.

— Назад! — раздались десятки голосов, обращенных к «Стремительному». Люди махали руками, показывая на возникшую опасность.

Капитан «Стремительного» Виктор Пянзин и сам понимал, в каком оказался положении. Понимал, что должен немедленно дать задний ход. Но сделать этого не мог. Катер не имел заднего хода. Вернее, не было возможности включить задний ход.

Как же такое могло случиться?

Когда раздался первый сигнал пожарной тревоги и горел только пирс, «Стремительный» стоял на ремонте в маленькой бухточке у тихого причала. Это был заранее запланированный ремонт, но в день бедствия работы там не производились, потому что было воскресенье. Часть команды ушла на берег.

«Стремительный» не мог тронуться с места: двигатели разобраны, механик Василий Железняк смотрит футбол. Там же, на стадионе, матрос Борис Чернышев и другие члены команды.

Естественно, капитан «Стремительного» Виктор Пянзин не мог участвовать в тушении пожара. Конечно, было обидно, что специальное пожарное судно в такой момент должно стоять, но рассчитывать на него не приходилось.

Как только раздались гудки пожарной тревоги, Виктор Пянзин скомандовал:

— Отдать концы!

Матросы Петр Дьяченко и Владимир Трегубов переглянулись.

— Двигатели же разобраны, — сказали они в один голос.

— Отдать концы! — закричал Пянзин.

Ребята с недоумением отдали концы с кормы и бака и только тогда поняли, что затеял их капитан. Он направил в воду со стороны кормы две мощные струи из лафетных стволов, превратив свое судно в реактивное. Пока катер шел к нефтепирсу, ребята собирали двигатели, но дело не ладилось, так как не было механика Железняка. Но вместе со всеми, кто был на стадионе, Железняк помчался в порт. Не к пирсу, а к месту стоянки своего катера. Не найдя его там, упросил капитана какого-то гидрогра-

фического бота подъехать к нефтегавани. Вскочив на свое судно, Железняк прежде всего взялся за левый двигатель, в котором было нарушено сцепление. Вскоре катер обрел ход. Он, как и подобает «Стремительному», быстро маневрировал, сбивая пламя на пирсе и на «Сигни».

Вскоре примчался из города на мотоцикле матрос Борис Чернышев. Бросив мотоцикл, побежал на пирс, где его и заметила команда «Стремительного». Прибыл и радист Лев Паас, матрос Володя Бурохов, прыгнул на борт даже бывший член команды Иванов. С полным составом экипажа «Стремительный» продолжал борьбу с огнем. Но двигатели были собраны поспешно, на живую нитку, и переключение на задний ход вышло из строя как раз в тот момент, когда катер оказался между пирсом и надвигавшимся на него танкером «Сигни».

Раздумывать было некогда, и капитан крикнул:

— Самый полный вперед!

«Стремительный» проскочил в узкую щель перед тем, как «Сигни» прижался к пирсу. И хотя это была страшная минута, зато катер оказался на чрезвычайно выгодной позиции и с новой силой ринулся на огонь танкера.

Все пожарные действовали смело и решительно. Так им и положено действовать по службе и по уставу. Они выполняли свой служебный долг.

Ну а больше ста добровольцев, находившихся в самой гуще огня, близ готовых взорваться танкеров? Что руководило этими людьми? Они шли на смертельный риск. Шли сознательно, добровольно, бесплатно. Никому бы не пришло в голову обвинить в чем-либо членов экипажа «Листки» Позолотина, Абрамова, Петрова, находившихся в увольнении, если бы и не успели они примчаться на горящее судно. Тем более не могло быть претензий к врачу Смирновой и всей группе, тоже находившейся в увольнении и опоздавшей к отходу «Лиски» на рейд. Но они догнали свой опасный танкер и вопреки приказу капитана поднялись на борт.

Их действия можно понять: горел их танкер. Но почему ринулись в огонь инженер-конструктор судоремонтного завода А. Горчаков, главный инженер этого завода А. Приходько, рабочие завода В. Богуславский, А. Тимченко, главный инженер порта В. Солонов и десятки других людей?

Кто звал их на этот смертельный риск? Кто звал экипаж «Стремительного», стоявшего в ремонте с разобранными двигателями? Они ведь понимали, что «Сигни» может вот-вот взорваться, но именно сюда они пришли.

Они подчинялись только одному зову — зову сердца советского человека.

В 18.40 капитан «Лиски» Михаил Андреевич Турецкий записал в вахтенном журнале: «Пожар на судне полностью ликвидирован». Спустя несколько часов капитан «Сигни» тоже сделал

запись в своем вахтенном журнале: «Около полуночи экипаж был доставлен властями на борт после того, как пожар был полностью ликвидирован».

О ЧЕМ ОНА ПЛАКАЛА

Впоследствии я близко познакомился с капитаном «Лиски», с помполитом и многими членами экипажа. Бывал и на самом судне, когда оно стояло в порту. Но вспоминается «Лиски» всегда таким, как я увидел его впервые в Атлантике, когда мы шли из Кубы в Марокко: белым и сверкающим, похожим на ракету.

Одиннадцать дней мы шли через Атлантический океан. Далеко слева остались Азорские острова, португальский остров Мадейра. Близ берегов Африки дул харматан. Он принес в океан сухую пыль из пустынь и изнурительную жару. Странно видеть сплошную пыль, когда вокруг только вода. Но харматан не страшен, говорят моряки. Страшен самум, который случается именно в этих местах. По-арабски «самум» — ядовитый, отравленный. Арабы называют его «Отравленный ветер» или «Дыхание смерти». Он налетает с сильно нарастающим шумом и свирепствует не больше 15—20 минут. Этого достаточно. Тучи раскаленного песка окутывают океан красновато-желтой мглой, сквозь которую солнце кажется багровым, а вода темной и густой, как кровь. Усиленное испарение влаги из организма вызывает рвоту, невыносимую головную боль, а иногда и смерть.

Мы благополучно миновали район, где бывает самум. Ночью показалось зарево. Оно было туманным, еле видимым, а потом залило весь горизонт. Касабланка.

Чужие порты, особенно ночью, кажутся загадочными. Цветные огни бросают тусклый свет на серые громады зданий. Подходим ближе. Сверкает огненной рекламой один из красивейших городов Африки. И ярче других реклам — голова сфинкса. Она горит то синим, то красным, то зеленым светом, и ее нервные, стремительные контуры, точно молнии, бьют в глаза. Голова сфинкса возвышается на крыше здания, построенного в стиле модерн, в пригороде Касабланки. Это публичный дом.

Публичные дома в Марокко запрещены. Но этот, единственный, существует открыто: он принадлежит и приносит доход весьма влиятельному лицу.

Неподалеку, на берегу океана, распласталось еще одно здание в цветных огненных бликах: игорный дом. Я был в нем. Ходил смотреть, как все это происходит.

Зеленые столы больше бильярдных. Яркие секторы кругов: черные — красные. Бегает, вертится тугой пластмассовый шарик: черное — красное, черное — красное. Мечутся за ним воспаленные глаза, облизывают пересохшие губы люди, потерявшие над собой власть. Крупье: черные костюмы, черные лопатки на длинных гибких рукоятках, бесстрастные, холодные лица. Они никого не

зазывают, не приглашают. Точным, как автомат, движением опускают в автомат шарик, ударяют по рукоятке: черное — красное, черное — красное. Плывут над столами, покачиваясь, гибкие рукоятки лопаток, сгребая деньги.

Это первый зал, самый невинный. Здесь выигрыш в семь раз больше ставки. А в следующем — в тридцать семь. В следующем — нервный экстаз. Здесь бьются в истерике страсти.

Эти страсти придумали не африканцы. Африканцы сюда не ходят. Здесь французы, испанцы, американцы. ...Зеленое сукно принимает любую валюту. Шелестят доллары, фунты, франки. Игроки стараются держать себя спокойно. Они не видят, как сжимаются их кулаки, не слышат скрежета своих зубов. Мечется шарик, и уже не только воспаленные глаза, но, как в безумном тике, дергаются за ним тела.

В этом зале можно стать богатым в несколько минут. Именно за богатством сюда и приходят. В этом зале теряют все, что имеют.

Бешено вертится шарик, носится по столу. Черное — красное. Где остановится? Плывут над столами лопатки, и тупые глаза провожают только что вынутые и безвозвратно потерянные деньги. До утра горят неоновые огни казино. До утра горят страсти. До утра мечется шарик... Черное — красное... Где остановится? Черные костюмы крупье, черные лопатки, черные души...

Теплоход коммунистического труда приближается к порту. Нас не встречают, не спрашивают, кто мы, откуда и куда идем. Одновременно с нами подходит еще несколько судов. Их тоже не встречают. Ничего не поделаешь, по законам порта он принимает суда с шести утра до десяти вечера. Пришел в другое время — стой и жди. И мы бросаем якорь на внешнем рейде, поднимаем флаг: «Мне нужен лоцман».

Лоцманский катер причалил к борту ровно в шесть. Поднялся на мостик высокий худой француз. Как и положено в морской практике, говорит по-английски, но с сильным французским акцентом. Как и положено, он улыбающийся, предупредительный, остроумный.

Моросит мелкий противный дождь. Мелкий-мелкий, как из пульверизатора. Сзади и спереди подошли буксиры и потащили нас к причалу. Люди с буксиров в тонких коробящихся плащах яркого апельсинового цвета, в какой обычно окрашивают паруса спасательных шлюпок. А марокканцы удачно использовали этот наиболее заметный на воде цвет для плащей. До самого горизонта замелькали желтые пятнышки.

Уже светло, и виден огромный, блестяще организованный порт. Бесконечные причалы, пирсы, стройные, добротные. Краны, будто насторожившиеся вереницы гусей, медленно движутся или стоят, вытянув шеи.

Многие порты мира по мере роста грузооборота реконструируются, теряют свой первоначальный вид и, как правило, теряют

цельный, законченный ансамбль. Порт Касабланка сразу строился на большую пропускную способность. Он красив и как архитектурное сооружение. В нем все предусмотрено, все удобно и рационально. Отдельные изолированные пирсы для угля, для фосфатов, для генеральных грузов, продовольствия. Но все равно кажется, что над портом господствуют апельсины. Да и в самом деле, едва ли найдется порт, который перерабатывал бы такое количество апельсинов.

Буксиры подтаскивают наш теплоход к пирсу. Пришвартоваться нелегко: надо втиснуться между польским и американским судами чуть ли не впритирку.

Идет дождь, мелкий, липкий, бесконечный. Внизу нас встречают несколько человек под зонтиками. Это шипшандлер, морской агент, представитель фирмы, полицейский и таможенные власти. Там же девушка в синем костюме, без зонтика. Они сбились в группку и стоят согнувшись под краном. И только она ходит.

Блестят под дождем крыши. Судно еще не подошло, еще долго будет швартоваться, пока не подтянут его к пирсу и не закрепят на кнехтах все эти продольные, прижимные, шпринги. А она ходит по причалу взад-вперед, вся промокшая, и не отрывает глаз от нашего судна. С грустью смотрит на палубы и надстройки. Не знаю почему, но мне кажется, она русская. С того момента, как мы приблизились к причалу, до конца швартовки прошло минут сорок. Она все ходила под дождем. Взад-вперед, взад-вперед, от кормы к носу, от носа к корме, и, подняв голову, смотрела на моряков и прятала от них глаза.

Раздалась команда: «Опустить трап», и будто по этой команде девушка остановилась. Она смотрела, как медленно опускался трап, и когда он коснулся причала, быстро повернулась и пошла к воротам порта, не оборачиваясь, все ускоряя шаг.

Странным поведением она обратила на себя внимание моряков. Вначале мы думали, что она служит в порту и пришла на судно по делу. Оказывается, нет.

Дождь кончился, и жарко запылало солнце. Не зря же оно африканское. Выяснилось: стоять будем долго. Было начало девятого месяца лунного календаря, и, значит, весь месяц от восхода солнца и до заката мусульмане не имеют права есть, пить, курить. И сил для работы будет немного.

За ворота порта мы вышли в день прибытия. «Касабланка» — значит «Белый город». Он и в самом деле весь белый. Белые двадцатиэтажные гостиницы, белые минареты, белые офисы, белые магазины. Но это издали. Издали не видна черная, закопченная и прижатая к земле Медина. Так в этой деловой и коммерческой столице, в крупнейшем городе Марокко называется район, где живут арабы. Белая часть раньше принадлежала французам, испанцам, американцам, итальянцам. Их офисам, трестам, банкам. Теперь все это откупили арабы. Однако во всех крупных предприятиях до сих пор есть акции иностранного капитала.

И хотя контрольный пакет находится в руках государства, иностранный капитал часто диктует свою волю. И Сахара, большая часть которой принадлежит Марокко, занимает в планах иностранного капитала немалое место.

От порта к центру города ведет широкая улица, по обе стороны которой палатки и магазины сувениров. Здесь изобилие разнообразнейшей медной посуды, старинное холодное оружие, ковры, изделия из кожи. Мы шли мимо ларьков, куда продавцы затаскивают прохожих руками, видели, как западногерманские моряки лихо продавали арабам сигареты, с каким изумлением дети смотрели на уличного фокусника.

Мы осмотрели широкие кварталы белой части города и кривую захламленную Медину, где, кажется, из окон домов, находящихся на разных сторонах улиц, можно поздороваться за руку.

Вместе с нами был Жора Мандрыкин. Его родители уехали из России до революции, а он родился здесь и вовсе не видел родины. Но русский язык знает отлично. Работает в пароходной компании и по долгу службы заходил к нам на судно. Жора сам предложил нам быть гидом. Он и привел нас в кофейню, где произошел смешной случай.

Кофейня принадлежала итальянцу, владельцу фабрики кофеварок. Жора познакомил нас с хозяином, и тот похвастался, что приготовит кофе, какого мы еще никогда не пили. И в самом деле, кофе был необычайно вкусным.

— Как вы его готовите? — вырвалось у меня, но я тут же понял, что оконфузился.

Хозяин смущенно улыбнулся и сказал:

— Извините, пожалуйста, я не могу вам ответить. Это мой коммерческий секрет, понимаете? Секрет моей фирмы.

Черт бы их побрал с их фирмами и секретами. Ну, кому у нас взбрело бы в голову прятать рецепт кофе? Пришлось извиняться за свою любознательность. А может, и действительно тут научное открытие. Хозяин сказал, что он смешивает тринадцать сортов кофе и каждый сорт в разной пропорции. Может, он и не обманывает. Когда мы вышли, Жора сказал, что это самая лучшая кофейня и никто другой не умеет так варить кофе.

С Мандрыкиным связано и еще одно происшествие, тоже смешное, но совсем не такое уж невинное. Он женат на француженке, и у него две чудесные девочки: девятилетняя Катюша с золотыми волосами и пятилетняя Валя. В воскресенье мы пригласили к себе в гости всю семью, и они очень хорошо провели у нас день. Сначала девочки стеснялись, но очень скоро свыклись с обстановкой и с восторгом бегали по палубам. Моряки охотно с ними играли. Может быть, вспоминали своих детей, а может, просто так, потому что девочки веселые и забавные. Мы не могли тогда предположить, к каким последствиям это приведет. А события развивались довольно стремительно.

В школе, где училась Катюша, была одна гордая девочка.

Гордость появилась у нее с тех пор, как вместе с отцом она побывала на американском пароходе. Она часто говорила про это, и все девочки ей завидовали. Понимая, что она лучше тех, кого не приглашали к американцам, она соответственно и вела себя. Поэтому ее не очень любили. Но вот появилась Катюша и заявила, что была на советском пароходе и он в сто раз лучше американского. Гордой девочке не хотелось терять монополии, и она решительно опротестовала заявление Катюши. Начался спор, чей пароход лучше.

В этом-то споре и выяснилось, что гордая девочка не была на капитанском мостике, не участвовала в перетягивании каната, не играла с моряками в пиратов, не держалась за руль, который называется штурвалом, не ела флотский борщ вместе с матросами и вообще, наверно, дальше порога ее не пустили. Гордая девочка не сдавалась, утверждая, будто именно все это и даже больше видела на американском пароходе.

— Ах так? — горячилась Катюша.— Тогда скажи, что еще, кроме руля, есть на капитанском мостике.

— Тормоз...— отвечала та под смех старших школьниц, которых тоже привлек спор.

Катюша провела у нас почти весь день и в самом деле многое видела. Она со знанием предмета наседала на свою соперницу и задавала новые вопросы, и все видели, как трудно отвечать бедной гордой девочке.

— А советскими конфетами тебя угощали твои американцы? — не унималась Катюша.— А спутника твоей маме подарили? А в спасательном круге тебя фотографировали?

У гордой девочки подрагивали губы, но она упрямо отвечала:

— Угощали... Подарили... Фотографировали...

Чтобы уж окончательно добить свою противницу, открывая ранец и сильно растягивая слова, Катюша спросила:

— А матрешку тебе твои американцы подарили? — И торжествующе стукнула матрешкой о парту.

Гордая девочка оторопела, но на нее уже никто не обращал внимания, потому что из одной матрешки получилось пять и они пошли по рукам восторженных девочек.

Все происходило на перемене. Гордая девочка незаметно исчезла и в тот день на занятия больше не вернулась. За ее книгами приходила разгневанная мать. А матрешка тем временем ходила по классу, и вся школа уже знала о поединке двух девочек. Дети рассказали о происшествии дома и, точно сговорившись, потребовали, чтобы родители повели их на советский корабль. А на следующий день уже среди некоторых взрослых начались разговоры о коммунистической пропаганде, проникшей в школу и охватившей всю ее точно чума.

Все это случилось за день до нашего отхода из Марокко, и чем кончилась злополучная история, не знаю. Возможно, полиция отобрала матрешку, как орудие коммунистической пропаган-

ды, но все равно Катюша будет долго помнить советских моряков и рассказывать, какие они хорошие.

И не только Катюша будет об этом говорить. Более убедительно скажет портовый служащий Удда.

Он прибежал к нам на судно ночью, огромный, беспомощный, готовый расплакаться. Тяжело болен старший сын. Чего только не делали с мальчишкой, а ему все хуже. Его тело сгорает. Кланяясь и молитвенно складывая руки, просил хоть что-нибудь сделать. Ведь русские все могут.

Мы отправились к нему на квартиру вместе с судовым врачом Аллой Кравченко. Температура у ребенка была около сорока. Алла осматривает мальчика и говорит, что положение хуже, чем думает отец. Она обращает внимание и на двух других детей Удды, которые тоже больны, о чем родители не догадываются.

Алла действует уверенно и решительно. После первого посещения мы находились в Касабланке еще две недели. Алла выходила ребят. Родители все понимали. Понимали, что советские врачи могут правильно поставить диагноз, назначить правильный курс лечения. Но они искренне не могли понять, почему врач не берет денег. Они с недоумением смотрели на Аллу и друг на друга и увеличивали сумму, думая, может быть, мало предлагают. Им очень хотелось понять, как это может быть, что в Советском Союзе врачи ни с кого не берут деньги. Понять этого они не могли, но поверили. И одно это уже казалось им таким величайшим благом, какое может быть только там, у всевышнего.

Когда Удда в первый раз прибежал на советский теплоход, у причалов порта находились суда девятнадцати стран. Наш теплоход стоял у самого дальнего пирса. Чтобы попасть к нам, ему требовалось пробежать мимо двух американских пароходов, трех из ФРГ и до десятка других. Я спросил, заходил ли он туда. Оказывается, нет. Почему же выбрал самое дальнее судно?

— Но ведь оно же советское,— развел он руками, точно удивляясь, как это можно не понимать таких простых вещей.

Мне много раз приходилось сталкиваться с людьми, у которых просто не укладывается в голове наша система здравоохранения. В Сингапуре, например, был такой случай.

На борт нашего турбохода «Физик Вавилов» поднялся шипшандлер Гаута. Шипшандлер — это коммерсант, который снабжает суда самыми различными товарами. Скажем, требуются капитану продукты питания, запасные части к двигателям, лекарства, флаг какой-либо страны и другие самые разнообразные товары. Не станут же члены экипажа бегать по десяткам магазинов или баз. Шипшандлер быстро доставит на судно все необходимое. Шипшандлеров много, но «Физика Вавилова» обычно обслуживал Гаута. Это человек с большими связями в торговом мире, опытный коммерсант, пользовавшийся доверием капитана и фирм. Перепадало ему немало, жил он довольно широко и собирался уже открыть собственное дело.

Гаута был человеком не только энергичным, но очень веселым и удивительно остроумным, жизнерадостным. Таким знали его моряки с нашего судна. Но в этот раз он был другим. Молчаливый, скучный, буквально убитый горем.

Оказывается, два месяца он лежал в больнице, принадлежавшей англичанам, и там ему сделали операцию. В общей сложности болел четыре месяца, и болезнь съела все его капиталы.

На мой вопрос, как это могло случиться, он ответил:

— Понимаете, все очень дорого. Я уже не говорю о самой операции. Но вот бинтует сестра рану, уже все больное место покрыто бинтом, а она все бинтует. Она заинтересована в этом, потому что платить надо за каждый сантиметр бинта. То же самое с мазью. Уже покрыта вся рана мазью, а она кладет еще: ведь каждый грамм мази будет мною оплачен.

Гаута никак не мог понять нашей системы здравоохранения.

— Позвольте,— говорил он,— вы утверждаете, что если советского человека увезет машина «скорой помощи», платить за это не надо. А за такси вы платите? Как же так? — поражался он.— Вы утверждаете, что за питание в больнице с вас ничего не берут, а в ресторанах вы платите. Где же логика?

Гаута клялся, что после выхода из больницы остался нищим.

Старпом Федор Федорович Трубин, бывший командир эсминца, человек простой и бесхитростный, пробасил:

— А у нас за такое лечение ни гроша не платят.

Гаута горько усмехнулся.

— Не надо так зло шутить, чиф.

Его стали уверять, что это правда, и он сказал, что верит, но все видели: сказал только из вежливости.

Марокко мы покидали в шесть утра. Я уже забыл о девушке в синем костюме, которая встречала нас под дождем. Когда раздалась команда «Поднять трап», она появилась. И стала ходить по причалу вдоль судна, глядя на нас такими же печальными глазами, как в первый раз. Когда отдали носовой шпринг, эту последнюю ниточку, еще связывающую нас с берегом, она вдруг быстро достала платочек. Она плакала.

Я так и не узнал, кто она, почему не решилась подойти к нам, почему ее так тянуло к судну. Может быть, была она советской девушкой и совершила что-то нехорошее, и теперь страшно ей смотреть в глаза морякам и страшно, что нет у нее больше родины. Возможно, вышла замуж за иностранца и, счастливая, унеслась в экзотическую страну, и нет больше сил жить в чужом краю. Может быть, родилась в этих африканских краях и никогда не видела своей родины, но ее тянет родина, и она бежит в порт, чтобы хоть взглянуть на пароход — этот крошечный островок отчизны.

Мы ушли уже далеко-далеко, а я все еще видел на причале поникшую фигурку. Она уменьшалась и даже в бинокль казалась теперь темным, бесформенным силуэтом.

В БАНАНОВО-ЛИМОННОМ СИНГАПУРЕ

В следующий рейс я пошел с комсомольско-молодежным экипажем турбохода «Физик Вавилов». Этот сухогруз, построенный в Николаеве, водоизмещением двадцать две тысячи тонн, может развивать скорость более двадцати узлов.

Нам предстояло доставить цемент в Сингапур, чугун — в Японию, затем взять на Сахалине бумагу для Индии и по пути туда снова зайти в Сингапур и на остров Пенанг за каучуком для Одессы.

Первая стоянка — в Порт-Саиде, где формируются караваны судов и дважды в сутки — в семь утра и одиннадцать вечера — уходят через Суэцкий канал в Красное море. Чтобы попасть в караван, надо прибыть на рейдовую стоянку за три с половиной часа до его отправления. Опоздаешь на несколько минут, и можно зря простоять целый день или ночь. И это не прихоть администрации. Слишком большой поток мирового транспорта пропускает канал, и надо проверить каждое судно, в состоянии ли оно пройти этот канал, не задержав всего каравана. Впрочем, администрация не заинтересована задерживать суда в Порт-Саиде. Если опоздает судно, но есть возможность проверить его до отхода каравана, этой возможностью всегда пользуются.

В Порт-Саид мы прибыли ночью. Вокруг будто исполинский аттракцион. Бесчисленное количество огней на воде, на земле и в воздухе. Весь в разноцветных огнях город, в огнях порт, сияют огнями сотни судов на рейде. Огни на воде движутся то медленно, то стремительно, меняется их окраска, потому что и цветами огней капитаны выражают свои требования и просьбы к берегу. Огненные лучи световой морзянки полосуют рейд в разных направлениях, грохочут якорные цепи, усиленные мегафонами несутся на всех языках мира команды с капитанских мостиков, бушуют джазы на пассажирских судах.

Но вот и у нас прозвучала команда:

— Отдать правый якорь!

Не успело еще судно развернуться по течению, как у трапа один за другим появились катера: полиция, администрация, таможенники, санитарный надзор, морской агент, шипшандлер. Они проверяют мерительные свидетельства, судовую роль, емкость балластных танков, берут данные о запасах воды и топлива, о радиостанции и множество других.

Мы поднимаем на борт две команды арабских швартовщиков и их две шлюпки, двух электриков с огромным прожектором. Где-то там, впереди, канал будет разветвляться на два рукава и снова сходиться в один, и именно в этом месте мы повстречаемся с другим караваном и будем пропускать его. Вот тогда и потребуются швартовщики, которые спустят свои шлюпки, возьмут концы и закрепят их на кнехтах, установленных по обоим берегам на всем канале.

Перед отходом появляется и арабский лоцман. Еще недавно лоцманами здесь были только англичане. После национализации канала ни один араб не знал лоцманского дела. Английские колонизаторы не только надеялись, но и громко кричали, что, национализировав канал, арабы создадут в Суэце пробку, застопорят движение мирового флота, ибо не сумеют провести по каналу ни одного судна. Но на помощь пришли советские люди и моряки других стран. Еще и сейчас многие караваны ведут иностранные лоцманы, но с каждым годом их становится меньше: эту сложную профессию с успехом осваивают арабы, и совсем скоро они уже не будут нуждаться в помощи иностранных моряков.

Впереди нас по каналу шли четыре судна, а всего в караване их было семьдесят шесть. С одной и той же скоростью, в одной бесконечной колонне, единым строем и на равных началах шли суда под флагами десятков стран.

С верхнего мостика в бинокль караван был виден до самого горизонта.

Когда мы подходили к Исмаилии, свободные от вахт и работы моряки собрались в «курилке». Хотя здесь действительно курят, но название это совсем не подходит к очень уютному уголку, похожему на веранду, между главной и шлюпочной палубами, где стоит большая садовая скамейка. Место, хорошо укрытое от ветра, дождя и солнца, откуда видны горизонты, всегда привлекает моряков и никогда не пустует. Здесь обсуждаются судовые новости, ставятся прогнозы на будущее, состязаются острословы и идет великая морская «травля».

Едва судно достигло Исмаилии, первый помощник капитана сказал:

— В этом месте произошел интересный случай, когда я плавал на «Славгороде». Наш караван растянулся на несколько километров. Мы шли третьими, а всего в караване было больше пятидесяти судов. Как и обычно, на носу танкера устроились два арабских электрика со своим прожектором. На подходах к Исмаилии уже стемнело, и они начали регулировать прожектор. Один из них не удержался и упал в воду.

Что было делать капитану?

Свернуть в сторону — значит, вероятнее всего сесть на мель. Дать задний ход, остановиться? Нельзя. По пятам идет целый караван. Не говоря уж о серьезной аварийной обстановке, которая создастся обязательно и очень возможно приведет к аварии, такой, маневр закупорит весь канал и прежде всего задержит движение каравана. Продолжать путь прежним курсом — значит втянуть под винты человека.

Все это отлично понимал лоцман, который вел судно, и он крикнул:

— Так держать!

И тут же раздалась команда капитана:

— Отставить! Стоп, машина! Право на борт!

— Снимаю с себя ответственность! — закричал лоцман.

Никто ему не ответил. Одна за другой неслись команды. Взвились белые ракеты, осветив всю местность, полетели на воду светящиеся буйки, загремела лебедка, и плюхнулся на воду моторный бот. По всему каналу раздались сигналы: «Человек за бортом, выхожу из каравана». Били электрическими искрами эхолоты, показывали глубины. Медленно проплывали мимо иностранные пароходы. Ныряли матросы в поисках человека.

Его нашли, подняли на борт, привели в сознание. А спустя несколько дней мы получили благодарственное письмо управления компании Суэцкого канала за спасение электрика, оказавшегося отцом шестерых детей.

Суэцкий канал вывел нас в Красное море, самое соленое в мире море. Оно соединяет Азию и Африку и отличается большими странностями. В него не впадает ни одна значительная река. Три четверти года его воды текут в Средиземное море, а с июля по сентябрь — обратно. И как раз случилось так, что в оба направления, и из Одессы и в Одессу, мы шли в Красном море по течению.

Бесчисленное количество бактерий окрашивает его в нежные, красивые цвета. Вода удивительно прозрачна, но купаться опасно. Здесь свирепствуют тигровые акулы, меч-рыба, осьминоги, морские змеи. На человека змеи не нападают, но если случайно наступишь на них или коснешься рукой, тогда худо. Спастись уже трудно. Да и вести судно здесь нелегко: уйма рифов, укрытых водой, незаметных.

В Аденском заливе нам опять не повезло — налетел хариф. Поразительно: куда ни глянь, до горизонта — вода. Но летит густая, белая пыль. Она на палубах, забивается в щели, хрустит на зубах.

И вот «Физик Вавилов» уже у берегов Малайи, на три четверти покрытой вечнозеленым тропическим лесом. Над жилищами и вокруг них пальмы. Много всяких пальм, от низеньких, широколистых до таких высоких, как мачты Братской ГЭС.

Приезжать сюда надо было, конечно, в январе, а не летом, как это получилось у меня. В январе здесь не жарче, чем летом в Крыму. А сейчас спасение только в каютах, салонах и в красном уголке. Там кондиционированный воздух, там просто рай.

Мы шли в Малайзию, в край каучука и ананасов, олова и кокосовых орехов. Более трети мировой добычи олова и до сорока процентов каучука дает маленькая Малайя. Она занимает первое место в мире по смертности от туберкулеза.

Еще недавно в Сингапуре был английский губернатор со своими подчиненными, немного деловых людей Англии, которые владели каучуковыми плантациями и оловом, и английские войска, которые охраняли губернатора, деловых людей и следили, чтобы на плантациях и рудниках было все в порядке.

Узкий и длинный Малаккский полуостров, точно исполинский шлагбаум, перекрыл кратчайшие пути между Индийским и Тихим океанами, оставив только узкий проход через Малаккский пролив. Недалеко от входа в него, на малайском острове Пенанг, находится английская военно-морская база Джорджтаун, а у выхода — английская военно-морская и военно-воздушная база Сингапур.

В Малайзии живут китайцы и малайцы. Китайцев немного больше, чем малайцев. Англичан почти нет совсем. Малайцы занимаются сельским хозяйством, обрабатывают китайские и английские плантации, добывают руду, выполняют черную работу. В руках китайцев вся торговля: мелкая, крупная, оптовая, часть рудников и каучуковых плантаций. Государственные служащие, бесчисленное количество коммивояжеров, агентов, посредников, управляющих, директоров контор тоже китайцы. Квалифицированные рабочие — китайцы. Кварталы китайских миллионеров расположены на набережных и высоко над уровнем моря, куда ведут хорошие дороги.

Мы шли в Сингапур за каучуком для Ярославского шинного завода. Мы везли в Сингапур цемент.

Десятки и десятки стран Европы, Америки, Африки и Азии сообщаются между собой через этот порт, и он пропускает в год до пятидесяти тысяч судов. Может, и назвали его малайцы Сингапуром, что означает «Город льва», потому, что лежит он, как страж, на оживленнейшем перекрестке мировых торговых путей. Но почти полтора века назад забрался сюда английский лев, которого едва удалось изгнать.

Сингапур — один из крупнейших международных рынков. Здесь совершаются сделки на миллионы долларов и фунтов. И город будто один сплошной, нескончаемый, кричащий, задыхающийся рынок. Мы увидели его несколько позже, этот рынок, где смешалось и перепуталось все: от банков, бирж, торговых компаний до уличных парикмахеров, что развесили на стенах домов зеркальца и грязные инструментальные сумки, до черных от грязи лотков, где можно купить маленький кусочек арбуза или ананаса.

Все это мы увидели позже, но дыхание рынка пахнуло на нас далеко от причалов, словно не вместился он в черте города и выплеснуло его в море.

Едва мы бросили якорь на рейде, к судну устремились шаланды, разрисованные под рыб. Казалось, что срезали с огромных рыб спины и от этого раскрылись пасти и расширились навыкате глаза.

Некоторое время они курсировали вокруг судна. Как только с нашего турбохода вернулся в свой катер местный врач и мы опустили карантинный флаг, а это значило, что разрешено общение команды с берегом, они облепили оба борта.

В шаландах были торговцы со своими товарами. Они хвата-

лись за трап, забрасывали на судно кошки и по веревкам, цепляясь за что придется, кто как сумеет, карабкались на палубу. Моряки знают: они как москиты, никакими силами их не согнать. Они очерчивали мелом на палубе «свои» места, натягивали огромные цветные тенты, таскали веревками из шаланд тюки и в каких-нибудь пятнадцать минут превратили главную палубу в аккуратные торговые ряды. Галантерея, трикотаж, зажигалки, ручки...

Тихонько и таинственно вам предложат здесь самое радикальное, «вот видите, марка — американское» средство против любых болезней и недугов, которое излечивает за две недели. Пилюли от заикания действуют еще быстрее. Женские и мужские браслеты, понижающие давление, начинают свое целебное воздействие с той минуты, как вы их наденете. Я едва отбился от торгаша, который совал мне в руки флакончик, гарантируя, что к приходу домой вместо лысины у меня будет развеваться пышная шевелюра. «Всего двадцать долларов,— говорил он, пожимая плечами, словно удивляясь, как это можно еще задумываться, когда привалило такое счастье.— Ну ладно, пусть десять долларов, только из уважения к русскому, русский спутник лучше американского...»

Убедившись, что и это не действует, он с ловкостью фокусника сунул мне в карман свой флакончик и, доверительно подмигнув, точно совершает великое благо, сказал: «Давай пятьдесят центов». Я дал ему пятьдесят центов и бросил флакон за борт. И тут мой благодетель расхохотался. Он смеялся искренне и радостно и, грозя мне пальцем, говорил: «Ох, и хитрый русский, смотри, какой хитрый...»

Больше ста судов в день принимает и отправляет Сингапурский порт, и ни одно не пропустит плавучие торговцы. Они делают свой бизнес.

Товары здесь из разных стран, разных фирм и назначений, но есть у них одно общее: не первосортные они. Даже немного больше: подпорченные, чуть подлинявшие, немного прелые. Расчет простой: моряк не заметит, купит и уйдет за океан. А заметит, торговец будет долго качать головой, поражаясь, как это в его отборных товарах оказалось такое. Здесь порою показывают и добротные вещи, но главным образом для приманки. Как правило, их товары — это выбракованные отходы оптовых баз и крупных универсальных магазинов, где цены высокие и доступны немногим.

Надо бы объяснить все это экипажу, особенно молодежи и новичкам, потому что торговцы опытные, показать товар умеют. Любая безделица упакована в специальный целлофан, сквозь который все выглядит очень красиво, а на нем десяток кричащих и тоже красивых надписей, вроде «Остерегайтесь подделок под нашу фирму», и десяток отливающих золотом и серебряным блеском наклеек и ярлыков на цветных шелковых нитках, и стано-

вится ясно, что лучше этой рубашки или, скажем, этих трусов действительно в мире нет. И упакованы они накрепко, и неловко разворачивать и смотреть: ведь сквозь целлофан все хорошо видно. А попросишь снять всю мишуру, вскрыть пакет, и уже неловко не купить.

Надо бы объяснить все это людям, да объяснять надо словами, а красивые вещи агитируют сильнее любых слов. И первый помощник капитана пошел в торговые ряды. Отыскал и купил очень дешевую, сказочной расцветки блузку в изумительной упаковке. Он понес ее через всю палубу, и моряки спрашивали, где он купил такую чудесную вещь. А он только улыбался и при всех начал распечатывать ее. Его обступили любопытные. Медленно и аккуратно снимал бесчисленные ярлыки и наклейки, вытаскивал булавки и булавочки, картонки и ватные подушечки, и уже все, кто был на палубе, собрались возле него. Когда блузка была, наконец, освобождена от украшений, он слегка потянул ее, и она поползла, как промокшая бумага.

Он действовал так уверенно, потому что много раз бывал в Сингапуре и хорошо знал плавучих торговцев. Его расчет был правильным: не может такая красивая вещь быть добротной, если отдают ее чуть ли не даром. Но ведь многие этого не знают. А новички вообще могут подумать: вот где рай.

На палубе шумели торговцы, а в музыкальном салоне расположились таможенные, иммиграционные и прочие власти. На весь экипаж нам выдали десять пропусков для увольнения на берег сроком до пяти вечера.

— Почему десять, ведь нас пятьдесят семь?

— Такой порядок,— улыбается полицейский.

— А почему до пяти? Почему вечером нельзя выйти в город?

— Таков порядок.

— Это для всех иностранцев?

Полицейский молчит, потом, не глядя на нас, изрекает:

— Нет, только для русских и других коммунистических стран.

И здесь, в Сингапуре, и на острове Пенанг в порту Джорджтаун я спрашивал у иммиграционных властей и у других официальных лиц, почему для нас установлен такой «порядок», и получал неизменный ответ:

— Боятся коммунистической пропаганды.

— Кто боится?

Пожимали плечами.

Конечно, те, кто установил ограничения, хорошо знают, что советские моряки не будут собирать митингов, устраивать собраний или подбрасывать листовки.

В международных портах привыкли: моряки пьют, дебоширят, спекулируют, развратничают. Никто не обратит внимания на

моряка, валяющегося на улице. Моряка, но не советского. Случись что-нибудь подобное с советским человеком, это была бы такая сенсация, что о ней заговорили бы все газеты. В этой связи вспоминается случай, происшедший в Гаване.

Наш теплоход «Солнечногорск» вместе с шестью советскими и многими иностранными судами стоял на рейде. Я возвращался с вечера дружбы в Доме моряка около двух часов ночи. Тревожить людей на судне и вызывать катер в такое позднее время не хотелось, тем более что любой лодочник за песо в несколько минут доставит вас на рейд. И пока один из них отвязывал свою шлюпку, я увидел на скамейке двух спящих моряков. Это были ребята не с «Солнечногорска», но мне показалось, что они с какого-то нашего судна. Должно быть, вышло так, что у них не оказалось с собой денег, а вызывать катер не захотели.

Лодочник уже причалил к ступенькам, и я попросил подождать, пока разбужу ребят, которых надо будет потом отвезти на другое советское судно.

— Что вы! — поразился он.— Разве русский моряк ляжет вот так спать на пристани? Эти,— он кивнул в сторону спящих,— с английского судна. Они англичане.

Мне стало стыдно...

После того как власти Сингапура выполнили все формальности, к борту подошел лоцманский катер. Бывшая владычица морей, Великобритания демонстрировала свой шик и хороший морской тон. Стремительный, яркий, начищенный, буквально горящий медью, окантованные края палубы, надраенной до паркетного блеска. Отличный катер.

Легко пружиня по трапу, поднялся на борт английский лоцман. Туго накрахмаленная белая сорочка, белые накрахмаленные шорты, белые гетры, черные, точно лакированные туфли. Высокий, зализанный, с перстнями на обеих руках, непринужденный, улыбающийся, жизнерадостный:

— Гуд монинг, кэптн!

Весь его вид и тон, каким произнесено приветствие, показывает: пришел хозяин.

С внешнего рейда он привел судно на внутренний, охотно перекусил у нас и ушел на своем блестящем катере. Появился второй лоцман точно на таком же катере и сам будто двойник только что ушедшего накрахмаленного:

— Гуд монинг, кэптн!

Этот привел судно с внутреннего рейда к причалу и тоже сошел. Таков обычай порта.

Обычай порта! Это узаконенное в мировой практике понятие. Надо подчиняться любому беззаконию, если оно освящено как обычай порта. Впрочем, беззаконие идет только в одном направлении: выкачать с чужого судна побольше валюты. И каждый порт придумывает свои обычаи.

По хорошо изученной трассе капитан сам без труда проведет

судно. Но по обычаю порта надо брать лоцмана. Надо платить. По обычаю порта на судно подают свои концы. Но нам они не нужны, они у нас в изобилии собственные. Ничего не значит, платите! Многотонные стальные крышки трюмов закрывает боцман или старший матрос поворотом рукоятки. Никто не доверит этого постороннему. Но в счете стоит сумма за закрытие трюмов.

— Позвольте, мы ведь закрывали сами!

— А это уж как хотите; по обычаям порта закрывать должны мы. Платите по счету.

Приходится платить. Платить за воду в бачках, которую приносят на судно для грузчиков, хотя у нас сколько хочешь холодной и вкусной воды, за телефон, который установили для себя на судне грузополучатели, за все, что придет в голову.

Плати! Таков обычай.

В город я пошел вместе с матросом первого класса Володей Алешиным и машинистом Геной Маценко. Моряки дальнего плавания, повидавшие мир, они знали многие порты на всех материках, не раз бывали в Сингапуре.

Еще издали мы увидели двух полицейских у проходной. Белые пробковые шлемы, открытые рубашки-безрукавки, шорты, револьверы с обнаженными рукоятками, торчащими из-за пояса, черные дубинки — одним словом, типичный вид полицейских тропических стран. Они обыскивали каких-то матросов, выходящих из порта.

Впереди нас шла группа шведских моряков с гетеборгского судна. В руках у них были спортивные сумки и футбольный мяч. Когда шведы поравнялись с проходной, начали обыскивать их. Мы замедлили шаг. Полицейские осматривали сумки, заставили выпустить воздух из мяча, помяли пустую покрышку.

Моряки привычно подняли полусогнутые в локтях руки, и их ощупали буквально с головы до ног, заставив вынуть и показать бумажники, блокноты, все, что оказалось в карманах. Потом мы услышали «О'кэй!», и шведов пропустили за пределы порта.

Настала наша очередь. Мы предъявили пропуска, и неожиданно заулыбался полицейский.

— О-о, рашн! Плиз!

Нас не стали обыскивать. Наши моряки годами стяжали себе добрую славу, и ни в одном порту мира их не обыскивают. Знают: в их чемоданчиках нет сигарет и часов, в карманах не зашиты порнографические открытки, в волосах не спрятан кокаин.

Мы решили прежде всего посмотреть знаменитый сингапурский Тигровый парк, который находится далеко за городом. Под мостом через глубокую бухту близ порта увидели первые трущобы. Они на воде. Люди живут в баржах, черных от копоти, побитых и ободранных, изъеденных временем. Они стоят так тесно, что не видно воды. Висит застиранное белье, дымят плиты, кричат оборванные дети, прыгают с баржи на баржу голодные собаки.

Здесь рождаются, здесь умирают. Только немногие жители барж — их владельцы. Почти все местное население арендует эту рухлядь. Целыми днями бродят по городу обитатели трущоб в поисках груза.

Подобные районы мы видели во многих бухтах гигантского города-рынка.

Улицы от порта к центру города — это вывески и белье. Вывесок столько, что не видно дверей и стен. Вывески торчат над головами, как крылья семафоров. А сверху сушится белье. Из окон и балконов верхних этажей выставлены, как удилища, длинные бамбуковые шесты с бельем. Будто весь город одна сплошная прачечная. Шесты идут с обеих сторон узких улиц и образуют многоярусные бельевые арки. А внизу идет торговля. Бесчисленное количество лотков и палаток или просто очагов, где готовится и продается пища. Между ними мануфактурные, скобяные, продуктовые ларьки. Противни, жаровни, чугунки, кастрюли, чаны... Все это дымит, коптит, исходит паром. Жарятся, варятся множество видов ракушек, водорослей, моллюсков, осьминогов, рыбы и еще бог знает чего. Здесь же производят какие-то изделия из теста, свинины, овощей. На грязных столах рубят и продают дольками ананасы, апельсины, арбузы. Течет липкий сок, собирая тучи мух и насекомых. Каждый торговец громко выхваляет свой товар. Стоит невообразимый хаос.

Одна из улиц резко отличается от всех соседних. Здесь делают и продают салаты из цветов. На тротуарах длинными рядами сидят, поджав под себя ноги, женщины, и возле каждой — горы лепестков. Они режут лепестки на низеньких столиках, посыпают какими-то травами, укладывают в плоские тарелочки. Когда подходит покупатель, обливают приготовление соусом, и люди тут же едят. На всей улице стоит аромат цветов.

Чем ближе к центру города, тем чище кварталы, ярче витрины магазинов. А дальше типичный европейский город со сверкающими рекламами, богатыми домами, фешенебельными гостиницами. Здесь тоже идет торговля и кипят страсти. Здесь торгуют англичане, японцы, американцы, индусы. Десятки банков ежедневно финансируют крупнейшие сделки на каучук, олово, рис, копру.

Возле входа в «Гонконг-банк» мы увидели первого валютчика. Красная чалма, черная борода, черные вразлет брови, черные, сверлящие глаза.

— Чейндж? — обратился он к нам, показывая веером сложенные деньги разных стран. Он продает и покупает валюту.

Возле «Шанхай-банк» маленький рыжий человек подмаргивает нам, быстро-быстро говорит:

— Америкен доллар тэйк, гив! Бери, давай! Франк, рупий, марк, фунт тэйк, гив!

Чем ближе к центру, тем больше спекулянтов валютой. Они хорошо одеты, но очень по-разному. В дорогих европейских костюмах, в шотландских юбках, в китайских халатах, в шортах.

Чейндж! Чейндж! Чейндж! Тэйк, гив! Все они спекулируют валютой, и все по-разному. У входа в универсальный магазин стоит человек, ни на кого не глядя и не умолкая, повторяет:

— Чейндж, чейндж, чейндж...— точно маятник.

Рядом с ним его коллега, который никого не пропускает. Он хватает нас за руки, сует деньги.

— Чейндж! — властно требует он.

Третий что-то шепчет на ухо, и трудно от него отстраниться. Доверительно берет за локоть, доверительно, как союзник, подмаргивает и шепчет. Я не понимаю, что он говорит, но мне кажется: «Наконец-то вы пришли, я ведь только вас и ждал. Идемте за угол, и вы все получите, я все для вас устроил».

Валютчики стоят рядом целыми стайками, но не мешают друг другу, не конкурируют. Здесь строгий расчет на характер потребителей. Один ни за что не подойдет к такому, как «маятник», а другой именно такого ищет.

Сто пятый день идет забастовка, начатая мелкими служащими полиции, к которой присоединились два универмага и несколько учреждений. На заборах, на стенах зданий — призывы, с резко выделяющимся словом «страйк». Забастовщики митингуют, ходят по улицам с транспарантами, с жестяными копилками — собирают пожертвования. Большая группа женщин идет по центру проезжей части дороги и несет плакат: «Остановить жен полицейских-штрейкбрехеров».

Забастовщики требуют «человеческого отношения» к себе полиции и увеличения заработной платы. И все это как-то естественно вписывается в городской пейзаж. Ничего удивительного нет: в городе постоянно кто-то бастует.

Мы решили посмотреть знаменитый парк тигрового бальзама, или, как его чаще называют, тигровый сад. Что касается тигров, то их здесь нет и в помине. Сада тоже нет. Есть немыслимое нагромождение гор, пещер, гротов, сделанных из разного стройматериала и окрашенных в бесчисленное количество цветов. Тигровый сад занимает огромную территорию. Это несколько сот сказок и народных преданий, изображенных в бутафорских скульптурных группах. Вот река из бетона, выкрашенная в голубой цвет. Плавают, сплетаются в смертельной схватке фантастические чудовища и рыбы. А рядом в сказочном челне дева, которую выслеживает из кустов юноша. Дальше — бетонное море. Страшные рыбы напали на корабль и поедают людей. Мы обошли меньше четвертой части сада, а я уже насчитал сто двадцать подобных скульптурных групп, в каждой из которых от двух до тридцати фигурок. Целый склон горы занимает «бой белых и черных мышей», в котором около ста фигурок длиною в метр каждая. Здесь и самый «бой», и «санитары», и «лазарет», и «штаб».

В тигровом саду несметное количество «птиц» самых разных раскрасок, величины и видов. «Птицы» на пагодах, на деревьях, на «ледниковой лаве», в кустах.

Большое место занимают виды экзекуций и казней, существовавших когда-то в Китае.

Конечно, все эти фигурки с натяжкой я называю скульптурой, ничего общего с искусством это не имеет. Но сад — сооружение уникальное, и оно передает в сказках и преданиях целую эпоху из жизни народа.

К порту мы подъезжали, когда начало темнеть. Кварталы, где на тротуарах ночуют бездомные, уже затихали. Здесь под стенами домов спят и одиночки и целыми семьями вместе с детьми и стариками. Фонари едва-едва освещают перекрестки. Неожиданно наш шофер так резко затормозил, что раздался визг на всю улицу. Ругаясь, водитель выскочил. Почти под самыми колесами лежал человек с ребенком.

Шофер стал кричать на него, почему улегся на проезжей части, а не как люди, на тротуаре.

Приподнявшись и прикладывая к груди руки, бездомный униженно объяснял:

— Сэр, извините, мой ребенок очень болен, извините, на тротуаре под стенами нечем дышать, а тут воздух от движения машин...

Мешки с цементом были уже выбраны из трюмов, и оставалась только цементная пыль. Это неизбежное зло: при погрузке и разгрузке некоторые мешки рвутся, пробивается цемент и сквозь швы.

Мешки разгружали малайцы, сингалезцы, индусы. Пыль собирали малайские женщины. Женщинам платят меньше, это легкая работа.

Цементной пыли было много. Она вздымается и садится, она движется, как густой туман. В этом тумане — женщины в черных широких штанах и блузках навыпуск. Их подгоняли, чтобы не держать судно и не платить за простой. Они работали очень быстро: насыпали лопатами цемент в мешки. Но если работать быстро, новые клубы цемента вздымаются в воздух, и долго ждать, пока пыль осядет.

Температура в трюме около сорока градусов. И блузки и штаны на грузчицах мокрые. Мокрые совершенно, будто их окунули в воду. Мокрые лица и косынки.

Уже слой цемента, который можно брать лопатами, снят, замелькали в руках веники. Надо быстрее подметать, чтобы собрать весь цемент. Но быстро нельзя, цемент поднимается вверх. Надо собрать все, чтобы не осталось ни одной горсти. Женщины становятся на колени, садятся на пятки и сгребают руками цемент. Так меньше поднимается пыли. Мокрые рубахи схвачены цементом. Черные мокрые лица превратились в цементные, как скульптура. Это легкая и дешевая работа. Специально для женщин...

Я смотрел на их работу, когда кто-то крикнул: «Голуби!» Действительно, над судном пролетела стайка голубей. Но я не

понял, почему это вызвало большое возбуждение моряков. И мне рассказали историю, происшедшую здесь, в Сингапуре.

На корме была голубятня. В ней жили восемь белых голубей. Весь экипаж любил их. Но нельзя сказать, будто личный состав судна вообще был неравнодушен к голубям. Дело здесь в другом.

Если в рейсе у человека плохое настроение, он всегда найдет на ком отыграться. Можно ни за что накричать на подчиненного, если по штату не положены подчиненные, можно придраться к товарищу. Наконец в запасе есть повар, и никто не запретит походя заметить ему, будто его борщ никуда не годится. Одним словом, излить на кого-нибудь свое недовольство есть широкие возможности. И это хорошо. Не зря восточная пословица гласит: «Если в сердце мужчины гнев, пусть он выйдет бранью, но не оседает на сердце». Да и не только старые восточные мудрецы это знали. Об этом же говорят последние открытия медицины: плохое настроение должно иметь внешний выход.

А вот как быть с нежностью? Она есть у всякого живого существа. Но выхода для нее в море нет. Она не растрачивается: не на кого растрачивать. Не станут же моряки нежничать друг с другом. Поэтому нежность скапливается и переполняет душу. И если есть на судне животные, вся она достанется им. На «Солнечногорске», например, жил Уран. Откровенно говоря, просто недалекая дворняга. Но каких только высоких и благородных качеств в нем не находили! И породистый, и умный, и добрый, и еще бог знает что. И как только его не называли! Стоило Урану не доесть кусок мяса, как на ноги поднимался весь экипаж: не заболел ли?

Такое, если не более нежное, отношение было и к голубям. Они того стоили: гордые белые красавцы.

На каждом судне есть излюбленное место, где собираются моряки, свободные от вахт. Таким излюбленным местом был уголок возле голубятни, сооруженной прямо на палубе и примыкающей к кормовой надстройке. Едва ли не главной темой были голуби. Каждому из них дали имя, изучили их характеры и повадки, отыскивали все новые и новые достоинства.

Поначалу кормили голубей все, кто хотел. Потом решили, что это не дело, и составили расписание, кто и когда должен кормить, и вывесили его на доске объявлений. И все с нетерпением ждали своей очереди. Потом постановили не тискать голубей своими грубыми руками и не брать в рот клюв, потому что это не игрушка, а живые существа и надо совесть иметь.

Подобное самоограничение было в тягость каждому, но все пошли на это из-за любви к голубям. Люди стали по-другому проявлять свои чувства. По почину старшего матроса, который на судне одновременно и плотник, стали украшать голубятню. Моряки выпиливали из фанеры замысловатые узоры для подоконников, сооружали новые кормушки. Токарь выточил всякие украшения из медных прутиков и шариков, которые надраили так,

что они блестели ярче пояска телеграфа на капитанском мостике. Голубятню покрасили, а потом покрыли лаком в три цвета, и она стала похожей на сказочный теремок.

Особую заботу о голубях проявляли перед непогодой. Голубятню укрывали брезентом, ограждали щитами, чтобы не била волна. Во время шторма то и дело проверяли, все ли в порядке. А когда кончался шторм, прежде всего бежали к своим любимцам.

На подходах к тропикам горячо и очень серьезно обсуждали вопрос, как пустить в голубятню кондиционированный воздух. И, словно в знак благодарности, голуби отлично переносили и шторм и тропики, хотя охлажденный воздух так и не удалось подвести к их жилищу.

К Сингапурскому проливу судно подходило перед вечером. По радио передали, что через пять минут на палубе в районе четвертого трюма начнется профсоюзное отчетно-выборное собрание. Именно в этот момент и произошло непоправимое. По чьей-то преступной халатности дверь голубятни осталась незапертой, и порывом ветра ее распахнуло. Голуби взмыли. Затрепетали на тусклом солнце крылья. Точно слепые, птицы метались то в одну сторону, то в другую, пока не выбрали направление: они летели на отчетливо видимый остров.

Люди точно окаменели. Они стояли на палубе, надстройках, на люках в каких-то странных позах и, пораженные, смотрели, как улетают белые голуби. Еще некоторое время видели в небе движущиеся пятнышки, а потом и они исчезли.

Никому не хотелось говорить. Никто не стал искать виновников. Молча бродили по палубам, молча заглядывали в осиротевшую голубятню. И никто не решался повторить приглашение на собрание, хотя срок давно прошел.

Потом кто-то робко заметил, что хорошо бы бросить якорь. Может, еще вернутся. Но все понимали, что бросать якорь нельзя. Даже изменение скорости должно быть занесено в вахтенный журнал. А для остановки требуется еще и объяснение. А как же объяснить? Голубей ждали? И все поняли, что никогда уже не вернутся белые голуби.

За весь рейс это был первый вечер, когда не играли в домино. Пусто было и в музыкальном салоне.

Обычно приход в порт вызывает большое оживление на судне, особенно в такой крупнейший узел на путях мирового флота, как Сингапур. На этот раз оживления не было.

Как и всегда, причалы были забиты судами. Тесно оказалось и на рейде, где на рассвете бросили якорь.

И вдруг по всему судну из репродуктора разнесся голос вахтенного штурмана:

— Справа по борту со стороны города вижу голубей.

Это были белые голуби. Они сделали два круга над портом, где стояли сотни судов, и опустились на родную палубу.

Больше никогда не запирали голубятню.

ДЖОРДЖТАУН

Мы покидали Сингапур поздно вечером. Шли вдоль причала, растянувшегося на несколько километров. Ни одного свободного места: пароходы, теплоходы, турбоходы. Флаги десятков стран.

Город удаляется, но еще долго видны хорошо знакомые теперь огни Сингапура. Бьется в огненной рекламе Британский торговый дом, сверкают контуры винных бутылок на крыше ночного клуба, неоновая фигура на коммерческом банке сулит богатства.

Шумит ночной Сингапур. Бананово-лимонный Сингапур. Город церквей и притонов, курильщиков опиума и бродяг, нищий город, где схлестнулись в борьбе за каучук и олово тресты, концерны, банки главных стран капитала и китайских миллионеров. И над городом, забивая мишурный блеск, вспыхивает как удар молнии: «strike».

На палубе, в районе четвертого трюма, идет комсомольское собрание. Моряки давно привыкли и к этим рекламам и к забастовкам, и никого не отвлекает нервная суета города.

«Физик Вавилов» берет курс на остров Пенанг в порт Джорджтаун. Как и в Сингапуре, там военно-морская база Англии. Пенанг — это тоже остров олова и каучука, но это тихий остров и тихий город с величественными, в зелени горами, куда ведет шестикилометровый фуникулер, где все блага тропиков и температура летнего Подмосковья. И где бы в Малайе ни находились предприятия американцев, англичан и китайцев, их хозяева селятся на острове в порту Джорджтаун.

Еще на дальних подходах к порту бросается в глаза странное сооружение, похожее на разграфленную в клетку стену высотою в двадцать этажей. Будто исполинский тетрадный лист «в арифметику», и в каждой клеточке — огонек: синий, красный, зеленый, голубой... Это дом американцев у самого порта. Но живут они не здесь. Мы увидели позже, где они живут.

Городок небольшой, чистый, весь в тропической зелени. Нет здесь ни сингапурской сутолоки, ни черных от грязи лотков. На каждом шагу аккуратные банки. Их так много, что можно подумать, будто все население с утра и до вечера только тем и занимается, что совершает финансовые операции. Здания банков чем-то напоминают посольские особняки. Может быть, оригинальной архитектурой, балкончиками, башенками и зеленью за оградами или сверкающими медью пластинами с выгравированными названиями банков: английский, китайский, американский, гонконгский, коммерческий, торговый, промышленный, колониальный и еще десятки названий. А может быть, кажутся эти особняки посольскими, потому что вокруг них тихо. Ни людей, ни шума. Только блестящие швейцары дремлют у дверей да важные полицейские испытующе провожают вас взглядом.

И не одолевают валютчики. Их много на улицах, но они не такие, как в Сингапуре. У каждого закрытый стеклянный лоток,

похожий на большой аквариум, облепленный изнутри денежными знаками многих стран. Здесь можно купить и продать любую валюту капиталистического мира. Валютчики стоят у своих лотков, никого не зазывая и не останавливая, спокойные и солидные. И так подчеркивают собственное достоинство, что можно подумать, будто это памятники.

Вместе с группой моряков мы остановились возле полупустого кафе, советуясь, перекусить ли сейчас или побродить еще часок по городу и «нагнать» аппетит. К нам подошел рикша, шикарная коляска которого стояла рядом, и предложил свои услуги.

Мне давно хотелось поговорить с рикшей, но не получалось. Я предложил ему пообедать с нами, и, к моей радости, он согласился.

Человека этого звали Каба. На вид лет тридцать. Держался с достоинством, вежливо, но отвечал на вопросы односложно. Беседы не получалось. Разговорился Каба после второй рюмки «Белой лошади». Мы говорили о его профессии.

Когда-то в ходу была только тяжелая коляска на толстых деревянных колесах с толстыми оглоблями для человека. С течением времени ее облегчали, колеса стали приближаться к велосипедным. Но главное оставалось неизменным: в оглоблях — человек, а значит, низкая скорость.

И вот создаются коляски на велосипедных педалях. Скорость теперь значительно увеличивается, но появляются новые «неудобства». Раньше седок возвышался на сиденье, а рикша был где-то внизу, на уровне ног пассажира. А теперь, видите ли, рикша поднялся, уселся в седло, заслонив своей спиной перспективу. Не годится.

Появляется новая конструкция. Место рикши сбоку. Расположение людей, как на мотоцикле с коляской. Но это уже вовсе шокировало взыскательных ездоков. Они не пожелали сидеть рядом с рикшей, который тяжело дышит, особенно на подъемах, или, еще того хуже, потеет.

И снова переделывается коляска. Теперь место рикши устраивает всех. Оно позади ездоков. Это последнее достижение «техники». Когда над седоками поднимают тент, чтобы их не беспокоило солнце, рикше не очень хорошо видна дорога. Но это уже его дело. Он вполне может наклоняться то в правую сторону, то в левую и смотреть, что делается впереди. О таких пустяках рикша не думает. Его волнует другое: конкуренция.

Между рикшами идет бешеная борьба за ездока. Они изучают его вкусы, привычки, прихоти. Не всякий ездок сядет в первую попавшуюся коляску. Он хочет, чтобы она была красивой, на мягких рессорах, хочет, чтобы его везли быстро.

Мы слушали Кабу, поглядывая сквозь открытую дверь на его коляску. Сверкают на солнце хромированные спицы, горят медью фонарики, бьют в глаза голубые сиденья и зеленые коврики из

синтетики. Коляску Каба берет в аренду у владельца большого парка.

Конечно, на такой коляске всякий захочет прокатиться, но арендная плата за нее велика, значит, и с пассажира надо брать больше. А если пассажиров, готовых платить больше, не окажется? Если не заработаешь на арендную плату?

Ну что ж, хозяин парка пойдет навстречу рикше, подождет. Может, завтра человеку повезет и он заплатит сразу за два дня. И еще день или неделю подождет хозяин, чтобы помочь человеку. Пусть рикша постепенно выплачивает долг, вместе с процентами, которые набегут. Теперь ведь рикша уже не уйдет к другому хозяину. Не уйдет, хотя условия аренды для него будут ухудшаться и придется все глубже залезать в долги. Именно поэтому он не сможет уйти. И именно поэтому хозяин будет все больше обретать над ним права. Потом обоим станет ясно, что никогда человек не вырвется из долгов, и между ними устанавливаются новые отношения. С рикши снимаются все заботы. Ему больше не придется думать о том, как распределять заработанные деньги, сколько отдать в счет долга, сколько на жизнь семье и как выкроить хоть что-нибудь и остановиться у лотка перекусить. Хозяин будет забирать теперь каждый день все заработанные деньги и раз в неделю выдавать ему, сколько найдет нужным.

Хозяин сам скажет, что выезжать из парка надо на рассвете, а возвращаться поздним вечером. Если рикша с заискивающей улыбкой, шатаясь от усталости, вернется раньше времени, хозяин выгонит его снова в город, чтобы не симулировал, потому что на стоянках он достаточно отдыхает, и чтобы не возвращался в парк, пока не принесет дневную выручку, которую ему тоже устанавливает хозяин, если для этого придется работать даже всю ночь. И рикша, освобожденный от всех забот, будет ездить по городу, искать пассажиров и с ненавистью смотреть на таких же, как сам, которые мешают ему быстро заработать определенную хозяином сумму. Он будет думать только о хозяине, потому что сам он теперь принадлежит хозяину, как и коляска, на которой ездит.

Каба не жаловался на судьбу. Он видел, с каким интересом мы его слушаем, и говорил о тонкостях своей профессии. Оказывается, очень важный «критерий» для ездока — мышцы рикши. И тот, у кого они крепкие, носит шорты или высоко закатывает штаны и рукава рубашки, старается незаметно напрячь мышцы, когда подходит к стоянке ездок, чтобы тот видел крепкие руки и ноги. Ну, а кому нечем похвастать, надевает длинные брюки и рубаху с длинными рукавами.

Опытный рикша не пойдет на любую стоянку, близ которой случайно оказался. Он выбирает место в зависимости от своей коляски. Если не сверкает она никелем и медью, нет на ней автомобильного сигнала и поскрипывают рессоры, нечего ему делать у подъездов центральных гостиниц и в богатых кварталах.

Он пойдет на окраины, на базары, туда, где пассажир менее взыскателен и платит втрое, вчетверо меньше, чем богатые ездоки.

О трагедии своей жизни Каба говорил с горечью, но спокойно, как человек, смирившийся со своим положением. В том, что хозяин превратил его в раба, Каба винил только себя. Хозяин ни при чем. Каба должен ему деньги и обязан отрабатывать. Просто два года назад, когда впервые решил взяться за профессию рикши, сам совершил крупную ошибку: неправильно выбрал коляску. Ведь можно было взять не самую красивую и самую дорогую, а плохонькую, дешевую. Не смог определить, на какой больше заработаешь. А теперь дела не поправишь. Через год-два, когда сил станет меньше, хозяин отберет эту шикарную коляску и передаст ее новому рикше, молодому и сильному, а Кабе достанется какое-нибудь старье. Но поправить свои дела будет поздно.

Каба не казался человеком темным и забитым. Поэтому поражало его заблуждение. Хотелось сказать: «Да не в коляске же дело, черт возьми! Дело в хозяине, который опутал, превратил в раба честного и доброго человека». Но разве мы могли это сделать? Подслушает кто-либо наш разговор или запишет на пленку, вот и готово обвинение в политической пропаганде, направленной против существующих в стране порядков.

Мы тепло, по-дружески распрощались с Кабой. Идя по улицам, другими глазами смотрели на рикш. Они стали нам ближе.

Я не раз видел, как зазывают покупателей торгаши, ремесленники, проститутки, как предлагают свой товар валютчики. Но никто не просит потребителя так униженно, как рикши. Они зовут вас с мольбой, что-то шепчут, в чем-то убеждают, кланяясь и стараясь заслонить собой дефекты коляски. Они ревниво косят глазами на своих конкурентов и просят, как подаяния: возьмите меня.

Завидев стоянки рикш, мы далеко обходили их. Мы ничем не могли помочь людям.

И еще с двумя профессиями мы познакомились в Джорджтауне: гадальщиками и писарями.

Мы остановились возле старика с большими, торчащими во все стороны волосами, который изучал под увеличительным стеклом ладонь мелкого торговца фруктами. Старик то и дело заглядывал в какой-то справочник, находил на рисунке ладони точно такие конфигурации, как у клиента, и показывал их ему, чтобы тот сам убедился. Старик говорил:

— Вот линия богатства вашего возраста. Она не уходит за пределы ладони, а обрывается. Значит, разбогатеете вы не на том свете, а на этом. Длина линии, видите, тридцать шесть миллиметров. Значит, богатство придет к вам через пять лет, поскольку сейчас вам тридцать один...

Когда сияющий торговец, хорошо понимающий, что теперь-то он обеспечен богатством, ушел, мы предложили старику оплатить

время, которое он на нас затратит, но вместо гадания пусть подробнее расскажет о своей профессии.

Это оказался веселый человек. Он охотно согласился. Сказал, что, пока нет клиентов, готов ответить на наши вопросы и ничего ему за это не надо. Он сам заинтересован, чтобы больше людей знали о нем.

Он индус, зовут его Гама. Назвать свой возраст отказался, отделался шуткой. Зарабатывает хорошо, гордится своей профессией, рассказывает о ней с увлечением.

Прежде всего Гама отметил, что гадательное дело — это наука, и те, кто окружает ее ореолом таинственности, мистики, колдовства, просто аферисты, подрывающие авторитет подлинных ученых. В любой отрасли науки каждый ученый имеет свои открытия и свои тайны, которыми, конечно, не станет делиться с другими. Не будет же, например, известный врач рассказывать кому-нибудь о собственных методах лечения. Так и гадальщики. У каждого есть свои тайны, но у всех одна основа — наука. Любой трудолюбивый человек может лет за десять — пятнадцать хорошо освоить дело.

Мы слушали, стараясь не улыбаться, чтобы не обидеть Гаму. Впрочем, как потом мы убедились, нелепая версия, распространяемая гадальщиками, будто они ученые, не так уж смешна. Это продуманная тактика. Ходить к колдунам охотников нашлось бы куда меньше, чем к ученым. В этом одна из причин, заставляющая людей верить в гадальщиков.

Гадают только по руке. Для всеобщего обозрения, будто образцы снимков уличного фотографа, выставлены рисунки ладони с отчетливо нанесенными линиями и их значениями. Тут же лежат учебники, справочники, схемы. Гама показал нам краткий «Толкователь линий» и «Монографию» с бесчисленным количеством иллюстраций, в том числе цветных. Кстати, подобной «литературы» много. Даже в солидных книжных магазинах мы видели пособия по «гадательному» делу, великолепно изданные, с множеством рисунков на атласной бумаге.

Мы рассмотрели схему двух ветвей женской ладони: любви и богатства. Каждая едва заметная ниточка, оказывается, имела значение и в какой-то мере определяла судьбу. Мы нашли линии «легкого поведения», «страстности», «количества замужеств» и еще невесть каких значений, и каждая сопровождалась пространными комментариями. Особенно выделялась линия, определявшая, когда девушка выйдет замуж. Тоненькие ниточки указывали степень богатства будущего мужа.

Сначала Гама давал нам объяснения солидным тоном. Постепенно он оживлялся и приходил в восторг, будто сам верил в то, что говорил, будто только что узнал о таких неисчерпаемых возможностях определять человеческую судьбу.

Ветвь богатства оказалась немыслимым переплетением линий. Его источников так много, что совсем нетрудно подобрать один

из них для любой ладони. Разбогатеть можно от брака, по наследству, в результате наводнения, пожара и других бедствий людей, благодаря случайной находке, спасению человека, рождению вундеркинда и еще десятка причин.

Любому человеку легко предсказать богатство. Надо лишь узнать его возраст и пообещать не золотые горы, а просто безбедную жизнь, когда не надо думать о куске хлеба, то есть предсказать именно то, о чем мечтает большинство клиентов. И пообещать не на том свете, а скоро, ну хотя бы лет через пять, и хорошо запомнить человека, чтобы спустя год, когда тот снова придет проверять свое счастье, сделать вид, будто впервые в жизни видит его, и предсказать богатство через четыре года. И уйдет счастливый человек, чтобы терпеть нужду и голод, терпеть не ропща, потому что теперь уже бесспорно придет богатство. Он будет рассказывать знакомым и случайным встречным, у какого удивительного гадальщика был, и станет посылать к нему таких же, как сам. И если это будет девушка двадцати лет, Гама обязательно найдет у нее линию, которая точно укажет, что судьба улыбнется ей в двадцать пять.

Второй кит, на котором держится гадательное дело,— это реклама. Широко распространяемая, навязчивая, убедительная.

На стволе дерева, близ которого расположился Гама, в рамках под стеклом висели выдержки из писем, якобы полученных им. Вот некоторые:

«В сроке моего замужества вы ошиблись на полгода, а все остальное совпало точно. Муж действительно оказался со средствами. Посылаю вам в подарок нашу фотографию». И тут же снимок типа старых рождественских открыток. Чуть ниже второй отзыв:

«Я последовал вашему совету, и сын поднялся с постели. Теперь он ходит, и я счастлив. Я никогда не забуду вас».

Следующее письмо:

«С тех пор как я был у вас, прошло три года, и все сбылось. Вы великий маг».

Подобных выдержек из писем штук тридцать. Это лишь одна из форм рекламы. На большом здании с торцовой стороны, где нет окон, висит щит высотой в четыре этажа. На нем гигантская раскрытая ладонь с линиями судьбы. Слева надпись: «Не живите вслепую! Идите к гадальщику, и он научит, как сделать жизнь счастливой».

Подобную рекламу можно увидеть в витринах магазинов, на автобусах, в скверах и даже в кино. Раскрытая ладонь преследует вас повсюду и делает свое дело.

Невыносимо тяжел труд на каучуковых плантациях, падают люди на оловянных рудниках, давят мелких торговцев концерны и тресты...

«Не живите вслепую! — кричит раскрытая ладонь.— Идите к гадальщику, и он научит, как сделать жизнь счастливой!»

И люди идут. Идут, чтобы услышать слова надежды на лучшее. И верят в эти слова, потому что очень хочется лучшего.

Вторая широко распространенная уличная профессия — писари. Что-то похожее на стряпчих старой России. С этой профессией я впервые столкнулся много лет назад в Сеуле. Сидит человек у пагоды, под деревом или в маленькой будочке, похожей на скворечник, и пишет для неграмотных людей прошения, жалобы, письма. Там все это выглядело кустарно. Писари, вооруженные тонкой рисовой бумагой и палочками туши, умели только красиво рисовать иероглифы и редко могли дать совет неграмотному человеку.

Другое дело — писари в Джорджтауне. Хотя устраиваются они тоже на улицах, где придется, но у них складной столик, на котором стоит пишущая машинка, и так же, как у гадальщика, несколько стопок справочников, сводов законов, книги по юриспруденции.

Писари сидят под большими зонтиками, похожими на грибки кафе, солидные и важные, слушая своих клиентов глубокомысленно, степенно задают вопросы. И хотя они, как и сеульские писари, не имеют ни юридического, ни другого образования, но в своих делах поднаторели и могут дать дельный совет. И получат они с клиента за этот совет, за составление бумаги, за самое бумагу, за перепечатку. Люди они не гордые и, если им просто диктуют письмо, возьмут дешевле, но в ходе диктовки обязательно предложат какие-то красивые слова, и, обрадовавшись, клиент согласится и не сразу сообразит, что за эти красивые слова придется платить дополнительно. Видели мы в Джорджтауне и писаря с юридическим образованием, безработного адвоката, который, отчаявшись найти работу и не имея средств открыть частную контору, пошел в уличные писари. Товарищи по профессии не любят его, боятся его конкуренции.

Мы бродили по Джорджтауну, наблюдая уличную жизнь, пока не попали в квартал миллионеров, растянувшийся вдоль набережной.

Во многих портовых городах, где мне довелось побывать, набережные и прилегающие к ним улицы устроены одинаково: берег, одетый в гранит или камень, вдоль него широкий тротуар, потом шоссе для всех видов транспорта, снова тротуар и, наконец, дома. Такие набережные я видел в Гаване, Александрии, Касабланке, Бомбее и других городах. Набережная, как правило, любимое место гуляний. Здесь встречаются и радуются жизни влюбленные, долгими часами сидят и любуются морем, и вздыхают о промчавшейся молодости старики, здесь бурлит людской поток в дни праздников, и в любое время как постоянную принадлежность берега увидишь здесь бесчисленное количество рыбаков.

Все это понятно и естественно. Набережная тянет к себе и умиротворяет, и наводит на мысли, очень разные для каждого, но

именно те, которые приятны каждому. Она никогда не бывает одинаковой. Ни берег, ни волны, ни открывающаяся панорама моря. Приходят и уходят корабли, доносятся на берег слова команды с капитанских мостиков, трепещут флаги различных стран, и невольно уносишься в эти чужие и далекие страны и ощущаешь перед собой весь мир.

Набережная в Джорджтауне отличается от всех, виденных мною. Особняки китайских миллионеров примыкают непосредственно к берегу. У каждого — лично ему принадлежащий участок моря с купальнями, пристанями, яхтами, беседками на береговых скалах. Особняки, парки, ограды заслоняют бескрайние водные просторы так, что с улицы и не заподозришь их близость. Миллионеры своими особняками отгородили от малайцев море.

В этом квартале живут владельцы каучуковых плантаций, оловянных заводов и рудников, банков и крупных торговых фирм. В наиболее жаркие месяцы они переезжают в свои летние резиденции в горах.

Джорджтаун расположен у подножия величественных гор, покрытых тропическими растениями. На тысячу метров поднимается над уровнем моря вершина, куда ведет фуникулер длиною в несколько километров. В горах, в непроходимых зарослях тропиков вырублены площадки для летних резиденций миллионеров. На искусственных плато построены особняки. Поднимаешься на фуникулере и видишь: то далеко справа, то слева в лиановых зарослях мелькнет яркий автомобиль по узкой ленточке асфальта, или голубое озерцо бассейна, или каменная башня, возвышающаяся над королевскими пальмами.

Чем ближе к вершине, тем шикарнее особняки. Они далеко отстоят друг от друга, и вокруг каждого свои джунгли, свои парки, личные асфальтированные дороги владельцев резиденций. Здесь, в горах, другой мир, другой климат. Нет тропической жары, воздух пахнет зеленью, и летают удивительные, будто раскрашенные детьми птицы.

Мы сошли с фуникулера на конечной остановке, на вершине горы. Спортивные площадки, рестораны, гостиницы, бары, игорный дом. Величественная панорама. Где-то далеко-далеко внизу, километрах в десяти, море, порт, город. Виден весь остров Пенанг. Весь в зелени, красивый, как в сказке. Страшный остров Пенанг, где гибнут малайцы, задыхаясь от удушливых газов оловянных заводов и рудников, на каучуковых плантациях, где и поныне свистит плеть надсмотрщика, на мостовых города, где идет кровь горлом у рикш, не выдерживающих состязаний с автомобилями.

Малайцы построили особняки и фуникулер. Малайцы никогда не поднимаются на фуникулере. Подъем и спуск стоит три с половиной доллара. Три с половиной доллара — это неделя жизни для малайской семьи.

Нам хотелось посмотреть, как они работают. На оловянные

заводы нас не пустили. Сказали, что можно посмотреть каучуковую плантацию. Образцовую плантацию господина Ли Ю, который охотно показывает иностранцам свое хозяйство. Показ начинается с ресторана, где господин Ли Ю постоянно находится. Ресторан — его изобретение и его гордость.

Ресторан действительно необычен. Первая половина здания похожа на гостиницу. Посетителю предоставляется комната с большой ванной, набором легких и купальных костюмов. Здесь можно принять душ и переодеться. Вход в зал ресторана обычный. Но противоположной стены нет. Перед вами — пляж с золотым песком, пальмы, сосны, кусты. И повсюду столики — в зале, под деревьями и просто на воде. Люди за столиками — в купальных костюмах. Это китайцы, англичане, американцы. В белых, застегнутых на все пуговицы куртках — малайцы. Это официанты. Они подают на стол и внимательно следят за посетителями. В перерывах между рюмками и бокалами посетители бросаются в воду, и надо не упустить тот момент, когда они выйдут, и подать свежее полотенце. Не успеешь на несколько секунд, и это будет последним днем работы у господина Ли Ю.

Господин Ли Ю встретил нас радушно.

— Видели? — восторженно развел он руками.

— Видим,— ответили мы.— Но нам еще хочется посмотреть плантацию. Можно?

— Конечно, конечно, но не надо торопиться, здесь так хорошо.

— Да, но нам разрешено быть в городе только до пяти вечера. Осталось всего два часа.

— Значит, вы русские! — поразился он. Улыбки на его лице больше не было. Он поднял палец. Подбежал служащий.

— Покажите плантацию,— сказал Ли Ю.— Это русские.

Мы сели в машину. Гид был любезен и словоохотлив. Из его слов мы поняли, что каучуку принадлежит будущее мира. Поняли, что капиталы надо вкладывать в каучук. И окончательно нам стало ясно, как завладеть миром: взять в свои руки каучук.

На большой скорости проехали минут пятнадцать по лесной дороге и остановились возле большого дерева гевеи. Ствол толстый, едва обхватишь руками. Светло-серая тонкая и гладкая кора, ярко-зеленые небольшие листья, плотные, как у фикуса, желтые цветы на ветках.

Коротким острым ножом наш гид срезал узкую полоску коры вокруг всего ствола, начав на уровне головы с уклоном в сторону корней. По всему надрезу мгновенно выступили белые капельки, будто повесили на дерево ожерелье. Внизу, где соединились линии надреза, вбил колышек и подвесил на него банку. Капельки, похожие на густое молоко, выступали, как слезы из глаз. Они становились все больше и, дрогнув, покатились, догоняя друг друга по идущему спирально вниз надрезу, по колышку в банку. И снова выступали капельки.

Казалось,дерево плачет. Да и в самом деле «каучук» в пере-

воде на русский означает «плачущее дерево». Это очень точное название. Стоит перед тобой живое существо и катятся слезы. Его жалко.

Наш гид рассказывал историю каучука. В 1541 году испанец Гонсало Писарро, младший брат завоевателя Перу, и его помощник Орельяно снарядили экспедицию в Эльдорадо за золотом. Измученные джунглями, у реки Агуарико построили бригантину. Но не было смолы. Индейцы показали дерево, сок которого вполне заменил ее. Это и был каучук. Но о нем забыли. Спустя сто пятьдесят лет французский математик Шарль Мари де ла Кондамин, возвращаясь по Амазонке из экспедиции по измерению дуги меридиана, увидел у индейцев кувшины, мячи и другие странные предметы. Он узнал, что они сделаны из сока дерева. Это была гевея. Вернувшись на родину, Кондамин написал об этом книгу.

Прервав гида и поблагодарив за столь ценные сведения, мы напомнили, что хотели бы посмотреть плантацию.

— Да-да, сейчас едем,— заверил он нас,— вы только послушайте, как это интересно.

И мы узнали, что первым товаром из каучука была карандашная резинка, на которой ее изобретатель англичанин Джозеф Пристли нажил состояние. Но далеко позади оставил его английский химик Чарльз Мак-Интош. Делая эксперимент, он случайно вымазал свой сюртук раствором каучука и увидел, что это место стало водонепроницаемым. А уже через год он пустил фабрику по производству макинтошей. Первые галоши, оказывается, появились в 1880 году, и снова кто-то разбогател, на этот раз на галошах.

Мы еще раз как можно вежливее напомнили о своей просьбе. И тут наш гид развел руками. Ему велено показать нам только дерево гевеи. Так мы и не увидели производство каучука. Но мы видели малайцев, возвращавшихся с работы. Они брели по дороге почти голые, лишь с маленькой набедренной повязкой, как черные скелеты. Это коптильщики каучука. Они ставят на огонь сотни банок с соком гевеи и обкладывают их сырыми ветками. Надо, чтобы не было огня. Каучук надо коптить густым дымом. Надо больше черного дыма. Надо непрестанно подкладывать сырые ветки. Дымом заволакивается все вокруг, но нельзя закрыть глаза. Надо, чтобы нигде не пробился огонек. В клубах дыма мечутся закопченные дочерна люди. Это малайцы добывают на своей земле каучук для иностранцев хозяев.

«Не живите вслепую! Идите к гадальщику, и он научит, как сделать жизнь счастливой!»

ТАКИЕ СУДЬБЫ

Из Джорджтауна мы еще раз заходили в Сингапур, а затем направились в Японию.

В префектуре Фукуока на берегу Симоносекского пролива

распластался порт крупного промышленного центра Кокура. Здесь я познакомился с группой японок, среди которых и была Юрико. Едва ли доведется еще когда-нибудь ее увидеть, но, возможно, эти строки дойдут до нее и выразят то, чего я не мог, не имел права ей сказать.

Подходы к Кокура красивые. Множество островов и островков то утопающих в зелени, то неприступно скалистых и величественных. Они со всех сторон, и кажется, что плывешь по озеру.

Раннее утро. На мостик доносится тихая, будто заглушенная горами мелодия. То ли наш радист включил японскую станцию, то ли плывет эта мелодия над водой нежная и грустная и слышится в ней жалобное, далекое, несбыточное. И чудятся рисовые поля и голые, согнутые спины, и тяжелая сеть рыбаков, и что-то горькое, безысходное в этой песне, и трогает она душу.

Мы приближаемся к порту. На подходах все те же острова, но, точно корабельные мачты, торчат из них заводские трубы. Застилает горизонт оранжевый дым химических предприятий. Черный туман плывет над всей территорией. А на воде великое множество судов. Это уже не рыбацкие джонки. Это сухогрузы, танкеры, рудовозы, буксиры, плашкоуты, лееры, плавучие краны. Будто перекресток огромной транспортной магистрали. Это и в самом деле транспортная магистраль десятков, сотен заводов. К одному из них, к причалам концерна Сумитомо, идет и наш турбоход.

Первым на борт поднимается инспектор морской полиции. Он поздравляет нас с благополучным прибытием из далекого и трудного плавания, и на лице инспектора такая радость, будто осуществилась, наконец, мечта его жизни — увидеть нас в этом порту. И трудно объяснить почему, но ждешь от инспектора еще чего-то. Он говорит, как бы извиняясь:

— Мы постараемся сделать ваше пребывание здесь приятным, но не все зависит от нас. Прошу ознакомить с этим экипаж,— и он вручает обращение полиции, отпечатанное на великолепной атласной бумаге.

Обращение начинается с фразы, набранной крупным шрифтом: «Добро пожаловать в наш порт и город!» Дальше идут вежливые слова, которые инспектор нам уже сказал раньше, и несколько пунктов:

«1. Когда уходите с судна, запирайте на замки все шкафы и двери.

2. В случае воровства или в других случаях, требующих вмешательства полиции, оставьте место преступления неприкосновенным и немедленно сообщите в морскую полицию по тел. № 3-4232.

3. Остерегайтесь подозрительных личностей и особенно женщин легкого поведения. В большинстве случаев они связаны со злоумышленниками».

В этом документе говорится далее, как поступить, если вас

обсчитает шофер такси или произойдет иная неприятность. И создается впечатление, будто эти неприятности, малые и большие, ждут тебя на каждом шагу, как только ступишь на берег. И начинаешь сомневаться, действительно ли здесь повсюду только воры, бандиты и проститутки, и приходит мысль: так ли уж рада нашему приезду полиция?

Инспектор полиции говорит нам, что с особым уважением относится к советским морякам и ценит их самостоятельность. Например, один матрос с пассажирского судна «Урицкий», посмотрев, как живут в Японии, решил остаться там.

Этим словам тоже не верилось, однако и в самом деле такой факт был. Некий молодой человек Виктор Шешелев сбежал с судна и остался в Японии. Второй раз его имя я услышал несколько лет спустя в связи с шумным судебным процессом во Франкфурте-на-Майне по какому-то уголовно-любовному делу, где он выступал в качестве главного героя. А потом он сам рассказал мне в Бонне свою историю.

Говорил, на мой взгляд, откровенно, касаясь порой глубоко интимных вопросов, поэтому я спросил, не будет ли он возражать против опубликования нашей беседы. Он ответил: «Это можно, это пожалуйста», но только чтобы я не растолковывал его слов по-своему, а писал точно как он говорил. А рассказал он вот что.

* * *

Я родился в тридцать шестом году в селе Каменка Тюменской области Тюменского района. Меня часто били. Может, за то, что неохота было учиться, а скорее потому, что отец не просыхал. Правда, и в трезвом виде бил. Не везло мне в жизни с малолетства, потому что невезучим родился. Все-таки за шесть лет учебы до четвертого класса дотянул. Что же, думаю, так себя мучить. Бросил к черту школу и без малого два года жил свободно, без нагрузок. Но и на шее отца не сидел. В нашем колхозе бесхозяйственность тогда была полная, что хочешь, то и бери. Я и приносил каждый день... Ну, не так, как некоторые,— целыми мешками, а чтобы вполне пропитание обеспечить. Потом в нашем колхозе дела пошли на поправку, стало мне труднее. Ну, сам себе думаю, пора профессию понадежнее искать. Подался в Тюменское железнодорожное училище. А медицинская комиссия не пропустила, так как я не был развит ни физически, ни умом. А я так и думал, что опять не повезет. И тут стало внутри у меня все больше разгораться: зачем я родился? У каждого человека есть такое распределение заранее. Что ему положено, оно само выбьется наружу. И каждый сам в себе понимает, кем он должен стать и какие внутри у него силы. Учись не учись, а если ты, к примеру, не родился художником, нипочем рисовать не будешь. А самые знаменитые художники без образования выходят. К примеру, Рубенс — это я уже потом, за границей узнал — был совсем неграмотный. На своих картинах он вместо подписи белую лошадь

ставил. Что ни нарисует, обязательно лошадку присобачит.

Вот так и я. Большую в себе силу чувствовал, только не художника или там музыканта. Меня путешествия с приключениями стали заманывать, как у разведчиков. Ездил бы из одной страны во вторую, в города с небоскребами и другой шикарностью, летал бы из края в край по всей земле и по морям-океанам, чтобы посмотреть все державы и государства. Вот в этом и была моя внутренняя тяга и сила, чтобы оторваться от невезения. Эх, будь я разведчиком, такое бы сделал... Ну, ясное дело, чуток подучиться надо, машины заграничные водить, фотографировать, шифры там разные по радио передавать...

На то и школы такие есть, где обучают всяким приемам. Обучат как следует, дадут заграничный адресок и пароль, которые в голове надо без записей помнить, и будьте любезны — на аэродром без провожатых. Задание, скажут, на месте получите. А там и начнется инкогнито. Едешь, вроде тебе ничего не интересно, а сам примечаешь, где какой завод, фабрика, аэродром и другие дела, которые по тайному заданию на месте дадут. Чтобы подозрения не вызвать, на ночевку в самые дорогие гостиницы заезжать, питание принимать в шикарных ресторанах и тоже не зевать, незаметно приглядывать — что к чему.

Ну, стал я расспрашивать, где находятся школы разведчиков, а сам время не терял, начал готовиться. Я и раньше любил кино про разведчиков смотреть, а теперь по второму кругу пошел. Не просто по любопытству, а примечать, где какие они ошибки делают, когда проваливаются. И все думал: как же здорово там, за границей, машины какие, а квартиры, когда цветные фильмы,— хоть стой, хоть падай.

Расспрашивал людей про школы разведчиков, а они только улыбаются, никто не знает. А один говорит: «Чудак ты, парень, зря стараешься. В такие школы заявления не подают, надо, чтобы они сами тебя заметили и сами определили».

А как же они меня заметят? Может, их и нет здесь, может, они в Москве сидят... Безнадежное получается дело.

Вот так и произошло мое главное разочарование в жизни.

Не стал я больше спорить с отцом и устроился в Тюмени в ФЗО № 8, как он хотел. А какая может быть учеба, если по насилию пошел, да еще не в ту группу, куда сам хотел. Все-таки выучили меня на судоплотника и послали в Тюменский судостроительный завод.

Послали, а у меня раз оно внутри сидит, наружу все сильнее пробивается. Столько я про заграницу передумал, что отказываться от нее, вижу, нет расчета. Махну, думаю, туда, а смотришь, какой-нибудь случай и выведет в разведчики. И про эту мечту думал и днем и ночью, и не давала она мне покоя и разворачивала душу. Мечту свою от всех прятал, только один раз за столом сказал про нее, а мать ударила меня ложкой по лбу и сказала: «От тебя, дурака, ничего умного не дождешься». Ни мать, ни

другие не понимали мою душу, и я стал молчком пробивать дальше свою жизнь.

Из Тюмени уехал во Владивосток и пристроился плотником на Дальзаводе. Поработал немного и перебазировался в Дальневосточное пароходство. Нет, думаю, не такой уж я дурак, если тайком сумел так быстро к цели приблизиться. Взяли меня матросом, значит, в плавание пойду за границу. Еще раз пожалел, что не стал разведчиком,— вот ведь как я сумел тайно действовать.

Отправился в рейс, а судно оказалось каботажным, дальше своих портов не ходит. Ну, сам себе думаю, не такой я дурак, чтобы сразу в загранку проситься. Стал терпеть, пока сами пошлют. А тут беда, про которую я и не подумал. Пришла осень — и забрили меня как миленького в армию.

Пережил я тогда немало, вспоминать не буду. Всякие бродили мысли. И додумался до того, что, может, и хорошо это, что в армию. Отслужу, думаю, в ракетных войсках гвардейских, приеду домой весь блестящий в знаках различия, выберу себе девушку, из тех, что полюбят меня, женюсь и заглушу любовью свою мечту о загранице.

В армии я попал в караульный взвод и охранял склад со старыми автоматами ППШ, и за плечами у меня был такой же старый ППШ. Старшине я почему-то не понравился, и все чаще посылал он меня на кухню посуду мыть. А там повар придирался: и то ему не так, и это не так, и вроде не все ему равно, в какие кастрюли наливать щи. Одним словом, сплавили меня в рабочий взвод, а там определили в кочегарку. Здесь уже особой чистоты не требовалось. Что они там про меня думали, не знаю, только комиссовали раньше времени, а чтобы вернее сказать, сократили из армии за год до срока.

После армии уехал в Таганрог, поработал месяца два и направился в Тюмень. Ни в Таганроге, ни в Тюмени никто меня не полюбил, а также я никого не полюбил. Хотя не знаю и утверждать не берусь, но, как мне показалось, счастья я не нашел, потому что невезение как клещами в меня вцепилось, и, чтобы оторваться от него раз и навсегда, один выход остался, какой я раньше наметил,— уехать за границу. Для этой цели прибыл во Владивосток и поступил матросом в Дальневосточное пароходство.

Приняли меня без рассуждений, как-никак уже работал у них, от них в армию ушел, про то, как служил, им неизвестно, и полное мне доверие. Сразу на судно дальнего плавания назначили.

А дальше все как в сказке. Жизнь ко мне все задом стояла, а тут лицом обернулась. Выясняется, что в Японию идем. Ну, сам себе думаю, держись, Витя. Прибыли в Токио, и в первый же день стоянки отпустили в город на четыре часа. Правда, не

одного, а пять человек, и старшего назначили. Так все кучкой и ходили.

И вот тут-то я окончательно удостоверился, что мечта моя была правильной. Бог ты мой, что в этом городе Токио! Глаза разбегаются, и не знаешь, куда смотреть. Машины — как волны в море. Колышутся по всей ширине и длине, магазины такие, что дух захватывает, хотя и день был, а огней разноцветных столько, будто радуги поразвесили. И девушки молоденькие, красивенькие, так ласково смотрят и знаки делают, зовут, улыбаются. И закружилось у меня в голове от этой шикарности, и иду я как контуженный, а сам себе думаю: только бы не выдать себя, чтобы старший ничего не учуял.

Заходили мы в разные магазины, но все кучкой, и затеряться от них не получалось. А я все сам себя успокаиваю, потому что хотя не трус я, а в дрожь меня все-таки бросало и очень потел. Для виду и я что-то стал покупать, а время уходило, и старший сказал — пора возвращаться. Ну, думаю, завтра я уж по-другому буду действовать. А завтра не получилось. Под утро снялись в свой порт. И еще два рейса неудачных было, пока не перевели меня на «М. Урицкого». В Находке взяли иностранных туристов на Олимпиаду в Токио. Туда шло пять наших судов с пассажирами, которые останутся жить на судах, пока идет Олимпиада. Тоже и наш «Урицкий». Значит, стоять будем долго и момент высмотрю, спешить не буду.

В Токио на первую прогулку отправились четверо. Старшим назначили пятого помощника капитана. Это помощник по пожарной части. Он из новеньких, в Японии не был. И две девушки с нами были из судового ресторана, тоже новенькие. Я им и говорю: «Город я хорошо знаю, сто раз бывал тут. Я вам самые красивые места и самые дешевые магазины покажу».

Это я не просто говорил, а с полным сознанием. Как только посадили мы туристов, им планы Токио выдали. Где какие улицы, площади, стадионы — все помечено. А самой сильной краской все посольства всех стран выделили. И на каждом флажок нарисован. Вот такую карту я и раздобыл и все свободное от вахты время изучал ее в гальюне. У нас на судне плакат такой висел — флаги всех стран мира. Вот посижу, поизучаю флажки, потом с плакатом сверяю. Так я раскрыл, что самое близкое к порту это посольство Америки. Сто раз прошел по карте все улицы и переулки до него, где направо повернуть, где налево — все зарубил себе.

Вот в тот район я и решил, как Сусанин, завести группу. Ну, они пошли за мной, а все получалось не по карте. Там было ясно, а тут перекрестки какие-то, но все-таки где-то поблизости оно должно уже было появиться. И тут я говорю: «Давайте зайдем в этот маленький ресторанчик, тут посидим, перекусим, музыку послушаем». Дальше получилось, как я задумал. «Что ты, говорят, психованный, что ли? Что тебе, на судне мало еды

или музыки, чтобы на это валюту тратить». На такой ответ я весь расчет и тактику строил. Ну, говорю, как хотите, а у меня желудок больной, мне надо по часам питание принимать, как раз сейчас время.

Договорились, что они пройдутся по улице и через полчаса встретимся у этого ресторанчика. Вот так я их и обвел вокруг пальца. Зашел, выпил стакан молока, выглянул, а они уже далеко были. Я и метнулся в другую сторону, свернул в переулок. Побегал с полчаса, совсем заблудился, и только сердце стучит. Что делать, не знаю, а тут смотрю — такси. Остановил его, сел, достал карту туристскую — я ее с собой брал — и ткнул пальцем в американское посольство. Сам молчу, чтобы не понял он, что я русский.

Шофер был старый, надел очки, стал смотреть,я еще раз ему пальцем показал. Он понял, тоже молча вернул мне карту и поехал. Оказалось, посольство совсем рядом, метров пятьсот. Я ему все-таки сто иен заплатил и вышел. Надежная ограда, два японских полицейских у ворот, а во дворе сада на здании громадный флаг — звезды и полосы, как на плакате судовом, только большой очень, больше наших знамен раза в четыре.

И тут что-то со мной стряслось. Нашел же, что искал, радоваться надо, а мне страшно стало. Ну, не так страшно, как если судно гибнет или там бандиты напали, этого я бы не испугался. А тут дух стало забивать, вроде дышать нечем. Будто не думал про это все время, не готовился, а только что такая мысль в голову ударила. И сил нету сразу идти туда. Быстро так в сторону направился, виду не подаю. Точно не скажу, не помню, но вроде вертелось в мозгах: «Что я, сдурел, что ли?» А вернее сказать, не было никаких мыслей окончательных. Перешибали они одна другую, и ни одна до конца не доходила.

Помню, когда первый раз попал в Токио, спустился по трапу, вышел на пирс — вот тебе и заграница. Судно мое, советское, трап мой, а пирс уже по другим законам живет. Спустился на этот пирс и разницы никакой не почувствовал. А тут перед воротами — уже на чужой земле, а все-таки еще дома я, а один шаг за ворота сделаешь по той же самой земле — и уже на всю жизнь другая судьба-дорога. И судно на веки вечные чужое, и к трапу не подпустят.

Пошел, значит, в сторону, а далеко не ухожу, круги возле посольства делаю. Сколько ходил — не знаю, может, пять минут, может, полчаса, о чем думал, тоже не знаю, только спохватился, что со спиной у меня что-то не так. Повел плечами и понял: она не то чтобы вспотела, а вся рубаха насквозь мокрая и прилипла к спине.

Тут и в голове прояснилось. Все-таки, думаю, невезение стало меня немного отпускать. Ребята на судне хорошие, дружные, меня уважают, девчата тоже, веселые, шумливые, их у нас много было — и в ресторане, и в других службах. Самодеятельность

хорошая, я в хоре пел, и тоже не на последнем месте. Друзьями обзавелся, в своем порту во Владивостоке в «Золотой рог» ходили вместе посидеть, потанцевать. Ну ее, думаю, к черту, эту Америку.

Думаю, а самого скребет. Зачем тогда мучился тайно, готовился? Почему отказываться от путешествий и приключений, если уже с таким трудом своего добился — вот они, все дороги, открылись. И опять про ребят подумал и в последний раз махнул — не пойду, вернусь на судно. Пошел было, но стал, как в стену уперся: а что мне теперь первый помощник капитана скажет, который пропуск в город выдавал? Это японские пропуска, их на всю команду дали. Может, не поверит, что я просто заблудился? Может, подумает, нарочно от группы отстал, чтобы сбежать с судна... И я повернул к воротам.

Полицейские остановили у входа, что-то спрашивают. Я им пропуск показал, они повертели его, посмотрели на меня и показали на дом: мол, можешь идти. Прошел по дорожке, поднялся на ступеньки, открыл дверь. Помещение большое, в коврах и люстрах, напротив широкая белая лестница. Справа солдат, слева за столиком девушка. Направился к лестнице, а девушка задержала, вопросы какие-то задает. Я ей тоже пропуск предъявил. Она смотрит и вдруг вся заулыбалась: «Русский, русский» — и побежала к шкафчику. Она немного русский знала. Достает карту Токио и ноготком своим длинным в одно место тычет и объяснения дает наполовину по-русски, наполовину по-своему: ошиблись, говорит, вам вот куда надо, вот русское посольство, а вы вот куда попали — и все ноготком, ноготком красненьким тычет. А потом ведет свой ноготок по карте зигзагами, путь мне в наше посольство прокладывает.

Смотрю я, рот облизываю, а он сухой и шершавый, будто пленкой клеевой покрыт, и она вся чисто потрескалась. Хочу глотнуть, а глотать нечего. Последняя, думаю, распоследняя надежда домой вернуться. Может, это моя судьба ноготком водит. Может, это не в посольство, а в жизнь мою дорога прокладывается. Может, и правда, пойти туда и сказать: так, мол, и так, заблудился, помогите поскорее на «Урицкого» попасть, а то скоро на вахту заступать... А вдруг видел кто, как сюда заходил? На явку, подумают, являлся...

Пока стоял я как тупой, она переводчика вызвала, что-то пролепетала ему, а я так и выпалил: «Не ошибся я, сюда шел».

Повели меня куда-то, а я все стараюсь по бровке ковра без нажима ступать, чтобы не затоптать его. Посадили к столу, напротив — посол или консул, в точности сказать не могу, не знаю. Переводчик рядом. И спрашивают меня, кто такой, откуда и зачем пришел. Я все объяснил как есть на самом деле: матрос, мол, но хочу жить и работать за границей, лучше всего в Западной Германии, но согласен во Франции или Италии.

Улыбнулись они и спрашивают, кем бы я хотел работать.

Плотником, отвечаю, маляром или матросом. Они опять заулыбались: «А что, у вас такой работы нету или вы плохо жили?» Почему же нету, говорю, работы сколько хочешь, и жил в последнее время хорошо. «Тогда, мистер Шешелев,— говорит этот посол или консул,— вам здесь делать нечего, и мы доставим вас на ваш пароход или вызовем сюда вашего капитана, объясним, зачем вы сюда являлись, и пусть сам забирает вас».

Сказал он эти слова, и теперь не спина, а все лицо, чувствую, потом покрылось. Вижу, будто поднимаемся мы с капитаном по трапу на «Урицкого», а весь экипаж, и коридорные, и буфетчицы — все высыпали на палубу и смотрят, как мы поднимаемся. А капитан говорит: «Вот он, полюбуйтесь, предатель и изменник Родины». А они не любуются, каждый будто в лицо хочет плюнуть или в морду дать.

Увидел этот посол или консул мое внутреннее сотрясение и говорит: «Чтобы остаться за границей, надо политическое убежище просить. Нужны объяснения серьезные и обоснованные. Например, притеснения со стороны властей, гонение на вас или родителей, родственников, аресты, тюрьма, а главное, что вы не согласны с советским режимом и с коммунизмом».

Вот, выходит, как дело оборачивается. Ни назад хода нету, ни вперед. В дрейф ложиться надо, куда волна вынесет.

Все-таки собрался с силами и говорю: «Если иначе никак нельзя, делайте как надо, а мне уже все равно».

Потом за мной приехали японцы из министерства иностранных дел и других органов. Они увезли меня в отель и поставили в комнате штатскую охрану, чтобы меня не украли советские агенты или кто-нибудь другой.

Утром пришли другие люди и дали подписывать какие-то бумаги. Стоп, сам себе думаю, какие это такие еще бумаги, а сам иду, подписываю. Да стоп же, сам на себя кричу, куда ж меня водоворот закручивает? А они только подсовывают, а я все подписываю не глядя, как в кинохронике на международных договорах. После заполнял формуляр и отвечал на вопросы. Мне показывали разные графы и говорили: «Вот тут пиши «да», а тут пиши «нет». Я так и делал. А дальше я мало что помню. Каждый день меня куда-то возили и расспрашивали про заводы, фабрики, про Владивосток и Находку и особенно про службу в армии. Ну что я им мог сказать, когда я ничего не знал. Про старые ППШ сказал — не верят, про то, что ничего не знаю,— тоже не верят.

На второй или третий день кто-то постучал в дверь не по-условному. Меня быстро затолкали в ванную, и со мной остался один из охраны. Выяснилось, что меня ищут журналисты, чтобы я подробнее рассказал про коммунистический ад, о чем было с моих как будто слов сообщено в печати. Часов в пять утра меня подняли и вывели черным ходом и увезли в другой отель.

Здесь за чашкой кофе текла у нас непринужденная беседа.

Меня спросили, могу ли я перечислить фамилии всех членов экипажа и сказать, кто чем занимается. Я не мог, так как было много новеньких. Тогда мне дали судовую роль всех членов команды, и я отметил ребят, которых знал. Потом принесли целую гору фотографий. Здесь были карточки всех членов команд всех пяти советских судов, стоящих в Токио, а также спортсменов и туристов, живших на судах. Также были сфотографированы все японцы, посещавшие советские суда,— и гости, и чиновники, и все, кто ступал на борт этих судов. Мне велели отложить снимки тех, кого я знал. Я так и сделал. Они стали расспрашивать о каждом из них.

Потом мне сказали, что представители экипажа «Урицкого» хотят со мной поговорить, и велели подписать бумагу, что я отказываюсь. Хорошо, что велели отказаться. А вдруг заставили бы встретиться! Что говорить им? Куда глаза прятать? Может, первая та была бумага, какую я охотно подписал. Еще несколько дней допрашивали, им не верилось, думали, просто под дурака играю. Когда убедились, что толку от меня мало, передали западногерманским немцам. Перед этим переводчик по-дружески сказал мне: «Американцам ты не нужен, в Японии тебя тоже не оставят, поэтому постарайся понравиться немцам. А они очень подозрительно к тебе отнесутся».

В посольстве ФРГ меня посадили за круглый стол, было много людей, и я думал, как мне отвечать на их вопросы. В это время быстро вошел их главный, все расступились, и он строго сверлил меня своими глазами и так быстро задавал вопросы, что я не успевал отвечать. Потом так близко наклонился ко мне и сказал резко, как приказ: «Тебе надо вернуться назад».

Я не ждал такого, но быстро сообразил, что это игра, которая входит в их политическую логику. Им выгодно на весь мир шуметь, что советские моряки бегут в ФРГ. Не такой я дурак, чтобы не понять, чего они хотят. Поэтому вскочил и закричал: «Нет, не вернусь!» Они заулыбались, стали успокаивать, говорить, чтоб не боялся, никто меня коммунистам не отдаст. Что же я делаю, думаю... А, черт с ними! Они пятьдесят лет так шумят. А в моем-то положении еще думать о чем-то...

Тогда и наступил главный вопрос: почему хочу именно в ФРГ и что я о ней знаю. А что я знал о ней? Ничего хорошего, только плохое. И вдруг стоп, сам себе думаю. Вспомнил последнюю политинформацию на судне. По ней прямо и пошел. Правительство Эрхарда, говорю, ведет борьбу с коммунизмом не на словах, а на деле. Вот запретили компартию и другие их органы, многих коммунистов посадили в тюрьму. Это, говорю, хороший пример от Гитлера, он тоже так начинал, и его поддерживал весь германский народ. Гитлер, говорю, каждому человеку дал хорошую работу, не стало безработицы, а проиграл войну только случайно... И тут один недоделок перебивает меня и спрашивает: «А ты нормальный? Ты один такой в Советском Союзе или еще

есть?» Эти слова показались мне обидными, но я помнил предупреждение переводчика, обиды не показываю, говорю: «Вполне нормальный, и не я один такой».

Больше в тот день меня не трогали, зато за несколько дней потом всю душу выворотили своими вопросами. Снова отвезли к японцам и там сказали: «Сейчас у тебя будет встреча с советским консулом. Отказаться никак нельзя. Но ты не бойся, будут наши представители и охрана. Разговор будет ровно десять минут. Главная твоя задача вопросов не задавать и молчать. Десять минут как-нибудь потерпишь». Нарисовали план комнаты, вот с этой стороны стола, говорят, консул будет сидеть, вот здесь ты, а тут и тут охрана и другие представители. Потом долго объясняли, что, если поддамся на пропаганду консула, дома меня без суда расстреляют, вроде такой закон есть.

Когда вошли мы в ту комнату, человек десять, консул уже был на месте. Совсем молодой, лет тридцать с чем-то. Вот, думаю, везет людям. А он поздоровался со мной, развел руками и, улыбнувшись, говорит: «Что же так много народу, не подеремся же мы с ним, как думаете, Виктор Иванович?» Нет, говорю, не подеремся.

Ему объяснили, что все это официальные представители. Консул справился о моем здоровье и самочувствии, а также сказал, что вся команда за меня очень переживает и что они все меня ждут на судно.

Я чувствовал и понимал, что консул говорил правду. Я знал, вся команда относилась ко мне хорошо, а может быть, даже с уважением. Я еще не успел ответить, как заговорили разные представители, они вроде упрекали консула за пропаганду. Так в суматохе прошли десять минут, консул успел сказать мне еще одну фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь и на каждый день. Я сейчас ее повторю, но, когда прошло десять минут, все вскочили и со всех сторон оттеснили меня от консула и почти что вытолкали побыстрее за дверь.

На другой день — про это я не скоро узнал — всякие газеты и радио кричали, что бежавший от советского режима матрос оказался стойким борцом против коммунизма и дал решительный отпор советскому консулу.

Потом приезжали по очереди американский и немецкий консулы, чтобы попрощаться со мной и сказать напутствие. Американец объяснил, какая сильная, богатая и надежная страна Америка и как хорошо там живут люди. На прощание сказал: «Помни и знай: Америка всегда за твоей спиной, и, что бы с тобой ни случилось, ты найдешь помощь, поддержку и спокойствие». На память он сфотографировался со мной. Потом приехал немецкий консул доктор Шмидт и говорил то же самое про ФРГ и тоже пожелал иметь на память нашу с ним фотографию.

Я понял, что моя жизнь будет обеспечена.

Перед отъездом в ФРГ получаю инструктаж. Сказали, что

меня будут провожать торжественно, даже фотографы придут. Должен быть бодрым, глубокомысленно-деловым, в меру веселым. На аэродроме к самолету должен идти быстро, но не бежать, ни с кем не вступать в разговоры, не отвечать на вопросы. Когда поднимусь на верхнюю площадку трапа, спокойно и величественно повернуться лицом к публике, снять шляпу — мне уже выдали ее, хотя на мою голову она не лезла,— помахать ею красиво над головой, потом решительно повернуться и исчезнуть в самолете.

Мне это здорово на душу легло. Так же только в кинохронике провожают важных лиц. Ну, думаю, с этим-то я справлюсь, важности напустить на себя сумею. Инструктаж давали американцы, хотя отправлялся в ФРГ. Эта мысль промелькнула и не задержалась в голове: какая мне разница. Когда мы спустились, меня затолкали в машину в полном смысле, потому что я ослеп от вспышек фотографов. Со мной сели двое, а остальные разбежались по другим полицейским машинам, и на большой скорости, с воем сирен мы понеслись на аэродром. Там я увидел множество полицейских, а также толпу людей. Когда я вылез, меня снова ослепили вспышки, и я пошел не туда. Меня поймали за руку, повернули, подтолкнули в спину. Я торопился, спотыкался, как слепой, натыкался на полицейских, которые направляли мое движение. А я держал на голове шляпу рукой, чтобы ее не сдуло с макушки. Возле трапа опять ослепили, и я побежал наверх, чуть не упал, но, как мне было велено, на площадке сделал разворот, размахнулся в воздухе шляпой и, не надевая ее, вошел в самолет. У входа стоял человек, который показал, где мне сесть.

Тогда я не понимал, почему такие проводы, почему столько машин, бешеная скорость, сирены, вспышки фотографов. Спустя много времени узнал, что это им надо было для печати, для выгоды своего политического акцента как важного борца против коммунизма.

С посадками на Аляске и в Амстердаме, с разными приключениями я прибыл во Франкфурт-на-Майне и был поселен в однокомнатной квартире необитаемого дома на Мендельсонштрассе. Это был конспиративный дом американской разведки. Среди встречавших меня был американец Линдон, говоривший по-русски. Он познакомил меня с американским разведчиком Вагнером, который будет обо мне заботиться. Кто такой Вагнер и что это за дом, я узнал позже, а пока мне запретили выходить из дома, не велели приближаться к окнам, так как русские агенты могут меня застрелить. Объяснили, на какие звонки и стуки отвечать, пожелали спокойной ночи и ушли.

За столько времени я остался один, и хотя не верил тому, что они говорят, но стало страшновато. Весь трехэтажный дом стоял как пустой. Так я определил в первые три минуты и так заключил через три месяца, что это только кажется. На самом

деле во всех углах тихо сидели люди — или такие, как я, которых прятали, или которые сами прятались, следя за нами. Долгие дни, и ночи, и недели, и месяцы я никого не встретил в этом большом доме и не услышал шороха. Но в тот первый вечер мне показалось, что кто-то сидит за стенами, может, в этих стенах и на потолке устроены глазки, и они поворачиваются за мной, куда бы я ни пошел.

Может, все это чушь, но я рассказываю про это, чтобы вы поняли мое внутреннее содержание. Я подумал: возможно, я сойду с ума или уже стал сумасшедший,— и нарочно стал громко ходить, пошел в ванну, на кухню, открыл холодильник и даже ахнул. Весь он был огромный и полный самыми любыми продуктами питания и бутылками.

И тут я отвлекся от своих мыслей и подумал: вот бы ребята увидели, как я живу, как барин, с креслами, коврами, ванной и таким холодильником, что на весь экипаж хватило бы. А потом опять мне глазки чудились, я резко поворачивался, но ничего заметить не мог. Спал я, как осенний дождик: то идет, то перестает. То дремлется, то спохватываюсь, а то вижу, что лежу и давно не сплю. Когда на следующий день позвонил Линдон и справился о самочувствии, я обрадовался, как родному голосу. Он сказал, что, наверно, я скучаю, потому сейчас ко мне приедет Вагнер. Он и приехал, вежливый, обходительный, веселый, и мне стало совсем хорошо. Он тоже говорил по-русски, мы сделали кофе, и потекла у нас задушевная беседа. Говорили мы на равных, я тоже старался и, как он, клал нога на ногу или разваливался в кресле с чашечкой кофе в руках. На столе было много закусок, и опять я подумал про ребят.

Основательно говорил только Вагнер, а я больше прислушивался и имел на его слова свое соображение. Получалось, что русские агенты стоят чуть ли не у дома и вообще повсюду расставлены и охотятся за такими, как я. А уж если человек сам вздумает вернуться в Россию, его обязательно признают шпионом и без всяких разговоров расстреляют.

Это я вам рассказываю сокращенно, а он про все это во всех мелочах часа три беседовал. Зря только он говорил, потому что я и сам кое-что понимал, а также выходить из квартиры намерения не имел и возвращаться не собирался. Я уже для себя решил без изменений: жилье хорошее, ешь, пей, сколько хочешь, а там видно будет.

На другой день начались допросы. Нет, наверно, допросов не было. Допрос — это когда так строго, официально, с протоколами... А тут просто беседы. Про политику, экономику, литературу, комментарии на различные советские газеты, журналы, книги и членов Советского правительства. Сюда также входят различного рода рассказы, анекдоты, женщины, все это последовательно закрепляется пивом, виски, кофе — кто что любит. А потом завершается общим обедом за общим столом. Такие беседы растя-

гиваются на много месяцев. Но тогда я еще этого не знал. Тогда я только в первый раз пожалел, что нет у меня образования. И когда заходил разговор о музыке или литературе, говорил, что больше всего люблю Чайковского и Пушкина. Когда же начинали разбираться досконально по отдельным стихам или по мелочам музыки, я выражался общими словами, но думаю, они подозревали, что в этих делах я компетентный неокончательно. Я старался все больше по части анекдотов, и они всегда смеялись. В промежутках мне задавали много вопросов.

Иногда два-три человека сразу задавали один и тот же вопрос только в разных вариантах, или один и тот же вопрос, но разные люди. Беседы были на квартире, но чаще всего в другом особняке, куда меня привозили на машине, и там нас обслуживала фрау Габбе.

Меня спрашивали про то же, что и в Токио,— о питании на судне, о тревогах на судне, о комсоставе на судне. Потом о Владивостоке и Находке. Какая глубина бухты Золотой Рог, заходят туда или нет подводные лодки, какие ворота бухты, как они охраняются, есть ли там ракетные корабли — и сто раз про одно и то же. Потом велели нарисовать по памяти бухту Золотой Рог. А я даже не знал, как приступиться. Зря наболтал им, что у меня десятилетка и морское училище окончил. Они ушли, а я стал думать, как рисовать. Думал, думал и здраво и логически сделал полное заключение, что они меня испытывают. Бухта Золотой Рог на всех морских картах есть и, наверно, в разных атласах и учебниках, и они лучше меня знают про эту бухту. А вопросы задают, чтобы проверить, правду я говорю или обманываю. Поэтому на другой день виду не подаю, показываю, что я там нарисовал, и очень стараюсь хорошо отвечать на вопросы.

Они поняли, что я не ловчу и человек честный, и сразу перешли на вопросы, которые им были нужны, а именно про Тюмень. Спрашивали про места нахождения газа, нефти, о научных институтах, лабораториях, о которых я не имел понятия. Потом про заводы, фабрики Тюмени, какую продукцию какие фабрики выпускают, какие настроения, о чем говорят рабочие, о воинских частях, ракетах, училищах, радиостанциях. Не брезговали ничем, даже кинотеатрами, клубами, больницами. Даже глазная больница им зачем-то понадобилась. И где, на какой улице что находится, и какого цвета эти здания, и сколько этажей. Тюменью они интересовались так досконально и упорно, что каждый дурак уже мог понять, какую агентуру они собираются туда забрасывать. Про Тюмень они мучили меня не одну неделю, а я, как ни старался, толком ничего не мог сказать, потому что был совсем давно. Они заставили чертить улицы, расположения улиц и площадей, реку Туру.

Под конец третьего месяца я уже не мог спокойно разговаривать, потому что они вымотали из меня всю душу и выжали,

как сильная прачка выкручивает белье, а потом вытряхнули, намочили и опять стали выжимать.

Исходя из принципа своего возмущения, я пожаловался Вагнеру.

Сказал, что скоро сойду с ума, а точно не знаю, может быть, я уже сумасшедший, и у меня не осталось ни внутренних, ни наружных сил. Сижу, как в тюрьме, дома, или увозят на закрытой машине, как арестованного, на допрос и опять сюда. Я выдавал не стесняясь, потому что долго терпел и знал, что Вагнер за меня заступится, поскольку с самого начала он обрисовал мне хорошую жизнь, про что я ему без утайки напомнил.

Вагнер слушал внимательно, сам молчал и только качал головой, также выражая сочувствие. Когда я ему все выдал как следует, он сказал, чтобы я перестал разыгрывать из себя дурачка и дурачить их. Они меня кормят, поят, одели, обули, им дорого обходится моя квартира с ванной, а взамен я ничего не даю. Таким сердитым я его не видел, тем более когда он говорил, что я их очень подвел. Они объявляли несколько раз в печати и по радио, что вот такие честные и умные люди, как я, не могут жить в советском режиме и бегут за границу, чтобы бороться против этого режима, и на весь мир напечатали мои заявления по этому поводу, которые я сам написал, а больше ничего не делаю и не борюсь, и тогда неизвестно, зачем я сюда приехал и почему они должны меня поить и кормить.

Я весь закипел, и внутри у меня до самого горла все закипело, но я понял, что переборщил, а выдержка у меня большая, поэтому виду не подал и молча притих.

Он заинтересованно, долго смотрел на меня, а я смотрел в землю, чтобы не повредить стратегию своего молчания. Стратегию я выбрал правильную, и хотя для слов он сказал, чтобы я не становился овсяной кашей, которую можно по тарелке размазывать, а для дела проявил полную капитуляцию. Сказал, что познакомит меня с двумя русскими парнями, такими, как я сам, разрешит ходить к ним в гости и представит самостоятельную работу.

Да, я забыл сказать, что у меня с первого дня все было завалено любого выбора антисоветской литературой — «Русская мысль». «Грани», «Посев» и всякие книги. Были вырезки и из советских газет, но только отрицательные. Один раз другой американец, Андерсон, который велел мне все читать, спрашивает, как мне понравился «Посев». Я честно сказал, что нет, не понравился, потому что они не умеют работать. Конечно, кое-что пишут похожее, а остальное придумывают нескладно или совсем глупо. Андерсону это было обидно слушать, потому что они вкладывают большие доллары. Все-таки, чтобы он не переживал, я добавил, что одно направление мне очень нравится как чистая правда. И на самом деле, я его в каждом номере газеты искал и полностью перечитывал, потому что в советских газетах такого ни за что не напечатают. Я себе даже кое-что на память вырезал. Вот почи-

тайте, вот видите, сбор денег объявили. А кто объявил, посмотрите: «Союз Ревнителей Памяти Императора Николая II и состоящий под Августейшим Покровительством Его Императорского Величества Главы Императорского Дома Комитет по сооружению Лампады у Креста-Памятника Государю Императору Николаю II в Православном соборе в Ницце». А самое интересное, когда они про свои собрания сообщают. Там таких собраний и всяких организаций тьма-тьмущая. Видите: «Объединение Императорской Конницы и Конной Артиллерии», «Объединение бывших чинов Собственного Его Величества Свободного Пехотного полка»... много таких. А то совсем чудные. Еще живы, оказывается, и тоже собираются, смотрите: «Фрейлины Их Императорских Величеств Государынь Императриц». Смех один, а интересно про это читать.

Про тот разговор с Андерсоном теперь вспомнил Вагнер. Сказал, как я тогда верно подметил, что главные статьи у них получаются придуманными. Они пишут по отрицательным вырезкам советских газет, а из России уехали давно и свои добавки и перекройки выражают таким стилем, какой был в России десятки лет тому назад. Получается мешанина и чепуха. А то, что теперь из головы придумывают сами, забывают, какая теперь Россия развитая, и выходит очень глупо. Потом хотят выкрутиться — и уже совсем ни на что не похоже.

Вагнер говорил, что, хотя я не журналист, у меня должно хорошо получиться, потому что я только приехал. Направление надо держать, как у них, но из собственной жизни, с участием вырезок, и получится как правда. Если я с этим делом справлюсь, он устроит меня работать на их радиостанцию «Свобода» в Мюнхене. А там очень много платят и дают дешевую квартиру.

Я прикинул, что, если он так идет мне навстречу, постараюсь вовсю. Так ему и сказал. На другой день повел меня в одну квартиру, метрах в ста от моего дома, и познакомил с Женей и Иваном, которые там жили с одним американцем. Это были хорошие, грамотные ребята, после техникума и опытные механики. Они работали не то приемщиками, не то на какой-то стройке или заводе в ГДР, чего-то не поладили со своим же начальником, а оба гордые, и сбежали сюда.

Ну, вместе с Вагнером мы закатили ужин на славу. Потом стали часто встречаться у меня или у них. Днем я читал антисоветскую литературу, а после двенадцати ночи ходил в ночной бар или на стриптиз. С нами еще был американец, который жил с ребятами, парень хороший, никогда нам не мешал, старался уйти в сторону, чтобы мы не стесняясь разговаривали. А только каждый себе на уме, и разговаривали мы осторожно. Кто чем занимается, не интересовались. И фамилии не спрашивали. Если один скажет про американцев или немцев положительный пример, обязательно остальные поддержат. Каждый думал: может быть, другой выдает себя не за того, кто он есть, а приставлен для

выяснения настроения. Я даже не один раз произносил посевские антисоветские фразы. Так-то оно верней.

Дешевый стриптиз придавал мне отвращение, а на дорогой не было денег. Ночные бары тоже не завлекали, и я не принимал больше туда приглашений. Всего раза три или четыре ходил. Вечером мы просто гуляли уже без охраны американца.

А потом у меня появилось много новых знакомых, потому что Вагнер или кто-то еще посоветовал сходить в русскую церковь. Маленькая такая деревянная церквушка в районе Индустрихоф. Там собираются эмигранты антисоветской организации энтээсов. Вообще-то они не организация в смысле там партии, профсоюза или объединений, про которые я вам в газете показывал. Я потом с ними со всеми перезнакомился. Они просто состоят на службе по выпуску антисоветской литературы и других провокаций. Правда, получают за это много.

За границей такой способ часто применяется. К примеру, числится хозяином фирмы или магазина какой-нибудь чудак, а на самом деле он подставное лицо и только на службе состоит. Настоящий хозяин совсем другой, и по какой-то своей выгоде ему невыгодно раскрываться. Само собой, подставному не зарплату платят, а порядочные деньги.

Так вот и энтээс. Американцам выгодно, чтобы вроде не они хозяева, а энтээсы будто сами по себе существуют. А на какие шиши, спрашивается, им существовать. Всякая их литература, как «Посев» или другие, хотя цена на них проставлена, для торговли не подходят. Никто не купит. Они свою продукцию бесплатно раздают, а тем, кто раздает, комиссионные насчитывают. Одни по-честному советским туристам норовят всучить, или людям в почтовые ящики втискивают, или по почте отправляют. А другие с ходу на далекие свалки тащат, а говорят — раздали, чтобы комиссионные получить...

Ну, пошел я в первое воскресенье в церковь, смотрю, молебен служат. Он заключался в том, что вспоминали различных князей, поминали царя, «многострадальную Россию», перечислялись фамилии больных. Молебен служил священник граф Игнатьев, он же отец Леонид.

Потом подошла ко мне одна старая бабушка и говорит: «Вы Виктор?» Да, отвечаю, Виктор, а сам думаю: откуда она меня знает? «Ну, пойдемте,— говорит,— я о вас слышала». Это была бабушка Горачек, называли ее Петровной. Служба уже кончилась, она меня познакомила со своим сыном Владимиром Еромировичем. Он в «Посеве» самый главный или около этого, с его женой Ниной Викторовной — очень хорошая женщина. Потом, когда меня крестили — я расскажу про это,— она мне сама белую рубаху шила. С Артемовым познакомила, тоже шишка у них большая, а потом эта бабушка подводит к графу Игнатьеву и говорит: «Это новенький, батюшка». И его жена, графиня Анна Владимировна, тут же была, ручку мне подает. Она

тоже начальница в Толстовском фонде, так он называется.

И думаю я: как времена меняются. Раньше бы графы и князья близко к себе не подпустили, а не то что ручку, а тут заслужил такой почет. Все-таки интересно мне за границей становилось.

В то воскресенье произошло самое главное. В церкви я молодежи не видел, а во дворе были и ребята и девушки — дети энтээсов. Меня со многими тогда познакомили. И вижу вдруг — стоит одна такая красивая, каких я еще не видел. И не то чтобы намазанная, а от природы такая. И фигурка такая же невозможная. И с ней меня познакомили. И так она на меня ласково смотрит своими глазами, что просто сердце заходится. Я думал, она русская, оказывается, немка. Родители в деревне, она студентка, все время жила в Мюнхене в семье Мозговых — это тоже энтээсы — и подрабатывала на пропитание в «Посеве». Русский язык знает, как мы. Теперь живет отдельно, имеет квартиру.

Вижу, и ей со мной интересно. Мы стали гулять возле церкви, она мне свой телефон дала, просила звонить.

Я стал встречаться с Карин. Так звали ту девушку. Фамилия ее Локштедт. После третьей встречи я уже видел, что она в меня влюбилась окончательно. Пригласила к себе на квартиру. А там так уютненько, так тепло, как она сама. Приготовила ужин, виски поставила, хотя я не любитель пить, но и сам на всякий случай бутылочку прихватил. А она все хлопочет, все красиво расставляет, и свет в комнате голубой и тихий, верхний она выключила.

Эх, не знал я, какую она судьбу в моей жизни сыграет.

Тогда я первый раз остался у нее ночевать. А утром поспешил домой, потому что мог прийти мистер Вагнер. Он опять был недоволен, что долго пишу. Я честно старался, а никак не получалось. Тогда хитро придумал одну штуковину. На обратной стороне, где были две заметки и фотографии, оказалась статья Юрия Жукова про НАТО. Я ее переписал и там, где было НАТО, ставил «Варшавский блок». Не подряд, само собой, а чтобы смысл выдержать. По-моему, хорошо получилось, что из-за этого блока весь мир будоражится. Сам бы я, конечно, не дошел до такого, но от посевцев научился. Они всегда с больной головы на здоровую перекраивали. Ну, а чем я хуже, думаю.

Вагнер забрал мое произведение, а дня через три вернул, говорит, написано складно, а лучше бы я про себя писал и про то, что сам видел — с помощью вырезок.

Прошло еще время, а у меня опять не получалось и некогда было. Меня очень приголубила семья Горачеков, они рядом жили, на Котенхофштрассе. Я приходил туда почти каждый день или с Карин обедали там. Ее все хорошо знали. К Горачекам приходили часто его кореши по службе. Отец Леонид бывал, здоровый такой старик с белой бородой, а пил лихо, как офицер, и матерился здорово. Светланин приходил — редактор «Посева». Фамилия ему Лихачев, а Светланин — это по какой-то его бабе, Светлана ее звали. Живот огромный, руки на живот положит

и пальцами крутит то в одну сторону, то в другую. И хихикает. Он никогда не смеялся, только хихикал. Председателя энтээсов Поремского не раз видел у Горачеков. Этот все больше молчал. Поломает пополам сигаретку, одну половинку обратно в портсигарчик, а вторую в мундштучок. До самого конца докуривал. А потом булавочкой вытащит — она у него всегда на уголочке воротника между шовчиком в пиджак заколота — и выковыривает окурок. Теперь его на задние роли Артемов переборол. У них там все время потасовки за главные места. Мне Карин подробно рассказывала. Один раз до того подрались, что два энтээса получилось. И вместо того чтобы антисоветскую деятельность пропагандировать, они друг против дружки пошли. А и без того там тьма эмигрантских разновидностей между собой схватывается. Американцы все-таки нашли выход. Той половине, что поменьше была, чтобы дешевле обошлось, отступного дали и условие поставили: пусть совсем уезжают и больше не вмешиваются. Ну, те не дураки, согласились. Должно быть, немалые доллары отхватили. К примеру, невелик был начальничек Андрей Тенсон. Я его тоже у Горачеков видел, а ему — десять тысяч как на тарелочке. Хитрый мужик, денежки протютюкал и опять приполз. Правда, не то чтобы пропил или там на баб, он себе в Мюнхене бензиновую колонку купил, а сам к делу не приспособлен. Вот и прогорел. В начальники его, само собой, не пустили, а взять взяли. У них на американской радиостанции «Свобода» свой энтээс сидит — Гаранин, к нему в русский отдел и сунули. Теперь он там работает, а к энтээсам сюда за материалами и для связи ездит.

Ну, это я уже в сторону от своей жизни пошел. Скажу только, что немало я в том котле поварился. Они ведь меня сразу за своего признали. Должно быть, на мой счет им протекцию Вагнер сделал. Для отвода глаз он мне не советовал с ними связываться, а сам же и направил туда. Они мне особых вопросов не задавали, но я видел, они без вопросов все про меня знали. А может, Карин какое ручательство дала, я ей все про себя рассказал. А про нее я все больше задумывался. Думал, ей меньше лет, а получилось, она уже десять лет студенткой числится. Учебников или тетрадей у нее не видел, а целый день с утра до ночи все какие-то дела, все торопится и дома не сидит. А если дома, так телефон звонит, хоть провод оторви.

Один раз обедал я с ней у Горачеков, и отзывают меня в другую комнату Артемов и Околович. Тертый мужик этот Околович. На все разведки мира работал и ни разу не попался. Перед войной, говорят, перешел границу в СССР, полстраны объездил и спокойно вернулся. А в войну в смоленском гестапо служил, и тоже не поймали. А приметный он здорово. Росточка совсем маленького, а лицо длинное, нос длинный, с горбиком, и сам сутулый. А вот выкрутился из всех оказий и прочно в энтээсе засел. Ему уже лет семьдесят, а он все шебуршится.

Так вот он и Артемов предложили мне поработать в «Посеве». Нам, говорят, позарез молодежь нужна. Какую работу делать, не намекают, все больше на деньги ударение делают. Помогать, говорят, вам будет Трушнович, человек опытный, не одного уже в люди вывел. На другой день ко мне сам Трушнович пришел. Будем, говорит, с вами книгу вашего жизнеописания делать. С самого рождения простого русского парня, который сам перенес муштровку в советской школе, колхозные ужасы, рабский труд на пароходе, недовольство в армии и сам нашел выход — уехать за границу и бороться.

Вот, значит, куда хватили. Сами-то энтээсы как подставная фирма у американцев работают, а меня хотят еще под себя подстелить. А я уже этих жизнеописаний посевских начитался. Такое пишут, что только плюнуть и растереть. И чтобы под таким моя фамилия стояла?

И не для того я приехал, чтобы бороться против своих. Я хотел мир посмотреть, попутешествовать, узнать, где лучше всего живут люди. Правда, наговорил уже с самого Токио немало, только одно дело говорить таким, как они, пусть уши развешивают, а другое — книгу враждебную выдумать. А вдруг она к ребятам на «Урицкого» попадет? Судно ведь по всему миру ходит и сюда очень просто может заявиться. Они ж меня живого или мертвого найдут и пришибут за любую ответственность. Трушновичу, конечно, про это молчу, а он видит, что я злюсь, и быстренько так прощается. А назавтра опять заявился.

Веселый такой. «Ну что,— говорит,— сегодня начинать будем»; вроде на мой отказ ему наплевать. Я молчу, слова подбираю. А он меня весело по плечу похлопал и говорит: «Давай, давай, Витя, хватит тебе от американцев подачки принимать да с их рук высматривать каждый пфенниг. Книгу напишем — вот тебе и машина, и квартира, и на девочек останется». Говорит, а сам смеется, вроде смешно ему. А у меня, верите, будто залпом из дробовика по всему телу дали. Ах ты гад ползучий, думаю. Ладно бы Вагнер или Линдон попрекали, а то эта...

«А ты,— говорю,— сам на чьи подачки кормишься? Из чьих рук все энтээсы высматривают?» — «Мы,— отвечает он,— боремся за идею».— «За идею? — спрашиваю.— А когда посты не поделили и неустойку от американцев взяли, тоже за идею? Сколько отступного Байдалакову дали за его пост председателя энтээсов и чтоб потом он не путался под ногами? Куда же,— говорю,— его идея подевалась, если он за нее денежки принял и молчит, как закопанный, до самой смерти?»

Трушнович все перебить меня норовил, но я не дал, все ему высказал. А он выпустил свой главный козырной туз. Зачем, дескать, тогда сюда приехал, если ты такой коммунист, зачем бежал, если никто тебя не звал сюда, и прочее такое. Припер он меня так и ушел.

Я по комнате из угла в угол, не знаю, что делать. У меня и

раньше закрадывалось в груди: может, я промахнулся на большую ошибку? Тогда плакала моя дальнейшая будущность. Но при встречах с американцами, с Иваном, Женей, да и с энтээсами держал себя таким антисоветским героем. Надеялся, обопрусь на какой-нибудь случай, что судьбу мою выправит.

Бегаю по комнате, и, на радость, Карин звонит, сейчас, говорит, приду. Она всегда за меня переживала, заботилась и понимала меня даже в том, что я от всех скрывал. Ей я все рассказывал — и хорошее, и плохое, и даже мечты, о чем думал и никому бы не доверил.

Приезжает она, только стал рассказывать, а она в слезы. Плачет, а сама лаской просит. Карин умела с кем угодно разговаривать и своими улыбками и глазами любого уговорить или сделать так, чтобы он ей в любви объяснялся. А тут слезами и лаской. «Какая,— говорит,— тебе разница, заработаешь хорошо, другая жизнь у нас пойдет».

Что, думаю, делать? Потом вспоминаю: я же не успел ей про все рассказать. Похоже, она без меня знает, что тут произошло. Мне бы тогда спохватиться, что она свою роль со мной играет. Свою или чужую, не знаю, только жизненно играла. И ни о чем я не догадывался. Я ей верил еще долго. И когда в Москву уехала, в гостиницу «Украина» звонил и переписывался с ней, и потом, пока до тюрьмы меня не довела. А в тот вечер как вожжа под хвост попала: не буду, говорю, никакой книги делать, и все тут. Обиделась она — первый раз ее не послушал — и рванула из комнаты.

И опять я из угла в угол. Думаю, думаю, и докатились мои думы до Владивостока. Вспомнил музыкальный салон на «Урицком», песни, танцы, человеческие отношения, вспомнил наш матросский хор, в котором и я пел, веселых матросов и девчат, друзей и родителей вспомнил, и покатились у меня слезы. Первые мои слезы в западном свободном мире. Сколько их еще потом пролилось... А ведь я упорный, никогда пощады не просил и слез не выдавливал. Отец бил, тоже не плакал. А тут нервы не сработали.

Еще день прошел, и вызывают меня в тот особняк, где беседы велись. И опять встречает фрау Габбе. Мистер Андерсон навстречу выходит, приглашает садиться. «Жаль,— говорит,— что нам надо расстаться, но, к сожалению, мы не можем вас дольше оставлять у себя. Все, что было обещано, уже сделано, вас ждет хорошая работа. Мы передаем вас в другую организацию, тоже нашу, но ведающую устройством на работу. Вот вам телефон туда к мистеру Райли».

Что?.. Устал, конечно, но не знаю, смогу или нет еще с вами встретиться. Давайте уж сегодня кончим, я дальше сокращенно буду.

Одним словом, послали меня на завод в местечко Нойс под Дюссельдорфом. Перед отъездом у меня ночевала Карин, которая

обиду забыла. Она со мной до самого Нойса поехала. Завод американский, там делают всякие детали для тракторов и автомобилей. Рабочие были там со всего света: немцы, португальцы, югославы, испанцы, финны и другие. Поселили меня в общежитие вроде барака. Комнатка маленькая, там все такие, и в каждой немец и три иностранных рабочих. На этом заводе и Женя работал.

Да, забыл я вам сказать: когда еще он во Франкфурте был, позвонил он мне один раз ночью и говорит, что Иван убил себя. Сначала плакал, обзывал себя дураком и сволочью, кричал, что его обманули и больше он не может, и ударил себя ножом в грудь три раза, весь изрезался, нож у него выбили, а его отвезли куда-то.

Не сват мне Иван, не брат, а извещение это... как будто не Иван, а сам я себя ножом переполосовал. Вот она, подумал, и моя дальнейшая судьба-дорожка по этой жизни. Ходил опять от окна к двери туда-сюда, туда-сюда и не про Ивана думал, про себя думал. Часа два километры вышагивал, пока силы не кончились. Лег обратно в кровать, где там — не только спать, улежать не могу. Скорее бы утра дождаться. Поднялся и заметался опять, как в зверинце. Все быстрее и быстрее хожу, вроде убежать куда можно. И такое в голове творилось — как бы в горячке и на себя руки не наложить.

Разбужу, думаю, Женю, вдвоем полегче будет. Звоню ему, а он с полгудка трубку поднял, тоже, выходит, не спал. «Слушаю,— говорит,— слушаю, кто это?» Тревожно так говорит, а мне все равно полегче стало, голос его услышал. «Приходи,— говорю,— Женя, ко мне, или я приду». А он не своим голосом закричал: «Никуда не пойду, и ты не приходи!» — и трубку бросил, как будто я виноват за Ивана.

Испугался я и опять в голове — как насосом ее накачали и дальше подкачивают, вот-вот лопнет.

А ведь и верно, чего ходить? Он предатель, я предатель, и вокруг нас отстой подонков из энтээсов, и мы туда потихоньку оседаем, скоро до самого дна спустимся. И дорога нам только туда, ко дну, и груз уже такой сами на себя наложили, что не выплыть больше. И как назло, откуда взялось — про первомайскую демонстрацию во Владивостоке вспомнил. И знамена красные, и пляски на ходу с оркестрами, и «Золотой рог», и забился я, как баба, в голос. Как до утра дотянул, один бог только знает. С тех пор про Ивана я ничего не слышал. Выжил он, нет ли, не знаю. А Женя через два дня уехал на завод работать. Здесь мы с ним теперь и встретились.

Работа у меня была простая. Большим крюком зацеплял огромную деталь трактора и волочил юзом по бетонному полу к стану. А там уже полная механизация. Нажимаю кнопку подъемника — деталь идет вверх, потом накрепко садится в гнездо. Поверну рычажок — и сверло пошло в тело. Тут уже делать

больше нечего, сверло само свое дело сделает, а я с крюком за второй деталью. К концу сверловки надо ее успеть подтащить, потому что рядом второй станок для дальнейшей обработки ждет.

Вроде все просто, а была это в полной мере каторга. На механизацию пять — десять секунд уходило, а все остальное время тащил крюком непосильные детали. Вставали в четыре, не позже полпятого утра, потому что в шесть уже надо браться за крюк. Обеденный перерыв в двенадцать тридцать, а кончали в пять. И целый проклятый день тащишь эти тяжелые, как наковальни, детали и под конец уже так изгибаешься, чуть мордой не тычешься в землю. Остановиться нельзя, никак нельзя, там целый большой ряд станков, и если на одном задержка, все враз встанут.

Домой приходили без рук, без ног. А свалиться на койку нельзя, ужина в столовке дожидаемся. Перед ужином — молитва. Надо руки сложить ладонями вместе и повторять за комендантом слова. Так, верите, руки не держались, падали.

Я терпел, думал: с непривычки, обойдется, привыкну, человек ко всему привыкает. А только скажу вам: к каторге привыкнуть нет сил. Там на таких работах одни иностранцы, а немцы по всем цехам и участкам рассеяны, как и в комнатах общежития. Работа у них без крюков, только на кнопках, а за наблюдение за ними им еще одна зарплата идет. И за длинный рабочий день еще одна. Каждый немец втрое больше нашего получал. Хотя они старались, а все равно иностранцы не выдерживали и убегали. Но простоя не было, новых пригоняли.

Работал, света белого не видел. Какое там кино или еще чего-нибудь. Только в воскресенье полегче было, хоть отсыпались вволю. А встанешь, постираться надо, под душ надо, и так на весь день всякие мелочи набегали.

В одно воскресенье стал я жаловаться Жене — мы уже тогда не прятались друг от друга, откровенно разговаривали,— а он только рукой махнул. «Я,— говорит,— механик, а тоже крюк дали в руки. Надо бежать отсюда к чертовой матери, пока не поздно».— «Куда же бежать,— спрашиваю,— Женя?» — «Как куда, совсем бежать домой».— «А там тебе сразу: предатель и изменник Родины, получай тюрьму».— «Ну и черт с ней, отсидишь, хоть жить по-человечески станешь».

Тут я его и спросил, о чем давно хотел вопрос задать. «Женя,— говорю,— ну, ладно, я дурак неученый, а ты механик первой руки, сам хвастался, что тебе почет и уважение отдавали. Ты-то почему бежал?» — «А потому и бежал,— отвечает,— что тоже дурак, хотя техник. По дурости вообразил, что весь пуп земли — это мы с Иваном. На мне с Иваном целый участок держался, а отпуск за свой счет на десять дней начальник отказался дать. Почему же, говорю, другим можно, а нам нет, если мы лучше других работаем? Ну, и завязался спор. Я ему прямо сказал: «Любимчиков своих по два раза пускаете, а на нас выезжаете». А ему хоть бы что. Нет, и все тут. Ну, думаю, и мы тебе тем

же ответим. И не стали выкладываться, как раньше. А он придираться начал и все равно верх брал как начальник. За каждую мелочь цеплялся. Ну просто никакого житья не стало. Издевался, как хотел, должно быть, решил выжить нас. Что ж, думаем, так и уехать домой оплеванными? А он еще и характеристику вслед пошлет такую, что перед людьми стыдно будет. Думали, думали, как отомстить, и пришла в голову эта мальчишеская идиотская идея. Он ведь за нас всю полноту ответственности несет. Вот уж повертится, если сбежать. Он же с ума от такого ЧП сойдет. А кроме того, интересно поездить, мир посмотреть. Вот и смотрю. Получилось, как в поговорке: назло отцу я себе уши отморожу... Ивана жалко, на этот безумный шаг я его подбил. Парню всего девятнадцать было, ветер в голове. Я как-то сказал ему про это, когда он очень терзался, молодость, говорю, виновата, а он еще больше обозлился: «Молодость, молодость... Гайдар в семнадцать полком командовал и рубил всякую сволочь. А мы в свои девятнадцать к его недобиткам в услужение приехали». Вскоре после этого он и схватился за нож».

Это был мой последний разговор с Женей. Ничего не сказал он мне, уехал во Франкфурт, а потом сбежал в Советский Союз. Узнал про это через полгода от Горачека.

А я продолжал работать на заводе, пока одни кости да кожа от меня не остались.

Поднимаюсь, чтобы к проклятым наковальням идти, а подняться не могу. Все-таки поднялся и потащился. Только не на завод, а на вокзал. Вернулся во Франкфурт. Ни денег, ни квартиры, ни работы. Явился к Карин. Приняла она меня хорошо. А я и тогда еще не догадывался и не скоро понял, что и эту каторгу, и те, что были потом, они специально устраивали, чтобы некуда мне было податься, кроме энтээсов. И опять туда подталкивает. А я не пошел, стал правду искать.

Где я только не был, чего не перепробовал. Вагнер сразу от меня откачнулся, Райли тоже. Направился в американский консулат, напомнил про богатую и надежную Америку, которая всегда будет за моей спиной, как разъяснил мне ихний консул в Токио. С неделю по его требованию ходил к нему, пока не отправил меня на любые четыре стороны. Я в Бонн кинулся, в американское посольство. «Вам кого?» — спрашивают. Не знаю кого, отвечаю. Я советский матрос, про дальнейшую судьбу хочу выяснить. Они заулыбались, усаживают меня, думали, я новенький, только сбежавший. А выяснилось когда, сразу кислые морды стали. Прямо так выгнать неловко, велели подождать, провели к какому-то типу вроде переводчика. И ноги на столе. Я думал, так говорят только — «ноги на стол», а он натурально на столе их держит. Выслушал меня, сколько американцы наобещали, позвонил куда-то, потом говорит: «Пойдем». Вывел на лестницу, показал направление: «Прямо на вокзал попадешь. Езжай во Франкфурт. Тебе работу дали, а ты сбежал. Теперь возвращайся».

Пошел я прямо в министерство иностранных дел. Думаю, самое главное, чтоб важный чиновник выслушал, а не сошка какая. Пришел советский матрос, говорю, и так далее. А раскрываться до конца не спешу, пусть, думаю, поважнее кто явится. Стратегия моя удалась, большой чин меня принял, а только кончилось пустотой. Отправился я в Организацию Объединенных Наций в Бонне, к комиссару по делам беженцев. Тут со мной целую неделю возились. И тоже во Франкфурт-на-Майне направили, там, говорят, вас устроят. Правда, на дорогу пятьдесят марок дали. А у меня уже сто раз такие направления были. И сто раз я туда возвращался, а получался один и тот же толк. Я вам все подряд перечисляю, а ходил-ездил-то не подряд. На это пошли месяцы, а то и не один год. Чего только не натерпелся, не намучился. Какие и от кого унижения на себя принял, перед кем ни улыбался. Посылали на разные работы, а покажешь свой беспаспортный документ — и морды воротят. Берут только там, где каторга или аврал какой. Тогда на временную, до отбоя. Потом опять на улице. Самым натуральным образом на улице. Спал на вокзалах, в скверах, даже в забытой солдатской душевой. И в дождь и в холод не раз по асфальту шлепал, сам себя, сжавшись, согревал. Вот тогда и вспоминал каждый день эти слова советского консула в Токио. Что?.. Не сказал разве? Простые слова: «Все у вас будет, сказал, что тут вам обещали. И квартира, и полный холодильник, и кофе с коньяком. А только выжмут из вас все, что можно, и выбросят на помойку. Тогда и запроситесь домой». Вот какие слова сказал. Будто на несколько лет вперед меня по моей жизни прошелся. И не выходят эти слова из головы. Только как проситься? Может, и через край берут энтээсы, может, не расстреляют, а только большой срок дадут. Кому я потом, старый и больной калека, нужен буду?.. А почему Женя не побоялся тюрьмы? А Иван побоялся, но и жить тут не мог.

Вот в таких мыслях и тянется моя беспощадная жизнь. Наголодаешься вволю и идешь на первую каторгу, что по дороге попадется. Самое большее на месяц хватало сил. На заработанные деньги хожу-езжу жаловаться. Посылают во Франкфурт, а я уже знаю, куда пошлют, и еду. Все надеюсь на что-то, да и Карин притягивала туда. И опять энтээсы вокруг меня. Но я уже знал их расчет: не выдержит человек, все равно к ним явится. Все-таки ездил туда охотно. Кроме Карин, много знакомых ребят — Володя Курдюков, Леня Артемов, Витя Гуменюк, Миша Горачек, Таня Гаранина со своим парнем и еще другие. Все они дети энтээсов, но у них особые мнения. Что делают родители, они насмотрелись, им хочется посмотреть свою родину, которую никогда не видели, а те их смертной казнью пугают, и у них продолжается инцидент.

Хорошо, конечно, с ними встречаться, на вечеринки ходить, если есть работа. А работы не было. Один раз все-таки повезло. Устроили маляром в жилой городок американской военной базы

«Вольфганг» возле Ханау. Работа сдельная, с квадратного метра. Зарабатывал еле-еле, потому что пока мебель отодвинешь, пол бумагой застелешь, да все закутки закрасишь, еще ничего не набегало. Но я очень старался, все-таки лучше, чем с крюками.

Через несколько месяцев узнал, что у них свой филиал есть под Франкфуртом, и стал проситься туда. Сначала подозрительно на это смотрели, а после моих объяснений о друзьях и Карин поверили и перевели. Обосновался в казарме на Эмерсхаймерландштрассе. Работать маляром мне пока доверия не было. В столярной мастерской я склеивал стулья, табуретки, которые расшатались или развалились. Встречался с молодежью и с Карин. От нее и узнал, что во Франкфурте есть общество «Дружба». Там советские люди, которых забросила сюда война, и каждый по своей причине вернуться не мог, но и против Родины не идет. Они смотрят советские фильмы, собирают библиотеки, отмечают Октябрьский и другие праздники. Одним словом, поперек горла энтээсам стоят.

Меня заинтересовало, и я пошел туда. Потом Карин рассказывал про них. И опять завились вокруг энтээсы. Как только в голову им такое пришло. Предложили в последний раз, говорят, одним махом разбогатеть. Посещать «Дружбу» и написать потом, что она связана с советской военной миссией во Франкфурте и передает туда разведывательные данные. Я им, конечно, приготовил отпор, какого они еще не видели. И весь расстроенный ушел, ищу Карин. Никто, кроме нее, не мог им сказать, что я в «Дружбе» был. Только стал ей претензии, а она как из пулемета: «Никогда,— говорит,— я тебя не любила, хотела человека из тебя сделать, а ты просто русская свинья и вон навсегда отсюда». И пока говорила, по щекам меня — раз, раз, раз... Ну, и я нервами сдал, сам пощечину ей отвесил. Не за то, что по щекам,— слова ее больней били. И сейчас вот здесь ноет, как вспомню, как я не мог раскусить раньше.

На другой вечер заходят ко мне трое в штатском. Одного я узнал сразу. Он из американской разведки, охранял Ивана и Женю. Поэтому я не сопротивлялся, когда они без всяких разговоров обыскали мои вещи и повели в машину, отвезли в полицейпрезидиум. Здесь дежурный потребовал у меня пистолет и бандитский механизированный нож. Я ответил: пистолета у меня нет,— а нож достал. Он был с кнопкой, выскакивал сам, но пользовался им для хлеба и пищи.

Дежурный взял нож, посмотрел в какую-то папку и сказал: «Приметы совпадают». Меня обыскали и отвели в камеру. Утром взяли на допрос, дали мне на подпись бумаги. Теперь я уже так легко не подписывал, потребовал переводчика.

Делать им нечего, вызвали. Обвиняли меня в том, что являюсь советским шпионом, езжу по немецким городам, а потом во Франкфурт-на-Майне, где что видел, передаю советской военной миссии. При этом пытался изнасиловать немецкую девушку Карин

Локштедт, угрожал ей пистолетом и ножом, шантажировал, на что прилагается ее личное заявление, а также медицинская экспертиза о побоях и вещественное доказательство — нож, приметы которого обозначены в ее личном заявлении.

Кончил читать переводчик, об чем-то меня спрашивают, трясут за плечо, а я молчу, чисто языка лишился. Потом потихоньку кровь по своим местам пошла, и мне полегче стало. Про миссию, говорю, никакого понятия не имею и все начисто неправда, а Карин знаю хорошо, и вызывайте ее на очную ставку, и сами послушаете, что произойдет, потому что я с ней уже который год живу и еще неизвестно, кто над кем насилие свершил.

«Мы и сами хотели,— отвечают,— но она отказалась, боится вас видеть». На этом допрос закончился. Целый месяц полицейские или следователи меня не вызывали. Зато энтээсы весь месяц давали о себе знать. Первым пришел в камеру батюшка — отец Леонид в церковном обряде. Ахал, охал, сказал, что надо подобрать хорошего адвоката и тогда все будет хорошо. Смеется он надо мной, что ли? Где же на это деньги взять? «Заблудшего сына,— говорит,— церковь и русские люди никогда не оставят». И на самом деле пришел адвокат. Многие энтээсы меня посещали, Карин присылала посылки, в письмах просила прощения. Когда пришел Горачек, сказал, что видел ее в прокуратуре, она просила свидания, но ей не разрешили.

Да что же это за человек такой? На кого она работает? И что со мной хочет сделать? Не просто же это?

Пока сидел в одиночной камере, много о ней думал. Вспомнил, как в Москву уезжала, и некоторые вещи теперь по-другому проявились. Отправлялась она с немецкой выставкой как переводчица химической фирмы «Гест». Узнал про это во время моих поисков работы и правды, когда в который уже раз приехал во Франкфурт. Остановился у нее, как раз сборы шли. У нее штук двадцать писем было с адресами на русском языке и с готовыми советскими марками. Только в тюрьме подумал: значит, подпольные письма в Москве опускать будет, чтоб не знали, что из ФРГ. И денег много было в пачках. Тогда не пришло в голову, а в камере не сомневался: не для себя, кому-то везла. Или чтоб подкупить можно было.

И еще одно соображение выплыло: ехала от немецкой фирмы, а паспорт привезли и провожали американцы. Мне она не разрешила на аэродром ехать, а кто за ней прибыл, я видел. Я у нее случайно целую кучу адресов московских нашел. Инженеров разных, учителей, таксистов, и на каждом проставлена профессия. Я из ревности ей недовольство высказал, а она как крикнет: «Не смей к моим вещам прикасаться!» И только в камере подумал: нет, не шуры-амуры это, а посерьезней.

Чтобы с этим закончить, скажу: был суд, про шпионаж и военную миссию разговоров не было, замяли они это все, а за насилие с побоями судили. Карин не пришла. Адвокат их на ло-

патки разложил, доказал все как было. Много журналистов и корреспондентов наехало, вся печать про это писала, и все-таки месяц тюрьмы дали. Правда, месяц я уже отсидел, сразу выпустили, а радости нет никакой. Что я теперь и кто я? Куда деваться?

Поехал к Горачекам, они хорошо ко мне относились и провокаций моих не добивались.

Вы как хотите, а я не признаю энтээсов антисоветчиками. Они только так числятся, ну работа у них такая. К примеру, возьмите Жору Чикарлеева. Ему под шестьдесят, а может, уже и перевалило, а его по отчеству назвать ни у кого язык не повернется. Жора и Жора. Он у них на самой грязной работе. Один раз на советский корабль явился, когда эскадра с визитом приходила, туда всю публику без разбора пускали. Люди ходят толпами, им интересно, а Жора по закоулкам рыщет. Увидел одинокого матроса, обернулся по сторонам — никого нет — и сует моряку листовку. Матрос смотрит и говорит: «Да мне ж двадцать суток строгого дадут или судить будут,— тоже осматривается матрос по сторонам и тоже видит: никого нет,— а за тебя, гада»,— и бах Жору во всей одежде за борт.

Он потом подробно рассказывал, требуя возмещения за ущерб в здоровье и в одежде как потерпевший в борьбе против коммунизма. Заплатили ему хорошо: действуй, мол, и дальше смело. Он и действовал. К советским не то туристам, не то спортсменам на улице пристал, про свой «Посев» толкует, подарить, говорит, могу. Его гонят, последними словами обзывают, а он идет и идет, свое толкует. А они в какой-то тихий сквер свернули, может, и надо было им, а может, заманивали, только набили морду так, что долго в синяках ходил. Правда, за это заплатили ему хорошо, потому что вещественное доказательство побоев представил. Хотя многие сомневались: может, все выдумал, можжет, по пьянке где досталось,— но все-таки окончательно признали как героизм против советского режима и членом редакции «Посева» назначили.

Был случай, когда он в Париж попал и к советским аспирантам заявился, у них комната там была. Заявился и начал ту же пластинку крутить. А они выход ему загородили, говорят — сейчас полицию позовем. Он в слезы, боится — бить будут. После того случая в сквере его еще раз били, с тех пор он всю жизнь стал бояться, что будут бить. Поднимет кто-нибудь руку просто так, без назначения, а Жора рывком лицо прикрывает. Свои же над ним и потешаются. Чуть что — махнут рукой, он и шарахается.

Одним словом, сжалились над ним тогда в общежитии, отпустили. Примчался он домой, рассказывает: «Слезами,— говорит,— я их на пушку взял. Никогда, говорю, больше не буду, а они, дураки, и поверили».

Вот вам Жора! Другой бы про такую стыдобу со всех сил зубы зажал, а он хвастается. Думаете, по дурости? Нет, он на

такой стыд с полным сознанием идет, ну, как женщина на стриптизе или в бардаке. Ей уже не стыдно, это ее такой заработок. Так и Жора своего стыда не стыдился, поскольку за это платят.

Он своего нигде не упустит. Вот трудно поверить, а ему за журнал «Молодой коммунист» гонорар выплатили. Он его всегда с собой носит, всем показывает. А там, и верно, его фамилия есть, написано, что он последний подонок. Когда показали Жоре этот журнал первый раз, он три дня от радости пил. «Вот,— говорит,— как против меня силы мирового коммунизма поднялись». Ну, понятно, вознаграждение потребовал и на законном основании получил. А за что получать, ему без разницы. Но и его понять надо, а не только судить. Лет ему порядочно, профессии или ремесла не имеет, куда ни тыркался, везде неудачи. Сколько лет назад на Вьетнам подался, думал, подвезет, а видит — там и убить могут. Тоже правильно рассудил, и понять человека можно, когда сбежал оттуда. Ну, а что ему теперь делать? В энтээсах хоть платят исправно, вот и старается. Да что Жора! Для всех энтээсов нет больше радости, если их советская печать пропечатает. Они тогда поздравляют друг дружку, в своих журналах про это сообщения делают, столько шуму поднимают, героями ходят. Один раз на свое письмо из Москвы ответ получили. Так ни конца ни края радости не было. Переписку затеяли, стали говорить, что центр свой и агентуру в Москве организовали, а оказалось, их журнал «Крокодил» разыгрывал, потешался и про все напечатал с фотографиями и письмами. В таких дураках они остались, им бы только вывеску менять, а они опять в хвастовство не хуже Жоры. Кто-то из их детей сказал, у Горачеков разговор происходил: «Что же вы радуетесь? Над вами же смеются. Это еще у Чехова описано, как один с газеткой бегал, всем свою фамилию показывал, а напечатано было, как его в пьяном виде извозчик сбил».

На его слова только рукой махнули: ничего, мол, ты не понимаешь. А он и верно не понимал, что даже за такое, как «Крокодил» поиздевался, им деньги платят.

Ну, а с другой стороны, что им делать, скажите, если все они по рукам и ногам Гитлером связаны? Влез по пояс, полезай по горло. Начать хоть с Романова, он у них почти самый главный, а тридцать лет назад в Днепропетровске при немцах редактором газеты уже состоял и Гитлера возвеличивал, пока тот живой был. А сейчас что? Поезжайте во Франкфурт в район главного вокзала ночью, там одно место есть, где теплые собираются... Обязательно там Романова встретите. Его за это три раза брались судить, особенно один раз, когда мальчика к столу хотел привязать, а тот такой крик поднял, что люди сбежались. А чем кончилось? В третий раз американцы выручили. После Гитлера они ж его подобрали, по их речке и плывет, их воду и пьет. И про такого вдруг напишут, что он антисоветчик, вот и радуется. Да любой

генерал из Пентагона антисоветчик, и получается, будто они на равных. Чего ж ему не радоваться.

Такой же Гитлером мазанный Артемов еще в войну в фашистском лагере служил, кадры провокаторов готовил, гестаповец. Околович сколько жизней погубил, и все у них такие. Не знаю только про Тарасову, она редактором «Граней» состоит, такой журнал у них есть. Не иначе тоже из гитлеровцев, но точно заверять не берусь, не знаю. Знаю только, что славу она большую имела. Ее отец во время войны много богатства из Украины повывез, говорят, на целый музей хватило бы. А после его смерти она и начала пировать. Такие гулянки закатывала, с выездами, со слугами, как в кино. Она мужчин любила и сама их себе подбирала, даже из тех, с кем знакома не была. И про эту ее славу все знали, она самой высокой квалификации в этом деле числилась. Может, книг начиталась и досконально изучила — есть такие особые магазины с вывесками «Секс»,— а может, от природы у нее такие способности, только гремела она своей квалификацией и тем, что денег на мужиков не жалела. А пришло время, денежки-то кончились. И годы уже не те, и мужчинам платить стало нечем. Вот вся она и есть. Антисоветчик — это если идеи у него, а ее главная идея теперь безвозвратно не вернется, она всю свою идею уже поизрасходовала.

Ваше дело, я не против, только не советую вам про энтээсов писать. Если напечатаете, вы им такой праздник устроите, лучше рождества Христова. Целый год напоминать про это будут. И по всем регистрациям такую статью проведут, и сами печатать про нее сто раз будут, и американцам докладывать как положительный пример.

Ну, опять я в сторону от своей жизни свернул. Чтоб кончить когда-нибудь мою историю, скажу — выпустили меня из полиции, энтээсы встречают, зовут к Горачекам. К ним было и направился, деться пока некуда. Только пошли, а тут Карин. На шею бросилась, плачет, целует, умоляет прощения. К ней и поехал, и тошно от самого себя стало. Думаю, все-таки лучше, чем к энтээсам, ничем не хотел больше ихней зависимости. Даже адвоката отработал им. Отработал крещением. Тут на одну руку взялись Карин и батюшка. И Горачек им помогал, тоже агитировал за крещение. Все горе оттого, что ты некрещеный, говорят. И Карин поддерживает: все плохое, что между нами было, все очистится. Зачем им надо было, так и не понял, но обязанным быть не хотел. Черт с вами, думаю, крестите.

И устроили надо мной комедию. Собрались в воскресенье утром в церкви, сунули мне сверток. «Иди,— говорят,— вон туда, переодевайся, это рубаха. Только все сними и даже носки». А трусы, спрашиваю, тоже снимать? «Нет, трусы можно оставить». Снял я все, надел рубаху, а она до самого пола. Рукава широкие, только пальцы выглядывают. Вышел, сунули мне в руки горящую свечу, и началась моя срамота. Поднял шею вверх,

иду, как Иисус Христос, за батюшкой, обеими руками божественно свечку несу, слова за ним повторяю. Походили несколько раз вокруг, потом поставили меня в оцинкованный бак с водой, и батюшка сверху стал опрыскивать.

Потом обед был богатый. А ночь тревожная получилась. Лежит рядом Карин, посапывает. А ведь задумали они что-то надо мной сделать. Она же собственными руками меня в тюрьму загнала, а я лежу как дурак с нею.

Ни разу не заснул, пока дождался утра. Похлопотала она вокруг завтрака, поцеловала и выпорхнула. А я никому ничего не сказал, к вокзалу направился. И пошел по второму кругу каторги свободного мира на два года. Не буду про него рассказывать, он как и первый. А конец вам известный: советский консулат выдал мне визу в Советский Союз.

Полагаю так, что судить меня не будут, я же столько мук принял, любое законное наказание перевыполнил. А если будут, так любую кару за спасение приму.

Эта история далеко увела меня от японских берегов, от порта Кокура, куда мы пришли на турбоходе «Физик Вавилов» и где я познакомился с Юрико. В наших трюмах был чугун. Двенадцать тысяч шестьсот тонн. Это больше четырех тысяч грузовых машин. Их разгрузят за три дня. Так сказал представитель концерна Сумитомо, у причала которого мы отшвартовались. Ну что ж, недаром это один из крупнейших металлургических комбинатов Сумитомо.

Родившись как «Торговый дом Сумитомо», используя свои связи с правительством и огромные государственные субсидии, он вырос в могущественный монополистический концерн. К концу второй мировой войны под его контролем и в его зависимости находились сто восемьдесят четыре промышленные компании, а «Банк Сумитомо» стал самым мощным банком империи. После войны объявили о роспуске концерна, но это была лишь фикция, потому что остался нетронутым банк, остались компании с измененным названием. В ряде важнейших отраслей производства концерн Сумитомо потеснил таких столпов капитала, как Мицуи и Мицубиси, заняв первое место.

Наш турбоход стоял у причала металлургического комбината Сумитомо. Могучие краны свесили свои головы, точно заглядывая в трюмы. Там триста семьдесят тысяч чугунных чушек, весом от 30 до 50 килограммов каждая.

Я видел, как их грузили в Туапсе. Краны-пауки опускали на чугунную гору свои широко растопыренные стальные щупальца, потом концы их соединялись, загребая под себя и захватывая в утробу до пятидесяти чушек, и высыпали их в сварной лоток, стоящий рядом. Три-четыре захвата, и пятитонный лоток полон. Один за другим заполнялись лотки, краны взвивали их в воздух и опрокидывали на дне трюмов.

У причалов Сумитомо стояли такие же краны-пауки, даже более мощные. Чтобы наполнить лоток, едва ли потребуется больше одного захвата. Не мудрено, что при такой механизации нас действительно разгрузят за три дня.

У самого борта толпились мужчины и женщины в довольно странной одежде. На головах были желтые каски, на ногах — специальныя обувь, похожая на носки с одним пальцем. Такую обувь, удобную для лазания по камням и скалам, я видел во время войны на японских солдатах в горных районах Маньчжурии.

Вскоре люди, толпившиеся у причала, поднялись на борт. Маленькими быстрыми шажками, словно пританцовывая, торопились в трюмы. Когда они спустились во все шесть трюмов, раздались свистки. Разгрузка началась.

На причале концерна Сумитомо безжизненно лежали могучие стальные щупальца «пауков». Маленькие японские женщины нагружали лотки вручную. Сумитомо это обойдется дешевле.

Расчет представителя концерна оказался точным. Разгрузка шла ровно трое суток. Трое суток с грохотом падали чугунные чушки в стальные лотки. Портальные краны нагибались в трюмы, выхватывали лотки и опрокидывали их в самосвалы у левого борта. Судовые стрелы вытаскивали лотки на тросах и вываливали в баржи по правому борту. Скрежетали краны, жужжали натянутые стальные канаты.

Судно не должно стоять ни одной лишней минуты. За каждую сэкономленную минуту концерн Сумитомо получит диспатч — премию от судовладельца. Эта премия уменьшит расходы по разгрузке.

Бесконечно, безостановочно сто шестьдесят пар рук бросали в лотки чугун. Сто двадцать три тысячи чушек в сутки. Точно били автоматические тяжелые пушки: бух-бух-бух-бух-бух... Пять тысяч ударов в час. Не разгибались спины. Нельзя задерживать судно. Стоянка — это лишние деньги. Сумитомо не платит лишнего. Сумитомо не платит даже того, что положено. Пусть будут благодарны за эту выгодную работу, что им досталась. За воротами много желающих. Теперь их будет еще больше. Империя Ниппон проводит «улучшение структуры сельского хозяйства». Это разорит и сгонит с рогожных участков двадцать три миллиона крестьян. Часть останется батрачить у кулаков, которые собирают их земли, а остальные пойдут к воротам Мицуи, Мицубиси, Сумитомо... Этот процесс уже идет. После того как началось «улучшение структуры», уже разорилось около двухсот тысяч крестьян. Они ринулись в город. Пусть радуются те, кому досталась сегодня эта выгодная работа по разгрузке чугуна. За это дорого платят.

Рабочий день не должен превышать восемь часов. Но нельзя трижды в сутки ждать, пока будут меняться смены, пока будут вылезать из глубоких трюмов одни и спускаться другие. Да еще каждой смене устраивать обеденные перерывы. Получится не

работа, а одни простои. Нельзя сбивать темпа. Надо работать по двенадцать часов. Сумитомо за это заплатит. Заплатит, как за полтора рабочих дня. Каждая женщина получит тысячу иен за смену. А мужчина еще больше. Такие деньги не валяются. Тысяча иен — это полтора килограмма мяса. Самого лучшего, упитанного мяса.

Я видел, как едят мясо японские грузчики. Все было очень хорошо организовано. За десять минут до начала перерыва на наше судно привезли обед для грузчиков: сто шестьдесят красивых жестяных коробочек. Мужчинам квадратные, женщинам овальные. По свистку из трюмов полезли люди. Они уселись на палубе в кружочки. Каждая бригада возле своего трюма. Открыли коробочки. В квадратных — рис и тушеное мясо. Тридцать граммов мяса. Правда, тридцать было в сыром виде, а после приготовления остался двадцать один грамм. Но тут уж ничего не поделаешь. Зато приготовлено очень хорошо. Мясо отрезано красивым ломтиком без единой косточки. Резали не просто как попало, а очень разумно, поперек волокон. Толщина ломтика получалась больше, чем длина рисового зерна. Поэтому очень удобно есть. Нож не нужен. Толстые короткие волокна легко отделяются палочками. Грузчики берут сразу по нескольку волокон и заедают рисом. Они так умело это делают, что мяса вполне хватает на весь рис.

В овальных коробочках для женщин — рис и рыба. Пять рыб размером каждая в кильку.

Женщины едят тоже очень умело. Аккуратно, любовно отщипывают палочками мякоть и заедают рисом. Хвостики едят не отдельно, а вместе с кусочками мякоти.

Мы шли по палубе со старшим механиком Сергеем Викторовичем Гуртих и судовым врачом Мишей Федорчуком, когда нас окликнула японка.

— Сигалета,— попросила она, смущенно улыбаясь и жестом показывая, что хочет закурить. На вид ей было лет двадцать пять. Как она грузила чугун, трудно понять. Худенькая, маленькая, издали похожая на подростка. Совсем девочка. Ее звали Юрико.

Среди грузчиков оказался бывший военнопленный, который несколько лет жил у нас на Дальнем Востоке. Он вполне прилично знал русский язык. Это был сосед Юрико, и он помог многое узнать о ней. Она говорила о себе рассеянно, будто о другом человеке. Порою было похоже, что она жалуется, но не ждет ни ответа на свою жалобу, ни сочувствия, а просто объясняет, как несправедливы люди. Она вспоминала счастливые детские годы, когда они всей семьей работали на своем участке земли на далекой окраине Токио, где кончается город и начинается двадцатимильный овощной пояс.

Токио надо очень много овощей. Надо накормить овощами десять миллионов человек. Это очень выгодное дело — произво-

дить овощи. И вся семья во главе с отцом, и мать, и ее старшая сестра Кимико выращивали помидоры. Какие это были счастливые годы, когда вдвоем с Кимико они уходили на целый день со своими корзиночками собирать птичий помет. У Юрико хорошие глаза. Она очень далеко видит. Она не пропустит серые комочки на дороге, на заборе, на листьях кустарника. Она идет, то нагибаясь, то вытягиваясь на носочках, и сковыривает, счищает острой малюсенькой деревянной лопаткой эти серые комочки.

Они собирали помет всю осень и зиму, собирали по крошкам на дорогах, в общественных парках, в чужих садах, и к весне его накапливалось столько, что вполне хватало на все грядки. Отец радовался, потому что это самое лучшее удобрение и даже в неурожайный год можно будет получить много плодов.

Весной начиналась обработка грядок и вся семья рыхлила вскопанную отцом землю, рыхлила, меняя грабельки на все более маленькие, а последние комочки растирали пальцами, чтобы земля была мягкая и пышная и чтобы хорошо взялось удобрение. Отец рассыпал по грядкам высушенный и истолченный в пыль помет, и опять вся семья рыхлила и перемешивала землю, чтобы каждой ее клеточке досталась пылинка удобрения.

И потом, когда высаживали рассаду и когда появлялись цветочки, и завязь, и плоды, отец не давал себе отдыха, а уж женщинам сам бог велел работать, если трудится глава семьи. Они таскали на коромысле воду из ручья, нагревали ее на солнце, поливали ростки и выхаживали не каждый куст в отдельности, а каждый цвет и стебель. И если заболеет какой-нибудь цветочек, вокруг него собиралась вся семья. Они опрыскивали растения из маленького пульверизатора и покрывали каждый цветок целлофаном и обвязывали ниткой, чтобы он был в прозрачной коробочке, которая бы не касалась лепестков, но предохраняла их от всяких букашек и ветра. Они заключали в целлофановые коробочки завязь, а потом и плод и, перетягивая нитками целлофан, следили, чтобы не примять зеленый пушок на стеблях и оставить доступ воздуху, но не дать лазейку для вредителей.

Так они работали, выращивая помидоры, и собирали богатый урожай, и когда кончались ранние сорта, поспевали более поздние и, наконец, осенние. И ни у кого не было таких изумительных помидоров, таких мясистых и больших, с такой нежной окраской и наверняка очень вкусных, потому что не могли они быть иными, эти сказочно красивые плоды, которые шли в лучшие рестораны на Гинзе и не разрезались на кусочки, а подавались к столу целыми, как произведение искусства.

Каждое утро приезжал поставщик овощей в рестораны Томонага, осматривал приготовленные плоды, пересчитывал их и говорил, в какой из ресторанов везти. Конечно, отец мог бы и сам продавать их куда дороже, но один опрометчивый шаг, и теперь надо горько расплачиваться. Только один раз три года назад он не смог погасить полученный у Томонага аванс, и этот долг

теперь растет из года в год, и уже никому, кроме Томонага, нельзя продавать плоды. Да и цены теперь он диктует сам.

И все-таки Юрико вспоминает о том времени, как о лучших своих годах. Кто мог подумать, что все это так внезапно кончится. Оказалось, что их дом вместе с огородом лежит как раз на той трассе, где началась прокладка дороги на американский аэродром. Нельзя сказать, будто их просто бесцеремонно согнали с насиженного места. Напротив, им объяснили, что оплатят полную стоимость земли, а домик они могут перевезти куда-нибудь в другое место. Им во всем шли навстречу и согласились даже заплатить за дом, если хозяева откажутся увезти его. Правда, за жилье предложили не так уж много, но не хватит же совести просить больше за такую лагучу, слепленную из глины, тонких палочек и бумаги.

Им сполна заплатили наличными за участок и дом, и это получились немалые деньги. Вполне хватило отдать весь долг Томонага, и еще кое-что осталось.

Тем, у кого откупили участки, в первую очередь предоставили работу на строительстве дороги. Даже оставили бесплатно жить в этом доме, за который они получили деньги. К ним только подселили двенадцать рабочих.

Когда дорогу закончили, отца взяли на другую стройку за триста километров от дома и тоже бесплатно дали жилье. Работа оказалась временной. Они стали переезжать с места на место, перебиваясь случайными заработками. В конце концов отцу удалось устроиться на постоянную работу истопником в прачечной. Заработка могло бы и хватить на жизнь, но больше половины съедала комната. Немыслимо дорого в Японии жилье.

Они недоедали каждый день. Они обносились так, что стыдно было выйти на улицу. Однажды, когда в доме уже не оставалось ни одного зерна риса, а получки ждать еще десять дней, и продать было нечего, и негде было взять ни одной иены, отец сказал Кимико, что и она могла бы, наконец, подыскать себе работу.

Когда говорит отец, даже старший сын молчит. Кимико молчала. Но слушать это ей было обидно. И без того уже она готова идти на любую работу.

На следующий день Кимико вернулась домой рано утром. Она была какая-то странная. Очень спокойная и серьезная, будто вдруг стала старше. Молча столкнула с ног гэта, молча положила на маленький круглый столик деньги.

Все смотрели на нее и тоже молчали. Потом отец поднялся с циновки, медленно подошел к столику, взял деньги и уставился на них, будто впервые увидел стоиеновую бумажку. Он стоял и смотрел на деньги, и никто не мог понять, как он хочет распорядиться своими деньгами.

Задумчиво снял с очага чайник и аккуратно положил день-

ги в огонь. Маленькой кочергой, сделанной из проволоки, затолкал их поглубже, чтобы они сразу сгорели. Закончив с этим делом, повернулся к Кимико и грустно сказал: «За что ты меня так».

В тот день они ели только отвар из кореньев, а на следующее утро Кимико пришла и принесла рис и рыбу. И отец уже не мог бросить это в огонь.

Теперь жить стало легче. Правда, Кимико не каждое утро приносила продукты, бывало, по целым неделям она возвращалась без единой иены, но все же голодать они перестали. Конечно, будь у Кимико красивое платье, и дорогие белила для лица, и розовая краска для ушей и рук, она могла бы зарабатывать куда больше. Она могла бы, как другие девушки, приезжать на такси в порт, когда приходят американские корабли, и к ней садился бы военный моряк, который хорошо платит, и хотя к приходу кораблей выстраиваются целые вереницы такси с девушками, разбирают всех, потому что моряков много, и вообще военных американцев полным-полно, и все они щедро платят, и можно потерпеть, если иногда бьют по лицу.

Но думать об этом ни к чему, потому что денег на наряды и краски у нее не было. И чем дальше, тем меньше можно было мечтать о деньгах, потому что теперь Кимико приносила их совсем редко. Поэтому, когда Юрико исполнилось четырнадцать лет, она пошла на эту улицу, полутемную улицу, где сдаются комнаты на час или два. Она прохаживалась по тротуару, и перед ней неожиданно появилась Кимико и спросила:

— Что ты здесь делаешь?

Юрико не успела ответить, как старшая сестра ударила ее по лицу и, схватив за волосы, потащила домой. И всю дорогу, не стесняясь прохожих, она то и дело поворачивалась к Юрико и била ее, заливаясь слезами.

Так безжалостно поступила ее старшая сестра, которая больше всего на свете любила свою маленькую Юрико и никогда раньше даже пальцем ее не трогала.

Мы стояли возле четвертого трюма, в том месте, где у нас находится настольный теннис, и слушали Юрико. Она говорила, глядя на море, словно думала не о том, что рассказывает, и казалось, ей безразлично, слушают ее или нет, потому что ни от кого уже ничего не ждет, и сейчас можно жить, а можно и не жить, и ничего от этого не изменится ни для нее, ни для других.

С ракетками в руках к столу подошли наш чемпион настольного тенниса электрик Гриша Антоненко и котельный машинист Толя Панкратов.

— Пинг-понг,— щелкнула Юрико пальцами и побежала к трюму.

Снова поговорить с ней удалось в последний день выгрузки. Тем же безразличным тоном, как и прежде, она сказала, что спустя три дня после той злополучной встречи с сестрой Кимико

умерла. Денег на врача она не оставила, и никто так и не узнал, отчего она умерла. Как раз в это время отцу предложили новую работу. Они уехали с этого проклятого места и теперь живут хорошо. Отец служит в крупной рыболовной компании. Ему и группе рыбаков компания выдала вполне приличную лодку, снасти и отвела участок, где они могут ловить рыбу. Целыми днями они находятся в море, и когда лодка становится полной, везут свой улов к берегу и сгружают в баржу. Они снова уходят в море, а другие рыбаки возвращаются, и сотни лодок загружают баржу, но наполнить ее невозможно, потому что круглые сутки работают насосы и по широким рукавам гонят рыбу в разделочные цехи завода.

Заработков отца вполне хватает, чтобы оплатить аренду лодки, снастей и участка моря, выделенного для них, и, кроме рыбы, которую компания бесплатно выдает ему для личного пропитания, при хорошем улове остаются еще и деньги.

На новом месте повезло и Юрико. В первый же день она попала на причалы. Сумитомо и ее взяли выгружать руду. Работала она хорошо, и теперь ее постоянно берут, когда приходят суда. Бывает, что работа есть почти пятнадцать дней в месяц. В такие удачные месяцы она сама оплачивает всю стоимость квартиры. Это как раз ее двухнедельный заработок, если работать по двенадцать часов в день. Квартира так дорого обходится потому, что теперь у них две комнаты. Конечно, можно бы жить и в одной, но тогда надо большую, метров шестнадцать. У них теперь одиннадцать, но зато две комнаты, а дороже это ненамного.

...Закончился второй перерыв последнего дня разгрузки, и Юрико полезла в трюм. На ней, как и на всех женщинах, темные брюки, серая в цветочках блузка и каска. На ногах мягкая обувь.

Чугун оставался только на дне трюма. Туда ведет отвесный трап из металлических прутьев. Это высота четырехэтажного дома. Крепко цепляясь за прутья, Юрико спускается все ниже. Четыре стальных лотка уже внизу. Раздается свисток, и в ответ, точно залпы, загрохотали чугунные чушки.

Каждый лоток нагружают шесть человек. Чушку берут двое. Их норма девяносто три чушки в час. Девяносто три раза в час надо нагнуться, поднять два — два с половиной пуда и бросить в лоток. А за смену эту операцию надо повторить тысячу пятьдесят раз. Это за все двенадцать часов с двумя перерывами.

Правда, перерывов куда больше. В воздухе над трюмом носятся лотки. Они опускаются и поднимаются один за другим. Надо следить, чтобы они не придавили, чтобы не упала сверху чушка. Не зря на всех каски. И те секунды, пока смотришь, фактически отдыхаешь. Кроме того, чтобы поднять нагруженный лоток, опрокинуть его и снова опустить, уходит от одной до двух

минут. А это уже чистый отдых. Зато потом надо немного быстрее работать, чтобы покрывать эти непроизводительные простои, так как никто за вас грузить не будет. Из-за этих простоев получается, что надо грузить по две чушки в минуту. Может показаться, будто не так уж это и много. И верно, не много, если бы работать час, два или пять часов. Но ведь просто нагнуться тысячу раз в день трудно. А здесь в руках еще два пуда. Тридцать шесть тысяч килограммов на двоих за смену.

В первые дни было проще. Стой себе на одном месте, бросай чушки. А теперь это трудно. Чугун лежит в углах трюма, куда лоток не загонишь. На одном месте стоять не будешь. И лежат чушки не ровным штабелем, а точно вываленные из самосвала. Возьмешь одну — поползет десяток. Их не удержать, они раздавят ноги. Но и возиться с ними нельзя, Сумитомо ждать не будет.

В Одессе я видел, как на одном судне подбирали остатки чугуна. Маленький смешной бульдозер сгребал их к центру трюма, а «пауки» выносили наверх. И только два-три десятка чушек, зацепившихся за шпангоуты, выбирали руками.

Но здесь не Одесса. Здесь Сумитомо. Монополистический концерн Сумитомо, который должен вытеснить Мицуи и Мицубиси. Ему невыгодно опускать в трюм бульдозер.

Юрико и ее напарнице теперь очень трудно. Они стараются брать чушки так, чтобы не задеть соседних. Подняв груз, надо сделать лотку всего три — пять шагов. Но, должно быть, и это трудно. Чушка качает из стороны в сторону двух маленьких японских женщин. Подойдя к лотку, они не бросают груз, как раньше, а просто разжимают руки. При этом чугун больно трет пальцы, сдирает кожу. Но бросать уже нет сил.

Работать в брезентовых рукавицах нельзя: тонкие пальцы не удержат груз. На руках Юрико вязаные хлопчатобумажные перчатки. Они почти не предохраняют рук. Уже содранные пальцы в бинтах. Уже и бинты стерлись, пора бы перевязать, но надо грузить чугун. Надо бросать чушки. Нельзя сбиваться с темпа.

В первый день было куда легче. В первый день ни один человек не упал. В первый день сидя дожидались две минуты, пока поднимется и снова опустится лоток. Теперь на эти две минуты все ложатся. Падают на чугун в ту секунду, когда брошена последняя перед подъемом чушка. И снова качает Юрико и ее напарницу. Но они улыбаются. Надо улыбаться, чтобы тот, кто стоит со свистком, видел: им совсем не тяжело. Просто смешно, что их качает. Надо улыбаться, чтобы и в следующий раз взяли на работу. Улыбаются все. Грузчик, которому раздавило палец на ноге, по привычке улыбался нашему судовому врачу Мише Федорчуку, когда тот делал перевязку. Приходя в себя, терявшие сознание улыбались. Ужасно смешно потерять сознание, пусть это видит человек со свистком.

Здесь, на комсомольско-молодежном судне «Физик Вавилов», у причалов Сумитомо я видел улыбки, страшные, как смерть.

Ночью работают только мужчины. Ночной перерыв длится час. За несколько минут японские грузчики съедают скудный ужин, а потом спят. Я много раз видел, как спят очень усталые люди. Видел на вокзалах, на целине, на фронте. Но то, что было на палубе, ни с чем несравнимо. Лежали трупы. Трупы, которым уже несколько дней. Уже обтянула скулы черная кожа, уже виден каждый сустав на пальцах. Лежали тела, будто пораженные током: скорченные, скрюченные, разбросанные. Они окаменевали в том виде, в каком застало их последнее съеденное зерно риса. Во сне они падали и, не просыпаясь, застывали в таком же согнутом положении, другие так и замирали с палочками в руках, третьих разбрасывало одним рывком, словно судорогой. А потом все затихало. Не слышно было даже дыхания. И вдруг раздавался свисток. Людей подбрасывало. Вскочив на ноги, они улыбались. Страшная, нечеловеческая улыбка. Они улыбались: пусть видит человек со свистком — никакой усталости нет, как смешно, что они задремали.

...Из последних сил выбивалась Юрико. Маленькая Юрико с маленькими тонкими руками. Мы смотрели, как шла разгрузка. Котельные машинисты Юра Антипов, Саша Голов, атлетического телосложения механик Боря Пономарев. Мы не могли тебе помочь, Юрико. Не имели права даже выразить тебе сочувствия. Это вмешательство в чужие, внутренние дела. Это внутренние дела Сумитомо. Это внутренние дела богини солнца Аматерасу, солнца, которое изображено на знамени империи Ниппон.

Прощай, Юрико. Мы видели, как ты выбиралась из трюма, как, качаясь на прутьях, карабкалась на высоту четвертого этажа. Вслед за тобой совсем близко поднимался Толя Панкратов. Может, и полез он для того, чтобы поддержать тебя, если качнешься в последний раз.

Мы покидали порт Кокура. Гудели заводы Мицуи, Мицубиси, Сумитомо. А дальше снова были тихие озера, и эта мелодия, бесконечная, усталая, безысходная.

Прощай, Юрико. Прощай,маленькая, печальная Юрико. У нас сегодня праздник! Поднялась в космос первая в мире женщина. Ей, как и тебе, двадцать шесть лет.

1962—1968 гг.

ПРАВДА ЦЕЛИНЫ

ДИПЛОМАТЫ В СТЕПИ

Когда я плавал на теплоходе «Солнечногорск», в порту Касабланка познакомился с Михаилом Шайтаном. Это единственный наследник бывшего владельца крымских мыловаренных заводов «Кил». Наследство он потерял по той причине, что произошла революция. Но лично он не считает, будто оно потеряно окончательно.

Как было ясно из визитной карточки, теперь он владелец и президент фирмы по транспортировке апельсинов. Живет богато. Так он сказал.

Случай привел меня в главную контору его фирмы: маленькая, полутемная комната, дребезжащая машинка, такая же машинистка и вице-президент фирмы, являющийся по совместительству курьером.

Шайтан расстроился оттого, что я увидел весь его штат и всю его фирму. Он засуетился и, растерянно улыбаясь, произносил какие-то междометия. Его стало жалко.

Неожиданно он оживился и быстро проговорил:

— А целина-то ваша провалилась,— и захихикал, не в силах сдержать радости. Его «страшная месть» и меня рассмешила. Мне уже не было жалко смотреть на этого жалкого человечка.

...В Гибралтаре один из владельцев солидной английской фирмы по продаже судового оборудования пришел к нашему капитану и предложил свои товары. Капитан сказал, что, к сожалению, не нуждается в них. Представитель фирмы ушел не сразу. Несколько минут разговор шел ни о чем. Потом он стал интересоваться жизнью Советского Союза. Между прочим спросил:

— А что теперь будет с брошенными на целине поселками?

Я не понял его. Он пояснил:

— После того как эрозия съела почву и целина больше не дает хлеба, а люди разбежались, остались ведь там поселки. Или только землянки?

Примерно на такие же вопросы мне пришлось отвечать в порту Джорджтаун.

Если исключить Шайтана, то люди, задававшие этот вопрос, в общем-то хорошо относились к Советскому Союзу. Сколько же клеветы вылито на целину.

И вот чрезвычайные и полномочные послы ряда капиталистических стран и временный поверенный в делах Китайской Народной Республики, аккредитованные в СССР, пожелали посмотреть на целину. Они решили собственными глазами увидеть, какая она на самом деле. Они просили показать им не опытно-образцовый участок красивой пшеницы, а много гектаров целинного хлеба.

Им сказали, что это можно. Им сказали, пусть купят билет и едут. И они полетели в Целиноград. Здесь им подали специальный поезд, в котором было пять вагонов, и они отправились в самую глубь казахских степей. Я тоже купил билет на тот поезд. У меня были свои соображения. Мне хотелось посмотреть, какие у них будут лица, когда они увидят хлеба.

Рано утром поезд миновал станцию Ковыльная и, пройдя еще километров десять, остановился в степи. Раньше станции Ковыльная не было. Был ковыль. Теперь не было ковыля. Рельсы шли через пшеницу, как просека в лесу. Только с просеки не видно горизонта, а тут хотя он казался далеким, но различался ясно. Было хорошо видно, как пшеница сливается с небом.

Дипломаты проснулись и уже успели позавтракать. Они смотрели в окна то из своих купе, то из коридора. Но, оказалось, безразлично, откуда смотреть: все равно, кроме пшеницы и неба, ничего не увидишь.

Группа людей, встречавших поезд, подошла ближе к вагонам.

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады мистер Роберт Артур Дуглас Форд,— сказал переводчик, когда мистер сошел со ступеней.

— Иван Шарпов,— шагнул вперед один из встречавших и, улыбнувшись, подал послу руку.

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании сэр Хэмфри Тревельян.

— Иван Шарпов.

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции господин Филипп Бодэ.

— Иван Шарпов.

Выходили на целинную землю дипломатические представители США, Австралии, КНР, Аргентины, и приветливо здоровался с ними Иван Шарпов. Потом все уселись в автобусы и легковые машины и поехали смотреть хлеба.

Сначала все шло хорошо. Недоразумения начались после того, как проехали километров сто или больше. Пейзаж был везде одинаковый: пшеница и небо. Но смотреть на пшеницу не надоедало. Только в первый момент казалось, будто она везде одинаковая. В действительности она разная в каждое мгновение, как и морские волны.

Дул легкий ветерок, колосья шевелились, перекатываясь под солнцем золотым и багряным блеском. А то вдруг порыв ветра — и промчится по полю зеленая полоса и растает где-то вдали.

За каким-то поворотом солнце ударяет в глаза, невольно прищуриваешься, и кажется вдруг, будто несешься в пространстве Вселенной, и нет ничего в мире, кроме этой могучей пшеницы, нескончаемой, неистребимой, вечной, как жизнь.

Ветер подул сильнее, стал порывистее, и хлеба вступили с ним в бой. Он наносил удары, а колосья увертывались, как боксер, метнувший головой, и удары приходились в воздух. Снова налетал

ветер, колосья метались, не давая себя свалить, и вскидывали гордые головы, издеваясь над ним и дразня его.

Молча смотрели в окна дипломаты. Потом кто-то спросил:

— Значит, раньше здесь не ступала нога человека?

— До революции здесь были кочевники,— ответил Иван Шарпов.

— А куда они делись?

— Вон позади нас автобус,— сказал Шарпов,— в нем вместе с дипломатами едет председатель исполкома Зикен Рамазанов. Он родился в этих степях в семье кочевников. Может быть, вы обратили внимание на двух девушек с группой школьников, встречавших вас у поезда. Это директора ближайших совхозных школ из Ковыльной Ахметова и Кадырова. Они учат русских детей русскому языку. Их деды кочевали здесь. Мы едем сейчас по территории совхоза «Московский». Главный ветеринарный врач совхоза Сердалин — тоже потомок кочевников. Я могу познакомить вас с агрономами, комбайнерами, учеными, рабочими высшей квалификации, чьи родители составляли когда-то кочевые племена. В общем,— закончил Иван Шарпов,— кочевники никуда не делись. Здесь живут.

— А вы давно сюда приехали?

— Давно,— улыбнулся Иван.

Должно быть, ему казалось неловким рассказывать иностранцам, как он сюда попал. А, по-моему, зря не рассказал.

* * *

Шла безземельная голытьба с насиженных мест. Шли с Украины, из Белоруссии, Центральной России. Шли люди, знали, что делали: там, в Сибири, земли вольные, нет урядников, нет поборов.

Шел и Иван Шарпов. Шел рядом с кобылой, а вприпрыжку за ним — Афанасий. Пятеро младших сидели в телеге. Держась за нее, шла Антонина, следя, чтобы никто не выпал. Двигались по столбовой дороге. Голод бил переселенцев. Падали тощие кони, падали мужики и бабы, косило детей.

Кочевал Иван по России, потом свернул с голодного сибирского большака, и затерялся его след в казахских степях. Но не погиб Иван. Дотащился до излучины двух рек, где уже обосновались русские переселенцы, и стал рыть землянку. Кобылы теперь не было, издохла кобыла.

Трудно было Ивану, а все-таки поднялся, встал на ноги. Всего шесть лет батрачил с семьей, но обзавелся постепенно и конем, и коровой, и собственным куском земли. Всю душу вложил в землю, и ответила ему благодарная, вскормленная им земля. За все ответила. За муки и голод, за пот, пролитый на каждый ее комок. Поднялись всходы густые и бархатные, ровные и сильные.

Потом солнце выжгло всходы. Выжгло дочиста, даже скоту

нечего было подобрать на окаменевшей, с глубокими трещинами земле.

Тогда Иван Шарпов помер. Афанасий вырыл могилу, где стояли уже десятки крестов, и похоронил отца. Поднялись, заметались по степи переселенцы. Люди устремились на французские, английские, американские концессии, сосавшие Казахстан. Двинулись к иностранным нефтяным разработкам «Товарищества Нобель», «Урало-Каспийского», «Общества Эмба и Каспий».

Афанасий Шарпов с земли не ушел. Под истошные крики семьи забил корову. Коня не тронул. Без коня — гибель. С утра до ночи собирали тощие стебли на корм коню. Прикидывал Афанасий, как перезимовать, и ловил слухи, доходившие из России.

Афанасий Шарпов бросил землю. В частях Красной Армии сражался против банды Дутова, против Колчака, а когда кончилась война, вернулся в село. Вернулся и продолжал воевать. Воевал с баями и кулаками. Ему и положено было так поступать, поскольку он был председателем сельсовета. Когда только избрали его на этот пост, когда принес секретарь первую бумагу на подпись, Афанасий уже вел себя солидно, как и подобает человеку на таком посту. Уселся в кресло, что притащили с какой-то усадьбы, и сказал:

— Ну, читай!

Выслушав, пощипал подбородок и отдал распоряжение:

— Подписывать эту бумагу не буду. На словах скажи, что сам председатель велел сдавать излишки без разговоров.

В ту же ночь Афанасий вызвал в свой кабинет только что прибывшего на село учителя и с его помощью за два часа научился расписываться. Тот же учитель через два года помог заполнить анкету для вступления в партию.

— А тут чего? — спросил Афанасий, показывая на графу «Образование».

— Пиши: «В объеме трех классов сельской школы». Вполне такие знания у тебя имеются.

На следующий день Афанасий Шарпов собрал двадцать шесть бедняков и середняков и предложил организовать колхоз «Новая звезда». Название придумал сам. Его же избрали председателем. Была к тому времени у него немалая семья и была опора — сын Иван, названный так в честь деда.

Много лет руководил колхозом Афанасий Шарпов. Заносили его не раз на красную доску, посылали в Москву на сельскохозяйственную выставку, наградили орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Потом его исключили из партии и отдали под суд. По суду оправдали, потому что не нашли подходящей статьи под его преступление. Могли бы и из партии не исключать, но подобрали такую формулировку, что не исключить было нельзя. «За наруше-

ние устава сельхозартели». Исключали не сразу, не с кондачка, а по-умному. Сначала выговор дали, дней через десять — строгий выговор, потом — с предупреждением и только через неделю после этого исключили.

Первый выговор он получил за срыв посевной. Своевременно были ему спущены все инструкции со сроками по пятидневкам, а он свое: «Не могу, говорит, по грязи сеять, собственными руками зерно гноить». А в результате из-за одного колхоза райком не мог дать сведений о завершении сева по всему району. Правда, когда чуть подсохло, он все же провел сев и урожай получил хороший, но это уже было после выговора. Без разрешения вздумал и гречку сеять, хотя в плане района никакой гречки не было. Секретарь райкома так прямо и сказал на бюро:

— Ну чего человеку надо? Спускают ему план: когда сеять, что сеять, сколько сеять, когда убирать и так далее. Все в планах сверху предусмотрено, для всех одинаково. А он умнее всех хочет быть.

Сосед Афанасия шептал ему на ухо: «Не будь норовистым, Афоня, признай вину, и ничего не будет». Второй сосед толкал локтем: «Не упрямься, не будь дураком». И когда предоставили последнее слово Афанасию Шарпову, он поднялся и все признал. Всю критику признал правильной.

— Признаю,— говорит,— что я не выполнил указаний секретаря райкома. Признаю, что сеял культуры, не предусмотренные планом. Признаю, что не укладывался в сроки сева и уборки по пятидневкам, чем тянул назад сводки всего района.

На этом бы ему и кончить. Уже и секретарь райкома, которого Афанасий Шарпов столько времени зря нервировал, довольно кивал головой, уже люди думали, что все обойдется! Так нет же! Опять пошел свой характер выказывать.

— Это верно,— говорит,— для всех условия одинаковые, но урожаи-то я снимаю бо́льшие. Людям пересевать пришлось, сколько зерна драгоценного государственного погибло ни за понюх табаку. А я ведь не пересевал. И на трудодень колхозники «Новой звезды» больше получают. Когда только засветила нам эта звезда и стал я председателем колхоза — ровно восемнадцать лет назад это было,— пять коров и двенадцать лошадей у нас имелось. А теперь? Одного крупного скота две тысячи голов. За это, что ли, исключать меня хотите?

Исключили из партии Афанасия Шарпова. Решил он писать сыну. Пусть приедет и поможет разобраться, что к чему. Но Иван не приехал к отцу.

* * *

Он родился в казахских степях и с детских лет знал, что такое земля. Когда ему исполнилось семнадцать лет, пошел защищать землю. В первом бою за деревню Мишурин Рог получил медаль «За отвагу». Вскоре получил еще одну медаль «За отвагу». Он был тогда наводчиком и точно наводил орудия на

танки. Орденом Славы наградили, когда уже стал командиром орудия. Наградили за подбитые им танки под Кировоградом. Потом подбивал танки в других местах, стрелял прямой наводкой по дотам и дзотам, и, поскольку научился хорошо это делать, его отметили орденами Красной Звезды, Отечественной войны и другими наградами.

Когда фашистов выгнали с нашей земли, Иван Шарпов отправился со своим орудием дальше, в Европу. Ему хотелось дойти до Берлина, но не дошел. Зато побывал в Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии, Чехословакии. Последний снаряд выпустил девятого мая сорок пятого года.

К этому времени ему стукнуло полных двадцать лет. Хотя партийный стаж у него был всего два года, его избрали секретарем парторганизации дивизиона. Отпраздновали День Победы, и люди поехали освобождать Китай и Корею. Пересекли свою Родину от края до края и сделали привал на берегу реки Голубой Керулен. Впереди были хребты Большого Хингана. Иван Шарпов собрал коммунистов и сказал, что на Хингане врагов не будет, так как они понимают, что с орудиями там не пройдешь и погибнешь. Они ждут нас в другом месте. Поэтому надо пройти здесь. Поэтому, если кто уронит свою пушку в пропасть, которых там черт знает сколько, или утопит в трясине, которых там не меньше, или разобьет в скалах, отвечать будут коммунисты.

Потом спросил: понятно он говорит или нет. Все сказали, что понятно.

Иван Шарпов со своим дивизионом перевалил через Большой Хинган и прошел всю Маньчжурию. Капитуляция Японии застала его на Ляодунском полуострове.

Китайские братья радовались свободе и с криками «Русский — шанго!» качали советских воинов. Домой Ивана не отпустили. Надо было помогать китайским братьям строить новую жизнь, и его избрали секретарем партийной организации воинской части. Помогали строить, восстанавливать предприятия, дома, дороги, сеять и убирать хлеб.

Через три года после окончания войны части, стоявшие по соседству в Корее, уезжали на Родину. Иван собрал митинг, чтобы прочитать благодарственное письмо корейского народа советским воинам. Как раз в это время и пришло сообщение о том, что его отец исключен из партии. Иван решил подумать над этим делом после митинга. Он читал бойцам слова благодарности корейских братьев, а мысли то и дело отвлекались на другое: «Как же так получилось с отцом?»

«Славные подвиги, совершенные Советской Армией во имя освобождения и возрождения нашей страны, не померкнут в веках,— громко читал Иван.— Они будут жить в памятниках, воздвигнутых нами в честь освобождения, в дымящихся трубах заводов и фабрик, восстановленных с помощью Советского Союза,

в золотых волнах наших хлебов, в радостных улыбках наших людей».

Письмо было большое, и чем дальше читал Иван, тем яснее становилось, что неловко ему сейчас уезжать из Китая даже на короткий срок. Имеет ли право партийный руководитель уехать по личным делам в то время, как его люди широким фронтом развернули работы в помощь братскому народу? А когда прочитал он фразу: «Укрепление дружбы между нашими народами, скрепленной светлой кровью советских воинов, пролитой на полях сражений за освобождение нашей страны, является нашим священным долгом»,— твердо решил, что его долг в это горячее время — еще больше крепить дружбу и находиться здесь.

Иван написал письмо в партийные органы. Может, в чем и ошибся отец, но человек он честный. Пусть еще раз все проверят. Помогло ли это письмо или просто разобрались люди, но спустя год восстановили в партии Афанасия Шарпова, и снова стал он председателем колхоза.

Шесть лет пробыл в Китайской Народной Республике Иван. Он уехал вместе со всеми частями Советской Армии.

Явился Иван в райком партии и отчитался в своей деятельности за военные и послевоенные годы. Деятельность одобрили. Он стал профессиональным партийным работником. Был пропагандистом, окончил Высшую партийную школу, работал секретарем райкома.

Он был инструктором обкома, когда началась и захватила его вихревая, как революция, целина. Загудели казахские степи. Казалось, те же тягачи, что тащили его орудия, только другого цвета и с вагончиками на прицепах, двинулись по нехоженой земле. И вспомнил Иван огневые военные годы.

Он имел награды «за освобождение», «за взятие». Как первый боевой орден принимал Иван в Кремле награду «за покорение». За покорение целины.

Теперь Иван Афанасьевич Шарпов — секретарь парткома одного из крупнейших производственных управлений Целинного края. Заочно учится на третьем курсе сельскохозяйственного института.

И вот он показывает дипломатам целину. На границах совхозов гостей встречали директора совхозов, рассказывали о своих хозяйствах. Вместе фотографировались в пшенице. Правда, не все. Некоторые гости поспешно выходили из густых колосьев, точно боялись, что фотографии будут свидетельствовать о том, какие могучие хлеба они видели на целине. Китайцы, по-моему, так ни разу и не снялись.

Останавливались дипломаты и просто в степи, и в бригадах, на полевом стане. Когда проехали в хлебах километров сто или больше и убедились, что это не декорации и не показательный участок, а конца и края хлебам не будет, сказали: «Хватит».

Тогда их повезли в ближайший совхоз «Свободный», где был приготовлен обед. Во время обеда гости делились впечатлениями, и вот тут-то произошел ряд недоразумений.

Началось со слова «усадьба». По пути они видели несколько совхозных усадеб и заявили, что переводчик неправильно объясняет это слово. Какая же это усадьба, если тянется она на несколько километров, и стоят многоквартирные дома городского типа, и живет там три-четыре тысячи человек, и есть электростанции, больницы, кинозалы, газ, бильярд и еще бог знает что.

Ответить на этот вопрос никто не мог. В самом деле, совхозные городки с их разветвленной электро- и радиосетью, школами и детскими учреждениями, стадионами и танцевальными площадками, автобусным движением никак не походили на усадьбы. Гостям объяснили, что не все поселки одинаково благоустроены. Газифицировано, например, лишь 233 совхоза, а газификация всего края завершится только к концу будущего года.

Видно было, гостей такой ответ не удовлетворил. Они сказали, что вообще многое им непонятно. Сказали, что, судя по печати и кинофильмам, они должны были увидеть здесь небритых ребят, преодолевающих трудности, землянки, палатки, вагончики, столовые под навесом или открытым небом с походными кухнями. А оказывается, даже в столовой полевого стана, который не похож на «стан», столики и стулья, как в московских кафе, а многие девушки кокетливы и ходят в узких модных брюках с прическами, как у кинозвезд. Какие же они целинники?

Гости находили все больше несоответствия между тем, что увидели, и материалами буржуазной печати. Оказывается, в Целинном крае больше тринадцати тысяч озер, большие лесные массивы, неисчислимые рудные богатства, угольные копи и промышленные центры. Получается, что никакая это не целина. Так один из гостей и сказал:

— Целины мы не видели, и почему то, что нам показали, называется целиной, непонятно.

Возражать им было трудно. Иван Шарпов попытался объяснить, почему так получилось:

— Понимаете, и «усадьба», и «целина», и многое другое осталось с прежних времен. Вроде того, как живут названия «Красные ворота» или «Охотный ряд» в Москве, хотя ни «ворот», ни «ряда» давно нет.

И тогда, естественно, возник вопрос: что же такое «целина» сегодня? Об этом говорили в разных концах длинных столов, и получилось, что все, кого спрашивали, по-разному ответили на один и тот же вопрос.

Один ответил, что это край индустриального производства сельскохозяйственной продукции, насыщенный передовой техникой, которой управляют 250 тысяч механизаторов и десятки тысяч инженеров и специалистов. Это край, где значительная

часть населения технически грамотна, умеет управлять машинами, и в скором времени человеку, не способному сесть за штурвал или за руль, будет так же стыдно, как в старину в деревне тому, кто не знал, как запрячь лошадь.

Второй заявил, что целина — это исполинская лаборатория научных методов ведения сельского хозяйства, постоянно совершенствуемых на основе открытий научно-исследовательских институтов и данных практиков.

Третий объяснил, что целина — это страна мужества, героизма, воли, где сплелись в неразрывном союзе дружбы могучие силы молодости всех советских республик.

Нашлось еще несколько объяснений, не похожих одно на другое. Чтобы внести ясность, Иван Шарпов сказал:

— Каждый говорит то, что ему ближе по профессии. В первом случае отвечал инженер, во втором — агроном, в третьем — комсомольский работник. Все они лишь дополняли друг друга, и таких дополнений может быть еще много. Я бы, например, сказал, что главное в целине — это великая победа народа, еще одна проверка наших сил, нашего строя.

Иван Шарпов не произносил речь, его слушало лишь несколько человек, находившихся поблизости, но их внимание отвлеклось на торжественное шествие повара.

Здесь я должен сделать отступление. Как известно, в дипломатическом корпусе есть старейшина, или, как его называют, дуайен. В поездке по целине старейшиной был посол Ганы Дж. Б. Эллиот. И вот, по старинному обычаю, в то время как гостям разносится бишбармак, национальное блюдо из баранины, самому почетному гостю подается красиво приготовленная голова животного. С этим подношением и направился повар к послу Ганы. Господин Эллиот поблагодарил хозяев и сказал:

— Здесь приводились высказывания некоторых западных газет, будто целина — это пыльная чаша. Я должен сказать, что уж если это чаша, то полная.

— Почетное блюдо,— продолжал Эллиот,— я хотел бы разделить с моими коллегами. Я передаю им глаза и уши, чтобы они лучше увидели целину и лучше услышали, что здесь делается. Я передаю им язык, чтобы они полнее рассказали в своих странах правду о целине.

Слова Эллиота вызвали большое оживление. Вскоре гости стали собираться. В их программе было посещение одного из целинных научно-исследовательских институтов и курорта Боровое.

Улучив момент, когда Иван Шарпов был один, я спросил его: как все же объяснить, что такое целина? От ответил: «Через несколько дней начинается уборка. Оставайтесь, и сами увидите...»

Я остался.

ЭТОГО ДИПЛОМАТЫ НЕ ВИДЕЛИ

Евгений Алейкин не успел убежать. Вернее, он не пытался бежать. Это был первый налет фашистской авиации на порт, и он просто растерялся. В ногу попал большой осколок. Без согласия Евгения врачи не имели права делать ампутацию, но они не стали спрашивать его согласия, потому что он был несовершеннолетний. Они объяснили матери, что такое газовая гангрена. Сомнений у них не оставалось: гангрена пойдет по телу. Чтобы избежать этого, надо отрезать ногу. Мать согласилась.

Когда Женя вышел из больницы, с фронта вернулся отец. Хотя к тому времени война еще не кончилась, его демобилизовали, поскольку он был тяжело ранен и передвигался с трудом. Его долго лечили в госпиталях, потом несколько лет дома лечили, но все равно с кровати он почти не вставал и лечение это было уже ни к чему. Когда отец умер, мать пошла работать в порт, а за маленьким Борькой ухаживал Женя в свободное от школы время.

Из-за ноги Женя потерял почти два года и был в классе самым старшим. Он обижал малышей, его боялись, но все-таки дразнили «одноногим». Потом ему надоело учиться с малышами и вообще все это надоело, и он бросил школу. Решил тоже поступить в порт, тем более людей там не хватало и устроиться было легко. Его не приняли. Посоветовали идти в артель инвалидов. Он не захотел, было стыдно: инвалиды — это старики или вернувшиеся ранеными фронтовики, а ему едва исполнилось шестнадцать лет. Можно было хорошо устроиться в пошивочно-шляпную мастерскую. Название мастерской ему не нравилось, и оказалось, там одни женщины, и он постеснялся.

Решил найти работу где-нибудь подальше от центра, чтобы не встретить там знакомых мальчишек или девчонок. На далекой окраине города близ рынка находилась сапожная палатка, где работали три мастера. Туда он и поступил в качестве ученика.

С утра все трое искали мелкий ремонт, чтобы выполнить его сразу, при клиенте, и тут же получить за работу. Получать деньги доверили Жене. Первой и главной его обязанностью было внимательно считать деньги и не прозевать тот момент, когда набежит на пол-литра и полкило колбасы. Труда это не составляло, тем более что после каждого клиента мастера механически прикидывали в уме, сколько уже собралось, и, как бы про себя, но все-таки вслух, говорили: «Как раз!» или «Ну вот!» или еще что-нибудь в этом роде.

Женя брал свой костыль и вприпрыжку бежал в ларек, находившийся тут же, на рынке. Он добросовестно и быстро выполнял свои обязанности, и мастера ценили его трудолюбие. Поэтому наливали немного и ему.

Пить Жене было противно. Над ним посмеивались, называли

«маменькиным сынком». Он стал пересиливать себя и уже не отказывался от своей доли. Отношение к нему улучшилось. Постепенно его научили прибивать подметки и набойки. Бывало, доверяли и более сложный ремонт.

В удачные дни и в получку раньше времени закрывали палатку. Женя приносил два, а то и три пол-литра, чтобы потом уже зря не бегать. Теперь ему не приходилось себя пересиливать. В этом деле он уже не намного отставал от мастеров.

Жить стало легче. Раньше он расстраивался от всяких посторонних мыслей, которые лезли в голову, особенно когда встречал ребят в форме ремесленного училища или просто молодежь с книгами. В те первые месяцы работы в сапожной палатке он расстраивался по любому поводу: увидит группу веселых моряков или молодого шофера, который привезет на рынок продукты, и завидует им. В такие минуты становился задумчивым и рассеянным. Потом понял — можно не ждать от жизни ничего хорошего. Мысль эта была для него не новой, он ощущал ее каждый день, но, когда окончательно утвердился в этом, ему стало легче: теперь можно не расстраиваться от встреч с ребятами, у которых счастливая судьба, и не забивать себе голову всякими мыслями и бесплодными мечтаниями. Он твердо решил, что теперь ему будет легче, и, если эти ненужные мысли опять лезли в голову во время работы, он гнал их, не раздумывая, яростно забивая гвозди в подметку. Если такие мысли заставали его, когда он бегал за водкой, тоже не обращал на них внимания. Когда они будили его ночью, он с издевкой отвечал на них про себя, что его это совершенно не трогает и он плевать на них хотел, пусть даже они не дадут ему спать до утра. И он ждал этого утра с нетерпением, ждал, чтобы поскорее выполнить первые заказы.

Мать все видела и все понимала.

Однажды спросила:

— Может, Женя, на целину уедем?

Ему было все равно. Он сказал:

— Мне все равно. На целине тоже подметки рвут.

Новому директору совхоза Ивану Шарпову было не до них. У него была мечта: три дождя. И ничего в жизни не надо: три хороших дождя. Первый — сразу после сева, второй — когда выйдет третья связка. Хлебный стебель, он ведь как бамбук или камыш, коленцами пересечен. Так вот, на выходе третьего коленца дождик нужен. И последний — под налив хлебов.

Мечта не сбылась. Не было дождя. Ни первого, ни второго, ни третьего. Вообще не было дождей. Было огромное солнце, не загороженное облаками, и горячие ветры. Но землю оплодотворили, и должна была появиться жизнь.

Она появилась, вышли, выбились сквозь трещины ростки — жалкие, бледные заморыши. Они выбились к свету и влаге. А влаги не было. Подгорали, обвисли стебельки. Рост прекратился.

Но они еще жили, маленькие и хрупкие, и, как все живое, стремились оставить потомство. Они торопились, потому что жизнь едва теплилась в них и надо было успеть это потомство дать. Раньше времени выбросили стрелку и пошли в колос. Родились колосики-недоноски. Крошечные, хилые, безжизненные.

И снова палило солнце, обжигал суховей, не жалея эти существа, и они сжались, сморщились, потрескались, не в силах сопротивляться. Било солнце лежачего.

Так пришла пора уборки. Иван Шарпов объезжал свои поля, срывал колосья, считал зерна. В низинах и балках в колосе всего десять — двенадцать зерен. А тысячи и тысячи гектаров выжжены почти дочиста.

Иван Шарпов собрал людей:

— Что будем делать? Убирать или, может, не стоят трудов наших эти зернышки? Может, скот пустить?

Спросил и замер. Что скажут?

На следующий день началась уборка. Комбайн что машинка для стрижки волос. Только ширина ножей шесть — десять метров. А над ними, во всю их ширину, вертится мотовило — длинные планки, накрывая колосья и прижимая их к ножам.

Пошли комбайны, да не достает мотовило до колосьев, слишком низкие. Остановили машины, прибили вдоль планок старые брезентовые рукава, еще ниже опустили ножи. Под самый корень стали брать, чуть не с землей.

Смотреть больно: целый день ходит комбайн — и едва бункер зерна наберет.

Вечером в кабинете директора подводили итоги. Пятнадцать — двадцать килограммов с гектара. А сажали по сто двадцать. Там, где урожай получше, собрали все, что посеяли.

Расходились, не глядя друг другу в глаза. Остался Иван Шарпов один. Вошел кладовщик подписать какую-то бумагу. Подписал. Тот направился к двери, но директор задержал:

— На первый раз предупреждаю. Повторится, сниму с работы.

Сказал безразличным тоном, ни на каких словах не делая ударения, не повышая голоса, глядя своими голубыми, похожими на девичьи, глазами. Пришла вдруг в голову случайная мысль, он и высказал ее.

Кладовщик обиделся:

— Не знаю, про что это вы, Иван Афанасьевич, работаю я честно...

Пока он это говорил, директор внимательно смотрел на него, но только в глазах его под черными сросшимися бровями ничего девичьего не было. Взгляды их встретились, инстинкт самосохранения сработал, и кладовщик осекся. Уж лучше смолчать. На эту невысказанную мысль директор ответил:

— Ну вот, так-то вернее...

Читает он, что ли, чужие мысли? Домой шел, злясь на директора, который ему в сыновья годится. А вот ведь пронюхал

что-то. Или просто на бога берет. Знай он что-нибудь, небось сказал бы.

Время трудное, на всякий случай надо кое-что предпринять, чтобы потом уже о зиме не думать.

Предпринял. Ничего серьезного, так кое-что по мелочам припрятал. А через два дня получил приказ: переводят на работу по уборке скотного двора.

Кладовщик был опытный. Еще до целины не раз выкручивался из щекотливых положений, бывало и с работы снимали, но под суд не попадал, любые обвинения мог отвести. А тут и обвинений-то никаких не предъявляют. Сняли, и все. Пойти на директора в атаку, так черт его знает, что ему известно. Как бы хуже не было. Но и так оставлять дело нельзя. Надо что-то придумать.

Он придумал. Перед вечером позвал в гости кузнеца Алексея Дробова. Еще мальчишкой в Красноярском крае в Крутоярском совхозе взбирался Лешка на отцовский трактор «Фордзон», на комбайн «Оливер» и пристрастился к технике. В пятьдесят четвертом году секретарь райкома партии, вручая ему кандидатскую карточку, спросил:

— А на целину не собираешься?

— Посылайте, поеду.

Мастер на все руки, для целинного совхоза, особенно в момент его становления, Алексей был кладом. Своим мастерством не бахвалился, а силу показать любил. Работал, со временем не считаясь, сверхурочных не требовал, почести принимал как должное. Авторитетов и чужих мнений не признавал, держал себя независимо, в первую очередь делал то, что сам считал нужным, и делал на совесть.

С его слабостями начальство мирилось, боясь задеть его болезненное самолюбие, а то обидится вдруг и уйдет в другой совхоз.

Такой человек может пригодиться, и кладовщик старался угодить ему. Несколько раз, отпуская Алексею продукты, давал изрядный «поход» на тару, но тот лишнего не брал, за все платил сполна. Зато кладовой пользовался, как своей, в урочное и неурочное время, а понадобится, не стеснялся поднять кладовщика и ночью.

Дробов пришел в гости охотно. Кладовщик действовал осмотрительно, осторожно. О новом директоре заговорил только после третьего полстакана. Что за директор такой! Самого первого и уважаемого человека Алексея Дробова до сих пор не пригласил, не познакомился с ним. Просто зарвавшийся молодой чиновник.

Еще выпили. Он здесь в бараний рог всех согнет, повсюду своих людей расставляет. Прежде всего в кладовую своего поставил.

— А тебя куда?

— Навоз убирать, куда же еще.

— А снял за что?

— А ни за что. Даже не вызвал... Вот сидит себе, барин, в кабинете, из окон свет, как прожектора, а у лучшего человека совхоза, кто победу своими трудовыми руками добывает, Дробова Алексея, дети уроки не могут делать, нет света. И нет на него управы, боятся все...

Долго ли самолюбивого выпившего человека разъярить!

Алексей поднялся, молча толкнул дверь и, качаясь, пошел по неосвещенной улице. В кабинете директора ярко светили окна. Перед домом на скамейке сидело несколько человек.

— Ты куда в таком виде, Леша?

— Знаем, куда.

Шумно ввалился в кабинет. За столом — директор. Круглое, добродушное, усталое лицо. Ласковые глаза.

— У тебя, директор, свет горит?

— Горит.

— А у детей моих почему нет света?

Улыбнулся.

— Приходите завтра, разберемся.

— Еще улыбается! Ты что же, смеешься над человеком!

— Вы ведь знаете, ремонт электростанции, через два дня свет будет.

— А у тебя почему горит?

— Движок маленький, на весь поселок не хватит.

Иван Шарпов будто и не слышал оскорблений. Спокойно уговаривал кузнеца пойти отдохнуть. И это спокойствие все больше раздражало Алексея. Он уже не мог смотреть на эти голубые, невинные глаза, на круглое лицо. Стукнув по столу, закричал:

— Переключай свет на мою квартиру!

Звякнули крышки чернильниц, опрокинулся узенький пластмассовый стаканчик с карандашами.

Директор поднялся. Близко подошел к кузнецу. Тем же спокойным тоном сказал:

— Если вы сейчас же не уйдете, я вас вышвырну, как щенка.

Кровь и водка ударили в голову. Это его, комбайнера, кузнеца, лучшего человека, как щенка?

Рука, привыкшая играть кувалдой, сжалась в кулак, откачнулся назад и наотмашь ударил. Удар пришелся в воздух, но Алексей почувствовал, что замурован. Перехватив его руку, каким-то болевым приемом Иван скрутил могучее тело кузнеца, подтолкнул его к двери и вышвырнул. Не удержав равновесия, под дружный смех сидевших на скамейке плюхнулся на живот. Подбежал кладовщик, помогая подняться, отряхивая Алексея, зашептал:

— Вот как с лучшими людьми поступает. Я ж говорил тебе, еще не так он тебя отработает...

Дробов поднялся, отстранил его рукой. Обернулся, долгим взглядом посмотрел на ярко горящие окна и зашагал куда-то в темноту.

В час ночи Иван Шарпов возвращался домой. На душе было тяжело, хотя о недавнем инциденте не думал. Горькие мысли бились в мозгу. Уборка шла к концу. Никакого чуда не произойдет: хлеба нет. Люди работают так, что проверять не надо: за каждым колоском гоняются. И все равно едва-едва натянут то, что посеяли. И что со скотом делать? Как прокормить его? Это ведь тысячи голов.

Иван шел задумавшись, опустив голову, никуда не глядя. Да если бы и посмотрел на деревья, что стояли у тропки, по которой шел, то издали в темноте все равно не увидел бы притаившегося там человека.

Никуда не смотрел Иван. Медленно шел, думая свою горькую думу. Соломы мало и тощая она, как полова, из комбайна высыпается. Пришлось пальцы копнителя веревкой и проволокой переплетать, чтобы сетка получилась. Люди разведали, где можно кормов достать. В трех направлениях послали косарей. А потом еще возить придется. Далекие экспедиции, но и то хорошо. По всему краю, как мор, засуха прошла. Думает Иван, и страшно становится. Думает и злится на себя. Все он знает: чего не оценили, не поняли сразу, не доделали, что повысило бы урожай даже в таком проклятом году. Ведь соседний совхоз по восемь центнеров с гектара собирает. Есть такие, что и больше дадут. А земли-то одинаковые. Ну, дай только до будущего сева дожить, уж теперь не опростоволосится. А чем сеять придется? Не этими же недоносками, что на своих полях собрали. Государство даст? Опять государство. А где оно возьмет? По всей стране неурожай. У нас нет семян, будем просить, будем спрашивать, что делать. А кого государство будет спрашивать?.. И эти гады! Как ни включишь приемник, они тут как тут. И голос такой противный, неживой, как у куклы заведенной. Вроде бы и чисто по-русски говорят, а среди тысячи голосов отличишь его. Какая-то паутинка липкая в нем. Пищи, проклятая кукла! Мы еще отпразднуем победу...

Им нравится слово «эксперимент». Особенно им нравится это слово применительно к нашей стране. Нашу революцию они называли «Русский эксперимент». Всякому эксперименту положено кончаться. Они ждали.

Коллективизацию сельского хозяйства, индустриализацию страны называли экспериментом. У них железная последовательность: и целину объявили экспериментом.

Насчет последовательности это они правильно сообразили: что-то в целине есть от революции. Когда смотришь, как живут и работают целинники, представляешь, как люди делали революцию. Все население целых областей, включая школьников и престарелых, охвачено единым порывом, живет одним дыханием,

одним стремлением. Как оценить то, что дала целина в отношениях между людьми? Чем измерить это?

В тамбурах пригородных поездов висят литые из чугуна надписи: «Курить строго воспрещается». Люди читают чугунные слова и курят. В зданиях вокзалов такие надписи сделаны на отшлифованных и покрашенных стеклах. Все равно курят. На станциях метро никаких предупреждающих надписей нет, но и самому отъявленному нарушителю порядков не придет в голову закурить в метро. Иностранцы, которые у себя дома курят в театрах, трамваях и бросают окурки куда попало, поскольку у них свобода, даже эти иностранцы свободного мира не посмеют достать свои портсигары в метро.

Почему? Это трудно объяснить. Такая уж в метро обстановка.

Вот так и на целине. Она захватывает всех, кто туда приезжает... Так-то оно так, но промашек дали немало. В будущем году пусть хоть и засуха, а урожай снимем...

Еще сырая земля, еще нельзя пускать на нее трактор, но уже повсюду подсохли островки. И на них невидимые глазу предательские капилляры: миллионы тончайших, извилистых, будто источенных червячком глубоких канавок. По ним уходит, испаряется влага, будто жизнь уходит из тела земли. Надо следить за каждым подсохшим клочком и разрушать капилляры. Надо сохранить стерню, сохранить торчащие ежиком по всей земле стебельки прошлогоднего хлеба. Это тоже влага. Надо не пахать отвалом, накрывая стебельки, а разрезать землю, вспарывать ее ножами культиваторов...

Медленно идет Иван к своему дому. Все ближе купа деревьев. Прижался к стволу, изготовился человек.

Надо угадать, найти, определить тот день, когда можно начинать сев. Чтобы сеять хлеб, надо знать сорняки. Надо изучить сорняки лучше, чем хлеб. Овсюг хитрее хлеба. Он вылезет из земли первым. Нельзя дать ему взойти. Привалить землей, он и погибнет. И смело начинай сев. А прозеваешь момент, взойдет проклятый, подрезать его, чтоб и духу не осталось.

...Удар был неожиданным и сильным. Развернуло Ивана, качнулся, а на ногах устоял. Перед ним — кузнец. Дурак ты, парень. Разве против человека с разрядом по самбо тебе идти! Скрутил Иван кузнеца.

В районе Ивану сказали, что действовал он правильно и другого выхода не было. Отдают кузнеца под суд.

Муторно было на душе, когда возвращался в совхоз. Издали увидел зарево. Горит совхоз. Нажал акселератор до упора. Бился на ухабах «газик». Горит совхоз. Горит в одном месте. Сейчас все займется. Вечер, а не утих суховей.

Влетел на усадьбу, чуть не в самое пожарище. Догорает клуб. Здания рядом парят. Их обливают водой, и она испаряется. Весь совхоз на площади. Все вынесли. И радиолу, и картины, и книги, и шахматы. А клуб не спасли. По-глупому сгорел.

Смотрели кино, вдруг — короткое. Замкнуло там, где бездумно, не по правилам соединили медные провода и алюминиевые. Тлели едва заметно провода. Перенесли кино на завтра, билеты действительны.

Открыли двери, хлынул воздух, вспыхнуло пламя. Как костер горел клуб.

Шел Иван домой, и не жалко ему было клуба. Плохонький, все равно собирался ломать и новый строить. Но люди убиты. Будто не клуб, а надежда людская сгорела. Весь совхоз на площади, и никто не расходится. Костьми ложились, чтоб спасти, а не спасли. Это больше, чем потеря клуба. Хлеб сгорел, клуб сгорел, все горит... Куда он идет? Домой? А там что? Надо бы вернуться к людям, но смотреть будут, ждать, что скажет. А что можно сказать?

Зашел в дом. Большой и пустой директорский дом. Прошелся по комнатам, сел. Сидел, думал. Ни о чем думал. То ни одной мысли, то сразу все. Во дворе — говор. Постучали. Человек шесть стоят.

— Иван Афанасьевич, в зерносклад просим, на собрание.

Никогда столько народу не приходило на собрание. Шестьсот человек. Первым в президиум Шарпова назвали. Первым ему и слово дали:

— Моя вина, товарищи, видел, что ветхое все, давно проверить надо бы, да руки не доходили.

— Всех вина,— загудел зал,— не о том речь.

Восстановить клуб надо. Бог с ним, с клубом, но восстановить надо. Кто не на уборке, прямо отсюда пойдет.

Не было такой ни ударной стройки, ни великой, какая была, когда восстанавливали клуб. Будто вся жизнь трех тысяч людей от него зависела. Строили, будто мстили. Били гвозди, как врага, яростно строгали, истово мешали бетон. Символ жизни строили. И днем, и ночью. Никто не требовал кирпич, доски, цемент. Сами шли в соседние совхозы, сами доставали, сами обливались потом.

За несколько дней сколотили клуб. Правда, здание не капитальное, дощатое, а все же закрытая площадь. И легче людям стало. Будто веру в урожай обрели. Потребовали ту же картину, что прервал пожар. По тем же билетам шли, что в старый клуб покупали.

И Шарпов фильм смотрел, вроде отвлекся. А только домой возвращался с горькими думами — едва собрали то, что посеяли... Какие-то люди незнакомые, парень с костылем.

— А вы кто такие?

— Алейкины мы, на работу сюда послали,— заискивающе говорит женщина.— Это мой старшенький... Сапожник хороший...

Ничего не сказал, пошел дальше. Потом обернулся:

— Остановились где? — И не дожидаясь ответа: — Ступайте в общежитие, скажите — директор велел. А завтра в отдел кадров приходите.

* * *

Все это было за три года до приезда дипломатов на целину, где я с ним и познакомился.

— Откровенно говоря,— сказал он,— ни к чему они нам теперь здесь. Через два дня начинаем уборку, дел невпроворот, а тут на тебе, сиди улыбайся.

Шарпов отправился с ними в Боровое, а я на день в Целиноград. Условились встретиться в его хозяйстве. Летел я туда на вертолете. Он опустился на площади близ административного корпуса совхоза в полдень. Людей поблизости не оказалось. Двери центрального входа были распахнуты. Я прошел по длинным коридорам первого этажа, потом второго, толкаясь в каждую дверь. Все заперто. Выйдя из здания, посмотрел по сторонам. Людей нигде не было. Прошел по центральной улице километра два, сворачивал то вправо, то влево, стучал в окна каких-то домов, но с одинаковым результатом: нигде ни души.

Я знал, что здесь живет больше трех тысяч человек. Становилось не по себе. К счастью, вскоре услышал детские голоса. Это был детсад. Воспитательница удивилась моему вопросу. Ничего не пустынный поселок. Вон, за детским садом, ясли, дальше столовая, пекарня, на окраине ремонтные мастерские, электростанция, еще несколько производственных помещений, и в каждом — люди. Даже в траншее посреди усадьбы работают, тянут в квартиры горячую воду. Ну, а остальные, естественно, в поле. Ведь началась уборка.

— А председатель поссовета?

— На комбайне.

— А главбух?

— На уборке кукурузы... Да вы откуда, товарищ?..

Ее вопрос звучал примерно так: «Вы что, с неба свалились?»

Шарпова разыскал на полевом стане. У него было много дел на разных участках, и мы условились, что мешать ему не буду, но он возьмет меня с собой.

Мы ехали в высоких хлебах по великолепным межклеточным дорогам, а справа и слева гудели комбайны, оставляя за собой могучие полосы пшеничных валков. Все двадцать тысяч гектаров совхоза разбиты на делянки. Название не очень подходящее. Каждая «делянка» — четыреста гектаров. Два километра в длину, два в ширину. И комбайнерам удобно не вертеться на пятачке, и учет простой.

— Вот наша опора,— заулыбался мой спутник, указывая на приближающийся комбайн.— Вам, конечно, лучшие люди нужны, поговорите с ним. За троих работает, руки золотые и людям помогает. Одним словом, лучший наш комбайнер. Кстати, он скоро меняться будет, уже часов шестнадцать отработал.

Мой спутник уехал, а я, подождав, пока подойдет к дороге комбайн, вскочил на лесенку и поднялся на мостик.

— Разрешите?

— Пожалуйста.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Откровенно признаться, я не знал, что говорить дальше. Прикинуться этаким, не первой молодости, рубахой-парнем: «Ну, как жизнь! Хлеба-то какие! Здорово, а? Давай-ка, закурим московских». Так, что ли? Не хотелось. Представиться надо бы человеку, коль на комбайн к нему пришел. Тоже не хотелось: многих сковывает наша профессия.

Только теперь я почувствовал, какой высокий мостик, куда выше, чем кажется с земли, и видно далеко. Идет комбайн, точно плывет в пшеничных волнах, приятно обдувает теплый ветерок. Лоснятся золотом колосья, и трудно оторвать от них взгляд, и радостно волнуют неоглядные хлебные дали.

Шестиметровая расческа врезается в густые стебли у самой земли, а поперек зубьев бешено мечутся ножи, и, чуть подпрыгнув, падают подкошенные колосья на широкое полотно комбайна. Не мертвое это полотно. Оно несется с большой скоростью, поперек движения комбайна, выбрасывая в сторону скошенный хлеб, и он стелется толстым слоем слева и превращается в двухкилометровый вал. Комбайн разворачивается, и в шести метрах от первого вала бежит второй, третий, а на соседних делянках тоже гудят комбайны, и ложатся валы, и вот уже разлиновано все поле слева, насколько хватает глаз.

Я стою на мостике и смотрю вдаль на скошенное поле, и на нетронутый еще массив справа, на плывущие вокруг комбайны, на облака, и мне радостно ощущать и хлебный ветерок, и то, что я стою на мостике и держусь за поручень, похожий на корабельный леер, и прикасаюсь к телу комбайна, как радостно и приятно, должно быть, прикоснуться к корпусу космического корабля. Забыв, что я не «рубаха» и не «парень», кричу, стараясь заглушить шум моторов:

— Здóрово, а! Хлеба-то какие!

— Здóрово! — кричит комбайнер, обернувшись ко мне, и смеется, и в лице человека, отработавшего шестнадцать часов, нет усталости.

Он ведет комбайн, не переключая скоростей, не поднимая и не опуская полотна, и мне кажется, совсем простое это дело.

Наклонившись к нему, показывая на штурвал, кричу:

— А я не сумею?

— Нет,— смеется он, качая головой,— корреспондент, наверное?

Я люблю свою профессию, мне в голову не приходило стесняться ее. А тут какое-то странное ощущение. Будто провинился. Не причастен я к этим могучим хлебам и комбайнам, к этим людям, торжествующим победу. Я виновато киваю, подтверждая догадку комбайнера.

— Из Москвы? К нам больше из Москвы ездят. Из других стран тоже... А фамилия как? Может, слышал... Нет, не припомню.

— А ваша как?

— Алейкин.

— Что?!

— Алейкин,— кричит он,— Евгений Алейкин.

Он разворачивает комбайн, а я украдкой смотрю на его ноги.

— Вот о ком писать надо,— кивает он на идущий поблизости комбайн.— Учитель мой. Сейчас меняться будет.

Мне не интересен сейчас учитель. Как произошло такое чудо с Алейкиным? Расспрашивать неловко. Решаю идти к учителю, который, конечно же, расскажет все подробно. Его место за штурвалом уже занял сменщик, а он зашагал в сторону полевого стана. Я догнал его, попросил рассказать о Жене. Почувствовал, что этот вопрос ему приятен.

— Ремонтировал я комбайн,— начал он,— подъезжает директор, парень с ним на костыле. Сошли с машины, стоят, смотрят. А у меня не ладится, маховик никак не наживлю. Вдруг директор закричал на Евгения. Он у нас на людей не кричит, а тут закричал: «Что стоишь, не видишь, что ли! Поддержи ему маховик». Парень бросился помогать. Потом отозвал меня Иван Афанасьевич и говорит: «Большая у меня к тебе личная просьба. Помоги человеку в люди выйти. Злой он, грубый, но не верю ни в его злость, ни в грубость. Просто задавлен из-за своей ноги. Морально задавлен, понимаешь. А парень смышленый. Если увидит, что не делают ему скидок и считают полноценным, далеко может пойти. Сделаешь из парня человека — низко тебе поклонюсь, Алексей Дробов».

— Позвольте, кто же это — Алексей Дробов?

— Как кто? Я.

Растерянный, иду молча. Наконец решаюсь:

— Товарищ Дробов, я знаю вашу историю с директором. Как получилось, что вы здесь?

— А я и не прячу свою историю. Куда ее спрячешь?!

— Суд был?

— А как же! Вызвали на суд главного свидетеля обвинения Шарпова. Я знал, что он будет мне мстить, а отвести такого свидетеля нельзя, потому что он — потерпевший. Встал Шарпов перед судьями, ко мне боком и развел руками. «Не знаю,— говорит,— что сказать, товарищи судьи. Не знаю. Оправдывать его нечем, по всей строгости судить надо. Но вот расписался я тут у вас, что только правду буду говорить суду, а если правду, то... понимаете, не тот это человек, кто за решеткой должен сидеть. Ошибка тут какая-то... Может, можно лично мне на поруки взять его?»

Сказал он это и замолчал. И все молчат, судья растерялся.

— Вы знаете,— остановил меня рукой Алексей.— Может, от

неожиданности, но слезы из глаз стало выжимать. И не потому, что на мягкий приговор шанс появился. Не думал тогда про это. Я ведь знал — хороший он человек. Только и успокаивал себя тем, что мстить начнет. Тогда, думаю, и злость против него поднимется. А он вдруг такое говорит. Ну что мне было делать? Сквозь землю провалиться?

— Не послушался суд Ивана Шарпова,— вздохнул Дробов.— Три года строгого режима в лагерях дали. Взяли меня под стражу, а Шарпов прямо с суда в область уехал. Как он там свою правду доказывал — не знаю. Область срок мне утвердила, только добавила: «условно». И объяснение дали: на основании личной просьбы и гарантии директора. Когда решение пришло, вызывает он меня и говорит: «Понимаете, какие вы права получили?» — «Понимаю,— говорю,— полную свободу».— «Да нет,— говорит,— ничего вы не поняли. Вы теперь на меня права получили, что хотите со мной сделать можете. Все равно, что партийный билет в заклад за вас положил».

Ничего не мог я ответить Ивану Афанасьевичу. Повернулся и пошел. Чтоб не видел он моего состояния. Оно у меня было, как у бабы... Сначала думал высокие обязательства на себя взять, а потом решил — к черту все эти нормы. Норма — совесть. А на деле получилось, что совесть — это три-четыре обыкновенные нормы. Так по моему следу и еще кое-кто пошел. Потом и в нашей газете появилось: «Норма — совесть».

А представляете, будь Иван Афанасьевич не таким — гибель мне. О ребятах как подумаю, трое их у меня, аж головой тряхну. «Где отец? — спросили бы их.— В тюрьме отец».

Понимаете, что это за человек. Не бывает таких! От него бы прививки людям делать, уже в коммунизме жили бы... Думаю, и с партией он поможет. Одна рана в жизни и осталась. Исключили ведь меня тогда из партии. Но я вам по секрету: билет-то партийный остался у меня. Не мог я собственными руками отдать партбилет.

— Понимаете... он уже не действителен.

— То есть как не действителен! — повысил он голос.— Это вам не пропуск на проходную: действителен по такое-то. Срок действия в нем не проставлен.

— Да, но членские взносы вы же не платили.

— Как не платил! — снова удивился он.— Исправно платил двадцать пятого числа каждого месяца. И ведомость я по всей форме завел: номера по порядку, фамилия, имя, отчество, за какой предыдущий месяц уплачено, за какой платит и собственноручная подпись. С полного заработка вносил, а потом расписывался. Если сдача полагалась, из этих же партийных денег брал. Пожалуйста, товарищ Дробов, партии лишнее не надо. И лежат у меня эти денежки вместе с партийным билетом неприкосновенные. И голодать придется — не прикоснусь к ним... Вот кончим уборку, подниму вопрос. Секретарь парткома у нас, жалко, но-

вый, приезжий, три дня всего. Ну, может, Иван Афанасьевич посоветует...

Я все мучался, как ему за мое спасение ответить. Немного полегчало, когда он ко мне Алейкина привел. Представляете, как я за парня взялся.

Впоследствии Шарпов рассказывал мне, как Дробов учил Алейкина. Сделать из него человека стало делом жизни Алексея. Он словно не Евгения учил, а себя переделывал.

Не было меры счастья и для Евгения Алейкина: лучший специалист, депутат, глава семьи, отец двух детей. Путь от сапожной палатки до этих вершин был пройден на целине за три года.

Что стало бы с ним, не будь Шарпова? Трудно сказать. Три года заключения у одного, нелюбимая профессия и водка у другого — кто знает, куда привели бы эти дорожки.

ОГНЕННЫЕ ТРАКТОРИСТЫ

Я расскажу историю, полную трагизма и величия, красивую и страшную, как сказка.

Историю борьбы, победы и гибели. Гибели, которую нельзя назвать смертью.

«Огненный тракторист!»

Эти слова впервые прозвучали с газетных полос много лет назад, когда в борьбе за хлеб комсомольца коммуны «Новый путь» Петю Дьякова кулаки облили керосином и подожгли.

Эти слова повторила «Комсомольская правда», когда вручали орден Ленина теперь уже коммунисту, герою борьбы за хлеб на целине Петру Дьякову.

Эти слова — «огненные трактористы» — я снова прочитал в «Известиях» и поехал в казахские степи, чтобы рассказать их историю. Я расскажу историю борьбы за хлеб.

* * *

Нет более нежной травы, чем ковыль. Пуховые метелочки ласкают и щекочут. Про степной ковыль поют песни. Те, кто их сложил, должно быть, ничего не знают про степной ковыль. Его семечко похоже на штопор с длинным пушистым хвостиком. Хвостики нежно обволакивают шерсть овцы, а семечки ввинчиваются в тело и убивают животное. Поэтому ковыль называется еще смерть-трава. И не только поэтому. Пуховые метелочки горят быстрее пороха. Не надо спичек. Попадет в сухой ковыль тлеющая табачная крошка, и он вспыхнет.

...Пятьдесят километров в длину, пятьдесят — в ширину. Это хлеба целинного совхоза московских комсомольцев. А дальше — ковыль. Тысячи километров ковыля и сухостоя.

Солнце в казахских степях не греет, а жжет. Три самых жарких месяца не было дождя. Накалялась, трещала земля.

Травы стали хрупкими, сморщился шелковый ковыль, потрескался сухостой. Над степью струился раскаленный воздух. А потом ворвался ветер. Он носился, ломая травы, взвивал на большую высоту перекати-поле и швырял о землю, бросался из стороны в сторону, будто искал, что разрушить.

В двадцати километрах от совхозного поля бездумно бросили на дорогу окурок. Ветер схватил его и швырнул на ковыль. Вспыхнуло пламя и метнулось по бровке вдоль дороги. Метнулось со скоростью курьерского поезда. Издали казалось, будто пролетел трассирующий снаряд, оставляя, как комета, багровый след.

И поднялась пятикилометровая огненная стена, и, увеличиваясь и нарастая, всей массой ринулась в сторону совхозного поля.

Бригадир Владимир Дмитриевич Котешков объезжал свои владения на легком, с резиновым ходом тракторе. Сбор урожая шел к концу. Нескошенным оставался только один участок — около тысячи гектаров. На горизонте увидел огненную стену и рванулся навстречу огню.

На границе участка показался трактор. Тракторист соскочил на землю, подбежал к плугу, покрутил какую-то рукоятку и резко обернулся на звук приближавшегося трактора Котешкова. Бросился к бригадиру, и Владимир увидел, что это Коля Грибов, и странно было смотреть на его просиявшее лицо в такую страшную минуту.

Они перекинулись только двумя фразами, потому что им было все ясно и у них были одинаковые мысли. Они не могли уйти с поля. Это был их хлеб и хлеб их товарищей, с которыми они вместе спали и ели, вместе вспахали и взрыхлили каждый клочок тысячелетиями слежавшейся земли и каждую клеточку этой земли удобрили и напоили своим потом. Они очистили каждое зерно, брошенное в землю, и следили за всходами, и радовались, глядя, как наливаются колосья соками жизни, и горевали, когда пило соки из зерен проклятое солнце. И поздними вечерами, покидая поле, не выплескивали куда попало остатки воды из бочки, а бережно поливали ростки. И хотя солнце выжигало пшеницу, урожай их бригады был самым высоким в совхозе и самым высоким среди ближайших совхозов, и это уже было не просто хлебное поле, не просто материальная ценность, а их честь и совесть, гордость целинников, их ответ на призыв Родины. Это была их жизнь. И они решили сражаться за каждый колос своей земли, как сражались за каждый клочок ее их отцы на войне.

Вдоль всей границы хлебного поля шла свежевспаханная полоса, которая для того и делалась, чтобы остановить здесь огонь, если вдруг загорится степь. Но они понимали, что такой невиданной силы бушующее пламя перескочит это препятствие. Они решили проложить в ковыле еще одну борозду, параллельную первой, метрах в двадцати от нее. Они также понимали, что огонь все равно перебросится через их борозду, но большой

силы набрать не успеет и выдохнется на главном препятствии.

Владимир сел на плуг, где было более опасно и ответственно, а Коля в кабину трактора. Справа от них, километрах в шести неслось пламя, слева — терзаемая ветром, билась о землю пшеница.

Трактор шел ровно и быстро. Владимир зарывал лемеха не очень глубоко, чтобы не перегружать двигатель, но и не совсем мелко, чтобы все-таки перевернуть верхний слой земли травою вниз.

Они смотрели на надвигавшийся огненный вал и на двухметровой ширины борозду, остававшуюся позади, и на путь, что предстояло еще сделать, и понимали, что успеют. Возможно, потому, что этот вал был уже близко, им казалось, что скорость его увеличилась и огонь уже больше не припадает к земле, а вздымается все выше. Но, возможно, это так и было, потому что ветер неистовствовал. Вырвались вперед края огненной стены, образовав полукруг, а из середины выбросило вперед несколько факелов, и уже пылал огромный массив.

Неожиданно ветер ударил в противоположную от хлебов сторону, пламя затрепетало, забилось, заметалось и вдруг с новой силой рванулось вперед, будто для того и отступало, чтобы сильнее был прыжок.

До конца хлебного поля трактористам оставалось не больше километра. А дальше все вспахано под зябь. До победы несколько минут. Извиваясь и изгибаясь, нарастал огненный девятый вал, гонимый неистовым ветром, припадая к земле и вздымаясь до уровня телеграфных проводов. Неслась зубчатая гряда, то багровая, то белая, то кровавая, и игрушечным казался трактор, на который она надвигалась. Пламя теперь неслось косой стеной, и левый его конец был еще далеко, а правый достиг трактористов.

Они самоотверженно сражались, они сделали все, что в их силах, и в эту минуту, когда вплотную подступила смертельная опасность, по всей логике вещей должны бы уйти с поля. Но, видимо, действовала другая логика — логика сердца. Они не могли уйти. Теперь шла борьба не только против бессмысленного разрушения созданного человеком, но за его достоинство, честь, за тех, кто поднял тысячелетиями спавшие земли.

Трактористы шли по прямой, параллельно хлебному полю, а огневой вал — под углом к ним, и позади пламя перебрасывалось через их двухметровую борозду и, обессиленное, падало на втором препятствии.

Владимир отбивался от пламени и видел, как Коля сшибает палкой горящие клочья травы, падавшие на трактор. Огненная стена, подрезаемая их бороздой, быстро укорачивалась. Она не успевала пересечь путь трактору, но все время настигала его, и все время трактористы соприкасались с огнем.

До вспаханного поля оставалось метров сто, когда огненный

сноп упал Владимиру на спину. Он сорвал огонь, но одежда на нем загорелась. Разрывая на себе куртку, Владимир смотрел вперед и понимал, что пламя перережет путь трактору в каких-нибудь десяти метрах от вспаханного поля и ворвется в эти ворота на пшеницу. Он срывал с себя одежду, отбрасывал новые огненные снопы и видел, как Коля защищает от огня трактор, тоже готовый вот-вот загореться. А когда Коля обернулся, Владимир что-то закричал, рубя вытянутой рукой воздух, и, хотя крик был не слышен, Коля понял мысли бригадира и, круто свернув влево, чтобы не дать огню проскочить перед трактором, повел его на соединение со старой бороздой у вспаханного поля.

Владимир успел сорвать с себя куртку, но горящие брюки разорвать не мог, потому что пальцы обгорели. В трех метрах от конца поля он спрыгнул и, падая, увидел, как трактор пересек старую борозду, окончательно отрезав путь огню, как выскочил, должно быть ему на помощь, Коля и вспыхнул с ног до головы, потому что комбинезон у него был пропитан маслом.

Владимир бросился к нему, а Николай, весь объятый пламенем, бежал на вспаханное поле и рухнул на нем, уже не в силах гасить на себе огонь.

Брюки и белье на Котешкове догорели, и руки от ладоней до плеч были местами обожжены, а местами обуглены, и им не поддавался горящий Колин комбинезон. Тогда он стал обеими руками быстро грести землю на своего друга, и пламя погасло. Но было поздно.

Владимир стоял перед Колей на коленях, смотрел на его лицо и аккуратно стряхивал с него землю. Потом поднялся.

Он посмотрел вдаль и увидел черную степь, черную до самого горизонта, откуда только что катился огненный вал, сраженный им и его теперь уже мертвым другом. Потом обернулся и увидел бескрайнее поле золотой пшеницы, тоже уходящей до самого горизонта.

Было тихо, и ни один колосок не шевелился. Только нещадно пекло солнце.

Владимир стряхнул с головы свою старую армейскую фуражку, у которой сгорел козырек, отшвырнул с ног остатки туфель и пошел по вспаханной земле к полевому стану. Он шел голый и черный от ожогов, шел под палящими лучами солнца и не чувствовал их.

До полевого стана было четырнадцать километров, и он решил пройти пешком эти четырнадцать километров, потому что в его положении трактор не завести. Он шел, и падал, и не злился на то, что падает, а терпеливо поднимался и упрямо двигался дальше.

Четыре тысячи гектаров было отдано под его власть, и за семь лет жизни на целине он прошел своим трактором и своим комбайном каждую пядь этой земли, и не осталось клочка, который бы лично он не вспахал или не убрал комбайном.

Он не смотрел, куда идет, но это была его земля, которую знало все его существо, каждая его клетка, и он держал верное направление и, не думая об этом, выбирал самый короткий путь к полевому стану. Так он прошел три километра, и он прошел бы все четырнадцать, но из-за косогора показался комбайн.

Владимир не обратил на него внимания и не стал звать комбайнера или размахивать руками, потому что комбайн на поле — обычное дело и ничего удивительного в его появлении не было. Он продолжал идти намеченной дорогой, падая и упрямо поднимаясь, как это делал до сих пор.

А комбайнер Николай Макан увидел эту странную и страшную фигуру голого, то и дело падающего человека и, пораженный, свернул в сторону, ему наперерез. Подъехав, он соскочил и увидел, что это бригадир, весь обожженный и черный, и бросился к нему.

— Стой! — закричал Владимир, широко расставив руки.— Будет больно... Поезжай вот так прямо, там Коля Грибов. Он сгорел... Совсем сгорел.

— Машину пошлем за ним,— взмолился Макан,— давай скорее в бригаду.— И он приблизился к Владимиру, но тот отстранил его:

— Сам.

Макан схватил из ящика новую спецовку и ватник, уложил их на площадку, и Владимир сам влез на нее и лег. Одиннадцать километров шел комбайн на самой большой скорости, и Макан не спускал глаз с бригадира, боясь, чтобы он не умер.

На полевом стане он тоже не дал к себе прикоснуться набежавшим комбайнерам и трактористам, а слез сам и, окруженный ими, пошел в дом, лег на кровать и сказал, чтобы его смазали подсолнечным маслом. Но тут подъехал на «газике» старший агроном Владимир Иванович Рогов и уже не дал командовать Котешкову. Его подняли вместе с матрацем, уложили в машину и отвезли в больницу.

У комбайнеров и трактористов не хватало духу идти к Полине Котешковой. Но и скрывать от нее было нельзя. Решили, что пойдет комбайнер Алексей Калиничев со своей женой Валей.

Полина стирала белье. Леночка собиралась в школу. Правда, в школу ей еще не сейчас, но всего через два года, поэтому на всякий случай готовилась заранее. Вовка, убедившись, что никто с ним играть не будет, обиделся и ушел в свою комнату.

Алексей и Валя вошли и остановились на пороге. Полина пригласила их в дом, но Алексей сказал: «Спасибо, мы на минутку». Дальше он не знал, что говорить. Он не знал, с чего начать.

— Да что вы какие-то вареные? — рассмеялась Полина, снимая фартук.— Проходите.

Вовка уже был тут как тут, а из открытой двери погляды-

вала на гостей Леночка, и от этого Алексей совсем разнервничался и начал улыбаться. Улыбка получилась неважная.

Должно быть, есть у женщин какое-то особое чутье на беду. Полине неоткуда было ждать беды, но она с тревогой посмотрела на виноватое лицо Алексея, машинально стянула с головы косынку, скомкала ее в руках. А он все еще молчал, и она выдохнула:

— Говори!

— Понимаешь, Поля, хлеб загорелся... Володе руки обожгло, он в больнице...

Губы у нее задергались, она стала поспешно заталкивать косынку в мыльную пену, и, испугавшись, Алексей быстро забормотал:

— Ты не волнуйся, он вполне сознательно разговаривает.

— Почему же не разговаривать, если только руки! — закричала она на Алексея и бросилась вон из дома.

Расступились сбившиеся у крыльца механизаторы и девушки из полевых станов.

Она бежала через поселок босиком, в стареньком платьице, бежала к рыжим хлебам, между которыми вилась узкая дорога. Никто не сообразил, как остановить ее, и никто не знал, надо ли останавливать.

Выскочили на крыльцо испуганные Леночка и Вовка. Они не плакали. Может, поэтому их не заметили. Люди смотрели на бегущую Полину, на платьице, которое она сшила еще в Москве в самом лучшем ателье, когда собиралась сюда. Оно было тогда нарядным и модным, а ей только исполнилось девятнадцать, и никакого поселка и хлебов здесь не существовало, и не было этой гигантской телевизионной антенны над их домом, а в непролазной грязи стояло несколько вагончиков и палаток среди бескрайней и дикой целины. И смешно было носить это шикарное модное платье, и она впервые надела его, когда праздновала целина первую комсомольскую свадьбу в первом построенном для Владимира и для нее доме.

Полина уже скрылась в хлебах, когда вырвался из гаража вдогонку ей автомобиль главного инженера.

До больницы больше двадцати километров. Петляет в хлебах дорога, накатанная и твердая, как бетон. Несется машина. Катятся пшеничные волны до самого горизонта. Хлеба, хлеба без конца, без края.

Сухими глазами смотрит на волны Полина. Целина! Сколько горьких и сладких слез пролито здесь! Сколько радости, сколько горя вынесено!.. Горя? Разве то было горе, когда заметало пургой палатки, когда утопали в грязи? Разве то было горе? Вот оно когда подошло! Подстерегло одну ее, подкралось и ударило, подлое! За что?

...Казанский вокзал в Москве. Музыка, цветы, юность... Таинственная, манящая целина. Двести пятьдесят четыре человека

с комсомольскими путевками. Смех, поцелуи, слезы... Куйбышев, Уфа, Челябинск. Встречи, оркестры, танцы, цветы.

Юность! Провожали на подвиг московскую юность...

Прошел по вагонам старший, Владимир Котешков. Высокий, сильный, подтянутый. Только что из армии. Говорят, понтонер. Командир понтонного отделения. Серьезный, строгий... Нет, хороший. Улыбается хорошо. Прошел, не взглянул. Подумаешь, нужен больно...

Караганда!

Тают остатки снега. Разлилась Нура. Задыхаясь, тащится трактор с одним вагончиком на прицепе. Зарывается в землю. Откапывают, снова тащится... Греются у тощих костров.

— По ко-оням!

Это командует Котешков.

Передрогшие, лезут в холодный вагончик. Двести километров за трое суток. Меньше трех километров в час. Опять остановка.

Приехали.

Степь. Сырая, холодная, воющая, бесконечная. Без воды, без света. Ни днем, ни ночью не снимают ватников. Надо подальше спрятать это тонкое, модное платье...

Обед. Шумный обед в палатке. Веселый остряк кричит через весь длинный стол: «Котешков, что это твой конь всегда у второго вагончика стоит?»

Зачем она не смолчала? Сама себя выдала. Как могло у нее вырваться: «Неправда, не только у нашего».

Дружный и долгий смех: «Знает кошка, чье мясо съела». Зарделась, убежала.

Через две недели предложил расписаться.

— С ума сошел! Мы даже не гуляли.

— Так негде же здесь гулять, Поленька. Да и человек у нас виден лучше, чем в парке культуры имени Горького. Как на войне виден. Я, например, за тебя ручаюсь. Ты — настоящая.

Идет в гору Володя. Лучший тракторист. Лучший комбайнер. Лучший механик. Член партийного бюро. Ласковый, добрый. И дети в него. Недаром сына Вовкой назвала...

Счастье... Что же оно такое счастье? Нет, не надо ей никакого счастья. Пусть будет все как есть...

Несется машина по узкой просеке. Шелестят колосья. Волнуются хлеба. Она знает: нет, не только руки. Она не плачет. Она не плакала всю дорогу. Ну, а куда же деться слезам? Они скапливались и хлынули, когда показалась больница.

Главный врач Раиса Петровна Панкратьева велела выпить капли, сказала: пустит в больницу, если сможет Полина не удивляться, не ахать, не вскрикивать, что бы ни увидела. Увидит обожженного человека.

Клятву дала: не покажет виду.

Володя был накрыт одеялом поверх каркаса, чтобы оно не

прилегало к телу. Лицо обожжено не сильно. Волосы не тронутые. Благодарно, спокойно смотрит на нее.

Отлегло немного.

— Как же тебя, Володенька?

— Я-то, видишь, ничего. А вот Коля Грибов сгорел. Совсем сгорел.— Повлажнели глаза.— Кольку жалко...

Очередная процедура. Сняли одеяло, подняли каркас. Увидела...

— Ну что ты, Поленька? Самое страшное позади.

Трое суток стоял почетный караул у гроба Коли Грибова. Сменяли друг друга его друзья, комбайнеры и трактористы, представители ЦК комсомола Молдавии. Несли почетную вахту руководители совхоза, делегаты Караганды. Стоял у гроба сына прилетевший из Молдавии отец.

Как героя Колю торжественно похоронили на кургане близ совхозного поселка, откуда видны необъятные просторы хлебов, и весь поселок, и убегающая вдаль дорога.

А за жизнь Владимира Котешкова началась борьба. Врач Раиса Петровна Панкратьева еще до окончания института десять лет работала старшей операционной сестрой в Караганде. У нее огромный опыт в области ожогов. Она знала, что делать. Прежде всего преодолеть первый смертельный рубеж: не дать умереть от шока. Надо было знать и умело использовать все новейшие методы в их точной и неукоснительной последовательности, чтобы немедленно, сию же минуту, не дожидаясь консультаций, вывести из шока. И все это было сделано.

Почти ни одну процедуру нельзя было выполнить обычными способами. Как, например, сделать внутривенное вливание? Нащупать, найти вену даже на здоровой руке не всегда просто. А ощупывать обожженную руку немыслимо. И она применяет веносекцию: вскрывает внутреннюю поверхность голеностопного сустава, находит вену и делает вливание. Не как обычно, а с помощью специальной системы, капля за каплей.

Обработка ран. Но так даже сказать нельзя. Идет обработка одной, сплошной, на все тело раны. Оно поражено ожогами третьей и четвертой степени на семьдесят процентов. Общее поражение — восемьдесят пять процентов. Только верхняя часть груди да стопы остались нетронутыми.

В пять часов вечера привезли в больницу Котешкова, в шесть часов утра отошли от его постели Раиса Петровна и опытнейшая сестра Эмма Ивановна Кайзер. Попеременно помогали им сестры Валя Трестер и Валя Борисова. В точных дозах и последовательности, с необходимыми промежутками в организм вводились средства борьбы за жизнь.

Спустя несколько дней корифеи Ожогового центра Академии медицинских наук СССР отметили исключительную тщательность всех проведенных мероприятий, их необходимость и исчер-

пывающую полноту, точность и правильность всех процедур.

В тот первый день у постели больного был главный врач района Дмитрий Александрович Кулагин. На специальном самолете прилетел из Караганды хирург Петр Михайлович Немынов. Были приняты все профилактические меры: против заражения крови, против столбняка, против пневмонии...

То и дело появлялась дежурная сестра:

— Раиса Петровна! Сорок человек пришли и предлагают кровь для Котешкова.

— Поблагодарите, скажите, есть.

...Камфора, морфий, кофеин, спирт, чай, искусственное питание...

— Раиса Петровна, пришли, предлагают кожу для Котешкова.

— Поблагодарите. Объясните, что при таких ожогах подходит только кожа близнеца.

В палате стоит постель для Полины. Круглые сутки дежурят врач и сестра. Целый день у больницы толпятся целинники. Не отходят от больного его друзья: директор совхоза Воробьев, секретарь парторганизации Танаев, председатель рабочкома Боярский, главный агроном Рогов. То и дело звонят из обкома.

Котешков спокоен. Удивительно спокоен и рассудителен. То ли воля такая нечеловеческая, то ли не понимает, что происходит. Ему больно. Ему должно быть нестерпимо больно.

В целинной совхозной больнице был отведен первый смертельный удар. Трое суток борьбы сделали возможным эвакуировать больного. Снова появился специальный самолет. Хирург Щербак и бортфельдшер Василенко сопровождали его до Караганды.

Центральная клиническая больница. Лучшие силы медицины. Консилиум. Летят телеграммы в Москву. Заведующий отделом обкома звонит в ЦК партии. Секретарь обкома разговаривает с министром здравоохранения. Кто-то из Москвы спрашивает заведующего облздравотделом Антерейкина:

— Вы разве не врач? Ведь смертельная граница тридцать процентов, а у него семьдесят...

— Я врач. Но это человек необыкновенный. Это непостижимая воля.

Два дня борьбы за жизнь Котешкова в Караганде дали возможность эвакуировать его в Москву.

Аэродром. ИЛ-18. Это не санитарная машина, но самая надежная. В ней пассажиры. Освободили лучшее отделение, и каждый старался уступить свое место сопровождающим.

Машина в воздухе. Летит красавец ИЛ-18 над просторами Родины и несет борца, героя, коммуниста. И более пятидесяти человек следят за его полетом, ждут его. В Ожоговом центре сестры и няни готовят отдельную трехместную палату, главные специалисты по хирургии и терапии Министерства здравоохранения Анохин и Кузнецов проверяют, все ли готово к приему.

Освобождается посадочная площадка на аэродроме для идущего раньше времени самолета. Ждут профессора, доктора наук, врачи. Собран цвет советской хирургии в области ожогов.

Первый консилиум: главный врач института хирургии имени Вишневского Сергей Иванович Смеловский, руководитель Ожогового центра профессор Михаил Израилевич Шрайбер, доктор медицинских наук Тигран Моисеевич Дарбинян, кандидаты наук Леонид Иванович Васильев и Борис Львович Гельман, научный сотрудник Станислав Константинович Завьялов.

Самое передовое, чем располагает мировая хирургия и мировая наука об ожогах, применяется к Котешкову. Каждое утро на специальной врачебной конференции светилы советской медицины обсуждали вопрос: состояние Котешкова и дальнейшие меры борьбы за его жизнь.

Все сделала Родина, что могла. Но не достигла еще медицина таких вершин, чтобы дать человеку новый покров на всем теле.

С воинскими почестями, как павшего в бою воина-героя, похоронили в Москве на Пятницком кладбище Владимира Дмитриевича Котешкова. Гроб с телом несли директор совхоза, председатель рабочкома, трактористы, комбайнеры, представители комсомола столицы.

Они жили как герои и погибли как коммунисты, и слава о них будет передаваться из уст в уста, из поколения в поколение и, как чудесная сказка о богатырях, как величие эпохи, будет жить в веках.

1962—1964 гг.

ДВОЙНАЯ ДУША

В доме колхозного бригадира Ивана Вакуловича Сологуба было весело — ждали старшего сына Василия, от которого днем пришло письмо. Люди веселились и не знали, что тяжелое горе свалилось на семью.

Последний раз Иван Вакулович ездил в ремесленное училище месяц назад, перед началом выпускных экзаменов.

Вакулыч хмуро слушал ребят, которые хвалили своего комсомольского вожака. Комсомольский вожак — это его сын Васька. Насупившись, листал табель, рассматривая пятерки, и потребовал от Васьки ответа: почему вот по этой науке стоит четверка?

Суровый вид Вакулыч делал нарочно. Он стыдился своего отцовского счастья и старался замаскировать его.

И вот теперь Василий приезжает в родное село. Вечером будет дома.

Вечером пришел почтальон с такой телеграммой: «Приезжайте на своей машине, с Василием Сологубом несчастье».

Мать забилась в истерике. Вакулыч не успокаивал ее. Понял: большое несчастье, если везти надо не в больницу, а домой. Иначе бы машину колхозную не требовали.

...Суббота — день короткий. В два часа Вася закончил работу и собрался в деревню к родным. Вместе со своим другом Иваном Мисюрой забежал в столовую, чтобы наскоро перекусить на дорогу.

Когда в зале появился преподаватель истории Алексей Кузьмич Поголов, их классный руководитель, оба наклонились над тарелками и стали быстро и деловито есть. Но Алексей Кузьмич заметил их.

— Когда же придете? — спросил он, подойдя к столу.

В течение недели этот вопрос он задавал им уже в третий раз. Дело в том, что погреб под полом его кухни был очень маленький, просто ямка, и надо было его расширить. А то просто одно мучение без погреба. Ребята вполне могли справиться с таким делом. Не платить же рабочим, если есть свои ученики, да еще такие вот силачи, как кузнецы Сологуб и Мисюра.

Правда, неделю назад на педсовете начальник училища еще раз запретил преподавателям брать учеников на свои огороды или в квартиры и заставлять их работать. Но, возможно, в то время, когда говорил начальник, мысли Алексея Кузьмича отвлеклись, и он не слышал предупреждения.

За Алексея Кузьмича ребятам было немного стыдно: хотя совсем еще не стар человек, но получает большую пенсию, да и зарплата, кроме того, немалая, мог бы поднатужиться и нанять людей. Но человек настаивал, и в третий раз отказывать было неловко.

— Пообедаем и придем,— сказал Вася.

Где живет Поголов, Иван знал еще с зимы. Классный руководитель просил тогда отнести к нему домой лист жести, который, должно быть, просто валялся без толку, а в домашнем хозяйстве мог пригодиться.

В большом двухэтажном доме найти квартиру Поголова оказалось совсем просто. Во двор выходило около двадцати окон, но только его окно было перекрещено тяжелой решеткой из полосового железа.

И вход к Алексею Кузьмичу не перепутаешь: две маленькие застекленные рамки на самом верху высоких дверей тоже перекрещены железными решетками.

Иван и Вася пришли к Поголову как раз вовремя. Уже заканчивали рабочий день ученики 17-й группы, которая в квартире Алексея Кузьмича проходила практику. Конечно, не вся семнадцатая группа являлась сюда, а человека по три, по пять в день, не больше, потому что работы было немного: отремонтировать и привести в порядок сортир. Вот и вся работа.

Семнадцатой группой Алексей Кузьмич был недоволен. Всю неделю почему-то работали плохо. Он говорил соседям, что мастер поставит им по практике двойки, если так будет продолжаться.

Иван и Вася осмотрели погребок и увидели, что Алексей Кузьмич сказал верно: это пока просто ямка, похожая на ящик неправильной формы. По своей неопытности ребята не знали, как приступить к работе. Дело в том, что открывалась только одна доска длиною чуть больше полуметра. Поднять бы еще две-три доски...

Но Алексей Кузьмич поднимать доски не разрешил. Он считал, что протиснуться вниз все-таки можно. Иван полез туда, и действительно, все его тело уместилось в ямке. Щекой он упирался в пол изнутри, а ведро для земли — Алексею Кузьмичу было это хорошо видно — удобно зажалось между грудью и согнутыми в коленях ногами.

Учитель подал Ивану коротенький ломик и кельму — штукатурную лопатку и сказал, что можно начинать.

Работа шла очень медленно. Но постепенно Иван набрал полное ведро земли, и Вася вытащил его и понес во двор.

Заботясь о том, чтобы не заставлять человека зря торчать в погребе и чтобы не допускать простоя, пока Вася будет относить землю в самый конец двора и ходить взад-вперед с ведром, Алексей Кузьмич тут же протиснул Ивану второе ведро.

После десятого ведра Вася стал кричать на своего друга, чтобы тот вылезал, потому что уже пора смениться. Но Иван ковырял землю и насыпал ведра, пока у него не осталось сил.

В дырку полез Василий. Одно за другим наполнял он ведра, делая только коротенькие перерывы, чтобы растереть те места на теле, которые затекли, и повертеть шеей, которая немела.

Алексей Кузьмич тоже не стоял без дела. Опустившись на ко-

ленки, он низко наклонялся над дыркой и показывал Васе, где у него огрехи и где еще надо подчистить.

Чтобы облегчить Васе труд, Алексей Кузьмич принес настольную лампу на длиннющем шнуре. Места для нее теперь было достаточно.

При ярком свете обнаружились всякие бугорки и выемки. Алексей Кузьмич указывал на них, а Вася выравнивал и наполнял ведра, пока руки его почти совсем не перестали двигаться. Учитель заметил это.

Будучи классным руководителем, он изучал характер ребят и хорошо знал Васю. Знал, что это самый лучший ученик, честный и трудолюбивый, и симулировать не станет. И раз уж руки не двигаются, значит, толку от него больше не добьешься. Тем более что хотя вытащили всего ведер пятьдесят, погребок уже выглядел славно. Поэтому он сказал, что хватит копать, ну его к черту, надоело. Как-нибудь обойдется и с таким погребком, какой получится.

Правда, вот трубы водопроводные в погребке теперь оголились. Как человек хозяйственный, Алексей Кузьмич прикинул, что хорошо бы их покрасить. Не звать же для этого еще кого-нибудь.

Вася начал красить, и Алексей Кузьмич, сочувствуя усталости парня, не стал торопить его, а только внимательно смотрел, ровно ли ложится краска.

Потом Алексей Кузьмич вспомнил про лист жести, который принес еще зимой Иван. Вот, оказывается, и пригодился в хозяйстве: покрасить его и положить на землю в погребке.

Учитель повел Ивана в сарай за жестью. Когда вернулись, Вася все еще был в погребке.

— Вылезай, Вася,— ласково сказал Алексей Кузьмич.

Вася не ответил.

И тут обозлился Иван, который стоял с листом в руках и ждал. Ему уже давно надоело возиться здесь, он закричал:

— Хватит валять дурака, Васька! Вылазь!

И опять Вася не ответил.

Бросив на пол свою жесть, Иван склонился над погребком и увидел, что Васька лежит в неестественной позе и без движения и на животе у него опрокинутая лампа.

Иван поспешно сбросил ее и начал тормошить человека, но тот был недвижим.

Иван стал тащить из погребка своего друга, бормоча:

— Вася, ну что же ты? Слышишь, Васенька? Ну, вставай!

Алексей Кузьмич, должно быть, не сообразил помочь Ивану или побежать к соседям и позвонить в «Скорую помощь». В волнении он шагал по комнатам своей квартиры, время от времени заглядывая в кухню и еще больше нервничая оттого, что Иван так долго возится.

Но Иван не был виноват. Вытащить через эту щель большое недвижное тело оказалось нелегко. Придерживая голову друга,

чтобы не повредить ее, он тащил его, всхлипывая, как девчонка.

Наконец он вырвал из ямы тело и, ухватив Васю под мышки, потащил к выходу.

Алексей Кузьмич бросился ему помогать. Он шел впереди, открывая все двери. Жена Алексея Кузьмича и их взрослая дочь тоже сильно волновались и всплескивали руками.

Во дворе какая-то соседка, увидев странные шрамы на ладони и на лице Васи, сказала, что он побит электрическим током и срочно требуется искусственное дыхание.

Иван начал энергично делать искусственное дыхание, хотя не очень отчетливо представлял, как это следует делать.

Алексей Кузьмич с нетерпением и надеждой смотрел на Васю, досадуя, что тот до сих пор не открывает глаза. Так продолжалось минут пятнадцать, и Алексей Кузьмич все не решался выпустить из своего поля зрения это дело, пока пожилая женщина, стоявшая рядом, не закричала на него злым голосом:

— «Скорую помощь» хоть вызовите!

Не теряя больше ни секунды, Алексей Кузьмич побежал звонить.

Врач «Скорой помощи» товарищ Рогова сказала, что машины нет, но вот-вот, буквально через две-три минуты, подойдет. Она просила поскорее дать необходимые для врача данные, чтобы потом уже не задерживать машины.

Поголов быстро ответил на ее вопросы. Сказал, что человеку на строительстве стало нехорошо, что стройка находится по такому-то адресу. Адрес строительства сообщил точно. Оно было на той же улице, где и его дом, и на той самой стороне, и не так уж далеко.

Когда его спросили, упал ли потерпевший с лесов стройки, Алексей Кузьмич честно ответил: нет. А на надоедливые вопросы, что же все-таки произошло с человеком, он твердо сказал, что не знает.

Как на грех, от этих переживаний классный руководитель запамятовал фамилию своего лучшего ученика, но, видимо стесняясь признаться в этом, сказал, что фамилия пострадавшего ему неизвестна.

Повесив трубку, Алексей Кузьмич двинулся к месту происшествия, где Иван все еще делал Васе искусственное дыхание.

Алексей Кузьмич объяснил, что машины нет, и поняв это, Иван бросился на улицу и встал на пути проходившего мимо грузовика. Возмущенный шофер, который вез на вокзал срочный груз, стал было кричать на Ивана, но, взглянув на его лицо, тут же свернул к воротам.

Теперь весь двор был полон людей. Несколько человек подняли Васю и понесли.

Госпиталь для инвалидов Отечественной войны находился ближе, чем городская больница, поэтому грузовик помчался в госпиталь. Привалив Васю к себе на колени, Иван поддерживал

его, чтобы меньше трясло, поправлял его вьющиеся волосы и плакал. Алексей Кузьмич молчал, а потом высказал мысль, которая, должно быть, одолевала его давно, а возможно, посетила только здесь в машине. Классный руководитель сказал своему ученику:

— В госпитале заявим, что этого человека мы подобрали на дороге, а кто он и что с ним, не знаем. Иначе, понимаешь, Ваня, мне тюрьма.

Алексей Кузьмич хорошо знал Ивана Мисюру как дисциплинированного ученика и понимал, что тот не ослушается своего классного руководителя. Но на всякий случай перед госпиталем повторил свои наставления еще раз, как он это обычно делал в классе, когда хотел подчеркнуть и выделить главную мысль. Будучи лектором Бердичевского отделения Общества по распространению политических и научных знаний, он также постоянно пользовался этим приемом, пропагандируя и воспитывая в людях духовную чистоту, бескорыстие, честность, читая доклады о моральном облике советского человека. Вот так и сейчас, в машине, он повторил свою главную мысль: в больнице скажем, что этого человека мы не знаем.

Иван молчал, и Поголов понял, что все будет хорошо.

Когда они приехали и медсестра спросила у них, что случилось с парнем, а Алексей Кузьмич объяснил, как они на дороге подобрали неизвестного, Иван закричал не своим голосом:

— Да что же вы говорите, Алексей Кузьмич!

Он рассказал, как было, но сестра сама уже поняла и велела обоим немедленно делать человеку искусственное дыхание, пока она готовит все необходимое для врача, вызванного из другого корпуса.

Алексей Кузьмич объяснил, что не сможет выполнить ее просьбу, так как от волнений у него разболелась печень. Он ушел домой.

Весь свой опыт и знания, накопленные долгими годами, всю свою энергию приложил старый врач Марк Васильевич Фесюк, чтобы спасти парня. Но он умер: слишком поздно привезли.

Специальная медицинская экспертиза установила, что кузнец Василий Иванович Сологуб, девятнадцати лет, роста 178 сантиметров, атлетического телосложения, был убит электрическим током.

На похороны Поголов не пошел. Но все это было ему ужасно неприятно, и после похорон он предлагал родителям Васи деньги ничего взамен не требуя, только бы скорее они успокоились и чтобы уж раз и навсегда покончить с этим делом.

Его привлекли к ответственности по 165-й статье Уголовного кодекса. В этой статье говорится, что за злоупотребление служебным положением, в результате чего наносится ущерб государству или отдельным гражданам, виновных следует лишать свободы от одного до трех лет. Если же это злоупотребле-

ние приводит к особо тяжким последствиям — до пяти лет.

Дело слушалось в большом, переполненном зале бердичевского суда. Приговор был оглашен не в том же зале, как положено, а в маленьком кабинете судьи.

Поголова присудили к одному году лишения свободы в исправительно-трудовой колонии. Житомирский областной суд приговор оставил в силе.

Областной прокурор с решением суда не согласился. Он опротестовал это решение как неправильное. В своем протесте написал, что «суд избрал меру наказания, не отвечающую тяжести совершенного преступления» и мера эта, по его мнению, «чрезвычайно суровая». Он потребовал заменить Поголову один год лишения свободы на один год исправительных работ, без лишения свободы, по месту службы, с удержанием 20 процентов зарплаты. Президиум житомирского областного суда это требование удовлетворил.

Через три дня после гибели В. Сологуба Поголов был уволен со службы. А еще через три дня он приступил к новой работе. Его назначили мастером кондитерского цеха горпищекомбината, а спустя некоторое время по его просьбе перевели в другой цех, где делают целлофановые трубки для колбасы.

Я был у него и дома и на работе. Он долго говорил о своих достоинствах и заслугах, о пропагандистской работе, которую ведет.

Поскольку я очень тщательно изучил все это дело, мне хочется сказать и свое мнение о Поголове.

Мое мнение такое: он подлец.

Возможно прочитав эти строки, он подаст на меня в суд за публичное оскорбление. И я поеду на этот суд. И в зал заседания придут еще семнадцать человек, с которыми я беседовал, но не имею возможности привести здесь их слова. Это люди, которые знают Поголова много лет по прежним работам, и те, что успели узнать его за короткое время. Они расскажут о том, как пользовался Поголов чужим трудом и в прошлые годы, сколько мелкой злобы в нем, как тащит он в свой дом за решетками все, что попадается под руку.

И перед судом раскроется человек с мелкой и двойной душой, хитрый и безжалостный к чужому горю, беспощадный к людям, когда речь идет о его собственной выгоде.

На суде я прочту выдержки из письма в редакцию колхозного бригадира Ивана Вакуловича Сологуба, который спрашивает: «За что погиб мой сын? Кузнец высокого класса, комсомольский секретарь, честный, справедливый, самый воспитанный, как говорит все училище, как знает его все село. Порубили его, красивого и сильного, как зеленое дерево, и вырвали у нас сердце, и до конца нашей жизни нам будет темно».

И, выслушав людей и взглянув на Поголова, может быть, увидит суд, что совершил ошибку.

ПАЛЬЦЫ СКРИПАЧА

Сергей не знал, что с Ганной. Будь она жива, написала бы. А может быть... Все могло случиться за годы войны.

У каждого минера было «любимое письмо» от девушки или от жены, которое перечитывалось по многу раз, особенно когда взгрустнется. А одно письмо — сержанту Ермольчуку — стало любимым для десятков людей.

Фронтовой адрес короткий: номер полевой почты и фамилия. На конверте же Ермольчука после номера стояла целая фраза: «Моему дорогому, ненаглядному Степушке Ермольчуку».

На многочисленных отделениях полевой почты люди читали адрес, улыбались, показывали товарищам. Аккуратно, чтобы не забить дорогих слов, ставили почтовые штемпели, бережно, из рук в руки передавали письмо на обменных пунктах и так же бережно укладывали в брезентовые сумки.

У Сергея не было любимого письма. Никакого письма не было. И когда в грустную минуту минеры доставали свои треугольные конверты, он просто думал о Ганне.

Они учились вместе в десятом классе. После окончания школы Ганна поступила в физкультурный техникум, а Сережа — на часовой завод. У него были тонкие, чувствительные и очень сильные пальцы. Он мог без пинцета разобрать и собрать отдельные узлы часов.

Сергей любил скрипку и хорошо играл. Присутствие людей его стесняло. Он избегал слушателей. Он играл для себя. Для себя и для Ганны. Почти каждый вечер они уединялись. Ему не терпелось скорее взяться за смычок, но он медленно расстегивал футляр, не спеша извлекал скрипку, тщательно натирал канифолью волос. Он словно испытывал себя: чем ближе было мгновение, когда смычок коснется струн, тем больше он старался не торопиться. Но уже сами собой смыкались веки, он прижимался щекой к скрипке, ему слышалась любимая мелодия. Он медлил, не сознавая, что его пальцы уже скользят по грифу. Он не мог уловить тот миг, когда начинал играть...

Скрипач стал минером. Пальцы его не дрожали. Он знал, что не дрогнет и сердце. Иногда он думал, что лучше бы стать пехотинцем, танкистом или летчиком. Минер не воюет, он работает. Перед ним не живой враг, а деревянный или железный ящик с пружинками, стерженьками, проволочками. Все это находится на боевом взводе и ждет его прикосновения, чтобы взорваться. Злости минера нет выхода. Он ничего не может делать наотмашь. Он не может ответить на удар врага. Это похоже на дуэль, где стреляет только противник. Минер не имеет права бить врага. Если вражеского солдата легко сразить одним выстрелом,

минер обязан спрятаться и ждать, пока тот уйдет. Выстрелить — значит, выдать себя.

Но за каждым фашистом Сергею и не к чему было гоняться. Он стал охотником за поездами в тылу врага. Получив приказ взорвать мост, он отрезал шестьдесят сантиметров огнепроводного шнура и ждал, пока подойдет поезд. За минуту до того, как весь состав втянется на мост, он поджигал шнур. Один сантиметр горит одну секунду. Шестьдесят сантиметров горят минуту. За это время он успевал скрыться и занять удобное место, чтобы видеть, как эшелон обрушится в воду...

Война кончалась. Каждому солдату было ясно: на исходе последняя военная зима. Дивизии предстояло решающее сражение. Минеры получили приказ устроить проходы для танков.

Еще с вечера, за день до боя, Сергей разведал минное поле. Задание оказалось несложным. Смущала только одна мина — «неизвлекаемая». Он решил снимать ее сам, никому не передоверяя. Но утром произошли события, изменившие всю его жизнь.

За час до операции Сергея вызвал майор, сказал, что по ходатайству часового завода, выпускающего теперь сложную аппаратуру, его срочно отзывают из армии.

— Отделение сдайте Ермольчуку,— закончил майор, глядя на растерянное лицо Сергея.

Сергей действительно растерялся от неожиданности. Он крепко пожал протянутую ему руку и, четко козырнув, попросил разрешения идти.

— Минуточку,— улыбнулся майор,— вот вам на память этот трофей.— Он вынул из шкафа и положил на стол скрипку.

Сергей не смог сдержать радости, схватил ее и как-то вдруг, в одно мгновение весь обмяк:

— Я не могу взять это, товарищ майор... Это страшно дорогая и редкая вещь. Это... Гварнери.

— Очень хорошо, что вы знаете ей цену! — сказал майор.— Значит, будете беречь.

Сергей вышел из землянки, обеими руками прижимая к себе скрипку. У него была только одна мысль: скорее уединиться, чтобы никто не слышал. Он побежал к занесенной снегом опушке и вдруг остановился. Что же он делает?

Скрипка была для него не просто музыкальным инструментом. С ней связаны его жизнь, надежды на будущее. Во время войны скрипки не было. Не было радости, не было жизни. Он решил не браться за смычок, пока не окончится война, пока не вернется к Ганне. И вот война для него окончена. Он едет домой, к Ганне. Но где она, его Ганна?..

Медленно пошел Сергей обратно, оставляя глубокие следы на рыхлом снегу. Он спустился по крутым ступенькам в землянку, и, как только показался в дверях, минеры, сгрудившиеся у стола, смолкли и расступились.

Он никого не видел. Перед ним был только длинный стол,

грубо сбитый из досок, и в самом центре синее пятно конверта. Адрес его не был виден, но он знал: это письмо от Ганны. Он стоял, уставившись на этот длинный стол и на синее пятно. В тишине смотрели на него солдаты. Это первое письмо их командиру за всю войну, и, кто знает, может лучше, если бы оно совсем не приходило.

Сергей молча приблизился к столу, молча взял письмо и выбежал из землянки. Достигнув опушки леса, готовый ко всему, он вскрыл конверт.

Ганна... Ганна...

Больше трех лет она провела в партизанском отряде и не имела возможности сообщить о себе. Единственное письмо, полученное ею, было двухлетней давности. И вот отыскался след Сергея. Это первая радость за всю войну. Заканчивалось письмо так:

«Мне жаль, что ты решил не играть, пока мы не встретимся, но какой ты молодец, что так решил. Теперь ждать недолго. Твоя скрипка уцелела. Она рассохлась,и кое-где появились трещины. Но ведь в твоих руках она станет новой. Когда ты вернешься, мы ни о чем не будем говорить. Ты будешь играть. Жду тебя, твоя Ганна».

Ганна... Ганна...

Пока он воевал и знал, что встретит ее не скоро или совсем не встретит, еще можно было себя сдерживать. Еще вчера и Ганна, и скрипка были чем-то далеким, призрачным, нереальным. А сейчас...

— Станови-ись! — послышалось где-то совсем рядом.

Из-за поворота показалась зеленая легковая машина. Это за ним. Он инстинктивно прижался к дереву. Садись в машину, Сережа, садись так, чтобы солдаты не увидели. Хотя они не будут смотреть. Они опустят глаза, чтобы тебе не было неловко. Через несколько минут они поползут к врагу. Прижимая к себе дорогую скрипку, покачиваясь в мягкой машине, ты будешь мчаться в тыл...

— Отставить! — властно скомандовал Сергей, отходя от дерева.

Навстречу выскочил Ермольчук.

— Майор приказал мне готовить людей к выходу,— смущенно сообщил он.

— Командую отделением я! — отрубил Сергей.

Сергей отошел в сторону, обдумывая, что сказать майору. Если бы отделение находилось на отдыхе или в обороне, тогда другое дело, а сейчас... Так и придется доложить после выполнения задания.

Как только бойцы построились и он посмотрел на их добродушные лица, на душе стало удивительно спокойно. Он видел: и они рады его возвращению.

В белых маскировочных халатах отделение тронулось в путь через лес. Перед выходом на открытое место приняли боевой

порядок и разошлись в разные стороны по своим участкам. Сергей посмотрел вслед минерам. Это неправда, что во время войны не было ни радости, ни жизни. Была радость в каждом выигранном бою, была кипучая жизнь его боевого, дружного отделения.

Сергей прошел вдоль опушки с полкилометра, а дальше предстояло ползти по открытому месту. Он работал быстро и четко. Достигнув заграждений, одну за другой снял шесть противотанковых мин. Осталась последняя, «неизвлекаемая». Сергей осторожно разгреб снег, внимательно осмотрел ее со всех сторон и улыбнулся. Намудрили здесь много, да только хитрости вражьи — стандартные. Вместо одного взрывателя поставили три. Два из них он вытащил без труда, а третий стерженек, торчавший из-под деревянной крышки, не поддался. Видимо, взрыватель примерз к стенке мины. Сергей подышал на него и снова потянул. Взрыватель остался на месте, но пружинка сжалась, и чека выпала в снег.

Левая рука рванулась к карману, и Сергей замер. Чеки больше нет. Кончиками пальцев он держит короткий, как патефонная игла, стерженек толщиною в грифель цветного карандаша. Стерженек отшлифованный, скользкий от снега, растаявшего под пальцами. Его тянет сжатая пружина. Еще немного можно удержать, а потом он выскользнет, вырвется. Острие ударит в капсюль...

У каждого минера в карманах всегда есть несколько гвоздиков, запасные чеки, кусочки проволоки и другие мелочи, необходимые при разминировании. Опытные минеры, такие, как Сергей, держат при себе целый «склад» деталей. Но сейчас, в непривычно пустом кармане он нащупал только маленький перочинный нож. В спешке, с какой он пошел на это задание, в возбуждении от предстоящей встречи с Ганной он забыл, что, готовясь к поездке в тыл, переоделся и его «склад» остался в старом ватнике.

Удержать скользкий стерженек немыслимо. Сергей понял, что должен умереть, и это было горько. Где-то далеко проплыло чужое лицо Ганны, потом рассохшаяся скрипка. И все. Взрыв неизбежен.

Взрыв! Взрыв — это сигнал врагу. Это провал наступления. Многие лишние жертвы.

Надо лечь на мину и заглушить взрыв. Но ведь все равно услышат... Надо унести отсюда мину.

Он крошит ножом мерзлую землю вокруг мины, механически сжимая стержень, стараясь не шевелить правой рукой. Левая в крови. Он разбил ее об мерзлые комья, о стенки мины, но все же сдвинул ящик с места. Просунул под него руку. Ящик на ладони. Вторая рука приросла к взрывателю. Упираясь одним локтем в снег, он ползет, держа на весу мину.

Он ползет к врагам. Они обступят его, и тогда он разожмет

пальцы. ...Но, значит, они узнают, что он снял их мину, что на этом участке готовится наступление... Нет, к врагам нельзя... К своим тоже нельзя. Они бросятся на помощь. Значит, погибнут и они.

И все же он решает ползти к своим. Погибнет несколько человек. А если враг откроет направление удара...

Мина становится тяжелее. Она навалилась на руку и прижимает ее к снегу. Он перевертывается на спину и кладет ношу на грудь. Теперь легче. Левая рука совсем свободна. А правая... Кажется, не пальцы, а какая-то внутренняя сила сжимает стержень.

Он ползет на спине, упираясь в снег одной рукой и ногами. Он несет смерть товарищам. Они уже все, наверное, вернулись и ждут его. Он крикнет им, чтобы никто не смел подходить. Но разве они послушают? Еще и майор прибежит. Поймет ли он, почему пришлось тащить сюда эту смерть? А Ермольчук раздумывать не станет. Он начнет вставлять другую чеку. Но разве пальцы выдержат такое долгое напряжение? Пропадет Ермольчук. И никто уже не вскроет конверт «Степушке».

Незаметно для себя, вопреки разуму, он ползет не к своим, а куда-то в сторону. И вдруг его лицо, лицо человека, обреченного на смерть, озаряется радостью. Именно сюда и надо ползти. Надо двигаться по «ничейной» земле между своей и вражеской линиями, подальше от места, где готовится наступление. Ползти как можно дальше, сколько выдержат пальцы.

Ему было трудно ползти, потому что вся сила собралась в кончиках пальцев. Он полз, утаптывая спиной дорожку на снегу. Когда голова не могла держаться на весу и падала в снег, это отрезвляло его. Он снова полз. Он терял нить мыслей и цеплялся только за одну: ползти! Ползти весь остаток жизни. Это была уже не его воля.

Совсем стемнело, когда Сергей наткнулся на дерево. Он хорошо знал весь передний край и эту одинокую березу. Она была далеко от того места, где устроен проход. Теперь все. Можно взрывать мину. Пусть думают, что наступление готовится здесь. Враг ведь и тут совсем рядом.

Тело обмякло, и только кончики пальцев, точно сведенные судорогой, сжимали стержень. Нет, отпускать его еще рано. От березы до вражеских окопов метров пятьдесят. Вот теперь можно нести эту смерть врагу.

Сергей уперся ногами в снег. Но ему только показалось, будто он согнул ноги. Они не пошевелились. Они больше не подчинялись ему.

Он все сделал, что может сделать человек. Он понял, что умрет здесь, под этой русской березой, вместе с нею. Противотанковая мина подкосит ее, как былинку. Ему жалко стало березу. Хоть бы немного отползти и совсем спокойно умереть.

Умереть! Только сейчас он ощутил весь страшный смысл

этого слова. Еще полчаса назад он обязан был идти на смерть. А теперь?

Как же Ганна, ведь она ждет. И Ермольчук, и майор, и минеры — все ждут его. Им овладело странное чувство, будто он совершает предательство по отношению к Ганне, к бойцам.

Ему так захотелось остаться жить в эти минуты перед смертью, что мозг начал работать с удивительной ясностью. Еще не отчетливо понимая, что будет делать, он снимает с груди свою смертельную ношу, от которой не может отвязаться, за которую держится из последних сил. Он ложится на живот и снова достает нож.

Если удастся поломать нож вдоль лезвия так, чтобы получилось что-то вроде шила, он воткнет его в отверстие. Сергей понимает безнадежность своей затеи, но это последнее, что он может придумать. Он втискивает всю заостренную часть лезвия между крышкой и корпусом мины и, зажав в кулаке ручку, пробует повернуть ее вокруг оси. Нож остается цел, но одна дощечка крышки, скрипнув гвоздем, чуть-чуть приподнялась.

Гвоздь!

У него перехватило дыхание.

Стараясь не волноваться, он действует ножом, как рычагом. Дощечка приподнимается еще немного. Сергей подсовывает нож под головку гвоздя, потом тащит его зубами, расшатывает окровавленными пальцами. И вот уже в руках маленький гвоздь, от которого зависит жизнь. Может быть, впервые за всю войну руки его дрожат. Но все же ему удается втиснуть гвоздь в отверстие для чеки. Он разжимает онемевшие пальцы. Несколько секунд не может двинуться с места. И вдруг, точно испугавшись чего-то, быстро ползет...

Майор не упрекнул Сергея за самоуправство. Он только спросил, почему так долго.

— Трудная мина попалась, товарищ майор,— ответил Сергей и, неловко козырнув, быстро отдернул руку. И майор, и сгрудившиеся вокруг бойцы увидели его пальцы. Белые, отмороженные пальцы скрипача.

В РЕЙСЕ

Объединенная Антарктическая китобойная флотилия возвращалась в Одессу после восьмимесячного рейса. На подходах к порту ударили гарпунные пушки на китобойных суднах, взвились ракеты, поднялся с посадочной площадки флагмана «Советская Украина» красный вертолет.

И орудийный грохот салюта, и фейерверки, и торжественные круги вертолета над флотилией продолжались, пока она не втянулась на внутренний рейд.

С причала, заполненного массой людей, доносились звуки марша. Так встречают героев. Китобои заслужили эту встречу богатырским трудом, подвигами.

Вместе с группой товарищей я поднялся на борт флагмана за четыре часа до его швартовки и теперь смотрел на ликующий причал.

Антарктическая флотилия охотилась за кашалотами в тропиках. Ночью китобойцы лежали в дрейфе, а с рассветом все приходило в движение. На верхушки мачт взбирались по вантам марсовые матросы. На большой высоте, раскачиваемые в своих «бочках», они высматривали добычу. Одновременно на ходовых мостиках появлялись капитаны, штурманы, гарпунеры и добровольные наблюдатели — члены экипажа, свободные от вахт. Вся территория вокруг разбивалась на секторы, и каждый ощупывал биноклем свою зону.

Шла флотилия, на сотни миль прочесывая океан. То и дело слышалось:

— Справа по борту вижу фонтан!

— Слева на траверзе — фонтан!

Били пушки, вынося на бесконечном капроновом лине гарпуны с длинными и острыми гранатами. Врезались гарпуны в китовые туши, рвались внутри гранаты. А потом люди подтаскивали к борту мертвое тело кита. В него вонзали полые пики со шлангами, и мощные компрессоры нагнетали воздух. Туши раздувались и, точно исполинские понтоны, оставались на плаву. В них втыкали флаг с номером китобойца, которому туша принадлежит, и ставили радиобуй, подающий сигналы. По этим сигналам их найдет потом китобоец или подберет база.

Здесь, на базе, особенно жарко. И в прямом и в переносном смысле. Антарктической флотилии, приспособленной к работе в холодной зоне, тяжко в тропиках.

Долго стоять на тропическом солнце нельзя. Особенно людям, привыкшим к Антарктике. Но надо стоять долго: длинный рабочий день.

Туша, освобожденная от жира на кормовой палубе, поступает

в разделочную. Вдоль борта едва выступают над палубой горловины котлов, скрытых внизу, в жирзаводе.

На разделочной палубе снимают и режут китовое мясо, отделяют печень, амбру, если она попадается, пилят голову, хребет, ребра, хрящи. Все идет в котлы. И все пойдет своими путями: мясо — в морозилку, жир — в танки, мука — в мешки.

Тонны китовых внутренностей, кишечника, слизи разлагаются под тропическим солнцем. Раскаленный воздух насыщен ядовитыми парами. То мокнет, то коробится одежда, исполосованная белыми следами соленого пота. Все это видит капитан.

Моряки жирзавода завидуют палубе. Там, наверху, на палубе, легко. Там температура пока не поднималась выше сорока пяти градусов. А внизу, в жирзаводе,— до шестидесяти пяти. На палубе легче. Там газы не застаиваюся. И уж если совсем невмоготу человеку, может к борту подбежать, глотнуть свежего воздуха. А тут бежать некуда. И отравленному воздуху деваться некуда.

Машинист-жировар Иван Иванович Бахров, человек огромного роста, богатырского здоровья и атлетического телосложения, не обращал внимания на неудобства. Как и подобает коммунисту, работал на совесть. Надо, так надо. Он только все больше злился на свое могучее тело, на мускулистые, точно в узлах, руки, которые становятся непослушными и слабыми. А главное — голова. Туманить ее стало, и ведет его из стороны в сторону, точно пьяного.

Иван крепился. Не белоручка он, вынесет.

На десятый день пребывания в тропиках заступил в ночную вахту. Пошел к своим котлам. У него три котла, его рабочая площадка больше пятидесяти метров. Едва спустился, как раздался резкий звонок, загорелась красная лампочка. Это сигнал с палубы: первый котел загружен, начинайте варку.

Несколько оборотов вентиля, и пар, перегретый до ста пятидесяти градусов, со свистом ринулся в котел. Завертелся внутри сетчатый барабан, перемешивая сырье. Иван бросился к третьему котлу, где варка уже завершилась. Всем телом навалился на тяжелый рычаг пробки перепускной трубы, по которой густая масса должна идти в жироотделитель. Пятидесятикилограммовая пробка поддавалась туго, масса не шла. Что-то там засорилось. Несколько раз тяжело переводил рычаг из одного положения в другое, пока все не наладилось. Он торопился, потому что у второго котла надрывался телефон, тревожно мигала лампочка: котел полон, быстрее начинайте варку. А у первого котла давление поднялось до предела, надо немедленно перекрыть пар. На ходу увидел в глазок жироотделителя, что пошла грязь и надо быстрее спустить ее, иначе вслед за жиром потечет в отстойник.

Иван метался между накаленными котлами, жироотделителями, отстойниками, открывая и закрывая вентили, краны, пробки. Откуда-то капали жир, горячая вода, свистел фланец. Горячий

зловонный воздух обжигал горло. Било в висках. Пустить бы сюда мощную струю охлажденного воздуха, но вентилятор едва шевелится, на Антарктиду рассчитан.

Выбрав свободную минуту, Иван пошел напиться. На весь жирзавод, где в смену работает больше семидесяти человек, одна колонка с водой. Тоже в расчете на Антарктиду. Там не очень пьется, а здесь — до ведра воды в день на каждого.

На соседней позиции послышался шум. Оказывается, потерял сознание и упал жировар Виталий Быстрюков, тепловой удар. Не выдержал двадцатисемилетний Виталий Быстрюков, бывший водолаз, спортсмен-разрядник. По крутому трапу вытащили наверх, привели человека в чувство. Каких-то особых, исключительных изменений в его организме не произошло. Лишь давление было сто на пятьдесят пять, пульс — сто сорок ударов, вдвое больше нормы. Но у всех такое состояние появлялось к концу рабочего дня, а у Виталия — в первый час дежурства.

Капитану доложили о происшествии.

— Всякое бывает,— сказал он рассеянно.

С этого дня началось. Потерял на вахте сознание Онишко, через день — Скоморохов, потом Покотилов, Фатыхов, Панченко...

Иван держался. Только бы миновали ночные вахты.

Едва дотянул до прихода утренней смены и пошел в каюту спать. Он понимал, что надо обязательно поесть, желудок пустой, а есть не мог. Хотелось пить. Хорошо бы кружку воды, разбавленной сухим вином. Врачи определили, что такая смесь хорошо утоляет жажду. Поэтому в колдоговоре пункт есть: в обязательном порядке выдавать в тропиках вино. И все моряки Советского Союза получают его. Капитан запретил выдавать вино, должно быть, мало захватили. А возможно, потому, что вино лучше расходовать как стимул для выполнения плана. По всей флотилии капитан объявил: за пять убитых кашалотов — пять бутылок... Слово свое он держит. На всех суднах прислушиваются, когда он отдает приказ.

«Такому-то три бутылки отпустить, такому-то — восемь бутылок...»

Не досталось вина Ивану. Потащился он в каюту. Жара. Вентилятора нет. Резкий запах китовой продукции. Здесь и лег спать. Долго метался в постели, резало глаза, слипались веки, а уснуть не смог. Нет мочи спать в такой атмосфере. Поднялся, стащил с койки матрац и побрел на палубу.

Тропическое солнце набирало высоту. Разделочная палуба гудела. Мокрые, в китовой слизи люди резали, пилили, растаскивали крючьями распотрошенные части туши, загружая котлы. Близ надстроек, качаясь, брели люди с матрацами. Это была ночная смена.

Капитан каждый день видит этих людей с матрацами. Ему докладывают, что в каютах невыносимо и надо уходить из тро-

пиков. И он отвечает: «Вы ставите личные интересы выше государственных».

Иван искал место в тени. И те, кто работали, и те, кто с матрацами, то и дело злобно поглядывали в одно и то же место. Иван знает, куда они смотрят. Он не хочет туда смотреть, но поднимает мутные глаза: верхний аварийный капитанский мостик. Святая святых любого судна, любого корабля. Здесь установлены все необходимые приборы, и если захлестнет стихия ходовой мостик, управление ведется с аварийного. Это самая высокая площадка. Отсюда далеко видны океанские просторы, палубы, надстройки, корма, бак. И со всех точек судна хорошо виден верхний мостик.

Иван поднял глаза на этот мостик, сплюнул и побрел дальше. Резвились, гоняясь друг за другом, и прыгали в купальный бассейн, сооруженный на аварийном мостике, Светлана и капитан. Бассейн — сюрприз Светлане — сделан по его приказу и под его руководством ремонтными бригадами в пути. Я видел этот бассейн, выложенный метлахской плиткой, с наружным и внутренним трапами, с красиво изогнутыми перилами. Жалкими и ненужными кажутся возле него гирокомпас и другие приборы управления судном. Надругался капитан над верхним капитанским мостиком, над китобоями.

Было бы неправильно считать, что Светлана тунеядец или просто жена, находящаяся на иждивении мужа. Нет, она работает. Правда, долгие годы должности, которую она занимает, не было, и создал ее капитан, когда взял в рейс жену. Люди считают, будто ее работу мог бы выполнять обмерщик китов, затрачивая на это минуту. Но капитану виднее. Чтобы каждый понял, какую ответственную работу выполняет Светлана, он положил ей зарплату по шестой категории. Как старшим мастерам жирзавода и разделки — главной руководящей силе всего производства. Должно быть, Светлана того стоит. Недаром газеты капиталистических стран, в чьих портах бывает флотилия, печатают ее портреты на первых полосах.

Чтобы не обидеть своего сына Геннадия, он и его жене положил приличный оклад. Она тоже Светлана, и ее нельзя обижать, потому что она киноактриса. Уже в трех фильмах участвовала. Вернее, она — марсовый матрос. Она очень смеялась, когда ее назначали марсовым матросом и выдали паспорт моряка. Это так экзотично — сидеть в «бочке» на самой верхушке мачты и высматривать китов. Жаль, все понимают, что не полезет она туда. И жаль, что они с Геннадием плавают не на флагмане, а на обычном китобойце, который назвали поисково-научным судном. Хотя Геннадий поставлен здесь начальником, ему даже капитан подчиняется, но все равно удобства не те. И эти матросы придираются к Геннадию больше, чем к его отцу. На собрании подняли вопрос, будто она ничего не делает, а зарплату получает. Правда, Геннадий дал должный отпор. Он

сказал: «Во-первых, моя жена только числится марсовым матросом, фактически она лаборантка. Оценивать ее работу как лаборантки вы не компетентны. Это могу сделать только я, как научный руководитель. А я — довожу до вашего сведения — оцениваю ее работу положительно». Но все равно неприятно.

Тяжело было в жирзаводе. Председатель базового комитета профсоюза, опытный моряк, решил на себе проверить условия работы в жирзаводе. Отработал один день, а на другой пошел к капитану: «Надо немедленно уходить из тропиков».

Капитан объявил всеобщий опрос: «Кто за то, чтобы оставить тропики, где много кашалотов и будут большие заработки, и идти в Антарктику, где еще не известно, есть ли киты?»

Почти все китобойные суда, оторванные от жизни и работы жирзавода, проголосовали за то, чтобы остаться. Жирзавод вместе с линией муки — за уход.

Как дальновидный руководитель, капитан это предвидел.

— Ничего не могу поделать,— развел руками.— Подчиняюсь большинству, остаемся.

С первым попутным транспортом отправили, выдав больничные листы, первую партию вышедших из строя. Вошел в эту группу и Иван Бахров.

— Инвалид второй группы,— грустно улыбнулся Бахров, заканчивая рассказ о своем последнем рейсе.— Вы не смотрите, что на вид я такой мускулистый. Это от прошлого. Законом мне работать запрещено, даже стельки в артели вырезать. Сердце не выдержало, на последней ниточке оно...

В связи с отправкой людей капитан выступил на собрании. Он сказал:

— Уехали нытики, хлюпики, разгильдяи. Подлинные матросы не бегают по врачам, не уезжают, не боятся трудностей.

Спустя несколько дней матрос Дмитрий Чегорский полез прочищать ножи в жирзаводе. Температура наверху — градусов семьдесят. Через пять минут спустился. Хотя воздух обжигал горло, но вдохнуть все-таки можно было, а выдох не получался.

Чегорский — один из лучших людей базы. И один из сильнейших. Овсянникову надо бы лезть наверх, его это участок, но Чегорский не пустил: «Куда тебе, ты пожилой. Постой внизу, включай и выключай, когда скажу». И снова полез. Через несколько минут упал. Бросились к нему люди, а Овсянников кричит:

— Аккуратней, аккуратней!

И в самом деле, надо было аккуратно спускать человека, потому что трап вниз — костыльный. Но все это было ни к чему Чегорский не потерял сознание, а умер. Правда, комиссия, созданная капитаном, написала, будто температура наверху была всего 56 градусов, а не 70, но китобои этому не верят. Они показали мне площадку, где погиб Чегорский. А у них в ту прохладную ночь было 52 градуса жары.

После смерти Чегорского капитан объявил: «Жирзавод настаивает на уходе из тропиков. Сегодня берем курс на Антарктиду».

Обещание он выполнил. А через сутки на тех же тропических широтах наткнулись на нескольких китов. Ничего не объясняя людям, генеральный капитан-директор приказал остаться в тропиках.

Тридцать девять человек, здоровых и сильных, выведенных из строя, с бюллетенями на руках, отправили из рейса домой на попутных судах.

Людей не хватало. Запросили новых. На рефрижераторе, прибывшем за китовой продукцией, приехали семь человек. Среди них — старый китобой И. Авроманко, которого не взяли в рейс в связи с ярко выраженными признаками гипертонической болезни. Здесь, в океане, врач снова осмотрел его и установил, что давление двести десять на сто.

— Немедленно домой! — сказал он.— На этом же рефрижераторе.

Соответствующее заключение дал инспектор по кадрам. Генеральный капитан-директор вызвал врача:

— Почему отправляете людей при такой нехватке рабочих рук?

— Гипертоник, сильное солнце абсолютно противопоказано. Может всякое случиться.

— Ничего, поставим на легкую работу — печень резать.

Резать печень надо на палубе, под тропическим солнцем.

Я не могу больше об этом писать. Пора ответить наконец на вопрос: как все это могло случиться?

Широкое развитие китовый промысел получил у нас вскоре после войны. Новому делу государство уделяло особое внимание. Удовлетворялись все нужды китобоев. Возглавлявший флотилию «Слава» капитан, прислушиваясь к голосу людей и опираясь на их силу, способствовал быстрому развитию новой отрасли хозяйства. Пятнадцать лет назад он получил заслуженную награду — звание Героя Социалистического Труда.

Бесчисленные очерки о китобоях в газетах и журналах начинались с капитана. Появились брошюры, книги, фильмы — всюду почетное место отводилось ему. И появилось честолюбие, заносчивость, зазнайство. Стоило человеку высказать критическое замечание, как его немедленно списывали из флотилии. Уволить, опорочить, забить всякого, кто посмеет сказать слово против него или написать жалобу! Этот «метод» — грубейший и открытый зажим критики — стал главным в его работе. И работать с ним становилось все труднее. Он убивал в людях чувство справедливости, чести, собственного достоинства. Сотнями увольнял китобоев, а желающих попасть на флотилию становилось все больше.

Да как же это так?

Моря, океаны, неведомые страны, «сороковые ревущие». Антарктика, увлекательная охота за китами — кого из молодых и сильных не захлестнет эта романтика.

А почет! Когда приходила флотилия, поднималась вся Одесса. Приморский бульвар, его необъятные склоны, все улицы и площади, прилегающие к порту, были усеяны людьми. Так встречают героев. Это увеличивало популярность китобоев. Государство установило им высокие заработки, что также играло немалую роль.

Капитан использовал эти факторы, чтобы немедленно изгонять ему не угодных и окружать себя подхалимами.

Каждого выступавшего с критическим замечанием в его адрес он вызывал к себе, как говорят китобои, «на ковер», и, листая личное дело вызванного, учинял разнос, предупреждая, что выгонит. Он не только предупреждал. Из предпоследнего рейса дал радиограмму в отдел кадров об увольнении ста одиннадцати человек. Ни один из них не знает, за что уволен. В ответ на замечание председателя цехового комитета профсоюза Е. Волошина о том, что люди жалуются на его неправильные действия, капитан в присутствии нескольких человек ответил: «Я этих жалобщиков, как кочаны капусты, рубал на кусочки и рубать буду».

Свои действия генеральный обставлял так, что к нему трудно было придраться. Он заявлял, будто ничего не решает сам. Будто решает промысловый совет или весь коллектив.

Как «решает» коллектив, мы видели на примере опроса — уходить из тропиков или оставаться. А вот как «решает» промысловый совет.

— Капитан Красноженов,— говорил генеральный по селектору,— думаю, нам целесообразно пойти в такой-то район. Ваше мнение?

— Учитывая такие-то факторы,— отвечает капитан,— может быть, повременить с отходом?

— Ни черта вы не понимаете! Следующий!

— Что-то рациональное есть в предложении Красноженова,— начинает второй капитан.

— Своим умом надо жить! Следующий!

А следующий уже не хочет получать оскорблений. И все остальные не хотят. Они отвечают:

— Ясно, идем в такой-то район.

Пятьдесят три человека! Это капитаны, штурманы, жировары, матросы — люди флотилии, которые рассказали мне о ее жизни.

Сотни страниц! Это письма в редакции, протоколы собраний, приказы, акты, постановления, жалобы, справки, характеризующие жизнь флотилии, с которыми я познакомился.

Жирзавод, мучная линия, каюты, трюмы, морозильня, камбуз, санчасть, машинное отделение, палубы — всю территорию, где работают и живут китобои, я осмотрел и изучил.

Я видел китобоев — жизнерадостных и сильных, поэтов и романтиков с глубокой верой в идеалы Родины, каждодневно совершающих подвиги во имя ее славы. От имени двух тысяч моряков флотилии они просили передать: «На китобоев Родина может положиться. Все вынесут китобои для ее счастья».

Но китобои — гордые люди. Матрос Станислав Черных на профсоюзном собрании заявил: «Мы устали не от физического напряжения. Мы устали от гнета капитана и не желаем больше нести этот гнет».

Капитан вызвал Черных «на ковер» и сказал, что в следующий рейс «уставшие» не пойдут.

Забыл он, на какой земле вырос, кому должен служить, кто поднимал его по лестнице славы. Забыл о советских людях...

Прошел год. Прославленная китобойная флотилия подходила к Одесскому порту после восьмимесячного юбилейного рейса. Но не били в приветственных залпах гарпунные пушки, как в прошлые годы. Не было не только приветственных залпов. Не было и прежних генерального капитан-директора, его заместителя по политической части, являвшегося одновременно секретарем парткома, и главного врача. Они были сняты с работы и сурово наказаны.

Перед выходом в юбилейный рейс снова бурлила флотилия. Люди радовались, но этой радости что-то мешало. Что-то словно царапало, неотчетливое, неясное, тревожное, за что никак нельзя было ухватиться, нельзя было понять, что мешает торжеству.

А потом один из приверженцев старого руководства сказал: «Посмотрим, какие расчетные книжки вы привезете женам со следующего рейса. Так ли будете радоваться, как сейчас».

И кое-кто приуныл. Люди знали: в течение многих лет на капитанском мостике стоял человек, который все мог. Ну, пусть терпели от него, пусть невмоготу порой становилась его жестокость, но опыт у него большой, чутье старого охотника, и без плана не возвращались. А ведь бить китов — не лес в тайге рубить. Надо уметь найти их. Недаром некоторые капиталистические страны продали свои флотилии: не могут найти китов.

А как-то будет теперь? Уж очень застенчив и мягкотел новый капитан-директор Борис Макарович Моргун.

Перед выходом в рейс в Одесском доме ученых состоялась партийная конференция китобоев. Со всех судов прибыло сто пятьдесят два делегата. Отчитался партком. Начались новые выборы. По традиции предполагалось, что секретарем парткома будет избран новый заместитель генерального капитан-директора по политической части. Да и обком партии, знали уже люди, рекомендовал его на этот пост.

Вышел на трибуну. Робкий какой-то, говорит неуверенно... Яроцкий... Владимир Степанович, тридцать шесть лет... окончил политехнический институт, работал инженером на заводе по ре-

монту китобойцев... в последнее время — председателем райсовета Центрального района Одессы... Взысканий не имеет... Вот и все. Может, вопросы будут?

Вопросов не было. Не понравился. Поднялся один из китобоев и сказал: «Разве из полтыщи коммунистов флотилии, хорошо знающих людей и специфику промысла, мы не можем найти достойного секретаря парткома? Зачем же выбирать нового человека?»

При тайном голосовании В. Яроцкий в партком не прошел.

Флотилия вышла в рейс. Двадцатый, юбилейный рейс. Босфор... Дарданеллы... Суэцкий канал, Красное море. Наконец достигли района Антарктики. По докладу старого руководства знали, что китов там много. Китов не оказалось. Вело разведку поисковое судно, летал над океаном вертолет, два десятка китобойцев бороздили пустынные воды. Хоть бы какой захудалый кашалотишко для взбодрения духа! Утро, а уже рябит в глазах от неотрывного прошаривания гривастых волн. Хоть бы один... И вдруг чуть испуганный крик помощника гарпунера Николая Порожнякова:

— Справа по траверзу фонтан!

Будто вздрогнул крутобокий китобоец: первый кит на всю флотилию. А если сорвется, уйдет! Его так ждут. Ждут — от капитан-директора до дизелиста Виктора Кравца. Сейчас в эти минуты все китобойное счастье — в руках гарпунера Селецкого...

Прошел по перекидному мостику к пушке. Вроде спокоен. Да его и не угадаешь — всегда невозмутим. Сейчас вся команда работает на него. В казенную часть пушки заталкивается гильза с зарядом. Двое матросов со ствола загоняют гарпун. Ничего себе штучка — семьдесят кило. На его конец навинчивается граната с пороховым зарядом. Теперь китобоец к бою готов. Гарпунер застыл у пушки, судно чутко ловит его команды. Вот чуть повел рукой вправо — помалу работай «права руля». Еще чуть... Звонки — своя домашняя морзянка от гарпунера на ходовой мостик: длинный — «полный вперед», короткий — «стоп, машина». Китобоец, будто охотник, подкрадывается к дичи. Тут уже не удача — искусство, опыт, слаженность команды: все то, что зовется китобойным промыслом.

Голова у кита побольше нашей: тоже, поди, смекает что к чему. Как к нему подойти, усечь момент для удачного выстрела? Не только для всякой породы китов свой маневр, но каждая особь тоже «индивид»: характер, повадки — голыми руками не возьмешь. Сейвала, к примеру, лучше брать на малом ходу, финвала — на полном. Есть киты — «спортсмены», «водолазы», «ходовые». Это уже своя терминология, пущенная гарпунером. За десять лет плавания китобоем, из коих семь у гарпунной пушки,— хоть диссертацию о китах защищай. Да и рука в порядке: есть в анкете Селецкого фронтовой пункт: «Наводчик

минометного расчета», потому, наверно, и тут, в море, промахов почти не бывает.

Гарпунер на китобойце — человек особенный: промах, и летит в трубу многочасовой тяжелый труд нескольких десятков твоих товарищей. Гарпунер в особом почете. А чего это стоит! Бывает, по суткам крутится у пушки, каждую минуту может быть нужен. А нервы? Нейлоновые надо иметь. За иным китом полдня ходишь: не подпускает, да и только. Фонтан дал — нырнул, где появится — неизвестно. Ходишь за ним — приноравливаешься: по скольку сидит, далеко ли, в какую сторону отходит. А потом еще на лине потаскает, если ранишь. До километра вымотает линя. А случается, уйдет — хоть рубаху на себе рви.

...Это был кашалот: только он дает фонтан в одну струю. Уже час идет охота. Вот уже осталось с полмили. Звонок — застопорить машину. Видны «блины» — разводья в местах погружения кита. Ближе, ближе. Уже видна туша. Ну же, гарпунер, что медлишь? Нет, рано — метров на пятьдесят подпустить, чтоб наверняка. Качает. Надо чутьем или чем хочешь, но ухватить эту единственную точку в пространстве, с которой гарпун точно пойдет в цель. И передержать нельзя: вот-вот нырнет.

Припал к прицельной планке. Ну, Георгий, на тебя Европа смотрит! Грохот выстрела. Наповал. Теперь гарпунер может спокойно утереть со лба пот. Подтянуть кита к борту, пришвартовать цепями, накачать, как мяч, воздухом, чтобы оставить на плаву и продолжать охоту,— это дело палубной команды.

Однако на этот раз надувать не стали. Первый кит — все равно что первая борозда для пахарей, первая плавка у сталеваров. Праздник. «Знатный» торжественным ходом направляется к базе. Вся флотилия уже знает: лиха беда начало — первый кит есть! На базе — музыка, звучит поздравление капитан-директора. Команде «Знатного» вручается метровый именной торт с надписью «За первого добытого кита» и шампанское. В тот день «Знатный» добыл еще двух китов.

И опять ничего нет. Легко справляясь с небольшой нагрузкой, раздельщики китов и жировары приводили в порядок базу. Оббивали ржавчину яростно, точно мстили. Суричили, красили. Ремонтировали промысловое снаряжение. В свободное время играли в футбол или волейбол, купались в доступном теперь для всех бассейне, выложенном метлахской плиткой, щелкали рукоятками новых автоматов с газированной водой, отдыхали в каютах с кондиционированным воздухом.

Китов не было. Несколько десятков добытых животных было трудно принимать в расчет. По плану должны быть сотни. Люди видели, как тяжело переживает создавшееся положение капитан. Понимали всю меру тяжести и ответственности, которые легли на плечи этого человека. Им казалось, что стыдно ему перед экипажем. Никого ни в чем не упрекает, нет раздражения в голосе. Будто он один во всем виноват. Вежливый, учтивый. Уж

лучше бы накричал на кого-нибудь, чем все в себе носить.

Каждый вечер по радио проводились диспетчерские совещания. Моргун внимательно выслушивал советы капитанов китобойных судов, почти всегда соглашаясь с ними. Согласился и с общим мнением: сменить район промысла.

Регулярно шли занятия в 8—11-х классах школы рабочей молодежи, где обучалось 295 китобоев. Сидели над книгами 300 заочников специальных и высших учебных заведений. На одной из тренировок спортсменов матрос первого класса мастер спорта штангист Валерий Кухарский побил мировой рекорд Ефима Магаляса, выжав штангу весом 125 килограммов. Это на пятьдесят килограммов превышало его собственный вес. Гарпунер А. Солиенко загарпунил исполинскую акулу длиной 10,4 метра, весом 13,7 тонны. Состоялось собрание женщин. Избрали новый женсовет во главе с врачом М. Померанцевой.

Китов не было. К двадцатому ноября месячный план выполнили процентов на тридцать. Не дала перелома и последняя декада. Теперь уже никто не мог скрыть тревоги. С берега от родных шли сотни радиограмм: как идут дела, как настроение?

Что отвечать? Кроме престижа и уязвленной гордости, китобоев волновало еще одно немаловажное обстоятельство. Добыча китов — это охота. Нет китов — нет заработка.

И уже казался нерешительным капитан. Добрый, чуткий, предельно скромный, с обаятельной улыбкой, он пользовался всеобщим уважением. Люди готовы были по его слову выполнить любое задание. Но что делать? Он все советуется, а китов не прибавляется.

В особенно тяжелом положении оказался замполит В. Яроцкий. Капитану легче. Бориса Макаровича Моргуна китобои знали много лет. Он всю жизнь на море. Во время войны при высадке десанта еще совсем юношей был ранен, потом при таких же обстоятельствах контужен. Все знают, какой это смелый человек. Начав службу во флотилии со старпома маленького китобойца, прошел путь до капитан-директора «Славы». Его назначение на пост капитан-директора китобойной флотилии «Советская Украина» и «Слава» китобои встретили с большим одобрением. А Яроцкого не хотели. Он знал это по итогам выборов в партком.

После партийной конференции просил, чтобы не посылали в рейс. Ведь это юбилейный рейс. Трудно будет, если китобои так отнеслись. А рейс должен пройти обязательно успешно...

Двадцать лет советского китобойного промысла. Ветераны флотилии помнят: двадцать лет назад поднялся на мостик «Славы» легендарный ледовый капитан В. Воронин и повел флотилию из нескольких китобойцев в первый рейс. У гарпунных пушек, на решающих участках разделки стояли иностранные специалисты: не было у нас опыта охоты за китами.

Как проходил этот рейс, рассказывает старый китобой капитан «Павла Фролова» А. Морозов, служивший тогда на китобой-

це «Слава-4»: «После того как гарпунер Олсен взял первого кита, нас охватило ликование. Рвались в бой. Но, к огорчению, в этот день ничего больше не удалось добыть. По одному киту досталось и остальным китобойцам. Олсен и другие гарпунеры-иностранцы явно не желали бить китов. Уверяли, будто киты «неподдающиеся» и взять их невозможно. Но странное дело. Как только мы обнаруживали китов, в районах охоты появлялись флотилии соотечественников наших гарпунеров и с успехом начинали вести промысел. Никакого опыта иностранные гарпунеры нам не передавали, не подпускали к пушкам наших учеников, не давали им сделать выстрела».

Так было в первом рейсе, так было во втором. Иностранные специалисты знали, что ничему они не выучили советских китобоев, поэтому удивились, когда Советский Союз отказался от их услуг.

Бывший технический консультант нашей флотилии Сигурд Нильсен на вопрос, справятся ли с промыслом советские китобои без иностранной помощи, ответил:

«По правде говоря, очень плохо. Возможно, китобаза справится сама, но значительно хуже дело обстоит с командами на китобойцах, особенно с гарпунерами. Из года в год китов становится меньше, искать их все труднее.

Русские, конечно, кое-чему научились, но вряд ли они приобрели достаточный опыт. Поэтому вряд ли они добьются чего-нибудь».

Пророчество не оправдалось. В первом же рейсе без иностранных специалистов советские китобои загарпунили значительно больше китов и вытопили больше жира. С тех пор флотилия росла и крепла с каждым рейсом.

И вот двадцатый, юбилейный... Флотилию отбросило назад, до уровня добычи первых лет. И в этот критический момент произошли два события, сыгравшие решающую роль в судьбах рейса и в известной мере изменившие психологию китобоев.

Первым событием явилось обращение Моргуна к флотилии заменить лозунг: «Увидел — добыл» лозунгом: «Увидел — сообщил».

Объективно говоря, авторы действовавшего старого лозунга исходили из лучших побуждений. Речь шла о том, чтобы не упустить ни одного крупного промыслового кита из тех, что обнаружены. Однако этот лозунг в основе своей таил весьма порочное начало. Он воспитывал индивидуализм, стремление укрыть добычу от товарищей, стремление самому взять все, что увидел. А бывало, что взять все не хватало сил и возможностей, и часть китов уходила. И это в то время, как марсовые матросы других китобойцев безуспешно обшаривали горизонты, не находя ни одного фонтана.

Возможно, так было и в неудачные дни ноября. Большинство китобойцев не справились с планом, а «Знатный» и «Дружный»,

обнаружив китовые стада, месячное задание выполнили на десять дней раньше срока. Хороших результатов в ноябре добились еще несколько китобойцев. И, кто знает, может быть, вся флотилия имела бы успех, работай она по принципу: увидел китов — сообщи всем свои координаты.

Старый лозунг воспитывал у людей чувство: «Это мое, и никому не отдам: увидел — добыл». Порождались антагонизм между китобойцами, зависть удаче, собственнические настроения. Несли моральный и духовный урон китобои, несло урон государство из-за неиспользованных возможностей.

Новый лозунг был порожден стремлением к коллективизму, к дружной работе всей флотилии, к взаимной выручке и товариществу.

Китобои приняли новый лозунг. Экипажи «Жаркого», «Доброго», «Вдумчивого», «Дружного» первыми оповестили флотилию о найденных китах, сообщив свои координаты. К ним устремились те, в чьем поле зрения китов не было. Дружно и быстро взяв добычу, пошли дальше. И как-то легче на душе стало у людей. Родилось великое чувство локтя, сознание, что ты не один. И не будь этого начала, вряд ли выступил бы со своей идеей гарпунер «Гуманного» Юрий Арипов.

Дело в том, что даже при коллективном методе охоты успехи у китобойцев разные. Решающей фигурой добычи является гарпунер. Только гарпунер. Один гарпунер гоняется за китом пять часов, другой возьмет в несколько минут. Получалось, что и трудовые успехи, и слава, и заработки всего экипажа китобойца зависели от одного человека. И, бывало, человек этот зазнавался, подминал под себя капитана и весь экипаж: ему все нипочем, его на любой китобоец возьмут. Порождался некий культ гарпунера.

И вот, досрочно выполнив план на своем китобойце, Арипов попросил отправить его на отстающий китобоец «Гордый». И это прозвучало как сигнал. Другие бывалые гарпунеры, едва выполнив свой план, пересаживались на китобойцы, где работали менее опытные товарищи.

Более активным стал поиск. Когда киты исчезали из поля зрения, китобойцы выстраивались в одну шеренгу на расстоянии двадцати пяти миль друг от друга и, прочесывая океан, обязательно находили китов.

В декабре был полностью покрыт и октябрьский долг. И вот тут-то надо сказать о втором событии, происшедшем на флотилии. Это даже не событие, но нечто, сыгравшее большую роль для успешной работы.

Речь идет о Яроцком. Незаметно, ненавязчиво, как-то очень по-хорошему занял он на флотилии достойное место. Людям вдруг показалось, что много лет они плавают вместе с ним, и никакого другого замполита у них не было, и близкий это им человек, и родной. В дни неудач ноября Яроцкий пересаживался

с одного судна на другое, спал и ел где придется, надолго оставляя пустой свою благоустроенную каюту. Он не отдавал приказаний, не нервничал в трудные минуты, не навязывал своих мыслей, не стремился шуточками да прибауточками поднять настроение китобоев. Он просто жил среди них, органически вошел в их среду, и люди увидели, как дороги ему их интересы. Он постоянно кому-то помогал в чем-то, из Антарктики без конца связывался с Одессой, то устраивая детей китобоев в детский сад или ясли, то хлопоча о квартире. Защищал несправедливо обиженных, помогал решать спорные вопросы на судах, и всегда скромно, без указующего перста, никогда не демонстрируя больших прав, которыми был наделен. Он сделал уйму докладов, но никто не чувствовал в нем специального докладчика. Говорил человек о жизни, о стране, о других странах, говорил интересно, и уже с нетерпением стали ждать его прихода. Его стало не хватать людям. Он сделал доклад о том, каким должен быть коммунист, и все вдруг увидели, что именно таким является он сам. Это то, что люди увидели. А незаметным остался процесс, трудный и важности чрезвычайной.

Идею капитана о коллективных методах охоты Яроцкий воспринял задолго до того, как Моргун обратился с ней к китобоям. И с той поры в каждой беседе, в докладах так или иначе касался этой темы. Чаще всего не в лоб, как всегда, не навязчиво, но убедительно говорил о собственнических инстинктах другого мира, вызывая у людей отвращение ко всему эгоистическому, чуждому, чистоганному.

Призыв капитан-директора о переходе на коллективные методы охоты лег на подготовленную его заместителем по политической части почву. Яроцкий помог решить и еще одну важную проблему. Раньше средний командный состав практически ни во что не ставился. Люди были низведены до рядовых исполнителей. Они выполняли только приказ. Яроцкий первым обратил внимание на то, что эта большая сила остается скованной.

Моргун поддержал Яроцкого, и средний командный состав получил важные права, обрел самостоятельность.

На подходах к Одессе группа китобоев рассказывала нам о Яроцком. Один из лучших матросов-раздельщиков, прямой и честный Владимир Шевченко сказал:

— Нам стыдно перед обкомом, перед Владимиром Степановичем Яроцким за то, что мы не избрали его в партком. В рейсе мы не извинялись перед ним. Но по нашим глазам, по готовности, с какой шли за ним, он понимал нас. Скоро новые выборы, и ни одного голоса не будет против него.

А часом позже, в каюте капитан-директора тоже зашел разговор о Яроцком. Борис Макарович сказал:

— Это умный и скромный человек, надежный товарищ, особенно в трудную минуту. Только помощь, конкретную и нужную, я получал от него в течение всего рейса.

Декабрь стал месяцем не только значительного перевыполнения плана. Люди увидели, практически ощутили силу коллектива, обрели уверенность. В течение рейса было немало чудовищных трудностей и критических моментов, о которых пойдет речь ниже, но не было ни одного окрика, ни угроз, ни ущемления достоинства людей, характерных для последних рейсов.

Может быть, поэтому в феврале, о котором тоже еще пойдет речь, экипажи судов вынесли нечеловеческую нагрузку, и не было ни одной жалобы, ни рапортов, ни недовольства. В равной мере с капитаном флотилии люди чувствовали на себе ответственность.

Декабрь был радостным, и немногие знали о надвигавшейся беде. Моргун без конца обменивался радиограммами с материком, пока не убедился: танкер с горючим к сроку не придет. Он появится в Антарктике, где находилась флотилия, через двадцать дней после того, как будет израсходовано все топливо. Без топлива осталась база и два десятка китобойцев. Был единственный выход: на двадцать дней ложиться в дрейф. Январский план казался обреченным. Никто не знал, что делать. Да и делать, собственно говоря, было нечего. Пришлось смириться.

Моргун смириться не мог. У него родилась идея. Наивная и неосуществимая. Он решил попросить взаймы две с половиной тысячи тонн горючего у дальневосточной флотилии «Советская Россия», промышлявшей на расстоянии суточного перехода.

Могли ли пойти на это дальневосточники? Дела у них шли в этот период не очень хорошо. Чтобы дать горючее, надо потерять день, который трудно потом наверстать. Второй такой же день уйдет на то, чтобы принять горючее у танкера, когда тот появится. И кто знает, какая будет тогда погода. Надвигалась пора штормов, а в шторм танкер не приблизится к китобазе, и сколько придется потратить времени на то, чтобы получить обратно свое горючее, неизвестно.

Было и еще одно важное обстоятельство. Одесская и дальневосточная флотилии претендовали на первое место в соревновании китобоев страны. Первое место — не только знамя и слава, но и солидная премия. Конечно, об этом никто не скажет, но не учитывать такого обстоятельства дальневосточники не смогут.

Все это хорошо понимал капитан-директор «Советской России» Иван Трофимович Люлько.

— Какой может быть разговор. Давай уточним координаты,— ответил он на просьбу Моргуна.

«Советская Россия» пошла на помощь «Советской Украине».

Много лет соревнуются эти две флотилии, но никогда не встречались флагманы. Построенные в СССР по одним и тем же чертежам, равные по габаритам и мощности, с одинаковым укладом жизни и внешне похожие, как близнецы, равноправные, самостоятельно и независимо друг от друга действующие, они являлись частью единого советского организма и пошли друг

другу навстречу: «Советская Россия» в ущерб себе, чтобы оказать помощь «Советской Украине».

Они встретились в Антарктике, подошли друг к другу поближе прижались бортами. Будто с Родиной встретились люди. На глазах были слезы.

Пока шла перекачка горючего, экипажи почти в полном составе перешли на братские суда: русские китобои пошли к украинским, украинские — к русским. И каждый стремился поскорее увидеть, как выглядит его рабочее место на дружественном судне. Люди обменивались опытом, открывая друг другу самые сокровенные тайны китобойного мастерства.

А потом одновременно состоялись два концерта самодеятельности: украинцы показали свое искусство русским, русские — украинцам.

Глубокой белой ночью раздались прощальные гудки. Было светло. Никто не спал. Флагманы расходились, чтобы лечь на свои курсы. На мостиках стояли, прощально махая руками, два капитана, два коммуниста с Золотыми звездами Героя Социалистического Труда на груди.

Спустя два месяца состоялась новая встреча в Антарктике, на этот раз не флагманов, а китобойных судов двух флотилий.

В марте «Советская Украина» собирала богатую добычу. В районе, где промышляла «Советская Россия», китов не было. Мартовский план находился под угрозой срыва. Моргун спросил китобоев своей флотилии, как они отнесутся к тому, чтобы пригласить дальневосточников в свой район, и получил горячую поддержку всех экипажей.

С благодарностью принял предложение И. Люлько. Теперь «Советская Украина» пришла на помощь «Советской России». Сорок китобойцев обеих флотилий сошлись в одном районе. И если появлялся кит в поле зрения русского и украинского китобойцев, украинцы отходили. Об этом просил своих людей Моргун, и восприняли они это как долг, как дело чести.

И еще представился случай «Советской Украине» помочь «Советской России». В течение рейса дальневосточники расходуют шесть танкеров топлива и смазочных материалов. Китобои фрахтуют танкеры нефтеналивного флота. Каждый поход танкера в Антарктику — это огромные деньги. Моргун по собственной инициативе оказал помощь дальневосточникам, в результате которой они смогли отказаться от шестого танкера. А это привело к снижению себестоимости продукции, тоже, к слову говоря, показателю, имеющему значение при определении места в соревновании.

...Январский план «Советская Украина» значительно перевыполнила и ушла в новый район, богатый добычей. Радужные перспективы открывал февраль. Он принес бедствие.

Точно взрывалась изнутри Антарктика. Больше двадцати дней било в ледяном шторме флотилию. В самые тихие дни шторм

достигал семи баллов. Но тихих дней было мало. Одиннадцать-двенадцать баллов.

Маленькие китобойные суда не тонут даже при максимальных кренах. Но их бросало так, что оголялись рули, они теряли управление, их несло на айсберги, и капитаны немыслимыми маневрами избегали катастрофы.

Флотилия двигалась вперед, чтобы уйти от шторма, но он захватил тысячи миль, и уйти от него было некуда. То там, то здесь прорезали туман исполинские головы кашалотов, и находились гарпунеры, что в этом чудовищном хаосе били их и швартовали к борту. Может быть, не в силах оказались сдержать охотничий азарт, а возможно, стоял перед ними пример дальневосточного китобойца «Циклон». Двенадцатиметровый кашалот ринулся на это судно и могучей головой ударил в борт. Китобоец едва не опрокинулся. Вышли из строя двигатели. Повреждения оказались столь серьезными, что пришлось отправлять «Циклон» на буксире во Владивосток.

Когда на базу сообщили о добытых в этом шторме китах, на всю флотилию прозвучал приказ Моргуна. Может быть, это был первый приказ, который предварительно не обсуждал он с капитанами и не советовался с ними. Приказ резкий, категорический, безоговорочный: ни при каких обстоятельствах не рисковать. Беречь здоровье и силы людей и каждого человека в отдельности.

На флотилию обрушились новые бедствия: люди не могли спать. Чтобы не разбиться от ударов о выступы и переборки кают, надо было упираться ногами в надежную опору, удобно уцепившись руками за какой-нибудь поручень. Как же в таких условиях спать!

Это был шторм, о котором моряки говорят: «Трудно понять, где голова, где ноги». Китобазу качало значительно меньше. Но удивительное зрелище представляли люди на палубе. Они плясали. Конечно, им было не до плясок, они прыгали, чтобы удержать равновесие, но со стороны это казалось дикой пляской.

Первые пять дней ни на минуту не утихавшего шторма почти вывели из строя людей с китобойных судов. Человек не может жить без сна. Семь дней без сна в непрерывной борьбе со стихией... Десять дней... Тринадцать.

Моргун отдал приказ всем китобойцам, находившимся на расстоянии сотен миль друг от друга, выставить круглосуточную вахту и искать большой айсберг. Во что бы то ни стало найти большой айсберг.

Он был найден. Исполин длиной больше десяти миль и высотой метров сорок, без вершин, точно сказочная крепость-стена. Вокруг него бушевал шторм, но с подветренной стороны было тише. К нему и устремились все китобойцы. Раздался приказ: спать. Будто вымерли суда. Только вахта следила, чтобы не бро-

сило на айсберг, маневрируя, то стопоря машину, то на малом ходу уходя от исполина.

Качались и прыгали на волнах уснувшие китобойцы. Не слышно было ни команд, ни шума, ни работы двигателей. Мертвым сном спала флотилия, охраняемая вахтой. И будто заглушенная горами, доносилась с какого-то судна мелодия, записанная на пленку: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...»

Шторм продолжался. Только по нескольку часов в день укрывались китобойцы за айсбергом. Остальное время проводили в океане.

На исходе было горючее. На этот раз танкер пришел вовремя. А что с того? Подойти к китобазе не было возможности. Но настало время, когда ждать уже было нельзя. Моргун повел «Советскую Украину» под укрытие айсберга и попросил капитана танкера, чтобы тот все-таки подошел к нему. Капитан отказался. По всем законам и положениям он был прав. И правильно сказал: «Меня бросает, как китобойца, о каком подходе может идти речь».

А ждать было нельзя. Моргун сам решил подойти к танкеру. Водоизмещение флагмана — сорок четыре тысячи тонн. Танкера — десять тысяч. Моргун шел на риск. Но это был не безрассудный риск. Это был риск маститого ледового капитана, основанный на богатейшем опыте, глубоких знаниях, непревзойденном мастерстве.

Моргун уравнял скорость движения судов, довел ход до самого малого, привьючил к борту убитых китов вместо кранцев. Сильного удара не должно быть. И его не было. Полетели с флагмана на танкер тонкие многометровые выброски. Ухватившись за них, матросы вытащили на палубу тяжелые капроновые канаты и стальные тросы с петлями на концах и накинули их на кнехты. Медленно заработали лебедки флагмана, подтягивая к нему танкер.

Шесть носовых, два прижимных и четыре кормовых троса намертво связали два судна. Теперь они представляли одно целое.

И еще был случай, когда проявилось мастерство капитан-директора как судоводителя. В тихую погоду флагман шел среди айсбергов. В поле зрения их было не меньше ста пятидесяти. Но айсберги не страшны. Их хорошо видно. Страшны ропаки. Это те же айсберги, но почти полностью скрытые под водой. Не всякий глаз их увидит, не всякий локатор возьмет. Для судна они смертельны. Ропаками был усеян океан. У штурвала стоял матрос Сергей Тимофеевич Борщев, заместитель секретаря парткома и секретарь головной парторганизации флагмана. Человек бывалый и смелый. Он — Герой Советского Союза. Кроме ордена Ленина, у него пять орденов Красного Знамени, ордена Александра Невского, Красной Звезды и двенадцать медалей. На площади перед знаменитым Одесским театром рядом с именами героев-одесситов высечено в граните и его имя. На героя не по-

хож. Крупное наивное лицо, хорошая улыбка. Раньше был военным летчиком. Выйдя в отставку, мог вести преподавательскую работу, потому что он образованный человек. Но к спокойной работе было трудно привыкать, и он уехал в родную Одессу. Он хорошо знал небесные штормы, и ему хотелось узнать штормы океанские. Он узнал их. Думал сделать только один рейс, но уйти с флотилии не смог. Вокруг были сильные, мужественные люди, люди-герои. Вокруг была дикая, неуправляемая стихия. Это было ему по душе.

...Он вел судно, маневрируя между айсбергами, обходя ропаки, и ему было хорошо. Хорошо от сознания, что ведет самый большой в мире китобойный флагман, который подчиняется его воле, малейшему его желанию. Это было испытание нервов, мастерства, воли.

Рядом на мостике стоял Моргун. Они говорили о каком-то партийном задании, которое кто-то не выполнил.

— Почему же вы не поручили мне? — спросил Моргун.— Я бы вполне справился с этим делом.

Ответить Борщев не успел. Китобаза стала забирать влево, он повернул штурвал в правую сторону, но судно не послушалось. Оно шло на айсберг. Моргун резко обернулся. Он понял, что произошло. Вышло из строя рулевое управление.

Моргун рванул рукоятку семафора. Раздался резкий звонок и оборвался. Метнулась и встала, дрожа, стрелка семафора на секторе «Стоп»: где-то в глубине у двигателей приказ услышан, понят, выполнен. Ход застопорен. Но китобаза по инерции продолжала двигаться на айсберг. Он дал левой машине передний ход, а правой — задний. Судно отвернуло от айсберга, пошло правее. Справа был ропак, и Моргун дал полный вперед обоими двигателями. Поскольку и впереди был айсберг, пришлось стопорить и отрабатывать назад, как только флагман проскочил ледяные глыбы, находившиеся по бокам. Казалось бы, чего проще остановиться. Но айсберги движутся, и надо уходить от них.

Моргун управлял судном, одновременно отдавая команды, и по этим командам старший механик и электромеханик бежали в румпельное отделение, и еще какие-то люди куда-то бежали, чтобы выяснить, что произошло, и устранить повреждение. Пока они этим занимались, Моргун управлял судном без рулевого управления, лавируя между айсбергами и ропаками, которых было видимо-невидимо, и было неизвестно, когда они кончатся.

— Самый высший пилотаж,— сказал Борщев,— детские игрушки по сравнению с теми страшными минутами.

А ведь Борщев знает, что такое высший пилотаж.

В этом рейсе был для генерального капитан-директора момент куда страшнее, чем описанный, хотя никакой физической угрозы не представлял. Обычно по всем важным вопросам, прежде чем принять решение, он советовался с капитанами. И, как правило, они всегда приходили к общему мнению.

Решался вопрос о смене места промысла. Девятнадцать капитанов считали, что надо подниматься вверх. Моргун предложил спускаться. Он долго убеждал капитанов, приводил множество доводов, закончив тем, что и чутье подсказывает: идти вниз. Доводы не убедили. Что касается чутья, то и это ведь дело сомнительное. Капитаны стояли на своем.

Еще раз объяснив, на основании каких доводов действует, Моргун отдал приказ: спускаться.

— Вот тебе и мягкотелый,— сказал кто-то из китобоев.

Все ждали, чем это кончится. Все понимали, какую ответственность взял на себя Моргун. Если бы он принял точку зрения капитанов и китов бы не оказалось, ну что ж, виноваты все. А сейчас?

Во время перехода люди видели, как он старается показать, что не нервничает.

На новом месте промысла китов не оказалось. Нервничать он перестал. Кроме поискового судна «Гневный», выслал в разведку двух китобойцев, сняв их с промысла. Оказалось, киты есть. В этом районе взяли много добычи.

Кстати, о плане. Мы забыли сказать, чем кончился штормовой февраль.

В эти дни на судах потерялось значение слов «дежурство», «рабочее время», «смена», «вахта». Ясно, что заставить людей так работать невозможно. Так работать можно только по велению собственной души и сердца. Люди спасали план, как спасали бы от беды своего ребенка, забыв о сне и еде.

А март принес новые испытания. Китобойцы, окруженные айсбергами, начали обледеневать в тумане, толстым слоем льда покрывались борта, палуба, агрегаты, пушки. Обкалывали, били из брандспойтов кипятком. Провисали, готовые рухнуть под тяжестью льда антенны, обледенели стекла биноклей. Привязавшись крепкими канатами, с накинутыми капюшонами, люди скалывали смертельный для судна лед, пока обдаваемая брызгами одежда не превращалась в ледяной панцирь, схватывающий человека, как бетон. Тех, кто уже не мог шевелиться, втаскивали в помещение, а на смену шли другие, чтобы продолжать невыносимый бой. А гарпунеры били китов. По добыче этот период оказался лучшим.

И победный рапорт китобоев звучал с трибуны партийного съезда Украины, он был послан съезду КПСС.

Право на эти рапорты китобои получили, закончив рейсовый план задолго до окончания рейса, завоевав первое место в соревновании китобоев страны.

Не было еще такого рейса. Никогда не было такого единодушия, братства, товарищества. Не было такого единения командного и рядового состава, всего коллектива китобоев. С огромной моральной и производственной победой они возвращались домой.

В четыре часа ночи на внешнем рейде Одессы мы беседовали с Борисом Макаровичем Моргуном. Он был озабочен.

— Понимаете,— говорил он,— много у нас недостатков, и как бы не закружилась у людей голова оттого, что справились с заданием.— И он начинал перечислять недостатки, недоделки, которых пока еще хватает. Когда речь заходила о достижениях, он тут же называл людей:

— А-а, это? Это заслуга Борщева. Редкостный человек, большой, настоящий. Когда он проводит партийное собрание, проходишь школу, какой я никогда не видел... А это — заслуга Яроцкого, а это — капитаны, это — жировары...

И даже то хорошее, что сделано только по его инициативе или им самим, он старался свалить на других. И получалось, будто не было на судне капитан-директора, опытного, простого, подлинно советского человека.

Антарктическая китобойная флотилия «Советская Украина», вытянувшись в бесконечную кильватерную колонну, возвращалась в Одессу после семимесячного рейса. Во главе колонны шел охотник за китами «Жаркий» с капитаном Е. Буровым на мостике, занявший первое место в соревновании. За ним двигались китобойцы «Знатный» и «Дивный», ведомые капитанами И. Завьяловым и А. Коротковым.

Величественный и неколебимый волнами, точно плавучий остров, шел вслед флагман «Советская Украина», на ходовом мостике которого стоял капитан-директор Антарктической китобойной флотилии Герой Социалистического Труда Б. Моргун, проведший флотилию через три океана и двенадцать морей, через тропики, Арктику и Антарктику, сквозь двенадцатибалльные штормы и циклоны в районах скопления айсбергов и вечных льдов, флотилию, совершившую путь, равный двум окружностям земного шара.

В полном соответствии с занятым местом в соревновании шли за флагманом более двух десятков китобойных судов.

Приморский бульвар, склоны приморского парка, историческая Потемкинская лестница, улицы и площади, примыкающие к порту, и сам порт заполнили ликующие люди. Женщины и дети были в разноцветных платьях, в руках они держали розы. Эта яркая, цветастая масса шевелилась, переливалась на солнце и издали, с борта «Советской Украины», где мы находились, казалась фантастическим творением природы.

Медленно и торжественно втягивалась флотилия на внутренний рейд. Взрывались в воздухе гирлянды ракет, в приветственном салюте заливались гудки кораблей, стоявших на рейде, гремели оркестры.

Флотилия подходила к причалам Одессы.

У моряков дальнего плавания, какие бы штормы и ураганы они ни перенесли, нет более напряженного состояния, чем в по-

следние сутки перед приходом в родной порт. Люди не могут спать, некурящие закуривают, невозможно сидеть в каютах, и, точно загипнотизированные, моряки молча бродят по палубам. Последние часы перед встречей с родными просто немыслимы: не хватает силы воли ждать.

В такой напряженный момент, когда флагман проходил створ, с подножия маяка, усиленный мегафоном, на весь рейд раздался голос:

— Мужайтесь, китобои! Остались метры...

И вот флагман у причала. По трапу спускается командование флотилии. Розами засыпают моряков пионеры. Горячие объятия, поздравления, митинг, оркестры.

Так закончился двадцатый, юбилейный рейс.

А гарпунные пушки не били потому, что сразу после стрельбы их надо чистить, смазывать, консервировать. Горькая обида охватывает тех, кто это должен делать: они не могут, как все китобои, сбросить рабочую одежду и надеть белые рубашки, не могут прижать к груди своих детей, которые прибегут на палубу.

— Не надо гарпунных залпов,— сказал Моргун,— не надо так много шума.

1964—1965 годы

СЕДЫЕ ВОЛОСЫ

Течет эскалатор с людьми в метро «Маяковская». Среди шляп, кепок, беретов — седые волосы. Короткие, красиво уложенные волнами. Только одна темная прядь, будто брошенная художником.

Раскрываю «Вечерку». Что-то мешает читать. Что-то тревожное. Машинально оборачиваюсь. Женщина с седой прической уже далеко внизу. А мой эскалатор идет вверх. Чуть виден ее профиль. Потом его заслоняет чья-то спина.

Я знаю эту женщину. Я очень хорошо ее знаю. Мне обязательно надо с ней встретиться. Вот только бы вспомнить, кто она. Или хоть бы понять, зачем надо встретиться.

Все смешалось. Только одна отчетливая мысль: догнать во что бы то ни стало.

Медленно тащится эскалатор. Наконец, площадка. Заталкиваю в автомат пятак. Под сводами будто эхо: «Гражданин! Бежать по эскалатору запрещено». Это мне. И как подтверждение: «Гражданин, это к вам относится!» Смотрят люди. Замедляю шаг.

Слева мелькнули красные огоньки удаляющегося последнего вагона. В поезде справа захлопнулись двери, сейчас тронется. Иду по платформе. Мне не хватило минуты. Одной минуты. Спустись я чуть раньше, нашел бы ее обязательно. А теперь поздно. И все-таки смотрю в ярко освещенные окна. Поезд набирает скорость...

Я увидел ее. Она стояла у двери, лицом ко мне. Седые волосы и черная прядь. Красивые серо-голубые глаза. И я вспомнил. Все, что было двадцать пять лет назад...

* * *

Начфин Иван Зорин объявил себя начальником погранзаставы. Никто его на эту должность не назначал, и он не стал спрашивать, согласны ли офицеры и солдаты, чтобы ими командовал начфин, а просто приказал беспрекословно подчиняться ему, поскольку нет времени входить в объяснения. В бинокль люди видели, какая тьма танков идет на них, и понимали, что скоро от заставы ничего не останется.

Только один Зорин не хотел этого понять. Он приказал убрать в помещение тело убитого осколком начальника заставы и носился по всему участку, указывая, кому где занимать оборону.

В конце концов начфин оказался прав. У самой заставы пограничники подбили целую шеренгу танков, а остальные машины стали обходить ее, чтобы не задерживаться. Тогда Зорин приказал бить их с флангов, а потом и с тыла, и постепенно вся

застава превратилась в островок, вернее, в крепость, защищенную со всех сторон подбитыми машинами. Теперь взять ее было нелегко.

За этот первый бой в первый день войны двадцатилетнего Зорина наградили орденом Красного Знамени. Я познакомился с ним год спустя в минно-диверсионном батальоне, где он командовал ротой. На Западном фронте такой батальон был один. Диверсионным его не называли, потому что все привыкли считать, будто диверсант — это враг, и трудно было объяснить людям, что это такая воинская профессия.

Героизм и мужество здесь не воспитывали, поскольку эти качества некому было прививать: людей, не совершивших подвигов, сюда не брали. Весь батальон был сформирован из минеров, показавших непревзойденную храбрость. Иначе было нельзя. Такие задачи стояли перед батальоном. Он находился в лесу, далеко от передовой, но то и дело по ночам группы людей уходили в тыл врага и совершали там диверсии. Не просто диверсии, только бы навредить врагу, а такие, что расстраивали его планы, срывали наступление или отрезали пути его отхода. Совершались диверсии, необходимые в данный момент командованию фронта.

В то время я служил в оперативном отделе штаба инженерных войск Западного фронта и часто бывал у диверсантов. Отчаянные головы! Не все они возвращались с заданий. Но не было случая, чтобы задание оказалось невыполненным.

Каждый минер батальона — это легендарная биография. Меня возмущало, когда на них покрикивала Женя Кочеткова. Найдет в землянке грязный солдатский котелок и поднимет крик на всю часть. Кто она, в конце концов, такая? И как попала в этот батальон героев?

Красивая, стройная девчонка лет двадцати, беззаботная хохотушка. Странным и неуместным было ее пребывание здесь. Слишком много времени уделяла собственной персоне. Сапожки на каблучке, пригнанная по фигуре шинель, тщательно разглаженные гимнастерка и юбка. Числилась она военфельдшером. Снимала на кухне пробу и всегда придиралась к повару. Она успевала просматривать все кинофильмы и в штабе инженерных войск, близ которого стоял батальон, и в соседних частях. А случись где-нибудь праздничный вечер, заставляла играть гармониста чуть ли не всю ночь и танцевала без перерыва.

Поражала ее наивность. Увидит цветную ракету или трассирующие очереди наших зениток и смеется от радости. Чему же радоваться? Ее приводили в восторг огонек, выбивающийся из-под заснеженной землянки, красиво опушенная елочка,— ну, буквально любой пустяк. В гуще кровавых событий находился минно-диверсионный батальон, и не мог я понять, для чего здесь Женя. А главное, какими судьбами она сюда попала?

Постепенно я нашел этому объяснение, и оно не обрадовало. Комиссаром в роте Зорина был капитан Федя Губарев, человек железной логики, непревзойденной храбрости и удивительного спокойствия. Он не только никогда не повышал голоса, но не было случая, чтобы он говорил с раздражением. Командира и комиссара связывала трогательная и крепкая дружба.

Женя Кочеткова, как, впрочем, и все, кто знал Зорина, боготворила его. А к Губареву у нее было особое отношение.

Влечение людей друг к другу скрыть невозможно. Как ни прячут свою школьную любовь, скажем, Петя и Оля, все равно где-то появится надпись: «Петя+Оля=любовь». То же и у взрослых, разве только без этой надписи.

Отношения Жени и Губарева были особыми. Не вызывало сомнений, что в батальон героев она попала благодаря стараниям Губарева, который участвовал в формировании рот. Это был его серьезный просчет. Едва ли он отдавал себе отчет в том, что рано или поздно ей придется идти в тыл врага. Как же намучаются люди, с которыми она пойдет! Я никогда не высказывал Жене подобных мыслей, но видел: она понимает, как я к ней отношусь.

Двадцатая и тридцать первая армии готовились к наступлению. Вдоль линии фронта взад-вперед курсировал немецкий бронепоезд. Рота Зорина получила приказ взорвать железную дорогу, обезвредить бронепоезд. Одну из групп возглавил сам Зорин.

Минеры уже находились близ передовой, в заранее намеченном месте, когда я узнал, что включен в группу Зорина. В группу входили: капитан Зорин, сержант Миронов, я и Женя Кочеткова. Изменить что-либо было поздно.

Миновав наш передний край, мы благополучно спустились в лощину к маленькой «ничейной» Зеваловской переправе. Шла редкая артиллерийская перестрелка. Время от времени где-то раздавались пулеметные очереди. Мела пурга.

Неожиданно я почувствовал глухую боль в ноге выше колена, будто грохнули толстой доской. Густой, тошнотворный туман ударил в голову. Неловко скорчившись, я упал. Несколько секунд слышал, как падали мерзлые комья земли, и потерял сознание.

Когда очнулся, прежде всего увидел Зорина. Он лежал, уткнувшись в снег, с перебитыми кистями рук и большой раной в животе.

— Вот и все, братцы... Я убит.

Это были его последние слова.

Контуженный сержант Миронов стоял в изорванной осколками шинели, широко расставив руки, чуть сгорбившись, будто под дождем, и, бессмысленно улыбаясь, смотрел по сторонам. У меня, кроме ноги, были ранены плечо, пальцы рук, а на двух отбиты фаланги. Мелкие осколки попали в грудь. С Женей ничего не

случилось. Только копотью почему-то покрылось лицо. Она сидела возле меня на снегу.

Потрясенные смертью Зорина, какое-то время мы молчали. Потом Женя стала кричать на сержанта:

— Какого черта стоишь! Накладывай жгут, да побыстрей поворачивайся!

Я знал, что так будет вести себя Женя в трудную минуту.

Контуженный, лишившийся слуха сержант Миронов переступал с ноги на ногу, продолжая бессмысленно озираться.

Как она может! Опять кричит на сержанта, не трогаясь с места. Разве не видно, что он контужен! Она показывает то на свою сумку, валявшуюся в стороне, то на мою развороченную ногу.

— Давай скорее, надо немедленно остановить кровь!

Туман застилает все вокруг... Сержант прилаживает жгут. Женя взялась, наконец, бинтовать пальцы. Медленно, неумело, то и дело морщась, будто ей все это противно.

Голова одурманена, все в тумане. Боли нет, только этот проклятый дурман и белая пелена на глазах.

— Куда жгут кладешь, с ума сошел! Иди ищи кого-нибудь, сама наложу.

Сквозь белую пелену проступает кровавое пятно. Нет, это не в воздухе, это на боку у Жени. На ее пригнанной по фигуре шинели. Пятно расплывается, ширится. Ее правая рука неестественно согнута в локте и в кисти, точно сведена судорогой. Пытается встать, но не может. Только сильнее морщится. Вот, оказывается, почему она морщится.

Падают бомбы на переправу, пикируют бомбардировщики. Ничего больше не видно...

И опять Женя. Она валится на бок. Левой рукой делает из жгута петлю на моей ноге. Цепляется за один конец зубами и тянет... Расплывается по сторонам, растет кровавое пятно, потом исчезает...

Что происходит? Сколько прошло времени? Черное лицо Жени. Локтем недействующей правой руки она упирается в перекрестие жгута на ноге, а левой делает еще одну петлю. Снова цепляется зубами и тянет. Уже не пятно, уже кровавое полотнище. Она останавливала мою кровь, теряя свою. Нет, это не мираж, туман рассеялся. Я видел и запомнил: сведенная судорогой рука, пропитанная кровью пола шинели, черное, в пороховой копоти лицо двадцатилетней красивой Жени.

У меня не было никаких сомнений: на эскалаторе, а потом в вагоне метро на станции «Маяковская» я видел Женю.

Я знал, что после тяжелого ранения у Зеваловской переправы она осталась жива. Спустя месяца два после того случая меня навестил в госпитале Федя Губарев. Он и сообщил, что она тоже в госпитале, в Москве. В ее теле четыре осколка — в животе, в

боку и два в руке. Врачи не решаются их извлекать, но угрозы для жизни нет.

Я рассказал Феде все, что думал о Жене раньше, как стыдно мне перед ней. Сказал также, что доложил командованию о ее самоотверженности, достойной награды, ибо она, бесспорно, жертвовала собой во имя спасения товарища. Еще в полевом госпитале врачи сказали, что участь мою решил вовремя наложенный жгут.

А Федя не удивился поведению Жени. Оказывается, они познакомились в минно-диверсионном батальоне, и к тому, что она попала туда, Федя не имел никакого отношения. Он как комиссар роты знал ее биографию.

Когда началась война, Женя была на первом курсе мединститута. В первый же день войны пошла в военкомат, пробилась на фронт. Участвовала во многих боях, была в окружении. Осенью сорок первого года в момент жестокой схватки перетаскивала раненых через реку. Временами в холодной воде теряла сознание, но каждый раз, когда раненый выскальзывал из рук, непонятная сила приводила ее в чувство. Она достигала берега, карабкалась на глинистый подъем, сдавала раненого и снова перебиралась на поле боя. В ту же ночь была ранена в ногу, сама перевязала ее и никому ничего не сказала. С каждым днем скрывать ранение становилось труднее, и на девятый день командир узнал о нем. Из госпиталя, куда ее положили, она вскоре сбежала и вернулась в свою часть.

В минно-диверсионный батальон ее взяли на общих основаниях: как человека, проверенного боями.

— Она ничего о себе не рассказывала,— закончил Губарев,— вот и считали ее только хохотушкой.

Спустя год на одной из фронтовых дорог, у КПП я увидел Женю.

— Что за растяпа здесь пробку устроил? — кричала она, вылезая из санитарной машины. И вдруг расхохоталась, захлопав в ладоши, глядя, как растянулся в грязи поскользнувшийся солдат. Шинель была тщательно пригнана по фигуре, рантовые сапожки на каблучке, чуть-чуть набекрень пушистая шапка.

Женя торопилась, и разговаривали мы недолго. Прощаясь, я стал благодарить ее за все, что она для меня сделала. Но Женя не стала слушать.

— Меня уже отблагодарили так, что еще отрабатывать эту благодарность надо,— распахнула она шинель, показывая орден Красной Звезды.

Больше я не видел ее.

Те, кто знал Женю, помнят ее веселой, жизнерадостной. Боль и страдания всю войну она прятала в себе. Но боль должна иметь выход. И в сорок пятом году, двадцатичетырехлетней, она стала седой.

* * *

Умчался поезд метро...

Я искал Женю. И вот мы сидим у меня: жизнерадостная, молодая, с удивительно красивой седой прической Женя и только что вышедший в запас полковник Федор Губарев. Первый тост провозгласила Женя за Ивана Зорина.

— До сих пор звучат эти слова,— сказала она.— «Вот и все, братцы... Я убит».

Мы вспоминали боевых друзей из минно-диверсионного батальона и далекие, но незабываемые дни.

Я предложил тост за Женю и Губарева, за их дочь.

— Кстати, почему вы не взяли ее с собой?

— А она у нас вся в маму,— улыбнулся Федя,— на танцы побежала, ей ведь двадцать лет.

1967 год

ЗОЛОТАЯ НИТЬ

Сначала Владимир Миробанов ударил Юлю в комнате кулаком по лицу, потом два раза ножом в спину на лестничном пролете, когда она убегала. Раны получились неглубокими, во-первых, потому, что бить приходилось на ходу, а во-вторых, нож был сапожный и лезвие скользило по касательной. Но все-таки Юля качнулась, и, чтобы она не упала, Миробанов обхватил ее одной рукой за плечи и привалил на себя. Теперь у него появилась возможность бить не куда попало, а с расчетом. И он ударил в грудь. Крик Юли слышали все соседи. На двух этажах распахнулись двери. Выглянули Александра Алимова и ее муж Дмитрий, у которых Миробанов частенько выпивал, выскочила Надежда Сидельникова, раскрылись и другие двери, но тут же захлопнулись. Все знали, что это такое — Миробанов с ножом.

В грудь он ударил тоже неудачно, потому что прижал Юлю близко к себе и неудобно было размахнуться.

Ученица девятого класса 118-й школы Таня Егорушкина с нижнего этажа, выскочившая на крик, видела только этот последний удар. Она тоже знала, кто такой Миробанов, знала, что пощады Юле не будет, поэтому с криком: «Дядя Володя!» — бросилась к нему.

В три прыжка Таня достигла площадки. Особых усилий это от нее не потребовало, потому что она — капитан баскетбольной команды и хорошая спортсменка. На площадке Таня оказалась в тот момент, когда Миробанов занес руку для четвертого удара. Ударить не успел: Таня схватила его у запястья так, что он не мог больше шевельнуть рукой. Дело в том, что перила были высокими. Стоило чуть-чуть прижать его руку вниз — и локоть попадал как раз на перила. Получался рычаг с точкой опоры на локте. И не мудрено, что одной левой рукой Таня не только удержала его правую руку, но и причинила ему нестерпимую боль.

Конечно, пятнадцатилетней девочке броситься на бандита, вооруженного ножом, дело серьезное, но у нее мгновенная реакция и очень точный глаз. При игре в баскетбол ее «держат» не меньше двух спортсменок из команды противника. И когда все устремляются к его кольцу, Таня резко бросается назад, к центру, мяч летит ей вслед, и с центра она точно попадает в кольцо. Не каждый раз, но часто. На лестничной площадке тоже не было гарантий, что она точно схватит запястье, а не напорется на нож. Но она понимала, что промах может быть смертельным не только для Юли.

О том, что произошло тогда на лестнице, в школе № 118 узнали спустя несколько месяцев из Указа о награждении Тани медалью. Сама она никому ничего не рассказала.

Раньше Таня была членом комитета комсомола, председателем совета дружины, теперь — физорг. Ее слушаются не только девчонки, но и мальчишки. Ей можно доверить самые страшные тайны. У Тани приятный голос. Поет на школьных вечерах и просто так, когда идут стайкой на стадион или еще куда-нибудь.

Все это рассказали мне девочки из ее класса и секретарь комитета Надя Звездина. Они говорили, что Таня хорошая. Справедливая, умная, веселая.

Я подумал, может, они только теперь так говорят, потому что Таня совершила подвиг. Сказал им, что это только общие слова, а нужны примеры.

— Ну вот, я приведу пример,— начала одна из моих собеседниц.— В нашем классе одиннадцать мальчиков и двадцать две девочки. Восьмого марта ребята пришли в класс раньше всех и положили в наши парты подарки — книги. А мальчишки у нас жестокие: в трех партах подарков не оказалось. Во многих партах было по одной-две книги, в Таниной — двенадцать. Пока не пришли обиженные, она незаметно для класса положила в их парты почти все свои книги.

— Ничего не вспоминается,— сказала комсорг класса Светлана Сакунцова.— Но если бы мы узнали, что наша ученица бросилась на бандита, в руках которого был нож, и спросили бы нас, кто из девочек способен на такой героизм, все назвали бы только Таню.

— Верно,— сказала Тамара Микулина.

— Правда,— поддержали ее Саша Одинцова и Люда Киреева...

Вскоре после суда Миробанов писал матери Юли — Марии Дмитриевне, пятидесятилетней женщине:

«Манюнька, здравствуй! С приветом к вам твой муж Владимир. Я жив и здоров, чего и вам желаю. Ты пишешь, что соскучилась, а я разве нет? Может, поэтому и худею... Что-то долго вы там с посылкой, ничего не пойму. Маша, посылай три кг сала, один кг сахару, колбаски, папирос, ну и еще там чего-нибудь. Сала побольше, оно не портится. Купи мне портсигар, длинный такой, на пружинке, как у меня был...»

Двадцать три года назад муж Марии Дмитриевны погиб на фронте. На ее руках остались Юля и Люда. Мать вышла замуж за главного бухгалтера из торговой сети Петра Степановича Кудоярова. Как человек здравомыслящий, он понимал, что Юля серьезная, трудолюбивая девочка. Видел, что ей вполне можно доверять нянчить детей. А они появились один за другим — Надя, Виталик, Инесса.

У Марии Дмитриевны не было возможности ухаживать за детьми из-за большой перегрузки по службе. Она работала добросовестно, не считаясь со временем, и, пока не распродаст все пиво, домой не уходила. Случалось, просиживала в пивном ларьке с утра и до позднего вечера. Чтобы облегчить положение

Юли, Мария Дмитриевна посоветовала ей перейти в школу рабочей молодежи, и тогда высвободится день для ухода за маленькими.

Юле было тринадцать лет, а ее соученикам в ШРМ по двадцать пять — тридцать. Ей мерещились веселые подружки, пионерские сборы. Она поддалась этим соблазнительным мыслям и, не спросив разрешения мамы, ушла из ШРМ и вернулась в свой класс.

Мария Дмитриевна была недовольна, но смолчала. И Кудояров не стал упрекать девочку и вообще ни слова ей не сказал. Он написал обстоятельное письмо в райком комсомола, сообщил, что Юля ведет себя не по-комсомольски, не желает помогать семье, а эгоистично печется только о себе и своей личной выгоде и вообще растет барчуком.

На следующий день Юля пошла в школу рабочей молодежи. Проучилась месяца три, когда в доме случилась беда. У Петра Степановича оказался туберкулез в открытой форме. Его перевели на инвалидность.

Мария Дмитриевна поместила мужа в отдельную комнату, выделила для него посуду, полотенца, постельное белье и запретила детям находиться там. Поскольку она работала в пивном буфете, то есть в системе общественного питания, естественно, не могла ухаживать за человеком, у которого открытая форма туберкулеза. Поэтому решила, что лучше всего, если Юля бросит школу.

Не закончив восьмого класса, она оставила школу и занялась больным, как велела мама. Чтобы не подвергать младших детей риску заразиться туберкулезом, решили освободить Юлю от ухода за ними, тем более что им уже вполне могла помогать Люда.

Петр Степанович целыми днями лежал, выходя лишь за водкой. Юля убирала за ним, мыла горячей водой пол, стирала в хлорке тряпки, чистила посуду, делала все, как учила мама.

Месяцы шли. Мария Дмитриевна понимала, что у девочки остается много свободного времени. А ведь ей уже почти шестнадцать, могла бы и сама догадаться чем-нибудь помогать семье. Недовольства Мария Дмитриевна не высказывала. Возможно, лишь поделилась своими мыслями с мужем, а может быть, подобные мысли самому ему пришли в голову, но он молчать не стал. Заявил Юле: коль скоро она не учится, вполне могла бы поступить на работу, а не сидеть на его шее.

Юля отправилась искать работу. Куда идти, к кому обратиться — не знала. Ходила изо дня в день, а когда прибегала домой, чтобы убрать за Петром Степановичем и покормить его, он спрашивал:

— Ну что, устроилась? Или опять скажешь: не берут?

Мария Дмитриевна, не в пример мужу, не ругала Юлю и ни в чем не упрекала. Если случалось, он при ней говорил Юле:

«Все находят работу, одна ты не можешь»,— Мария Дмитриевна не поддерживала его, а уходила в другую комнату. Больше того, сама решила помочь дочери и устроила ее в цех сухого порошка на горчично-маслобойный завод, где раньше работала буфетчицей.

С непривычки Юля сильно уставала, ее мутило, но постепенно освоилась и уже спустя год ко всему привыкла. Она гордилась тем, что раз в две недели получала зарплату, и это были ее собственные деньги, которые она приносила маме.

Время шло, и однажды Юля узнала о наборе учеников на канатном заводе. Она отправилась туда не задумываясь: там нет горчичной пыли, к которой, оказывается, привыкнуть нельзя.

Ее согласились принять, но медицинская комиссия обнаружила затемнение в легких. Юлю взял на учет туберкулезный диспансер. Она вернулась на свой завод. За год ее вылечили. Вскоре Петр Степанович умер, и уже не было риска заразиться.

К этому времени Мария Дмитриевна познакомилась с Владимиром Решетниковым, человеком веселым и жизнерадостным. Ей стало ясно, что Владимир может скрасить жизнь, тем более что он был одиноким. Жену с ребенком Решетников оставил на Кубани, а со второй развелся. Вернее, разводиться им не надо было, так как, не оформив брака с первой женой, он не мог расписываться со второй. Они просто поделили комнаты: одна — ему, вторая — ей и их двум детям.

Решетников видел, что и Маша скрасит его жизнь: на алименты удерживали много денег, а в ее буфете на берегу Волги в любое время можно было хорошо выпить и закусить.

Спустя полгода он вызвал с Кубани свою первую жену и ребенка. В те дни, когда случались ссоры, он переходил в соседнюю комнату ко второй жене и, если та начинала его упрекать, говорил, что плевать хотел на них обеих, и отправлялся к Марии Дмитриевне.

Потом Решетников перестал приходить. Мария Дмитриевна нервничала. Решила однажды сама к нему пойти.

С тревогой и нетерпением Юля ждала ее возвращения. Вернулась Мария Дмитриевна скоро. Заливаясь слезами, рассказала дочери, как опозорил ее этот негодяй. Он разразился столь чудовищной руганью, обзывал такими словами, что повыскакивали соседи, и она бежала назад, как сквозь строй позора.

Юля успокаивала маму как могла, хотя на глазах у самой были слезы, и, прижимаясь к ней, гладила ее волосы. Может быть, в первый раз за долгие годы ощутила она и сама материнское тепло.

В дверь позвонили. Юля пошла открывать. Перед ней стоял улыбающийся Решетников.

— Вон отсюда! — закричала она.— Духу вашего чтобы здесь не было!

И тут же услышала торопливый голос матери:

— Володя, Володя... Ты с ума сошла!

Мария Дмитриевна рванула Юлю в сторону, а та, захлебнувшись воздухом от слов матери, захлопнула дверь, из-за которой донеслось: «Я жду, Маша».

— Не пущу! — зарыдала Юля, раскинув руки.

Мать наотмашь ударила по незащищенному лицу дочери, еще раз и еще, пока не сжалась Юля в комок. Мать снова рванула ее в сторону от двери, но Юля успела ухватиться за ручку. Она упиралась в дверную раму, цепляясь за что попало, захлебываясь в рыданиях, кричала: «Не пущу! Не пущу! Не пущу!» — и вдруг обмякла, перестала сопротивляться и, глядя куда-то, точно лунатик, пошла в комнату.

Спустя три дня Мария Дмитриевна сказала дочери, что встретила наконец настоящего человека — Владимира Федоровича Миробанова, которого горячо полюбила, что он, в свою очередь, хотя и моложе ее на одиннадцать лет, тоже полюбил и завтра у них свадьба, после которой он останется здесь жить.

На мой вопрос о том, как произошел этот крутой поворот в жизни Марии Дмитриевны, она ответила обстоятельно:

— Я не люблю всякое такое. Так и сказала Володьке Решетникову: «Или иди к жене, или переходи ко мне, иначе я несогласная». А он мне на это отвечает: «Понимаешь, Маша, я-то хочу к ней, но за ней какой-то хлюст стал ходить. Давай подождем немного: если она отошьет его, я к ней вернусь, а если они поженятся, вот тебе мое слово — будем жить с тобой».

Эти слова показались мне обидными,— продолжала Мария Дмитриевна,— и я высказала их своей судомойке Вале, которая меня с ним познакомила. А она говорит: «Плюнь ты,— говорит,— на него, Маша, я тебя с настоящим человеком сведу». Я ее с работы отпустила, сама стала кружки мыть, она его и привела.

Посмотрела на Володьку — ну, на Миробанова — и подумала: жизнь наша ничего с ним сложится. Жить у него после заключения негде, скитается по баракам, потому не работает. А у меня, сами видите, квартира большая, три комнаты. Куда, думаю, он от меня пойдет. Устроится на работу, и будем жить.

Я спросил, долго ли Миробанов находился в заключении и за что.

— За всякое,— неопределенно ответила она.— Года три отбывал. Первый раз два месяца отсидел. Ему железнодорожный трибунал в сорок пятом пять лет дал, а тут аккурат амнистия по случаю победы. Второй раз опять трибунал, шесть лет определили в сорок седьмом. Девять месяцев тогда отсидел, не помню уж, по какому празднику опять отпустили. Потом обратно пять лет дали и обратно в пятьдесят третьем большая амнистия, всех тогда выпускали. В четвертый раз никаких амнистий не было. Два года дали, два и отсидел. Теперь вот семь лет... Тоже только на амнистию надежда...

С приходом Миробанова жизнь в доме изменилась. Появился

мужчина и глава семьи. Пил вволю, нещадно бил Марию Дмитриевну, изъяснялся матом.

В этой своей жизни он время от времени устраивал перерывы для работы. Бывало, на одном месте до трех месяцев удерживался, но зарплату получал не больше чем за месяц, ввиду того что за прогулы не платили. Когда в проходной «горчичника» задержали с ворованным маслом, ушел «по собственному». Перенервничал он в то время — думал, судить будут. После такого полгода пришлось отдыхать.

Пил Миробанов каждый день, и каждый день гудели стены от скандалов. Когда ему все это надоедало, он уходил к отцу, старому пенсионеру Федору Мироновичу, который жил где-то в бараке, был популярен, и всегда у него собирался народ. Кто полтинник раздобудет, кто две-три пустые бутылки — смотришь, на поллитровку собрали. И никто не мог так справедливо разделить ее, как это делал Федор Миронович. Двадцать копеек принес — получай тридцать пять граммов; три пустые бутылки раздобыл — шестьдесят три грамма. И никто не в обиде.

Мария Дмитриевна не все прощала Миробанову. Несколько раз подавала в милицию, чтобы выселили его. Старший оперуполномоченный Н. Свиридов одобрял ее действия, обещал «в два счета» выслать. Но сердце не камень. Марии Дмитриевне становилось жаль человека, она снова шла в милицию, признавалась, что во всем виновата сама, возвела напраслину, и писала: «Прошу считать мое заявление недействительным».

Так и жили. Юля работала на канатном заводе волочильщицей в бригаде коммунистического труда. Странно звучат сегодня слова «волочильщица», «волочительный стан». А на стане этом Юля «волочила» до трехсот пятидесяти километров стальной латунированной проволоки в смену, вырабатывая сто пятьдесят процентов плана.

Бушует всю ночь за стеной Юли скандал, а утром она идет на работу. Бежит золотая нить толщиной пятнадцать сотых миллиметра. Бегут на шпуле один рядок за другим, бегут мысли, горькие, безысходные. Бежит нить через восемнадцать алмазных волоков, все утончаясь, и лопнет вдруг. И обрываются мысли. На специальном станочке Юля проворно сварит кончики, и снова бежит золотая нить. И мысли, точно кто сварил их, опять к тому же, и некуда от них деться.

Юля снимает полные шпули, ставит новые, переходит ко второму стану, поглядывает на соседние, где работают ее подруги по бригаде Валя Жукова и Валя Харламова. Это передовая бригада коллективной ответственности. Пока одна заправляет стан — дело кропотливое, требующее сноровки и силы,— за вторым ее станом следят подруги. Не ладится у Юли — помогут обе Вали.

Помогут? Здесь-то помогут, а дома? Ничего они не знают о том, что у Юли дома. А спросят, почему грустная, улыбнется

и ничего не скажет. Только следит потом за собой, чтобы чаще улыбаться. А золотая нить бежит, бежит... Где-то она оборвется?

Однажды с утра выпил хорошо Миробанов и собирался вместе с Марией Дмитриевной в родильный дом навестить Люду. По дороге он сказал, что, пожалуй, выпил больше нормы и лучше вернуться ему домой. Она согласилась.

— Потом думаю,— рассказывала мне Мария Дмитриевна,— не домой пошел. К отцу. Вернулась я, подхожу к бараку, а Володька только-только вошел. Ну тут уж я ему спуску не дала, потащила назад. Идет и злится, скандал затевает. А дома вовсю разошелся. Бросилась к Борису — сосед это наш, Володька слушается его. Борис было пошел, а жена не пустила. Подальше, говорит, от греха. Вернулась я как раз, когда ударил он Юлю. Я опять назад, за милицией.

Юля выбежала вслед за матерью. Миробанов схватил сапожный нож. На лестничном пролете догнал. О том, что там произошло, уже рассказано.

Все раны, нанесенные Юле, были неглубокими. Пока шло следствие, ее успели выписать из больницы и перевести на амбулаторное лечение. Юля видела, как страдает мама. И послушалась ее: пошла в суд, попросила, чтобы прекратили дело.

Восьмого марта я предложил Юле и ее знакомому Эдику провести праздничный вечер в ресторане. Сначала она отказалась наотрез, но потом согласилась.

Это был большой сверкающий зал. Он вовсе не походил на ресторанный зал. Оригинально расставленные столы, улыбающиеся официантки в нарядных платьях — вся обстановка создавала несовместимые, казалось, ощущения: подлинного, чуть ли не семейного уюта и большого бала.

Шикарно одетая танцующая публика, веселый джаз, смех, пробки шампанского — все это приводило Юлю в восторг. Она улыбалась. Совсем не смущаясь, как бы самой себе сказала:

— Я первый раз в жизни в ресторане,— и немного грустно добавила: — А ведь мне скоро двадцать девять.

Когда заиграл джаз, я предложил Юле и Эдику потанцевать.

— Нет, нет,— торопливо сказала она, пряча под стул ноги. И я понял, что поступил опрометчиво, даже бестактно. И вспомнил разговор, который происходил в тот же день.

Я спросил тогда Марию Дмитриевну, как строится их бюджет. Она ответила, что Надя отдает ей всю зарплату, семья Люды — шестьдесят рублей в месяц, а Юля пятьдесят. Мне показалось это несправедливым.

— А зарабатывает она сто рублей,— возразила Мария Дмитриевна,— пятьдесят у нее остается.

— Нет,— устало заметила Юля.— Ты ведь знаешь, мама, для себя ни копейки не остается. То Виталику штаны надо, то собирается долг за квартиру, мебель взяли в кредит, выплачиваю. Ну а на обед пятьдесят копеек, верно, ты даешь.

Мария Дмитриевна молчала. Может быть, думала, что слишком дорого обходится ей Миробанов.

Я уже давно собирался с ним поговорить в том месте, где он находится, да никак не получалось. В первый раз приехал, а он — в кино. Картина только началась. Люди свободные поступают, как хотят. А он — в колонии строгого режима, хочешь не хочешь — два раза в месяц художественный фильм. И школу тут не бросишь, как это сделала Надя. Образование обязательно. Окончил школу, получай аттестат зрелости. Тогда обязательным останется только профтехобразование.

Это положено по закону. Матерые преступники, сидящие в колонии строгого режима, знают, как получить дополнительные льготы. Например, Миробанову первая передача положена через три с половиной года, то есть по истечении половины срока заключения. А он месяца за три получил уже три посылки. В своих письмах сообщил три способа передачи посылок. Чтобы не распространять его богатый опыт, не стану их описывать. Но способы надежнейшие.

За день до моего отъезда я сказал Марии Дмитриевне все, что о ней думаю. Сказал, что она жестокий человек, что именно так и напишу о ней, процитирую письма Миробанова.

— Ну что ж,— ухмыльнулась она,— пишите, почитаем. А жить все равно буду как хочу.

На следующий день, когда я собирал вещи, пришла Юля. Я видел, сколько усилий прилагала она, чтобы сдержать слезы, но расплакалась. Просила не писать о маме. Жалко маму.

— Это она вас послала?

— Нет, нет,— заторопилась Юля.— Я сама. И Надя просит.

— Как же не писать? Знать о несправедливости, жестокости, садизме и молчать. Как же это?

Юля задумалась, перестала плакать, только всхлипывала.

— Ну хоть фамилии не пишите.

Я дал слово, что фамилии не напишу. Фамилии ее отца, погибшего на фронте. Поэтому называю Юлю только по имени.

1964 год

ЖИЛ-БЫЛ СОЛДАТ

В эту ночь все было не так.

— Ты куда, Александрыч? — спросила Елизавета Федоровна мужа, когда в первом часу он стал одеваться.

— Пойду,— ответил Сергей Александрович.

Надел валенки, короткий полушубок, взял в сенях лыжи и вышел. Она заперла за ним дверь, легла, прислушиваясь, как спит сын.

Иван спал тяжело и что-то бормотал.

Мать видела, что ему не по себе, надо бы разбудить, может, просто неудобно лежит. С такими мыслями она и задремала. Как же теперь верить в предчувствия? Будь они на самом деле, она ни за что не заснула бы в эту ночь. Она разбудила бы Ивана и послала бы к пограничникам, а сама побежала бы в деревню поднимать людей. А она вот заснула.

Лес шумел от ветра и потому, что он всегда шумит, когда даже нет ветра. Это не мешает спать людям, привыкшим жить в лесу. А Тузик, который иногда по ночам лает, ушел вместе со своим хозяином.

Тузик — маленькая мохнатая рыжая дворняжка. Но Александрыч не сменял бы ее на самого породистого пса, потому что Тузик хорошо понимает, что к чему.

Александрыч шел на лыжах. Тузик бежал впереди. Было темно. Тропки замело, и Тузик злился оттого, что не знал, куда идет хозяин. Но Сергею Александровичу тропки ни к чему. Он знал, что в этом лесу, где уже двадцать лет служит обходчиком, заблудиться нельзя. Это не город, там сам черт не разберется, куда идти. Тут совсем другое дело. Каждое дерево точно скажет ему, где он находится. А деревьев здесь тысячи и тысячи, и нет одинаковых, все разные, так что заблудиться невозможно. Лес тянется и туда, на чужую сторону, а километрах в двадцати от его дома плотно прикрывает большой военный объект.

Люди, которые там служат, от самых больших начальников до тех, кто лежит в «секретах», знают его. Он им всегда помогает. Они с уважением пожимают его руку при встречах и иначе как Александрыч не называют. Сейчас он шел по направлению к ним. Решил идти туда потому, что выдалась плохая ночь. Всякое в такую ночь может случиться.

В лесу стоял гул. От мороза трещали сосны. Ветер срывал снег с деревьев и гнал снежинки в разные стороны. Они кружились, потом их выносило наверх, и можно было подумать, будто лес не принимает их. На небе тоже неизвестно что происходило. Облака казались черными, и они летели без конца и не давали луне светить. Изредка ее лучи прорывались, и тогда лес освещался.

Километрах в трех от дома Тузик залаял. Это было плохо. Зря он не станет лаять. Даже на зверя не поднимет голос. Он по-другому даст понять, что поблизости зверь.

Обходчик заставил его замолчать, но собака вела себя странно. Много раз Тузик обнаруживал в лесу незнакомых людей: то ли грибы собирают, то ли придут лыжники, и по поведению собаки всегда можно было определить, в какой стороне чужие. А теперь Тузик прыгал в разные стороны, и ничего нельзя было понять.

Обходчик остановился. Выглянула луна и исчезла. Но он успел увидеть что-то непривычное для глаза. Поначалу показалось, будто это ствол сломанного дерева. Но дерево тут не росло. А теперь вот откуда-то ствол. Потом опять проплыла луна, и он понял: стоит человек.

Стоит молча. Дожидается его.

Ветер утих сразу, будто выключили рубильник машины, которая приводила в движение всю эту пургу.

Он увидел, что несколько стволов стали вдруг толще. Это из-за дерева выдвинулись люди. Они молчали.

Под тяжестью снега верхушки берез наклонились к земле, образовав серебряные арки, а прямые и гордые ели тянулись к небу. Будто ничего не случилось, светила луна. Молчал заколдованный лес. Молча стояли люди.

Первым не выдержал Тузик. Он тявкнул, хотя из-за трусости не бросился на чужих, а стоял у ног своего хозяина.

Очень тихо и властно Александрыч сказал: «Домой!» Тузик прижался животом к снегу, пополз, исчез.

Черные силуэты отделились от деревьев и застыли. Обходчику стало невмоготу. Он не знал, что делать. Но тут раздался голос:

— Почему же остановился?

Голос показался знакомым, хотя Александрыч и не понял, кто же это такой. И вместо ответа сказал:

— Кто вы такие и что здесь делаете?

— Подходи, расскажем,— ответил тот же голос.

И опять Александрыч подумал, что знает этого человека. Посто перепуталось все в голове и не может вспомнить. Не то чтобы случайно слышал. Нет, слышал его много раз и совсем хорошо знает этого человека... Фу ты, черт, можно же так... Но тут мысли его перескочили на другое. Он подумал, что самое главное теперь — выиграть время. Четверо, стоявшие с боков, немного продвинулись, а двое остались впереди. Фактически он был окружен. Вступать в драку трудно. Троих, может, он и одолел бы, а их шестеро... Убежать — тоже не убежишь: все на лыжах, да и оружие у них наверняка есть. Значит, надо хитростью. Надо тянуть время. Может, подоспеет помощь.

Он сделал несколько шагов вперед, и те, кто стоял вокруг него, тоже шагнули и оказались совсем близко. Луна осветила лица. Александрыч увидел: пять человек чужие, с той сто-

роны леса, а шестого узнал — Фома Сузи из соседней деревни.

Обходчик решил не подавать виду, что узнал Фому. Иначе убьют. Он сказал:

— Ну, вот я подошел.

— Куда перенесли пост? — спросил Фома и растолковал, какой именно пост имеет в виду.

Обходчик хорошо знал эту наблюдательную воинскую вышку и знал, чем ее заменили. Он не подумал о том, как им отвечать. Он думал только о том, как бы оттянуть время, хотел проверить: понял Фома, что его узнали, или нет? Он сказал:

— Как же я могу отвечать на такой вопрос, если я вас не знаю? Может, вы ревизоры. Эдак и службы не долго лишиться.

Он сказал эти слова и был доволен, что говорил так длинно и основательно.

— Не знаешь? — усомнился Фома.

— Нет, в темноте не разберу.

— А я подсвечу.

Обходчик заметил, как у стоявшего справа блеснул нож. Должно быть, такой у них был условный сигнал, потому что ножи сразу появились у остальных. Они не прятали их от Александрыча, а держали открыто и повертывали в руках, чтобы он лучше видел блестящие лезвия.

— Я подсвечу,— еще раз сказал Фома и, шагнув к обходчику, ударил его кулаком по лицу. Кулак у него был как гиря, но обходчик не упал. Он только крякнул, и у него вырвалось:

— Ах ты, гадина!

Вместо того чтобы терпеть и снова тянуть время, он двинул Фому в подбородок. Все это произошло так быстро, что никто и пошевелиться не успел.

Кулак у него похлестче, чем у Фомы, и тот качнулся, но тоже не упал, успел ухватиться за дерево. А кто-то сбоку ударил Александрыча ножом в лицо. И каждый из них ударил его по одному разу ножом и тоже в лицо. Оно залилось кровью. Но в глаза все-таки не попали, и он успел заметить, что Фома уже оправился и в руках его сверкнул револьвер.

К этому времени, совсем выбившись из сил, Тузик прибежал домой, забил лапами в дверь и заскулил. Мать и сын вскочили с постели. Поняли: несчастье Открыли дверь, Тузик метнулся по комнате и бросился к выходу. Он скулил, лаял, и совсем человеческие его глаза смотрели то на Ивана, то на хозяйку.

— Скорее, Ванюша, скорее,— запричитала мать.

Но Иван и без того торопился. Сунув босые ноги в валенки, вскочил на лыжи и помчался, на ходу надевая варежки. Тузик бежал впереди, часто оборачивался и подвывал, торопя Ивана.

Глупый Тузик! Он радовался, будто не шестнадцатилетнего парня вел на подмогу, а целый отряд. Он выполнил приказ, выполнил свой долг.

Еще издали Иван увидел черное пятно на снегу. Он понял:

отец. Рванулся к нему. Уткнувшись лицом в снег, лежит распластанное тело. Машинально оттолкнул лыжи, подошел, опустился на колени. Вокруг головы черный подтаявший снег. Кровь! Приподнял голову и закричал. Не просто вскрикнул от испуга человек. Он кричал изо всех сил, не переставая, будто видел, как рвут лицо отца, и этот крик несся по холодному и безмолвному лесу.

И, будто сжалившись над сыном, слабо застонал Александрыч. Иван обхватил отца за плечи, поддерживая голову, приподнял немного, привалил на себя.

— Фома Сузи... убил меня,— выдавил Александрыч и захлебнулся кровью.

Опустив отца, Иван выхватил из кармана тонкую веревку, связал салазками свои лыжи, сбросил ватник и соорудил подголовник. Втащил на салазки отца, потянул за поводок и побежал. Не домой, а в противоположную сторону, к леснику. Он бежал, дыша открытым ртом, в нижней расстегнутой рубахе навыпуск, без шапки и варежек, которые неизвестно куда делись. Бежал, спотыкаясь о скрытые под снегом бугры и хворост, путаясь в собственных валенках. Бежал, пока не загнал себя, пока не рухнул, как камень. Поднялся, бросил взгляд на безжизненное тело отца, крикнул Тузику: «Сиди»,— и побежал один.

Лесник спит чутко. Вскочил, едва хлопнула калитка. Выслушав задыхавшегося Ивана, дал ему тулуп и шапку, быстро запряг лошадь.

Пробраться на санях к месту, где лежал обходчик, было нельзя. Мешали деревья. Подняли тело на лыжах, как на носилках, и отнесли в сани.

— Живой! — сказал лесник, берясь за вожжи.

Лошадь была сытая, резвая, гнали вдвоем и меньше чем через час остановились у воинской части. Отца отнесли в госпиталь, а Ивана повели к начальнику.

— Знаешь, где живет этот Фома? — спросил тот, выслушав парня.

— Знаю.

Вырвались из ворот пятнадцать всадников и понеслись, взметая снежный вихрь. Едва успевал за ними Иван на горячем коне. Вздыбили лошадей у темного, точно вымершего дома Фомы. Добротный, не по-деревенски глухой забор. Заперты тяжелые ворота. Заперта резная калитка.

Постучались. Никого.

Встав на седла, перемахнули через забор два бойца. Упал засов, распахнулись ворота. В окнах зажегся слабый свет. Накинув тулуп, вышел на крыльцо старик.

— Где сын?

— Не знаю.

— Обыскать.

Фомы в доме не оказалось.

— Обыскать подвал, сарай, коровник, конюшню.

Нигде нет.

— Прощупать штыками сеновал.

Яркий свет ударил в углы. Медленно погружались штыки в сено, пока не раздался глухой стон. Весь всклокоченный, вылез Фома.

— Где остальные?

Молчит Фома.

Иван смотрит на него, смотрит на клинок стоящего рядом бойца. Случайно командир перехватывает этот взгляд, кладет руку на плечо Ивана:

— Пойди в дом погрейся. Там два бойца остались.

Иван пошел. Может, он забыл, куда надо идти, может, подумал, что мать одна и ничего еще не знает, а может, просто, ни о чем не думая, вышел из ворот и побрел в лес. Только возле дома мелькнула мысль: что же сказать матери? И, ничего не придумав, вошел и рассказал всю правду, все, как есть.

Военные врачи не дали Александрычу умереть. Четыре месяца боролись за его жизнь, и выжил человек. Уходя из госпиталя, благодарил их за то, что спасли его. Но главный хирург сказал:

— Организм у вас железный, товарищ Александров, вот что.

— Это верно,— ответил он,— в лесах русских, на хвое настоянный.

И снова ходил по родным лесам обходчик, не расставаясь теперь с винтовкой. И в огромном лесу ни один новый след не оставался им не замеченным, и не раз помогал он властям, и пуще, чем пограничников, боялась погань из нерусского леса человека со шрамами на лице.

Шли годы. Иван женился. Стал шофером и водителем мотовоза.

* * *

На трещину никто не обратил внимания. К вечеру она раздалась, расширилась и черной пропастью легла поперек ледовой Дороги жизни осажденного Ленинграда. Ночью ударил мороз. Тонкой пленкой затянуло трещину. Замело поземкой.

Из темноты показались желтые щелочки фар. Идет тяжелый грузовик с мукой. За рулем солдат Иван Александров. Он смотрит на дорогу, на бесконечную пунктирную полоску тусклых огоньков, показывающих трассу. Он смотрит, и что-то мешает ему. Трет чистое ветровое стекло, но все сильнее застилает глаза. Иван не сознает, что это слезы...

Машина идет медленно, но идет. И все ближе и ближе прорубь. Ни в какие бинокли не разглядеть ее теперь, никакими прожекторами не высветлить. Замело, занесло ее и сровняло со всей трассой.

Идет машина к своей гибели! Ничего не знает солдат за рулем. Плачет. Немцы казнили Машу. Нет больше Маши на свете... Что сказал ей, когда уходил на фронт? «Береги сына»,— сказал. А о ней забыл. Всякий солдат наказывает беречь сына. Что же про жен никто не скажет? Эх, жены солдатские! Все снесут, все стерпят, все в сердце спрячут. Разве не знает она, что надо беречь сына! Разве не отдаст ему последние крохи! Разве не прикроет своим телом! Береги сына!..

Теперь поздно. Теперь ничего ей не скажешь. Не услышит. Может, похоронили люди, а может, коршуны растерзали тело, раздавила вражья подкова...

Береги сына... Сберегла. Где, по каким дорогам, по каким углам скитается малыш? Где искать его? А может, у немцев? Нет. «Сына люди взяли»,— сказано в письме. Про фашистов так не скажут. А люди сберегут. Кончится война, найдет сына солдат.

Стелется морозный туман. Свистит ветер, метет поземка. Ближе, ближе, ближе... Накатили передние колеса на тонкую ледяную корку, провалились. Обожгло тело... Только волна хлестнула по краям воронки да вынырнули обломки льда.

Кто же теперь будет искать твоего сына, солдат?

...Нелегко он дался Ивану. Мечтал Иван о сыне. Машу не успели отвезти в родильный дом. Начались схватки, а через час она родила. Когда пришел с работы и, переступив порог, увидел бледное лицо Маши и комочек в одеяльце под ее рукой, и она прошептала: «Сын»,— счастье разлилось по его телу, и он опустился на лавку там, где стоял.

— Да ты подойди, Иван! — сказала Маша.

Он поднялся и молча вышел. Снял рубашку и долго отмывал свои шоферские руки, лицо и грудь. Потом переоделся во все чистое, трепетно поднял крохотное тельце и долго смотрел на сына.

— Весь в деда,— сказал наконец.

Может, и не был похож ребенок на Александрыча, может, еще и не определить, на кого он похож, но Иван поверил: весь в деда.

И дал ему гордое имя Эйно. Почему Эйно?

Иван объяснял всем. В воинской части, прилегающей к лесу, в котором он родился и вырос, был комиссар — носил он три ромба — и не было героя больше, чем этот комиссар. Давно, когда тайно везли Ленина на паровозе в Финляндию, этот комиссар сидел в первом вагоне с двумя револьверами и гранатами. Случись что, он поднял бы такое, что все силы на себя оттянул бы. Он охранял Ленина, когда ехали обратно. Ленина охранял в Питере. Партия ему доверила это. И Ленин верил ему. И вот этот человек стал комиссаром и пожимал руку Ивана той самой рукой, которую жал Ленин. И имя этого человека Эйно. Эйно Рахья. В честь его и назвал сына Иван.

...Вскоре после родов Маша тяжело заболела. Иван пеленал сына, сам ходил за молоком, сам кормил его. Ночами не спал, укачивая Эйно, когда он плакал. И потом, спустя много времени, когда выздоровела Маша и сама стала ходить за сыном, все равно спрашивала Ивана, отчего вот тут пятнышко и можно ли кормить вот этой кашей. Иван сурово смотрел на пятнышко и говорил, что это просто отлежал парень, и, мешая ложкой, смотрел на кашу и говорил, что такой кашей кормить можно.

И в благодарность Ивану первое слово, которое сказал сын, было «папа».

...Машина Ивана шла первой. Далеко за ней двигалась вторая, третья, четвертая... Вся колонна. Шли с большими интервалами, только бы не упустить из виду товарища. С кабин были сняты дверцы. Таков приказ. Если провалится машина в воронку от бомбы или в трещину, водителю легче будет выскочить. И не уследил шофер второй машины, куда делась головная. Как в воду канула. А может, и впрямь в воду? Остановился, побежал и замер. Увидел карабкающегося по льдине Ивана.

Под счастливой звездой родился Иван... Обгоняла колонну легковая машина. Закутали его в огромные полушубки, и рванула легковушка в сторону от трассы, в ледяной домик, в санчасть. Растирали спиртом и мазями, поднесли кружку:

— Так пьете или разводите?

— Внутри само разведется.

И еще дважды тонул в Ладоге Иван Александров и не утонул. И замерзал Иван в пургу в восьми километрах от трассы, сбившись с пути, и не замерз: нашли самолеты. И косили Ивана пулеметами, били в него бомбами, да не достали. И стиснули его немцы в окружении, да разорвал кольцо гранатами. Так должна же где-то смерть настигнуть Ивана?!

Когда прошел последний рейс по тающей Ладоге и провел свою машину до подножек в воде на место, как лучшего водителя взяли его в танковые войска. Подучили немного, и повел Иван свой танк в бой.

Бой был страшный. Всю ночь шел бой. Отбивались от врага. Шесть машин осталось на поле. А танк Ивана разворотило: взорвался боезапас. Утром унесли труп командира машины лейтенанта Юдина.

— Еще живой,— показал санитар на тело Ивана.

Четыре дня Иван не приходил в сознание. Сестра вытирала ему марлей рот, когда он раскрыл глаза.

Он потерял слух и голос. Пять месяцев лежал то на одном боку, то на другом: всю спину исполосовали хирурги. И выжил Иван. И слух и голос вернули ему. И опять пошел на фронт солдат. Теперь — в авиацию, возить бомбы к самолетам.

Всю свою злость изливал в работе. А нежность скапливалась. Некуда было ей деваться. И прорвалась она, когда сыну исполнилось шесть лет. Во все города рассылал письма, искал его. Только

затерялся след Эйно. Поздравить бы сына с днем рождения, да куда писать? А нежность распирала его и вылилась стихами. Забившись в уголок землянки, Иван писал:

Здравствуй, сын ты мой родной,
Здравствуй, мальчик дорогой!
Добрый день, добрый час.
Что ты делаешь сейчас?
Ты, наверно, моя крошка,
Папу ждешь, глядя в окошко,
Ну, а папа для сынишки
Написал это письмишко.
Ну, так вот, дела бросай
И письмо мое читай.

Не забыл ли ты, мой сыник,
Ты ж сегодня именинник.
Вот еще чуть подрастешь,
В школу ты ходить начнешь,
Много ты поймешь, Эйночек:
Почему растет цветочек,
Где какие города
И куда бежит вода,
Как устроены машины,
И зачем у них пружины,
Почему летают птицы,
А кроты живут в землице.

Будешь хорошо учиться,
Только надо не лениться,
А когда пройдут года,
Взрослым станешь ты тогда,
Я уж буду совсем стареньким.
Купишь мне на зиму валенки.
А пока что, моя лапка,
Будь здоров, целую. Папка.
Ты поверь мне, все равно
Я не брошу, я найду тебя, Эйно.

Перечитав стихи, солдат улыбнулся, тяжело вздохнул, сложил треугольником и написал адрес: «Моему сыну Эйно», достал свой вещевой мешок и спрятал на самое дно.

И снова шел Иван по дорогам войны, по чужой земле, и стояло перед ним видение: лицо отца, каким оно было в ту страшную зимнюю ночь, и вся в соломе голова Фомы. И стояло перед ним это видение, когда появилась на груди медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За освобождение Варшавы», и медаль «За взятие Берлина».

...Остановил свою машину Иван возле поверженного рейхстага, зубилом вырубил на нем свое имя и отправился в обратный путь.

Демобилизовался Иван Сергеевич Александров в январе 1946 года. Приехал в Ленинград, обосновался здесь и начал искать сына. И нашел. Через семнадцать лет.

1961 год

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

Командир отделения Шмаков сказал:

— К деревне подойдем со стороны леса. Там он нас не достанет. Только одна полянка под огнем. Перебегать будем по одному: я — первым, Григорий Бродягин — последним.

Шмаков бежал зигзагами, время от времени припадая к земле, пока не достиг опушки на противоположной стороне.

— Ну, пошел! — дружески хлопнул Гриша по плечу очередного бойца, и тот ринулся на поляну, точно десантник с самолета.

Один за другим солдаты проносились сквозь огонь. Настал черед Гриши. Он бежал к заранее облюбованной толстой осине. Оттуда до опушки рукой подать. В двух метрах от осины его ударили ломом по голове. Такое было у него ощущение, когда он падал.

Очнулся Гриша в полной тишине. Никто не стрелял. Будто сквозь сон, услышал чей-то крик из лесу:

— Куда несешь, здесь раненые! Убитых давай в одно место, где лежит Бродягин!

Пошевелиться Гриша боялся. Он закричал. Но это ему показалось, будто он закричал. Просто что-то забулькало в горле.

...Сержант Шмаков перевязал ему рану, спросил:

— Можешь двигаться сам?

— Могу.

Вместе с двумя ранеными пошли через лес в тыл. Была пурга. Они заблудились. Они шли не туда, куда надо, и понимали это. Но куда надо, определить не могли. С трех сторон были немцы. А где сторона без немцев, они не знали. Раненые сели в глубокий снег, и ветер начал заметать их следы. Они понимали, что теперь уже не сделают и одного шага. Бинты на голове Григория отвердели, потому что кровь, пропитавшая их, замерзла. Клонило ко сну. Страх перед этим сном взбадривал их. И все-таки они задремали. Это еще не был крепкий сон, иначе бы им не услышать, как сквозь кусты пробирался человек. Подняться не было сил, но они все же достали из карманов свои гранаты. Оказалось, это какой-то солдат, посланный с пакетом в тыл. Он заставил их идти. Гриша двигался с полузакрытыми глазами и думал: все это так, как ему сейчас мерещится, или здесь что-то другое?

...Операцию ему сделали в Серпухове. Большой осколок, вынутый из головы, Грише не дали на память, и это было плохое предзнаменование. Значит, не верили, что он выживет. Так он подумал.

Григория отправили в глубокий тыл и боролись за его жизнь восемь месяцев. Он выжил. Центральная нервная система оказалась пораженной, но никто еще не знал, что пройдет немного

времени, и он не сможет управлять своим телом, не сможет пошевелить ногой или приподнять голову. Отстоять удалось только руки. Но пока он свободно передвигался, и срок пребывания в госпитале окончился.

С трудом узнал адрес семьи. Она находилась в Буграх близ Кривощекова, в двадцати километрах от Новосибирска. Вместе с сопровождавшей его медсестрой сели в поезд и после трех суток езды еще целый день искали эти проклятые Бугры, пока не узнали, что такого населенного пункта не существует. Оказалось, Буграми называли землянки, где временно размещались эвакуированные, и землянок этих тьма-тьмущая. Решили вернуться в Кривощеково и разузнать все поточнее. Но это была пустая затея, потому что идти Гриша уже не мог. Он уселся под деревом, будто для того, чтобы покурить. Он доставал из кармана махорочные крошки и думал, как бы ему избавиться от этой сестры, которая совсем замучилась и неизвестно, за какие такие его заслуги таскается с ним, хотя положено ей было ехать только до Новосибирска, и он уже десять раз говорил ей, пусть отправляется домой.

И когда он так думал, проходившая мимо женщина посмотрела на его костыли и спросила, куда он держит путь. Выслушав, велела не уходить до ее возвращения. Вскоре она появилась на подводе со свертком еды.

— Покушайте,— сказала она,— и езжайте. Подвода будет в вашем распоряжении.— С этими словами она попрощалась и ушла.

— Это кто же такая? — спросила медсестра.

— Хорошая женщина,— ответил старый возница.— Заврайсобесом товарищ Бондаренко.

Часа через два он уже сидел в кругу своей семьи в маленькой землянке. Здесь жили отец с матерью, два брата и две сестры. Старший, Федор, находился где-то на Тамбовщине, Антон — в армии.

В первую ночь Гриша не мог заснуть: заедали блохи, нечем было дышать. Утром написал заявление и поковылял в жилотдел. Людей там было уйма, но человека на костылях пропустили вперед.

Никто не мог поверить, что Грише так скоро дадут комнату, пока он не принес ордер. Теперь это уже было совсем другое дело. Вся семья работала на оборону. Работали день и ночь, жили голодно и дружно. А когда райсобес выделил большой участок под картошку, совсем райское житье пошло.

Вскоре вышла замуж и уехала куда-то Дарья. Потом навалились напасти. Неожиданно умерла Мария, а меньше чем через полгода надорвался отец. Не успели схоронить его, как менингит забрал Арефия и утонул в Оби Александр. Даже тела его не нашли. Остался Гриша вдвоем с матерью. Он уже не вставал с постели.

За год спустили на рынке многие вещи. По вечерам мать подавала ему балалайку, и он играл грустные мелодии, тихонько напевая. Играл задушевно.

Об их трудной жизни Гриша написал брату Антону, Кончалось письмо так: «Свои вещи мы продали. Если ты не против, мать продаст один твой костюм, тот, что похуже. Жив будешь, купим после войны другой».

Ответ пришел скоро. «Что касается костюма,— писал Антон,— то моими вещами не командуй. Из-за этого костюма ты мне смерти желаешь. А ослушаетесь, приду с фронта, пеняйте на себя».

— Вот видишь, Гриша,— сказала мать, утирая слезы,— не надо было сердить Антошу.

Она перебрала в сундуке вещи Антона, добавила нафталина, аккуратно прикрыла остатком старенькой простыни.

Когда окончилась война, Антон вернулся домой. Он поставил на видное место свой иностранный чемодан, не торопясь обнял и поцеловал мать, прошелся по комнате и протянул руку Грише.

Мать засуетилась, собирая к столу. Но Антон сказал, пусть дает только чай. Он сам достал банку консервов, колбасу, сало. Ел с аппетитом, угощал мать, велел дать попробовать брату, чтобы и тот знал, как кормили под конец войны солдат-победителей.

Покушав, указал место, где поставит свою кровать, поднялся и медленно произнес:

— А теперь я буду переодеваться в гражданское. Где мои костюмы?

Мать полезла в сундук,и он видел, как, придерживая плечами крышку, она перебирала вещи. Старуха торопилась и совсем запуталась в барахле. Немного прищурив глаза и не поворачивая головы, он стоял посередине комнаты и внимательно посматривал то на мать, то на брата, стараясь уловить выражение их лиц, ожидая, что они теперь ему скажут.

Когда мать вытащила два костюма, он осмотрел их, потрогал руками, сказал: «Переоденусь потом» — и ушел. От радости, что приехал сын, она не знала, за какие дела браться, суетилась и без толку переставляла вещи с места на место. А радость распирала ее, и она побежала к соседям. «Вы слышали,— говорила она всем, кто встречался во дворе,— мой сын приехал. Мой старший сын приехал». Ей было немного обидно, что люди уже знали новость, но все равно она останавливала каждого и торопилась скорее все рассказать, чтобы ее не перебили. И люди выслушивали ее, улыбаясь, и говорили: «Мы видели его, Максимовна, просто красавец, косая сажень в плечах, за двоих сработает».

Особенно была довольна семья грузчика Зарубина. Его жена Ксения Федоровна и сыновья Гриша и Саша часто приходили в дом Евдокии Максимовны. Они помогали, чем могли, по хозяйству, слушали, как душевно играет на балалайке ее больной сын, слушали его рассказы о войне.

В день возвращения Антона ребята прибежали к дяде Грише.

Они тоже радовались за него, радовались, что в доме появился работник и родной ему человек.

— Садись, Сашок, на стул,— сказал Григорий,— а ты, тезка, отодвинь мои ноги и устраивайся на кровати. Буду сон рассказывать.

Ребята знали, что свои сны он сам придумывает, но охотно слушали, потому что сны эти походили на сказки.

— Снилось мне,— закрыл глаза дядя Гриша,— что гонятся за мной жулики. А ноги у меня длинные, мускулистые, сильные. Бегут, бегут эти жулики, а догнать никак не могут. И захотелось мне над ними потешиться. Начал я потихоньку сдавать. Обрадовались бандюги и еще шибче припустили. Вот-вот схватят, и уже и руки протягивают. Тут я чуть шире шаг сделал и сразу метров на десять оторвался. Не знал я, какой подвох ждет меня впереди...

В это время пришел Антон. Гриша застеснялся, перестал рассказывать. И ребятам стало почему-то неловко, и они быстро ушли.

Соседи правильно говорили, что приехал настоящий работник. Антон и дня не хотел сидеть без дела. Пошел на завод, объяснил, что всю войну был на фронте и еще больше года после войны оставался в армии и вот вернулся. и на его плечах родной брат-инвалид и старушка мать, потерявшая троих детей и мужа. Приняли Антона хорошо и, войдя в его положение, подобрали ему работу повыгодней и приставили лучших мастеров, чтобы они могли быстро обучить человека.

Смышленый, бойкий и сильный, Антон оправдал доверие и в короткий срок освоил профессию шлифовщика. Уже в первый год заработки его доходили в старом исчислении до двух тысяч.

Он оказался человеком серьезным, денег не ветер не бросал. Но иждивенцем тоже не хотел быть. Каждую получку выкладывал матери ровно столько, сколько на него уходило. Он не считался с тем, что пенсия у брата меньше, и отваливал пять-шесть сотен, а то и все семьсот рублей каждый месяц. Как человек хозяйственный, тщательно проверял, куда расходуются его деньги. А мать по старости и нерасторопности не могла вести точной бухгалтерии, и когда приходило время отчитываться, никак не могла припомнить, куда девалась четвертная, а то и целая полсотня.

Антон не ругал ее за это и даже не упрекал, а молча ходил по комнате и, уже отправляясь в клуб или к товарищам, не повышая голоса, замечал:

— Подумай все-таки, может, вспомнишь.

Она понимала, что не годится так вести хозяйство, и ей было стыдно перед Антоном. Когда выяснилась очередная недостача, она сказала:

— Ты не думай, Антоша, что я расходую лишнее на себя или на Гришу. Это по своей малограмотности не могу досчитаться.

И на этот раз Антон не стал ее ругать. Он только сказал, что, если бы по неграмотности, иногда и излишек мог бы получиться, а то одни недостачи.

Мать подумала, что и в самом деле он прав, но, осмелев, сказала, может, лучше, если он сам на свои деньги будет покупать себе продукты, какие ему нравятся, а она станет только готовить и стирать на него.

Зря старуха все это говорила, потому что ее слова расстроили Антона.

— Когда же это я буду таскаться за продуктами да очередя выстаивать,— обиделся он.— Целый день работаю, а вечером то собрание, то другие дела.

— Об этом я не подумала,— примирительно сказала мать, видя, как он стал нервничать. Но Антон понял, должно быть, что отпор дал недостаточный, поэтому добавил:

— Выходит, Гришка ничего не делает, и ты будешь сидеть дожидаться, пока тебе готовенькое на тарелочке принесут, а на одного меня вали, знай, наваливай. Так, что ли?

Тут совсем не к месту обиделся Григорий и заступился было за мать, но Антон быстро поставил его на место.

— Ты, самострел, лежи да помалкивай,— оборвал он младшего брата.

Голова и плечи Григория дернулись, но подняться он не смог, и костылей уже на месте не было, потому что их за ненадобностью продали, и зря он ощупывал руками это место. Глаза его забегали, руки заметались из стороны в сторону.

— Это кто же самострел? — тяжело глотнув, наконец хрипло спросил он.

— Конечно, самострел,— безразличным тоном ответил Антон.— И месяца не повоевал, домой помчался. Видели мы на фронте таких. То руку из окопа высунет, то ногу, смотришь, прострелили — и пожалуйте в тыл.

Глаза Григория уже не бегали, потому что в них появились слезы. Руки безжизненно лежали на груди. Они устали и тоже не могли двигаться. Ему было обидно, что брат так о нем думает, и он стал оправдываться:

— Не пулевое же это ранение. Разве под осколок подставишь? Да и какой дурак станет голову подставлять!

— Все равно в тыл торопился,— тем же безразличным тоном продолжал Антон.— Если бы вперед шел, на немца, и рана спереди была бы. А она у тебя на затылке, вот что.

Григорий опять хотел возразить, что так про пулевое ранение можно говорить, а снаряды и сзади рвутся, но стерпел. Говорить ему было трудно, и он боялся, что будет плакать. А старшему брату, должно быть, интересно стало, что еще скажет Гришка, и он продолжал:

— Тот, кто в честном бою рану получил, награду имеет. Я вот и без ранения получил орден, а у тебя и медали даже нет.

Григорий глотнул наконец тугой комок.

— Коршун ты, гадина и фашист!

Антон не ожидал, что этот инвалид может его оскорбить. Он взревел, схватил за гриф балалайку, свистнули в воздухе струны.

— Бей сильней! — закричал Григорий и разбросал в стороны руки. Мать рванулась к сыновьям. Антон все же не ударил брата, потому что мог задеть мать, а что было сил метнул балалайку в угол. Сил было много, и она разлетелась на маленькие кусочки. Отдавать в ремонт уже было нечего.

Этот скандал, наверное, слышали за окном юные Зарубины. А возможно, им передали соседи с первого этажа. Вечером они обо всем рассказали отцу. Александр Осипович слушал сыновей и недовольно откашливался.

Несколько месяцев Антон не скандалил. Он только говорил, что ему противно приходить в эту комнату, где пахнет парашей. «Жениться мне уже давно пора,— сокрушался он,— да разве пригласишь сюда девушку!» Все это раздражало Антона, и в те часы, когда он бывал дома, только об этом и говорил.

Мать и Григорий видели, как они мешают ему, понимали, что он должен жениться и что чужой человек не согласится жить вместе с ними. Все это они видели и понимали, но ничего придумать не могли, и Антон все больше раздражался.

Как только появлялся брат, Григорий замирал на своей койке и старался не встретиться с ним взглядом. По ночам, когда брат был дома, ему не спалось. В одну из бессонных ночей в голову пришла хорошая мысль. Когда Антон встал, и мать подала ему завтрак, и он сел за стол в одной майке, Григорий любовался, как играют мускулы на его спине, а потом сказал:

— Ты не сердись, Антоша, я ведь и сам вижу, как тебе трудно со мной, вот и подумал: если мне дали комнату, то тебе и подавно дадут. Может, попросишь...

— Это меня ты хочешь выгнать? — перебил его Антон, поворачиваясь к брату лицом. Глаза их встретились. Должно быть, вся злость, собравшаяся у Антона за три года против брата, вырвалась, он ухватился за спинку койки, приподнял ее, рванул вверх и в сторону. Григорий не успел уцепиться руками за края койки.

Не закончив завтрака, Антон убежал. Матери совестно было звать в дом чужих людей, и она долго мучилась, пока ей не удалось снова втащить сына на кровать. Хорошо еще, что сам он помогал ей руками, а то бы одной не справиться с этим делом.

Хотя мать и не хотела, чтобы чужие люди знали, что делается в доме, все же Ксении Федоровне сама рассказала об этом случае. А та сообщила мужу. И опять Александр Осипович только покашливал, хмурился и ничего не говорил. Он работал на том же заводе, где и Антон, только в другом цехе, и они

почти не виделись. Всего один раз и встретил его на каком-то общезаводском собрании.

Здоровье Григория резко пошло на убыль. Он худел на глазах, перестал есть, часто находился в забытьи. Он стал пугаться брата. Нервничал, если мать суетилась возле него, будто других дел у нее не было, и спрашивал, готов ли обед для Антона и есть ли для него чистая рубашка? Мать работала уже не так проворно, как прежде, все сильнее давала себя знать печень. По своей нерасторопности она не успевала по-настоящему обслужить Антона, и неизвестно, чем все это могло кончиться.

Григорий все худел, и врач сказал, что, видно, скоро помрет. Григорий не знал этого. Он видел, как трудно приходится старухе, и подумал, что, может быть, лучше, если его отвезут в дом инвалидов.

Мать выслушала сына, вспомнила слова доктора и согласилась: хуже, чем дома, не будет. Ей только стыдно было чужих людей, да боялась, могут не принять. Туда брали только тех, у кого нет родных.

Свои сомнения она высказала Ксении Федоровне. Та против обычного не стала утешать соседку или давать советы, а просто ничего не ответила.

Дома она увидела, что ее сыновья о чем-то шепотом спорят и ссорятся, как малые дети, хотя Гриша уже кончал ремесленное, а Саша собирался туда поступать. Когда она спросила, в чем дело, оба они присмирели, и Гриша, переминаясь с ноги на ногу и трудно подбирая слова, заговорил:

— Вот мы, мама... понимаешь, мы с Сашкой все будем делать... вот... ну, полы мыть... да? Я уже немного зарабатываю... Может, возьмем к себе дядю Гришу?

Она ничего не могла ответить, потому что навернулись слезы, а только выпрямилась от гордости за своих сыновей и за то, что она — мать этих сыновей.

Она увидела, как засветились их глаза, и уже знала, что они поняли ее, хотя ничего еще им не сказала.

Гриша начал вдруг поправлять книги на своей этажерке, Саша спросил, не надо ли за чем сбегать в магазин, а она все стояла молча, пока Гриша не тронул ее за руку:

— Ну что ты, мама?

Тогда она ответила:

— Я уже давно про это думаю, надо спросить отца.

Вечером, выслушав свою жену и своих детей, Александр Осипович Зарубин сам пошел вниз, к Григорию. Они говорили о войне, о заводе, о деревне, и Григорий рассказывал, как в детстве он вместе с отцом делал гребешки из клена.

Вернувшись домой, Александр Осипович сказал:

— Комната у нас не меньше ихней. Не понравится — и от нас в дом инвалидов не опоздает.

Утром Гриша Зарубин и его товарищ Геннадий Ковалевский подняли Григория вместе с койкой и перенесли на второй этаж, освободив для него лучшее место.

И в двух комнатах, расположенных одна над другой, одинаковых, как близнецы, по-новому разместились люди: на первом этаже — двое, на втором — пятеро. Внизу — родные, вверху — чужие люди. Как плох Григорий, увидели только вечером, когда стали его купать. Ванны в доме не было. Его посадили на табуретку и придерживая со всех сторон, бережно мыли мягкой тряпкой, и часть воды стекала в корыто и в таз, а часть — на пол. Но ее тут же убирали тряпками Гриша и Саша, чтобы она не просочилась между половыми досками.

Пока шло мытье, кто-то из Сашкиных товарищей сбегал за парикмахером, а кровать покрыли шуршащей простыней, и Григория положили на нее, чисто выбритого, красиво подстриженного, в новом белье Александра Осиповича, и он понял, как хорошо жить на свете.

С тех пор прошло десять лет. Зарубины уже давно переехали из Кривощекова в Новосибирск и взяли с собой Григория Бродягина. Здесь комната немного поменьше, но места хватило всем. Десять лет лежит на спине в доме Зарубиных чужой человек. Каждое утро, когда он просыпается, ему приносят тазик с водой и помогают умыть лицо. А руки он свободно моет сам. Потом Александр Осипович или сыновья повертывают его на живот, и Ксения Федоровна растирает ему плечи и спину. Эту процедуру делает только она, никому не доверяя. Дело в том, что поначалу у него были пролежни, но за несколько месяцев удалось их вывести, и спина стала чистой и хорошей, и на ней нет больше ни единого пятнышка, хотя в общей сложности он пролежал на спине больше пятнадцати лет.

Ксения Федоровна думает, что это результат массажей. Может быть, это и так, но, конечно, немалую роль играют матрасики, подматрасники, подушечки, которые она понашила.

Когда по утрам выспрашивает у него, где за ночь надавило или, может быть, терло, и он отвечает, будто все было хорошо, она начинает сердиться и не доверять ему, и, чтобы не волновать женщину, приходится признаваться, что под левой лопаткой немного немеет, а вот в этом месте, кажется, чуть-чуть давит. И тогда она уже не слушает его больше, и растирает там, где надо, и подкладывает свои подушечки туда, куда считает нужным. И вообще она с ним не церемонится. Если вдруг замечает, что плохо работал желудок, клизмы ему не миновать, пусть хоть плачет. Или там грипп привяжется, кашель или головные боли — мало ли к человеку цепляется всяких болезней,— всю норму лекарств, все, что положено, заставит выпить, все процедуры выполнить. Недаром он как-то назвал ее «товарищ начальник», и это прозвище привилось к ней, и даже муж, а иногда и дети именно так и называют ее.

Она тоже в долгу не осталась и начала называть его Гришуней, как в детстве своего старшего сына. И весь дом, даже 85-летний Осип Зарубин, отец Александра Осиповича, переехавший сюда на спокойную старость, как-то сразу принял это имя, и теперь иначе его не называют.

К уходу за Гришуней люди привыкли, да и не мудрено: все десять лет каждый день одно и то же — туалет, массажи, лекарства, завтрак. Потом достают из ящика газеты, и его уже не оторвать от них. В обед и ужин — то же самое, только вместо газет — книги, а в перерывах между едой — отдельные процедуры. Немного сложней по субботам, когда идут купание, смена белья и другие дела, но здесь помогают все, и в конце концов это тоже не так страшно.

По-настоящему трудно было только первые два-три года, пока чужие люди привыкали друг к другу. Дело осложнялось тем, что поначалу Гришуня очень стеснялся и не рассказывал, где болит, и ни о чем не просил.

Если бы за ним ухаживал кто-нибудь один, было бы лучше. А так он нервничал: ему казалось, будто вся семья только и делает, что возится с ним. Но все это, конечно, с непривычки и только первые годы, пока он часто болел и был очень плох. Волновался и Александр Осипович. Ему все казалось, что не удастся выходить человека и он умрет. Успокаивала его Ксения Федоровна. Как ни плохи были дела, но она видела, что они не ухудшаются и все-таки человек идет на поправку.

С тех пор как удалось определить его в медицинский научно-исследовательский институт, а потом в специальную больницу, и наладили, наконец, желудок, и избавился человек от головных болей, прошла и бессонница, все стало по-другому.

В свободное от еды и всяких процедур время Гришуня читает. За эти десять лет он перечитал много книг, и не было у него дня без газет, и оказался он в очень выгодном положении. Он знает все, что делается в Москве, на новостройках, знает фильмы, спектакли и все, чем живет мир. И какие бы в семье ни возникали споры или проблемы, получалось так, что в любой области лучше всех информирован Гришуня и лучший совет дает он.

Семья жила дружно. Но случалось, обидится кто-нибудь и дело доходит до ссоры. Так произошло перед уходом Саши в армию, когда Гришуня получил извещение на посылку. Он увидел, что это с Тамбовщины, от самого старшего брата, лейтенанта милиции Федора, и обрадовался, как ребенок. «Вот видите,— говорил он каждому, кто входил в комнату,— старший брат прислал. Это вам не Антон, это — настоящий». Он все торопил, чтобы скорее принесли посылку, и велел открывать ее не на столе, а возле него, на стуле, чтобы ему хорошо было видно, как там все уложено. И вся семья собралась возле его постели, и всем не терпелось посмотреть, что прислал самый старший брат, который не чета Антону. В посылке оказались яблоки. Они были

маленькие и зеленые — должно быть, такой сорт. Гришуня начал всех угощать и просил, чтобы ели не стесняясь, кто сколько хочет. Он ел сам и гордился тем, что эти яблоки специально для него прислал брат. И все взяли по одному, и откусывали по маленькому кусочку, и, покачивая головами, говорили, какие вкусные яблоки, и видели, как он доволен. Но тут совершенно неожиданно и обиделась мать на сыновей. Незаметно она подала знак Саше, чтобы он вышел, и в коридоре набросилась на него так, что парень не знал, куда деваться. Она сказала, будто он вместе со своим братом Гришкой совсем потерял стыд и совесть. Она велела, пусть и брату передаст, чтобы ели по-настоящему, а не ломались, как барышни, и набрали бы полные карманы яблок с собой, и ничего с ними не случится, потому что желудки у них железные, а Гришуню эти зеленые камни погубят.

Через три года, когда Саша уже вернулся из армии, а Гриша женился и получил отдельную комнату, принесли вторую посылку от Федора. Вышло это так.

Пришел срок, и Федору выдали новое обмундирование, в том числе сапоги. Не задумываясь, он снял свои, еще совсем хорошие, без единой заплатки, и вместе с большим куском сала, килограмма в два или даже три, послал Гришуне. В письме написал, что сапоги дарует Александру Осиповичу, а сало — для общего пользования.

Посылок от Федора больше не поступало, но письма были. Правда, последние годы писем нет, видно, потому, что занят человек и ему некогда. Зато сестра Дарья, которая живет под Новосибирском, посещает Гришуню. В первый свой приезд она рассказала, что муж зарабатывает мало и как трудно ей жить с тремя детьми. Когда ушла, Александр Осипович сказал:

— Не по-братски ты поступаешь, Гришуня.

— Почему? — удивился тот.

— Ну как же? Легко ей, думаешь, с тремя детьми? А у тебя пенсия, мог бы и помочь. Не чужая она тебе.

— Так пенсия же у меня солдатская. Ведь у самих не хватает,— растерялся Гришуня.

— Э-э! — махнул рукой Зарубин.— Денег всегда не хватает. Я бы на твоем месте послал...

С того дня Гришуня стал помогать сестре. Не каждый месяц и не помногу, но все-таки помощь.

Довелось Гришуне за эти десять лет встретиться и с Антоном. Это было после женитьбы Саши, когда он уже получил свою комнату, а в родительской стало совсем просторно. Там остались только дед Осип, отец с матерью и Гришуня. Правда, просторно было только днем, когда люди на работе, и ночью. А в остальное время почти каждый день приходили Гриша с Аней и дочерью Наташенькой да Саша со своей женой Галей, и все равно набивалась полная комната. Но, как говорят, в тесноте, да не в обиде. Может быть, сыновья так часто и не ходили бы сюда, не будь

больна мать. Сердце последние годы стало сильно сдавать, а дел по дому немало. Вот и собираются все вместе, чтобы помочь хозяйке.

Так вот, о встрече с Антоном. Как-то Сашин товарищ, шофер с «Победы», получил задание развести пакеты в учреждения, расположенные во всех концах города. Было это в канун праздника, и он сказал: «Бери Галю, поедем иллюминацию смотреть». Но Саша взмолился: «Давай Гришуню возьмем, он ведь никогда не видел ни города, ни иллюминации».

Гришуню уложили поперек заднего сиденья, так чтобы голова была повыше и ему все хорошо было видно. Когда экскурсия закончилась, решили навестить мать Гришуни. Они не знали, что она умирала. Антона дома не было.

Через неделю, в день похорон, Саша снова привез Гришуню в Кривощеково и сказал, что вернется за ним часа через три. Вскоре пришел Антон. Он удивился и поэтому забыл поздороваться, а сразу спросил: кто его доставил сюда и как будет дальше? Гришуня ответил, что за ним приедут. Антон только насмешливо улыбнулся и сказал: «Дурачок, ты, дурачок, тебя ведь просто подкинули, кто же за тобой приедет?»

И все время, пока там был Гришуня, брат то и дело спрашивал: «Ну где же они, почему не едут? А адрес их ты знаешь?»

Потом в соседней комнате начались поминки (комнату Гришуни и комнату своей жены Антон обменял на две). Гришуне тоже хотелось выпить рюмку в память матери, но никто ему не принес, и, как только вернулся Саша, они уехали.

Несколько лет назад в доме Зарубиных произошло знаменательное событие. Выехал сосед по квартире, и его жилплощадь передали им. Теперь у них отдельная двухкомнатная квартира со всеми удобствами, и у Гришуни, как он выражается, собственный кабинет.

Я приехал к Зарубиным в одиннадцать утра. На стук никто не ответил, но дверь приоткрылась. В углу большой прихожей стояла девочка лет четырех, прижав к уху спичечную коробку, от которой тянулся куда-то тонкий шпагат.

— Я слушаю,— серьезным тоном говорила она,— Это детский сад.

Из комнаты донесся мужской официальный голос:

— Скажите, пожалуйста, как ведет себя девочка Наташенька?

— Очень хорошо,— тем же тоном отвечала она,— передайте дяде Гришуне, что это наша самая лучшая девочка.

Это говорили «по телефону» дочь Гриши Зарубина и Григорий Григорьевич Бродягин.

В доме Зарубиных я провел три дня. В одном из разговоров, на какие-то мои слова о совсем чужом человеке, Александр Осипович заметил: «Так это формально чужой, а по эпохе он мне брат».

1961 год

ПОЕДИНОК

Дневной концерт в Доме актера окончился. Хорошенькая, кокетливая Аллочка со своим другом Сашкой выходили почти последними. В вестибюле она взяла его под руку, но он отстранился:

— Не надо, Аллочка.

Алла обиделась. В последнее время с ним творится что-то странное. Веселый, энергичный, чуть-чуть нагловатый, он никого и ничего не боялся, ходил, широко расправив плечи, не уступая дороги встречным, точно демонстрируя свою отличную спортивную выправку.

Сейчас весь он был напряжен, его фигура как-то уменьшилась, глаза бегали по сторонам. Руки чуть согнуты в локтях, будто приготовился отразить удар.

На широкой ступени у выхода Сашка на мгновение задержался. Направо и налево метнулись глаза. Надел черные защитные очки и, взглянув под ноги, чтобы не оступиться, шагнул.

Зря он смотрел себе под ноги, потому что как раз в это время и прозевал тот миг, когда из толпы бросился на него человек. Все-таки Сашка успел схватиться за револьвер в кармане. Но тут он почувствовал на шее чужой твердый бицепс, который давил ему на горло и заламывал назад голову. Рука, державшая револьвер, тоже была стиснута, хотя и не очень сильно, но, должно быть, ему придавили какую-то жилку, потому что пальцы сами по себе разжались, выпустив рукоятку. А главное — нападавший успел обвить его ногу своей ногой и, оттянув ее назад и в сторону, присел на ней, и такую боль терпеть было нельзя.

Все эти ощущения — и на шее, и в руке, и на ноге — он почувствовал одновременно, и можно было подумать, будто бросился на него не один человек, а целый десяток.

Сашка был сильным, мог терпеть боль, а в борьбе и драках имел большой опыт. Он знал, что сейчас одно спасение: мгновенно падать, увлекая за собой противника. Тогда, возможно, удастся выхватить револьвер. В крайнем случае можно стрелять и сквозь карман. Уж если он выстрелит, не промажет. Пусть с первого раза и не удастся убить, но ранит наверняка, и, конечно, разбежится толпа, кричащая вокруг.

Но Сашка не успел упасть, потому что в руки вцепились еще двое. Его поволокли обратно в вестибюль, отобрали револьвер, скрутили ремнем.

Все это было обидно до слез. Он знал, что кольцо вокруг него сжимается, знал, что его могут выследить, готовился к этому и дешево отдавать жизнь не собирался. Он готов был к

самому худшему, но чтобы вот так, без единого выстрела, как цыпленка...

Он обвел взглядом могучую фигуру своего противника и, не скрывая сожаления, сказал:

— На секунду ты меня опередил, а то лежать бы тебе сейчас на мостовой.

— А мне секунды достаточно. Даже много,— добродушно улыбнулся тот, и на его щеках появились ямочки.

В помещение вошел старшина милиции и сказал:

— Машина пришла, товарищ Чельцов.

В машине разговор продолжался. Ехали два специалиста. Каждый в своей области: матерый и жестокий бандит Сашка и агент уголовного розыска, старший лейтенант милиции Владимир Ильич Чельцов. И оба прощупывали друг друга. Первым опять заговорил Сашка. Он сказал:

— Почему ты к Дому актера пришел? Я ведь не мог там быть.

— Вот-вот,— обрадовался Чельцов,— и я так подумал: надо искать тебя там, где ты не можешь быть. Это же твой метод. Ты все время делал такое, чего нормальным людям в голову не придет. Вот мы охраняем, скажем, банки, сберкассы, ну, одним словом, ясно что. А кто ж догадается у донорского пункта охрану ставить? Там ведь деньги для тех, кто отдает людям свою кровь.

Чельцов говорил очень искренне, точно объясняя, втолковывая, чтобы человек хорошо понял его мысль.

— Значит, ты и про донорский знаешь?

— А как же? — удивился Чельцов.

— Значит, взяли уже кого-нибудь?

— Нет,— признался старший лейтенант,— скоро возьмем. Если окажешь содействие, может, и не расстреляют тебя, кто его знает.

— А что, могут расстрелять?

— А как же ты думал? В бирюльки будут играть?

Больше на этот раз им не удалось поговорить, потому что открылись тюремные ворота и пора было выходить.

За два месяца до описанных событий жизнь Сашки была безоблачной. Тщательно выбрившись, протерев лицо «Шипром» и попудрив его, достал из-под подушки крупнокалиберный револьвер системы «фроммер», насвистывая, вышел из дому. В магазине «Культтовары» на улице Горького купил пластилин цвета слоновой кости и в первом же подъезде нанес тонкий слой пластилина на свои передние золотые зубы. Надев затем черные очки, направился к стоянке такси и уселся рядом с шофером.

Когда он остановил машину, на счетчике было пятьдесят шесть копеек. Небрежным жестом достал рубль, небрежно подал шоферу, сказал «Благодарю вас» и вышел. Это был его последний рубль. Больше у него не осталось ни копейки.

— Сдачу забыли! — крикнул вдогонку шофер.

— Ну, пустяки,— махнул он рукой и, поправив мягкую шляпу, быстро завернул за угол. Он сразу увидел Игоря и Женьку с маленьким чемоданчиком. Молча поздоровались, молча направились к большому скупочному пункту в конце улицы.

Одеты они были не шикарно, не крикливо, но очень аккуратно и прилично. Все трое рослые, интересные, спортивного телосложения. Смотреть на них было приятно.

Еще издали сквозь большое окно и стеклянную дверь увидели, что в скупке посетителей нет. Женька и Игорь вошли первыми. В помещении находились кассирша и три приемщицы. Это были женщины не старые, но уже далеко не молодые.

— Спокойно, девочки, без шуму,— направил на них револьвер Игорь. Рядом, тоже с револьвером в руке, стоял Женька. А Сашка в это время прикрепил к двери заранее заготовленную бумажку: «Закрыто на учет» — и повернул ключ замка.

Сашка загнал женщин в подсобное помещение и для надежности остался у входа. Чтобы они не бросились на него, он не опустил свой «фроммер». Посмотрел на них и увидел, что они его боятся. Особенно одна, пожилая. Бледное как мел лицо, руки трясутся. Сашке было это приятно. Он повел револьвером в ее сторону. Она зажмурила глаза.

— У-у, стерва! — победно сказал Сашка.— Тоже жить хочет.

Игорь сгреб из кассы бумажные деньги и ушел. Вслед за ним, ссыпав в карман мелочь, отправился Женька.

Внимание Сашки привлекла женская сумочка, лежавшая на столе. Он извлек оттуда еще семнадцать рублей и сказал:

— Кричать «караул», «грабят», «помогите» и прочие пошлые слова разрешается. Но если это будет раньше чем через одиннадцать минут, мы вас убьем или зарежем.

Дома Игорь надел другой костюм и переложил в него деньги. Совсем тоненькую пачечку десятирублевок спрятал. Если делить их на всех, то каждому достался бы просто пустяк. А одному это хоть что-нибудь, тем более что главный — он.

Через час они собрались у Сашки и выложили на стол деньги. Семнадцать рублей, взятые из сумочки, Сашка упустил из виду или просто посчитал, что они добыты только его трудом.

Деньги со стола по-честному разделили поровну.

Бандитская шайка действовала не столь легкомысленно, как могло показаться. В частности, описанное выше ограбление было совершено лишь после третьей попытки, когда создались необходимые условия. Каждое нападение готовилось тщательно.

Перед тем, например, как ограбить квартиру стоматолога Г., проживающего на улице Горького, преступники сделали следующее.

Придя «подлечить» зубы, красивый и обаятельный Женька сумел осмотреть квартиру, установить, в какие часы врач работает в поликлинике и когда принимает дома, узнал, что его дочь

учится в стоматологическом институте и еще массу деталей, которые точно определяли режим жизни семьи. Затем узнали в институте, на каком курсе и как учится его дочь, какое принимает участие в общественной работе, фамилии ее друзей, фамилии декана, руководителей партийной, комсомольской, профсоюзной и других организаций. Установили и расписание занятий девушки.

Определили день, когда и дочь и отец вернутся домой поздно, а в квартире останется только одна хозяйка. Как и ожидали преступники, дверь она им не открыла, а спросила, кто они. Игорь ответил, что он и его товарищи представители общественности института и пришли поговорить о поведении ее дочери, которая сожительствует с каким-то преподавателем. Очень ловко, походя назвал несколько фамилий студентов и работников института. Потрясенная новостью, она открыла дверь.

Сверкнули длинные ножи. Игорь, надев кожаные перчатки, грохнул женщину по голове и приступил к делу. Удар оказался не сильным, но вполне достаточным, чтобы она отдала деньги и ключи от гардероба.

Эти налеты, наглые и за долгие годы беспрецедентные, требовали принятия немедленных и решительных мер.

Московский уголовный розыск создал оперативную группу для поимки бандитов. Начальником группы назначили майора милиции Александра Сергеевича Сальникова. В нее вошел и старший лейтенант милиции Владимир Ильич Чельцов. Я близко познакомился с ним. Это боксер, шахматист, пловец, стрелок. Имеет первый спортивный разряд по самбо. Первый разряд по вольной борьбе. Первый разряд по волейболу. Первый разряд по штанге.

Десятилетку окончил с серебряной медалью. В Московском специальном училище милиции золотыми буквами на мраморной доске написана его фамилия.

Он раскрыл не одно преступление, выловил многих преступников. Таких, что, застигнутые врасплох, сдавались без сопротивления, и тех, кто яростно защищался и нападал.

Нападать на него бесполезно. На близком расстоянии он не даст в себя выстрелить, не даст ударить ножом или кастетом. Если будет лишняя доля секунды, отведет удар. Если нет — перешибет бандиту руку.

Его слабость с мальчишеских лет — математика. Так можно любить музыку. Он решал самые головоломные задачи. Десятилетку окончил, будучи сержантом милиции. Ему трудно было расстаться с математикой, но работать хотелось в милиции. Он не знал, куда поступать. И все же подал заявление в МГУ на один из технических факультетов. То ли по ошибке, то ли отделение он такое выбрал, но, несмотря на медаль, ему предложили держать экзамен по физике.

Как и другие абитуриенты, он вытащил билет и сел за стол. Сначала что-то писал, потом бросил. Вокруг усердно скрипели

перья, а он сидел, растерянно глядя по сторонам. Через полчаса к нему подошел член комиссии, старенький преподаватель, и спросил:

— Почему вы сидите, товарищ милиционер?

Чельцов беспомощно молчал, не находя, что сказать.

Подошедший взглянул на его листки, потом взял их в руки. Он увидел каллиграфически выведенные формулы и задачи, решенные двумя способами, хотя достаточно было одного решения.

— Почему же вы не сдаете работу? — поразился преподаватель.— У вас все отлично сделано.

— Да как-то неловко лезть первому.

На следующий день в студенческой многотиражке была опубликована заметка «Глубокие знания», рассказавшая о Володе Чельцове.

Он проучился два месяца, когда пришла телеграмма о смерти отчима. Володе надо было брать на себя содержание семьи, а значит, оставить учение. Его не отпускали. Его просила, уговаривала, упрекала декан факультета член-корреспондент Академии наук Топчиева. Группа товарищей решила ежемесячно отдавать Володе часть своей стипендии. Это не только потому, что он был талантливым студентом. Главное, потому, что он был хорошим. Человеком хорошим. Добрым. Поэтому и помощь принять не мог.

Он снова надел форму сержанта милиции. И вскоре поступил на вечернее отделение юридического факультета МГУ. Теперь работнику милиции трудно без юридического образования. Он отличался успехами. Экзамены сдавал только на пятерки. Но и сейчас нет у него большей радости, когда товарищи по работе — «вечерники» — попросят его помочь в математике или физике.

Он отличался успехами не только в учении. Всю свою жизнь он отличался чем-то хорошим. С десяти лет легко выполнял в колхозе работу здорового мужчины. Он был сильным. В четырнадцать лет стал слесарем-котельщиком на горячих работах Косогорского металлургического завода. Шла война. Он клепал заплаты на раскаленных доменных печах. В свои четырнадцать лет не давал себя сменить по четырнадцать часов: шла война. Его наградили медалью «За доблестный труд». Пять лет он работал у горячих домен.

Когда пришло время призыва, войны не было. Попросился в десантные войска. Взяли.

Он совершил около ста прыжков с парашютом. Прыгал днем, прыгал ночью, на болота, на леса, на города. Опускался в дождь, в снег, в мороз, в жару. Прыгал с оружием, снаряжением, рацией. Приземлившись, выполнял задания особого значения. Выполнял талантливо. Его назначили командиром отделения разведки десантных войск.

После демобилизации лучшим предлагали работу в милиции.

Он был среди лучших. Сейчас тоже. Поэтому его и взяли в группу по ликвидации шайки, которая так обнаглела, что начала действовать в Москве.

Несмотря на опыт, как это всегда бывает, преступники оставили одну тончайшую нить, и даже не нить, а паутинку, по которой, искусно перебираясь, чтобы не порвать, можно было выйти на их след.

Работа оперативной группы агентов началась.

Шайка состояла из трех человек, хотя время от времени привлекала для всяких поручений более мелкую сошку. Главарь банды, 27-летний Игорь, имел высшее образование, имел судимости, нигде не работал, числясь инвалидом. Его правой рукой был 23-летний морфинист Женька, красивый как бог, исключенный поочередно из двух институтов за неуспеваемость. Он тоже имел судимость и тоже нигде не работал. Сашка получил среднее образование и бросил работу.

Шайка сделала все, чтобы стать неуловимой. Физически сильные, остро ощущающие обстановку, они были отличными шоферами, стрелками, фотографами. Они брали напрокат автомобили разных марок, в зависимости от предстоящего дела. Они знали толк в вине и наркотиках. Развлекались широко, платили щедро.

Они думали о своем будущем. Чтобы не попасться, изучали криминалистику, психологию, следственное дело, методы разоблачения преступников. Они разработали перспективный план грабежей и план на ближайший период. В числе их объектов оказались ряд государственных учреждений и квартиры видных деятелей науки и культуры.

Их теоретическая подготовка приносила плоды. На многие объекты приходили по три-четыре раза и в конце концов отказывались от них, так как улавливали невидимые для неопытного глаза последствия. Это их спасало. На любом из них ждал неминуемый провал. Именно те «точки», где для них не было опасности, они грабили.

Группа Сальникова распутывала паутину. И вот это уже не паутина, а нить. Уже что-то осязаемое в руках. Уже нащупывались дальние подходы к преступникам. Но тут нить оборвалась. Они исчезли из того района, где должны были показаться их следы. Они готовились к новому «делу».

Прежде всего осмотрели местность вокруг приходной кассы № 375 Первомайского района, которую решили ограбить. Но стоит ли ее грабить?

Пересчитали среднее количество посетителей и определили примерную дневную выручку — 2000 рублей. Стоит.

Изучили расположение мебели, местонахождение телефона и проводов к сигнальной сирене, убедились, что запасного выхода нет. Разработали точный план действий, четко распределили обязанности. Дело верное.

За десять минут до закрытия кассы туда вошел Женька. Уселся за стол и начал заполнять бланк расчетной книжки по оплате коммунальных услуг. Условным знаком показал, что в помещении находятся два посетителя. Когда те вышли и кассирша направилась запирать двери, появились Игорь и Сашка.

На двух женщин направили три револьвера и приказали молчать. Сашка запер дверь изнутри, Женька перерезал провода сирены и оторвал телефонную трубку.

И здесь уже был совершен первый просчет. Провода эти шли не к сирене. Они имели другое назначение.

Когда Игорь направился к открытому сейфу, где лежало 2600 рублей, кассирша Л. Мосина ткнула его ногой и, бросившись на свое место, наступила на кнопку сигнала тревоги. На улице заревела сирена.

Опрокидывая столы с картотеками и бумагами, преступники бросились на улицу и скрылись, ничего не успев взять.

Группа Сальникова изучала обстановку в приходной кассе в течение нескольких часов, хотя, казалось, изучать там нечего. То, что в кассе побывала все та же шайка, было ясно уже в первые минуты. Перед уходом Чельцов обратил внимание на одно странное обстоятельство. В куче разбросанных на полу бумаг, рядом с опрокинутым столом, лежало несколько расчетных книжек, которые, как он выяснил у сотрудников, были забыты здесь в разное время посетителями. И вот одна из них, № 1223, принадлежала А. М. Лапшовой, проживающей в другом районе. Оплату коммунальных услуг и следовало производить в том районе. Как она сюда попала? А не та ли это книжка, которую заполнял преступник, вошедший первым?

В руках агентов оказалась уже не паутинка, не ниточка, а канат, за который можно было ухватиться двумя руками.

Книжка принадлежала трудовой женщине, хлебнувшей в жизни немало горя. Она жила вместе со своим сыном Александром, не подозревая, что он и есть бандит Сашка, который теперь бесследно исчез. Второй сын, Михаил, инженер-геолог, проживал со своей семьей в другой квартире и тоже не знал, куда девался брат.

Хотя завеса приоткрылась перед группой Сальникова, но, с другой стороны, поиски осложнились. Теперь преступник, зная, что на его след напали, домой не вернется и, конечно, забьется в самый темный угол. Где искать его в многомиллионном городе? А может быть, бежал из Москвы? Но прежде всего надо убедиться: тот ли это человек, которого они ищут?

В его комнате нашли старенький чемоданчик с инструментом и запчастями слесаря по газоаппаратам.

Чемоданчик показали в ограбленной квартире известного актера.

— С этим приходил проверять газ?

— Да.

Показали фотографию:

— Он?

— Да.

Фотографию опознали и другие пострадавшие.

И мать и Михаил понимали, что Сашку найдут обязательно, и желали только одного: скорее бы это произошло, пока не натворил новых преступлений.

Теперь группа Сальникова располагала многими данными. С исчерпывающей полнотой узнали его характер, вкусы, наклонности. Узнали многих его знакомых, друзей, всех родственников. Проанализировали всю его жизнь.

Было установлено, что денег у него нет, а, судя по характеру, без денег он из Москвы не уедет. Значит, тем же способом будет добывать их.

Его фотографию в нескольких видах вручили всем, кому было положено. Перекрыли все пути, по которым он мог пойти. Один за другим отсекались районы города, куда доступа ему уже не было. Вернее, доступ был, но только в руки милиции. Дважды натыкались на его след, но он уходил.

Где-то он еще прорежется, как-то даст о себе знать. Сам или через своих друзей. В одиночестве человек жить не может.

Сашка оставался верен своей тактике. Преступник не станет скрываться в центре города. Преступник должен скрываться на каких-то окраинах, их много, поэтому он скрывался в центре. Здесь не станут искать. Но ведь тактику его разгадали.

Вместе с Михаилом Лапшовым и Чельцовым майор находился в квартире Сашки, когда раздался телефонный звонок.

— Берите трубку,— сказал майор Михаилу и едва успел дать знак Чельцову, как тот исчез.

— Слушаю,— поднял трубку Михаил.

— Сашу можно? — спросил мужской голос.

— Его нет дома...

А Чельцов тем временем действовал. Уже спустя полминуты, близко прижав к губам телефонный рожок рации, он требовал от кого-то:

— Немедленно адрес телефона, с которым говорит квартира Лапшова.

А еще через полминуты он говорил в ту же трубку дежурному по отделению милиции:

— Проверьте документы, постарайтесь задержать минут на пять — семь человека, находящегося в будке телефона-автомата номер девяносто шесть возле булочной, в двухстах метрах от вас. Выезжаю немедленно. Пусть дают зеленый!

Разговор из комнаты Лапшова продолжался.

— А кто со мной говорит? — спросил позвонивший.

— Михаил, брат Саши.

— А-а, здравствуйте, голос у вас похож на Сашкин. Я вас знаю по его рассказам, а вы меня не знаете, я его товарищ.

Майор Сальников подал Михаилу записку, написанную крупными буквами:

«Говорите как можно дольше. Не меньше трех — пяти минут».

Михаил кивнул и сказал в трубку:

— А как вас зовут? Может быть, я знаю.

— Нет. Но мне очень нужен Сашка. Вы ведь в курсе, что с ним что-то случилось.

— Да, только как я могу с вами говорить, может, вы не тот, за кого себя выдаете?

— Да нет, тот,— раздался в ответ смех.— Ну, как же быть, может, нам встретиться?

— Давайте.

— Нет, не стоит, за вами наверняка следят.

Чельцов рванулся к машине и замер. Появись сейчас перед ним вся банда, он не пришел бы в такое замешательство, как сейчас, увидев проходившую мимо девушку.

После демобилизации из десантных войск он был постовым милиционером на станции метро «Курская». За несколько лет он узнал всех постоянных пассажиров. Ему доставляло удовольствие угадывать профессии людей. Идет человек с железным сундучком — значит, машинист паровоза или помощник машиниста. Потом вместо сундучков появились маленькие саквояжи или спортивные чемоданчики. И одежда стала совсем чистой, не то что прежняя спецовка. Он знал: это паровозники перешли на электровоз.

Первыми на работу шли пожилые люди. Шли степенно, не торопясь. И он угадывал: вот это — мастер, а это бригадир слесарей, а тот, видимо, инженер. За пожилыми шумной гурьбой шла рабочая молодежь. Потом появлялись служащие. Чем ближе к началу рабочего дня, тем гуще становился поток. Впархивали машинистки, секретарши, полные и худенькие, в коротких платьицах, суетливые, хихикающие.

Многим пассажирам он присвоил имена и радовался, что вот сегодня Леночка прошла в новой шапочке, а Акакий Акакиевич, наконец, в новом драповом пальто.

Он любил смотреть на людей. Он выискивал среди них своих любимчиков. Это прежде всего высокий седой старик, названный им Академиком. Именно таким представлялся Володе ученый-атомник или Главный конструктор космических кораблей.

На особом счету была девушка под условным названием «Верочка». Скромная, красивая и, как он решил, очень трудолюбивая. Однажды ему показалось, будто она взглянула на него приветливо. Возможно, она улыбнулась только одними глазами. Он ответил тем же. На следующий день безмолвное приветствие повторилось. И так пошло.

Они обменивались взглядами дважды в день, словно здороваясь и прощаясь.

В одно из дежурств, в 17 часов 43 минуты, постовым милиционерам всех станций метро передали приказ, в котором сообщалось, что в метрополитене находится преступник, которого при выходе задержать во что бы то ни стало. Приметы такие-то. Особую бдительность проявить постовым у привокзальных станций.

Спустя несколько минут с площади вбежала женщина, крича:

— Скорее, товарищ милиционер, скорее, там драка.

— Подерутся и перестанут,— отшутился Володя.

Но с криками «Милиция!» вбежали еще двое. Доносилась и ругань дерущихся. Возле Володи стала собираться недовольная толпа, и он решительно потребовал:

— Пройдите, граждане.

И тут же услышал:

— У-у, дармоед. Вон шею какую наел!

Группа здоровых парней, пройдя мимо дерущихся, ввалилась в метро. Один из них, с бородкой, нагло глядя в лицо Володе, весело продекламировал: «Моя милиция меня бережет». Вся компания громко расхохоталась.

И тут вплотную к нему подошел Академик.

— Что же вы стоите, молодой человек? — сказал он сурово.

— Не могу я уйти с поста,— взмолился Володя.

Эти слова вызвали негодование окружающих. Раздались крики:

— Какой же здесь пост!

— Чего тут охранять!

— На этом посту инвалиду стоять, а не такому детине!

Посыпались оскорбления. Володя все сносил молча, смотрел на эскалатор. Но когда человеку не везет, то уж во всем. Он услышал негодующий голос:

— Как же вам не стыдно!

Перед ним стояла Верочка.

— Пройдите, гражданка! — впервые за годы службы резко повысил он тон.

Как ему хотелось, чтобы в эту минуту появился преступник. Чтобы прошел здесь, через его эскалатор, чтобы увидели люди, чтобы оправдаться перед ними. И пусть Верочка видит, пусть стоит Академик, пусть посмотрят, как он обезоружит и скрутит этого гада, этого паразита, эту сволочь.

Но ему сообщили: преступник задержан. И драка уже кончилась, и люди разошлись.

На следующий день Академик взглянул на Володю и быстро отвел глаза. А Верочка не отвела своих красивых глаз, но в них было презрение. Недружелюбно, неприязненно посмотрели на него еще несколько человек, которые видели вчерашнюю сцену.

Возвращаясь с работы, Верочка опять посмотрела на

него, и это был такой же взгляд, как утром. Володя не отвернулся. Отвернуться — значит признать свою вину, хотя ее нет.

Раньше он открыто и радостно смотрел на людей. Теперь это было трудно. Ему все время мерещились неприязненные взгляды. По всему поведению Академика Володя понял, что тот презирает его. А главное — Верочка. Она ни разу не прошла мимо, чтобы молча, но жестоко не унизить его. Объяснить бы ей, рассказать все. Но он не имеет права.

У Володи была большая выдержка. Только выдержка спасла его, когда однажды стропа перехлестнула купол парашюта и он камнем полетел вниз. Его железная выдержка помогала по многу часов изо дня в день, из года в год выносить раскаленную атмосферу доменных печей. У него хватало воли после работы каждый день сидеть над учебниками до глубокой ночи, чтобы не получить оценки ниже пятерки.

Но вынести неприязнь людей, людей, которых он любит, во имя которых и стоит здесь, а если надо, то для их благополучия не задумываясь будет рисковать жизнью, такой выдержки у него не хватило.

Он пошел к начальнику и попросил перевести его на другой пост.

— Почему? — спросил тот.

— Особых причин нет.

— Так зачем же переходить?

— Товарищ начальник,— убежденно сказал Володя.— Я ни в чем не провинился, никаких проступков не совершил. Служу честно. Но, поверьте, стоять на этом посту больше не могу.

Володю перевели на другой пост.

С тех пор прошло несколько лет. Как-то он вспомнил о Верочке и решил: если случайно встретит, объяснит ей, что произошло. Пусть не со всеми подробностями, но все-таки объяснит.

И вот перед ним Верочка. Она тоже смущена и удивленно смотрит на его гражданский костюм. Но ведь у него ни одной лишней секунды.

Он бросился к машине и рванул ее с бешеной скоростью. На всех перекрестках без задержек давали зеленый свет. Через четыре минуты он затормозил на углу близ булочной.

— Все еще разговаривает,— подошел к нему милиционер.

Чельцов направился к телефонной будке.

Через два дня Сашка Лапшов был схвачен у выхода из Дома актера.

Когда пришли за Женькой, он спал тяжелым сном. На стуле у кровати лежал шприц и пузырек от морфия.

У Игоря Десяткова шла пьянка. Работники милиции бесшумно проникли в коридор и неожиданно для всей компании оказались в комнате. Десятков не успел схватиться за револьвер, как его скрутил Чельцов.

С делом вооруженной банды Десяткова и их разнообразным оружием я знакомился в рабочей комнате Чельцова. Здесь созданы все условия, чтобы спокойно работать. Дома у него тоже хорошо. Он живет в общежитии милиции. Там всегда тихо, потому что все учатся. Если возникает шум, то только ночью, но и то на короткое время, когда кого-нибудь поднимают по боевой тревоге. В такие минуты просыпается вся комната, потому что спят люди настороженно, чутко. Но оружие и одежда у каждого заранее приготовлены, а собираться в одну минуту уже все давно привыкли. Умчится в ночь вызванный, а остальные снова спят.

1962 год

ВЕРА

Баки были пусты. Не хватило нескольких секунд, одного рывка. Слишком долго Николай Борисов отбивался от истребителей, пока не ушел с вражеской территории. Опасность миновала, он смог спокойно оценить обстановку. Точно определил, где упадет машина — на камнях, близ прифронтового аэродрома. Оставался единственный выход — парашют. К прыжку готовился медленно. Было жаль машину.

Весь бой провели вместе, ни разу не подвела. Захлебываясь, из последних сил, взмывала, опровергая несовместимость понятий «из последних сил» и «взмывала». Пикировала в облака, если они оказывались внизу, и, прикрытая ими, резко меняла курс, выскакивая там, где ее не ждали. От перегрузок вибрировала, дрожала, готовая развалиться, и все-таки успевала поливать огнем врага. Едва ли даже конструкторы знали, какие в ней заложены силы.

Теперь за ними никто не гнался, но сил она лишилась. Она еще держалась в воздухе, опустошенная, в бесчисленных рваных ранах. Беспомощная, беззащитная, обреченная. Планировала в сторону аэродрома, быстро теряя высоту, приближалась к каменным грядам.

Он понимал их положение. Надо спасаться одному, или погибнут оба. Твердо решил прыгать, но все еще медлил.

Он знал, что на войне бывает чудо. Это была единственная его защита против безрассудной мысли не покидать друга. И он уцепился за нее. Они шли над самой землей — и машина попыталась приподнять грудь, чтобы врезаться в камни не головой. Он видел — прыгать теперь поздно, и на душе стало легче: избавился наконец от проклятого вопроса: покидать ее или нет?

До того, чтобы произошло чудо, оставалось несколько секунд. Маленький рывок, и он достиг бы взлетной дорожки. Именно этих секунд не хватило. Чуда не свершилось. 19 часов находился без сознания. На операционных столах немного меньше. В госпиталях — долго. Машина поднялась в воздух спустя два месяца.

Потом Николаю Георгиевичу Борисову дали эскадрилью, во главе которой он и улетел в гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Большую часть орденов и званий полк получил уже при Борисове, и к этим наградам он, Борисов, имел прямое отношение.

Ветеран полка Виктор Онучак командовал звеном в эскадрилье Николая Георгиевича и рассказал о нем подробнее.

— При пикировании бомбы бросает не штурман, а летчик,— начал он.— Чем круче угол, тем точнее попадание. Борисов с большой высоты чуть ли не под прямым углом в пике бросался. Раньше на законном основании пикировщики по одному выходили на цель. Это создавало удобства немцам. Ясно, что за пер-

вым пойдут следующие, зенитчикам легче приноровиться. Борисов, обучив ребят, пошел в пике звеном. Тройка должна была входить в пике и выходить из него, будто закрепленная на одной раме. Спустя короткое время всю эскадрилью в пике бросил.

Это и есть высшее мастерство, и пошло оно от Борисова.

Пикировать не всегда позволяла погода. А в обычной бомбежке есть самые важные 30—40 секунд и самые опасные для пилота. Идешь на цель, и начинают бить зенитки. В такой момент очень хочется увеличить скорость, поскорее уйти от огня. Малоопытный ведущий или у кого нервишки послабее так и делает. Хоть и рванешься за ним, а не всегда догонишь. Иное звено и вовсе отстанет. На него и набросятся.

У майора Борисова в такой момент нервы как изоляцией обмотаны. Ни за что не прибавит скорость, хотя знал — в нашей эскадрилье не отстанет никто. Но тогда двигатели будут реветь на пределе и запаса мощности на рывок или другой маневр не хватит. А маневру под огнем он придавал решающее значение. Тут за ним, как за броней, не зевай только повторять его движения. Строй рассредоточит и маневрирует. Да не просто из стороны в сторону, а с умом. Видит, к примеру, разрывы слева, ясно, надо правее брать, подальше от них, а он, смотришь, прямо на те вспышки. Следующие уже далеко справа трещат. Пока они там внизу к его характеру все пересчитают, он новый немыслимый маневр придумает, который вроде бы против логики идет. И вся девятка за ним. Хоть стену зенитную ставь, все равно Борисов прорвется через нее со своей эскадрильей.

Завидев цель, допустим, вражеский аэродром, штурман направляет на него машину, подсказывая летчику — два градуса правее или там три градуса левее. Он на аэродром смотрит по крестику, вроде в полевой бинокль. Как только вертикальная черточка пойдет по центру аэродрома, дает знак командиру «Боевой». В ожидании, пока горизонтальная тоже пересечет аэродром и он окажется перечеркнутым вдоль и поперек и штурман выпустит бомбы, проходят те самые секунд 30—40, в течение которых отклониться от курса нельзя ни на миллиметр. Ну, а как быть, если в эти 30—40 секунд по тебе бьют трассирующие и понимаешь — следующий снаряд твой?

Тут позарез маневр нужен. И Борисова — мастера маневра — в эти секунды никакая сила не заставит ни на какой маневр идти. Понимает, сманеврируешь, сохранишь жизнь, но бомбы пойдут мимо. Если же — в цель, это спасение многих жизней советских воинов, пусть хоть самое крохотное, но движение к победе. Об этом Борисов не говорил, но его убежденность передавалась нам.

При налете истребителей он строй сомкнет, и мы круговую оборону держим. Борисов знал: от его приказа никто не отступит — защищай не себя, а соседа. Оно виднее и удобнее бить по тому, кто на соседа идет. Правда, тут надо от инстинкта

самосохранения отрешиться. Но на это у нас хватало воли, мы глубоко верили друг в друга.

Жена Борисова — Маша Кириллова была командиром звена пикирующих бомбардировщиков в полку Марины Расковой, и не раз случалось ей вместе с Борисовым идти в бой, поскольку их полки входили в одну дивизию и базировались на одном аэродроме. Тогда они еще не знали, что поженятся.

Биографии у них схожи. В 20 лет Маша стала летчиком-инструктором. Пока пробивалась на фронт, пока наконец пришла радостная телеграмма от Марины Расковой с вызовом, она успела подготовить 78 военных летчиков.

В свои 22 года Маша знала, что такое бой и что такое смерть. И всю войну она шла на бой и на смерть.

Многое в ее биографии забылось, стерлось временем. Кто, например, вспомнит ее бомбежку вражеских складов в мае сорок третьего, когда, вернувшись, предъявила снимки «дела рук своих».— трех очагов грандиозных пожаров, и предъявила дело рук вражеских — 57 пробоин на теле своей машины. Только одной строчкой помечено это в ее уже пожелтевших наградных листах.

А перечислено там немало. Впрочем, не только там. В том же 1943 году командование Военно-Воздушных Сил СССР поставило в пример всему личному составу эскадрилью Е. Тимофеевой, где Маша — тогда только командир экипажа — и Тоня Скобликова были главными героинями. После бомбежки самолет командира звена Маши Долиной подбили, и он загорелся. Можно ли помочь горящей над вражеской территорией машине, тем более что добивать ее бросились два истребителя? А разве можно бросить горящую Машеньку одну?

Кириллова и Скобликова прикрыли ее собой, направив на истребители все огневые средства. Долина дотянула до своей территории, где и приземлилась в плавнях. Они же все прикрывали ее, пока от их огня не рухнул истребитель, а второй не ушел на разворот.

Недавно я был у них дома в Паневежисе. Маша осталась красивой и сильной. Она член партийного бюро на заводе «Экранас», где работает, член Советского комитета ветеранов войны, уже второй созыв — депутат горсовета.

Почему Паневежис? После демобилизации решили остаться здесь, где впервые встретились, на земле Прибалтики, которую хорошо знали по военным картам, за освобождение которой сражались, где вместе вынесли тягчайшие дни войны.

Все шло хорошо. Появились дети — два сына и дочь. Они любили рассматривать фронтовые снимки родителей. Особенно нравилась фотография Героя Советского Союза Сергея Люлина, который летал вместе с отцом.

Спустя лет шесть после войны именем Люлина назвали улицу

в Риге и сверхмощный траулер. А Николая Борисова примерно в то же время исключили из партии.

Маша сама прочитала решение об исключении. Домой возвращалась убитая. В длинной преамбуле говорилось о том, что Борисов Н. Г. выдал врагу государственную и военную тайну, рассказал о расположении и численности самолетного парка, боевых задачах, запасах горючего, раскрыл место дислокации и район действия своего авиаполка, 3-й и 5-й авиадивизий 5-го авиакорпуса, 3-й воздушной армии, назвал фамилии командиров.

Когда вернулась, Борисов сказал:

— Ты не верь, Маша...

Генеральное сражение за освобождение Прибалтики было решено начать 14 сентября 1944 года, в частности, разгромом всех ее аэродромов. Немцы понимали, что удар будет и главные силы Советское командование направит на Рижский аэродром. Поэтому, ослабив другие участки, стянули на рижский плацдарм более двух зенитных дивизий, многочисленную береговую и корабельную зенитную артиллерию, более ста истребителей. Советская разведка знала об этом. И командование решило: к Рижскому аэродрому пробиться малыми силами, связать боем все средства обороны противника, решающий удар с воздуха нанести на других направлениях.

«Малые силы» — понятие количественное. Для того чтобы выполнить задачу, требовались лучшие силы.

Выбор пал на полк, где служил Борисов. Ну что же, война есть война. И кроме главного, на войне бывает везение или невезение. Полку не повезло до того, как он поднялся. Стоял удивительно ясный и тихий день. Небо было высокое и чистое, без единого облачка. Условия идеальные для обороны и наихудшие для нападения.

Полк пошел на цель под защитой 36 истребителей, зная, что его ждет. Навстречу поднялись 56 «фокке-вульфов» и десятка два других истребителей. Падали машины и с крестами, и со звездами. По сигналу длинных шлейфов красных ракет немецкие истребители разлетелись. Ударили зенитки. «Стреляло все,— рассказывал мне участник боя подполковник запаса Владимир Наркевич.— Зенитная артиллерия всех калибров с суши и кораблей. До 600 одновременных разрывов, сухой треск которых заглушил шум моторов. Казалось, мы попали в густую сеть, узелками которой были непрерывные разрывы снарядов».

Полк просочился сквозь сеть. И снова — истребители. Командир полка Григорий Николаев смыкал строй, не давая «фокке-вульфам» рассеять его. Николаев и поразил цель первым. Очень дорогой ценой. Бросил на аэродром свой горящий самолет с бомбовым грузом в 1150 килограммов. Вместе с ним погиб Герой Советского Союза штурман Сергей Люлин, летавший раньше с Борисовым.

При подходе к цели на высоте 5000 метров от разрыва крупнокалиберного снаряда под самолетом Борисова был убит стрелок-радист Сергей Евтихеев. Борисов отбивался вдвоем со штурманом, пока не настали эти 30—40 секунд. Машина шла точно на цель и точно сбросила бомбы. Но те секунды немцы не прозевали. Машина загорелась.

Следующим снарядом убило штурмана Николая Нетребенко. Новый удар перебил левую подмоторную раму, и мотор перекосило. Борисов не терял надежды уйти, отбиваясь теперь один. Очередной снаряд разбил приборную доску, и вышли из строя все приборы управления и контроля. Защищенный бронеплитой, Борисов серьезных повреждений не получил. Осколки попали только в лицо. Глаза заплыли кровью. Но теперь все равно он не мог больше вести изуродованную, горящую, неуправляемую машину. Не мог даже направить ее на вражеское расположение.

Выбросился с парашютом, и его сильно ударило о хвостовую часть. Очнулся под немецкий говор. Карман, где лежали партийный билет и удостоверение личности командира эскадрильи, был пуст. Значит, немцы знают, кто он. Это была вторая мысль после того, как пришел в себя. Первая — он в плену. Кобура тоже оказалась пустой.

Борисова отправили в лагерь военнопленных. Бомбовые удары нашей авиации он слышал часто. Несколько месяцев спустя раздались залпы артиллерии. Значит, скоро. Борисов подобрал пятерых наиболее надежных ребят, и вместе они вырыли нишу в заброшенном сарае, где, прижатые друг к другу, пролежали двое суток. Вскоре пришли свои.

Борисова месяц держали в госпитале, потом послали в запасной полк. С ним часто беседовали, и он понял: проверяют. Обижаться не приходилось, по-разному люди вели себя в плену. Проверка длилась три месяца. Сверяли документы, захваченные у немцев, и показания свидетелей.

Борисову выдали новый партбилет взамен утраченного, снова дали эскадрилью, но воевать не пришлось, война кончилась.

Шли годы. И выплыл из каких-то архивов обширный доклад немецкого обер-лейтенанта, на котором расписался и его командир, начальник штаба 1-й воздушной армии Аллоис, доклад, составленный, как в нем говорилось, на основе допросов военнопленных, в том числе Борисова. Доклад содержал данные о ряде частей и соединений наших военно-воздушных сил.

Появилась резолюция секретаря Паневежского уездного комитета партии: «Проверить факты и доложить на бюро».

Стали проверять. Сходились фамилии командного состава, тип вооружений, состав полков и другое. Многие факты с ходу не проверишь. Как их теперь проверять, когда столько времени ушло! Но... если одни факты подтвердились, значит, и остальное верно. Человек, в чьих руках оказалась судьба героического

воина, не проанализировал, что именно подтвердилось, не придал значения даже тому, что рассматривал не протоколы допросов Борисова, а доклад, составленный на основе допросов нескольких человек. И, может быть, не Борисов, а кто-либо другой сообщил эти данные? И действительно ли они секретные?

Несущественные факты, лежавшие на поверхности и тоже требовавшие анализа, который, однако, сделан не был, заслонили главное — позицию человека, его суть, его поведение. Доказать невиновность Борисова — дело сложное, хлопотливое. Пусть уж он сам занимается этим. Формально и равнодушно просмотрев материалы, холодные руки написали: «Факты проверены и полностью подтвердились».

Беда человека была поставлена в вину: его исключили из партии.

На заводе, где Борисов работал электромехаником, он не потерял авторитета. Тяжело переживал случившееся и пришел к единственному выводу — коммунист не должен опускать руки.

Он стал образцом в труде, В его трудовой книжке перечислены 47 благодарностей, почетные грамоты, денежные премии, ценные подарки.

Ему верили, как коммунисту. Избрали в бюро изобретателей и рационализаторов, в редколлегию заводской газеты, в члены месткома, членом товарищеского суда.

Ударник коммунистического труда, чей портрет висел на Доске почета, он добился всеобщего уважения. Не получалось только одно — в партии не восстанавливали. Он писал, ходил, доказывал, ездил в Вильнюс. Просил и требовал. Но ни одного доказательства привести не мог. Откуда могли быть доказательства у бывшего пленного?

Снова и снова до мельчайших деталей вспоминал дни, проведенные у чужих. Судил по самым строгим меркам, но вины своей не находил. В дни Победы надевал тяжелый от орденов пиджак и с достоинством выходил на трибуну, потому что такие дни не мыслились без его сильного слова. Только вечером расслаблялся, и становилось грустно. Он не отвечал на письма однополчан. Как объяснить им? Поверят ли?

Один взгляд Маши на мужа, и ей становилось ясно, что у него на душе.

— Все думаешь? Или уже духом пал?

— Да нет, Маша. Все бы ничего, детей жалко. Подрастут, что им скажешь? И как сами они будут перед людьми оправдываться?

— Подрастут, на ордена посмотрят, на Доску почета, а люди... Люди им сами о тебе расскажут. Да и пока подрастут, восстановят. Не верь, что так останется.

Слух о беде Борисова дошел до боевого летчика, бывшего

начальника штаба полка, гвардии полковника Анатолия Левашова не скоро. А когда узнал, вдвоем с женой Екатериной Александровной, однополчанкой Маши, отправились в Паневежис. Вернувшись в Москву, встретились с ветеранами своего и Машиного полка. В вину Борисова никто не поверил. Решили обратиться в Комиссию партийного контроля при ЦК КПСС.

— Пусть Ленка идет,— сказал Левашов.

Ленке — Алене Мироновне Кульковой — под шестьдесят. Подруга Маши по боям. Бесстрашная летчица пикирующих бомбардировщиков, совершившая не один героический подвиг.

Она пришла в ЦК, не имея никаких фактов. Только вера в человека. Она говорила об источниках веры в одного из героических сынов Родины, и вера ее была великой и чистой.

Вскоре в КПК были приглашены А. Левашав и В. Наркевич. Папка с делом Борисова лежала на столе. Их ознакомили со всеми документами, дали допуск к архивам. Попросили как специалистов, знавших обстановку, проанализировать немецкий доклад и на основе всех фактов и объяснения Борисова документально подтвердить или опровергнуть обвинения. С его объяснения и начали.

Да, он назвал врагу свою фамилию, должность, партийную принадлежность. Но ведь это знали по документам, изъятым у него.

Однако ответы на вопросы, которые противник мог легко проверить, дали возможность скрыть подлинную военную тайну. Уже давно полк взлетал звеньями, а не в одиночку, как заявил врагу Борисов. Сбор был на «петле», а не на кругу, как записал с его слов следователь, и тратилось на это не 20 минут, вопреки показаниям Борисова, а 5—7.

Дезинформируя противника, сообщил о перебоях в снабжении, в связи с чем полк якобы по три дня бездействовал. А ведь он не выходил из боев, люди совершали по 2—3 вылета в день и горючего было в избытке. Борисов привел множество фактов о том, как в весьма важных вопросах дезориентировал противника, не выдав ни одной военной тайны.

В Комитете партийного контроля была проведена тщательная, кропотливая работа. Все до единого факта, приведенные Борисовым в объяснении, удалось подтвердить документами. Более того, в архивах нашли немецкую запись его слов, сказанных врагу: «Уверен, что уже к осени мы победим».

Проверка показала — нет, советский офицер, боевой летчик Борисов не нарушил воинской присяги. Мужественно, не теряя достоинства, выполнял свой долг коммуниста и советского гражданина. Это подтвердили все находившиеся рядом с ним, заявив, что именно Борисов поднимал дух людей, сплачивал их, вселял веру в скорую победу.

В документах XXV съезда говорится: «Коммунистическая

идейность — это сплав знаний, убеждения и практического действия». В полной мере эти слова можно отнести к убежденному коммунисту Борисову.

Находясь в плену, он продолжал воевать, пусть не бомбами, но средстами дезинформации противника, которые применял тонко, умно, лишая возможности разоблачить себя. Это и давало Борисову силы и право чувствовать себя достойным сыном Родины и открыто смотреть в глаза людям, верить, что справедливость восторжествует.

Это и дало основание Комитету партийного контроля при ЦК КПСС восстановить Борисова в рядах партии с сохранением партийного стажа.

1977 год

ГЕРОИ ТАШКЕНТСКОЙ БИТВЫ

Я слышал много сказок о Ташкенте. О японцах, которые привезли туда рыбок. Волшебных рыбок, предсказывающих землетрясение. Это добрая сказка: беспокоиться больше не о чем, хорошие рыбки заранее обо всем предупредят.

А вот злые сказки: с каждым толчком к поверхности приближается вулкан, с каждым толчком под Ташкентом обваливается почва, уже почти ничего не осталось.

Есть еще страшнее сказки. Но чем страшнее, тем интереснее. На то они и сказки. Ученые объяснили существо процессов под Ташкентом, идущих на затухание. Попросили не верить сказкам: «Никакая гора не вылезет, никаких провалов не будет, вулкан не возникнет». Но бог с ними, со сказками, хватает и того, что было в действительности.

Землетрясение — это миг. В Ташкенте в этот миг сработало пятьдесят миллиардов киловатт. Это мощность двенадцати тысяч Братских ГЭС. Такие выводы сделали ученые.

Когда происходит землетрясение, люди не занимаются теорией. Они видят и слышат, как это получается на практике. Трещат и рушатся дома, колеблется почва, горбятся, как ползущая гусеница, поезда, гудит земля, озаряемая багровым светом. И им это страшно. Страшно, потому что они — люди.

Ташкентцам обидно, когда говорят или пишут, что ко всему они привыкли, и ничего им не страшно, и веселье бьет чуть ли не через край, и город будет еще краше, и остается лишь добавить: как все-таки хорошо, что было землетрясение.

Бред все это. Привыкнуть к землетрясениям невозможно. После толчка, пусть самого слабого, ждешь второго, и не знаешь, какой силы он будет. Это страшнее, чем ждать второго захода бомбардировщиков, потому что и под землей не зароешься, и не прикроешь своим телом ребенка. А если за ночь происходит не два толчка, а двадцать?

Это правда, что ташкентцы мужественно переносят бедствие,— и в самые трудные минуты, подчас рискуя жизнью, остаются на своих постах. Об этом пойдет речь ниже, и, будь моя воля, наградил бы каждого ташкентца почетной медалью, как за оборону города во время войны. Но именно за то, что они мужественно выносят огромные трудности и величайшее напряжение.

Это правда, что Ташкент не знал и не знает паники или малодушия, правда, что он станет сказочным городом, зеленая зона которого в самом центре будет в несколько раз больше знаменитого английского Гайд-парка. Но пока еще повсюду палаточные городки. Это очень романтично — палаточный городок. Ассоциируется с туризмом, пионерскими лагерями, чудятся река, лес,

отдых. Но это не то. В этих палатках температура порой больше сорока. И они долго удерживают тепло, и трудно в таких условиях заснуть, и трудно встать на работу. Это ведь не день, не два. Месяцы.

Я расскажу о том, как живет только один отряд героического города — железнодорожники. И не потому лишь, что мне особенно близки и дороги эти люди, чья профессия и в обычные мирные дни требует мужества. Дело в том, что на их долю в ташкентской трагедии выпала наиболее трудная роль.

Ташкент — это ворота, узкая горловина, через которую идет основной поток грузов из центра страны в Узбекистан, Киргизию, Туркмению и Таджикистан. Через эти же ворота идет грузовой поток четырех среднеазиатских республик в другие районы страны, в десятки стран мира, которым они поставляют свою продукцию. Эти потоки нельзя ни остановить, ни задержать. Чтобы справиться с перевозками, в обычное время железнодорожники Ташкента работали с полной отдачей.

После землетрясения нагрузка увеличилась в несколько раз. Из ста девяти тысяч квадратных метров жилой площади, разбросанной по всему городу, пострадало восемьдесят тысяч. Кроме того, пострадали Управление Среднеазиатской дороги, эксплуатационное отделение, станционные, вокзальные здания, к которым подведены сложные подземные и воздушные коммуникации, железнодорожные больницы, учебные заведения, детские учреждения. Все это требовало немедленного восстановления. Именно немедленного, ибо без связи, централизованного управления железнодорожными стрелками, которым оснащен Ташкент, диспетчерской и других служб движение поездов немыслимо. Столь же немедленно требовалось создать условия для отдыха тем, кто лишился крова, а это семьсот пятьдесят семей. Значит, ташкентским железнодорожникам, кроме основной работы, пришлось взять на себя огромное скоростное строительство, площадкой которого является весь город от края и до края.

Но и это не все. Пятнадцать советских республик, Москва, Ленинград и другие города поспешили на помощь столице Узбекистана. На заводах и фабриках страны заказы для нее выполнялись вне очереди, грузились вне очереди, поезда пропускались на правах пассажирских. Огромные потоки рабочих, студентов, проектировщиков, различного рода специалистов устремились на помощь пострадавшим. Строительные материалы, механизмы, машины, оборудование, и все это в одну точку — в Ташкент.

Как же избежать хаоса на узле, переработать этот немыслимый поток и не закупорить среднеазиатские республики?

Проблемой ташкентского железнодорожного узла занимались Центральный Комитет и правительство, руководители Узбекистана, министр путей сообщения.

Не было на ташкентском узле хаоса. Ни один поезд, шедший в среднеазиатские республики, не был задержан. Ни одна строи-

тельная армия пятнадцати республик не могла бы предъявить претензии дороге. В восстановлении жилого фонда ташкентские железнодорожники перекрыли мыслимые нормы, оставив позади все строительные организации города.

Это результат талантливо проведенной организационной работы, смелого решения сложных инженерных проблем, большого напряжения духовных и физических сил рядовых железнодорожников.

Восемь маленьких станций, полукольцом облегающих Ташкент, были расширены, и все вместе составили ташкентский узел. Одна из них стала грандиозным по размерам и насыщенности техникой грузовым двором, каких не знали железные дороги. Строительство узла не имело единого пускового срока. В эксплуатацию вступали каждый новый подъездной путь, каждый пакгауз в отдельности. Таким образом, одновременно с ростом грузопотока рос и фронт его переработки.

В момент тяжелого испытания Управление Среднеазиатской железной дороги оказалось боевым, подвижным, инициативным органом, способным решать сложные вопросы государственного масштаба. Внешне управление дороги похоже на штаб, ведущий сражение. Израненное, с десятками кабинетов, готовых рухнуть, откуда переселились люди в вестибюли и коридоры нижних этажей вместе со своими столами, шкафами, телефонами, селекторами, это здание с глубокими трещинами и есть боевой штаб дороги и ее стотысячного коллектива, которым двадцать лет руководит человек большой души, образованный, одаренный и удивительный, член ЦК Узбекской компартии Азиз Мовлянович Кадыров. Говорит он медленно и тихо, слова его весомы и убедительны. За двадцать лет никто не знает случая, чтобы он повысил голос. И это спокойствие, уравновешенность даже в самые острые моменты передаются окружающим.

За последние годы в управлении дороги не объявлено ни одного взыскания. Но сотни людей премированы и получили благодарности, ибо в эти же годы Среднеазиатская неизменно занимала первое или одно из первых мест на сети дорог СССР.

Партийный комитет дороги не разобрал ни одного персонального дела, потому что их нет. По тем же причинам бездействовал товарищеский суд. Не только в управлении, но и во всем стотысячном коллективе дороги искоренены пьянство и выпивки. Это было сделано несколько лет назад решительно и мудро. Операция, хотя и рассчитанная не на один месяц, но все-таки на короткий срок, многим казалась рискованной. Ее провели блестяще. Кадыров сказал: «Выпивка одного машиниста, диспетчера, стрелочника, любого человека, связанного с движением поездов, может стоить жизни сотням. Чтобы предотвратить это, мы вправе идти на любые меры».

Начал действовать неизданный, суровый закон: увольнять каждого, кто явится на работу выпившим или после вчерашней

выпивки. Если человек выпил вчера, сегодня он не работник. От него исходит угроза безопасности движения. Перед каждой поездкой с машинистами, помощниками, кондукторами по одной-две минуты разговаривал нарядчик. Малейшего признака спиртного было достаточно, чтобы отстранить их от работы. Так же поступали с работниками других профессий, будь то слесарь — «золотые руки» или «незаменимый» бригадир. Так с болью поступали и тогда, когда попадал впросак и человек в принципе непьющий. Так поступали и в случаях, когда отстранение от работы угрожало срыву графика движения поездов, выполнению плана или любыми неприятностями.

Оказалось, «потери» дорога понесла ничтожные, не смогла использовать даже малого резерва, который готовила на случай возможных увольнений. С выпивками было покончено.

На дороге действует система, являющаяся большим стимулом для каждого. Подобно тому как в армии положено через определенный срок повысить человека в звании, так и здесь следят за ростом людей. И молодой заместитель начальника пассажирской службы Гельям Захитдинов, и такой же по возрасту заместитель начальника внеклассной станции Ташкент Насым Усманов несколько лет назад, поступая на работу дежурными по разъезду, знали, что не будут забыты и от них самих зависит дальнейший жизненный путь.

На Среднеазиатской люди верят друг в друга. Никто никого не подсиживает, нет склок. Здесь такая атмосфера, что, попади сюда склочник средней руки, он обязательно перевоспитается. Ну а закоренелого просто, наверное, выгонят. Мне рассказали такой случай.

Приходит к Кадырову один из новых работников и говорит:

— Такой-то сотрудник сказал о вас то-то и то-то.

— Ах, как нехорошо! — возмутился Кадыров и попросил секретаршу пригласить этого сотрудника.

— Мне можно идти? — торопливо поднялся жалобщик.

— Зачем? — ответил Кадыров.— Сейчас он войдет, вы при нем повторите все, что рассказали.

Тот растерялся.

— Вы считаете, что он сказал обо мне неправду? — спросил Кадыров.

— Конечно.

— Так вот и надо было объяснить ему это. А теперь и я послушаю, как вы это сделаете.

Когда вошел приглашенный, Кадыров сказал ему:

— Извините, пожалуйста, надобность в вашем присутствии миновала. Ваш новый товарищ по работе,— показал он на жалобщика,— дал мне необходимую справку.

Новый работник оказался хорошим специалистом, да и человеком неплохим. Он воспринял дух дружбы, царивший в коллективе. Спустя год сам он и рассказал товарищам эту историю.

Когда у человека беда, ему помогут, пожалуй, в любом советском коллективе. На Среднеазиатской заботятся друг о друге, когда никакой беды нет. При мне заместитель начальника дороги Виктор Васильевич Приклонский уезжал в срочную командировку. Ехать предстояло на машине по горной дороге. Прощаясь с ним, Кадыров сказал:

— Я тебя прошу ехать не быстро.

— Да да,— ответил Приклонский, явно не придавая значения этим словам.

— Нет, Виктор Васильевич, пожалуйста, я тебя очень прошу, дорога горная...

Так душевно можно просить взрослого сына, которому уже не прикажешь, но можно надеяться, что из уважения к отцу он не ослушается. И все это очень естественно, по-хорошему, по-домашнему, что ли.

За несколько дней до этого Приклонский приехал в управление после очередного толчка и увидел во дворе связистку, прятавшую слезы. Кто-то сказал, что в ее районе сильные разрушения, и она беспокоится о ребенке и муже.

— Садись, поедем,— сказал Приклонский.

Оказалось, что дома у нее все благополучно. Приклонский — первый заместитель начальника дороги. Человек огромной энергии, инициатор многих больших дел, решительный и находчивый, Кажется, нет переплетения проблем, которые бы он не свел к простым и ясным. У него уйма дел. Что же ему, из-за одной связистки терять драгоценное время! Ну на худой конец, отпустил бы с работы и дал машину. Пусть едет.

А вдруг дома ее действительно ждет удар? В такой момент кто-то сильный должен быть рядом. Это не жест, не рисовка. И не индивидуальное качество одного-двух человек. Так живут и работают начальники служб Абдулла Азимович Азимов, Иноят Рахимович Шабурдахимов, один из руководителей дороги, которого называют человеком-энциклопедией, Александр Георгиевич Вареник и другие. Таков дух, такова атмосфера, долгими годами насаждаемая Кадыровым. Когда люди говорят о его скромности, встает облик коммуниста ленинской гвардии. Его дом разрушен при первом толчке. Четвертый месяц вместе с семьей он живет в палатке, где отдохнуть довольно трудно. Уже отремонтированы десятки домов железнодорожников, уже переселились из палаток сотни семей. Квартиру Кадырова начали ремонтировать в самую последнюю очередь. Так он приказал, отправляя рабочих, когда они пришли в первый день после толчка, чтобы произвести капитальный ремонт. И это тоже не рисовка. Это его существо. При тайном голосовании в партком вот уже много лет против него чаще всего голосует только один человек из трехсот пятидесяти. И по доброй улыбке Кадырова, когда объявляют результаты подсчета, люди понимают, кто этот один.

Стиль работы штаба дороги деловой, творческий, естественно,

сказывается на производственных участках. Бывший машинист, а ныне главный инженер тепловозного депо Марк Михайлович Шапиро показал мне свое хозяйство, и стало ясно, почему это депо является школой тепловозников всей страны, почему именно здесь был проведен международный симпозиум по эксплуатации тепловозов: высока культура труда, большие успехи, дружеская атмосфера.

Вся жизнь и работа ташкентских железнодорожников свидетельствовали: если грянет беда, они будут стойки, мужественны и на каждого можно будет положиться. Вот как они встретили беду.

ПЕРВЫЙ ТОЛЧОК

После часа ночи на телефонном узле дороги работа, главным образом, с диспетчерами и станциями: идут служебные переговоры, связанные с движением поездов. Время от времени звонят Москва, Алма-Ата, Душанбе... Работы немного, и дежурят всего шесть телефонисток.

Оля Простомолотова сидела за столом заказов. Она заполняла бланки, вписывая в них названия станций. Знала: перед самой сменой одновременно начнут звонить все диспетчеры, заказывая подряд все станции. И будут сердиться, что она занята. Если заполнить бланки заранее, все пойдет как по конвейеру.

— Девочки, пора прибираться,— сказала старшая по смене Маша Астахова.— Откуда эта пыль?

Она не договорила. Все смешалось. Вздрогнули аппараты, качнулись стулья, затрещали стены, посыпалась штукатурка, погас свет. Стол, за которым сидела Оля, рванулся в сторону, наклонился, с него упала тяжелая застекленная рама с расписанием и со звоном разбилась. Из большого аквариума Олю обдало водой, забились на полу рыбки. Где-то сбоку висели провода, и они ударили искрами, точно десятки коротких замыканий.

Оля закричала не своим голосом, и все телефонистки вскрикнули, и все это смешалось с общим грохотом и треском из внутреннего дворика, куда падали стекла и кирпичи с верхних этажей. Было темно, но багровое зарево струилось в комнате, и, точно кровавые глазницы, сверкали более ста маленьких красных лампочек, сигнализирующих о неисправности аппаратуры.

Неожиданно зажегся свет, и это тоже было как удар, и снова все вскрикнули. Увидели трещины на стенах, смещение аппаратуры. Поняли: землетрясение.

Со всех концов города, оставив во дворах и на улицах семьи, бежали в управление дороги командиры транспорта. Бежали начальники служб, отделов, секторов, участков. Бежали руководители депо, дистанций, околотков.

Через пятнадцать минут после землетрясения на всей Среднеазиатской была восстановлена связь. На коммутатор забежал

начальник службы связи Георгий Сергеевич Нахалов. Телефонистки бросились к нему, будто к самому родному. По крайней мере, скажет, что теперь делать. Впрочем, что делать, и без того ясно: немедленно бежать домой. Почти у всех телефонисток дети, семьи. Что с ними стало? Но мысль — бежать домой — не пришла в голову телефонисткам. Как только ожил коммутатор, сотни абонентов потребовали связи. «Задержите движение поездов через мосты!», «Проверьте действие светофоров!», «Доложите о состоянии централизованных стрелок!» — сотни совершенно неотложных указаний и вопросов. Надо действовать быстро и точно, ни на что не отвлекаясь. Надо немедленно соединять людей для телефонных переговоров. Шесть телефонисток и еще Полина Павленко, находившаяся на бюллетене, но уже успевшая прибежать, работали с нечеловеческой нагрузкой. Для такой работы надо человек тридцать.

Работала с удивительной быстротой Оля. Как только появилась связь, набросилась московская телефонистка:

— Что вы там делаете, почему не отвечаете, землетрясение у вас, что ли?

— Да, землетрясение.

— Неуместные шутки, давайте дежурного по управлению...

Оля работала и тихо плакала. Дома Владик, Валерик, мать да еще Вовка. Вовке полтора года, сестра оставила. Будь дома все благополучно, прибежал бы муж, успокоил бы... А может, и он на службу умчался...

Плакала, пряча слезы, соединяя абонентов, Галка Пушкарская. Дома мать, отец, два брата. Дом маленький, одноэтажный, разве устоит...

Ближе к девяти часам начала подходить смена. И те, кто приходил, сразу включались в работу, но и ночная смена оставалась на своих местах, потому что работы было немыслимо много. К девяти утра явились все телефонистки, которым положено было явиться, и ночная смена поднялась, так как для всех не хватало рабочих мест.

Оля бежала домой и не видела, что делается по сторонам. А во дворе своего дома обнимала детей, заливаясь слезами, потому что все были живы и никто не пострадал. И она не думала о том, что жить теперь негде, пока не привезли палатку.

Через день она снова дежурила. И опять были толчки, и опять треск и грохот, и так изо дня в день или из ночи в ночь. И были такие ночи, когда толчки повторялись по двадцать раз, и так из месяца в месяц, и уже больше шестисот толчков, точно шестьсот ударов иголки в сердце. Но никуда она с коммутатора не уйдет, потому что это ее коммутатор и здесь ее коллектив, где она выросла.

Она ходит на работу, а дома, как и все ташкентцы в эту пору, консервирует персики, виноград, помидоры, потому что из-за этого землетрясения не намерена сидеть зимой без свежих фруктов

и овощей, и ходит в универмаг, потому что обувь на ребятах горит и самой ей и мужу надо сшить кое-что для лета, и не пропускает ни одного фильма, потому что землетрясение и без того приносит ей большие беды, и не дождется оно, чтобы Оля отказалась от кино.

СКОЛЬКО МОЖНО НЕ СПАТЬ

Счастье поздно пришло в дом старого Алимджана. У него был ишак, и всю жизнь они работали вместе. Всю жизнь они перевозили чужое добро. Жили в перегороженном сарае. Одну половину занимал ишак, вторую — Алимджан с семьей.

Автомобили всегда были врагами Алимджана. Они настигали его неожиданно, гудели, грохотали, и вместе с ишаком он бросался в сторону, и держал животное, чтобы оно не испугалось, и посылал проклятия вслед машинам.

Машины он ненавидел. Но главным его врагом были поезда. Они внушали страх. Появлялись, как вихрь, неслись со страшной скоростью, и земля под ними дрожала. Каждый раз, когда надо было пересечь дорогу, он останавливал ишака, подходил ближе к полотну, долго смотрел вдоль линии то в одну сторону, то в другую, прислушивался, а потом с нестарческой поспешностью хватал за повод, хлестал ишака и бежал через пути, уже не глядя по сторонам, боясь, как бы животное не заупрямилось и не остановилось на рельсах. Бежал, подталкивая рукою ишака подальше от этой проклятой дороги.

Когда приходилось пропускать поезд, он издали смотрел на паровоз, на людей, которые сидели внутри этого чудовища, и поражался им.

И вот его сын — машинист. Один из лучших машинистов тепловоза на Среднеазиатской железной дороге. Старик гордился своим сыном. С тех пор как собственными глазами увидел его в окне тепловоза, счастье распирало Алимджана и он не мог нести его в себе и делился этим счастьем с людьми.

Уже давно расстался старик со своим ишаком, но сидеть дома не мог. Шел туда, где можно было встретить людей, останавливался возле них, озабоченно озирался и, как бы между прочим, говорил: «Надо торопиться, надо встретить сына, моего сына. Ису Мухамедова». И если никто не задавал вопросов и не спрашивал, кто его сын и откуда едет, пояснял: «Мой сын машинист тепловоза, сегодня у него трудная поездка, надо мне поторопиться, чтобы встретить его».

Он гордился сыном. Но полное счастье старик познал незадолго до землетрясения. В том месте, где был его сарай, Иса начал строить дом. Старый Алимджан помогал ему, и по узбекским обычаям помогали все родственники, и все родственники жены Исы — Дильбар, и даже товарищи его приходили из депо, чтобы помочь строить дом.

Когда дом был готов, все, кто строил его, пришли на новоселье и будто только там увидели, какой хороший дом они соорудили, с отдельным ходом на половину стариков.

Радовался Иса Мухамедов. Дильбар, которая готовилась защищать кандидатскую диссертацию, получила наконец уголок, где сможет спокойно работать, и сам он, студент-заочник, тоже будет хорошо учиться, потому что для их детей есть теперь отдельная комната.

И вот нет у Исы больше дома. И нет дома у старого Алимджана на том месте, где стоял сарай. Дом рухнул, весь до самого основания, и счастье еще, что никто не пострадал. Как одному из лучших машинистов, Исе Мухамедову создали и лучшие условия, какие можно было создать в такое трудное время. Его не стали посылать в палатку, где дышать нечем и где трудно находиться его маленьким детям и старикам, а предоставили кабинет начальника депо. В кабинете поставили перегородку, чтобы можно было поселить туда еще одну семью передового человека депо, у которого тоже маленькие дети и престарелые родители. Казалось, был такой большой кабинет, а перегородили, внесли кое-что из мебели, и стало тесно. В первую поездку после землетрясения Иса выехал в двенадцать. А к двум часам температура воздуха перевалила за сорок. В кабинете машиниста — пятьдесят. В машинном отделении — шестьдесят пять. Совершенно обессиленный дотащился до оборотного депо. Думал, перекусит и заснет как мертвый. А не спится. Глаза слипаются, а спать не может. Должно быть, сказалось нервное напряжение последних двух дней.

В конце концов он заснул, но что-то мешало ему, и он рано поднялся. Утром взял поезд на Ташкент.

Людям везет. Людям выпадают поездки ночью. А у него опять впереди бесконечный палящий день. Похоже, жарче, чем было.

Опять медленно тащится поезд: были толчки, и идет проверка какой-то аппаратуры, путей и мостов. Дышать нечем. Нельзя прикоснуться к металлу — обжигает. Даже за рукоятку контроллера нельзя взяться. Надо зайти в машинное отделение проверить работу двигателей. В такую жару все может случиться, надо быть особенно бдительным. На остановке пошел в это пекло. Стучит в висках, горит в горле. Мокрая одежда плотно облегает тело. Надо все это вынести. Только несколько минут потерпеть, чтобы потом спокойно ехать.

Он выскакивает на площадку, жадно пьет перегревшуюся воду из чайника. Дежурный дает отправление, и Иса быстро набирает скорость: пусть хоть ветерок продует. И вот раскаленный ветер сечет лицо. Надо спрятать голову от обжигающей струи, а в кабине невмоготу.

Восемь часов длится поездка, а до Ташкента далеко. Никто не имеет права заставить машиниста работать больше нормы. Даже министр путей сообщения. Если норма вышла и машинист

потребовал смену, диспетчер обязан немедленно поставить поезд на запасной путь и вызвать другую бригаду. В противном случае машинист не отвечает, что бы ни произошло, даже крушение. Отвечать будет диспетчер.

...Монотонно стучат колеса. В такт ударам покачивается тело машиниста. Перед глазами несутся шпалы и телеграфные столбы. В одном ритме: шпалы, столбы, шпалы, столбы...

— Зеленый! — кричит помощник перед каждым светофором.

— Зеленый! — отвечает машинист, отрываясь от оцепенения ритма.

И снова шпалы, столбы. Мутит раскаленную голову и все-таки тянет ко сну. Он вскакивает и дает сигнал бдительности: короткий, длинный. Это для себя. Нельзя терять бдительности.

На первой же остановке звонит диспетчеру:

— Если будешь задерживать, немедленно потребую смену.

— Потерпи, родной,— просит диспетчер. Ему совестно перед машинистом, но ничего он не может сделать. Впереди много поездов, и держит их, кажется, один паршивый мостик, где что-то стронулось с места и ехать по нему надо со скоростью пять километров в час.

И опять, как в тумане, столбы, шпалы. Мокрый и обессиленный машинист держится. Он не задремлет, не потеряет бдительности. Будет работать за счет нервов, за какой угодно счет, но не запросит смены, как не запросит ее солдат во время боя. Слетела с глаз сонная пелена.

— Зеленый!

— Зеленый!

Двенадцать часов длилась поездка. Сдав машину, тревожно заспешил домой. Ведь были новые толчки. Он только убедится, что все благополучно, и ляжет спать. Дома его окружили дети, семья, и, оказывается, возникли десятки проблем, которые разрешить может только он. Надо что-то делать с отцом. Каждое утро старый Алимджан молча уходит на пепелище и сидит там под палящим солнцем и, покачиваясь, напевает старинную и грустную узбекскую песню, пока не заходит солнце.

Надо как-то устроить быт, потому что кабинет начальника депо не имеет кухни и ничего здесь не приспособлено. Защита диссертации на носу, и надо как-то помочь Дильбар, снять с нее хоть часть работы по дому.

Спать удалось лечь поздно вечером. За перегородкой еще не спали, и горел свет. Люди разговаривали тихо, но все было слышно, хотя Иса и старался не прислушиваться. Когда улеглись наконец все и погасили свет, и он уснул, громко заплакала Гульнара. Дильбар стала ее успокаивать, дала напиться, но проснулись и Лейла, и дети за перегородкой. И всю ночь, стоило заплакать одному ребенку, как схватывались остальные дети и просыпался весь кабинет начальника депо, и старшие, раздраженные, давали советы младшим, как успокоить детей.

Все-таки Иса хотел поспать еще немного, потому что впереди был трудный день и предстояла очередная поездка. И когда пришло время, он снова отправился в рейс.

Он работал так не один месяц, испытал сотни толчков, не знал, сколько еще будет, но он все пересилит, сколько бы их ни было, потому что он — машинист Среднеазиатской и не уронит этого звания, и потому в Ташкент он возит лес и бетон, из которого уже заложили фундамент дома, где он получит квартиру.

ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ

Известно, что все стенные часы Ташкента остановились в одну и ту же минуту. На транспорте много часовых и других механизмов, от которых зависит безопасность движения поездов. После каждого толчка их надо проверить.

Большую проверку ведет и служба пути. Рельсы, полотно, опоры мостов могут сместиться. После каждого толчка путейцы должны немедленно дать точный ответ: можно ли пропускать поезда? Несмотря на большое напряжение, было решено, что в Маргелан должен ехать лично начальник службы движения Александр Петрович Синягин. Дело в том, что подошло время паводка и надо было надежно закрепить опоры двух мостов близ Маргелана. Один из них вел к тупиковой ветке, где находился крупный цементный завод, главный поставщик цемента для столицы Узбекистана, и угольные копи, а другой стоял на важнейшей для Ташкента линии.

На месте Александр Петрович убедился, что путевые и мостовые обходчики внимательно следят за уровнем воды в руслах, которые вскоре после паводка пересыхают, но сейчас представляют опасность. Воды пока было мало, но если и поднимется она, как обычно, на метр, ничего страшного не случится. И все-таки учитывая важность объектов, он дал указание поставить дополнительное укрепление опор.

Поужинать собрались, когда стемнело. Человек десять уселись в путевом бараке и начали есть, но раздался далекий, будто нарастающий, гул воды. Люди поняли, что такого на их веку еще не было.

...Промчится вагон и точно рентгеном просветит рельсы, отметит ослабевшие болты, укажет осадку балласта. Это лаборатория на колесах со сложной современной аппаратурой. Не напаслись еще таких вагонов на сотни и сотни тысяч километров железных дорог страны. Да и тележка-дефектоскоп, сооружение более скромное, пока обслуживает лишь главные магистрали. Многие тысячи километров путей остаются еще на полном попечении путевых обходчиков.

Кавый Хасанов — путевой обходчик. Каждый день или каждую ночь, заступив на дежурство, он отправляется в путь по

шпалам. В руках тяжелый ключ-молоток и лопата, за спиной сумка с инструментом и запасными деталями, на поясе — сигнальные флажки и рожок.

Солнце Ферганы. К одиннадцати накаленный воздух звенел. Кавый Хасанов шел, время от времени вытирая пот, стараясь не смотреть на солнце, чтобы не потерять остроту зрения. Его внимание привлек извилистый волосок на рельсе. Не то тончайшая былинка, не то риска. Присел, поскреб ногтем. Достал из сумки вибрационный молоточек и стукнул. Молоточек не подпрыгнул. Кавый испугался. Если рельс целый, молоточек должен вибрировать. Ударил еще раз, и опять глухой стук. Значит, трещина, значит, авария или катастрофа. Оградив, как и положено, поезд петардами с обеих сторон, Кавый сообщил на ближайшую станцию о случившемся.

Такое напряжение у Хасанова за последние три года было один раз. Обычно же он шагает по шпалам и в безумную жару, и в дождь, и светит фонариком, если идет ночью, и осматривает свое хозяйство. Восемь километров в одну сторону и восемь — в обратную положено пройти за пять часов. А два часа остаются для ремонтных работ.

В его инструментальной сумке в особом отделении лежит зеркальце. Хасанов получил его на складе вместе с петардами, молотком, сигнальными флажками. Это один из важнейших его инструментов, положенных по табелю.

Он шагает по шпалам, то и дело приседая у стыков, ловит зеркальцем солнечного зайчика и направляет в стык между рельсами. Только так можно увидеть, есть ли там трещина. Чтобы не ложиться щекой на землю при осмотре нижней части головки рельса, он тоже пользуется зеркальцем.

Для всех людей тысячи километров пути совершенно одинаковы. Так и сказала ему старшая дочь, когда он принес домой Почетную грамоту. Наивная девочка, хотя уже перешла в десятый класс. «Те же шпалы и рельсы, и больше ничего». Он всем на околотке рассказывал, как остроумно ответил своей старшей дочери. «У миллионов людей,— сказал он ей,— все одинаковое: глаза, уши, рот, нос... У всех одно и то же, но нет двух одинаковых. Любой отличит одного человека от другого. Вот так же легко отличить участки каждого обходчика. Они совершенно разные».

Кавый Хасанов был счастливый человек. Его любили люди. Особенно любили Мингелсания, Рафида, Расима, Минианглян, Магдан, Мадхад и Флорида. Мингелсания — это его жена, остальные — его дети: три дочери и три сына. У него был дом из четырех комнат, обставленных резной мебелью. Строить дом ему помогали жена и старшие дети. Мебель делал с помощью младших. Они перетаскивали с места на место выструганные планки, убирали стружки и понимали, какие важные задания получают от отца. Они гордились тем, что трудятся наравне с ним. Когда

он говорил трехлетнему Мадхаду, что пора кончать работу и идти ужинать, «мы с тобой честно заработали ужин», малыш солидно отдувался, и на равных правах с отцом тщательно мыл руки, и ел степенно с чувством собственного достоинства.

Семье Хасановых жилось легче, чем другим, потому что в доме было много рабочих рук. Ну что стоит помыть посуду или убрать в квартире, если за это берутся сразу человек пять! При таких выгодных условиях ребятам было легко учиться, так как оставалось много свободного времени. Кроме того, младшие в любую минуту могли получить консультацию старших. Естественно, троек ребята почти не приносили. Все это дало возможность матери тоже пойти на работу, правда, на легкую, но все-таки подспорье в доме. В семье было много радостей, и тоже потому, что она большая. Скажем, одному делается обновка, а радуются-то все. Рано или поздно каждый получал обновку, и каждый раз общая радость.

Да что там обнова! Незадолго до своей гибели Кавый Хасанов вернулся с работы позже обычного. У калитки его ждала сияющая Расима с табелем. Он увидел много пятерок и две четверки и молча обнял дочь. Он знал, что Расима перейдет в девятый класс, но все в семье ожидали меньших оценок. Значит, ошиблись. Значит, не отстает она от его гордости — Рафиды, которая уже готовится в медицинский институт. Он стоял, прижимая к себе дочь, ее волосы цеплялись о его щеку, он пригладил их, и она вдруг расплакалась. Он не успокаивал дочь. Понимал: плачет оттого, что видит, какую радость принесла ему. В этом было его счастье.

Чаще всего люди не сознают своего счастья, пока не потеряют его. Кавый Хасанов каждый день жил своим счастьем, ощущая его каждой клеточкой. Ему очень везло в жизни. Он должен был умереть на войне, потому что после таких ранений, какие получил, люди не выживают. Врачи спасли его. Это счастье.

Счастье видеть глубокое уважение товарищей, ощущать их горячие рукопожатия, их любовь, завоеванную трудом, честностью, добрым характером. В этом было счастье Кавыя. Ему всегда везло в жизни. Он прожил с женой девятнадцать лет, так и не узнав, как в ее устах звучит упрек, не слышал раздражения в голосе. Может быть, в этом она только подражала ему, но он не доискивался причин. И было у них общее великое счастье — дети. Хорошие дети.

У него было много радостей и, может быть, самая большая — Флорида. Флориде полгода. Я видел ее уже после смерти отца. Удивительная девочка. Крепыш с рекламной картинки. Красивая, лукавая, веселая. Самая веселая в доме.

Горе надвигалось от солнца. Оно жгло огнем и растопило вековые льды. Озеро Яшин-Кул, что значит «Молниеносное», оправдало свое название. Прорвав подтаявшие берега, ринулось с высоты трех тысяч метров в ущелье Исфайрам, и миллионы

тонн воды восьмиметровым валом устремились на Андижанскую и Ферганскую области.

Вал видели многие. Сначала до людей доходил гул, точно такой, как перекатывающаяся щебенка, но усиленный в сотни раз. Гул нарастал с противоестественной скоростью, пока, как сказала мостовая обходчица Матрена Гаращенко, не наступил конец света. Вал был черный с двухметровым бурлящим гребнем, а сверху не то пыль, не то пар или дым до самых облаков, и вся эта бушующая стена от земли до неба неслась со скоростью пассажирского поезда, сшибая дома, мосты, тракторы. Вернее, она не сшибала, а накрывала, рушилась на них, и только по обломкам видно было, во что они превращались.

Деревья, крыши домов, рельсы вместе со шпалами выпрыгивали из пены, какая-то сила подбрасывала их, а лавина доставала, заглатывала, подгребала под себя, кромсала и точно в страшной игре снова швыряла в воздух, чтобы тут же захватить и еще мельче перемолоть гигантскими валунами. Вода ревела, скрежетала, выла.

Центральный Комитет Компартии Узбекистана поднял в воздух самолеты и вертолеты. По боевой тревоге в район бедствия устремились войска и саперная техника, пришли в движение тысячи людей, готовились помещения и больницы для пострадавших, вышли с запасных путей вспомогательные и санитарные поезда, был создан штаб с неограниченными правами.

Вал был еще далеко, еще не доходил его гул до линии Ахунбабаево — Акбарабад, но было тревожно. Дежурный по переезду Арип Камалов вместе с шестнадцатилетним сыном Садыком пошел к мосту. Уровень воды резко поднялся, слышался гул. Это был еще не главный вал, то неслась только его разведка.

Камалов знал, что по ту сторону моста находятся специальный дозор по борьбе с паводком и бригада путейцев вместе с начальником службы Синягиным. Они знают, что здесь делается.

— Скорей! — крикнул он сыну, и они побежали назад к своему дому. Вода настигала их. Камалов отставал от сына, потому что после ранения на войне он прихрамывал. Вода сшибла его и понесла, и Садык не видел этого. Воды было немного, но она неслась быстро, и он никак не мог во что-нибудь упереться. Его перекатывало вместе с камнями. Потом ему удалось все-таки за что-то зацепиться, но по руке ударил камень, и его опять понесло.

Течение усилилось и стало легче, потому что прибавилось воды. Он больше не пытался остановиться, а только старался не захлебнуться и чтобы его не так сильно било. Он подгребал руками, чтобы не снесло на середину потока, и в конце концов его выбросило на камни в километре от того места, где сшибло. Подняться Камалов не мог, так как был сильно избит, но, понимая, что оставаться на месте нельзя, снесет, он пополз, стараясь меньше тревожить раненную на войне ногу.

Садык не оставил бы отца одного, но дело в том, что без

помощи оставалась мать. Вместе с ней были его сестры и братья: тринадцатилетняя Қария, Машрап, Абдумутали и двухлетняя Майрамхан. Издали он увидел, что они вышли из дома и стоят возле суры — широкой тахты из досок, врытой в землю. Он бежал уже по воде и стал изо всех сил кричать: «Убегайте, убегайте, вода!» Мать быстро поставила на суры двух младших, и Садык бросился к ним, но в это время вода сбила Қарию и Машрапа, стоявших на земле. Садык рванулся спасать их, но и его сшибло, и он успел схватить только десятилетнего Машрапа. Теперь всех их несло под мост. Впереди билась Қария, потом ее, должно быть, ударило чем-то и она исчезла. Садык больше ее не видел. Труп девочки нашли на следующий день. А сам он вместе с Машрапом выбрался из водоворота, они переплыли через железную дорогу и выкарабкались на высокий берег.

В тот момент, когда их сбило возле дома, мать тоже не удержалась. Ее затянуло под суры. Она уцепилась за настил, через который еще не перехлестывала вода, и одной рукой старалась дотянуться до детей. Двухлетняя Майрамхан и пятилетний Абдумутали держались друг за друга и не плакали. Возможно, страх лишил их голоса. Вода ударила в днище суры, его стало опрокидывать, и в каком-то диком прыжке она рванулась к детям и схватила обоих. Их понесло.

Не понять и не объяснить силы и воли этой узбекской женщины. Она удерживала за спиной детей и плыла без рук, то отталкиваясь ногами от дна, то падая на колени, чтобы дети не захлебнулись. Ее несло и крутило, а она боролась с отчаянием безумной и все дальше уходила к берегу.

Берег был близко. Позади на нее неслась шпала. Черная, пропитанная креозотом тяжелая шпала. Женщину несло в каком-то боковом потоке, и в этом же потоке крутило шпалу, которая приближалась неудержимо.

Она не знала, несет на себе трупы детей или они еще живы, но, если они живы, шпала обязательно убьет их. Она сорвала детей со спины и, уцепившись за них, выбросила вперед руки. Шпала ударила в спину, и женщина потеряла сознание. Ее вынесло на берег. Она была живая. Детей понесло дальше, их трупы нашли за несколько километров от второго моста, где дежурил Қавый Хасанов.

Вместе с ним был путевой обходчик Калимджан Турсунаев. Они служили на одном околотке, их участки находились рядом. Работа была у них одинаковая, и они пользовались одинаковым уважением. Қалимджан был на пятнадцать лет младше своего товарища, ему исполнилось недавно тридцать два, и у него было трое детей. Он не знал столярного дела, как Қавый, но был садовником, и весь его двор увит виноградом, увешан изумительными по красоте огромными гроздьями. А рядом персики, внизу помидоры, огурцы. Но одна страсть у обоих обходчиков, одна великая радость — дети.

Кавый и Калимджан шли к мосту. Два часа назад проехал на дрезине старший дорожный мастер Малеванный, просил усилить бдительность: в горах ливень, интенсивное таяние, уровень воды будет повышаться. Путевые рабочие еще утром надежно укрепили устои моста.

Появились обе мостовые обходчицы Матрена Гаращенко и Агриппина Апенкина. Вода прибывала с угрожающей быстротой, и все четверо заторопились к путевой будке, чтобы позвонить на станцию.

Они услышали гул воды, похожий на горный обвал. Их догнал поезд, который шел со скоростью семьдесят километров, хотя на этом участке разрешалось держать не более сорока. Но машинист Константин Сабанин поступить иначе не мог, так как за ним неслась водяная лавина со скоростью шестьдесят километров. Машинист размахивал руками, кричал, чтобы люди убегали в сторону. Помощник машиниста Юрий Гаврилов, издали заметив четырех безумцев, соскочил на нижнюю ступеньку, уцепился одной рукой за поручень, а второй показывал на возвышенность, отчаянно крича: «Назад, назад, вода...» Он пронесся рядом с ними, они услышали его, но и без того было все ясно: оставалась единственная возможность спастись, если побежать на близлежащее возвышенное место. Спастись было легко, и Турсуналиев закричал женщинам, чтобы они быстрее спасались. А сам он вместе с Хасановым бросились в сторону путевой будки, откуда спасения не было. Они понимали, что погибнут, но, должно быть, поступить иначе не могли, потому что вскоре с соседней станции, где ничего еще не могли знать, должен был выйти рабочий поезд, в котором находились сотни железнодорожников и строителей. Поскольку все это происходило в субботу, значит, как обычно, в поезде находились и многие жены рабочих с детьми, которые ехали к родным и знакомым на выходной день.

Должно быть, другого выхода для себя они не видели, потому что их двое, а в поезде сотни, в том числе дети. Конечно, к будке с телефоном мог бы побежать один, а второй мог уйти в сторону, но, наверное, никто из них не хотел идти в сторону. А скорее всего решили бежать вдвоем, потому что с одним в такой момент всякое может случиться. Но было обстоятельство, из которого можно сделать вывод, что ни о чем они не советовались и ничего не решали, обстоятельство, которое заставило их, не раздумывая, идти на смерть.

Когда поезд только промчался, в нем было всего три вагона, и еще все четверо обходчиков стояли рядом, и Турсуналиев гнал женщин, Хасанов, взглянув на воду, закричал протяжно и страшно как не может кричать мужчина, и этот крик, раздирающий душу, смешался с гулом воды. Схватившись за голову, он побежал. Турсуналиев не отставал от него, и оба они скрылись в путевой будке. Что увидал Хасанов, сказать теперь невозможно. Но по всем подсчетам, учитывая время, расстояние, скорость

движения воды, которая несла уже свои первые жертвы, можно сделать единственный вывод: именно в это время здесь несло трупы детей Арипа Камалова.

Для Хасанова это было непереносимо, и это, видимо, было последним толчком к тому, чтобы отдать свою жизнь за спасение сотен жизней. Кавый Хасанов и Калимджан Турсуналиев в мирное время повторили подвиг Матросова. В истории Родины появились еще два сверкающих имени.

Через день после гибели героев их тела доставили на станцию Кувасай, в их дома, к их детям и женам. Хоронили без почестей, без траурного марша. В общем большом бедствии не успели тогда еще разобраться, кто оказался героем. А потом разобрались.

— Мы преклоняемся перед их героизмом, их моральной силой и гордимся ими,— сказал первый секретарь ЦК партии Узбекистана товарищ Рашидов.— Мы представили их к высшей награде и не оставим их семьи. Товарищи Хасанов и Турсуналиев останутся среди нас как борцы, их подвиг всегда будет помогать нашему народу строить жизнь.

Я был в семьях погибших. Видел цветущие виноградники Кулимджана Турсуналиева и чудесный дом Кавыя Хасанова. Мне рассказали: в самый тяжкий момент перед похоронами в комнату зашла соседка с Флоридой. Девочка, улыбаясь, подпрыгивала, что-то ловила руками. Кто-то прошептал: «Уходите скорее».— «Нет,— вмешался стоявший рядом.— Подойдите ближе к матери, пусть посмотрит на свою дочь».

* * *

Услышав шум воды, Синягин бросился к мосту. Он решил перебежать на противоположную сторону. Он бежал, а гул все усиливался, и метрах в пятидесяти от моста он увидел этот поток, ударивший в фермы и сорвавший их с опор.

— Назад! — крикнул он людям, бежавшим вслед.

Сообщив в Управление дороги о случившемся, он всю ночь работал над планом восстановления моста. Утром поток спал. Рельсы на мосту уцелели,и хотя ферм не было, но они повисли на опорах, встав вертикально, как забор. Ему важно было знать, что делается на противоположном берегу, и он полез по этому качающемуся забору, над бурлящим потоком, потому что не считал себя вправе послать кого-либо на такое дело. Он увидел там, что земляное полотно и рельсы длиною в полтора километра снесены. Не осталось следа и от домика мостового обходчика Арипа Камалова, находившегося близ моста. Встретил он убитого горем Камалова, потерявшего в эту ночь троих детей.

Тем же путем, что и сюда, Синягин вернулся на левый берег.

Путейцы, съехавшиеся к мосту, оцепенели от этих смертей на двух мостах и бессмысленного разрушения. Все здесь было неправдоподобно и фальшиво. Многотонные изуродованные мо-

стовые фермы среди опустошенных и мертвых виноградников, разорванные и перепутанные, как клубок ниток, рельсы, вырванные с корнями вековые чинары, исполинскими корнями, неотделимыми для человеческого глаза и сознания от земли, но вымытые и чистенькие, будто насильно обнаженные в своей девственности,— все это было противоестественно и дико.

Люди злобно смотрели на мутные воды, уже потерявшие главную силу, но не сраженные и не утихшие. Воды неслись по руслу, то прижимаясь к камням, то ударяя в валуны, пытаясь сбить их с места и снова увлечь за собой. А валуны отбивались от потока и держались накрепко, и он вздымался, разбитый в брызги, и падал без сил.

Люди молча смотрели на опустошения и на поток, сердца их наливались яростью, и ярость накапливалась, росла, потому что выхода ей не было, и некому было мстить за жестокость.

Люди молчали, и все вокруг молчало, и только шумел поток как единственный полновластный хозяин. И, будто протестуя против этой неправды, Синягин сбросил с себя одежду и в одних трусах вскочил на бульдозер. Еще не все поняли, что он хочет, а бульдозерист уже оказался рядом с Синягиным на своей машине, и раздались выхлопы, сначала редкие и гулкие, потом чаще, пока не зашелся в грохоте двигатель, заглушив поток.

— Пошли! — крикнул Синягин водителю, махнув рукой в сторону противоположного, правого берега.

Мутные воды скрывали дно, и было неизвестно, как оно изуродовано и где образовались ямы, но было ясно, что этих двоих может смыть.

Толпа зашевелилась, надвинулась подковой на бульдозер и как могучий страж пошла вслед за ним. Позади загрохотали еще два бульдозера со стальными тросами и пеньковыми канатами наготове. Подкова разорвалась, пропуская их вперед, и выровнялась, вытянулась вдоль берега.

Поток бился о валки гусениц, машины то проваливались до самых площадок, то выползали и двигались гуськом, рыча и отфыркиваясь, пока не перебрались на другую сторону. Не останавливаясь, пошли к береговой опоре, растаскивая валявшиеся деревья, доски, шпалы.

На обоих берегах все пришло в движение. В тонкие металлические сети укладывали камни и сбрасывали в воду близ опор, укрепляя их основания. Вскоре к левому берегу подошел восстановительный поезд с мощным краном на железнодорожной платформе. Поднялся в воздух бак, по форме и размерам похожий на паровозный тендер, но без потолка и заполненный камнями: стрела вынесла его на двадцать пять метров вперед, и он, качаясь, повис над потоком и рухнул в том месте, которое было для него предназначено. И тут же в воде оказались Гафур Азмабаев, Фаниль Губайдуллин, Садых Муллажанов, Муритдин Турсунов.

С помощью крана они обкладывали бак валунами и связками камней, чтобы намертво закрепить этот фундамент для новой временной опоры из шпал.

И здесь, на воде, и на берегу люди работали, почти не разговаривая, потому что и без того понимали друг друга и говорить не хотелось.

Не было у них распорядка дня, не было определенных часов для сна и еды. Каждый сам улавливал тот момент, когда силы покидали его, а голова больше не выдерживала раскаленного воздуха, и все-таки старался вовремя бросить работу, чтобы самому дотащиться до навеса и, отдохнув немного, снова идти к мосту.

Ночью горел сильный свет, и никто не мог себе позволить в это драгоценное прохладное время спать или предаваться отдыху. Это была не работа, а экстаз людей, одержимых местью за гибель товарищей. Они строили не мост, а монумент погибшим, символ жизни, во имя которой те двое и отдали свою жизнь. Отдали сознательно, величественно, обретя бессмертие.

Люди работали до изнеможения, чтобы не осквернить подвиг и дать жизнь Ташкенту, ибо в то время для Ташкента цемент означал жизнь.

На третий день к мосту пришел Арип Камалов. Горе его было так велико, что он не мог не плакать, и никто не стал его утешать. Но все-таки кто-то обратился к нему и без всякой жалости спросил, почему он не работает. Может быть, это были единственные слова, которые ему были нужны. И он включился в общий ритм и яростно ворочал шпалы и камни, и, когда ему становилось невмоготу, никто не приходил на помощь: в легком труде горя не заглушить.

Люди работали, как в тумане, работали дни и ночи, и они могли бы так работать полных два месяца, на которые было рассчитано строительство, но на одиннадцатый день увидели, что мост готов и можно пропускать поезда.

1966 год

С ЧЕГО ЭТО НАЧАЛОСЬ

Гамс — это фамилия. Это династия рыбаков. У Петра Гамса — четыре дочери и семь сыновей. Один из них, Карл, тоже имел семерых сыновей. Юхан — трех, Эдуард — четырех...

Почти все его дети и внуки родились в поселке Лифляндия на берегу Уссурийского залива близ бухты Ханган. Когда Петр и его попутчики пришли в это место, Лифляндии здесь не было. Была уссурийская тайга. Название поселка они придумали сами. Спустя тридцать лет создали «Новый мир». Эти слова предложил взять из строчки «Интернационала» первый председатель колхоза Юхан Ганслеп. Его поддержали Гамсы — Карл, Юлиус, Юхан, Эдуард... Поддержали Арсентий Марибу, Юхан Тебак, Алексей и Яков Можаевы, Карл Пихель, Александр Армас, Егор Бытко... Рядом с ними надо поставить Вяги Приду, Ивана Армаса, Игната Можаева, Исака Пихеля, Семена Храмцова, Михаила Васке, Ивана Сурвели.

Не всех, кто здесь назван, нам удалось найти в живых. Но сейчас пусть имена их стоят рядом, как стояли сами они, молодые и сильные, стояли насмерть в боях против интервентов на заре революции. Пусть стоят вместе, как вместе боролись за восстановление края, как держались друг друга, строясь под знаменем «Нового мира», как, стоя рядом, слушали весть о гибели своих сыновей на фронтах Великой Отечественной войны.

Их тридцать шесть, не вернувшихся в маленький рыбацкий поселок Лифляндия, куда докатываются волны Тихого океана. В центре поселка, напротив двухэтажного здания правления «Нового мира» у скалистого берега разбит сквер, огражденный тяжелыми корабельными цепями. Перед входом — якоря, и асфальтированная дорожка ведет к монументу, у подножия которого в мраморе высечены их имена.

* * *

Во Владивостоке, куда мы приехали в середине января, было минус три. И весь путь до колхоза — сто двадцать километров на юг вдоль побережья Японского моря, образующего здесь несколько заливов,— проехали в машине с открытым окном. Чистое, хорошее шоссе, слева по берегу Амурского залива — санатории, дома отдыха, пансионаты, только что построенные, многоэтажные, и старого образца, и строящиеся.

Пересекли полуостров Муравьева-Амурского, и залив оказался справа, уже не Амурский — Уссурийский, а вокруг сопки, сопки, то голые, то покрытые лесом с коричневыми листьями дуба, которые не отдает он никаким ветрам. Они лишь сжимаются в горсть, кудрявятся и только поздней весной уже без сопротивления уступают место новой жизни.

Не хотелось ни о чем говорить. Великое творение природы, совершенное и дикое, захватывало, вызывая сладостно-щемящее чувство. Терялось ощущение реальности и времени.

Машина выскочила на крутой подъем, и неожиданно нам открылся «Новый мир». Он лежал где-то внизу, окруженный горами, защищенный со всех сторон, с двух- и трехэтажными жилыми корпусами отличнейшей кирпичной кладки и деревянными домиками, подлежащими сносу, и строительным краном у будущего пятиэтажного, первого из генерального плана застройки. Только спустившись, увидели море, вернее, бухту, тоже хорошо защищенную, точно запахнувшуюся каменной грядой.

Мы узнали настоящее Лифляндии, в обширном кабинете председателя колхоза Ивана Шпарийчука увидели макет совсем недалекого ее будущего и не могли не обратиться к истории.

Почему Лифляндия?

Со времен Екатерины на Саареме, Хиуме и других островах Моозундского архипелага поселились немецкие помещики, принявшие русское подданство. Вернее, помещиками они стали только на островах. Царствовавшая соотечественница щедро наделила их землями, рабочим и домашним скотом, предоставила кредиты. Коренные жители — эстонцы должны были стать у них батраками и издольщиками. Чтобы закрепить за собой крестьян, помещики сдавали им в аренду землю, ставя при этом условие: шесть дней в неделю один из взрослых членов семьи арендатора обязан работать на поле помещика. За это он бесплатно кормил работника все шесть дней и ежедневно еще доплачивал деньгами, которых вполне хватало на шкалик водки. За аренду земли, естественно, помещик тоже назначал цену и не настаивал, чтобы ему тут же платили. Сочувствуя крестьянам, соглашался ждать до осени, пока созреет урожай, и получал от сорока до семидесяти процентов сбора.

В день, когда Петру Гамсу исполнилось двадцать семь, он вместе с другими крестьянами молотил цепом зерно на помещичьем току. И кто-то сказал:

— Когда же ты женишься, Пет?

— А вот когда она подрастет, на ней и женюсь,— показал Петр на Лизу, девочку лет десяти. С тех пор ее никто в деревне иначе не называл, как невестой Пета. И когда люди говорили, «Эй, Пет, вон твоя невеста побежала»,— он не злился, не обижался, а просто не обращал внимания на такие слова. Это был высокий, коренастый человек огромной силы, суровый и неразговорчивый. Никто, конечно, не принял всерьез слова Пета о женитьбе, но, когда ей исполнилось двадцать лет, они и в самом деле поженились.

Когда было уже у них три сына, он решил, что настала пора брать в аренду землю и обзаводиться собственным хозяйством.

Он знал, что такое земля, и знал, как с ней обращаться,

и знал, что с ней делать, чтобы она хорошо рожала. Поэтому решил расстаться с вольной жизнью, взять землю и отрабатывать за нее только у одного помещика, который ему эту землю даст. Решение было твердое, он объявил его жене и отправился в усадьбу Ганса-Иогана, которому сказал, что хочет взять в аренду двадцать пять соток, что платить будет исправно и, как положено по закону, шесть дней в неделю он или скорее всего жена будут отрабатывать на поле хозяина.

Ганс-Иоган хорошо знал Пета и был рад, что тот пришел. Он согласился дать двадцать пять соток самой лучшей земли, расположенной недалеко от ручья, чтобы Пет видел, как уважает его помещик. Но Пет отказался. Нет, нет, ему не нужна самая лучшая. И даже хорошая не нужна — это очень дорого обойдется. Он просит двадцать пять соток на косогоре, далеко от воды, в том месте, где стоит скала Шапка. За эту землю не придется отдавать три четверти урожая, как за хорошую, и цена ей не больше сорока процентов сбора, а обработать ее он сумеет, и через два-три года она станет такой же плодоносной, как и лучшие земли Ганса-Иогана. У него три сына и жена, которая тоже знает толк в земле, и они смогут хорошо обработать свой участок, и смогут наносить достаточно воды для полива помидоров и огурцов; когда придет время, а поливать картошку не надо.

Так и пришел этот день ранней весны, день новой жизни Пета. Он встал, когда было еще темно, и поднял сыновей, и сказал Лизе, хлопотавшей у очага, что пора завтракать. Они поели и взяли с собой еду на весь день, чтобы потом уже не возиться с этим делом и не отвлекаться от работы. Они вышли все вместе, и она направилась на помещичий двор, а ее мужчины — на свой участок земли.

Еще лежал в ложбинах снег, еще не отогрелась земля и не была готова принять семя. Пет долго стоял у межи своего поля, оглядывал валуны, большие, как бочки, и острые камни, торчащие из земли, глубоко вросшие в нее, и сухие ветки дикого кустарника, колючего и упругого, как стальная проволока.

Камнями и кустарником было покрыто все его поле, и казалось, нет на нем и горстки земли, способной дать жизнь. Но Пет знал, что земля здесь есть, спрятанная под камнями, утрамбованная ими, слежавшаяся, спрессованная дождями, крепкая, как бетон, но живая. Надо только освободить ее от вековых камней, снять с нее каменное покрытие, взрыхлить, раскрыть ей поры, напоить влагой, и она вздохнет полной грудью, и останется только оплодотворить ее, чтобы ответила сторицею благодарная человеку земля.

Пет хорошо подготовился к этому дню. Раздобыл кувалду, лом и кайло, большую лопату, две маленькие и остро наточил топор. Младшему сыну Карлу сам смастерил заплечные носилки, какие видел когда-то в порту у грузчиков, но маленькие, легкие и удобные, из крепких, высушенных прутьев. Алексу и Юхану

тоже сам сделал носилки, и тоже легкие и удобные, одни на двоих, чтобы можно было грузить на них побольше.

Пет поручил сыновьям собирать сначала камни, лежавшие сверху, которых не держит земля, и относить их на межу, но не сыпать как попало, а аккуратно складывать вдоль межи один слой на другой. Сам он взялся за лом.

Старшему сыну Алексу было десять лет, Юхану — девять, Карлу — семь. Он любил своих сыновей и не щадил их. Они не могут рассчитывать на наследство, за них не пойдут помещичьи дочки, поэтому должны знать, что такое труд. Если человек знает труд — значит, знает цену деньгам. Он бережлив, расчетлив и рассудителен, голова его не будет забита пустыми мечтаниями, и тело, привыкшее к труду, будет крепким и выносливым.

Пет будто и не наблюдал за работой сыновей, не обращал на них внимания, но если, увлекшись, двое старших перегружали носилки, он неожиданно подходил к ним, молча сбрасывал на землю самый большой камень, а то и два-три камня и так же молча возвращался к своей кувалде или лому. Время от времени подзывал к себе Карла и говорил, чтобы тот сел на большой камень, покрытый курткой, и внимательно следил, когда из-за вон той скалы покажется пароход. Карл садился и ждал. И если судно появлялось тут же, отец велел ждать следующего, а если минут через десять — пятнадцать — всматривался в пароход, будто действительно ему интересно смотреть туда, а потом говорил: «Ну, теперь продолжай работу». А если за это время не появлялось никакого судна, все равно говорил те же самые слова.

Каждое утро мать уходила на помещичий двор, а отец с сыновьями — на свое поле. Только один день в неделю, в воскресенье, она тоже шла с ними, и на своем участке собиралась вся семья.

Ломом, кайлом или кувалдой отец крошил камень, выковыривал его из земли и тяжелые куски сам относил на межу, а легкие таскали сыновья. Навалившись на небольшие валуны, все вместе выкатывали их с поля. Так они работали почти всю весну, клочок за клочком освобождая от камней землю, пока не пришло время сева. Пет видел, что очистили они меньше, чем ему хотелось, но времени для того, чтобы закончить все, не оставалось. Надо ведь и эту, подготовленную, крепкую и неподатливую, взрыхлить, измельчить, а лопатой ее не возьмешь, и он решил часть участка пока не трогать, а спокойно и не торопясь взяться за нее после сева. Пусть останется на будущий год. Там, где была межа, теперь стала каменная ограда почти во весь рост Карла и толщиною в большой его шаг.

Пет радовался тому, что под первым слоем, хотя и твердым, земля была мягкая, особенно в тех местах, где лежали валуны. Конечно, хорошо бы вскопать поглубже да перемешать эту мягкую землю с пересохшей, но он как-то упустил время, и откладывать сев не осталось никакой возможности. И тут на помощь

пришел помещик. Уже вскрыт был первый слой земли, уже вполне ее могла взять соха, и он дал Пету и соху, и лошадь, и меньше чем за день удалось вспахать всю землю, очищенную от камней. А потом они рыхлили ее тяпками и граблями, а особенно крепкие комки разбивали каждый в отдельности.

Земля стала рыхлая и мягкая. Пет перетащил на свое поле навоз, который несколько месяцев собирали на дорогах его сыновья и его жена, когда он еще только мечтал о земле, и разбросал этот навоз равномерно по всему полю, и перемешал его с землей.

Помещик, как и договорились заранее, дал мелкой картошки для посадки и хорошую рассаду помидоров и огурцов. Каждый стебель Пет сажал сам, на одинаковом расстоянии друг от друга, прижимал землю пальцами вокруг стебля достаточно плотно, чтобы хорошо держала, но все-таки не накрепко, чтобы она не затвердела.

Пет с сыновьями каждый день поливали ростки, а когда наступала пора, пололи картошку, и у него оставалось достаточно свободного времени, чтобы ходить на лов сельди с владельцем вельбота. За свою работу Пет получал каждую десятую селедку из всей добычи. Иногда он брал с собой Алекса, которому тоже кое-что перепадало.

Лиза добросовестно работала у помещика. Если не успевала за день сделать все, что положено, приходила в воскресенье, только бы не накапливались за ней долги.

Ганс-Иоган видел, что семья Пета — люди честные, трудолюбивые, и во всем шел им навстречу. Когда начала созревать картошка, разрешил подкапывать ее, брать по одному котелку в день, ничего не внося в аренду. Причитающуюся ему долю согласился получить после сбора всего урожая. А урожай получился большой — восемьдесят ведер.

Когда собирали урожай, помещик никого не послал для проверки. Он верил Пету. Он только напомнил, сколько причитается ему и Пет сразу отдал долг. Ничего лишнего Ганс-Иоган не требовал. Честно подсчитал только то, что причиталось по закону. За аренду земли по самой дешевой цене — сорок процентов, это тридцать два ведра. За семь ведер картошки, выданной взаймы, как и положено — десять ведер. За пользование лошадью, сохой и другим инвентарем — четыре ведра и два ведра за молодую картошку, выкопанную раньше, когда добровольно не брал свою долю. А всего — сорок восемь ведер.

Пет видел, что ничего лишнего помещик с него не брал, и тяжело вздыхал. Ганс-Иоган не заставил Пета перетаскивать картошку в поместье. Он прислал телегу. Пет сыпал в нее ведра одно за другим и с каждым ведром откладывал в сторону одну картофелину. Когда их набралось сорок восемь, сказал вознице: «Все». Он смотрел на телегу, когда лошадь тронулась, и грустно провожал ее глазами, пока она не исчезла.

Из оставшегося урожая отсыпал тринадцать ведер для будущего сева, и у него еще осталось девятнадцать ведер.

Он думал, как распорядиться своим богатством, но одно событие отвлекло его от этих мыслей. Прошел слух, взбудораживший всю деревню, и весь остров, и все деревни соседних островов. Прошел нелепый слух, будто далеко-далеко, на другом конце света, есть край сказочного богатства, и земли там жирные, урожайные, и луга нетронутые, и леса таежные, и каждой семье нарезают бесплатно по пятнадцати десятин этой жирной земли, и каждый сможет рубить себе бесплатно какие хочешь дома, даже пятистенные.

Пет, конечно, не поверил в сказки. Но слух не утихал, крестьяне только об этом и говорили, особенно после того, как появилось у колодца объявление. Теперь это уже был не слух, а официальное уведомление властей, подробное и ясное, от которого захватывало дух.

Уведомлению Пет тоже не поверил. Он представил себе пятнадцать десятин земли и зажмурился. Это в шестьдесят раз больше арендуемого им участка, и не каменистой, а жирной, которую сразу можно брать лопатой, и все это только на одну семью, и не в аренду, а бесплатно, и лес бесплатно на пятистенный дом, и проезд бесплатно, и понял, что так не бывает.

Не знал Пет, что царскому правительству срочно надо заселять Дальний Восток, осваивать богатейший край, что начался двадцатый век и все тревожнее становилось в этом крае, все больше поселялось там людей из других стран, не то рыбаков, не то шпионов, и хозяйничал там кто как хотел.

Эстонским рыбакам и крестьянам предложили переселиться не случайно. Было хорошо известно, как мертвой хваткой зажали их немецкие помещики, как невыносимо тяжело живется людям, что народ этот — неутомимый и талантливый труженик. Моряки и рыболовы — потомственные, мастера бондарного, плотничьего, кузнечного дела — непревзойденные, и женщины — мастерицы на все руки, вот и решили, что эти люди, загнанные нуждой, согласятся покинуть родной край и податься за тридевять земель за сытой жизнью. Обратно им уже не выбраться.

Ничего этого Пет не знал, в чудо не верил. Если столько земли дают бесплатно и везут бесплатно — значит, земля эта гиблая и погибнут на ней люди. Так и сказал он на сходке, которую собрали власти. А к слову его прислушивались, потому что всю жизнь он молчал. Молча трудился, как каторжный, молча терпел унижения, молча плакал.

Может, его слова так подействовали на людей, может, и другие так же думали, может, помещиков слушали, которые не хотели отпускать крестьян, но только ни один человек ехать не согласился. Решили послать ходоков. Пусть поедут налегке, без семей, пусть все хорошенько проверят, пусть посмотрят, что это за земли такие, что за леса и моря. И пусть найдут тех, кто

нарезать землю будет, и послушают, действительно ли все бесплатно.

С трех островов отобрали трех самых смекалистых и хитрых. Пусть едут и все проверят. Таких не проведешь, не обманешь.

Больше года не было от них вестей. Уже стали понемногу забывать о ходоках, но они вернулись. И все рассказали. Они исходили пешком сотни и сотни верст по нехоженой земле, видели места, каких на свете не бывает, богатства там несметные и отдают их людям даром по велению самого царя.

Вот тогда и началось. Никто не хотел отстать. Как бы не потерять счастье, как бы успеть, чтобы другие не захватили лучшие куски земли, лучшие берега. Продавали скот, продавали скарб, бросали хибарки, только бы поскорее попасть на пароход до Одессы, а там всех заберет грузо-пассажирский до самого Владивостока...

Старый заслуженный рыбак, около шестидесяти лет промышлявший в море, селькор с тех времен, когда занятие этим делом требовало героизма и отваги, коммунист Арсентий Михайлович Марибу рассказывал:

— Ехали в переполненных и грязных трюмах, голова на голове, задыхались от тропической жары и вони. Нечем было дышать не только внизу, но и на маленькой нижней палубе, единственной, куда пускали переселенцев. Пройти по ней невозможно: тела лежали плотно друг к другу. Особенно натерпелись у экватора. Плакали, кричали, умирали дети. На всем пути кормили акул — бросали в воду трупы, главным образом детей. Загудит пароход трижды — и идет дальше. И опять гудит. Значит, снова бросают. Так шли почти четыре месяца.

Вот так же ехали до Владивостока и семьи Гамса, Тебака, Арона, Армаса... Они и выбрали место для поселка, хорошо защищенное, с закрытой, удобной бухтой, которое и назвали в честь своей родины Лифляндией.

Нет, ходоки их не обманули. Была здесь дремучая тайга, где вековые дубы, переплетенные орешником, виноградом, лимонником, точно стена, преграждали путь, и расчищать ее приходилось топором. Только и с топором уходить в тайгу не все рисковали. Водились там уссурийские тигры, пантеры, кабаны... И каждый, кто желал, у кого были деньги, мог получить берданку и двести пятьдесят патронов для защиты от зверя. Даже за дровами без оружия далеко не уйдешь.

Первое несчастье в семье Пета и произошло из-за ружья. Алексу к тому времени было двенадцать лет. Парень вполне самостоятельный. Вместе со сверстниками он собрался идти на фазанов. Было их здесь много, и в удачный день он убивал по пять-шесть штук.

К ружью выдавался штык. На всякий случай Алекс решил насадить его. Но штык не надевался. Алекс наживил его и ударил

камнем по хомутику. Раздался выстрел, брызнуло порохом в лицо, в глаза.

Алекс не закричал, не позвал на помощь. Только прикрыл лицо руками. Он испугался: что скажет отец?

На выстрел не торопясь вышел из своего шалаша Пет. Молча отвел в стороны руки Алекса, посмотрел на опаленное лицо и закрытые глаза, спросил:

— Что, сынок?

Это был его любимый сын, и, может быть, первый раз в жизни Пет обратился к нему ласково.

— Ничего не вижу.

Он отвел сына в шалаш, велел Лизе не голосить и отправился искать врача. А где найдешь его? На все сто двадцать верст от Лифляндии до Владивостока — три маленьких поселка: Шкотово, Романовка, Петровка. Ни в одном из них врача не оказалось. Добрался до Владивостока. Чудак человек, кто же поедет в такую даль! Да и на чем ехать?

Пет пошел обратно. Где-то на берегу у старого рыбака выпросил маленький парусник и приплыл домой. На все путешествие ушло лишь три дня, потому что он не давал себе отдыха ни днем, ни ночью.

Дома увидел, что положение Алекса не улучшилось. Он так и думал, что оно не улучшится. Посадил сына в лодку и отправился во Владивосток. Дотянул туда через десять часов. Врач сказал: «Медицина здесь бессильна». Парень ослеп.

Я встречался со многими Гамсами. С молодыми и старыми. Никто из них не мог умолчать об Алексе. Его племянник стармех сейнера Роберт Гамс сказал:

— Это был удивительный человек, и он прожил долгую и красивую жизнь. У него был настолько обостренный слух, что это порой вызывало религиозный страх. Еще мальчишками мы иногда пытались проверять его. И вдруг слышим: «Эй, Роберт, ты опять крадешься? И Бернард с тобой?» Знаете, я до сих пор не пойму, как человеку удавалось все слышать. Ну, пусть, допускаю, услышал шорох издали. Но как мог узнать, что это я, что рядом Бернард? Или вдруг кричит: «Ты почему стоишь, Роберт? Разгоняй кур, не видишь, ястреб над ними!» Смотришь — и в самом деле ястреб. Знаете, это уже становилось страшно. Видимо, по тому, как тревожно кудахтали куры, он и узнавал о ястребе.

В разговор вмешалась мать Роберта — Софья:

— Ни один зрячий не мог так быстро втянуть нитку в игольное ушко, как он. Алекс сам пилил и колол дрова, топил печь, готовил обед.

— По работе двигателя он узнавал любой катер,— сказал капитан флота Вальдемар Гамс.— Слушая, как причалило судно, определял, кто у штурвала. Он видел все, будто в нем локатор, будто клетками тела ощущал на расстоянии, что делается вокруг. Как-то Пет остановился недалеко от Алекса, стиравшего на бере-

гу свою рубашку, и долго смотрел на сына. А тот увлекся стиркой. Неожиданно поднял голову и растерянно сказал: «Что вы так смотрите на меня, отец?»

Этот эпизод был переломным для Пета. Он перестал делать какое бы то ни было различие между детьми. Заставлял Алекса работать больше других. Нередко можно было услышать: «Эй, Алекс, помоги Карлу! Или ты не старший брат?» Да, он старший и, как полноценный человек, должен работать больше младших. Алекс понимал отца и был ему благодарен.

Как ни странно, но не сельское хозяйство стало главным для Пета на новом месте, хотя действительно получил пятнадцать десятин земли. Прибыл он в эти края в конце июля, и сажать что-либо поздно. А рыба — вот она, успевай только ловить.

Постепенно обстроились, жили рыбой. Много ли может сделать крестьянин без лошади, коровы, птицы? Да и рыбак без шлюпки и снастей — не рыбак. А тут пошли дети, почти каждый год по одному, а то и по двое. И получилось, что есть земля, есть рыба, а жили трудно. Впрочем, земля была только один год. На следующий вышел указ: отобрать все неосвоенные земли. И отобрали. Оставляли маленькие участки только вокруг домиков крестьян. Оставалось и то, чего отобрать нельзя — рыба.

Постепенно все-таки смастерили шлюпку, связали сети. А продавать рыбу было некому. На маленькой шлюпке во Владивосток не повезешь: испортится. Правда, кое-кто из соседей пробовал солить, а потом отвозить, но из этого ничего не вышло. Владивостокские рыбопромышленники закупали большие партии товаров по договорам и не желали связываться с мелкими поставщиками. А продавать на рынке в розницу невыгодно было рыбакам. Пока посолишь, пока довезешь да распродашь и доберешься домой, уйдет неделя. Даже на лов времени не оставалось. А ведь дел в хозяйстве и без лова хватало. Вот это трудное положение переселенцев и учел кое-кто.

С островов Моонзундского архипелага в эти края переехало сто восемьдесят семей. Поселок Лифляндия, где они обосновались, растянулся на восемнадцать километров вдоль Уссурийского залива от бухты Суходол до Вампауша. Не все приехавшие осели на месте. Одни ушли во Владивосток на торговый флот, а их жены — в прислуги, другие нанялись к рыбопромышленникам. Сын Пета Юлиус тоже ушел на флот.

На 1 января 1915 года по переписи населения в поселке Лифляндия числились 141 двор, 10 коров и населения 681 человек. Все это были рыбаки, и каждый думал об одном: как продавать рыбу?

И вот тут-то появились перекупщики братья Волкогоновы. Они обосновались на берегу бухты Суходол. Построили два рыбокоптильных сарая с огромными чанами, врытыми в землю, завезли сети и другие орудия лова, нагнали в бухту кунгасы

и вельботы. С рыбаками разговаривали уважительно, вежливо, ни на кого не покрикивали, шли на уступки. У них был большой опыт, так как они скупали рыбу у берегов Камчатки, на Сахалине и в других местах. Продавали ее крупнейшим японским компаниям Ниппон Юки, Ниппон Сейтецу и владивостокским рыбопромышленникам.

Братья Волкогоновы правильно поняли, что могут помочь сбыту рыбы и эстонским переселенцам. Предложили им в аренду почти новые вельботы, сети и любую снасть. Согласились принимать весь улов. Один из братьев, Иван, даже поселился на Суходоле, хотя имел большой дом во Владивостоке.

Иван Волкогонов постоянно заботился о рыбаках. Чтобы избавить их от поездок во Владивосток, сам закупал там ситец, конфеты и другие товары, которые лишь с небольшой наценкой продавал рыбакам. Да и то денег с них не требовал, а соглашался брать рыбой. Правда, кое-кто роптал, будто конфеты подмоченные или лежалые, да и ситец с брачком, будто сами Волкогоновы получают эти товары чуть не задаром, но мало ли кто что говорит. Людям и в самом деле было удобно не тратиться на поездки во Владивосток и не терять на это времени. А если конфеты оказывались и не совсем сухими или, напротив, пересохшими, конечно же, это не могло иметь значения.

Заключили договор с братьями Волкогоновыми и Пет, и четверо сыновей. Трое из них имели уже свои семьи и жили отдельно. Среди них — Карл, у которого появился первый из его сыновей. Гамсы взяли в аренду хороший вельбот и снасти. На ночь уходили в море к маленьким скалистым островкам, ставили сети, а утром выбирали улов и везли в Суходол к приемщикам Волкогоновых.

Сыновья Пета многое переняли у отца. Были это люди большого роста, плечистые, работящие, молчаливые. Труда своего не жалели, из-за мелочей не спорили с приемщиками, пусть лучше свое пропадет, чем вступать в спор. Не раз видели, что их обсчитывают, но совестно было говорить об этом. Каждый день сдавали рыбу на собственную пристань Волкогоновых, потом шли в контору с запиской приемщика, где отмечали, сколько сдано. Здесь, в конторе, велся полный учет. Один раз в месяц подводили итог. Им подробно объясняли, сколько заработано за месяц, сколько удержано за аренду вельбота, парусов, снастей, сколько за утерянный якорь или поврежденную шелевку борта, сколько за товары, взятые в магазине.

Магазин Волкогоновых все время расширялся. Теперь здесь были и сапоги, и брезентовые плащи, и ватники. Чтобы рыбакам было удобнее, навезли и дели всех размеров, и они сами могли шить сети. Правда, находились неблагодарные, что роптали на дороговизну, на гнилье вместо кожи, на большие проценты за кредит. Это обижало Волкогоновых, особенно Ивана. «Бьешься,

бьешься для людей,— говорил он,— а они вон чем отвечают». Он терпеливо и вежливо объяснял, какие убытки терпит в этом магазине и насколько выгодна рыбакам придуманная им система. Он должен платить рабочим, которые ездят за товаром, платить за транспорт, содержать магазин и склад при нем, и вообще, одни сплошные расходы и заботы. А рыбакам что? Приходят на все готовое: не надо никуда ездить, не надо платить деньги и можно ни о чем не думать и спокойно жить, поскольку обо всем заботятся Волкогоновы. И если даже не хватает у человека улова полностью рассчитаться за аренду и все взятое в магазине, Волкогоновы в долг верят, никого за это не упрекнут и процентов за кредит не берут, как делают другие.

Обиды Ивана Волкогонова Гамсы выслушивали молча, молча уходили. А тем, кто вступал с ним в спор, кто доказывал, что люди сутками находятся в море, а к концу месяца получать нечего, он ставил в пример Гамсов, которые лучше других ловят и, если долги превышают у них заработок, стараются побольше работать, а не шумят попусту. Эти разговоры доходили до Гамсов и злили их, особенно Карла. При встречах с Волкогоновым он молчал, но недовольство накапливалось в нем, пока не разразился скандал.

В тот раз, как и обычно, в море ушли на ночь, чтобы к рассвету расставить сети. Выбрали подходящие места у двух островков и закрепили снасти. Тянуть сети стали часов в одиннадцать. Улов оказался богатым. На полных парусах пошли к пристани. По дороге решили: раз так удачно ловили, можно и повременить с отдыхом, отдохнуть всегда успеется, а поскорее сдать улов и вернуться на те же места. А Карл предложил вернуться тут же, поставить сети, а потом уже идти к пристани. Пока дойдут, пока разделаются с приемщиком, пока вернутся, можно будет уже и вытаскивать. Так и поступили. Карл лишь обратил внимание на то, что весь отсек, где находилась рыба, был полон, а приемщики насчитали всего одиннадцать корзин. Он хорошо помнит, что еще год назад при таком же улове получалось четырнадцать. Потом тринадцать, двенадцать, а вот теперь — одиннадцать. Чертовщина какая-то. Когда сдавали рыбу, Карл только подумал об этом, но ничего не сказал.

Второй заход дал тоже богатую добычу во всех шести ловушках. Все были рады, особенно Карл, хотя тело ныло. К работе ему не привыкать, но и то сказать — шестнадцать часов в море, и все на руках. И натянуть сеть, когда ставят, и вытащить, и рыбу выбрать, и паруса держать — передыху никакого. А теперь еще весь улов с пристани в рыбокоптильню тащить. Когда-то сдавали прямо на пристани, а волкогоновские рабочие относили к чанам. Карл не мог вспомнить, как же получилось, что рыбаки сами теперь все делают. Как-то постепенно навалил на них это Волкогонов. Сначала просил, вроде одолжение ему, а потом узаконил. Спорить никто не стал, дело, конечно, пустяковое. Карл по-

думал, что вот таких пустяковых собралось не одно. Маленьких, незаметных, а все больше опутывают они и держат рыбака. Должно быть, от усталости он злился на то, что еще придется тащить корзины в рыбокоптильню. В голову лезла всякая чепуха. Вспомнил почему-то спор, возникший на его глазах с рыбаком, у которого дней через десять после покупки сапог поползли подошвы. Может, и в самом деле Волкогонов тут не виноват, а может, рыбак прав, будто берет он в свой магазин только выбракованные на оптовых складах товары. Так и не обменял Волкогонов сапог, а рыбак разошелся и наговорил грубостей. Волкогонов не оскорбился, а только сказал: «Грех на твою душу ляжет, милый, молись богу».

Все-таки Карл подумал, что Волкогонов был неправ. И хотя человек он мягкий, обходительный, даже ласковый, нет-нет да и прижмет рыбаков. Увидит одну сельдь чуть помятую, так и знай — всю партию третьим сортом возьмет. А первого у него вообще не бывает, будто счет у людей начинается с цифры два. Уж как ни стараются рыбаки, все хоть немного побитое для себя оставляют, привозят селедку одну в одну, а все равно выищет какую-нибудь, ласково улыбнется и скажет: «Видишь, жабры торчат. А ты вторым сортом хочешь. Нет, дорогуша, у меня ее и третьим не возьмут». И опять улыбнется. А как же не торчать жабрам, если она тяжело дышит!

Со второго захода они возвращались перед вечером. Поздновато, конечно, но Карл прикинул, что все-таки ничего. Успеют. Разгрузиться надо побыстрее, на Лифляндию ветерок попутный, доберутся за час, поспят немного и к рассвету все-таки успеют. Идти надо в то же самое место. Может, и завтра там улов будет удачным.

Обогнув островок, вельбот вошел в бухту Суходол. И Карл увидел множество шлюпок, кунгасов, вельботов. Они шли со всех сторон, точно исполинский веер, и путь их лежал к одной точке — к пристани Волкогонова. Большие, средние, маленькие, они шли на веслах, на парусах и везли рыбу Волкогоновым. Такого скопления Карл еще не видел. Сколько же придется стоять, пока управятся приемщики?

На самом краю пристани стоял Иван Волкогонов. Задумавшись, он смотрел на море и флот, идущий к нему. Принимали рыбу мастера, конторщики, засольщики, все, кому он мог доверять. Принимали сельдь. Это лучшая дальневосточная сельдь. Она пойдет по высоким ценам на конвейеры рыбозаводов Ниппон Юки, Ниппон Сейтецу, в лабазы владивостокских оптовиков. Ее обработают, красиво упакуют и отправят в Европу и Америку. Это деликатес. Мягкая, нежная, вкусная, она пойдет в фешенебельные рестораны и богатые дома.

И все это — Волкогоновы. Это они вместе с Березовским, Мейстерсоном и Погибелем снабжают мир лучшей дальневосточной рыбой. Волкогоновы хотят сделать ее еще лучше, еще вкуснее.

Они знают, как это сделать. Они сами будут обрабатывать ее. Они уже начали строительство рыбоконсервного завода, они докажут, что сельдь в маленьких красивых баночках собственного производства будет вкуснее, чем засоленная японцами. Они уже многое доказали. Всего десяток лет назад они взяли в свои руки дело отца. Он тоже скупал рыбу. Но делал это без размаха. Гонялся за мелким уловом одиноких рыбаков. Пусть этим занимаются другие. У братьев Волкогоновых есть на плечах голова. И они трудолюбивы. Они расширяют дело своим горбом. Даже на приемке стоят. Теперь в их руках почти все побережье, Камчатка, Сахалин. Они еще потеснят своих конкурентов. О, Волкогоновы еще себя покажут. У них широкие планы. Сто десятин земли, отобранные у переселенцев, достались им за гроши. Это потому, что они сами увидели: земли пустуют. Сами предложили изъять эти пустующие земли. Правда, кое-кому перепало от этой сделки, зато теперь они пустовать не будут...

Когда Гамсы причалили к стенке, Пет пересел на попутную шлюпку и отправился домой. Сдать улов можно и без него. Их очередь дошла быстро, раньше, чем думали. Карл решил внимательно следить за счетом корзин. Надо проследить, куда деваются две-три корзины с их уловом.

На приемку к ним встал сам Волкогонов. Он знал: с Гамсами спокойно. Эти люди привыкли работать, а не болтать. Из-за всяких мелочей придираться не будут.

Карл внимательно считал корзины. Он может поручиться, что не пропустил ни одной. Но опять получилось одиннадцать. Как же так? Вот уже последнюю наполняют, но это одиннадцатая. Он смотрел, как ее наполняют, и вдруг все понял. Он стоял на причале, стоял не шевелясь и смотрел, как его братья наполняют корзину, и ему становилось страшно. Когда-то корзины были новыми и прутья плотно прилегали друг к другу. Со временем растянулись. Теперь между ними легко мог пройти палец. Когда корзина наполнена, она похожа на сетку. С боков видна вся рыба. Значит, в ней не двести штук, как положено, а не меньше двухсот пятидесяти. Сколько же рыбы они отдали ни за что?

— Все,— сказал Волкогонов, улыбнувшись,— огромный улов у вас, большие деньги.

— Корзины большие, господин Волкогонов,— хмуро заметил Карл.

— Верно, большие,— согласился тот.— Двести штук вот таких, третьего сорта.

— Да нет, побольше,— уже смелее сказал Карл,— давайте сосчитаем,— и он нагнулся к сельди.

Все, кто слушал молчаливого Карла, удивились: что это он разговорился?

А Волкогонов не удивился, спокойно и мягко ответил:

— А я уже считал, милый. Вместе с твоим отцом считал. Нехорошо не верить отцу.

— Так то когда было!

— А мне больше неинтересно. Я два раза одно и то же дело не делаю.

Он говорил, маленькими, аккуратными шажками приближаясь к корзине, ласково глядя на озлобленное лицо Карла, которому уже трудно было сдерживаться.

— Ты сам сосчитай, милый,— говорил он и неожиданно с огромной силой ударил каблуком по корзине.

Она опрокинулась, сельдь плюхнулась, растеклась во все стороны, забилась, скользнула в воду. Карл оторопел. А Волкогонов так же мягко продолжал:

— Считай хорошенько и сам вези во Владивосток продавать. Только вельбот у кого-нибудь возьми. А мой освободи. Да-да, освободи. Быстренько, милый, другие ждут.

Все, кто был у причала, видели эту сцену. И все молчали. Люди сжимали кулаки и молчали. Взять бы по рыбине, швырнуть бы ему в лицо, плюнуть и уйти. А куда? Куда пойдешь? К Березовскому? Говорят, еще хуже. Да и дальше он.

Волкогонов не принял рыбы Гамсов. Крикнул рабочего, и тот запер на замок вельбот у причала. Понимал: спусти один раз, дай этой голытьбе волю — на голову сядут. В зародыше надо глушить бунтарство.

Гамсы возвращались домой пешком по берегу. Шли молча. Но думали об одном: что скажет отец?

Уже давно они не дети, уже растут свои сыновья, а отец для них по-прежнему — главная сила. Слово его непререкаемо. Карл боялся, что отец рассердится, но рассказал ему честно все как было. Пет слушал не перебивая, не задавая вопросов, и по его лицу ничего нельзя было понять. Потом старик поднялся.

— Спать пора,— сказал он равнодушно. И как бы между прочим добавил: — К Березовскому пойдем. Больше некуда.

* * *

...Из уст в уста передается история дореволюционной жизни поселка Лифляндия. Она дошла до наших дней как печальный образец безысходной судьбы людей старой России. Впрочем, не только России. Я слушал историю Гамсов и не мог не вспомнить о жизни корейских крестьян до освобождения их от гнета японских помещиков на севере страны и сегодняшнюю их жизнь в Южной Корее. Я видел, как они живут. Точно отверженные, обрабатывают каменистые сопки, чтобы львиную долю урожая отдать помещику.

Я знаю и силу рыбных магнатов Ниппон Юки, Ниппон Сейтецу и Чосен Юки. Еще в прошлом веке протянули они щупальца ко всем побережьям Японии, Кореи, многочисленных островов и русского Дальнего Востока. Только революция смогла обрубить эти кровавые присоски к нашим берегам.

* * *

Вальдемар ехал из Эстонии совершенно разбитым. Все было неясно. Он не мог разобраться в собственных ощущениях. Что-то большое, грузное легло на сердце, и никак его не сбросить, ибо неизвестно было, что именно сбрасывать. Чертовщина какая-то.

Несколько лет назад после первой поездки в Эстонию он возвращался в свою Лифляндию с нетерпением и радостью, хотя принимали его как дорогого гостя. Он слушал чудесные эстонские песни, которые трогали душу, видел национальные танцы, о которых знал только по рассказам стариков, изъездил всю республику и, конечно, же, побывал у рыбаков. И все, что он видел — от чистеньких городков до чистеньких рыбацких поселков,— казалось ему дорогим и близким. Может быть, потому, что повсюду слышал родную речь, особенно в деревнях, и как-то странно было, что люди говорят только по-эстонски. Правда, его эстонский немного отличается от местного языка, тем не менее он охотно вступал в беседы, и они доставляли ему радость.

А мысли все чаще уводили к берегам Тихого океана, к поселку Лифляндия. За два месяца путешествий он соскучился по дому, по своей бухте, на берегу которой стоял его дом, ему хотелось скорее узнать, как идет лов, где какие суда, не случилось ли с ними чего.

Это было не просто любопытство, а зов долга, потому что он — капитан флота, капитан над всеми капитанами колхозных судов и чувствует на себе всю полноту ответственности за флотилию вне зависимости от того, где находится сам.

Этот флот ему был дорог. Любое судно в стране, как и любой завод или станок, принадлежит всем людям, значит, и каждому в отдельности. К этому достоянию и должны относиться как к собственному. А все-таки в колхозе чувство это ощущается острее.

Конечно, ему был дорог колхозный флот и не мог он не думать о состоянии судов. Но в его отношении к флоту было и нечто иное, чего не измерить только заработками. Он знал каждое из многих судов колхоза, начиная от «Коммуниста Украины» с экипажем в сто пять человек до маленького сейнера «Счастье», не только как руководитель. На многих из них он плавал, и ни одно не подвело его ни в жестокие штормы, ни в страшные ночи, когда они обледеневали в тумане. И это были для него не просто сейнеры или морозильщики, а как бы боевые соратники в жизни, как бы сама история его жизни.

Он водил эти суда до того, как получил первый орден Ленина, на них же работал, когда получил второй орден Ленина и звезду Героя Социалистического Труда.

Нынешний колхозный флот был ему дорог еще и потому, что он помнит и гребные лодки, и ветхие парусники — все, чем рас-

полагал колхоз больше сорока лет назад, когда впервые рыбаки объединились в артель. В тот год ему исполнилось десять лет.

Он был сыном Карла Гамса и внуком Пета Гамса и в свои десять лет хорошо знал, что такое труд, и уже внимательно присматривался к повадкам моря. Он уже знал все ветры и знал, что несет морось, умел натягивать парус, успел пережить и радость большой добычи, и горечь проловов. Ему трудно определить, когда впервые он вышел в море. В каком бы возрасте себя ни вспоминал, перед ним возникали картины рыбацкой жизни Лифляндии, где он родился и вырос. Вспоминались эпизоды из его детской жизни, и не где-нибудь на берегу, а в море. Может быть, было ему не больше пяти, когда уже вытаскивал из сетей застрявших в ячейках рыбешек.

Кто скажет, сколько лет из своих пятидесяти он провел на море. Но не он же один всю жизнь на море. А вот люди тянулись к нему. На какое угодно судно, на любую должность — только бы к Вальдемару Гамсу. Рыбаки знали: он околдовал море, оно любит его, нашептывает ему, где прячется рыба, выносит из штормов, спасает от бедствий.

...Из той первой поездки в Эстонию он торопился домой, и ему не терпелось узнать, как работает его флот и нет ли новостей, потому что колхоз ведет свое хозяйство умело, живет богато и широко, заработки высокие, почет и уважение большие. И все это относится и к нему лично, ибо он — капитан флота и член правления колхоза. Возвращался он домой после той первой поездки в Эстонию с легким и радостным чувством.

Что же изменилось с тех пор? Почему теперь, побывав на родине отцов, возвращается с таким тяжелым осадком?

Собственно говоря, ничего не изменилось. Не будь этого случайного разговора, все более обострявшегося, он бы и до сих пор находился в отличнейшем настроении, с каким и приехал на Балтику в очередной отпуск. Как и в первый приезд, ему все нравилось в этих краях, где когда-то жил его дед Пет. И принимали его повсюду хорошо, и стол выставляли богатый, и он видел, что этот богатый стол не специально для него, а просто в достатке живут рыбаки, и это радовало его.

За столом и начался тот разговор. Вальдемар Гамс, как и его дед, и его отец, был молчаливым. И уж вовсе чуждо и отвратительно было для него хвастовство. Он не любил хвастливых людей, и никогда бы в голову ему не пришло хвастаться самому. Он и старался отвести все вопросы, касавшиеся не только его личных достижений, но и крупных успехов своего колхоза. Ну зачем хвастать, что средний заработок колхозника около 500 рублей в месяц. Отмалчивался, отшучивался, говорил о тяжелых предколхозных годах, которые и сам-то знал лишь по рассказам других. Люди с интересом слушали и понимали, почему рыбаки Лифляндии потянулись к артельному труду, когда сбежали Волкогоновы. Понимали, потому что и сами были рыбаками. В оди-

ночку хорошо ходить на рыбалку с удочками ради удовольствия, да и то в компании веселее. А промышленный лов в одиночку невозможен. Если крестьяне, обрабатывающие землю, еще как-то могут одной семьей управиться, то рыбаку это невмоготу. Сам процесс лова подсказывал необходимость объединения для артельного труда.

Еще в двадцать четвертом году все хозяйства поселка разделились на четыре артели: «Лифляндец-1», «Лифляндец-2», «Приморец» и «Эрингас», что означает «Селедка». В первую артель, получившую кличку «Волчья», входили рыбаки, имевшие орудия и средства лова. Вторая, прозванная «Босяцкой», состояла сплошь из бедняков, ничего не имевших. Третья — «Адская» — и «Эрингас» были кулацкими артелями, но принимали в них бедняков, если они послушны, безропотны и готовы получать за свой труд еще меньше, чем платили Волкогоновы.

В январе тридцатого коммунист Ганслеп организовал колхоз, и распались все «Волчьи», «Босяцкие», «Адские», «Эрингасы». Кое-кто сбежал из насиженных мест, кое-кто решил выждать, посмотреть, что получится из этого колхоза. Из ста восьмидесяти хозяйств рискнули вступить в него сорок два...

Пока Вальдемар, отвечая на вопросы, рассказывал о прошлом, все шло хорошо. Но его стали выспрашивать о нынешней жизни, о нем самом, о его должности, и как ни вертелся Вальдемар, на прямые вопросы пришлось отвечать прямо. Особенно донимал его, докапываясь до тонкостей, подвыпивший старый рыбак. Он был очень старый и, должно быть, очень крепкий, хотя морщины не пощадили его. Они походили на глубокие рубцы, а между ними была гладкая, потемневшая от ветров кожа. Шею сзади рубцы разбивали на квадраты и ромбы, и она напоминала слежавшуюся глину, потрескавшуюся от солнца.

За столом под яблоней сидели восемь рыбаков, а расспрашивал Гамса только старик. А потом и он умолк. Завязался новый разговор, но старик опять влез.

— Да, хорошо у нас теперь стало,— сказал он, растягивая слова.— Сколько русских, украинцев, молдаван поселилось у нас. Живут, на заработки не жалуются.

Вроде бы и не к месту, и не к разговору были эти слова, и никто на них не откликнулся. А дед, выждав немного, добавил:

— А есть и эстонцы, что только на экскурсии к нам ездят, думают, у нас орденов не выдают.

Вальдемара резанули эти слова, но он смолчал. Дед же снова за свое взялся. Должно быть, водка его подталкивала.

— Вот ты, например,— обратился он к Вальдемару.— Видать, бывалый рыбак, что б тебе не вернуться в родные края? Мы б такого и председателем колхоза выбрали.

Хотелось Вальдемару сказать, что он и живет в родных краях, но не решился. Может, и в самом деле из уст эстонца прозвучит

это обидным для местных жителей. Может, верно, что он должен жить здесь?

Вальдемар молчал, а дед смотрел на него не моргая, не отрывая глаз. И все приумолкли и тоже смотрели на Гамса, ожидая, что он скажет. Может, и они думали так же, как старик, и теперь ждали ответа.

Если бы он мог сказать: «Да, живете вы хорошо, но у нас лучше. И природа богаче». И в самом деле, дальневосточная природа ему нравилась больше эстонской.

Если бы все это мог сказать Вальдемар. Но неловко, да и прозвучит плохо: что же, выходит, он, эстонец, уехал из Эстонии, чтобы найти место получше, природу покрасивее. Так он ведь не уезжал из Эстонии. Да и вовсе не в этом дело. Ведь есть природа куда богаче дальневосточной и города покрасивее Владивостока.

— Я не покидал Эстонию,— после долгого молчания начал оправдываться Вальдемар.— Я родился в поселке на Уссурийском заливе и прожил там всю жизнь. Привык, понимаете...

— Подожди,— прервал его старик.— Положим, ты не уезжал. Дед твой уехал. Почему уехал?.. Потому что жизнь невыносимая была. На издольщине подыхал. А теперь помещика нет. И живем, как видишь, не хуже вашего. А думаю, и получше,— подмигнул он рыбакам.

И опять Вальдемар морщился от неприятного этого разговора и, как-то не подумав, сказал:

— Вот и отец мой не вернулся, хотя и на Волкогоновых было работать нелегко. Да и после, пока аж колхоз на ноги не встал.

— А почему? — прищурившись и склонив набок голову, пытал его старик.— Почему не вернулся, скажи?.. А я тебе сам скажу. Ну на какие деньги он мог в такой дальний путь пуститься? А? На какие? Голь она и есть голь. А у тебя деньжата, видать, водятся. Вон аж куда на экскурсию летаешь. Только на билет в два конца, говорят, почти три сотни отвалил. Так почему бы тебе не вернуться совсем?

Невмоготу было Вальдемару вступать в долгий спор, хотя всем существом чувствовал свою правоту. И не стал больше спорить. Пусть говорит старик что хочет.

Люди увидели, что Гамс молчит, и, чтобы сгладить неловкость, все набросились на старика. В самом деле, человек в гости приехал, а его вон как...

Весь путь на Дальний Восток неприятный разговор не выходил из головы. Почему же русских, украинцев, молдаван, о которых говорил старик, он не упрекал в том, что они живут не у себя, а в Эстонии? Даже с гордостью говорил. Вот, мол, как у нас хорошо, даже из других республик люди поселились. Почему же к нему другая мерка? Живет же, например, в Курске Герой Советского Союза Михаил Диасамидзе, о котором он где-то читал, и вряд ли кто упрекнет его за это. Велика Родина, и живет

человек где хочет. Во всех республиках полно людей самых разных национальностей. Кто же им запретит жить, если понравилось людям место. Да и Гамсы, потомки издольщика Пета, по всей стране разъехались. Есть среди них врачи, архитекторы, руководители предприятий, преподаватели. Он со всеми поддерживает связь, время от времени собираются все Гамсы вместе, и что-то не слышал он, чтобы кого-либо упрекнули за место жительства. Ведь когда началась война, Гамсы не только за свой край стояли. Сам он, минометчик Вальдемар Гамс, и за Дальний Восток и за Эстонию — за всю страну сражался. И воевали Гамсы и гибли не за отдельные республики, а за новую жизнь, что и объединила их.

Вальдемар окончательно убедился в своей правоте. А настроение не улучшалось. Что-то мешало ему, словно царапало его, цеплялось что-то, и он злился на себя, на упрямого старика и никак не смог стряхнуть с себя этого наваждения. Ему было неловко перед этим стариком.

Ну хорошо, разговор неприятен, остался тяжелый осадок, но ведь теперь он разобрался во всем. Вальдемар находил новые и новые доводы, и все они были в его пользу. А на душе легче не становилось.

...Самолет приземлился в Хабаровске. До Владивостока — меньше часа лету. Там его будет ждать машина. Он не первый раз возвращается домой из отпуска. Уже в Хабаровске охватывало радостное чувство и нарастало нетерпение, в голове проносились картины предстоящих встреч.

На этот раз никаких новых ощущений Хабаровск не вызвал. Самолет поднялся. Вальдемар думал о своем. Он не обратил внимания, что на него удивленно смотрят соседи. Да если бы и заметил, не мог бы понять, что случилось. Он не ощущал своей улыбки. Широкой, во все лицо улыбки. Какой хороший старик. Какое доброе, хорошее лицо. Он, должно быть, действительно очень стар. И никак не может отрешиться от старых границ. И мыслит в масштабах старой, беспомощной Эстонии. А ведь теперь она кусочек Родины. Это ведь одна и та же страна — и Эстония, и Дальний Восток, и все республики. Одно целое, неразрывное. От Лифляндии на Балтике до Лифляндии на Тихом океане — все это его Родина, и повсюду для него равные с другими права. Именно этого не понимает старик. Не понимает, как расширились границы его Эстонии. И какое великое счастье, что так необъятна и едина Родина, что не разделяют ее кордоны на общих границах республик, что в дни праздников, и в трудную минуту, и в обыденной жизни это невиданное ранее объединение народов стоит несокрушимой силой и каждый, кто входит в него, носит гордое имя — советский человек.

1971 год

«ОПЕРАЦИЯ ПРАВДА»

В 1971 году президент Чили Сальвадор Альенде объявил «Операцию правда». Это было вызвано все нарастающей кампанией клеветы против народного строя. Он пригласил представителей различных стран, чтобы они лично посмотрели, что же в действительности происходит в Чили, и рассказали бы миру правду.

Это были не персональные приглашения, они относились не к представителям стран только определенного социального уклада, не зависели от политического мировоззрения или профессии лиц, пожелавших участвовать в «Операции правда». Единственное обязательное условие сводилось к тому, чтобы каждый ее участник объективно рассказал в своей стране обо всем, что увидит собственными глазами.

На это приглашение откликнулись многие. В Сантьяго приехали представители латиноамериканских и европейских стран, Соединенных Штатов и других государств. Я тоже был участником «Операции правда».

На первой пресс-конференции президент познакомился с каждым из нас. Мы пришли туда вместе с Владимиром Чернышевым, который в ту пору был собственным корреспондентом «Правды» в Чили. «С особым удовольствием,— сказал нам Альенде,— я приветствую здесь представителей Советского Союза». Но если бы даже не произнес он этих слов, мы бы все равно ощутили их по его удивительно обаятельной улыбке и крепкому дружескому рукопожатию.

Естественно, я в полной мере воспользовался возможностью познакомиться с этой бурлящей классовыми битвами страной, уникальной по своей географии, с ее чудесными, мужественными людьми.

Пересек ее всю от крайнего севера с его субтропической жарой до Магелланова пролива и Огненной земли на юге, с его июльскими морозами и холодными ветрами. Встречался со многими людьми — сторонниками Народного единства и представителями крайней реакции.

Пробыл там более месяца и повидал многое. Но прежде всего изучил историю убийства главнокомандующего сухопутными войсками чилийской армии генерала Рене Шнейдера, происшедшего за несколько дней до вступления Альенде на пост президента.

КАК СОВЕРШИЛОСЬ УБИЙСТВО

Сначала главнокомандующего сухопутными войсками чилийской армии генерала Рене Шнейдера хотели похитить. Но, должно быть, потом в последнюю минуту решили, что лучше все же

убить. Возможно, потому что несколько попыток были неудачными и проваливались, а может быть, версия с похищением вовсе придумана обвиняемыми по этому делу, чтобы смягчить свою вину. Их — человек тридцать, и почти по всем вопросам они дали противоречивые, а порой исключающие друг друга ответы. Но вот насчет способа устранения главнокомандующего будто сговорились. Все утверждают, что ни во время многочисленных подготовительных совещаний, где распределялись роли и разрабатывались планы, ни на репетициях нападения на генерала ни разу не шла речь об убийстве. Только о похищении. И на вопрос: «Что такое «Операция Альфа»?» — отвечали единодушно: «Похищение генерала Рене Шнейдера». И почему вдруг в него стреляли, никто понять якобы не может. Но в конце концов не в этом главное.

Как два «пежо» и «додж» прижали к тротуару генеральский «мерседес», как ударил его сзади «джип», как побежали к «мерседесу» люди, на ходу вытаскивая «кольты», я не видел. Но путь от дома № 551 по улице Себастьян Элькано в Сантьяго, где жил генерал и откуда выехал в свой последний рейс, я повторил. И побывал в тех переулках и на тех местах, где стояли машины заговорщиков, ожидая сигнала, где останавливалась полицейская машина, снявшая с постов двух карабинеров, которые, конечно же, могли помешать покушению. И разобрался в том, кто как действовал, кто какие машины вел, когда был получен сигнал о приближении генерала, кто стрелял и что произошло дальше. Поэтому всю историю с убийством мог бы описать подробно. Но поскольку эта история, вернее техника убийства, интересовала главным образом тем, что позволяла отчетливее представить роль различных людей в этом деле, с них я и начну.

Когда стало ясно, кто убил главнокомандующего и для чего это убийство понадобилось, я пошел к председателю Верховного суда Чили сеньору Рамиро Мендесу, чтобы задать вопросы, оставшиеся неясными. Таких вопросов было несколько, о них тоже придется еще говорить, но прежде всего хотелось получить авторитетное разъяснение, почему не судят главных преступников. Ведь от каждого из участников заговора тянутся ниточки, и где-то они переплетаются так, что распутать их трудно, хотя и возможно, а где-то отчетливо видно, в каком месте они берут начало, куда идут и кто именно их так все время запутывает.

Председатель Верховного суда Рамиро Мендес — это один из правофланговых чилийской реакции. Беседовали мы два часа, и хотя общего языка не нашли и ясных ответов я не получил, но его взгляд на это дело оказался интересным с точки зрения расстановки политических сил. Значит, и к беседе с Рамиро Мендесом надо будет вернуться.

А пока, чтобы яснее стала вся история, разберемся, кто же такой генерал Шнейдер, кому он мешал и кто его убил. И одни

ли и те же это люди, у которых он стоял на пути и кто в него стрелял.

Генерал Рене Шнейдер Черо был человеком образованным и весьма разносторонним. Еще в молодости увлекался историей, изучал искусства и религии. Стремился постичь мир шире, чем он виделся из стен военной академии, где служил, с вышек горного полка или дивизии, которыми командовал. Хорошо разбирался в живописи (сам ею занимался), музыке, литературе, изучал философию. Последняя книга, которую он прочитал, вернее, оставшаяся недочитанной на его столе, была посвящена идеям Маркузе. При всех этих качествах он прежде всего был солдатом. Да и внешне походил на солдата. Коренастый, сильный, с большими солдатскими руками.

Рене Шнейдер не был сторонником левого демократического движения, хотя весь ход событий в Чили неумолимо приближал его к идеям этого движения. Тем более не был он на стороне правых. Он любил армию и, искренне заблуждаясь, считал ее орудием надклассовым. Роль армии, заявил он, «защита от внешней агрессии и обеспечение внутренней безопасности и порядка, узаконенного конституцией». Он защищал ту конституцию, которая существовала, и своей доктрине был верен до конца дней. Генерал Шнейдер защищал это порождение национальной буржуазии и капитала США с удивительной настойчивостью и мужеством. Может быть, в силу того что был солдатом и точно соблюдал закон, а возможно... возможно, далеко смотрел генерал и увидел новую ситуацию, созданную демократическими силами, при которой оружие буржуазии может быть направлено против нее. Теперь уже никогда не добиться ясности в этом вопросе. Впрочем, не станем навязывать никаких точек зрения, Пусть каждый сам разберется в фактах и сделает свои выводы.

На пост главнокомандующего армией Рене Шнейдер был назначен неожиданно, при обстоятельствах чрезвычайных. В мае 1968 г. среди офицеров вооруженных сил началось брожение. Раздавались голоса о том, что правительство Фрея не заботится о своей армии, что офицеры живут в трудных материальных условиях и дальше так продолжаться не может.

Президент Фрей встревожился. Был смещен министр обороны. Офицерам обещали рассмотреть и решить их проблемы в самом недалеком будущем. И волнения улеглись. Так казалось. Однако никаких изменений в армии не произошло, недовольство вновь стало нарастать, пока не кончилось взрывом.

21 октября 1969 г. генерал Роберто Вио Марамбио, один из организаторов волнений, уволенный за это в отставку, поднял восстание в полку «Такна», находившемся в Сантьяго. Это было сигналом для полка «Юунге» в Сан-Филипе, где тоже поднялся мятеж. Создалась угроза военного переворота. (Кстати, военные перевороты в странах Латинской Америки не такая уж редкость,

и они имеют давние традиции. Скажем, в Боливии за последние сто лет было около ста двадцати переворотов.)

Вот в такой критический момент, 24 октября 1969 г., Рене Шнейдер и был назначен главнокомандующим армией. Но это лишь одна сторона дела и при этом — не главная. К тому моменту в Чили происходили куда более глубинные процессы, встревожившие все политические силы. Это был период, когда окончательно сформировался мощный блок левых демократических партий. И нетрудно было видеть, что на предстоявших президентских выборах он явится весьма опасным конкурентом для реакции, рвавшейся к власти. Власть она ощущала почти реально, ибо за годы правления христиано-демократов во главе с Фреем его правительство в достаточной мере скомпрометировало себя громкими декларациями, оставшимися на бумаге и в эфире. Поэтому в лице христиано-демократов крайне правые не видели серьезного конкурента. Многочисленные разрозненные левые силы и их партии тоже не представляли опасности, пока каждая из них выставляла своего кандидата. А поначалу так и было: в первый период подготовки к выборам каждая из пяти демократических партий выставила своего кандидата. Но впоследствии левые силы объединились в единый блок и вместо пяти кандидатов выставили одного — Сальвадора Альенде. Так вот, единый блок всех демократических сил и общий кандидат — это уже весьма и весьма серьезно и до крайности опасно для реакции. Она решила поддержать военный переворот, который опять-таки поставил бы ее у кормила.

Создавшаяся ситуация была ясна и демократическим силам, и они подняли трудящихся на подавление военного мятежа. Коммунистическая партия Чили разоблачала связи генерала Роберто Вио с реакционной национальной партией, разъясняла, что военный мятеж это не конфликт между Фреем и армией, а угроза родине, попытка преградить путь народу к власти. Единый профсоюзный центр (КУТ) призвал население не поддерживать заговорщиков, разъясняя, что они действуют в интересах реакции. Все демократические партии и организации вступили в борьбу против заговора Вио. Начались массовые демонстрации и забастовки протеста против мятежа.

Этому натиску реакция нашла что противопоставить. Немало честных людей были сбиты с толку ее демагогическим лозунгом: «Бороться против генерала Вио — значит защищать правительство Фрея». Генерал Вио через реакционную печать кричал о том, что восстание носит локальный характер и восставшие остаются верны президенту и конституции, что военные никогда не пойдут против профсоюзов. Нам нет дела до борьбы правых и левых, которые представляют лишь отдельные категории населения, говорил Вио. Мы — армия, представляющая весь народ, и за его интересы боремся.

Рупор реакции — широко распространенная газета «Мерку-

рио» и другие ее органы настойчиво подменяли слова «бунт», «мятеж» словом «забастовка».

Коммунистическая и социалистическая партии, все силы Народного единства не уставая разоблачали лживость враждебной пропаганды. В своем интервью по радио генеральный секретарь ЦК Компартии Луис Корвалан вскрыл все корни антинародного мятежа.

Это был острейший момент борьбы объединенных демократических сил против наступления и маневров реакции. В этой борьбе победил блок Народного единства, профсоюзы, все трудящиеся. Восставшие полки сдались на милость правительству, а организаторы мятежа во главе с генералом Вио были отданы под суд.

Поскольку на этом деятельность Роберто Вио не заканчивается, а в последующих событиях он будет играть решающую роль, видимо, следует представить его.

Генерал Роберто Вио, сын генерала Аброси Вио, мечтал не только о большой военной карьере. Властолюбивый, злой, мятущийся, слабохарактерный, он не мог скрыть, что в мечтах своих уходил далеко за пределы военных полигонов. Этому способствовало и то обстоятельство, что он довольно успешно продвигался по служебной лестнице. С должности командира полка президент Фрей назначает его на пост губернатора департамента Лао. Вио получает возможность установить тесные контакты с американскими хозяевами «Чили эксплорейшн компани». (Не с их ли помощью были получены генералом крупные суммы накануне восстания в «Такна», о чем сообщала чилийская печать.) Затем новое назначение — военный советник в Колумбии. В 1969 г. его производят в генералы, и он становится командиром дивизии в Антофагасте — важном экономическом и стратегическом районе страны. Здесь и начал он будоражить офицерство и, получив отставку, отправился в Сантьяго, где и поднял бунт в полку «Такна».

Далее происходят вещи более чем странные, в обычные понятия не укладывающиеся. Мятежный генерал, которого должны судить, становится одной из популярнейших фигур в стране. Он дает интервью, выступает с призывами, его портреты воспроизводятся в реакционной печати. А после того как блок Народного единства выставил кандидатуру Альенде, генерал Вио на многолюдном митинге совсем недвусмысленно намекает на то, что он готов стать президентом и «послужить родине». И не постеснялся при этом сообщить, как собирается править страной. «Я думаю,— сказал он,— что вновь будет утверждено Право Силы».

Конечно, и американские, и чилийские владельцы медных рудников, селитры, заводов понимали, что этот недалекий и надутый чувством собственного величия генерал — фигура весьма неимпозантная и никаких шансов на успех не имеющая. Зато

на любую провокацию, какой бы подлости она ни требовала, пойдет по первой указке. А положение реакционных сил складывалось так, что выбирать не приходилось. Они готовы были идти на самые крайние меры, только бы предотвратить катастрофу, которая станет для них неотвратимой, если к власти придет Народное единство.

Именно катастрофа. Вдумайтесь! Буржуазные конституции обычно провозглашают равные права для всех слоев общества, всех политических течений, для магната и рабочего. Так выглядит их показная конституция. Но в чистом виде она бывает только на политической рекламе. Пути народа к реализации предоставленных ею прав ограждены непреодолимыми кордонами. И вот впервые в истории мира левые демократические силы зависимой от американского империализма страны создали условия,чтобы, не нарушая конституции, взорвать эти кордоны и строго на ее основе, пользуясь ею как незыблемым законом, созданным национальной буржуазией и ее зарубежными партнерами для защиты своих интересов, вырвать у нее власть и освободиться от иностранного гнета.

Это нечто невиданное и неслыханное оглушило реакцию, напугало умеренно правых и многих центристов, привело в смятение одураченных жупелом коммунизма. Все они еще не верили в нависшую угрозу, еще как-то надеялись, что не может же это случиться на самом деле, и вот-вот развеется наваждение, когда грянуло четвертое сентября. В мировой эфир понеслись слова: «На выборах победил Альенде».

Эти слова объединили все антинародные слои общества в мощный кулак. Начался крестовый поход внутренней и внешней реакции, началось массированное наступление на все жизненные центры народного блока под девизом: «Не допустить Альенде к власти».

Но позвольте! Ведь голосование закончено, ведь он получил уже больше голосов, чем кандидат правых Хорхе Алессандри, чем представитель христиано-демократов Радомир Томич. А других конкурентов не было.

Все это верно. И тем не менее у реакции оставалось много возможностей продолжать борьбу за президентское кресло. Дело в том, что абсолютного большинства, то есть больше половины голосов избирателей, не получил ни один кандидат. По конституции в таких случаях окончательное решение — кому быть президентом — выносит сессия Национального конгресса (парламент).

Практически у парламента не было иного выхода, как утвердить кандидата, набравшего наибольшее количество голосов. В истории Чили не было случая, чтобы парламент поступил иначе. Любое решение не в пользу Альенде при данных обстоятельствах объяснению не поддавалось бы. Однако за этот сомнительной стерильности шанс уцепились.

До заседания Национального конгресса, где должен был

окончательно решиться вопрос, оставалось семь недель. Этого времени, как полагала реакция, вполне достаточно для того, чтобы реализовать план, состоявший из двух разделов. Первый — найти хоть какую-нибудь возможность, хоть какой-нибудь повод, чтобы дать отвод Сальвадору Альенде. И второй — если даже такой повод и найдется, но не будет гарантии, что это принесет победу,— совершить военный переворот до заседания конгресса.

Первый вариант, как весьма ненадежный, был вскоре отвергнут. Остался второй. Единственный и последний шанс. И вот тут-то фигура мятежного генерала Роберто Вио Марамбио выплыла на первый план. Для реакции это была удивительно подходящая кандидатура. Во-первых, с его помощью можно будет совершить переворот, и, во-вторых, он удовлетворится местом в правительстве, а в президентское кресло сядет более подходящий представитель капитала.

Главной преградой на пути к цели был Рене Шнейдер, который и в создавшейся сложнейшей обстановке подтвердил свою доктрину и заявил, что армия будет твердо стоять на защите конституции, обеспечит законное проведение Национального конгресса, который и решит, кому быть президентом.

Это был патриотический шаг, требовавший от генерала большого мужества и личной храбрости, ибо он отчетливо видел обстановку в стране, в полной мере понимал, против каких вероломных и жестоких сил поднялся. Позицию Шнейдера разделяли генерал Карлос Пратс и некоторые другие военачальники. Военный переворот при таких условиях затруднялся чрезвычайно. Но слишком велики были силы, готовившие его. Ловкий политический трюк реакции дал возможность доживающему последние дни в президентском дворце Эдуардо Фрею сместить командующего военно-морским флотом. Вместо него Фрей назначил одного из реакционнейших представителей вооруженных сил, участника заговора адмирала Уго Тирадо Барроса.

На пути к осуществлению заговора оставалась главная сила — Рене Шнейдер. Попытки подобным же образом убрать и его окончились провалом. Тогда и приступили к «Операции «Альфа». Первый ее этап — шантажировать, запугать непокорного, создать ему невыносимые условия и заставить добровольно уйти со сцены. И невыносимое началось. В его квартире непрестанно звонили телефоны, грозные голоса угрожали расправой. Вокруг его дома бродили подозрительные, которые исчезали в темноте, как только появлялись карабинеры охраны. Жену генерала осаждали какие-то женщины, умолявшие повлиять на мужа. Приходили латифундисты, промышленники, уговаривали командующего не допустить к власти «марксистские» силы. Шли анонимные и не анонимные письма с угрозами и оскорблениями. Раздавались звонки с требованием ответить, где в данный момент находится генерал. Ни минуты покоя, ни днем, ни ночью.

Бурлил Сантьяго-де-Чили. Гремели плакаты: «Не спи, чи-

лиец,— на пороге русские». Надрывались репродукторы: «Остановить нашествие коммунистов». Тянулись очереди оформлявших свое бегство за границу. На площадях, в зданиях рвались бомбы. Началась финансовая паника. Саботаж на медных рудниках. Захлебывалась «Меркурио»: «Нация накануне гибели». Трагические фигуры женщин в черном, точно траурные процессии, опоясывали президентский дворец «Ла Монеда».

Хаоса и паники в стране добивалась реакция, как верных союзников и оправдания военного переворота. И первый шаг на пути к нему — ликвидация Рене Шнейдера.

Роберто Вио Марамбио лихорадочно готовил главный удар. В сговор с ним вступили начальник гарнизона Сантьяго генерал Камилио Валенсуэла, начальник корпуса карабинеров генерал Висенте Уэрта Селис, знали о заговоре президент Фрей и даже министр внутренних дел, именно тот человек, чей пост и долг повелевали ему бороться против любых беспорядков и заговоров.

Заранее были распределены будущие портфели, заранее знали участники заговора, кто какие места займет после переворота в правительстве, в государственном и военном аппаратах. А ненавистный им генерал Рене Шнейдер, словно отвечая заговорщикам, не уставая повторял свою доктрину о том, что армия не даст нарушить конституцию. С подобными заявлениями он выступал в печати, на официальных встречах и приемах, перед офицерами, среди друзей и знакомых. И не только выступал. В кругах высшего командования как в Сантьяго, так и в других городах он нашел надежную опору. Он окружил себя верными долгу людьми, цементировал армию, объезжая войска, призывал верно служить родине.

Деятельность Рене Шнейдера подстегивала мятежного Вио к тому, чтобы быстрее убрать главнокомандующего. К этому делу он привлек около тридцати человек, главным образом молодежь из зажиточных и аристократических семей. Впрочем, весьма разношерстной была эта группа — от профессионального уголовника Мельгосы, недавно вышедшего из тюрьмы, до сенатора Рауля Моралеса.

Заговорщики имели в своем распоряжении более десяти автомобилей, автоматические револьверы, карабины, гранаты, взрывчатку, бомбы, баллоны с одурманивающими и слезоточивыми газами, противогазовые маски, холодное оружие.

Все участники были разбиты на группы, каждая из которых выполняла строго определенные функции с точным распределением обязанностей внутри групп.

Наиболее деятельным участником заговора был адвокат Гильермо Карей — сын адвоката, обслуживавшего высшие слои аристократического общества,— связанный с американским капиталом через меднорудную компанию «Анаконда». Этот тридцатилетний, весьма пробивной адвокат состоял в личной дружбе со многими влиятельными лицами, в том числе с президентом

Эдуардом Фреем. Политические контакты заговорщиков с главарями внутренней и внешней реакции и легли, кроме Вио, на Гильермо Карея, впоследствии сумевшего удрать к своим покровителям в Штаты.

«Группу террористов», которая сеяла панику среди населения, взрывая бомбы в разных районах города, возглавил отпрыск весьма зажиточных родителей Энрике Арансибиа. На «группу снабжения» возлагалось обеспечение заговорщиков оружием и автотранспортом. Переправкой оружия из-за границы занимались Гильермо Карей и сенатор Рауль Моралес. Задача «особой группы», как показали на следствии ее участники,— похищение Рене Шнейдера, а в действительности — убийство его, ибо и сам факт убийства, и показания шофера командующего, и все материалы дела — это неопровержимое доказательство того, что даже попытки к похищению не было.

В «особую группу» входили уже названный выше уголовник Мельгоса, выходцы из семей крупной аристократии Аллан Лесли Коопер и братья Искиедро — Диего и Хулио, являвшиеся студентами католического университета, активный сотрудник ультраправой газеты «Тисониа» Андрес Годфрей Видой, коммерсант Сильва Доносо и другие. Участникам этой группы были присвоены клички, и далеко не все знали друг друга по имени.

Было проведено несколько репетиций покушения на командующего. Для этого одну из машин, на которой, условно считалось, находится генерал Шнейдер, пускали по тому же маршруту, по которому обычно следует генерал. Последняя «генеральная» репетиция вполне удовлетворила Роберто Вио. Она проводилась глубокой ночью в районе Лос-Доминикос под командованием молодого фанатика из реакционного Алессандрийского легиона Луиса Гальярдо. Предоставленный отставным генералом Эктором Мартинесом Амаро «оппель», управляемый опытным водителем, мчался по городу, имея задание без остановок проехать до определенного пункта. С разных мест в погоню за ним пошли десять машин. «Оппель» был прижат к тротуару задолго до того, как достиг цели.

Настала пора действовать. Нападение на генерала назначили на 19 октября, в день годовщины мятежа в полку «Такна». Однако не это обстоятельство определило дату покушения. Просто случай представился в высшей степени подходящий, и Роберто Вио не упустил его. Дело в том, что 24 октября исполнился год, как Рене Шнейдер занял пост главнокомандующего. По традиции, в этот день генералитет решил устроить ужин. Рене Шнейдер не мог отказаться от этой встречи, хотя решительно воспротивился против двадцать четвертого, ибо именно в этот день предстояла сессия Национального конгресса, где окончательно утверждалась кандидатура президента. Генералы решили собраться девятнадцатого.

Это был довольно интимный ужин, где присутствовали только

узкий круг генералов и их жены, но затянулся он до двух ночи. О вечере никто, кроме его участников, не знал. Однако о давней традиции знал Вио. И знал дату встречи.

...Семь машин заговорщиков находились в различных местах в засаде. Как только появится «мерседес» Шнейдера, одна из них должна была фарами дать сигнал остальным. Все было рассчитано. Другой дороги у генерала не было. Он проедет только здесь.

В два тридцать на почти пустынной улице показался автомобиль. На семи машинах включили стартеры. Но сигнала не последовало, хотя он проехал мимо «сторожевой» машины. И, действительно, то был не генеральский «мерседес», а «оппель». А о том, что именно в нем сидел Рене Шнейдер, спохватились слишком поздно.

На этот раз генерал избежал покушения только благодаря чистой случайности. Все сводилось к тому, что незадолго до ужина Шнейдер дал свой «мерседес» сыну для какой-то поездки, а тот задержался. И генерал сам сел за руль собственного «оппеля».

Роберто Вио был взбешен не только провалом, но главным образом тем, что до сессии Национального конгресса оставалось всего трое суток. Если к этому времени не убрать Шнейдера, рухнет все, что столько времени готовилось. И он ни минуты не дает передышки своим подручным. К исходу ночи, вернее, к шести утра, направляет в район, где жил главнокомандующий, девять машин с тем, чтобы заговорщики проникли в особняк генерала.

План этот, конечно, был сумасбродным и абсолютно нереальным. Дом охранялся карабинерами, имел надежную связь со штабом армии. Даже не совершив попытки проникнуть за ограду, заговорщики вернулись ни с чем.

Поскольку медлить Вио не мог, он, рассчитывая на безнаказанность, предпринимает новую весьма рискованную попытку. К пяти часам вечера в тот же день машины террористов сосредоточиваются на площади Бульнес, где находится министерство обороны. Идет зоркое наблюдение за главным входом. Нельзя повторить ошибки, какая произошла из-за «оппеля». Надо точно проследить, на какой машине поедет главнокомандующий.

И они выследили. В семь часов к подъезду министерства подкатил «мерседес», и тут же вышел Рене Шнейдер. Машины заговорщиков тронулись одновременно с его автомобилем. В этот час «пик» центральные улицы забиты транспортом. Все движутся очень медленно, подолгу задерживаясь у перекрестков. Однако генеральский «мерседес» идет на большой скорости, обходя весь транспорт по осевой. Регулировщики беспрепятственно пропускают его под красный свет. И преследователи, лишенные такой возможности, вскоре теряют его из виду.

Во всей этой истории в голове не укладывается многое. Но

особенно одно обстоятельство. О том, что плетется заговор, как уже говорилось, знали многие. Одни молчали, ибо являлись его вдохновителями или имели к нему прямое отношение. Другие внутренне поддерживали его, делая вид, будто ничего не знают, хотя по зову долга обязаны были вмешаться. Ведь бесчисленные репетиции, сборища большого количества заговорщиков, добыча оружия, транспорта, вся эта возня и шумиха, которую они даже не пытались скрывать, не могли не обратить на себя внимания блюстителей порядка. Да и разговоров об этом в правительственных кругах было немало. Но президент Фрей и министр внутренних дел никаких шагов против заговора не предпринимали.

Вся обстановка была ясна и Рене Шнейдеру. Но он не оценил в должной степени ни меры подлости Роберто Вио Марамбио, ни того обстоятельства, что мятежному отставному генералу предоставлены огромные возможности. Конечно, Шнейдер не знал о неудавшихся на него покушениях, но бесспорно предвидел их. Убедительным доказательством служит тот факт, что он рекомендовал своим помощникам ежедневно менять маршруты следования на службу и домой. Его информация президенту Фрею и министру внутренних дел о шантаже и угрозах, о готовящемся заговоре не побудила их к мерам по охране жизни главнокомандующего. Сам же он ограничился тем, что стал постоянно носить с собой пистолет. К сожалению, этого было слишком мало.

22 октября рано утром Рене Шнейдер выехал на службу и, точно предчувствуя роковую минуту, положил рядом портфель с пистолетом. На одной из улиц «додж» заговорщиков ринулся в бок генеральскому «мерседесу», и шофер рванул руль к тротуару, едва увернувшись от удара. Но тут же перед самым его радиатором неожиданно и резко затормозили два «пежо», а сзади налетел на него и стукнул «джип». Вырваться из этого кольца было невозможно. Генерал выхватил револьвер, но Сильва Доносо уже успел разбить молотком стекла, а Коопер, Мельгоса и другие — разрядить в него автоматы и пистолеты.

Так свершилось убийство. Оно всколыхнуло всю страну. Восприняли его по-разному. Кое-кто из высших чинов, кому и надлежало в этот момент свершить переворот, пришли в замешательство, ибо они все-таки ожидали похищения главнокомандующего, а не убийства, поднявшего на ноги страну. Именно вот это последнее обстоятельство — страх за собственную шкуру — и остановило тех, кто готовил уже для себя большие портфели. А бояться было чего. Во-первых, весьма решительную позицию заняли такие люди, как ближайший помощник Рене Шнейдера генерал Карлос Пратс. Было заявлено, что «доктрина Шнейдера» остается в силе, гарантируется нормальное проведение сессии Национального конгресса, где должен быть утвержден президент. В эти напряженнейшие минуты жизни Чили трудящиеся в полной мере восприняли широкие разъяснения всех демократических партий

и профсоюзного центра о подлинных целях убийства главнокомандующего. Всеобщая двухчасовая национальная забастовка против действий заговорщиков и мягкотелости к ним правительства явилась внушительным предупреждением реакции о том, что захватить власть ей не дадут.

В стране было объявлено чрезвычайное положение. Движение людей и всех видов транспорта тщательно контролировалось, а в ночное время запрещалось.

До заседания парламента оставался один день. Большинство в парламенте принадлежало группе партий, не входящих в Народное единство. По предварительному сговору все они, попирая извечные традиции, должны были проголосовать не за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов, а за представителя правых Хорхе Алессандри (идущего по списку вторым) под тем предлогом, будто победа на выборах Альенде вызвала в стране панику и террор.

Однако реакция видела, как поднялся против нее народ в связи с убийством Шнейдера. И поняла, что это значит. Она не могла не видеть, что при создавшейся обстановке любой ее трюк, направленный против Народного единства, неизбежно вызовет взрыв, который может смести ее с лица чилийской земли.

Что касается империализма, отмечал Луис Корвалан, прежде всего американского, то ему, разумеется, претит то, что происходит в нашей стране. Победа, одержанная чилийским народом, застряла в горле американского империализма, как кость, которую он не может проглотить. Дело в том, подчеркивал генеральный секретарь Чилийской компартии, что представители Народного единства пришли к власти, если так можно выразиться, на законном основании, то есть путем демократических выборов. Конечно, сам этот факт не остановил бы империалистов, но они боятся реакции общественности, прежде всего международной, на такое попрание ими же восхваляемой буржуазной демократии. Кроме того, победа Народного единства была достигнута в момент, когда в Латинской Америке присходил новый подъем революционной борьбы. В подобных условиях, указывал Луис Корвалан, непросто открыто выступить против нашей страны. Такой шаг создал бы угрозу подрыва позиций империализма в других странах, кто знает, во скольких.

На такой риск международный империализм идти не мог.

Чилийской реакции оставалось спасти хотя бы мощную оппозицию в парламенте, сохранить там реакционных и правых депутатов, которые в дальнейшем не дали бы возможности новому правительству провести ни одного мероприятия, начиная с национализации медных рудников. И Хорхе Алессандри призвал своих единомышленников в парламенте не голосовать за него, а руководство христианских демократов повелело своим представителям отдать голоса Сальвадору Альенде.

Власти действовали решительно. Были арестованы почти все

участники заговора. Высшие судебные органы с той же оперативностью и энергией мешали установлению истины. Апелляционный суд, не имея на то никаких оснований, освободил нескольких обвиняемых, и они тут же сбежали за пределы страны. Верховный суд запретил привлечь к ответственности некое высокопоставленное лицо, хотя его участие в заговоре сомнений не вызывало.

Почему? С этим вопросом мне и хотелось обратиться к председателю Верховного суда сеньору Рамиро Мендесу.

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Вблизи гостиницы «Карера», где остановилось большинство участников «Операции правда», находился Центр «Операции», наделенный большими полномочиями. По его планам министерства, ведомства, предприятия знакомили приехавших с жизнью Чили. Нам было предложено несколько программ и маршрутов поездок по стране, было предусмотрено много пресс-конференций и встреч с государственными деятелями и официальными лицами. В полном соответствии с заявлением президента, из намеченных мероприятий каждый сам выбирал наиболее подходящие для себя. Если же вопросы, интересовавшие того или иного участника «Операции», выходили за пределы программ Центра, они разрешались в индивидуальном порядке.

Таким образом, обеспечивались возможности самого полного и широкого ознакомления со всеми областями жизни страны. Предложенные программы были обширными, охватывали политическую, экономическую и культурную сферы, но, естественно, заранее предусмотреть абсолютно все запросы участников «Операции» не могли. В частности, не намечалось встречи с председателем Верховного суда. А мне, повторяю, хотелось поговорить с ним, выяснить некоторые обстоятельства, связанные с убийством генерала Рене Шнейдера. Хотелось также поговорить с кардиналом, узнать, как относится церковь к мероприятиям нового правительства.

Дело в том, что церковь владела земельными угодьями в десятки и десятки тысяч гектаров. А такие огромные угодья, согласно аграрной реформе, подлежали национализации. Кроме того, хотелось побывать на медном руднике «Теньенте», посещение которого, как и встреча с кардиналом, программой не предусматривалось.

Почему именно медный рудник? Медь — основа экономики Чили. «Теньенте» — это целый комплекс, удельный вес которого в общей добыче чилийской меди довольно высок.

В Центре «Операции правда» обещали выполнить мои просьбы. Однако опасения у меня вызывала возможность встречи с Рамиро Мендесом. Дело в том, что он был ярым сторонником реакции, откровенно поддерживал ее провокационные действия

и, как я думал, мог не согласиться на беседу с советским представителем. Опасения оказались напрасными. Видимо, Мендес не мог демонстративно проявить свое враждебное отношение к объективной акции правительства, какой и являлась «Операция правда». На телефонный звонок из Центра ответил, что готов к беседе в любое время.

Серая громада здания суда, почерневшего от времени, производила странное впечатление. Будто исполинский склеп: красиво и гнетуще. Тяжелые высоченные колонны, тяжелые кованные медью врата высотою в два этажа вместо обычных дверей, а высоко-высоко под самой крышей гигантскими буквами, не то высеченными из камня, не то выложенными камнем слова: «Суд справедливости». Близ входа — изваяние Фемиды и отлитое в бронзе грозное «Lex» — закон. Это же слово метровыми буквами из травы выложено внизу. И еще в нескольких местах внутри здания — тот же «Lex». Довольно настойчиво убеждают вас в том, что все здесь подчинено закону.

Длинные галереи направо и налево от входа, образованные железной колоннадой, тускло освещены застекленным куполом, железные переплеты которого держатся тоже на десятках металлических колонн. Широкие, словно предназначенные для массовых шествий ступени ведут на второй и третий этажи. Черные колонны, черные переплеты, могучие стены высотой во все здание, тяжелые, глухие, незыблемые. Возможно, так и должен выглядеть суд. Что-то неприступное, неумолимое, вечное. А может быть, это впечатление создавалось или, по меньшей мере, усиливалось той правдой, которая уже была мне известна.

Дело в том, что все до единого преобразования в стране, все мероприятия — от аграрной реформы до национализации меднорудной промышленности — правительство Народного единства проводит только на конституционной основе, только в соответствии с существующими законами. И в бессилии реакция стремится изолгать эти действия правительства, представить их так, будто совершается нарушение законов. А в глухом здании суда человек, к которому я шел, и являлся одним из представителей чилийской реакции. Может быть, сознание этого и вызывало определенные эмоции.

В его приемной, как в картинной галерее, стены увешаны огромными портретами, написанными маслом. И под каждым — фамилия и две даты — рождения и смерти. Это предшественники сеньора Рамиро Мендеса за последние столетия. И каждый из них провел в этом здании долгие годы.

Рамиро Мендесу без малого семьдесят. Поначалу он показался подтянутым и бодрым. Но очень скоро я увидел, что передо мной суетящийся, полный неожиданных эмоций старичок, то и дело повторяющий только что уже сказанное им. Он курил, вернее, посасывал погасшую сигару, ежеминутно откладывал ее и как только снова брал, спрашивал: «Не хотите ли сигару?»

Не дав ответить, спохватывался: «Ах, да, не хотите» — и, теряя мысль, нетерпеливо щупал пальцами воздух, точно пытаясь извлечь ее оттуда.

Ему хорошо в своем огромном кабинете, еще более тяжелом, чем все в этом здании, и не только из-за мебели, которую не сдвинуть с места, но и от толстенных сводов законов, какими уставлены стены. Мендесу уютно здесь, ибо кабинет этот предоставлен ему на всю жизнь и практически нет силы, которая могла бы его сместить. Так думает Мендес.

— И знаете, хи-хи-хи,— тоненько, совсем по-детски смеется он,— в учреждениях люди стремятся поскорее на пенсию (конечно, если у них есть деньги), а у нас, ну, решительно никто. Вот члену Верховного суда Армандо Сильва семьдесят четыре. Но дело даже не в годах. На заседаниях он дремлет, а на пенсию не идет... Хи-хи-хи...— И он хлопает ладошками по коленкам.

— До какого же возраста служат члены Верховного суда?

— Странный вопрос,— удивился Мендес.— Вам, видимо, непонятна вся наша независимая демократическая система. В стране три самостоятельных, независимых друг от друга взаимоконтролируемых начала: парламент, президент и Верховный суд. На этих трех китах держится государство. Суд — это пирамида. Целая система судов, охватывающая все области жизни народа. На самой вершине — Верховный суд, состоящий из тринадцати человек и возглавляемый председателем, в данном случае — мною.

При этих словах Мендес улыбается радостно, искренне, непосредственно, как ребенок, получивший красивую заводную игрушку, которую может пускать куда ему вздумается.

Все судьи, объяснил Мендес, во-первых, не избираются, а назначаются, а во-вторых,— на всю жизнь, то есть согласно закону «до тех пор, пока хватает сил».

Когда иссякают силы, определяет только сам член Верховного суда, но что-то Мендес не мог припомнить случая, чтобы кто-нибудь из его коллег заявил об этом.

Новых членов Верховного суда формально назначает президент, фактически же сам суд, ибо президент не волен предложить свою кандидатуру. Он может лишь выбрать из числа рекомендуемых судом.

Эта «независимая демократическая» система была мне действительно непонятна. Я сказал: «Тринадцать членов Верховного суда остаются на своих постах десятилетиями. За такое время кто-либо из них может отстать от требований жизни, потерять объективность, наконец, не оправдать доверия, да мало ли что может случиться. Как же назначать на всю жизнь!»

Пока я говорил, Мендес все более радостно улыбался. И лицо его выражало: «Боже мой, какие наивные еще есть люди».

— Все предусмотрено! — победно сказал он. Оказывается,

парламент вправе отозвать судью, «не выполняющего своего долга». Но это теоретически. Практически же отзыв невозможен. Не только из-за сложнейших и длительных процедур, какими должна сопровождаться подобная акция, но главным образом потому, что члены Верховного суда подбираются из могущественной касты, верно служащей капиталу. Потому никогда и не возникал вопрос об отзыве судей с любой ступени пирамиды.

А формально демократия соблюдается. Существует даже квалификационная комиссия, ежегодно определяющая служебное соответствие судей.

— А кто назначает комиссию? Из кого она формируется?

— Кто же компетентен судить о члене Верховного суда? — снова удивился Мендес моему вопросу.— Только Верховный суд. Он и назначает из своей среды комиссию.

А я и в самом деле не мог понять, как это люди сами себя назначают и сами себя проверяют. Потому так убедительно звучали для меня слова Луиса Корвалана, который сказал: «Мы предлагаем также существенное изменение в системе судебных органов. В настоящее время действует реакционная система самоназначения судей — членов Верховного суда. Ее следует заменить выбором этих судей единой палатой Национального конгресса... Мы за государство, основанное на праве, на законах, на более демократических законах, чем те, которые действуют сейчас в нашей стране».

Мендес еще долго и с упоением говорил о «пирамиде», на вершине которой сидел, и я начал постепенно переходить к делу, по которому пришел.

В одной из провинций произошли волнения на землях латифундистов. Были они результатом и загибов сверхлевацких элементов, и искренних заблуждений одних, поддавшихся провокационным лозунгам, и правильных действий вторых, вызванных обстановкой. Но так или иначе, во время этих событий погибли люди от рук латифундистов. Виновники убийств были арестованы. Однако по указанию Верховного суда их немедленно освободили. Так вот, не может ли сеньор председатель разъяснить, какими мотивами он при этом руководствовался.

— Вот видите! — торжествующе сказал Мендес.— Вы живете эмоциями, а я — законом. Поинтересовались ли вы, где именно были убиты люди?.. Вот видите! — повторил он так, будто уличил меня в преступлении.— А ведь хозяева латифундий стреляли в крестьян на сво-ей соб-ствен-ной земле,— поднял он вверх ладонь.

— Значит, латифундист может стрелять в человека, если увидит его на своей земле, скажем, площадью в сто тысяч гектаров?

— А как же? — поразился Мендес.— Собственность неприкосновенна и охраняется законом.

Вот так сеньор Рамиро Мендес толкует закон. Что-либо

доказывать ему было бесполезно, и я перешел к делу генерала Шнейдера. Почему Верховный суд запретил не только судить, но и допрашивать одного из сенаторов, который участвовал в заговоре и обеспечивал доставку оружия из-за границы?

— Конечно, убийство Рене Шнейдера глупое, жестокое преступление. Но судить за это сенатора противозаконно, хотя к такому выводу Верховный суд пришел не единодушно.

И дальше шли длинные и путаные объяснения, в которых ясна была лишь их реакционная сущность: то, что одни считают заговором, другие — прогрессивным движением. И судить за это нельзя. Выходит, можно убивать, бросать бомбы, совершать поджоги, только бы своевременно прикрыться ширмой прогресса.

Как ни старался Мендес опираться на закон, он не мог скрыть, что верно стоит на защите интересов реакционных сил. Это бесспорно являлось стимулом для их дальнейших вылазок. Потому и свершались все новые провокации и покушения на государственных и общественных деятелей, что заговорщики были уверены в безнаказанности, в том, что высший судебный орган, как и его глава, на их стороне.

В ЧРЕВЕ МЕДНОЙ ГОРЫ

Трудности появились там, где я их не ждал. В Центре «Операции правда» объяснили, что по техническим причинам поездка на медный рудник «Теньенте» откладывается на день-два. Потом снова откладывалась. Сообщая об этом, сотрудник Центра чувствовал себя неловко. Казалось, и сам он не очень верит в «технические причины». Но именно такую причину выставляли ему в управлении внешних сношений «Теньенте», находящемся в Сантьяго.

Это управление обязано было незамедлительно выполнить просьбу Центра, наделенного, как уже говорилось, большими полномочиями. Тем более что ссылка на технические причины выглядела несостоятельной. В самом деле, меднорудный комплекс «Теньенте» действовал на полную мощность, каждый день на работу выходили тысячи людей, почему же нельзя побывать там еще одному человеку, если производство не секретное? Мне особенно хотелось побывать в шахтерском поселке, расположенном у шахты, где проживало двенадцать тысяч человек. Но поездка и туда лимитировалась техническими причинами.

Чилийские друзья объяснили мне создавшуюся ситуацию.

В Кордильерах, внутри исполинской каменной горы на высоте около трех тысяч метров, находится самый большой в мире медный рудник под землей. А снаружи, на крутом склоне горы в скалах,— жилища шахтеров.

Это и есть знаменитые чилийские медные копи «Теньенте». Чилийские в том смысле, что они находятся в Чили и добывают медь чилийцы. А хозяева здесь другие. В Нью-Йорке я видел

их главный штаб. А в Чили — только поставленных ими администраторов. Администраторы живут и отдыхают не в скалах, а в другом месте. В этом другом месте я тоже побывал и немножечко отдохнул, как они. Я расскажу об этом потом.

Хозяев в «Теньенте» было много, начиная с испанцев. Потом были англичане, немцы, французы, итальянцы, конкурировавшие друг с другом в борьбе за чилийскую медь. Чилийцев к этому делу они не допускали. Постепенно всех вытеснили американцы. Первым, кто пустил чилийскую медь в американское русло, был Вильям Брейден. Его большой портрет, писанный маслом, в золоченой раме я видел в Сантьяго в управлении внешних сношений «Теньенте».

Около семидесяти лет на руднике безраздельно господствовал иностранный капитал. При новом правительстве пришлось поделиться. Контрольный пакет оказался в руках чилийского государства — 51 процент акций. Так в «Теньенте» прекратила свое существование могущественная «Кеннекот купер корпорейшн» и появилась «Сосиедад минера эль Теньенте». Внешне все выглядело хорошо, красиво. В действительности это был маневр медных магнатов, чтобы в условиях нарастающей борьбы народов за независимость не упустить чилийскую медь. В их руках осталось около половины акций, новая компания осталась, как и была, частной, а не государственной, а главное — остался поставленный ими административный аппарат. Поэтому остался на стене и портрет человека в золоченой раме.

Правительство Народного единства во главе с президентом Сальвадором Альенде не желало мириться с полумерой. Прежние владельцы понимали, что скоро у них выкупят все сорок девять процентов акций. Но пока что не отдавали. Говорили, что это противоречит чилийской конституции. И верно, противоречило. Ничего не скажешь. Они ведь большие специалисты по чилийской конституции. Не без их участия она создавалась. И заботятся не о себе, а о справедливости и чилийцах, чтобы конституция свято выполнялась. Не зря же они были столь дальновидными, что при создании конституции предусмотрели возможность нынешней ситуации. Правда, не догадались — ведь в конституцию жизнь может внести поправки.

Именно те, какие уже были к тому времени внесены на утверждение парламента.

Для монополий США потеря чилийской меди — удар чувствительный. Один миллион долларов в день вывозили они из Чили в виде чистого дохода от эксплуатации медных рудников. Впрочем, не будем подсчитывать их потери и не будем убиваться. У них ведь остались богатейшие рудники и заводы в США, Канаде и других странах. А для Чили медь — это семьдесят процентов всей ее экономики. Это восемьдесят процентов ее экспорта. Из 21 страны мира, добывающих медь, Чили отстает

лишь от США и СССР. Она производит меди больше, чем двенадцать других стран, вместе взятых.

На «Теньенте» американцы обычно не пускали посторонних. В крайних случаях показывали «Чукикамату», где добыча ведется открытым способом, а шахтерский поселок вообще доступен для посетителей. А вот путь в «Теньенте» был перекрыт уже за одиннадцать километров до поселка. И хотя к моменту, о котором идет речь, в руках монополий США оставалось лишь 49 процентов акций, они пытались безраздельно командовать копями. Видимо, они и не желали допустить на шахту советского представителя, используя для этого поставленный ими административный аппарат. Настойчивые требования Центра «Операции» привели к тому, что разрешение в конце концов было получено.

Вместе с переводчиком Перето и представителем управления внешних сношений «Теньенте» мы выехали из Сантьяго рано утром. Перето — коммунист, партийная принадлежность представителя фирмы мне не была известна. Знал лишь, что образование он получил в Калифорнийском университете и около двадцати лет прослужил на американских предприятиях по добыче меди. Это один из тех администраторов, которых сохранила медная корпорация после потери контрольного пакета акций, кому щедро платят.

До шахтерского центра — города Ранкагуа — девяносто километров. А до рудника оттуда еще километров пятьдесят. Дорога широкая, асфальтированная, едем быстро. Спустя минут двадцать увидели поперек нее сооружение из трех арок. У каждой выглядывает из окошечка служащий или стоит у порожка с квитанционной книжкой. Наша, как и другие машины, притормаживает, и на ходу шофер вручает служащему десять эскудо, одновременно получая приготовленные заранее квитанцию и три эскудо сдачи.

Оказывается, дорога платная. Подобных арок на ней немало. Перед ними, вытянувшись в длинную цепочку, на высоких столбах надписи с крупными цифрами: три, пять, семь, двенадцать. Это стоимость проезда в зависимости от вида транспорта. Справа и слева от дороги — бедные поселки и деревушки. То и дело следы уже полгода назад прошедших президентских выборов. Надписи на стенах, на камнях, на крышах... Альенде... Алессандри... Томич... Никто не стирает фамилий кандидатов, добивавшихся президентского поста. Приятно удивляет огромный серп и молот на скале. Чуть дальше крупно: «Альенде».

В самом начале пути на редкие вопросы представитель фирмы отвечал не сразу, медленно, демонстрируя свое величие. И я не стал больше задавать ему вопросы. Всю дорогу мы разговаривали с Перето, а наш спутник хранил гордое молчание. Я спросил Перето, не пытались ли враги Народного единства использовать против Альенде эмблему труда, которую я не раз встречал в Сантьяго и вот сейчас здесь, у шоссе.

— Еще как! — улыбнулся Перето.— В Сантьяго на огромном щите был изображен в красках стреляющий советский танк, а над ним надпись: «Чилиец! Если хочешь увидеть это на наших улицах, голосуй за Альенде». В реакционной печати была уйма рисунков, карикатур, наподобие следующей. В центре восседают русские офицеры и генералы, а Альенде приютился в уголке. Надпись гласила: «Вот что произойдет в Чили при правительстве Альенде».

Конечно, говорит Перето, враги народной власти пытались серп и молот обернуть против нее, и кое на кого их пропаганда оказывала влияние. Но, думаю, символ Советского Союза рядом с фамилией Альенде дал ему немало голосов.

На сороковом километре второй раз заплатили за проезд по шоссе. И тут же начались хижины из травы. Вернее, из снопов.

— Как живут эти люди? — спрашиваю переводчика.

— Не живут. Существуют.

Движение на шоссе не густое, многие машины обращают на себя внимание. На маленькой легковушке нарисован огромный кувшин. Почему кувшин? Захотел и нарисовал. Огромные цистерны, не меньше железнодорожных, ярко раскрашенные, мчатся с большой скоростью. В них — вино. К слову, чилийское вино, как утверждают знатоки, не уступает лучшим винам, завоевавшим мировую популярность, и оно все увереннее пробивает себе дорогу на мировом рынке.

Величественно следуют гигантские тягачи с тридцатитонными прицепами, груженными чушками красной меди. Это уже с «Теньенте». Незаметно въезжаем в Ранкагуа, где расположены несколько управлений медных копей и городок шахтеров. Почти все домики одноэтажные, маленькие, красивые, выкрашенные в разные цвета.

От Ранкагуа сворачиваем с главной магистрали. Едем по отлично асфальтированной дороге, недавно построенной фирмой «Теньенте». Горы, то покрытые кустарником, то голые, вдоль и поперек пересечены колючей проволокой. Такие преграды переполосовали всю страну, и возведены они владельцами земли. Каждый ограждал свои тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч гектаров. Сейчас значительная часть земли национализирована. Но ограды остались, как границы сельскохозяйственных кооперативов, государственных и частных владений. Впрочем, «национализировано», можно сказать, условно, ибо государство не отбирает землю, а выкупает. Правда, выплачивается лишь десять процентов ее стоимости, а остальная сумма — с рассрочкой на двадцать лет.

Постепенно горы становятся выше, исчезла растительность. Неожиданно за поворотом мы увидели дым. Очень много дыма. Густой, тяжелый, он двигался, расползался, накрывая огромную территорию. Дым не уходил вверх, а оседал, и от него темнело на дороге. Было противоестественно. Горы, совершенно дикие,

только голые горы со всех сторон, исполинские, обрывистые, и не может быть здесь ни жизни, ни дыма. Но это не мираж. Где-то далеко внизу из ущелья показались трубы. Только верхушки труб, из которых валил дым. Трубы медеплавильного завода.

Мы поднимаемся выше и едем по дороге, каких мне не приходилось видеть. Обычно горная дорога идет «серпантином». С самолета она кажется извилистой ступенькой. По одну ее сторону — гора, по другую — пологий спуск или обрыв. А тут либо она разрезает гору и едешь в образовавшемся ущелье, либо обрывы с обеих сторон. Машина движется, как по дамбе. Но все равно вокруг только горы. На них уже никакой растительности. Ни деревца, ни кустика, ни травы, ни земли. Сплошной камень.

Исполинские массивы, что высятся со всех сторон, не назовешь и скалами. Скалы предполагают выступы, углы, плоскости. Ничего подобного здесь нет. Это и не гладкий камень, обветренный, обмытый, как валун. Будто плавился исполин, оплывал при сильном ветре, образовавшем морщины или рябь, и так все это и застыло. Что-то от сотворения мира. Безмолвное, безжизненное, вечное... Кордильеры...

Машина петляет в горах одинокая, маленькая, точно муравей среди небоскребов, и трудно оторвать от них глаз, и на глазах они меняют цвет. Это поражает до суеверия. Значит, не безжизненные, значит, что-то таинственное, фантастическое происходит в этих немыслимых горах.

Мчится машина, часто меняя направление, солнце оказывается то справа от нас, то слева, и не сразу понимаешь, что это его лучи так преображают горы.

Неожиданно, совсем близко открываются промышленные здания и узкоколейка с длинным составом непривычно высоких хопров, перегораживающих нам путь. Это обогатительная фабрика меднорудного комплекса «Теньенте». Сверхсовременное предприятие. Где-то под землей в одиннадцати километрах отсюда по крутым трубопроводам несется с шахты руда, там же под землей попадает в бункеры, под которыми движутся составы, автоматически нагружаемые и идущие по подземной электрорельсовой дороге сюда на обогатительную фабрику. Руда дробится, мелется, смешивается с водой, автоматически переходит с одного агрегата на другой, движется по конвейерным лентам, по трубам, через гигантские бассейны, и всюду происходят какие-то процессы, химические или механические, пока не отделяется от нее восемнадцать примесей меди, тоже представляющих ценность. А медный концентрат потечет на медеплавильный завод.

Главный цех обогатительной фабрики — это здание из стекла, бетона и металлических конструкций, разделенное на разных уровнях железными решетками этажей на десять, где сосредоточены сотни и сотни машин и механизмов. Стоя у одной

стены, разглядишь противоположную разве что в сильный бинокль. Вращаются гигантские барабаны шаровых мельниц, жужжат маховики и зубчатки, щелкают рычаги и клапаны в агрегатах, где пенится, вот-вот выплеснется через край, но не выплескивается густая масса медного концентрата. И на всем необозримом пространстве цеха — ни одного рабочего. Впрочем, у какой-то машины возятся двое. Но она отключена от общей линии и ремонтируется. Где-то высоко-высоко, будто стеклянный скворечник,— пульт электронного управления фабрикой.

Мы долго осматривали это совершенное производство, слушая объяснения инженера и редкие реплики представителя фирмы, с которым приехали. Потом, взглянув на часы и официально улыбнувшись, он сказал:

— А теперь пора обедать.

— На рудник поедем после обеда?

— На какой рудник? — удивился он.— После обеда, если останется, конечно, время, взглянем на медеплавильный завод, потом — домой.

Он был официален и тверд. Никаких других поручений у него нет, к кому нам обращаться, не знает. Он обязан показать лишь то, что назвал, затем доставить уважаемого гостя в Сантьяго, а точнее, в гостиницу «Карера». Стало ясно, что здесь недоразумения не разрешить. Но хоть завод посмотреть до обеда можно? Ведь не исключено, что потом «не останется времени».

Пожав плечами, он согласился. До завода, расположенного на высоте более двух тысяч метров, ехали минут десять. Может быть, потому, что с фабрики, построенной на основе последних достижений техники, сразу попали на старый завод, он произвел удручающее впечатление. Стиснутый скалами бескрайний навес с изломанным профилем — это и есть завод.

Конверторные печи в черных наростах, окутаны дымом, гарью, копотью. Черные бесформенные глыбы шлака то и дело преграждают путь. Вся площадь вокруг печей, должно быть, при строительстве не была выровнена, поэтому повсюду много каких-то мостков, переходов из кирпича и железобетона, обваливающихся, осыпающихся под ногами. Из печей под куполом бьется обуглившееся несгоревшее топливо. Глубокий слой пыли и гари, в котором утопают ноги, перемешан с кусками шлака. Повсюду валяются вышедшие из строя или отслужившие срок части машин, куски металла, какой-то хлам. Пыль поднимается, а копоть и несгоревшее топливо оседают, и воздух заполнен этой смесью. Хотя стен нет, дышать нечем. По сторонам от навеса — накаленные скалы, а под ним шевелящийся черно-сизый туман. Он движется медленно, пластами, совершая какой-то круговорот то вверх, то вниз, то в стороны, но никуда не уплывает из-под навеса. Люди ходят с твердыми, похоже непроницаемыми повязками, закрывающими нос и рот. Уже через несколько минут машинально ощупываешь затылок, лезешь за воротник и тщетно

пытаешься стряхнуть кристаллики гари с влажного тела. Пыль и гарь заползают в нос, хрустят на зубах.

По одну сторону от навеса — подсобные здания и жилые дома с окошечками под самой крышей. Они тоже, точно черной коростой, покрыты толстым бесформенным слоем из грязи и копоти. И кажется, не пятьдесят лет этому заводу, как сказал представитель фирмы, а тысячелетия. И наросты эти образовывались тысячелетиями.

При нас начали чистить одну из печей, и стало ясно, откуда здесь столько шлака и заводских отходов. Гигантский крюк, спущенный с крана в печь, ворочал там раскаленные глыбы, вытаскивал наверх, и они рушились, дымя и быстро остывая. От едкого запаха першило в горле. Потом те, что не разбивались на кусочки, оттащат в сторону, и, видимо, на том дело и кончится.

На соседней печи медь поспела. Тонкой струйкой она течет в изложницы карусельного конвейера. Изложниц, расположенных по кругу,— штук пятьдесят. Струйка течет в них безостановочно, заполняя одну за другой расплавленным металлом. Его охлаждают водой. Сначала только капли воды попадают на металл, потом душ сильнее, гуще, и вот уже струя воды окатывает отвердевшую чушку. Вздымаются клубы пара, и окутанный паром рабочий с двумя крюками выковыривает чушку, вернее, отрывает от места. Чуть дальше изложница опрокидывается в узкую ванну с проточной водой, по дну которой движется конвейер, вытаскивающий наверх охлажденную чушку. Ее подхватывают крюками двое рабочих, бросают на тележку, и третий рабочий бежит с ней, грузит на платформу, к которой через несколько минут подойдет тягач.

Ни одной лишней минуты не лежит здесь готовая медь. Высшего качества красная медь, приносившая американским капиталистам один миллион долларов прибыли в день.

Работать на этом заводе тяжело. Только очень здоровым и сильным по плечу. Только таких и брали сюда. Благо, безработица давала все возможности большого выбора. Но и сильные держались не долго. Здоровье терялось, таяло, и уже не мог стоять человек у печей, стоять часами, окутанный паром. Тогда его увольняли, он вливался в армию безработных. Найти применение теперь уже слабым своим силам становилось почти невозможно. Как и руда, перемалывались здесь люди и растекались по чилийской земле.

В Центре «Операции правда», когда я туда приехал, уже знали о том, что на рудник меня не пустили. Это вызвало недовольство Центра. Мне сказали, что тем не менее поездка состоится обязательно. Помимо воли я становился чуть ли не участником конфликта. Мне не хотелось этого. Сказал, на поездке не настаиваю, еще осталось многое, что надо увидеть. Из дальнейшего разговора понял: теперь дело уже не только во мне,

но главным образом в престиже Центра, в том, что зарубежные администраторы не имели права менять мою программу. Их объяснения, будто они не поняли просьбы, не удовлетворили Центр.

На следующее утро за мной заехали Перето и представитель администрации. Когда машина тронулась, на всякий случай спросил:

— Значит, мы едем на рудник «Теньенте», где я буду иметь возможность спуститься в шахту, а потом посмотреть поселок?

— Нет,— улыбнулся представитель.— Мы покажем вам нечто куда более интересное.

Мне не хотелось смотреть куда более интересное. Я хотел на рудник, о чем и сказал ему.

— Извините,— развел он руками.— Такого поручения у меня нет. Да и попасть туда мы уже не успеем. Не успеем на поезд узкоколейки, а другого пути на шахту нет.

Я знал: реакция и те, кого ей удается ввести в заблуждение, пытаются игнорировать мероприятия правительства, дискредитировать его органы. Думал, это относится к серьезным политическим и экономическим акциям. В голову не могло прийти, что даже на такой малости, как вот эта поездка, кто-то может саботировать указание Центра. Но хорошо помнил последний разговор, происшедший там. Поэтому ехать дальше отказался.

В то утро мне довелось побывать и в Центре, и в управлении внешних сношений «Теньенте». Там я и увидел огромный портрет мистера Вильяма Брейдена в золоченой раме. Он висел в приемной, где уверенно, с чувством собственного достоинства действовала секретарь управления сеньора Сильвия Сарович.

Учтивая, предупредительная, прежде всего попросила не искать в этом недоразумении политической подоплеки, так как поездка на рудник, по ее словам, проблема чисто техническая. Предложила кофе, подарила набор образцов меди «Теньенте» и отлично изданный проспект всего меднорудного комплекса. Не торопясь, тем не менее быстро, куда-то звонила, отвечала на телефонные звонки, принимала и отправляла почту, давала распоряжения. Время от времени обращалась ко мне, объясняя, что делается все возможное, только бы состоялась моя поездка.

Затем явился руководитель отдела информации управления внешних сношений «Теньенте» сеньор Уго Шиллинг. Он тоже был вежлив и тоже говорил, что посещение рудника проблема не политическая, а техническая. Спросил, ясно ли мне это. Я сказал: «Ясно».

Вместе с Перето мы ожидали, чем все это кончится, и он тихонько переводил мне красочный проспект. В нем дана экономическая характеристика медных копей «Теньенте» и подробнейшим образом рассказано, какое великое благо для народа Чили совершили в прошлом и совершают сейчас североамериканцы, разрабатывая чилийскую медь, как много труда и долларов вкла-

дывали и вкладывают в это дело руководители медной корпорации на чилийской земле.

И подумалось: как же цепко они держатся за эту землю, сколько еще усилий народа потребуется, чтобы обрубить их корни, проникшие во все ее поры.

Поездка состоялась. В Ранкагуа к нам присоединился инженер из управления рудником. Мы ехали уже по знакомой дороге, пока где-то в районе обогатительной фабрики не уперлись в закрытый шлагбаум. Дальше ни шоссейной, ни грунтовой дороги нет. На узеньких рельсах стоял поезд из нескольких вагончиков, раскрашенных в разные цвета. Не будь они такими старыми и невзрачными, с облупившейся краской, ничем бы его не отличить от поездов детской железной дороги. И еще одно отличие, бросавшееся в глаза. В голове поезда стояло два тепловоза, хотя, как я подсчитал, вагончиков было всего шесть. Какие же препятствия надо преодолевать, если такой крошечный состав пускают на двойной тяге!

Вагон, куда мы вошли, был полон. Женщины, мужчины, дети. До поселка Севель, где находится рудник,— одиннадцать километров. Весь путь в диких скалах. И все время подъем. С каждым километром в среднем поднимались на сто метров. Конечно, на такую крутизну один тепловоз не вытянет состава. По склону горы вьется вырубленная в скалах ступенька, на которой едва умещаются узенькие рельсы. С одной стороны — отвесная стена, с другой — пропасть. Поэтому в дождь и снегопад узкоколейка не работает. Опасно. А непогода здесь восемь-девять месяцев в году. Значит, на это время шахтерский поселок в скалах отрезан от всего мира. Да и в хорошую погоду спускаются с гор немногие. Во-первых, эти вагончики ходят один-два раза в сутки, а во-вторых, погода в горах капризна, может измениться неожиданно. Как потом попадешь на шахту?

Одиннадцать километров мы поднимались в сплошных скалах. Временами скорость не превышала двух-трех километров в час. Это в тех местах, где особенно круты повороты и не исключена опасность свалиться. Даже если у окна сидишь, земли не увидишь. Едешь, будто по канатной дороге.

Для руды построен более надежный путь — подземный, или, вернее, подскальный, трубопровод. Ему не страшна непогода. Круглыми сутками безостановочно течет руда на старую обогатительную фабрику и на новую, о которой речь шла выше. Ну, а люди пока пользуются узкоколейкой.

Чем выше поднимаемся, тем страшнее и красивее. Ползет крошечный составчик в исполинских скалах, карабкается, вот-вот соскользнет и рухнет. Снеговые вершины залиты солнцем. Но кажется, будто они подсвечены изнутри. Будто хрустальные они. Хрусталь переливается, грани сверкают. Брызгами искрятся водопады. Ни одна капля воды не пропадает. Сложная система водосбора соединяет дождевые капли в ручейки, потоки, направ-

ляет в железобетонные хранилища. Горы обильно снабжают водой и шахту, и поселок.

Миновали вырубленный в цельном массиве камня тоннель и неожиданно вдруг увидели снег. Им было покрыто полотно железной дороги, и маленькая станция, где мы остановились, с вокзалом, похожим на вагончик наших строителей, и буквально игрушечный снегоочиститель, стоявший тут же, и вся земля или камень вокруг. Все это было неправдоподобно, похоже на декорацию, и только мальчики, игравшие в снежки, делали картину реальной.

Поезд стоял минуту. Мы продолжали карабкаться наверх, куда-то на небо, медленно, тяжело, в полном одиночестве, среди исполинских нагромождений, и почему-то думалось о космосе.

Одиннадцать километров до станции Севель, где расположены шахта и поселок, мы преодолели за час. Высота — около трех тысяч метров. Все в снегу. Снег падает, и хотя тает, его много. И только на очень крутых склонах он не удерживается, и они выдаются огромными черными пятнами.

Прямо от платформы начиналась крутая, как трап, лестница. И весь поселок в таких лестницах. Здесь нет улиц, переулков, площадей. Вместо улиц и переулков — лестницы. Вместо площадей — лестничные площадки. Здесь просто дома в скалах. Каждый дом имеет только номер. Почтовый адрес так и пишется: Севель, дом номер такой-то. А в Севеле этом живут двенадцать тысяч человек.

В отличие от всех населенных пунктов дома здесь стоят не рядами, а в зависимости от местности: то один над другим, то под разными углами, то перпендикулярно друг к другу. Есть одиночные дома, удаленные от других, есть группы домов, и все они разбросаны в самом хаотическом беспорядке. Между домами сообщение только по лестницам, по очень добротным железобетонным лестницам, которые кроме обычной для них функции несут дополнительную: укрепляют скалистый грунт, чтобы не осыпался.

Дома высокие, один даже тринадцатиэтажный. Но только с фасада он тринадцатиэтажный. Как и все остальные, он прилепился к склону горы, поэтому с тыльной стороны только два этажа — двенадцатый и тринадцатый. Но хода отсюда нет, мешает гора. Вход по железному трапу — сбоку на узкую террасу, идущую вдоль всего дома со стороны фасада. С этой террасы ведет трап на следующую, и так до тринадцатого этажа. А с террас — вход в квартиры, как в каюты с палубы. Лифтов нет.

Лестницы, трапы, железные, железобетонные, деревянные, идущие в дома, куда-то вверх вдоль домов, проходящие где-то над крышами, огражденные решетками, сетками, перилами, беспорядочно переплетаются, и уже не поймешь, куда они ведут. Но чем выше поднимаешься по этим лестницам и трапам, тем

яснее становится, что все они, в конечном счете, сходятся у главной проходной в рудник.

Мы поднялись ступенек на сто пятьдесят, а до входа было еще далеко. Остановились передохнуть на большой площадке, где изогнутый дугой по форме горы стоял длиннющий барак — какие-то механические мастерские.

Без тренировки и практики до рудника добраться трудно. Представители фирмы куда-то ходили, кому-то звонили и вернулись довольными: надо подняться еще немного, и за нами пришлют тележку грузового фуникулера.

Тележка двигалась по шести рельсам, расстояние между крайними — метров пятнадцать. Ее тянули шесть толстых стальных тросов. Рельсы были и на самой тележке, куда при необходимости загоняли один-два вагона. Тележка несколько раз останавливалась возле производственных помещений для разгрузки или погрузки каких-то тюков и деталей механизмов.

И вот, наконец, мы в главном тоннеле. Здесь какие-то конторки, склады, ламповые, подсобные помещения. Надеваем резиновые плащи, тяжелые резиновые сапоги с застежками, каски. Вежливо улыбаясь, прощаются с нами представители фирмы. Дальше нас будет сопровождать инженер шахты. Он же потом проведет до дрезины к узкоколейке.

Маленький электровоз под непрерывный грохот колокола и вой сирены несется по тоннелю, сворачивая то вправо, то влево, и люди, которых мы обгоняем, жмутся к стенам. От главного тоннеля масса ответвлений. Они низкие, узенькие, как норы. Проехав километра три, останавливаемся на ярко освещенной площадке. Здесь тоже какие-то подсобные помещения. Идем в ламповую, привьючиваем к поясу аккумуляторы, на каски насаживаем лампочки. Снова долго едем, пока не упираемся в тупик. Оказывается, мы точно под вершиной горы. И в шахту надо не спускаться, а подниматься. Огромная, скоростная клеть несется вверх, и штреки мелькают, как этажи в высотном доме, когда поднимаешься в лифте. И вот, наконец, последний. Вернее, первый. Номера штреков идут сверху вниз.

Сколько же осталось до вершины этого каменного исполина? Кто знает! Известно лишь, что медную гору начали разрабатывать еще инки и запасов руды осталось на двести лет.

В бесчисленных штреках, которые мы исходили, было темно и тихо. Но в чреве каменного гиганта находились две тысячи человек. Рассеявшись по одному и привязавшись канатом над горловинами пропасти, они вгрызались изнутри в его тело. У каждого — лом, кувалда да этот канат на поясе. Где-то внутри горы руду взрывают динамитом, крошат отбойными молотками, а местами она залегает так, что забойщик лишь отодвигает заслонки и она рушится в бездонную горловину, как горный поток. Далеко-далеко внизу попадает в многокилометровый трубопровод, в саморазгружающиеся хопры, на ленты транспортеров.

Стоя на доске на краю пропасти, шахтер управляет потоком. Жизни это не угрожает. Если он оступится или затянет его поток, канат удержит. Если ударит его камнем, он отцепит канат и побредет в медпункт. Хороший, с большой пропускной способностью медпункт. Это совсем рядом, в штреке. Правда, чтобы попасть в штрек, надо еще выбраться из узенького коридорчика, темного и душного, где трудно дышать от жары и рудной пыли, похожей на цемент, надо еще пройти в этом коридорчике, похожем на нору, по мосткам, вернее доскам, наполовину покрывающим горловину пропасти, у которых с ломом и кувалдой стоят привязанные за столбы креплений шахтеры. Но это и хорошо, что здесь люди, потому что в случае беды любой бросит работу и поможет выбраться.

В каждом штреке таких коридорчиков или ходов великое множество, и штреков много на разных уровнях, но все ходы закрыты дверями, и звук падающей руды доносится не отчетливо, а как далекий, заглушенный горами гул.

Один из первых ударов реакция направила на самый жизненный центр Чили — медную промышленность, и прежде всего на копи «Теньенте», играющие в экономике страны весьма важную роль.

Едва ли не главным исполнителем экономической диверсии явилась реакционнейшая газета «Меркурио». На ее страницах была поднята кампания, призывающая специалистов к саботажу. Указывались фирмы США и других стран, где их примут на работу. Будто по воинской команде, как по сигналу из одного пункта управления, медные копи покинули около двухсот специалистов. Одни уехали за границу, другие стали искать работу в частных фирмах, третьи просто ушли, выжидая, что произойдет дальше.

Саботаж. Это не саботаж одиночек. Это продуманный, тщательно подготовленный и осуществленный массированный удар. Он был ощутимым, но не смертельным. Добыча меди по стране не только не уменьшилась, но увеличилась.

— А копи «Теньенте» немного полихорадило,— сказал наш спутник,— но они оправились и уверенно набирают темпы. Опытных людей у нас много, почти все опустевшие после саботажников места уже заполнены.

Забегая вперед, добавлю к словам инженера, что после национализации копи «Теньенте» стали давать больше меди, чем когда бы то ни было.

На обратном пути он пригласил нас к себе. У него квартира из трех комнат, хорошо обставленная, но какая-то не настоящая. Будто смотровая площадка. К какому окну ни подойдешь — внизу пропасть, перетянутая лестницами и прижатыми к скалам домами, похожими на стены, на каменные укрепления гор. Впрочем, одна стена без окон, она тоже прилегает к горе.

Жена инженера Лучия угостила нас вкусными лепешками,

уставила стол множеством закусок, свежими овощами и фруктами, раскрыла дверцы бара, забитого самыми различными винами и коньяками.

Гостей здесь не ждали, значит, не специально все это готовили. Удивляться, собственно говоря, нечему, инженер получает двадцать одну тысячу эскудо, что составляет примерно 1500 долларов. Значительно больше министра, в восемь-девять раз больше шахтера высшей квалификации.

Эта ставка была установлена прежними владельцами. Расчет простой — администраторам надо платить так, чтобы эти опытнейшие инженеры, обладающие большими организаторскими способностями, не только с радостью соглашались жить, как отверженные, в скалах, но и выжимали бы из рабочих максимум возможного, были бы бездумно преданы хозяевам фирмы. Иначе на такой должности держать не будут.

После прихода к власти правительства Народного единства эти ставки были снижены на шесть тысяч эскудо, а зарплата рабочим повышена на тридцать пять процентов.

...Спустя полчаса мы отправились в дома шахтеров. Поднялись на третий этаж пятиэтажного дома. С тыльной стороны он — двухэтажный. В отличие от многих домов лестницы здесь внутренние. Длинный коридор, много дверей. Серые, облезлые, с плесенью стены, мусор, грязь.

Сопровождающий нас инженер постучал в первую попавшуюся дверь. Вышел высокий широкоплечий шахтер. Зовут его Диего.

— Да, да, заходите,— охотно пригласил он в комнату, узнав, кто мы и зачем приехали.

В комнате живут шесть человек. Железные двухъярусные нары. Сбитый из досок стол, две табуретки, один стул. Пол и стены, как в коридоре и умывальнике. Неубранные постели. Простыни только на двух, на остальных — грязные одеяла поверх матрасов. Из них сыплется не то истертая солома, не то опилки. Простыни темно-серые, как и грязные одеяла. На столе остатки еды, пустые консервные банки, рубаха. Грязная одежда, носки лежат на постелях и под ними. На полу двумя горками спецодежда.

В комнате был только Диего. Трое его соседей ушли в клуб, двое на работу.

Диего жаловался: жить трудно, хотя заработки приличные. Семья в одном месте, он в другом, и родителям надо помогать.

Отвечая на вопрос, как шахтеры используют свободное время, Диего сказал:

— Да не так уж много свободного времени. Восемь часов это только в шахте, да еще перерыв на обед двадцать минут. Ну, а дойти до шахты? Сколько, вы думаете, это занимает?

Диего рассказал подробно об их жизни. От дома до шахты не больше пятисот метров. Но взбираться туда надо долго и

подолгу отдыхать на площадках. Иначе не хватит сил работать. Да и по тоннелям рудника надо пройти не один километр, пока доберешься до рабочего места. Возвращаются с работы усталыми и зачастую, не раздеваясь, валятся в постель. Иногда спускаются на первый этаж, где какая-то женщина содержит столовую. Готовых обедов или ужинов там нет. Если принесешь свои продукты, она поможет сготовить. Кое-какие запасы и у нее есть, может и из них что-нибудь состряпать. Но на все это надо много времени. Поэтому чаще едят всухомятку то, что принесут из магазина. На эти покупки тоже требуется время. Да и помыться надо, белье постирать, одним словом, дел хватает. Если работаешь в первую смену, вечером можно сходить в клуб.

Я попросил инженера проводить нас в дом, где живут семейные рабочие.

— Туда не стоит ходить,— сказал он смущенно.— Там очень плохо живут.

— А здесь?

— Ну, все-таки лучше. Пойдемте, я покажу вам клуб.

В Севеле несколько клубов, один принадлежит шахте, остальные частные. Мы пошли в первый. Огромная комната была уставлена круглыми столами. За каждым играли в карты, и тесным кольцом позади играющих стояли болельщики. От густого дыма трудно было дышать. Впрочем, дышать трудно и вне помещения. И не только потому, что на такой высоте разрежен воздух. Круглые сутки на поселок оседает дым. Он идет из труб нескольких подсобных предприятий и старой обогатительной фабрики, расположенных в Севеле, видимо, дотягивается и с медеплавильного завода. Кроме комнаты, где играли в карты, нам показали еще зал. Крошечный пустой зал с помостом вместо сцены и лавками с облупившейся краской.

В частном клубе стояло несколько маленьких бильярдных столов, а по соседству что-то вроде кафе, где можно выпить. Здесь чисто, светло. Но почти все столики были свободными. Так же примерно выглядел и второй частный клуб. Есть еще в поселке кинотеатр, где показывают американские боевики и порнографические фильмы.

Обедать мы поехали в местечко Коя. На автомотрисе спустились к шоссейной дороге, а потом на машине проехали километров десять. Здесь знойное лето. А дальше такое, чему поверить нельзя. Будто в дикие неприступные скалы спустили на парашютах сказочный оазис. В центре большое красивое здание, вокруг которого на огромной территории разбит парк. Аккуратно подстриженная трава, деревья, точно в дендрарии, самых различных пород. Ивы, образующие совершенно закрытые беседки. Их ветки, спускающиеся с вершин, сливаются со следующими, и так до самой земли. Раздвинешь их, и попадешь в шатер — просторный, прохладный. Сюда не только солнце, но и дождь не пробьется.

Несметное количество цветов. Розы — не обхватишь в две ладони. Большой красивый бассейн с отделением для детей. Лесенки, увитые цветами, мостики, гроты. И будто не талантливые люди создали этот огромный парк, а сама природа. И маленькие уютные полянки, и мостики, и смотровые площадки, будто все это сотворила природа.

Теннисные корты, площадки для бейсбола, крокетные, волейбольные, велотрек и еще множество спортивных площадок и сооружений рассеяно по всему парку. А над ним, в центре его возвышается здание клуба. Здесь огромный холл, ресторан, комнаты отдыха, а под ними — спортивные залы, помещения для игр — от детских до рулетки.

Метрдотель встретил нас в холле. Кроме диванов, кресел, столиков и люстр, здесь ничего нет. Но расставлял мебель, подбирал цвета обивки мебели и краски на стенах, бесспорно, художник. Несмотря на огромные размеры холла, в нем по-домашнему уютно и тепло.

Ресторан был почти пуст. Две стены из стекла. Перед глазами дикие, безмолвные, величественные горы, и этот противоестественный здесь оазис. Отсюда он кажется вообще ненастоящим. Так на лубочных картинках изображают рай.

Это клуб для хозяев и высшей администрации шахты «Теньенте» и медеплавильного завода.

Едва приступили к обеду, как за соседний стол сели трое американцев. Муж, жена и парень лет двадцати, должно быть, их сын. Глава семейства толстый, обрюзгший, с лицом, трясущимся, как незастывший студень. Пальцы — даже не сосиски — сардельки. Он чем-то недоволен, что-то бормочет, брюзжит. Два официанта несколько раз бегали в буфет, показывая ему все новые бутылки вина, пока, наконец, он не остановился на одной из них.

Только после этого успокоился, снял пиджак, бросил его на свободный стул. Сзади из брюк вылезла рубашка. Не немножко, а вся. Он видел это, но, не заправив ее, грузно сел.

Мы подняли тост за Народное единство. Представитель фирмы, улыбаясь, сказал:

— Всю дорогу вы задавали нам вопросы. Позвольте и мне спросить вас о жизни вашей страны.

Мы говорили тихо, я рассказывал о Советском Союзе, а Перето переводил. Американец, сидевший к нам боком, несколько раз оборачивался, и вдруг у него вырвалось:

— Да это — русский! Откуда здесь русский, что здесь делает русский?!

Я отвечал на какой-то вопрос представителя фирмы. Неожиданно Перето смущенно попросил:

— Позвольте мне в переводе немного подробнее осветить тему.

Откровенно говоря, его слова меня удивили. Перето человек

очень скромный, стеснительный, говорит тихо. За три недели нашей работы, стараясь быть совершенно незаметным, ни разу даже своего отношения к разговорам не проявил. Решительно ни во что не вмешивался, хотя человек он образованный, быстро схватывающий суть всякого дела.

— Мой ответ не ясен?

— Нет, нет, что вы,— быстро заговорил Перето,— но все же, прошу вас...

Я согласился.

Теперь, в отличие от обычного, Перето стал говорить громко, решительно, все более распаляясь. Это был не перевод, он словно произносил речь, в которой я понимал лишь одно часто повторявшееся слово «совьетико». Но смысл его выступления был ясен. Он говорил для американца. Он чувствовал себя хозяином своей страны, своей земли, и той, что была здесь, и которую навезли, чтобы посадить этот сказочный парк, и самого парка, и ресторана, хотел, чтобы американец это понял. И тот понял. Не фигурально, а буквально завертелся на месте. Ругаясь и бесцеремонно отплевываясь, швырнул на стол деньги, вскочил и пошел к выходу. За ним последовали его спутники.

По пути в Сантьяго Перето сказал:

— Вынесено решение разрушить поселок Севель как непригодный для жизни человека и построить городок шахтеров в Ранкагуа, где они будут жить с семьями, а ездить на работу в специальных автобусах.

Я заметил, что подобное решение было вынесено давно, когда президентом был еще Фрей.

— Это верно,— ответил Перето,— но и земельную реформу объявил Фрей. Но за шесть лет его президентства было экспроприировано меньше земли, чем за шесть месяцев при Альенде. Конечно, трудных проблем много, решить их сразу невозможно, но народ видит, что слова нашего правительства не расходятся с делом.

Перето оказался прав. На законном основании во всех инстанциях были приняты поправки к конституции, предложенные Сальвадором Альенде, и это дало возможность национализировать всю меднорудную промышленность. Вся крупная промышленность, полностью или частично находившаяся в руках капитала США, перешла чилийскому государству.

И поселок шахтеров в Ранкагуа начал строиться быстрыми темпами. Самые большие дома в Севеле, где условия жизни были особенно невыносимы, уже опустели. Их жители получили дома в Ранкагуа.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ

На окраине Сантьяго я видел больше тысячи сараев. В них живут люди. Есть сараи добротные, сделанные из досок, без щелей, крытые не кусочками битого шифера, а целыми листами,

и никакой дождь им не страшен. А иные сооружены из разнообразных картонных ящиков, крепкой упаковочной бумаги, обрезков фанеры и жести, поржавевшей в тех местах, где облупилась краска.

Педро Кабесас живет в хорошем сарае. Таких во всем поселке не найдешь и сотни. Стены — из узких досточек в паз, даже пол не земляной, а деревянный, даже электрическое освещение есть.

Поселок из сараев называется Бандера, и он входит в крупнейший район столицы — Гранха, насчитывающий двести двадцать тысяч жителей. При желании Педро Кабесас мог бы иметь еще лучшее жилье. Он мог бы жить в каменном доме, где есть отопление, канализация и другие удобства, ибо он — алькальд, то есть глава всего муниципалитета Гранха, фактически целого города, и не маленького. Но сарай в жизни Кабесаса занимает особое место, это этап в его жизни, это страница истории борьбы коммунистов Сантьяго и других чилийских городов.

* * *

Это было давно. Задолго до победы Народного единства...

...Во главе организации стоял плотник с мебельной фабрики Педро Кабесас. Он и его соратники решили, что операция пройдет успешно, если удастся осуществить ее внезапно, одним ударом. Начать часа в два ночи и закончить на рассвете. Если так и получится, полиция уже ничего не сможет сделать. Если же о ней пронюхают раньше времени, провал неизбежен. Ведь точно такая операция, какую задумали они, провалилась в Пуэтро-Монте только потому, что люди не сумели сохранить тайну. В результате — девять убитых, а остальные ушли ни с чем.

На окраине столицы Педро и его товарищи присмотрели пустырь. И хотя он никем не охранялся, дело было не из легких. «Пустырь» — так только говорится, потому что никто никогда его не использовал, и сквозь его каменистую почву пробился чертополох, и нанесло сюда всякого мусора и отбросов, но пустырь — это земля. Пусть каменистая, пусть ни к чему не пригодная, но земля. Значит, есть и ее полноправный владелец, которому она принадлежит вместе со всем, что на ней есть,— и этим чертополохом, и камнями, что валяются сверху или торчат из нее, и теми, что скрыты под внешним покровом, и всем, что в ней есть на любой глубине.

Пустырь принадлежал династии Костабалов. И это вполне устраивало Педро. Будь здесь человек не очень богатый, имеющий всего гектаров сто, они не стали бы трогать его землю. А у Костабалов тысячи и тысячи гектаров. Не обеднеют.

Осваивать решили, конечно, не весь пустырь. Действуя осмотрительно, чтобы не вызвать подозрений, наметили участок, на котором можно будет разместить триста семей — примерно полторы тысячи человек. Количество участников операции не должно

быть маленьким, чтобы полиция не могла с ними легко расправиться. Но и не настолько большим, чтобы потерять управление огромной массой совершенно неорганизованных людей. А полторы тысячи — цифра вполне подходящая. Рассчитали, чтобы на семью достался участок метров десять на двенадцать.

Конечно, на первый взгляд многовато. Ведь каждый должен соорудить только шалаш или палатку. Для этого нужен просто клочок земли. Но ведь и о перспективе надо думать, если уж идти на такое рискованное дело. Если все пройдет хорошо, постепенно раздобудут доски и построят большие сараи, перегородят их картоном или мешковиной, чтобы, как у людей, отдельно была кухня, отдельно широкий топчан для детей, а если их много, то и два топчана, и отдельно для главы семьи и стариков, если они есть.

На это надо тридцать пять — сорок квадратных метров земли. Но Педро взял широкий размах. Ему хотелось, чтобы осталось еще вдвое больше места для двора, где люди смогут развести кур или другую живность, где свободно играли бы дети, которых немало давили или калечили машины, пока они жили под мостами и на улицах.

Педро Кабесас и его товарищи (их было человек двадцать) — все коммунисты — условились, что в целях конспирации ни один из тех, кто будет строиться, не должен об этом знать до самого последнего момента. Так вернее. Но подобное решение накладывало на них большую ответственность. Надо никого не обидеть. Из четырехсот тысяч бездомных Сантьяго надо отобрать только полторы тысячи. При отборе решили исходить из количества детей у бездомного и степени бездомности. Если, скажем, небольшая семья прилично устроилась где-либо под скалой, да еще сумела кусками жести прикрыться от дождя и солнца, ее учитывали в последнюю очередь.

Составить список поручили самым справедливым. Механику по линотипам Эрасмо Майорике предстояло подобрать пятьдесят семей, плотнику Нельсону Хоффе — тоже пятьдесят и еще четверым коммунистам — по пятьдесят. Им разрешили включать в список семей по десять резервных, чтобы потом уже сообща точно все решить.

Руководители полусоток, как их называли, обязаны были постоянно консультироваться друг с другом, чтобы их группы были одинаковыми. В каждой примерно одинаковое количество детей, одинаковое количество безработных, стариков и равное количество коммунистов, чтобы в трудную минуту на них можно было опереться.

Немало времени требовала разметка пустыря. Ведь в момент, когда полторы тысячи людей ринутся туда, определять, кому где строиться, будет поздно. Если заранее пойти с рулеткой,— значит, наверняка провалить дело. Заметят. Поэтому на пустыре появлялись парочки влюбленных, которые бродили по нему, то и дело це-

луясь или садясь отдохнуть, и никому не могло прийти в голову, что они считают шаги, что, садясь, будто для забавы, собирают в кучку камни или закрепляют на булыжнике цветную тряпочку, словно занесло ее сюда ветром, зацепилась она за колючку и просто лежит. Или вдруг пьяный забредет на пустырь и, покачиваясь, вышагивает медленно, старательно, как и положено пьяному, но все равно на ногах держаться трудно, он падает и, поворочавшись немного, с трудом поднимается, снова идет и снова падает.

Так ставились первые вешки, делалась первая разбивка пустыря, еще не точная, но хоть примерно определявшая границы полусоток, а по возможности и отдельных участков.

А руководители полусоток и их помощники бродили по городу, беседовали с бездомными, будто от нечего делать, но точно выведывали необходимые им данные, а отойдя, заносили их в блокноты. Опасаться, что бездомного в нужный момент не окажется на месте, не приходилось, потому что таких, кто спят там, где их застала ночь, было очень мало, как правило, холостяки. Остальные имели точный адрес. Каждая семья все-таки как-то устраивалась на постоянное жилье. Одни под мостами или у глухих складских стен, другие у вокзала, у подножия гор, а немало их снимали угол в ветхих домиках или навес во дворе, принадлежавших таким же беднякам, как и сами бездомные.

Долго пришлось повозиться и с национальными флагами. Их требовалось триста штук, чтобы каждая семья могла вонзить древко в землю на своем участке во время операции, а потом водрузить на шалаше, ибо сорвать национальный флаг не всякий карабинер решится. А сделать чилийский флаг не просто.

К концу подготовки, на которую ушло около трех месяцев, круг посвященных в это дело расширился. Сначала руководители полусоток сообщили о предстоящей операции коммунистам своей группы, а за два дня до назначенного срока с их помощью — всем остальным.

Бездомных предупредили, что с собой они должны иметь запас воды и пищи хотя бы на три дня, ибо скорее всего полиция блокирует пустырь и выйти оттуда удастся не сразу.

Педро Кабесас и его штаб понимали: если полторы тысячи людей одновременно ринутся из города со своим скарбом в одном направлении к пустырю, их обязательно заметят. Поэтому задолго до назначенного срока бездомные уходили в самых разных направлениях по одиночке, совершали большие обходы только по маршрутам, указанным руководителями, не подозревая, что они окружают пустырь.

Операция была назначена на два часа ночи. Командиры полусоток сверили часы и разошлись в разные стороны, где рассредоточились их люди.

В час ночи пошел дождь. К двум он превратился в ливень. Люди радовались этому. Ровно в два ринулись на пустырь, как в атаку. Бежали, стараясь не выпустить из виду своего руково-

дителя, ибо куда именно надо бежать, никто не знал. Бежали с тюками, рюкзаками, детьми, знаменами, рейками, картонными и фанерными листами. В мокрой одежде с мокрыми вещами по размокшей земле пустыря в сплошной темноте бежали, задыхаясь, люди, и у всех хватало сил, потому что убегали они от проклятой бездомной жизни, с великой верой и надеждой.

На месте их ждали организаторы операции и члены комитетов полусоток, созданных заранее и состоявших из шести человек каждая. А каждый член комитета отвечал за свою группу из восьми семей.

Дождь не утихал, темнота не рассеивалась. Под плач детей началась стройка, как штурм. Первый этап — воткнуть в землю древко знамени, вбить колья, накинуть на них тряпье, создать хоть подобие шалаша, чтобы на нем водрузить национальное знамя.

Люди строили жилье для себя, но по указанию членов комитета безропотно оставляли свои участки, чтобы помочь немощным. Жилье, пусть самое примитивное, пусть только контуры его, едва прикрытые, должны быть готовы на всей территории одновременно, иначе ее не удержать.

И вместе с поселком рождалось нечто иное, куда более важное, что каждый ощущал, не отдавая себе в том отчета. Те, кто имели работу, знали, что у ворот фабрик и заводов ходят толпами безработные, готовые в любую минуту заменить их. Им казалось, будто те, что у ворот, только и ждут, чтобы кого-либо выгнали, чтобы покалечился кто-нибудь, все что угодно, только бы освободилось место. Те, кто не имел ночлега, завидовал хорошо устроившимся под мостами или навесами, успевшим захватить лучшие места.

Всю свою жизнь каждый из них в одиночку боролся за это место под мостом, за место на медных рудниках, на скотоводческих фермах. И в каждом, кто так же в одиночку боролся за свое место в жизни, видел конкурента. Всю свою жизнь эти люди, будучи незнакомыми, неприязненно, а то и с ненавистью относились друг к другу.

Строя шалашный поселок, впервые ощутили, что они — люди одного класса, один коллектив, интересы у них общие и главный их враг — Костабалы и им подобные. Впервые ощутили великую гордость и ответственность за общее дело, ибо десятки и десятки бездомных вошли в комитеты матерей, безработных, молодежные, бытовые и еще некоторые, организованные в каждой полусотке коммунистами, которые уже в первый час стройки создали свою территориальную организацию в этом новом поселке, названном Бандера, что значит — знамя.

А стройка продолжалась. Уже заканчивали натягивать палатку для медпункта, когда налетели карабинеры, оцепившие поселок.

Слишком поздно. Светило раннее солнце, сушились во «дворах» вещи, бегали возбужденные ночным происшествием

дети, а на всех шалашах и палатках висели национальные флаги.

Карабинеров встретил коммунист — депутат парламента. Лицо официальное и неприкосновенное. Прибыли и другие прогрессивные деятели — опытные юристы, заранее подготовившие петиции к властям от имени застройщиков, которые, оказывается, делали какие-то взносы в строительную корпорацию, и хотя деньги небольшие, даже смешно называть их деньгами, но все-таки это взносы, и надо еще разобраться, действительно ли их мало, чтобы занять участок. Правда, без ведома Костабалов пустырь вообще занимать нельзя, но и тут надо разобраться, кто это все так напутал. В петициях было дано множество ссылок на законы, поправки к законам, и становилось ясно: просто сгонять сейчас людей с пустыря нельзя. Вопрос может решить только суд.

Это и объяснил депутат парламента полицейскому начальнику. И тот охотно принял подобное объяснение. Он хорошо знал характер чилийцев, видел, что их здесь полторы тысячи, а откуда полетит в голову камень, не увидишь. И перед начальством есть оправдание: не разрешил сносить шалаши депутат парламента.

Блокада поселка длилась пять дней. За эти дни многие наголодались, многие лишились работы, но утвердились на пустыре прочно. Судебная тяжба — дело долгое, и платить судебные пошлины должен тот, кто в суд обращается. Впрочем, на этот раз вопрос решился быстро. Спустя полгода правительство Фрея не то выплатило Костабалам стоимость земли, не то предоставило им другой участок.

А еще через полгода очередные триста семей бездомных заселили по соседству еще часть пустыря. Операция прошла более успешно. Во-первых, потому, что уже имелся опыт, а во-вторых, люди первого поселка, состоявшего теперь не из шалашей, а сараев, вышли ночью на помощь вновь прибывшим.

К 1970 году был «освоен» весь пустырь. Теперь здесь больше тысячи сараев. Это и есть поселок Бандера, входящий в столичный район Гранха, где алькальдом — коммунист, бывший плотник с мебельной фабрики Педро Кабесас. На последних муниципальных выборах он получил больше всех голосов. И вообще коммунисты в этом районе пользуются огромным авторитетом. Но и ответственность на них, на социалистов, на представителей других партий Народного единства, легла огромная. Жить в сарае, конечно, лучше, чем под мостом. Но сарай остается сараем. Керосиновое освещение, земляные полы, отсутствие канализации не могут не тревожить алькальда и весь муниципалитет.

В стране не хватает четырехсот тысяч жилищ для трех миллионов жителей. Каждый третий чилиец либо не имеет жилья, либо оно непригодно для жилья. Сто тысяч домов не имеют воды. По восемь человек живут в одной комнате. Это наследие прошлых режимов тягчайшим грузом легло на правительство Народного

единства. И оно приняло «Чрезвычайный план строительства ста тысяч жилищ».

Немалое место в «Чрезвычайном плане» отведено району Гранха. Я осматривал этот район, особенно поселок Бандера, и меня поражало одно обстоятельство. Поселки нищеты в разных странах разные. В Сингапуре, например, они сосредоточены на старых баржах. Перепрыгивая с одной на другую, рыщут там голодные собаки, но чаек не увидишь: ничто съедобное не летит за борт. По дну барж ползают дети. Здесь они рождаются, здесь умирают. В Индии жилье нищеты чаще всего сделано из упаковочного материала, и их карликовые картонно-фанерные домики лепятся друг к другу, как ячейки в сотах. Совсем по-другому выглядят трущобы Парижа. Но есть одно общее для всех поселков нищеты: лица и фигуры людей. Они выражают безнадежность. Полное безразличие ко всему окружающему. Кажется, людям совсем неважно, будут они жить или нет.

Поселок Бандера, особенно та его часть, где еще не успели соорудить сараев,— одна из разновидностей поселков нищеты. Но вот лица людей не могут не удивлять. Жизнерадостные, веселые. Чему же радоваться?

— Поедемте, посмотрите,— сказал секретарь райкома Коммунистической партии Оскар Рамос.

Мы поехали вчетвером — Оскар Рамос, Педро Кабесас и архитектор района коммунист Франциско Эйхо. В глубине поселка Рамос сказал:

— Остановите машину, где вам хочется.

— Ну, хотя бы здесь.

У ограды какая-то женщина кричала:

— Реже, Реже, сейчас же домой!

Мы вышли из машины, и Кабесас спросил, можно ли войти в ее дом. Она радостно заулыбалась. Видно, хорошо знала своего алькальда. Конечно, можно.

В доме две комнаты, одна из них — детская, и кухня. Всего тридцать два квадратных метра. Три кровати. Здесь живут восемь человек. Рабочий лесопильного завода Филимер Арамеда, его жена Гирея и их шестеро детей. Филимер и Гирея имеют отдельную кровать, а дети спят по трое на одной. В земляной пол вбиты четыре кола, на них щит. Это единственный стол в доме. Три самодельных стула, лавка. Стены и потолок сделаны из горбыля. Повсюду щели. В детской много тряпичных кукол. Они аккуратно рассажены на постелях.

— Когда идет дождь,— радостно говорит Гирея,— нам все равно где находиться — на улице или в доме. Здесь все заливает.

Она улыбается, улыбаются и мои спутники.

— Ну, хватит,— говорит Педро Кабесас,— пошли во двор.

Позади жилища Гиреи на ее участке строится кирпичный дом. Еще немного, и подведут под крышу. А готов он будет через три месяца. И переедет сюда Гирея со своей семьей.

Темнело. Но вдоль всей улицы, по обе ее стороны, были отчетливо видны позади сараев кирпичные остовы будущих коттеджей.

Вот почему улыбались люди поселка нищеты. И еще потому, что теперь Гирея получает бесплатно три литра молока в день. По пол-литра на ребенка, как получает каждый ребенок Чили.

Стены огромного сарая, где помещается контора строительства городка, заклеены списками, в которых точно указано, кто и когда получит новую квартиру. А на большом плакате дана таблица, по которой определялась очередность. Здесь два главных критерия: зарплата и количество детей. Чем меньше зарплата и больше детей, тем быстрее семья получит квартиру.

Как же не радоваться простому люду из поселка нищеты!

НА ОГНЕННОЙ ЗЕМЛЕ!

Летом на Огненной Земле ветры не дуют. Но лето короткое — самый конец декабря и январь. И зимние месяцы — июнь, июль, август — почти безветренны. А в остальное время года стихия бушует. Ее выдерживают только самые устойчивые сорта красного дуба. На нем незарастаемые следы тягчайшей борьбы. Листьев почти нет. Каждую ветку будто крутили вдоль оси, а потом заламывали назад, пытаясь завязать петлю, но так и оставили, и торчат они в неестественно согнутом состоянии. И ствол скручен, он весь в узлах и наростах, будто исполинская сила выжимала из него соки, как выжимают белье, а скрутив до отказа, еще и выгибала то вниз, то вверх, то в стороны. Волокна в стволе идут не прямо, а загнуты в клубки, и колоть его почти невозможно. Так и стоит на Огненной Земле красный дуб, страшный и великолепный в своем уродстве.

Я смотрел на деревья, слушал скотоводов, тех, кто всю жизнь разводил овец в степях Огненной Земли, и тех, кто, охваченный золотой лихорадкой, пересекал материки и океаны, чтобы достичь Магелланова пролива, готовый хоть вплавь перебраться на заветный берег Огненной Земли.

Здесь они жаждали бури. Жаждали увидеть вздыбленный штормовой океан. В такие дни проклинали все на свете моряки, они гибли в обломках разбитых о скалы кораблей, а игроки удачи в безумной радости и сами, точно обезумевшие, метались по берегу. Бывший золотоискатель, а ныне скотовод Натали Масло рассказал мне, что в тихие дни он намывал не больше двух граммов золота, а в сильную бурю — до пятидесяти, а иной раз и до ста граммов.

Но и большая удача страшна. Ни отдыхать, ни спать не придется, пока не выберется удачник куда-нибудь подальше от свидетелей своего богатства. Нередко на добычу уходили двое, а возвращался один. И этот один с двойной добычей страшился не суда. Какие там суды! Страшился, что любую минуту может

стать добычей третьего. А у тысяч тех, кто шел на Огненную Землю за золотом и не находил его, кто, отчаявшись, проклинал жизнь, не имея средства выбраться оттуда, оставался единственный выход — идти пеоном в могущественную компанию латифундистов «Огненная Земля». Компания имела миллион гектаров земли, миллион овец, сотни мясокомбинатов, заводов по переработке шерсти и кожи. Ее владения распластались по обе стороны Магелланова пролива, захватив почти всю Огненную Землю, включая и ту часть острова, что принадлежит Аргентине, и просторы чилийской Патагонии с обширным районом Последней Надежды, и всей провинции Магальянес.

Компания насчитывала семь тысяч акционеров. За этой цифрой маскировалось меньше двух десятков подлинных хозяев «Огненной Земли», в руках которых находилось до восьмидесяти процентов акций. Среди владельцев — Педро Подкленович, Кампос Менендес, бывший президент Виделла, церковь, представители иностранного капитала.

«Огненная Земля» торговала со многими странами, то и дело тесня на международном рынке шерсти таких сильных конкурентов, как Австралия и Англия. И чем больше были ее доходы, тем сильнее гнула и скручивала людей, отбирая самых сильных из множества жаждущих работы. Ее могущество росло и, казалось, как невозможно укротить стихию, уродующую красный дуб Огненной Земли, так и найти силы, способной обуздать «Огненную Землю», и она вечно будет властвовать над людьми.

Победа Народного единства обезглавила «Огненную Землю», экспроприировав все ее владения.

Мне предстояло посмотреть, как управляют ими те, кто был у компании пеонами, пастухами, рабочими. Именно в их руки перешли земли, стада, предприятия компании.

С тревогой пересекал я Магелланов пролив, ибо до этого имел немало встреч с открытыми и замаскированными врагами нового строя, немало перелистал страниц «Меркурио» — самой крупной, самой многотиражной и самой реакционной газеты Чили, щедро финансируемой банковской корпорацией Эдвардсов, еще находился под впечатлением беседы с правофланговым чилийской реакции — председателем Верховного суда. И все они в разной форме, то откровенно злобно, то пряча злобу за слюнявой пеленой демагогии о благе народа, рисовали мрачную перспективу для экономики, что принесет аграрная реформа.

Тихим и ласковым, трогательно заботящимся о людях выглядел беспощадный и жестокий Николас Симунович, один из крупнейших латифундистов страны. Он принял меня в своем особняке в центре провинции Магальянес городе Пунта-Аренасе на берегу Магелланова пролива.

— Я родился и вырос на Огненной Земле,— сказал он.— Начал свою карьеру на голом месте, и все, чего достиг, это только вот этими руками,— и поднял ладонями вверх, развел в стороны

свои большие и сильные руки.— ...И головой,— добавил помолчав.

На вопрос, чего же он достиг, Симунович отвечал задумчиво, как бы оглядываясь на всю свою жизнь. Не так уж и много, другие добиваются большего, но все-таки не стыдно ему перед людьми. Кое-что, конечно, сделал.

В его рассказах несколько пропусков, поэтому, приводя их, я тоже в соответствующих местах буду делать пропуски.

Восемьдесят лет назад его отец отправился на Огненную Землю искать золото (пропуск). Когда Николасу исполнилось двадцать лет, отец послал его в Европу изучать шерсть. Несколько лет провел в Англии, Австрии, Бельгии, Югославии... На какие деньги?.. (пропуск). Затем вернулся на Огненную Землю и поступил в качестве рядового служащего на фирму по перепродаже шерсти, принадлежавшую англичанину, французу и немцу. Вскоре стал их компаньоном на равных началах (пропуск). Потом выкупил их паи (пропуск) и стал единственным владельцем фирмы. Чтобы заниматься не перепродажей, а продавать кожу и шерсть собственного производства, пришлось купить около тридцати тысяч овец (пропуск). По местным условиям, чтобы прокормить овцу, нужен гектар земли. Купил (пропуск) тридцать три тысячи гектаров земли. Обработкой шерсти и кожи, производством мяса, естественно, выгоднее заниматься самому. Купил (пропуск) и построил мясокомбинат и кожевенный завод в Пунта-Аренасе, мясокомбинат и фабрику по переработке шерсти в Сантьяго (пропуск), ну, еще на паях с компаньонами банк (пропуск), вскоре открывший отделения в других городах.

Вот и все, чего он достиг собственными руками. Дальше Симунович говорил так, как пишут у нас в фельетонах, если хотят карикатурно изобразить капиталиста. Но говорил серьезно, убежденно, прижимая руку к груди:

— Поймите, мне ведь два обеда в день не надо. И два костюма одновременно я не надену. Для того чтобы хорошо жить, достаточно одного маленького предприятия. А я постоянно увеличиваю свое хозяйство. Во имя чего? Только для того, чтобы дать людям работу, чтобы сделать их счастливыми. Это приносит мне огромное удовлетворение, во имя этого я живу.

Спустя несколько дней мы поехали с Симуновичем на его предприятия. Ему хотелось показать, как умело организовал он производство, а мне хотелось посмотреть на осчастливленных им людей. Не стану подробно описывать технологический процесс убоя овец и разделки туш. Неэстетично. Скажу лишь о необходимом. Именно на производстве я убедился, что в главном Симунович прав: чтобы увеличить богатство, он работает головой. Я не видел, как он работает собственными руками. А вот головой...

Огромное стадо медленно движется в загон сквозь узкую

дверь. Здесь двое рабочих хватают по овце, забивают их и туши бросают на конвейер. В нескольких шагах еще двое навешивают туши на движущиеся крюки и совершают первую операцию по разделке. Туши движутся, переходя из рук в руки, пока освежеванные, выпотрошенные, вымытые не попадают в холодильное помещение. По другим конвейерным путям идут шкуры, потроха, отбросы.

Чтобы увеличить производительность, Симунович не стал ускорять ход конвейера. Может быть, потому, что это было уже невозможно. Он увеличил штат. На убое овец стоял один человек, а Симунович поставил двоих. И на разделку стало поступать ровно вдвое больше туш. И ровно вдвое быстрее пришлось работать всем остальным. Казалось бы, пустяк — увеличил штат только на одного человека, а производительность всего предприятия удвоилась.

Это результат работы головы Симуновича и рук рабочих. Я видел, как они работают. Это фокусники. Это жонглеры. Движения молниеносны и точно рассчитаны. За их руками невозможно уследить. Их руки с ножами мелькали, как спицы в велосипедном колесе. А два огромных парня все забивали и забивали овец, и туши неумолимо двигались на людей. И стоял человек возле этих двоих, не то надсмотрщик, не то администратор, только затем, чтобы не дать им снизить темпа убоя. Он стоял и тупо смотрел на них, и они, под этим взглядом и включившись в бешеный ритм раздельщиков, бросали и бросали на конвейер обезглавленные туши, и казалось, будто они сыплются из необъятного бункера.

Восхищенно смотрел на эту картину Симунович, то и дело подталкивая меня локтем, чтобы и я любовался ею, чтобы в полной мере оценил плоды его труда. Из меланхолично задумчивого, каким он был у себя дома, этот человек превратился в комок энергии. Он полностью включился в темп своего производства. С нестарческой поспешностью бегал от одного агрегата к другому, раздражаясь от того, что я не тороплюсь за ним. В холодильнике поднимал и бросал туши, чтобы я слышал, как они хорошо заморожены, стучал пакетами в целлофане и шептал с придыханием: «Почки, мозги, языки... Это в Европу». Точно полоскал руки в высушенной и распушенной шерсти, растягивал мокрые, обработанные шкуры: «Это тоже в Европу, в Италию...»

Потом, позже, уже без Симуновича я видел, как, отработав смену, шли домой рабочие. Шли молча, тяжело, с упавшими на грудь головами, как идут каторжники. А у ворот с завистью смотрели на них десятка два безработных. Я видел их стоявших у ворот и в тот момент, когда шел вместе с Симуновичем. Они и на него смотрели. С мольбой и надеждой. Он их не заметил. Успокоившись, объяснял мне, что психологически готовится к трудным дням, которые неизбежно наступят. Ему заплатят лишь

десять процентов стоимости, а остальное с рассрочкой на двадцать лет. И он останется ни с чем, даже пенсию не дадут. И плоды его труда не достанутся сыновьям. Впрочем, за сыновей он спокоен. Оба они учатся в университете и будут твердо стоять на ногах.

Главное, что беспокоит, это необразованность тех, в чьи руки попадет его добро. Надо ведь знать, как воспроизводить стада, какой процент молодняка оставлять для потомства. Надо очень много знать. Шерсть на мировом рынке все больше вытесняется синтетикой, и цены на нее падают. В прошлом году он продавал килограмм шерсти за 1,2 доллара, а в этом году — по 0,7 доллара. Надо внимательно следить за конъюнктурой мирового рынка. Как же с этим справятся пастухи и пеоны?

Симунович объяснял мне все это, как бы ища сочувствия и поддержки, подчеркивая, что не о себе заботится, а о людях. Он говорил как-то просяще, словно надеясь, авось я похлопочу за него и останется в его жизни все по-прежнему.

Я не стал хлопотать. Тем более что за его сыновей я тоже спокоен. Ведь едва ли доллары, которые платит ему сегодня Европа, он вложит в производство. Судя по всему, сейчас он только продает, а доллары оседают на его счетах в иностранных банках.

Посмотрев на несметные его стада, на ограды колючей проволоки, за которыми, как тихие волны, колыхались спины овец, я отправился на Огненную Землю. Хотел узнать, как ведется хозяйство на фермах, принадлежавших компании «Огненная Земля». Как, в самом деле, пастухи и пеоны управляются с делом.

Мы отправились вместе с известным чилийским писателем коммунистом Франсиско Колоане и директором КОРИ[1] провинции Магальянес Америко Фонтано Гонсалесом.

На юге Чили — и в районах Последней Надежды, и на Огненной Земле, и во всей провинции Магальянес Колоане знают не только потому, что он лауреат Национальной премии и его произведения включены в хрестоматии и школьные программы. Его знают лично, ибо здесь его родные места, где он был и пеоном, и пастухом, и моряком, и рыбаком, где охотился на китов и тюленей, где учился, и пешком исходил эти земли, и знает водные пути в бесчисленных фиордах, и бескрайнюю Патагонию, и дикие Пампы, и индийские поселения острова Чилоэ.

Человек удивительного обаяния и большого писательского дара, горячо любимый людьми.

Америко Фонтано Гонсалес — голубоглазый светлый шатен, молодой и скромный, даже стеснительный, обладающий огромной волей, возглавлял один из острейших участков борьбы чилийского народа за свои права. Человек большой эрудиции, получивший специальное образование по технологии животноводства,

[1] КОРИ — государственный орган министерства сельского хозяйства по проведению аграрной реформы.

отлично знающий все изменения в конъюнктуре на мировом рынке шерсти, твердый в решениях и добрый к людям, он так же, как и его друг Колоане, радостно встречался со скотоводами Огненной Земли, рабочими-нефтяниками, фермерами, пеонами. Из его рассказов я узнал многое.

Пять миллионов гектаров земли провинции Магальянес, занимающей самую южную часть земного шара, не подлежат обработке. Это камни, скалы, вечные снега, вечные льды. По четыре миллиона занимают леса и пастбища. Из трех с половиной миллионов гектаров пахотной земли два миллиона принадлежит частным лицам. Среди них и такие, как Симунович, и те, кого по нашей терминологии можно назвать бедняками, середняками, кулаками. И как только началась экспроприация крупных хозяйств, сработал заранее подготовленный механизм для контрудара. Началась продуманная провокационная кампания реакции. Как чума, распространился по всей Патагонии слух, будто землю, даже бедняцкую, отберет государство. Чтобы люди поверили в этот нелепый слух, были организованы налеты сверхлевацких элементов на частные земли, были спровоцированы кровавые столкновения, и все это раздутое, разукрашенное, расцвеченное лихой фантазией «Меркурио» и реакционной печатью Запада распространялось среди чилийских крестьян. И немало владельцев мелких и средних хозяйств, конечно же, не подлежавших экспроприации, поверили. Одни из них заняли выжидательную позицию, другие стали лихорадочно сбывать продукцию своего труда, пусть даже по бросовым ценам, и едва ли кто думал о дальнейшем развитии хозяйства.

Предчувствуя не мнимую, а реальную угрозу, латифундисты бросились было сбывать землю и стада. Да кто же купит в такое смутное время? И от того, что землю можно взять совсем по дешевке, а никто не берет ее, тревога увеличивалась.

...На Огненную Землю из Пунта-Аренаса мы летим втроем. Наняли маленький самолетик, и его владелец, добродушный летчик Леонидас Кобас, в знак особого уважения к советскому человеку предложил без дополнительной оплаты показать с воздуха всю провинцию Магальянес. Нет, не города и поселки, а ее дикую природу.

Фиорды, фиорды, фиорды... Тысячи, тысячи островов, островков, скал. Вулканы, вечные снега, вечные льды, вечное безмолвие. Особенно низко летим над районом плавучих ледников. Величественно течет с гор самый большой глетчер. Пока были на высоте двух тысяч метров, казалось, что он широк, как Волга. Но вот мы совсем низко, идем на ледник, будто на посадку. Я сижу рядом с Кобасом, который говорит: «Ширина глетчера — пятнадцать километров. Толщина льда — до 15 метров». Лед неповторимо чистой, прозрачной и удивительно нежной голубизны, иссечен, и образовались острые, как на исполинской пиле, зубья.

— Удобное для посадки место,— говорит Франсиско, а лихой летчик делает разворот над этим глетчером, и мы летим над озером, где плывут льдины, спустившиеся с гор.

Берем курс на Огненную Землю. Где-то очень далеко снега и льдины создали фантастическую, но воспринимаемую совершенно реально картину. Будто в блеске солнца тянутся могучие крепостные стены, и сама крепость, и нагромождение домов... Это западное побережье острова, самая его высокая гряда. Вблизи миражи рассеиваются, и кажется, что попал в Антарктиду.

А восточное побережье — степи, холмы. Где-то там и поныне бродят, точно отверженные, одиночки в поисках золота. Два океана омывают остров и властвуют там, как хотят. От них и льды, и нестерпимая жара.

Пролетев над Портвиниром — столицей Огненной Земли, приземлились далеко на юго-западе от нее на чистом поле, близ поселений скотоводов Камерона и Тимаукеля. Самолет попрыгал на кочках, подрулил к маленькому навесу и встал.

Полное разочарование. Какая же это Огненная Земля? Степь, степь да невысокие холмы. Прибывшая за нами машина выезжает на грунтовую дорогу, забитую кикенами — дикими гусями. Уступать дорогу они не хотят, поднимаются в воздух тяжело и лениво, буквально перед самым радиатором. Едем вдоль Магелланова пролива. На большой отмели длинная, полукругом низенькая каменная ограда. Ее построили еще индейцы. Во время отлива она задерживала рыбу.

Неизменная деталь чилийского пейзажа, как только выедешь за пределы города,— колючая проволока. Ею перегорожены поля, леса, перелески, гористая местность, вся земля. Это границы частных владений. Проволокой расчерчена и Огненная Земля. И еще характерная черта пейзажа. На полевых дорогах обязательно встретишь пастуха на лошади, а за ним — запасную оседланную лошадь и несколько собак. Собаки умные, отлично несущие службу. Они остро чувствуют малейшие нюансы в свисте пастуха, и по его свисту легко управляют многотысячным стадом.

Животноводческая ферма Камерон, куда мы прибыли, лежала в ложбине. Небольшой разбросанный поселок. Изуродованный ветрами красный дуб. Повсюду сушатся овечьи шкуры. На специальных перекладинах, на перилах моста, на деревьях. Раньше ферма Камерон принадлежала компании «Огненная Земля». Теперь — госхоз — государственное хозяйство. Им управляет исполнительный комитет из пяти человек, избранный на общем собрании. Председатель комитета Рауль Казанова, человек солидный, авторитетный. Два года он работал в образцовых фермах Новой Зеландии, изучая скотоводство и корма. Затем шестнадцать лет на Огненной Земле в качестве администратора маленькой фермы. Теперь ему доверено крупное хозяйство Камерона: 186 тысяч гектаров земли, 130 тысяч овец, 1700 коров, 460 лошадей.

Членом исполкома и правой рукой председателя является старший пастух Альберто Баркес. Высокий, красивый, с большими баками сильный человек. Опыта и ему не занимать. Из своих тридцати шести лет он двадцать два в скотоводстве. Член исполкома Мануэль Эляскес — фигура весьма ответственная — мастер по стрижке овец. Мастер высокого класса. Механик Ромон Вильегас ведает в исполкоме тракторами и автомашинами. Пятым членом исполкома является пеон Ромон Баскес, человек энергичный, трудолюбивый, всеми уважаемый.

Мы сидели в здании исполкома фермы и беседовали о ее делах. На вопрос, не упали ли доходы после экспроприации, Альберто Баркес удивленно развел руки:

— Как же они могут упасть? Ведь все хозяйство и раньше мы сами вели. Только доходы в другое место шли.

— Понимаете,— вмешался в разговор Америко Гонсалес.— На этой ферме внешне почти ничего не изменилось. Зарабатывают люди столько же, сколько и раньше. Продукции дают не больше, хотя, конечно же, и не меньше. А по существу, здесь произошла революция. Главное в ней то, что люди стали людьми. Из одиночек, постоянно находившихся под страхом остаться без работы, неуверенных в будущем, они превратились в коллектив, имеющий собственное хозяйство. И весь коллектив о нем заботится. Впервые в жизни люди несут общественные функции. Созданы комитеты, отвечающие за состояние дорог, за бытовые условия, за рост поголовья, и другие. Человеку из Советского Союза, привыкшему к тому, что общественные функции несут сами же трудящиеся, видимо, трудно сразу оценить, как преобразило это людей, как подняло их достоинство и наполнило гордостью. На общее собрание люди идут как на праздник. А когда впервые на него пригласили женщин и предложили им занять первые ряды, это было событие, равное рождению человека.

— Вы хотите видеть новое,— сказал Гонсалес,— поедемте.

Мы поехали. В нескольких километрах от фермы — хозяйственные и складские здания, огромное помещение для стрижки овец. А чуть подальше среди деревьев — два аккуратных домика. Это школьный интернат. Нас встречает учитель Эдуардо Соварсо. В интернате двадцать восемь детей. Вот спальня мальчиков. Аккуратно заправлены кровати, чисто, уютно. Спальня девочек в другом помещении. На одной из кроватей у подушки трогательно примостилась куколка с обиженным лицом.

Учебные помещения скромные, но повсюду чистота, на стенах детские рисунки, стенная газета.

Пять дней в неделю дети находятся в интернате, два дня — дома.

И все это на Огненной Земле, там, где властвовала «Огненная Земля». Интернат полностью содержится на государственные средства. К тому времени, о котором идет речь, уже через полгода после победы Народного единства в девятнадцати из

двадцати пяти провинций Чили под контроль КОРИ перешло 381 крупное имение. Свыше пяти тысяч крестьян получили землю. Темпы аграрной реформы нарастали. Для выкупа земли у латифундистов отпускаются большие средства. Бюджет КОРИ увеличился втрое и составляет более трех с половиной миллиардов эскудо. Эти деньги пойдут на выкуп земли для тридцати тысяч крестьян.

Я разговаривал со многими рабочими на нескольких фермах. И, пожалуй, лучше всех объяснил мне внутреннее состояние людей бывший объездчик диких лошадей Мануэль Симантранс. Ему пятьдесят восемь лет, но он крепок и ловок. Это старый приятель Франсиско Колоане, который нас познакомил и рассказал историю своего знакомства с Мануэлем. Объездчик охотился за дикими быками, и они вместо того, чтобы убегать, вдруг ринулись на него, забили рогами лошадь, и Мануэль оказался под нею. И то ли подумали быки, что он тоже мертв, то ли хотели показать человеку свое благородство, но они не тронули его. Вот тогда-то Франсиско и поехал к объездчику, чтобы подробнее расспросить об этой истории.

Мануэль сказал мне:

— Мы будем очень стараться, чтобы у нас все шло хорошо. Будем стараться потому, что раньше доходы шли хозяевам «Огненной Земли», а теперь на оплату миллионов литров молока, что бесплатно получают все дети Чили, на бесплатные интернаты, на строительство ста тысяч квартир, на все, что улучшает жизнь народа.

На следующий день Франсиско Колоане показал мне запись в своем блокноте:

«Мы побывали на четырех фермах и у нефтяников Огненной Земли. Возвращались домой на огромном пароме. Спускаться вниз не хотелось. Мы стояли на палубе. Была ночь, были огромные звезды, были воды Магелланова пролива. И на душе было хорошо».

БРАТЬЯ

На медных рудниках в скалах диких Кордильер, в пустыне Атакаме и Сантьяго, на Огненной Земле и в обширных районах Патагонии — всюду, где довелось побывать, с удивительной теплотой и любовью встречали чилийцы советских людей.

На самом юге Латиноамериканского материка в центре провинции Магальянес — Пунта-Аренасе шло городское собрание коммунистов и тех, кто помогал им в избирательной кампании.

В собрании участвовало человек двести. Оно было торжественным, праздничным. Вместе с Франсиско Колоане и переводчиком мы приехали в город, когда собрание уже началось. Попали туда с большим опозданием. Устроиться тихонько сзади на свободных местах не удалось — Колоане здесь многие знали в лицо. Встретили его радостно, шумными аплодисментами, пригласили

пройти вперед. Когда люди утихли, председательствовавший объявил, что вместе с Колоане прибыл советский писатель.

И вот тут-то и произошло совершенно невообразимое. Зал гремел от аплодисментов и здравиц в честь Советского Союза. Со всех сторон неслись возгласы, в которых отчетливо выделялись слова «совьетико» и «коммунисти». Зал рукоплескал стоя.

Откровенно говоря, я растерялся. Надо было как-то унять эту бурю. И тут в голову пришла мысль, на которой хотелось бы остановиться. За рубежами нашей родины бывают тысячи и тысячи советских людей. Многие потом делятся впечатлениями, выступая в печати, по радио, телевидению. И о том, как их встречали, либо совсем не говорят, либо скороговоркой сообщают о теплых улыбках и рукопожатиях, торопясь при этом заверить, что вся теплота относилась не лично к ним, а к нашей стране.

Подобной оговорки можно бы и не делать за абсолютной очевидностью этой истины. Тем не менее люди словно стесняются рассказывать, как их встречали. А мы ведь знаем, как встречают, например, в той же Латинской Америке представителей США. Не очень тепло встречают. В лучшем случае — безразлично. И это тоже характеризует отношение не к данному гражданину, а к строю его страны. Так пусть они стесняются сообщать о своих встречах за рубежом.

Когда на собрании в Пунта-Аренасе я лихорадочно думал о том, как остановить шквал приветствий, и пришла в голову эта мысль: «А зачем? Почему надо мешать людям выразить свою любовь к нашей родине, к народам нашей страны, к нашему образу жизни? Нет, пусть бушует зал». И еще долго не умолкали приветственные возгласы и рукоплескания. А когда собрание кончилось, трудно было уйти. Просто физически не отпускали. Задавали вопросы, жали руки, дружески хлопали по плечу. Или просто смотрели. Это ведь тоже немало. Я видел их глаза. Так смотрят родные.

Но может быть, это не показатель отношения к нам чилийцев? Это ведь было собрание только коммунистов и им сочувствующих. Нет, показатель. Я изъездил немало чилийских городов и сел, встречался с самыми различными людьми и повсюду видел восторженное к нам отношение. Только выражалось оно по-разному.

В Сантьяго я присутствовал на собрании чилийских писателей. В нем принимали участие итальянский писатель Карл Леви, боливийский писатель Нестор Табоада Теран, испанский — Состре и другие. Гостей представили собравшимся. Как и положено в приличном обществе, их приветствовали аплодисментами. Не буду упирать на то, что советского представителя встретили с особой теплотой. Но я обратил внимание на рыжего человека, сидевшего поблизости от меня. Он был единственным, кто не аплодировал советскому представителю. Это-то и бросалось в глаза.

Первую речь произнес президент общества писателей Чили Луис Мерино Рейес. Когда он заявил, что абсолютно подавляющее число населения поддерживает правительство Народного единства, рыжий человек громко выкрикнул: «Это ложь!» И потом, на протяжении почти всей речи Рейеса, он бросал реплики, вызывающие возмущение собравшихся, требуя немедленно предоставить ему слово. И когда в ответ на заявление Рейеса, что слова тот не получит, зал одобрительно загудел, рыжий вскочил, закричав: «А я все равно буду говорить».

Командовать ему не дали. Первым бросился к нему романист и исследователь чилийского фольклора Диего Муньес, а за ним еще несколько человек. Рыжий отчаянно сопротивлялся, но под крики всего зала «вывести» его вытолкали за дверь, а потом и вовсе вышвырнули на улицу. Собрание спокойно продолжалось. Когда оно закончилось, ко мне подошло несколько человек. Поэтесса Мария Христиана Менарес сказала:

— Извините, пожалуйста, за этот инцидент, он нам очень неприятен.

Кто-то из иностранных писателей заметил:

— А все-таки зря не дали ему высказаться. Ведь явно все собрание против него. Ну, и пусть освистанным сошел бы с трибуны и не смог бы кричать потом, что нарушена демократия.

— Нет, нельзя было давать ему слова,— решительно возразила поэтесса.— Вы правы, что все собрание против него. И не желает его слушать. А он решил силой заставить нас подчиниться ему. Вот это вы считаете демократией?

Ее оппонент молчал.

— Нет,— вновь заговорила она горячо.— Мы хорошо знаем, о чем он будет говорить. Он выступает не только против единства, но и против всего прогрессивного, что сейчас проводится в стране. Так вот, демократия по-нашему — заглушить голос реакции. Подлинная демократия — это подчинение большинству.

Поэтессу поддержали все стоявшие рядом.

— И, знаете,— как бы доверительно сказала она,— в этом инциденте есть еще одна сторона, может быть, главная. Этот тип еще и ярый антисоветчик. И мы не желаем заставлять советского человека слушать клевету на Советский Союз.

К нам подошло еще несколько человек, и спор продолжался. Вернее, это был уже не спор, а беседа единомышленников. Писатели говорили о том, что реакционные силы, не желая мириться с новым строем, ведут атаку против всех мероприятий правительства и что пора положить этому конец.

Один из участников беседы заметил:

— А что касается Советского Союза, то я вполне согласен с Марией. Любой реакционер, выступающий против нового строя, неизменно оказывается и антисоветчиком. И, напротив, всякий антисоветчик рано или поздно проявляет себя как противник Народного единства. Поэтому мы не видим между ними разницы.

И как ни парадоксально, но действия реакции еще более укрепляют нашу любовь к Советскому Союзу.

О том, как чилийцы относятся к нам, могу судить по личным впечатлениям. Я не встретил в Чили уголка, где бы любовь к Советскому Союзу не проявлялась. Порой она принимала самые неожиданные и трогательные формы.

Путешествуя по Огненной Земле вместе с Франсиско Колоане и руководителем организации по проведению аграрной реформы Америко Фонтано Гонсалесом, мы поздним вечером забрели в рабочий поселок нефтяников Весьентес. Глава семьи Карен Дисто, на вид ему лет тридцать, работает механиком на государственном заводе по переработке нефти. Заводом это предприятие можно назвать лишь условно, ибо там всего сорок рабочих. Впрочем, предприятие механизировано и продукции дает много. Жена Карена — Миста — жизнерадостная молодая женщина, безработная художница.

В небольшой комнате, разделенной на две низеньким стеллажом, с маленькими креслицами и столиком, кроме хозяев было трое их друзей, рабочих того же завода. Один из них, как и Карен, коммунист, двое — социалисты. В этот поздний вечер они сидели за учебником диалектики, на первой странице которого было написано: «Перевод с русского».

Наш приход был встречен бурной радостью. Они сразу узнали Франсиско Колоане и радовались тому, что в их доме знаменитый писатель. А когда Америко сказал, что вместе с ним и человек из Советского Союза, люди просто растерялись. Какое-то время с благоговением и молча смотрели на меня, пока Миста не сказала:

— Этого не может быть.

И тут все пришло в движение.

— Садитесь, вот сюда садитесь...

— Нет, вот здесь будет удобнее...

— Как же так, боже мой...

Миста вдруг стала наводить порядок на стеллаже, поправлять скатерть. Двое убежали на кухню. На столе появилось вино, а в руках красивого парня с пышными бакенбардами — гитара.

...Мы сидели до глубокой ночи. Как ни старался я говорить о Чили, разговор шел о Советском Союзе. Когда я сказал об этом, Карен улыбнулся и очень убежденно, как-то душевно ответил:

— Мы ведь ничего не знаем о вашей великой стране. Говорите, пожалуйста, мы просим вас.

— Так уж и ничего? А радио вы слушаете?

— Слушаем. Но Советский Союз нам трудно ловить. Мы каждый день слушаем Америку, и каждый день не верим.

...Паром через Магелланов пролив, который нам предстояло пересечь, чтобы попасть на мыс Последняя Надежда, отходил в четыре утра. И хотя до пристани было недалеко, Карен куда-то

убежал и вернулся с двумя машинами. Это были повсеместно распространенные на Огненной Земле, да и в других городах Чили, широкие полугрузовики «Форд» с кабиной, рассчитанной на трех человек.

Когда пришло время прощаться, Миста отвела мужа в сторону. По глазам было видно, что она просит о чем-то. Улыбаясь, он утвердительно и радостно закивал и направился к маске клоуна на стене. Это была удивительная маска, на которую я обратил внимание, как только вошел в дом. Удивительное заключалось в том, что широко улыбающийся клоун готов был вот-вот расплакаться. То ли от того, что я видел маску с разных ракурсов, то ли от освещения, но в какие-то минуты казалось, будто он только улыбается. А всмотришься — и видишь, какое большое горе на душе у этого человека, и неизвестно, хватит ли дальше сил балагурить, и хлынут сейчас слезы, и он забьется в истерике.

Маску создала Миста из черной марли. Сначала вылепила заготовку, накрыла ее марлей, пропитанной сильно вяжущим веществом, потом растягивала складки, делала морщинки, накладывала мазки золотой краской. Когда марля отвердела, ее сняли с заготовки. Я не знаю, можно ли называть эту маску произведением искусства, но смотреть на нее хочется долго. И не сразу уходят мысли о судьбе этого человека. Видимо, дольше чем надо смотрел я на него...

Карен снял со стены барельеф, а Миста тщательно завернула его в крафтбумагу и подошла ко мне:

— Это в память об Огненной Земле.

Когда Карен еще снимал маску, я понял намерение супругов и твердо решил не брать такого подарка, тем более что Карен сказал:

— Это любимое творение Мисты.

Попытался как можно убедительнее объяснить, почему отказываюсь. Но Миста сказала:

— А вы не можете решать, брать или не брать. Это Огненная Земля посылает Москве. А у вас пусть он на хранении будет, и напишите мне, как будет себя чувствовать. Я ведь, действительно, очень люблю его.

...Машину, в которой мы ехали с переводчиком, вел Карен Дисто, вторую, с Колоане и Гонсалесом — его друг. Было темно до черноты. Шел дождь. Всю дорогу Карен сокрушался: «Ну, как же можно, всего на несколько часов. Что я завтра скажу товарищам по ячейке? Обидятся, почему не позвал».

Заводская ячейка коммунистов состоит из девяти человек. Почти каждый четвертый рабочий — коммунист. В те дни они готовились к созданию организации единого действия. Такие организации создавались повсеместно на предприятиях, в учреждениях, деревнях, учебных заведениях. Их были уже тысячи и тысячи.

Комитеты единого действия, созданные в период подготовки к президентским выборам, сыграли немалую роль в победе левых сил. Количество этих организаций умножилось к муниципальным выборам, где окончательно утвердилась их дееспособность. Теперь функции их расширились, и они стали надежной опорой нового строя.

...У пристани выяснилось, что паром задерживается минут на сорок.

Карен говорит:

— Это бывает не так уж редко. Течение очень капризно. Оно достигает двадцати километров в час, при ветре до ста километров, да еще дважды в сутки меняет направление. А во время прилива уровень воды поднимается на двенадцать метров. И ничего удивительного,— улыбается он.— Ведь сюда устремляются, здесь сталкиваются воды двух океанов. И неизвестно, какой из них сильнее и свирепее.

Карен достал из-за сиденья большой термос и чашечки. Это предусмотрительная Миста снабдила на всякий случай чаем.

Дождь не утихал. Мелкий, густой, тоскливый. Свет от фонарей увязал в нем и не пробивался на пристань. Волны были черными.

Мы сидели в кабине и пили чай. Карен рассказывал.

Этот остров Магеллан назвал Огненной Землей потому, что, проходя мимо него по проливу, увидел множество огней. Должно быть, горел газ. А теперь здесь один из главных источников чилийской нефти. Большие ее запасы обнаружены на дне Магелланова пролива. Но ставить вышки на таком коварном проливе невозможно. Поэтому к ней подбираются через наклонные штреки, идущие с берега.

Карен с гордостью рассказывал, как впервые в Чили была обнаружена нефть. Два года ее искали немецкие и французские специалисты, но нашел нефть чилийский инженер Эдуардо Симен, и вовсе не там, где искали иностранцы. Это был довольно популярный человек, хотя имя его знали немногие. Он был известен больше по кличке «Осьминог», которой удостоили его футбольные болельщики как непревзойденного вратаря. Нефть он обнаружил 28 декабря, а этот день соответствует нашему первому апрелю. Поэтому никто ему не поверил. И только на следующий день открытие Симена признали.

Карен оборвал свой рассказ, словно спохватившись, и снова заговорил о Советском Союзе.

...Огненная Земля, Патагония, Последняя Надежда, Магелланов пролив... Что-то бесконечно далекое, романтическое, таинственное...

Так, возможно, воспринимали чилийцы мою родину на другом берегу океана. Но всем своим существом они вместе с нами. Совсем близко.

* * *

Я видел в Чили, как готовился фашистский переворот. Но известие о нем потрясло.

В Москве встречался с чилийскими демократами, которым удалось скрыться от арестов. Они и рассказали подробности путча.

Сигналом к военному перевороту послужил мятеж на военном флоте в Вальпараисо. Мятежники захватили порт, телеграф, радио и другие важные центры этого второго по величине города Чили. Затем военная хунта в составе командующего сухопутными войсками генерала Аугусто Пиночета, командующего ВМФ адмирала Хосе Торибио Мерино Кастро, командующего ВВС Густава Ли Гусмана и командующего корпусом карабинеров Сесара Мендоса Дурана передала ультиматум, требующий отставки президента Сальвадора Альенде.

О том, как развивались события во дворце «Ла Монеда» в день переворота, о великом подвиге выдающегося борца за свободу чилийского народа, одного из крупнейших демократических деятелей Латинской Америки президента Чили Сальвадора Альенде и его героической смерти подробно рассказал премьер-министр Революционного правительства Кубы Фидель Кастро. Привожу почти полностью этот рассказ, переданный из Гаваны агентством Пренса Латина.

«В 6.20 утра 11 сентября в резиденции президента Альенде на улице Томаса Моро раздался телефонный звонок. Президента предупреждали, что начинается государственный переворот. Он сразу же поднял по тревоге свою личную охрану и принял решение отправиться в президентский дворец, чтобы со своего президентского поста защищать правительство Народного единства. В сопровождении 23 человек охраны, вооруженных автоматическими винтовками, двумя пулеметами и 3 базуками, они прибыли в президентский дворец в 7.30 утра на четырех машинах.

С винтовкой в руке президент вошел во дворец через главный вход. В это время дворец «Ла Монеда», как обычно, охраняли карабинеры.

Уже находясь внутри дворца, Альенде собрал сопровождавших его людей, сообщил им о серьезности положения и о своей решимости бороться до самой смерти, защищая конституционное, законное народное правительство Чили от фашистского переворота, проанализировал имеющиеся возможности и отдал первые распоряжения относительно обороны «Ла Монеды».

В течение часа С. Альенде трижды выступил по радио с призывом к народу. Он заявил о своей готовности защищаться до конца.

В 8.15 представитель фашистской хунты обратился к президенту с предложением о сдаче, уходе со своего поста и о предоставлении ему самолета, на котором он мог покинуть страну

вместе с родственниками и сотрудниками. Президент отверг это предложение, сказав, что «генералы-предатели не знают, что такое человек чести».

Затем в своем кабинете президент провел краткое совещание с группой прибывших во дворец высших офицеров корпуса карабинеров, которые отказались защищать правительство. Со словами презрения С. Альенде приказал им уйти из дворца немедленно. Во время этого совещания в «Ла Монеду» прибыли адъютанты трех родов войск. Президент заявил им, что сейчас не время доверять военным, и попросил их покинуть дворец. Тем не менее он дружески распрощался с майором Суаресом, занимавшим пост военно-воздушного адъютанта в течение нескольких лет.

Через несколько минут после ухода адъютантов и офицеров корпуса карабинеров руководитель гарнизона карабинеров, охранявших дворец, выполняя инструкцию своего начальства, направил одного из своих подчиненных ко всем карабинерам, находившимся во дворце, с приказом покинуть его. Карабинеры начали покидать дворец, унося с собой часть вооружения. Танки и бронетранспортеры карабинеров, предназначенные для обороны «Ла Монеды», также покинули свои позиции.

Между тем в «Ла Монеду» начали прибывать министры, секретари, советники. Прибыли дочери президента Беатрис и Исабель, многочисленные сторонники и члены партий блока Народного единства, чтобы в этот критический час находиться вместе с президентом.

Примерно в 9.15 начался обстрел президентского дворца. Пехотные подразделения общей численностью около двухсот человек пошли в наступление по улицам, прилегающим к площади Конституции, открыв стрельбу по дворцу. Число охранявших «Ла Монеду» не превышало 40 человек. С. Альенде приказал отвечать на огонь и сам лично принимал участие в этой перестрелке. Пехота отступила, неся многочисленные потери.

Тогда фашисты ввели в бой танки. Одни танки двигались по улице Монеда, другие — по улицам Театинос, Аламеда, Моранде. Несколько танков появилось на площади Конституции. Выстрелом из базуки один танк был уничтожен. Другие открыли огонь по кабинету президента. Их поддержали пулеметы с бронетранспортеров.

В 10.45 президент собрал всех находившихся во дворце и сказал, что для борьбы, которая должна развернуться в будущем, потребуются руководители и исполнители, и поэтому все, у кого нет оружия, должны при первой же возможности покинуть дворец. Те, у кого есть оружие, должны находиться на своих боевых постах. Однако никто из присутствующих не согласился покинуть «Ла Монеду».

Между тем бой продолжался. Фашисты выдвигали новые

ультиматумы, угрожая, что если защитники не сдадутся, то в бой будут введены самолеты чилийских ВВС.

В 11.45 президент собрал своих дочерей и всех женщин, находившихся во дворце (всего 9 человек), и приказал им покинуть «Ла Монеду», поскольку считал, что они могут погибнуть, и тут же попросил у нападающих 3-минутную передышку, чтобы эвакуировать женщин из дворца. Фашисты отказались дать передышку, однако в этот момент войска начали отходить от дворца, чтобы дать возможность самолетам атаковать «Ла Монеду». Это временное прекращение огня дало возможность женщинам покинуть дворец.

Примерно в 12 часов дня начался воздушный налет. Первые ракеты с самолетов взорвались во дворце «Ла Монеды».

Подходил к концу третий час. Снаряды были уже на исходе. Тогда президент приказал взломать дверь склада вооружения гарнизона карабинеров, охранявших дворец. Он сам пересек зимний двор «Ла Монеды» и, видя, что дверь склада не поддается, приказал взорвать ее гранатами. В складе было найдено четыре пулемета, большое количество винтовок «СИК», патроны, противогазы и каски. После того как оружие было разобрано, Альенде приказал всем занять свои места и сам с оружием в руках воскликнул: «Так пишется первая страница этой истории! Мой народ и Америка допишут остальное!»

В этот момент начался новый воздушный налет. От взрыва бомб вылетали стекла из окон, и их осколки нанесли Альенде легкое ранение. Это была первая рана, которую он почувствовал.

Через несколько минут началась новая комбинированная атака с использованием самолетов, танков, артиллерии и пехоты.

Именно в этот момент С. Альенде совершил самый настоящий подвиг. Несмотря на огонь, охвативший дворец, Альенде с базукой в руках ползком пробрался в свой кабинет и одним выстрелом вывел из строя танк, стоявший на улице Моранде. Несколько мгновений спустя второй защитник подбил еще один танк.

Фашисты ввели в бой новые танки и бронетранспортеры, усилив огонь по входу во дворец, охваченный пламенем. Президент с несколькими защитниками спустился на первый этаж и отразил попытку фашистов проникнуть во дворец со стороны улицы Моранде.

Тогда фашисты временно прекратили огонь и обратились к защитникам дворца с просьбой выслать двоих парламентеров.

Фашисты обратились к парламентерам с требованием сдаться, предлагая президенту и другим защитникам покинуть дворец и направиться в любую страну, куда они захотят. С. Альенде заявил о готовности защищать дворец до последней капли крови, выражая не только свое мнение, но и мнение всех защитников. Сопротивление продолжалось.

В 1.30 президент поднялся на второй этаж, чтобы осмотреть боевые порядки защитников.

К этому времени фашистам удалось захватить первый этаж дворца, но участники обороны продолжали отражать их атаки на втором этаже. Только к двум часам дня нападающим удалось прорваться в одно из помещений второго этажа. С. Альенде с несколькими товарищами забаррикадировался в красном зале. В тот момент, когда он пытался преградить вход фашистам, пуля угодила ему в живот. С. Альенде оперся на стул и продолжал стрельбу по наступающим фашистам до тех пор, пока вторая пуля, попавшая в грудь, не сразила его. Уже мертвого его буквально изрешетили автоматной очередью.

Увидев, что президент мертв, его личная охрана бросилась в контратаку и заставила фашистов отступить. Затем они перенесли тело С. Альенде в кабинет президента, усадили на президентское кресло, надели президентскую ленту и обернули его чилийским флагом.

Даже после смерти президента защитники дворца продолжали сопротивление. Лишь к четырем часам дня пожар, продолжавшийся в течение нескольких часов, погасил последнее сопротивление.

Многие были удивлены, узнав, что 40 человек удерживали «Ла Монеду» в течение семи часов, отражая мощные атаки артиллерии, танков, авиации и пехоты.

С. Альенде был твердым и решительным в выполнении своего обещания умереть, защищая дело народа. Его сила духа, организаторский талант и личный героизм удивительны. Ни один президент на этом континенте не совершал подобного подвига. Много раз благородные намерения подавлялись грубой силой, но никогда еще эта грубая сила не встречала такого сопротивления со стороны человека идеи, оружием которого всегда было слово».

Когда бомбардировщики хунты уже сбрасывали на Сантьяго свой смертоносный груз, когда били их артиллерия и танки, уничтожившие правительственные радио- и телецентры, главари хунты предложили президенту Сальвадору Альенде самолет, чтобы он покинул страну.

С негодованием отвергнув это предложение, и перед тем как надеть каску и взять в руки оружие, чтобы стоять насмерть и умереть как солдат, Сальвадор Альенде в последний раз обратился к народу через единственную уцелевшую радиостанцию «Магальянес». Он начал так:

«Соотечественники! Вероятно, это последняя возможность обратиться к вам. Авиация разбомбила «Радио Порталес» и «Радио Корпорасьон».

Сообщив, как подло предала народ хунта, президент продолжал:

«Перед лицом этих фактов мне остается лишь сказать трудящимся: «Я не отрекусь!» В этих исторически сложившихся обстоятельствах я своей жизнью оплачу верность народа. И го-

ворю вам, я уверен, что семена, которые мы посеяли в благородном сознании тысяч и тысяч чилийцев, нельзя будет вырвать окончательно.

У них есть сила,— говорил он о предателях.— Они могут, конечно, взять верх. Но они не остановят социальных процессов ни с помощью преступлений, ни с помощью силы.

История принадлежит нам и ее делают народы.

Трудящиеся моей отчизны! Я хочу поблагодарить вас за вашу верность, за ваше доверие, оказанное мне. Я был лишь выразителем великих чаяний справедливости, я дал вам слово, что буду соблюдать Конституцию и законность, и так я поступал. И в этот решительный момент, в этот последний раз, когда я могу обратиться к вам, я хочу сказать — извлеките урок из того, что произошло: иностранный капитал, империализм в союзе с реакцией создали условия, при которых вооруженные силы сломили традицию, которой был верен генерал Рене Шнейдер и верность которой подтвердил капитан Арайя, жертвы тех же социальных элементов, которые сегодня врываются в ваши дома, послушные чужой руке, стремясь отвоевать власть, чтобы защищать привилегии и интересы.

Я обращаюсь к скромной женщине нашей отчизны, к крестьянке, которая поверила нам, к работнице, которая больше трудилась, к матери, которая знает, как мы заботились о детях, я обращаюсь к специалистам моей отчизны, к техническим специалистам — патриотам, которые работали, невзирая на бойкот и мятеж своих коллег, защищавших привилегии капитала.

Я обращаюсь к молодежи, к тем молодым людям, которые пели, которые привнесли радость и боевой дух в нашу борьбу.

Я обращаюсь к чилийцу: к рабочему, крестьянину, интеллигенту, к тем, которых будут преследовать, потому что уже много часов, как в нашей стране действует фашизм, насаждая терроризм, взрывая мосты, уничтожая воздушные линии, газо- и нефтепроводы, и все это совершается при молчании тех, кто обязан был бы воспротивиться этому.

История их осудит наверняка. Радио «Магальянес» заставят замолчать, и, может быть, спокойный металл моего голоса не дойдет до вас.

Неважно! Нас все равно услышат! Я всегда буду с вами, во всяком случае, я останусь в вашей памяти как человек достойный, верный делу трудящихся. Народ должен защищаться, но не должен приносить себя в жертву. Народ не должен дать себя уничтожить, но и не позволит унизить себя.

Трудящиеся моей страны! Я верю в Чили и в ее будущее. Найдутся в Чили люди, которые преодолеют все, и в этот горький и тяжкий момент, когда стране пытаются навязать предательство, знайте, что недалек тот день, когда вновь откроются светлые горизонты, чтобы люди достойные строили лучшее общество.

Да здравствует Чили!

Да здравствует народ!

Да здравствуют трудящиеся!

Это мои последние слова.

Я уверен, что жертвую не напрасно, я уверен, что, по крайней мере, это будет моральным уроком, который покарает низость, трусость, предательство».

Последнее обращение Сальвадора Альенде к народу, его спокойный, сильный и добрый голос услышали люди Чили и народы мира. Услышали раскаленную правду и приняли как программу борьбы.

В Большом зале Центрального дома литераторов я слышал последнее обращение к народу Сальвадора Альенде, записанное на пленку корреспондентом советского радио в Чили. Слышал, что происходило дальше. Только две-три секунды после его выступления длилось молчание. И вдруг вспыхнула песня. Боевая революционная песня чилийского народа. Ее пели коммунисты, демократы, все, кто в эту минуту находился на радиостанции «Магальянес». В эту песню ворвался молодой, сильный голос и тут же был подхвачен теми, кто находился у микрофонов. Это были призывы к борьбе, вера в силы народа. Их слова, под аккомпанемент песни, неслись над страной. Их не мог забить слышавшийся гул самолетов. Может быть, тех же, что разбомбили «Радио Порталес» и «Радио Корпорасьон». Теперь они шли на «Магальянес». Это понимали те, кто были у микрофонов. Они знали, что вызывали вражеский огонь на себя, знали, что это последние минуты их жизни, но и песня, и революционные призывы звучали как победный гимн, как слава жизни.

Микрофон замолк вдруг. Мы не слышали бомбового удара. Но ощутили его каждой своей клеткой. Не шелохнувшись, сидел огромный переполненный зал, и казалось, раздайся сейчас клич, как один поднялись бы советские люди, чтобы смести с лица земли новое фашистское логово.

Каждый из нас повторяет сегодня последние слова Сальвадора Альенде: «Я верю в Чили и в ее будущее... История принадлежит нам и ее делают народы».

250.000.000

«150 000 000 говорят губами моими».

В. Маяковский

9 августа 1973 года численность населения СССР достигла 250 миллионов человек.

Из сообщения ЦСУ

Нас — двести пятьдесят миллионов. Это подсчитали электронные машины. Машины бездушны. Они не все помнят. Но мы помним. Мы знаем — двести семьдесят. Двадцать миллионов погибших на войне живут среди нас и в каждом из нас. Они навечно зачислены на Сталинградский тракторный и Курскую магнитную аномалию, в Севастопольские бастионы и цехи ленинградских заводов, на Минский автомобильный и донецкие шахты, в колхозы Подмосковья, где впервые с тяжелыми пробоинами дала задний ход исполинская военная машина, раздавившая Европу.

Каждый день мы повторяем их имена, и они зовут нас к подвигу, как и имя Матросова на утренних и вечерних поверках воинской части. Мы увековечили их в названиях городов, улиц, площадей. Камни Бреста заложили в фундаменты великих строек. В алтайскую землю запахали землю Хатыни и на монументе у края дороги, где берет начало первая борозда, начертали:

И породнилась земля Алтая
С землею Хатыни.
Да будет бессмертным
это братанье,
Эта святыня!

Обессмертили свое имя наш рабочий класс, наше крестьянство, наша интеллигенция. И свое достойное место в истории беспримерного сражения разума против варварства занял ударный отряд интеллигенции — советские писатели. Вне зависимости от возраста и места в литературе в первый день войны они объявили себя мобилизованными и призванными на фронт. Одни уже имели мировое имя, другие, совсем юные, только вступали на нелегкий писательский путь, но явились в военкоматы плечом к плечу, без повесток и вызовов, явились как рядовые Родины, взращенные великой партией Ленина.

Они рассеялись по бесчисленным подразделениям сухопутных, военно-морских и воздушных сил, ушли в тылы врага, в парти-

занские отряды. Они рассказывали миру о битвах и сражениях как участники событий. Певцы народа и сыны народа, они воспевали героев и были достойны своих героев. В первый день войны понесли первые потери. В этот день были убиты писатели Александр Гаврилюк и Степан Тудор. Когда уже взвился алый стяг над поверженным рейхстагом, пал под Берлином писатель Мирза Геловани.

После войны писатели-фронтовики выстроились на поверку.

— Командир полка Аркадий Гайдар!

— Пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины!

— Майор Петр Лидов!

— Пал смертью храбрых...

— Бригадный комиссар Владимир Ставский!

— Пал смертью храбрых...

Александр Афиногенов, Евгений Петров, Александр Хамадан, Юрий Крымов, Муса Джалиль, Ефим Зозуля, Иосиф Уткин, Всеволод Багрицкий... Четыреста одиннадцать! Четыреста одиннадцать были убиты. Каждый третий, ушедший на фронт. Каждый второй ранен.

Четыреста одиннадцать сегодня не учтены статистикой. Их нет в списке, составившем четверть миллиарда. Но они живут и борются вместе с нами, как борются за алтайский хлеб павшие в Хатыни, как помогают возводить гиганты индустрии герои Бреста, как вместе с нами борются все двадцать миллионов.

И на всей земле нашей звучит песня:

...Обещает быть весна долгой.
Ждет отборного зерна пашня.
И живу я на земле доброй
За себя и за того парня.
Я от тяжести такой горблюсь,
Но иначе жить нельзя, если
Все зовет меня его голос,
Все звучит во мне его песня...

Мир воздал должное нашему строю, монолитной сплоченности наших народов, непревзойденному героизму наших людей, их моральному превосходству и патриотизму, гордому духу каждого из нас.

Как сказал американский историк Фредерик Шуман, преклонение человечества перед советским народом вызвано не только тем, что наши «фантастические замыслы» в области экономики привели к «баснословной действительности», но главным образом тем, что, по словам американского писателя Уолдо Фрэнка, наша Родина — «самая мощная крепость в сфере человеческого духа».

Было и другое. Когда глубоко вздохнула освобожденная земля, ученый и общественный деятель США Уильям Дюбуа писал:

«Не кто иной, как Советский Союз пожертвовал миллионами своих сыновей и дочерей и значительной частью своей промыш-

ленности, созданной ценой кровавых усилий, чтобы спасти от ужасов гитлеризма тот самый мир, который злобно клеветал на него».

Это правда. Спасая свою Отчизну, мы спасали и народы мира. Никто, кроме нас, не мог этого сделать. Никому это не было под силу.

Мы не мстили тем, кто клеветал на нас. А клеветали немало. И не только клеветали.

Мы родились в трущобах, в очень бедной, забитой семье. Достояния культуры русского и других народов, населявших Россию, были нам недоступны. Великие открытия и научные достижения лучших умов наших народов растаскивались дельцами из других стран. Первые слова, которые мы услышали,— Свобода, Мир. Эти слова сказал Ленин. Они прокатились по земному шару. И те, кто властвовал над ним, решили, пока мы не поднялись, прикончить нас вместе с этими ненавистными для них словами.

Нас было тогда сто пятьдесят миллионов. Сто пятьдесят миллионов измученных, голодных на пепелище, в какое превратили нашу Родину царский режим и войны.

Уверенно и неторопливо собирались делегаты империализма. Спокойно и деловито решали: ждать, пока мы задохнемся сами, или заплатить профессионалам, чтобы нас прикончить сразу.

Решили платить. Решили не скупиться, только бы побыстрее... Они разработали несколько планов удушения. Не стеснялись громко обсуждать их. Вот один, опубликованный 10 февраля 1919 года в газете «Токио кокумин шимбун»:

«Россия — рассадник большевизма, который угрожает распространить заразу на союзные государства. Поэтому союзники должны взять на себя контроль над Россией и поставить своей целью сохранение порядка, временно взять власть у самоучрежденного правительства, включая военную и полицейскую власть, и таким образом обеспечить русскому народу возможность проявить свою волю и создать правительство... Если бы это предложение было принято и Япония получила бы контроль над Сибирью, а Америка над Россией, то Америка должна была бы выполнять и общие обязанности...

Что касается японского контроля над Сибирью, то против этого, мы уверены, не возражала бы ни одна из держав, принимая во внимание нашу географическую близость к Сибири.

Конечно, контроль над Россией будет лишь временной мерой. Контроль же над неразвитыми колониями примет по необходимости длительный характер. Контроль над ними продлится десятки, а может быть, и сотни лет. Вопрос о контроле над Россией стоит иначе. Он может продлиться от пяти до десяти лет».

Спокойный тон, деловой и ясный план. Бесстыдный и кровавый. Сибирь, советский Дальний Восток и среднеазиатские рес-

публики — на сотни лет, остальную часть нашей Родины — на пять — десять лет. Так и договорились. Только внесли небольшие коррективы. Не очень уж строго ограничивать пятью — десятью годами. И других не обидеть. Кое-что подбросить капиталу других стран. Не жалко. Всем хватит.

Ни тени сомнений в реальности грабежа. Сопротивляться в России некому. Там нет даже самого простого оружия. Необходим только один удар, но одновременно со всех сторон. Так и поступили. Ринулись со всех сторон добивать лежачего. Лежачим они считали нас. Не знали, что мы получили новое оружие. Оружие огромной силы, которое не продается и не патентуется. Оружие, какого не могли создать ни ученые империализма, ни его миллиарды чистоганом. Мы знали цену этому оружию, берегли и бережем его как зеницу ока. А овладели им еще тогда, когда нас было сто пятьдесят миллионов. Но если идеей овладевают массы, она становится материальной силой. Великая идея коммунизма захватила умы ста пятидесяти миллионов, и они стали непобедимыми. Непобедимыми потому, что пошли за ленинской партией. К тому времени она уже имела почти пятнадцатилетний опыт борьбы. Она вышла из подполья, вернулись с царской каторги, из тюрем ее бойцы, собралась вместе могучая когорта мастеров революции.

Мы начали строить новый мир. Кому не хватало лопат, гребли землю руками. Кому не хватало тачек, таскали ее на себе. Мужчины — на плечах, женщины — в подолах. Так началось наше восхождение на вершины мирового прогресса.

Экскаваторы и самосвалы мертвым грузом лежали на складах капиталистического мира. Нам ничего не давали в долг. И за наличные не давали. Нам не продавали их. Ни одной машины, ни одного механизма. Нас — забетонировали в экономическую и политическую блокаду. Пусть гибнут.

Стиснув зубы, мы строили новый мир сами. Честные мыслители Запада сумели увидеть контуры этого еще не очень понятного им мира. Увидели будущее земли. Когда был оглашен первый пятилетний план, Теодор Драйзер писал:

«Я не вполне согласен ни с теорией, ни с практикой советской формы правления, но должен сознаться, что она обладает поразительными качествами. И я считаю, что советский строй удержится в России на долгое время. Больше того — он распространится и бесспорно окажет значительное влияние на все другие государства. Мне думается, что и моей родине со временем предстоит «советизироваться» — быть может, еще на моем веку.

Я пришел к выводу, что Россия, по всей вероятности, превратится в одну из самых мощных экономических сил, какие когда-либо существовали в мировой истории».

Это было сказано в двадцать восьмом году, когда родина Драйзера производила 57 миллионов тонн стали, а мы 4 миллиона. Чугуна — 43 миллиона, а мы 3 миллиона. Каменного угля —

552 миллиона, а мы — 35. Уже тогда в американских квартирах стояли холодильники, а мы не знали, как они выглядят. Да и ни к чему они нам были. Не было квартир, куда их ставить, и нечего было в них класть.

Низкий поклон вам, Теодор Драйзер, за веру в нас в тот далекий год, когда мы были еще так немощны экономически. Ваша вера в нас оправдалась. Мы стали «одной из самых мощных экономических сил, какие когда-либо существовали в мировой истории». Уже в 1970 году мы почти сравнялись с Америкой по выпуску стали, а в чугуне обошли ее. Мы выплавили 86 миллионов тонн, а они — 83. В добыче угля еще дальше оторвались от них. Мы выдали на-гора 624 миллиона тонн, а они — 542. Уже прошло то время, когда мы брали любой холодильник — только бы досталось. А такой совсем недавно для нас диковинки, как телевизор,— сколько хочешь. Можно за наличные, можно в кредит. 40 миллионов их стоят в наших квартирах. Практически каждая советская семья, живущая в районе, доступном телевещанию, имеет телевизор. Да еще почти шесть миллионов выпускается ежегодно. Не надо обладать большой фантазией, чтобы предвидеть, и как скоро будет удовлетворен спрос на автомобили, хотя в их производстве мы еще значительно отстаем от американцев.

Приводя цифры развития нашей экономики, я выбирал те из ее главных отраслей, в каких мы достигли наилучших результатов. Еще немало и таких, где мы не достигли уровня США, а обогнали лишь страны Европы. В таких, например, как оснащение орудиями производства, где когда-то мы выглядели, по словам Ленина, вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки.

Не везде еще в экономике мы достигли необходимого нам уровня, не всего еще у нас в достатке. Мы знаем это. Нам больно это. Но мы знаем источник боли и знаем, как и чем ее лечить. Мы не могли сразу осилить все. И еще раз вспомним: на каждый год мирной жизни — полтора года войны и разрухи. Нужны были миллиарды на то, чтобы сохранить и удлинить жизнь советского человека. И эти миллиарды всегда отпускались щедро. Только поэтому мы сумели более чем в 11 раз сократить детскую смертность. Среднюю продолжительность жизни увеличить с тридцати двух лет до семидесяти, справиться с болезнями, некогда косившими наш народ. Такими, как чума, холера, тиф, туберкулез, оспа, малярия... Сегодня каждый четвертый врач в мире — это советский врач. У нас их 700 тысяч, а в США — 393 тысячи. Каждый четвертый ученый земного шара — гражданин СССР.

Ну, а что говорить о больницах, санаториях, домах отдыха, детских садах, яслях, спортивных комплексах, медицинских учебных и научно-исследовательских институтах и центрах! Обо всем, что направлено на сохранение здоровья и жизни человека.

В этом деле мы недосягаемы для капиталистических стран, ибо миллиарды, вкладываемые в него, не дают прибыли. Эти миллиарды может позволить себе тратить только страна, высшей целью которой является благо человека.

Двести пятьдесят миллионов... Я видел, держал в руках удивительный слиток, созданный нашими учеными. Он состоял из многих материалов — от красной меди до сверхпрочной стали. Каждый материал сохранял в нем свой цвет и качества, а весь он сверкал радугой многоцветья и содержал всю сумму качеств входивших в него составных.

Может быть, идею создания чудесного сплава авторам подсказал гений Ленина, объединившего все нации и народности нашей великой Родины в неразрывный добровольный Союз, где сохраняются и развиваются их силы и неповторимые черты, а их органичное соединение и явило собой новую историческую общность людей — советский народ, обладающий всей мощью и культурой братских народов.

Сегодня без участия Советского Союза не может решаться ни один вопрос международной жизни. Само существование нашей Родины оказывает огромное влияние на борьбу рабочего класса мира за свои права.

Очень точно сказал об этом английский писатель Джеймс Олдридж:

«СССР незримо присутствует, скажем, при всяких переговорах о зарплате, проводимых в западном государстве, при каждой забастовке за улучшение условий труда и т. п. Чем объяснить это присутствие? Да просто уже тем, что Страна Советов существует. Существование социалистического государства запечатлено где-то в глубине сознания каждого пролетария, когда он и его товарищи по труду вступают в очередной бой за свои права, и это больше, чем что-либо иное, терзает капиталистов. Именно страх, что рабочие захотят иметь в своей стране такой же строй, что и в СССР, вынуждает многих капиталистов идти на компромисс с рабочими. Один лишь тот факт, что СССР существует, неизмеримо укрепил позиции рабочих всего мира».

Могли ли представить себе такое главари голого чистогана в тот далекий первый год первой пятилетки? Они читали наш план, задыхаясь от смеха. Измывались над нашим планом, топтали его, шельмовали сами и платили морально и умственно неполноценным, чтобы грохотом в эфире, водопадами газет с клеветой заглушить голос передовых мыслителей, заткнуть глотку рабочему классу мира, еще в гражданскую войну бросившему клич: «Руки прочь от России!»

На пороге второй пятилетки свое слово сказал Бернард Шоу:

«Исключение России из международной торговли было актом слепоты и сумасшествия со стороны капиталистических держав. Бойкотируя Россию путем неистового террора против коммуниз-

ма, они предоставили ее собственным ресурсам и заставили спасать себя при помощи развития своих физических и культурных сил.

Сейчас... Россия отвратительного царизма становится энергичной, трезвой, чистой, по-современному интеллектуальной, независимой, цветущей и бескорыстной коммунистической страной».

Лучшие умы просвещенного человечества видели в нас великое будущее. Об этом говорили Ромен Роллан, Анри Барбюс, Мартин Андерсен-Нексе, Анатоль Франс, Эптон Синклер, Жан-Ришар Блок, Бертольд Брехт, Луис Рекабаррен, Альберт Эйнштейн, Рабиндранат Тагор, Генрих Манн, Чарлз Чаплин, Эрскин Колдуэлл, Эрнест Хемингуэй, Чарлз Сноу и каждый, кого трудно здесь перечислить и кто составляет цвет мировой культуры.

Солидарность мирового рабочего класса, как и моральная поддержка деятелей культуры, помогла нам в нашей трудной борьбе. Как великая реликвия хранится в Музее Ленина знамя парижских коммунаров, врученное французским народом рабочему классу Страны Советов в знак признания ее авангардом человечества.

...Прогрессивные голоса заглушали. Забивали клеветой с грохотом горных обвалов. Слепая, жестокая, алчная сила представляла нас народам такими, какой нарисовал царскую Россию Бернард Шоу. Обманутых оказалось много. Многие верили сначала в клевету, будто мы колосс на глиняных ногах. Потом верили в парад гитлеровских войск на Красной площади. Те, кто верил в это, изумились нашей победе. А мы не изумлялись. С первого дня войны верили в свою победу и, когда она пришла, не дали себе ни дня отдыха. Боль тягчайших потерь заглушали неистовым трудом, восстанавливая разрушенное. Мы забывались в труде, возрождая Родину, но зорко смотрели по сторонам! Еще дымились опустевшие и опустошенные поля сражений, а уже за океаном трещали арифмометры, щелкали электрические счетные машины, жужжали электронные механизмы: подсчитывались барыши. Кое-кому война выгодна. И появилось чудовищное порождение разгоряченного мозга империализма, немыслимый гибрид мира и войны — «холодная война».

Они говорили: истощенный войной Советский Союз снова поднимает вопрос о мире. Это от бессилия. Пока он слаб, надо доконать его.

Никаких уроков истории. Они забыли старое, не поняли нового. Не поняли, что могучий сам по себе Советский Союз теперь уже не один. Родилась мировая социалистическая система — нерушимое содружество стран социализма. В воздушные пространства этой системы за два года они запустили 420 тысяч разведывательных шаров. Нас окружали военными базами, гонка вооружений, как золотая лихорадка, ослепляла безумных.

Когда-то Михаил Кольцов назвал Гитлера сумасшедшим с бомбой. Мы не могли спокойно оставаться перед лицом безумцев

с атомной бомбой. У нас не оставалось иного выхода — на восемь месяцев раньше американцев мы создали водородную бомбу. Создали и предложили разоружение. Предложили уничтожить атомное оружие и водородную бомбу, единственным обладателем которой были мы.

Они отказались. Совсем недавно мне объяснили, почему они отказались. Месяца три назад у меня была беседа с одним из представителей делового мира Америки Дональдом Кендаллом, председателем совета директоров американо-советской торговой палаты. Палата должна содействовать дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Договоренность о ее создании была достигнута во время визита Л. И. Брежнева в США. Наша беседа с Кендаллом предназначалась для печати, и, по-видимому, я вернусь к ней. А сейчас только об одной детали. С большим уважением он отзывался о советских людях, с которыми ему приходилось вести многочисленные переговоры. Особенно восторгался главой одной из наших торговых делегаций. «Это удивительный человек,— говорил он.— Я таких не видел. Видимо, бог создал его и разбил форму, чтобы больше таких не было. С ним очень легко работать. Если переговоры осложнялись и точки зрения расходились все дальше, он начинал рассказывать веселые истории и анекдоты. Обстановка разряжалась. Но как-то так получалось, что все эти смешные истории, никакого отношения к делу не имевшие, все-таки работали на его доводы. И не было случая, чтобы мы не пришли к соглашению даже по самым сложным проблемам. Я убежден,— закончил он,— что мы можем решить абсолютно все вопросы, кроме идеологических».

Именно, эти последние слова Кендалла, представителя крупного капитала, я привел как весомый довод другому американцу, весьма прогрессивному деятелю США. Он утверждал, будто не только в идеологии, но и в вопросе, чрезвычайно выгодном в экономическом отношении обеим странам,— в вопросе полного разоружения, мы никогда не сойдемся. Решительно отвергал точку зрения Кендалла. «Если даже допустить условно,— сказал он,— что будет достигнута договоренность, капиталистический мир разоружится, а СССР нет».

Я стал возражать, но он прервал меня: «Не о том речь. Конечно, можно установить надежнейший контроль, и допускаю, что вы уничтожите все до последнего пистолета. Но идеи ваши останутся. А капиталистический мир окажется перед вами безоружным».

Я не знал, что ответить. Ведь и в самом деле, кроме средств истребления, у него нет оружия, и как ни тщатся его идеологи навязать массам подходящую идею, подходящих не находится.

...Исполинами шагали наши пятилетки. Мы воздвигли индустриальные комплексы, каких не знал мир. Оснастили сельское хозяйство миллионами машин. Взрыхлили тысячелетиями слежав-

шуюся землю. Открыли новые горизонты в технических науках. Открыли эру космоса. Все больше трезвых голосов раздавалось с Запада, и уже редко кто без риска всеобщего осмеяния мог заговорить о нашей слабости.

Как пустую бумажку, разорвали мы некогда сильное оружие блокады — Бернскую конвенцию, лишившую нас возможности получить хоть сколько-нибудь приемлемый кредит.

Сегодня мы торгуем со 106 государствами, а торговля с социалистическими странами давно вышла за пределы обычного понимания этого слова. Мы создали ряд совместных промышленных систем, их количество будет расти. Ширятся и углубляются социалистическая интеграция, разделение труда, весь комплекс отношений наших государств, при которых народы сближаются экономически, политически, духовно. Страны социализма выпускают почти треть мировой продукции.

Мы бескорыстно помогаем развивающимся странам. При нашем экономическом и техническом содействии сооружено, сооружается и намечено к строительству в этих странах более 700 промышленных и культурных объектов, имеющих важное значение для создания фундамента их независимости. Мы торгуем на взаимовыгодных началах, не ставя ни экономических, ни политических условий.

Наша великая партия разработала и на весь мир провозгласила грандиозную Программу мира.

Чтобы осуществить массированное мирное наступление, надо, как для любого глобального наступления, иметь боевой генеральный штаб, способный руководить полководцами, в совершенстве владеющий современными методами ведения борьбы, передовой стратегией и тактикой, наукой побеждать.

Нашей партии семьдесят лет. Семьдесят лет ни на минуту не ослабевающей борьбы за народное дело. Семьдесят огненных лет сквозь пожарища войн и разруху за счастье человека, за идеи коммунизма. Весь гигантский опыт со времен подполья и царской каторги, с тех времен, когда, окруженные со всех сторон врагами и под их огнем, мы, крепко взявшись за руки, тесной кучкой шли по обрывистому пути до сегодняшнего безраздельного торжества наших идей и практики, впитала в себя партия, ее боевой генеральный штаб — Центральный Комитет и уверенно ведет советские народы по столбовой дороге коммунизма.

Эта дорога обозначилась давно. Когда призрак только бродил по Европе. Теперь это уже не призрак. И он не бродит. Властно шагает по планете идея коммунизма и могучей притягательной силой покоряет сердца людей. Мы видели, как это происходит.

Осуществлять один из важнейших этапов Программы мира партия в очередной раз уполномочила Генерального секретаря своего Центрального Комитета Л. И. Брежнева. За океан он отправился не один. И не только с ближайшими помощниками.

В массированное мирное наступление он повел двести пятьдесят миллионов. В авангарде ум, честь и совесть эпохи — 15 миллионов коммунистов. Вместе с ними надежный резерв партии —30 миллионов комсомольцев. В боевых порядках главная ударная сила, гордость и слава советских народов — шестидесятипятимиллионный рабочий класс плечом к плечу со своим верным союзником — доблестным семнадцатимиллионным колхозным крестьянством. В том же тесном строю плоть от плоти, кровь от крови народа — советская интеллигенция, включающая 2600 тысяч учителей, 2650 тысяч дипломированных инженеров, 700 тысяч врачей, около миллиона научных работников, всю армию умственного труда.

Это великое войско поднялось с выгоднейшего плацдарма, протянувшегося на десять тысяч километров в длину и пять тысяч в ширину, с завоеванных господствующих высот в экономике, науке, культуре, с господствующих высот мирового прогресса.

И когда появился на экране американских телевизоров Леонид Ильич Брежнев, Америка услышала простой и ясный голос, доступный и близкий всем народам, голос великой страны, зовущий человечество к миру и прогрессу.

Может быть, впервые за все годы нашего существования вся трудовая Америка взглянула на нас собственными глазами и поняла наши идеалы.

Мы знаем: Программа мира рассчитана на годы, мы только приступили к ее выполнению. Мы знаем, возможны рецидивы «холодной войны». Еще не закрыты антисоветские центры, еще не розданы голодным миллионы из специальных «фондов», еще отпускаются деньги на лживые радиостанции. Но мы верим в неотвратимый ход истории. Мы проверили точность этого хода долгими десятилетиями. Мир — естественное состояние человечества. Это существо нашего строя. Основа жизни двухсот пятидесяти миллионов. Поэтому за Программу мира мы будем бороться, как боролись за каждую пядь своей земли.

1973 год

Сила слова

Есть авторы, имена которых гарантируют высокий класс произведения. И это относится ко всем жанрам литературы, в том числе и к газетному очерку. Номера газет, где они выступают, трудно достать в киосках, на улицах не подступиться к витринам, где вывешены соответствующие газетные полосы. К таким авторам относится Аркадий Сахнин. Много лет я слежу за публицистикой Сахнина — это всегда значительно по теме, глубоко по мысли, захватывающе по сюжету. Это всегда добротная проза, которой уготована долгая жизнь.

Публицистика писателя... Это явление имеет давнюю традицию в русской литературе. Эта традиция прочно укоренилась среди советских писателей. С оперативностью журналистов писатели вторгаются в жизнь. Валентин Овечкин едва ли не первый привел нас к проблемам послевоенной деревни. Его достойным продолжателем был Георгий Радов. Сергей Смирнов укрепил в нас веру, что подвиг не сотрется в людской памяти.

В этом смысле литературная деятельность Аркадия Сахнина близка к творчеству автора «Рассказов о Героях». У читателей Сахнина также укореняется очень нужное человеку ощущение: доброе деяние, подвиг не затеряются в мелочах жизни, не оставят современников и потомков равнодушными. Повторяю, каждому из нас жизненно необходимо это ощущение конечной справедливости бытия. Недаром каждому понятно смятение Гамлета при мысли, что «распалась связь времен».

Не забудется подвиг и не простится подлость. И то, и другое не подвластно времени. Именно это исповедует, доказывает Сахнин художественными средствами.

С блеском доказал он это в одном из своих последних выступлений — «Правда о героизме и подлости». Нетрудно представить себе, какой титанический труд затратил он, чтобы в мельчайших деталях восстановить подлинные события, происшедшие десятилетия назад. Два года потребовалось ему, чтобы эти события предстали в своем истинном свете, вопреки устоявшемуся долгими годами ложному мнению. И не только труд, но и немалое мужество требовалось от автора, чтобы взяться за такое дело и довести его до победного конца.

Зато как велико должно быть счастье писателя, когда его выступление будит общественное мнение, когда после его выступ-

ления выходят решения высших партийных и государственных органов, а портрет героического подпольщика, тридцать шесть лет считавшегося предателем, появляется на газетной полосе. И одновременно низвергается с больших высот лжегерой, десятилетиями пользовавшийся чужой, присвоенной славой.

Это совсем свежая история, которая долгие годы будет служить и учить правде жизни. Но не стерся из нашей памяти очерк Сахнина, развенчавшего в свое время очень известного, но зазнавшегося и потерявшего чувство справедливости капитана китобойной флотилии. Одно из свидетельств гражданского мужества автора — материал сделал свое гуманное дело, способствовал восстановлению здоровых норм нравственности на флотилии. И осталось художественное исследование характеров, давшее основу для повести с острейшим социальным конфликтом.

Казалось бы, заманчиво поподробнее описать — пусть с разоблачительной целью — столь колоритную фигуру морского волка и в самом деле одаренного охотника с его лихостью и блеском, с залпами гарпунных пушек в Одесском порту. Но достаточно припомнить количество строк, уделенных ему, чтобы убедиться: автора уже не интересует «величие и падение цезаря». У него более сложные художественные, более серьезные нравственные задачи: человеческий и организаторский потенциал скромных и деловых руководителей. В самом деле: «Уж очень застенчив и мягкотел новый капитан-директор Борис Макарович Моргун». Другой и того скромнее: «Вышел на трибуну. Робкий какой-то, говорит неуверенно...»

Но именно скромность и душевная деликатность этих людей способствовали созданию обстановки, стимулирующей коллективный подвиг. Кончается рассказ нечастой у Сахнина деталью с двойным — прямым и символическим — значением. Моргун отменил торжественные гарпунные залпы, чтобы не ставить в обидное положение тех, кто на фоне всеобщей радостной встречи моряков с родными в своем порту должен будет чистить и смазывать пушки после залпов, зная, что на берегу их ждут жены и дети. « — Не надо гарпунных залпов,— сказал Моргун,— не надо так много шума».

С пристрастием лично оскорбленного и с педантичной точностью ученого, скрупулезно исследует автор различного рода симптомы морального недуга. Не случайно назвал он один из своих очерков «Порок сердца». Обличительные очерки Сахнина

убийственны, но не в них пафос писателя, не к ним лежит его душа. Убедительное тому свидетельство — добрый десяток книг, почти полностью посвященных героическим свершениям советских людей. Подобно искателю алмазов, он в будничной жизни отыскивает не приметные глазу проявления благородства и самоотверженности, и встают перед нами щедрые сердца и удивительные судьбы героев. Сахнин умеет, подобно ювелиру, заставить сверкать драгоценные движения души. Он не только умеет, но и любит писать о подвиге, о добре. А о хорошем писать хорошо очень сложно.

Скептикам стоит прочитать эту книгу хотя бы для того, чтобы убедиться, в каком напряжении можно держать читателя без помощи интриганов, клеветников, бандитов и прочих персонажей из традиционного набора занимательной беллетристики.

Казалось бы, рассказать о подвиге не столь и трудно. Но это далеко не так. Рассказ должен быть на уровне подвига, иначе рассказчик будет неизбежно раздражать. Во избежание фальши автор обязан продемонстрировать безукоризненный такт, во избежание сентиментальности — взять единственно верный тон, во избежание поверхностности—обнаружить исчерпывающую осведомленность в вопросе и абсолютную точность в изложении. И большим талантом должен обладать писатель, чтобы все эти, отнюдь не простые, ингредиенты выдержать на высоком художественном уровне. Но именно к этому стремится, этого достигает Сахнин.

Возьмем для примера его хрестоматийный очерк «Эхо войны». Это была сенсация. Описывалось сенсационное для того дня, только что происшедшее событие. Но то было более двадцати лет назад. И до Сахнина, и после него о подобных же событиях были опубликованы десятки материалов. А живет в нас сахнинское «Эхо войны». К слову сказать, и сам он об этом событии узнал из заметки в газете «Советская Россия». Подобные заметки опубликовывали и другие газеты. Но Сахнин увидел в нем грандиозную эпопею и, что более важно, сумел выразить ее на столь высоком художественном уровне, что увиденное им одним стало достоянием всех, стало общественным явлением в нашей жизни.

А. Сахнин умеет хорошо видеть и глубоко проникать в суть происходящего. Ведь и его очерк «Огненные трактористы», который также вызвал большой резонанс, он написал уже после того, как история «огненных трактористов» была опубликована. Следовательно, «момент сенсации» уже не «работал». Тем не

менее отклик на его очерк был поистине сенсационным. Значит, дело не в сенсациях. Дело в мастерстве и таланте писателя.

Аркадий Сахнин пишет о многих сторонах нашей жизни, о людях многих профессий. Пишет, хорошо изучив предмет. Но есть у него заветная область, где он чувствует себя в своей стихии: его влюбленность в железнодорожников беспредельна. Он не только знает, но и чувствует машину, передавая нам тончайшие нюансы движения души тех, кто на ней работает.

Его книги «Смерть не сон до зари», «Машинисты» полностью посвящены железнодорожникам. Но менее всего это придает им специальный характер. Не считаем же мы, что «Ионыч» — это про врачей, а «Человек в футляре» — про учителей, и только. Страсть Сахнина к профессии машиниста только сообщает ему ту свободу обращения с материалом и ту степень точности, которые в результате и убеждают читателя, и вызывают в нем желаемые автором эмоции.

Успехи мастеров документальной прозы знаменательны для советской литературы, прославленной многими произведениями, в основу которых лег документальный материал. Едва ли кто-нибудь станет отрицать, что проступок, свидетелем которого нам довелось быть, производит на нас несколько иное действие, нежели подобный поступок, описанный в книге. Не рискну сейчас уточнять — большее или меньшее действие, но, во всяком случае, иное. Сильнее, что ли, беспокоит.

Вспомним тоску героя вересаевского рассказа «На эстраде» о том, что искусство как бы амортизирует в нашем восприятии жизнь. Если и признать за искусством такой грех, то трудно не согласиться, что документальная проза повинна в нем меньше всего. И, скажем, при чтении документальных произведений Сахнина ни у кого ни на минуту не может возникнуть убаюкивающая мысль, что подвиги героев их не более чем выражение авторского этического идеала. Герои жили и живут по определенному адресу, и подвиги совершены ими на самом деле.

Автор показывает нам, что подвиг подготавливается всей жизнью человека, и при внимательном анализе можно проследить истоки подвига. Вырисовывается и авторская концепция: в наши дни отвага, знания и умение выше и надежнее смелости неведения.

Именно здесь назревает конфликт героев повести «Машинисты» со временем. Новый конфликт. Паровозы сменяются электро-

возами. Эти приятные для всех нас перемены могут обернуться трагедией для тех, кто всю жизнь овладевал высотами мастерства, достиг их, а вместе с ними пришли и слава, и почет. Теперь их мастерство никому не нужно.

Однако исследование судеб людских, данное в повести, не только объясняет истоки свершенного, но, как всякое глубокое исследование, позволяет предсказать, что будет свершено. Машинисты Сахнина преодолевают и новый рубеж, ибо они убеждены, что «судьбу надо складывать, а не ждать, пока она сама сложится».

Вероятно, о дотошности в изучении темы, об исследовательской самоотверженности следует говорить, характеризуя стиль Сахнина, не менее, нежели о пафосе истины, который, может, лежит в основе внешнего бесстрастного тона его прозы. Это не внешний, пусть эффектный и даже эффективный литературный прием — это качество авторской личности, чрезвычайно настороженно относящейся ко всему, что отдает вторичной поэтичностью, литературной красивостью, заёмной романтикой. И когда речь идет о подвиге — а именно эта тема легла в основу предлагаемого читателю однотомника,— особенности авторского стиля сообщают прозе особую убедительность.

Искусство как особая форма познания в процессе художественного исследования действительности вскрывает за видимостью сущность. Ошибка тех, кто отрицает прогресс в искусстве, возникает, в частности, оттого, что обсуждается лишь уровень таланта: Шоу, мол, не выше Шекспира — какой же тогда прогресс? Но стоит обратить внимание на уровень исследования действительности — и вопрос предстанет иной гранью. Скажем, тема подвига в искусстве столь же вечна, как тема любви, а школьнику, начинающему знакомство с историей литературы с «Илиады» и былин, не без основания покажется, что тема подвига старше. Тот же школьник знает, насколько углубилось проникновение в эту тему со времен «Севастопольских рассказов» Льва Толстого. Рассматривая по ленинской формуле творчество Льва Толстого как «шаг вперед в художественном развитии человечества», мы осмысливаем и тот, можно сказать, переворот, который сделал этот писатель в художественном исследовании темы подвига. Современное искусство, в частности советская литература, развивает художественное открытие Л. Толстого. Развивает вширь — осваивая все новые стороны жизни человека, где совершаются поступки, достойные имени подвига. Развивает вглубь — делая нас все более

зоркими в различении душевных движений и скрытых за повседневной обыденностью дел.

В русле этого развития отчетливее выглядит вклад в литературу, сделанный Аркадием Сахниным. Издревле подвиг ассоциируется с пролитием крови. Прочитав эту книгу, вы согласитесь, что еще больше проливается пота («Машинисты», «Факел»), что подвиг в современном художественном исследовании ассоциируется с кропотливой работой и совершенным мастерством («Крик из глубины», «Сорок минут огня»), с душевной деликатностью и скромностью («Судьбы людские», «Поединок», «Эхо войны», «Седые волосы», «В рейсе»), с идейной убежденностью и высшей нравственной чистотой.

Лакомая для критиков репризность реплик при неэкономном употреблении противоречила бы художественной концепции Сахнина, его очевидному влечению к негромкости и деликатности, которым соответствует его писательский метод. Содержательность метода, кстати, была оценена читателями, на что обращает внимание С. В. Михалков:

«Весьма оригинален и своеобразен и метод раскрытия характеров, что не раз отмечалось литературной критикой. О своих отрицательных персонажах Сахнин пишет, как бы находясь на их стороне, как бы оправдывая их поступки. А о героизме советских людей, о подвигах словно мимоходом, как бы о само собой разумеющемся, о чем вроде бы и говорить-то не стоит. Но вот чудо литературы. Чем с большим пониманием пишет он об отрицательных героях, тем отвратительнее они нам представляются. И чем бесстрастнее сообщает о подвигах, тем грандиознее они выглядят. А это уже мастерство. Мастерство писателя, проникающего в самые тайные глубины характера». И проникновение это происходит также в высшей степени деликатно, осторожно, нераздражающе, тем не менее весьма глубоко.

В повести «Машинисты» есть такая сцена. Задорный, бесшабашный молодой машинист Громак, подъезжая к разъезду, где проходит практику влюбленная в него студентка Валя, дает сигнал: короткий гудок, длинный, два коротких. На железных дорогах такого сигнала не существует. Так он извещает Валю о своем приближении.

В силу обстоятельств о значении этих гудков знает дежурный по разъезду Незыба, готовящий здесь кандидатскую диссертацию, влюбленный в Валю. И оба они, каждый в отдельности,

ждут этого проклятого, этого радостного сигнала. Таких слов автор не говорит, но мы ощущаем их по тому, что и как они делают в ожидании сигнала.

И вот звучат гудки Громака. И мы снова без подсказки воспринимаем обуревающие героев чувства. И когда Незыба, которому симпатизирует читатель, останавливает поезд и видит радостное лицо Громака, видит, как вместе с Валей они уходят в лес, автор тоже ничего не говорит нам о чувствах Незыбы. Описывает лишь, как он принимает и отправляет поезда, а душа наша при этом, как говорится, разрывается на части.

Но вот между Громаком и Валей происходит размолвка. Сигналы прекратились. Казалось бы, Незыбе только и радоваться. Появляется надежда — ведь и к нему Валя хорошо относится, он каждый день рядом с ней, а Громак лишь пролетает мимо. Но Незыба видит, как ждет сигналов Валя, как вслушивается в каждый гудок. Короткий, длинный... Все. Это сигнал бдительности, который дает каждый машинист, проезжая разъезд. А Валя ждет еще двух коротких. И Незыба, уходя к закрытому входному семафору, поднимается на паровоз и сам дает эти сигналы. Короткий, длинный, два коротких... Нужно ли большее доказательство того, что во имя счастья любимой он готов жертвовать собственным счастьем, хотя автор ни словом об этом не обмолвился.

Успех и долговечность рассказов Сахнина свидетельствуют, что метод приходится по душе современному читателю. Разъясню. Оговорившись, что открытый пафос не противопоказан искусству, что кого-то он еще, возможно, приведет к художественным завоеваниям, предположу, что современный читатель тяготеет именно к такому негромкому тону, к ненавязчивой манере, где ему, читателю, доверяется самому во всем разобраться, самому сделать выводы из предложенных фактов.

«Факт, факт, факт — и вроде бы никаких эмоций,— замечает о прозе Сахнина писатель Георгий Радов.— Но всмотритесь внимательно, и вы увидите, с каким мастерством это сделано: скупость, даже протокольность изложения лишь подчеркивают драматизм события, а в самом лаконизме — большой эмоциональный заряд, который совсем не нуждается в «выявлении». Его «биотоки» нацелены в самое сердце читателя». Как взрослого читателя, так и юного.

Наблюдения С. В. Михалкова я процитировал из его преди-

словия к избранным произведениям Аркадия Сахнина на зарубежные темы, вышедшим в 1979 г. в издательстве «Детская литература». Как известно, круг детского чтения составляют две основные группы книг: специально написанные для детей и отобранные из литературы для взрослых. Приключения, сказки — жанры, по самой сути утоляющие детские потребности. А в книгу Сахнина «Толпа одиноких», о которой идет речь, вошли политический роман и документальные повести, также остропублицистического и политического содержания. Но ведь развивается не только литература, но и читатель. Сделаю ли я открытие, заметив, что, пожалуй, самый страстный потребитель политической информации сегодня — старший подросток? Он потребляет эту информацию из любых источников, нечасто на подростка ориентированных. Если качество информации соответствует возрастным особенностям подростка — это большая воспитательная удача.

Динамичность и увлекательность изложения, ненавязчивость тона и доверие к читателю как раз и оказались такими качествами прозы Сахнина. Да, именно ненавязчивость — кто же не знает о мальчишеском отвращении ко всякого рода указующим перстам?

И документальность основы — кто не видел, как уважают дети соответствие фактам? У кого не на слуху детский вопрос писателю: «Это на самом деле было или вы из головы выдумали?»

Тут я вторгаюсь в область проблем, которыми занимаюсь последние двадцать лет,— область художественного воспитания. А хорошо ли это — такая ревность по поводу соответствия фактам? Не есть ли это признак художественной неразвитости? Признак, давно вошедший в педагогическую терминологию как «наивный реализм», вокруг которого в науке не утихают дискуссии: насколько это вредно и как с этим бороться? По «преодолению наивного реализма» защищаются диссертации, а тут чуть ли не сочувственное к нему отношение?

Ясно, что не здесь все эти проблемы решать, но и нечестно было бы от них попросту отмахнуться. Тем более в связи со столь показательным литературным материалом. Скажу по необходимости и по возможности коротко. Разумеется, «наивный реализм» преодолевать надо. Искусство не копия действительности. В произведении прежде всего отражается отношение художника к жизни — и это надо внушать читателю. Но вымысел — отнюдь не единственное средство для выражения авторской личности. Помимо всего, есть отбор жизненного материала и форма его по-

дачи — это тоже необходимо усвоить школьнику. Интерес к фактической основе произведения в истории восприятия литературы то падает, то обостряется. Сегодня, по моим наблюдениям, читателю более интересна фактическая основа.

Можно сказать, хрестоматийный рассказ Сахнина «Факел» я бы изучал со школьниками как образец искусного отбора материала, как основного средства писательского самовыражения.

То, что принято сейчас называть нравственно-эстетическим идеалом, относительно этого писателя следовало бы сформулировать как активное добро.

Активность Сахнин проповедует и исповедует. Обеспечивает свою веру судьбой и образом жизни. Верит, что пресса может принести пользу, и служит этой пользе, жертвуя каким угодно временем. Именно с творчеством Сахнина связывает Борис Панкин в книге «Время и слово» нужное и важное для нас понятие — работа писателя в газете.

«Темперамент — вот, пожалуй, единственная для него постоянная величина. Темперамент гражданина, борца. И, быть может, как раз в особенностях этого темперамента и заключена отгадка того, почему, всю жизнь мечтая о романах, повестях — словом, о «полотнах», писатель работает в основном в жанре очерка, короткого рассказа, документальной повести».

О «полотнах» сказано не для красного словца. Вот уже четверть века переиздается роман Сахнина «Тучи на рассвете», вошедший и в упомянутый выше однотомник для детей. Тем не менее... Тем не менее для сегодняшнего читателя имя Сахнина в первую очередь связано с теми рассказами и очерками, которые регулярно появляются в газетах и журналах.

Достаточно ли мажорный аккорд для конца разговора о творчестве писателя? Припоминаю, что В. В. Вересаев весьма огорчался, когда его воспринимали прежде всего как автора «Записок врача». Я люблю всего Вересаева, но сознаю, что в «огорчительной» славе была своя справедливость: «Записки» мог написать только Вересаев. Далеко не всякому, даже талантливому художнику удается создать нечто выходящее за рамки собственно искусства и превращающееся в общественное событие. Такими событиями становились многие рассказы А. Я. Сахнина — счастлив писатель, доверившийся какой-то неповторимой черте своей личности и своего дарования.

Владимир ЛЕЙБСОН.

СОДЕРЖАНИЕ

Машинисты 3
Эхо войны 126
Моряки 196
Правда целины 390
Двойная душа 421
Пальцы скрипача 427
В рейсе 433
Седые волосы 455
Золотая нить 461
Жил-был солдат 469
Чужие люди 477
Поединок 488
Вера 500
Герои ташкентской битвы 508
С чего это началось 527
«Операция правда» 546
250.000.000 604
Владимир Лейбсон. Сила слова 614

Аркадий Яковлевич САХНИН

ИЗБРАННОЕ

М., «Известия», 1980, 624 стр. с илл.

Редактор Ю. Феофанов
Художественный редактор И. Смирнов
Технический редактор А. Гинзбург
Корректор В. Волк

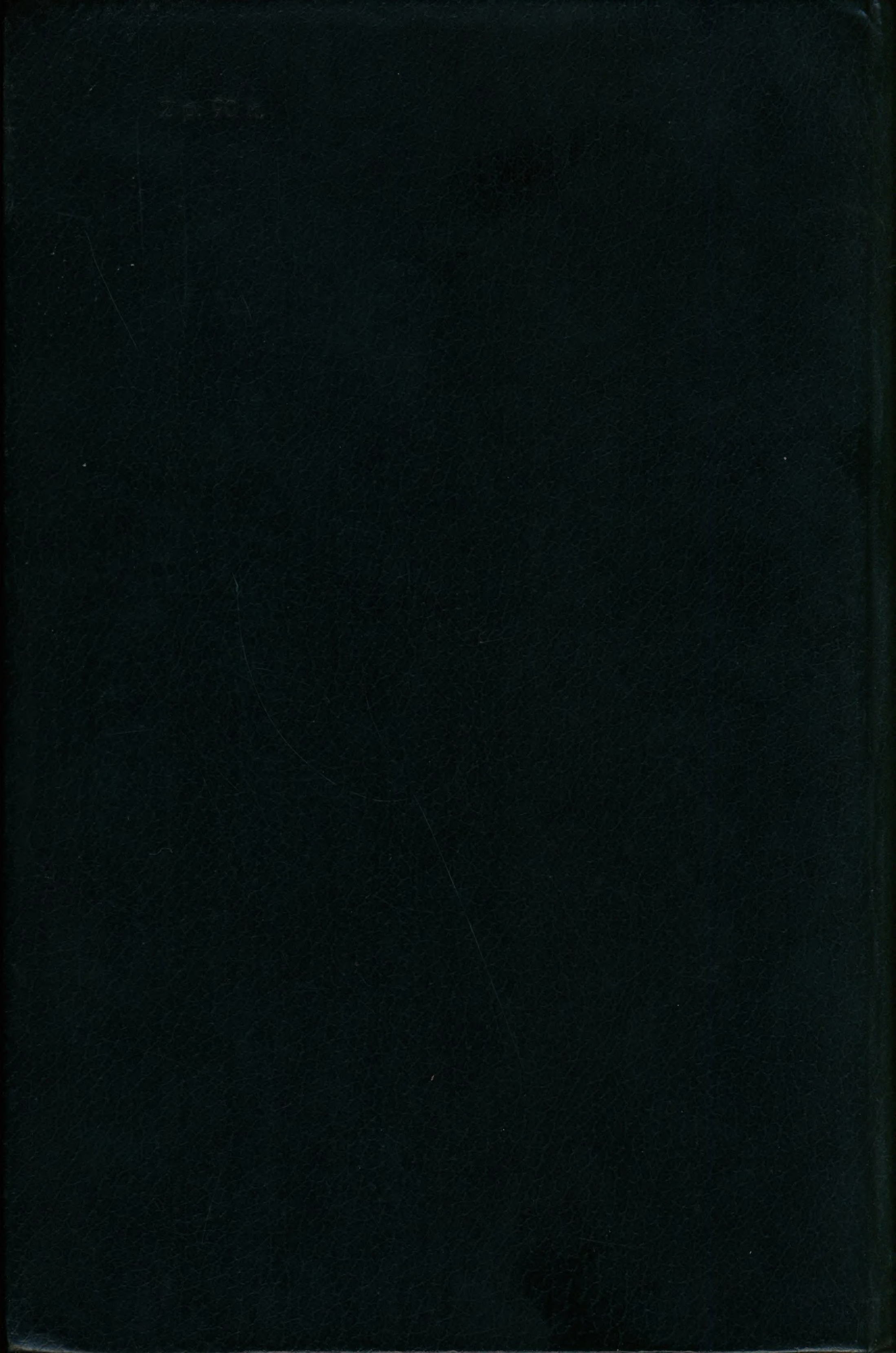
•

Сдано в набор 7/V 1980 г. Подписано в печать 6/VIII 1980 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Печать офсетная. Гарнитура литературная.
Печ. л. 39,0. Уч.-изд. л. 44,21. Заказ 1460. Тираж 250 000 экз. (2-й завод 100 001—250 000 экз.). Цена 2 р. 90 к.

•

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства ЦК Компартии Белоруссии. 220041, Минск, Ленинский проспект, 79 с фотонабора полиграфкомбината им. Я. Коласа Госкомиздата БССР. 220827, Минск, ул. Красная, 23.



Аркадий САХНИН

ИЗБРАННОЕ